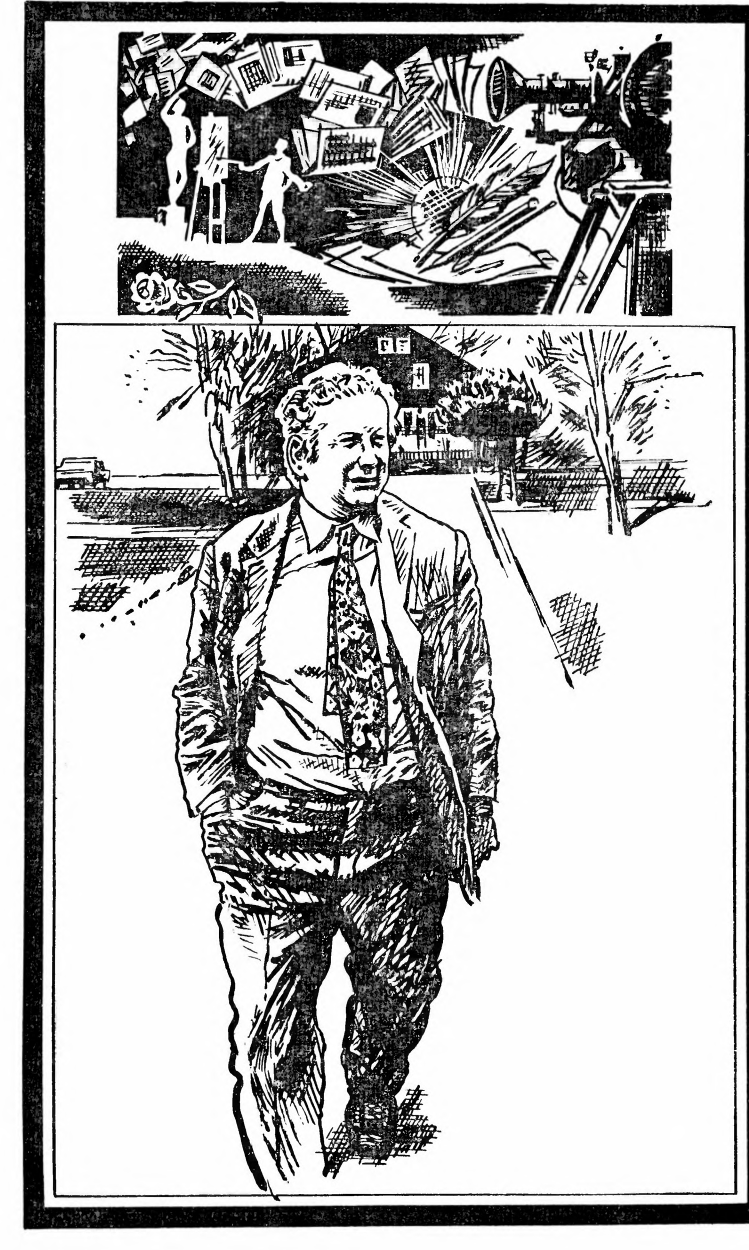
ПИТЕР УСТИНОВ

Крамнэгел



ПИТЕР УСТИНОВ

Крамнэгел



Роман

Рассказы

Эссе

Перевод с английского



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1987

ББК 84.4Вл
У 80

Перевел
ЮРИЙ ЗАРАХОВИЧ

Предисловие
ДМИТРИЯ УРНОВА

Художник
СЕРГЕЙ СОКОЛОВ

Рецензент
профессор Я. Н. ЗАСУРСКИЙ

У $\frac{4703000000-058}{078(02)-87}$ 245—87

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ И СО СТОРОНЫ

Русскую литературу за рубежом знают уже давно и пишут о ней подчас очень хорошо — с пониманием. А вот о России часто пишут так, словно не только ее не понимают, но и понимать не хотят. И вдруг прозвучал на Западе голос, говоривший о России толково и сочувственно. Нет, далеко не со всем, что говорил этот голос, можно было согласиться. (Да и с кем можно во всем согласиться, если речь идет о целом народе?) Однако то был голос человека понимающего или, по меньшей мере, стремящегося нас понять как бы изнутри. Голос принадлежал английскому писателю по имени Питер Устинов.

Кто же он такой? Вот вопрос, если в особенности принять во внимание его фамилию.

Во времена моего студенчества, то есть в пятидесятые годы, к нам одна за другой стали приезжать иностранные театральные труппы, в том числе английские. А мы, начинающие филологи, бывали на их спектаклях не только зрителями, но и переводчиками. От актеров известного лондонского театра «Олд Вик» я и услышал это имя впервые. Вернее услышал вопрос: «А что ты думаешь о Питере Устинове?» Понятно, я ровным счетом ничего о нем не думал, поскольку даже не знал, кто это такой. Не оправдывая своей неосведомленности, все же должен сказать, что Питер Устинов тогда еще только начинал свой путь как драматург и актер. Для тех же англичан это было новое имя. Но заметить они его уже успели. Заметили они у Питера Устинова при наличии русской фамилии и особое отношение к русским.

Спрашивая об Устинове в Москве, англичане, собственно, хотели проверить свое впечатление: не правда ли, есть что-то особенное в том, как этот Питер в своих пьесах показывает русских? И чтобы удостовериться, так сказать, на месте, актер Джосс Акленд (игравший епископа в «Жанне д'Арк» Бернарда Шоу) дал мне «Любовь четырех полковников». Это одна из самых первых пьес Устинова. Комедия. Действие происходит в Германии, сразу после войны, в оккупационной зоне. Надо признаться, пьеса не произвела на меня сильного впечатления и

даже просто не понравилась. Что касается воспоминаний о войне, то было не до комедий. И сама по себе, как пьеса, эта комедия была построена хотя и замысловато, но искусственно. Зато полковник Иконенко, один из четырех, наряду с английским, американским и французским был в самом деле живой. Почти живой, я бы так сказал. А если он вел себя чересчур простовато, то что же делать, если таковы были многие дошедшие до Берлина победители? Во всяком случае, это была не заводная кукла, одетая в костюм советского офицера, а реальный человек, русский человек при исполнении нелегких служебно-дипломатических обязанностей. А ведь известно: нельзя изобразить человека, если относиться к нему безо всякого внутреннего понимания.

Было бы несправедливо сказать, будто другие иностранные писатели изображали нас тогда только в карикатурном виде. Но у них, как правило, русские получались нерусскими, даже если их старались показать очень симпатичными. Например, еще во время войны у нас шли американские художественные фильмы о России. Скажем, «Северная звезда». Я смотрел этот фильм и не верил своим глазам: где же это они нашли у нас взрослых дядей, которые бы носили штаны с бретельками? На мне самом были почти точно такие же штаны, но я же был маленьким! А полковник Иконенко, повторяю, не только носил, как положено, настоящий мундир, но, судя по тексту, говорил, как один из тех наших военных, которые каждому были хорошо знакомы.

Позднее Питер Устинов написал еще одну пьесу, тоже комедию, «Романов и Джульетта», которую я, правда, не читал, но слышал, что и в этой устиновской пьесе русский человек похож на русского. И вот уже теперь, совсем недавно, выходит книга Питера Устинова «Моя Россия» (1983). Русской темой в зарубежной литературе я занимаюсь специально и должен признаться, что давно не читал ничего столь же проникнутого стремлением понять нас, и даже, я бы сказал, защитить нашу сторону. Где же еще у зарубежных, занимавшихся Россией историков можно прочитать, например, следующее: «Часто полагают, будто Россия вышла на арену мировой истории позднее других стран Европы, что она... оставалась в полной изоляции, затерянная среди огромных своих пространств, погрязшая в невежестве. На самом деле верно прямо противоположное». Или: «В истинном смысле, Россия защитила Европу от монгольского нашествия, приняв на себя всю силу удара». Но ведь во многих зарубежных книгах о нашей истории мы читаем, что и защищать кого-либо не требовалось, как если бы орды кочевников остановились сами собой. А что мы читаем в тех же книгах об интервенции в Советскую Россию? Нередко — вовсе ничего,

словно никакой интервенции не было. Кстати, в этом сборнике, куда вошел роман «Крамнэгел», есть разговор, типичный разговор именно о том, вторгались ли вообще войска Антанты на нашу территорию. Книга «Моя Россия» не роман и даже не путевой дневник, это размышления над нашей историей, и тут Питер Устинов говорит прямо: «Трудно переоценить результаты интервенции, начавшейся в то время, когда революция в России считалась насмерть обреченной. Она казалась смертельно раненным динозавром, каким-то доисторическим чудищем, случайно просуществовавшим до новейших времен. И вот теперь стервятники уселись на еще теплом теле гиганта, выбирая себе куски по вкусу. Еще труднее переоценить тот факт, что динозавр неожиданно поднялся, сбросил с себя стервятников и начал крепко трепать их. Перья летели повсюду». Конечно, есть в той же книге и неточное и неверное, однако сочувствие автора самому предмету его размышлений несомненно.

Россию, которую Питер Устинов называет своею, он увидел впервые, когда ему было уже за шестьдесят, а «покинул» — за девять месяцев до своего рождения, или, как он сам выражается, эмбрионом. Что ж, в том же стиле можно сказать, что он «видел» Россию генетически.

Основным источником сведений о Питере Устинове является он сам, точнее, его автобиографический роман «Уважаемый Я», а к таким источникам, как известно, следует относиться с осторожностью — не потому, что в подобных источниках может содержаться неправда, но потому, что роман есть роман, а писатель есть писатель, он — сочиняет, в том числе, когда рассказывает о себе и о своих близких. Поэтому в данном случае нет необходимости пересказывать этот роман. Возьмем из него основные факты.

Семейные корни Питера Устинова ведут на Волгу и на Ближний Восток, в королевство Вюртембергское и в Петербург. Каким образом? Его дед с отцовской стороны, саратовский помещик и военный, женился на немке из заволжской колонии. Брак вскоре распался, но дед успел принять веру жены — лютеранство, за что был выслан из пределов Российской империи в Штутгарт. Обосновался он, однако, не в Штутгарте, а в Яффе, где женился вторично на женщине, в чьих жилах текла кровь швейцарская и эфиопская. В числе его довольно многочисленных детей был и отец писателя, Иона Устинов. Когда началась первая мировая война, Устинов-дед вернулся в Россию, чтобы «служить отечеству», Устинов-отец учился в это время в английской закрытой школе. Приехал он в Россию уже после революции, когда и встретился со своей будущей женой, происходившей из семейства Бенуа, архитекторов, художников, режис-

серов (Художественного театра в том числе). Прадедом Питера Устинова по линии матери был Н. Л. Бенуа, один из строителей Русского музея, дедом — Л. Н. Бенуа, заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Академии художеств. Этого своего деда Питер Устинов помнит: они виделись в 20-х годах в Эстонии, куда Л. Н. Бенуа незадолго до кончины приезжал в командировку.

Сам Устинов, которого мы теперь прямо назовем Петром Ионычем, увидел свет в 1921 году в Лондоне. Учился он в театральной школе, которую окончил прямо перед второй мировой войной. Был призван в армию и служил в береговой охране. После войны стал активно выступать на сцене, много снимался в кино, удостоился крупных премий. Мы видели Устинова в фильмах «Спартак» и «Зло под солнцем» (по роману Агаты Кристи).

Когда Питер Устинов приехал в нашу страну и посмотрел постановки по собственным пьесам, то среди исполнителей он выделил Ростислава Плятта. Понятное предпочтение: он узнал все ту же (в основе — мхатовскую) школу, которой старался следовать сам: актерская техника, помноженная на психологическую убедительность.

Когда Театр имени Моссовета готовил эту самую устиновскую пьесу «На полпути к вершине», где Р. Плятт репетировал главную роль, то меня пригласили консультантом — на предмет выяснения, не слишком ли (скажем так) обнажены в этой острохарактерной комедии взаимоотношения поколений и полов? Все познается в сравнении. Сам Шекспир, который кажется подчас очень кровавым, проливал в своих трагедиях вдвое меньше крови, чем это было в его времена принято. Что же касается интимной жизни, то, несомненно, наша традиция целомудренна. Между тем Питер Устинов пишет в условиях пресловутой «вседозволенности», когда секс, а также и насилие просто эксплуатируются в качестве главной приманки. Однако Устинов недостойной эксплуатации себе не позволяет. Не уходя ни от каких острых, болезненных проблем, он старается вскрыть их более глубокое, человеческое содержание.

Следом за пьесами Питер Устинов обратился к рассказам и романам, которые тоже вызвали широкое внимание. Одним словом, стало ясно, что в английской литературе сформировался крупный писатель русского происхождения.

В том же романе «Крамнэгел» упомянут, между прочим, важнейший прецедент в том же роде — Джозеф Конрад, поляк по национальности, родившийся на Украине и ставший одним из влиятельных мастеров английской прозы. Но Конрад, настоящая фамилия которого была Коженевский, выучил английский язык, причем очень поздно, и эта «выученность», известная

вычурность так и осталась в его стиле. Некоторые англичане, подражая Конраду, даже стремились культивировать у себя ту же вычурность. Они как бы специально разучивались писать на своем обычном родном языке. А Устинов хотя и Петр Ионыч, но все же английский язык оказался для него родным. Если читая и тем более встречая Конрада, каждый англичанин сразу видел в нем иностранца, то Устинов, наоборот, удивил тем, что он, имея столь неанглийскую фамилию, пишет как англичанин. Понятно, речь тут идет об очень тонких оттенках, а не только о способности писать без грамматических ошибок. Для очутившихся в чужом краю это всегда было проблемой. Как сокрушался А. И. Герцен, что его дети теряют родной язык! Он чувствовал, как вместе с утратой языка его дети перестают быть русскими. Но ведь Герцен, говоривший и писавший на нескольких европейских языках, до конца своих дней оставался русским, исключительно русским, а его дети и тем более внуки принадлежали уже другому миру. Неопределенность, двойственность в «базовом» языке ослабила бы их силы в той жестокой борьбе за существование, которой этот мир требовал.

И о Питере Устинове нельзя сказать, что это английский писатель, который чувствует себя русским. Ведь думать-то он думает по-английски! Точной формулой его положения будет: англичанин, не забывающий о своих русских корнях. И не только о русских. «Судите сами, — говорит Устинов все в том же автобиографическом романе, надо полагать, ничего не придумывая. — Один прапрадед родился в 1730 году благочестивым саратовским помещиком в низовьях Волги. Другой прапрадед родился в 1775 году в Венеции, где, победив на конкурсе, стал органистом в соборе св. Марка. Третий был школьным учителем в ста километрах юго-восточнее Парижа; четвертый — несомненно, суровый протестант — жил в Рейнфилдене, близ Базеля; в то время как пятый боролся за выживание в нескончаемой борьбе за власть в Аддис-Абебе». Если верить в наследственность, то можно сказать, что Питеру Устинову досталась прирожденная широта взгляда на мир как вместилище многих народов, каждый из которых обладает историей, культурой, самобытностью, заслуживающей уважения. А что означает уважение за вычетом формальной вежливости? Внимание, пристальное внимание, помогающее присмотреться, понять, прежде чем судить.

Разумеется, отсюда недалеко и до веры в полнейшую относительность норм и оценок, тот поверхностный историко-культурный релятивизм, который нынче расхож и дешев: лягушки весело квакают в болоте, стало быть, хорошо и в болоте! Так борьба с неразумным осушением болот может вдруг превратиться в прославление любой трясины.

Надо сказать, империализм, в первую очередь британский, расставивший свои «аванпосты цивилизации» по всему миру, произвел оценку всех именно по такой логике. Когда колониальная экспансия шла полным ходом, то заморские страны были, с имперской точки зрения, населены «дикарями», которых необходимо приобщить к «цивилизации». Когда же империя сложилась и тех же «дикарей» приобщить к «цивилизации» больше положенного не требовалось, то популярной стала идея «равенства культур», что на деле означало: рожденный ходить пешком или ездить на верблюде пользоваться современным транспортом не должен, это для него только хуже, он утратит свою самобытность. Демагогическая забота о чужой самобытности была по сути своекорыстием защитников, как выражается один из персонажей все того же «Крамнэгела», статус-кво, все то же положение вещей, когда британская корона отбрасывала свою тень чуть ли не на полмира.

Англичанам вообще свойственна острейшая самокритика, но это когда они судят друг о друге. Перед лицом внешнего врага и даже не врага, а всего лишь наблюдателя они занимают круговую оборону: «Правь, Британия!» Давно уже Британия не правит так, как это было некогда. Более того, она уже примирилась с утратой былого влияния. И все-таки даже у самых гуманных современных писателей порой прорывается прежнее британское высокомерие. Точнее, прорывается тоска по тем временам, когда слово «англичанин» должно было вызвать у всякого иностранца почтительный трепет. Между тем у Питера Устинова подобной тоски нет. И не потому, что он вошел в английскую литературу как раз, когда «солнце империи» закатилось, а потому, что в силу происхождения и воспитания он не страдал этим комплексом отставного «владыки мира». Полноправный гражданин страны, которую он был готов защищать с оружием в руках, Устинов в то же время имел возможность посмотреть на своих соотечественников со стороны, с более широкой точки зрения.

Когда читаешь устиновский роман «Крамнэгел» (1971), то сначала складывается такое впечатление, будто перед тобой умело написанная, но все же типичная книга англичанина о США, напоминающая, скажем, хорошо у нас известный роман Грэма Грина «Тихий американец». Напоминающая не по ситуации или сюжету, а по отношению к американцам, которые, с типично английской точки зрения, просто примитивны, не имеют богатой многовековой культурно-исторической традиции. «Город торчал из пустоты» — так, с описания некоего случайно возникшего и хаотически разросшегося поселения на Среднем Западе, начинается роман Питера Устинова, и таков обертон последующего повествования: рассказывается о Городе, где цар-

ствует нравственная опустошенность, цинизм, объединяющий в одну мафию «отцов города» с преступниками. Однако затем мы вместе с заглавным персонажем Крамнэгелом попадаем в Англию и тут начинаем думать, уж не американец ли теперь пишет, изображая древнюю европейскую страну до того обветшавшей, что и холодильники там толком не работают, а потому хваленый английский эль оказывается на американский вкус просто теплой... гм-гм.

Продолжая читать, поскольку повествование построено настолько искусно, что не позволяет нам остановиться, мы убеждаемся: нет здесь никакого двоемыслия, перед нами единая последовательная точка зрения, принадлежащая наблюдателю, который имеет право и на нелицеприятную критику своих заокеанских сородичей, и на столь же резкую критику соотечественников. Этот наблюдатель всесторонне знает, о чем говорит.

«Знаете, что такое парламент? Это порочный дядюшка вашего конгресса», — приходится услышать исполненному патриотических чувств Крамнэгелу от английского собеседника. Чтобы и нам принять участие в их споре, возьмем картинку прямо из жизни. Совсем недавно в парламентских дебатах английский премьер-министр — такая чопорная, умеющая держать себя леди — была названа «обезумевшей блохой». «Да, — добавил лидер оппозиции, — и когда американский президент ей командует: «Прыгай!», она его еще спрашивает: «Как высоко?» Так вот, если заглянуть за кулисы парламентского представления, мы увидим, что вся эта разительная откровенность — комедия. Показные дебаты точно так же являются всего лишь церемонией, а на деле, вроде бы разоблачив политических противников, тут же, только без громких слов, с ними сговариваются, или — разоблачают, чтобы занять их место, продолжая творить то же самое, может быть, под другим названием.

Сравнительно с вершителями большой политики Крамнэгел — человек маленький, всего лишь начальник полиции в своем Городе. Но его злоключения отражают ту же трагикомедию буржуазной демократии, которой Крамнэгел поначалу гордится и на которую сам же потом обрушивается с проклятиями. Когда же происходит перелом? Когда из начальников он попадает в подчиненные, из полицейских — в преступники, из представителей закона — в его жертвы. Короче говоря, когда на себе испытывает то, что множество раз у него на глазах и при его же пособничестве выпадало на долю других.

Тема Питера Устинова, конечно, не нова, на ту же тему есть и классические произведения. Ситуация, в которую попал очутившийся за решеткой полицейский, приводит на память, например, позднюю толстовскую повесть «Смерть Ивана Ильича».

Наш великий писатель постоянно размышлял над логикой возмездия. Чиновник Иван Ильич всю жизнь только и делал, что, исполняя службу, изображал, будто принимает участие в делах людей, обращавшихся к нему за помощью. При этом Иван Ильич оставался убежден, что так и должно быть, что поступает он вполне честно по заведенному и непреложному правилу. А чего же еще этим просителям от него нужно? И пришла тяжелая болезнь, заглянула ему в лицо смерть, вызвал Иван Ильич врача. И вдруг, к своему ужасу, увидел, что доктор, знаменитый, получивший высокое вознаграждение, вовсе не собирается его в самом деле лечить, но лишь неким ритуалом обозначает лечение. Явившийся к Ивану Ильичу целитель действовал совершенно так же, как сам Иван Ильич вел себя с просителями, ждавшими от него решения своей участи. Иван Ильич до глубины души ужаснулся, он особенно хорошо знал этот образ действий. Ему только раньше не приходило в голову, что он сам может попасть в такое положение. И когда? Когда речь идет о его жизни! Иван Ильич, как пишет Толстой, изо всех сил старался дать понять доктору, что так поступать нельзя. А доктор со своей стороны дал понять Ивану Ильичу, что этого давать понять не следует, что все идет именно так, как должно идти. Тогда несчастного Ивана Ильича охватило чувство безысходного отчаяния...

Крамнэгел в отличие от Ивана Ильича не отчаивается. Он злится, негодует на других и на себя, даже раз или два рыдает, однако истинное отчаяние ему неведомо, потому что все удары судьбы глубже известного уровня в его сознание не проникают. Так уж сознание Крамнэгела устроено, что некоторым переживаниям и чувствам в нем просто негде поместиться. Таким же образом устроено сознание у большинства людей, с какими Крамнэгел сталкивается по эту или по другую сторону Атлантики. Вот одна из характерных ситуаций: его заместитель, вроде бы порядочный парень, упрекает начальника в том, что тот недостаточно активно ведет борьбу с организованной преступностью, то есть с грабежом, пользующимся поддержкой или покровительством властей. Этот парень так и режет начистоту. Но едва только заместителю удается занять место начальника, он сам начинает покровительствовать тем же преступникам. И главное не в том даже, как он действует, а в том, что у него и мысли не возникает, будто можно действовать как-то иначе, будто его поведение безнравственно. Начальник городской полиции и мэр того же Города на американском Среднем Западе или же прокурор и адвокаты в британском суде ведут жизнь как игру, в которой есть выигравшие и проигравшие, но чести или бесчестья, кажется, вовсе не существует. Точнее, «чест-

ность» — это вроде клеточки на игральной доске, которую можно занимать более или менее продолжительное время, передвигаясь с очередным (это необходимость, неизбежность) ходом на клеточку «преступление» и — тоже лишь до поры до времени, после чего можно опять, изловчившись, выйти в «честные». Обозначение «честь» имеется, понятие о человеческой чести — не существует.

«Отхватил себе кусок пирога пожирнее, вот и все» — таков резон этой игры. Один другого предостерегает относительно третьего: «Он может повести себя очень погано». А кто, спрашивается, здесь не может себя так повести? На целый роман почти в триста страниц, развертывающийся в двух странах и населенный очень густо различными персонажами, лишь один человек и только один раз совершает нравственный поступок, да и тот контрабандист, капитан полуразбойничьего судна. Буквально свалив Крамнэгела ударом ниже пояса, капитан-проходимец тем не менее не обобрал его до копейки, не отнял у него деньги. И сделал это сознательно — в порядке, что называется, свободного нравственного выбора. Мог обобрать и не обобрал: знай наших! Прочие персонажи, в том числе Крамнэгел, поступили бы иначе: они бы и ниже пояса ударили, и деньги взяли. А что же тут такого, если можно взять? «Можно» или «нельзя» измеряется исключительно силой, способностью «отхватить», «взять», а не какими-либо соображениями, так сказать, выше пояса, над уровнем везения или невезения.

Когда же Крамнэгел столкнулся с человеком, рассуждавшим как-то иначе (это был англичанин-коммунист), он в него в конце концов выстрелил за неимением лучших аргументов. Выстрелил и тут же, хотя был сильно пьян, стал соображать, как ему оправдаться.

Причем то был уже второй случай в практике Крамнэгела. И главное заключается опять-таки даже не в том, что Крамнэгел убийца, а в том, как он несет этот крест. Да никак! Его же в тот первый раз оправдали, так чего же еще нужно? Муки душевные персонажи романа могут испытывать в случае неудачи, но муки совести им неведомы. Положим, Крамнэгел или же Карбайд (его подчиненный, а потом — преследователь) — люди грубые, необразованные. Они большей частью действуют инстинктивно, словно подопытные существа, которым подается знакомый сигнал. Но в романе также выведены люди рассуждающие, и при этом рассуждающие умно, изощренно — до известного предела или уровня, того, за которым простираются их шкурные интересы. На американской стороне такие умные речи произносит врач-психиатр, на английской — судейский стряпчий. Язык и у того, и у другого хорошо подвешен, камня на

камне не оставляют они от современной буржуазной цивилизации, вынося ей безусловный приговор: гниль! Но той же самой прогнилостью они сами же пользуются как податливой почвой ради собственной выгоды или хотя бы спокойствия.

Некогда подобный образ действий называли «готтентотской моралью». Если у меня жену увели, будто бы так рассуждал готтентот, это плохо, а если я у кого-то увел, тогда — хорошо. Данным примером воспользовался Маркс, но, понятно, не ради обличения готтентотов, а для того, чтобы подчеркнуть дикость буржуазного обихода. Двойную, но с положительным знаком действующую лишь в одну сторону («когда я...»), мораль роман Питера Устинова показывает во всех психологических неприглядных подробностях.

В устиновских рассказах, отобранных для этого сборника, раскрывается та же тема, но в несколько ином повороте. «Если события разворачивались в его пользу, он может отметить, что успех операции определялся выполнением его приказов. Если же обстоятельства складывались против него, он всегда может пожать плечами и сказать: «Что ж, таков был приказ», и обвинить тех, кто руководил им, и с чьей глупостью он не имел власти бороться» — так в рассказе «Добавьте немножко жалости» говорится о бездарном, но сумевшем выслужиться генерале. Знакомая логика! Отличие в том, что на пути этого генерала, хотя бы задним числом, много лет спустя после событий второй мировой войны, встает историк, давший себе труд проверить факты и восстановить истину. В рассказе «Сутки состоят из 86 400 секунд» театрально-отлаженной судебной машине мешает своей неподдельной искренностью свидетель. Правда, и Крамнэгел в конце концов оказывает сопротивление, поднимая нечто вроде бунта против сговора «порядка» с беззаконием. Но Крамнэгел сам был причастен к сговору, и нет никакой гарантии в том, что при удаче он ничуть не изменится, а лишь торжествующе посмеется над проигравшими своим громким и грубым смехом. Между тем историк Джон Отфорд или попавший в свидетели радиоактер Эдвин Эплкот действуют исключительно в силу внутренней необходимости. Пусть их сопротивление слабо. Историк проверил один эпизод, но сколько еще осталось непроверенного, неверного и принимаемого за истину! А Эплкот оказался и того слабее, он в результате допроса лишился рассудка. И все-таки поведение этих людей принципиально иное, нравственное, не цинично-деляческое.

Каждым писателем владеет задушевная мысль, которую он на разные лады, во многих своих книгах стремится внушить читателям. Толстой называл такую мысль «каркасом», на котором крепится все остальное — сюжет, персонажи и т. п. Мы зна-

ем, что тот же Толстой избегал высказывать подобную мысль прямо, предлагая, если его сразу не поняли, еще раз перечитать все произведение. И мысль эта, если вчитаться, прорисовывается, хотя ее и нелегко сформулировать. Так что же хочет нам сказать Питер Устинов? Он живет в таком мире, характеристики которого чаще всего содержат понятие «сложный». Да, все очень сложно, как бы говорит Питер Устинов, так сложно, что, кажется, подчас мрак от света не отличишь. И легче всего, сославшись на неисповедимую сложность, не тратить силы на всякие разграничения. Разве мрак при умелом освещении не выглядит светлым? Нет, говорит нам автор этого сборника, как ни трудны положения, в которые попадает современный человек, но сверх меры мудрить не надо: гниль есть гниль, а добро остается добром!

«Дело в конечном счете в качестве человека», — как бы подтвердил свою основную мысль Питер Устинов, приехав к нам осенью 1986 года на форум деятелей мировой культуры, проходивший у берегов озера Иссык-Куль. А мерой этого качества Устинов назвал «открытый, лишенный предрассудков человеческий разум». Сколько голосов были бы готовы оспорить (и оспаривают) подобную мысль! Многие писатели доказывали и доказывают, что разум черств и прямолинеен, а на предрассудках — именно на предрассудках! — во многом держится человеческое общежитие. Сколько песен, в прямом и переносном смысле, пропето во славу «мудрого неразумия»! Однако Питера Устинова всему этому учить не надо. Судя по тому, как он в своих пьесах, романах и рассказах изображает людей, он прекрасно знает разницу между худосочной рассудочностью и умом, и когда он говорит «разум», то имеет в виду не однобокую расчетливость, а всесторонне развитое сознание.

Не надо Питеру Устинову ничего объяснять и про предрассудки, ибо одна только его собственная семейная история, должно быть, в избытке снабдила его сведениями для того, чтобы отличать верность традиции от простой косности. И это житейский опыт подсказал ему мысль о том, что только разум способен найти выход, достойный одного человека и всего человечества.

Взять хотя бы эпизод все из того же «Уважаемого Я». Первая мировая война, революция в России, революция в Германии, а тут двое молодых людей какого-то странно-запутанного происхождения и социального положения решили пожениться и выехать за границу. Необходимы документы, и жених, будущий отец Питера Устинова, решает сыграть на старейшем из человеческих предрассудков — корысти: предлагает «одному комиссару» взятку, притом натурой — беконом и шоколадом. Что же

в итоге получилось? «С изысканным благородством отклонив папины подношения, он (комиссар) выдал ему паек из селедки и чечевицы, а также необходимые проездные документы»... Комиссаром-то оказался Иван Михайлович Майский — из старой большевистской гвардии, впоследствии наш посол в Лондоне.

Этот эпизод известен Питеру Устинову по семейным преданиям, а сам он И. М. Майского так никогда и не видал. А вот мне, простите, повезло — я виделся с Майским или, точнее, мы с ним вместе болели в одной и той же больнице. Надо было видеть, как откликался на приветствия и на вопросы этот знаменитый, поистине исторический, к тому же уже очень действительно старый и тяжело, предсмертно больной человек. Отвечал он, в частности, на расспросы о том, как впервые в Англии мы принимали участие в традиционных шекспировских торжествах в Стрэтфорде-на-Эвоне. Это было давно, так давно, что и полных дипломатических отношений между нашими странами еще не было. Советский флаг в числе флагов других стран был поднят на шекспировском фестивале даже раньше, чем взвился он на здании посольства в Лондоне. Майский поднимал этот флаг, утверждая на английской земле права страны, считающейся «второй родиной» Шекспира. И ведь это был тоже один из тех трудных случаев, когда разум (понимаемый как ум и культура) решил дело. А как рассказывал об этом человек, которому удалась данная акция? А все так же — с этим... с изысканным благородством, то есть просто, точно, выразительно, с пониманием и того, что такое Шекспир, и что такое революция, и что такое дипломатия, и что такое Россия.

Поскольку Питер Устинов либо от заслуживающих доверия свидетелей слышал о разуме в таких проявлениях, либо сам был свидетелем, как говорится, аналогичных случаев, постольку он и говорит с убежденностью: «Мир — это высшее проявление здравого смысла и обязательное условие существования». Он же считает, что «художник — это мост, соединяющий народы в единый род человеческий». И, следуя этому принципу, Питер Устинов выразил исключительное удовлетворение в связи с тем, что его произведения становятся все больше известны советским читателям. Ведь помимо общего принципа это для него, писателя и актера очень популярного, известность особая — в некотором смысле возвращение к пенатам.

Дмитрий УРНОВ



Крамнэгел

1

Город торчал из пустоты брошенными вставными челюстями. Не было никакой видимой причины построить его именно тут, а не где-нибудь еще — ни большой реки, ни прикрытия гор, ни хотя бы морщинки на земной поверхности. Наверное, как раз на этом месте сбросил свой заплечный мешок какой-то усталый пионер или, возможно, пала лошадь, и из такого вот невзрачного семечка вырос Город — как дерево или как болезнь.

Трудно было сказать: то ли он рос слишком быстро, чтобы успеть обзавестись пригородами, то ли он из них одних и состоял — в конечном счете выходило одно и то же. Как обычно и бывает в городах подобного рода, испятнавших веснушками огромное плоское лицо Среднего Запада, здесь пытались продать несколько больше подержанных автомобилей, чем на них могло найтись покупателей, а вечерами, несмотря на пуританские нравы, призывно — словно проститутка, шепчущая вслед проходящему мимо клиенту, — манили и подмигивали неоновые огни реклам. Затем все небо озарялось адским огнем — знамением столь же ясным, как звезда, влекшая волхвов в Вифлеем, и гласившим, что в электрическом оазисе посреди нефтяной и пшеничной пустыни мутным ключом бьет жизнь и в одиночестве нет резона.

Днем же все выглядело иначе. Становились заметными трогательные потуги на стиль — будто всю историю прокрутили ускоренным темпом, как ленту на магнитофоне, а всю эволюцию втиснули в жалкие полстолетия существования Города. Законодательное собрание — ибо Город был столицей штата, хотя и не наибольшим в этом штате скоплением домов и людей, — размещалось в сносной имитации Парфенона, тогда как местный арсенал был решен в стиле средневекового форта, усовершенствованного фабрикантом игрушек. Источником вдохновения для проектов наиболее почтенных небоскребов послужили, без сомнения, органные трубы; их опасные

высоты были усеяны горгульями, а нижние этажи изобиловали мозаиками в стиле прерафаэлитов, скрывавшими за подчеркнутым внешним благолепием дьявольский подтекст. Короче говоря, это был Город, ничем не отличимый от многих других. Город, который его обитатели, находившие поэзию и просвещенность там, где чужаки не видели ничего, кроме серости и скуки, считали великолепным местом, здесь можно жить и растить детей, невзирая на марихуану, расовые мятежи, студенческие беспорядки, весьма значительное количество убийств и, что еще хуже в глазах моралистов, весьма значительное количество изнасилований.

Человека, призванного бороться с этими проявлениями зла и оберегать от них сограждан, звали Крамнэгел. У него было много друзей и много врагов, которые, вполне естественно, часто оказывались одними и теми же людьми, ибо Крамнэгел занимал пост начальника полиции. Это был огромный детина, высокий и одновременно массивный, с тем достаточно внимательным взглядом широко раскрытых глаз, который считается умным, когда встречается у собак, и который своей агрессивной настороженностью производит куда менее обнадеживающее впечатление даже на самых наивных, когда встречается у людей. Беспокойный взор Крамнэгела смягчался, однако, его твердой решимостью быть доступным, человечным, приятным. Он поощрял критику, однако никогда не прощал ее. Он беспредельно верил в простого парня с улицы, однако придерживался самого низкого мнения о нем. Он был американцем, и американский образ жизни так же неотъемлемо вошел в его кровь и плоть, как неотъемлемо вписался в его мысли и в угол его служебного кабинета за креслом свернутый американский флаг.

— Отличный день, начальник! — крикнул ему Половски, мужской портной, стоявший в дверях своей мастерской. Половски был гражданином США в первом поколении и потому искал поддержки в общении с людьми — чем более обыденном и менее вызывающем на спор, тем лучше.

— Да вроде ничего себе, — откликнулся Крамнэгел, следуя мимо по тротуару.

— Для вас особенно, — заискивающе подхватил Половски, и стекла его очков сверкнули в лучах удивительно яркого солнца.

Крамнэгел, может, и услышал его слова, но вовсе не подал виду. Половски вернулся в свою лавочку, готовый

в разговорах со знакомыми придать случившемуся эпизоду особое значение.

Да, уж сегодня-то Крамнэгел мог бы и проехаться в своем черном, украшенном золотой звездой полицейском автомобиле — либо за рулем, откинувшись на спинку сиденья, привалясь боком к дверце, опираясь локтем на раму открытого окна и барабаня пальцами по крыше; либо, пренебрегая своей властью и положением, как то подобает истинному демократу — подле положенного ему по штату шофера, однако предпочел идти пешком.

— Во многих отношениях замечательный человек, — сообщил Половски своему подмастерью. — Правда, неприятный, но все равно замечательный — вы только представьте себе: идет пешком! — да и вообще, где сказано, что начальник полиции должен быть приятным?

Поскольку подмастерье не был большим эрудитом, то он не нашелся, как ответить.

— Для сентября отличный денек, а, Барт? — окликнул Крамнэгела Массульян из дверей своей лавки. Заведение было из тех, где уже уцененные вещи распродаются с еще большей скидкой, так как хозяин вынужден срочно спустить весь свой товар, чтобы не вылететь в трубу, но почему-то в результате этих распродаж он неизменно остается в большом выигрыше.

— Да вроде ничего себе, — промычал Крамнэгел, продолжая жевать резинку.

— Все-таки отличный! — вынимая изо рта окурок сигары, повторил Массульян упрямо, как будто ему возражали. Больше всего на свете Массульян боялся, что последнее слово будет не за ним. Умение завершить беседу на своих условиях внушало ему чувство уверенности в себе, даже если собеседник уже был вне пределов слышимости.

— Все-таки отличный! — повторил он еще раз после того, как Крамнэгел окончательно скрылся из виду.

Подходя к гостинице «Гейтуэй Шератон» — новейшей из жемчужин в венце городского гостеприимства, — Крамнэгел пытался поймать свое отражение в стеклах фасада, чтобы окончательно удостовериться, что у него все в порядке.

— Ну как оно, начальник?

— Гм...

— Слушайте, начальник, я тут получил кой-чего новенького — а у нас что, опять неприятности?

Бун, владелец полусерьезного книжного магазина, где

полные собрания сочинений Эсхила, Исаака Ньютона и Германа Гессе стояли корешок к корешку с трехтомной историей онанизма всех веков и народов, поднял над головой номер журнала, на обложке которого возлежала обнаженная девица.

— Я сегодня не на службе, Байрон, могли бы и знать.

— Заходите в любое время, начальник, если что понадобится, в любое время, днем и ночью.

— Ладно, свидимся.

Швейцар в дверях отдал ему честь. Он отдал честь швейцару. Глаза их на миг встретились. Они посмотрели друг на друга с симпатией и недоверием. Очутившись в вестибюле среди гостей, Крамнэгел окинул тревожным взглядом газетный киоск, кафетерий, застекленный закуток «Подарки пионера», стол проката автомобилей.

— Разрешите вас проводить, начальник? Это в Бизоньем зале.

— Я знаю где. Я ищу миссис Крамнэгел.

— О, извините.

Как раз в этот момент в автоматически раскрывающихся дверях появилась Эди. С такой внешностью она имела бы большой успех в эпоху немого кино: нос пуговкой, чуть водянистые глаза, надутый ротик и невинный взгляд, не лишенный приятного намека на извращенность.

— Привет.

— Привет, Эди, ты опаздываешь.

— Нет, приятель, это ты рано пришел. Я никогда не опаздываю. Я — жена полицейского, не забывай об этом.

Крамнэгел и не думал забывать. Он всегда об этом помнил, хотя и не без некоторого неудовольствия, поскольку до брака с ним Эди уже побывала замужем дважды — и каждый раз за полицейским.

Электронные часы под средневековый глокеншпиль на небоскребе фирмы жевательной разинки «Бичнат» пробили двенадцать.

— Вот видишь! — воскликнула Эди, игриво ткнув серебристым ноготком в кончик его носа.

— Ладно, ладно, ты права, — вздохнул Крамнэгел. — Бывает и так. Ну хорошо, пошли.

Бизоний зал — главный банкетный зал гостиницы — был оформлен в современном стиле, однако в нем стояли изрядно мешавшие официантам настоящие крытые фургоны, почтовые кареты и чучело бизона. Из окон зала от-

крывалась величественная панорама. В хорошую погоду были видны не только окрестности Города, но и лежащая за ними прерия. Когда чета Крамнэгелов появилась на пороге, в зале мгновенно вспыхнули аплодисменты. Один из присутствующих сразу же ринулся вперед, как бы в порыве миролюбия.

— Мы долгое время враждовали. Барт, — вы уж извините, Эди, — но я первый хочу сказать вам, что глубоко польщен оказанной мне честью — приглашением сюда, и я специально отменил важнейшую консультацию, чтобы успеть. Город не был бы Городом без вас, Барт... и Эди... А ведь именно его мы и любим, наш Город, во имя него и трудимся, не так ли?

— Разумеется, Арни, — ответил Крамнэгел. — Я и сам не сказал бы лучше. — Эта взаимная демонстрация дружелюбия вызвала одобрительный смешок у зрителей. — Да нет, серьезно, — продолжал Крамнэгел, — у нас с вами были разногласия, ну и что — у кого их нет? Вот и у нас с Эди тоже были разногласия, сплошные разногласия. (Смех.) Но это же не значит, что я ее не люблю, верно? — Он так прижал ее к себе, что она чуть не завопила от боли. Однако ей удалось выдавить из себя вместо вопля вымученную улыбку, адресованную присутствующим в зале женщинам, умиравшим от зависти. — Я не хочу сказать, что люблю вас, Арни... (Смех.) Я, пожалуй, один из тех редких чудаков, которые считают, что мужчины должны оставаться мужчинами, а женщины — женщинами. (Снова смех, переходящий в аплодисменты, по мере того как слушатели осознавали всю глубину высказанной мысли.) Но я вас, Арни, очень ценю, всегда ценил и буду ценить, и — как знать? — если мне когда потребуется проверить черепушку, я сразу смекну, к кому обращаться.

Арни Браггер, самый уважаемый в штате психиатр, протянул Крамнэгелу руку, и огни фотовспышек запечатлели момент великого примирения.

Стук молоточка известил сановную публику о том, что пора обедать. Банкет начался.

Перебрасывавшиеся тарелками официанты придавали залу некое сходство с футбольным полем во время тренировки. У входа на кухню, как тренер на краю площадки, стоял метрдотель, все отмечая в уме, прикрикивая на тех, кто покидал поле с пустыми тарелками в руках, подбадривая тех, кто возникал в дверях с новыми

блюдами. Крамнэгел не прикасался к еде. Он с отвращением думал о том, что ему предстоит произнести речь. Как и большинство тех, кто считает себя человеком действия, он был ленив, и ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем развалиться в кресле и смотреть по телевизору детективные боевики, отождествляя себя с сыщиком.

Пожалуй, легко было понять его, кому выпало несчастье возглавлять городское полицейское управление в тот период американской истории, когда единственным видом преступности, борьба с которым приносила успех, были вымышленные преступления на телеэкране. Эти преступления обладали еще и той особенностью, что раскрытие любого из них не требовало более двадцати семи минут благодаря непреклонным законам коммерции, оставлявшим три минуты на рекламу продукции оплативших передачу фирм. Крамнэгел вздохнул. Трудный выдался год. Пресса не прекращала травлю. В свободном демократическом обществе пресса вечно цепляется к должностному лицу, особенно если все ее органы принадлежат одной и той же семье. Ну в самом деле, он-то чем виноват, если по делу об убийстве Рэбника, по делу о таинственной смерти шести братьев Пенаполи (в том числе и пресловутого мафиозо Ананасного Джо), по делу об обезображенном трупе наследницы фабриканта лейкопластыря — труп нашли в выброшенном почтовом мешке, по делу ветерана войны, забитого до смерти его же собственным ножным протезом, по делу свихнувшегося «зеленого берета», который взорвал рейсовый самолет и до сих пор шастает на свободе (об этом писали крупнейшие газеты страны), — по всем этим делам так до сих пор никого и не арестовали? Да и что толку арестовывать преступников в наш непостижимый век научной экспертизы? Вот взял он недавно бандита, требовавшего выкуп за похищенного человека. Взял с поличным, как раз в тот момент, когда бандит пытался получить выкуп. Железное, казалось бы, дело. И что же вышло? В зале суда появился представлявший интересы преступника Арни Браггер и до того заморочил судье голову своей психоаналитической обструкцией — три дня речь только и шла о Фрейде, Юнге и Теодоре Рейхе, — что под конец несчастный богобоязненный судья и измотанные присяжные передали подсудимого на короткий срок под наблюдение врачей, а затем отпустили на все четыре стороны. Браггеру, правда, не пришлось

долго доказывать, что его клиент действовал в состоянии временного умственного расстройства, поскольку тот потребовал, чтобы деньги за выкуп положили в металлический контейнер и бросили на дно бассейна, и был взят полицией, как только вынырнул из воды с этим контейнером в руках; но его дело представляло собой лишь один пример из многих сотен дел, в которых Браггер обманул если не правосудие, то справедливость, прибегая к смеси фантастического нахальства, высокопарных, велеречивых фраз об Америке (этой беспредельно гибкой и расплывчатой абстракции) и призывов к простым, без выкрутасов, добродетелям и часами — благодаря неисчерпаемым запасам природной энергии — болтая ни о чем с неподдельной искренностью и глубокой увлеченностью.

Размышляя, Крамнэгел перехватил взгляд Браггера и виновато улыбнулся. Браггер же не только с готовностью улыбнулся в ответ, но даже подмигнул, что сразу заставило Крамнэгела задуматься над тем, какие мысли о нем самом сидят в голове у этого мерзавца.

На банкете присутствовали все, кто что-то значил в этом мире. Губернатор штата — Дарвуд Макалпин, человек умеренный и осторожный, сохраняющий остойчивость в любую бурю. Его мать, Элис Хокомер Дарвуд, унаследовала два огромных состояния — от своей матери, Найоби Хокомер из рода пивных королей (на этикетке фамильной продукции изображен Рип Ван Винкль и надпись: «Ради пива «Хокомер» стоит проснуться»), и от отца, Линкольна Дарвуда, запатентовавшего первый в истории рубчатый резиновый каблук для мужских ботинок. («Гордитесь — вас хранит от падения Двойной Захват Дарвуда».) Немалые деньги достались губернатору и от его отца, а в придачу к ним — вечно моложавая физиономия здоровяка спортсмена с неизменно презрительной миной. Губернатор принял место, отведенное ему в обществе с ранней юности, принял безропотно, без тени протеста, и сейчас, на пороге наступавшей в его жизни долгой осени, не выказывал ни недовольства, ни огорчения выпавшей ему судьбой, поскольку она была столь же органической частью его самого, как и его собственная кожа. Он беспредельно верил в демократию, наделявшую правом голоса даже самых бедных и черных, но позволявшую им отдавать голоса лишь за самых богатых и белых. Он верил в нее потому, что не имел ни желания, ни способности занимать свой мозг раздумьями о какой-либо другой вере. И вообще занимать он

умел лишь гостей, что и делал непрерывно и, казалось, без устали.

Сейчас с губернатором беседовал мэр Города, Отис Калогеро, грек по происхождению, человек недостаточно либеральный, чтобы угодить либералам, и недостаточно консервативный, чтобы угодить консерваторам; недостаточно продажный, чтобы угодить мошенникам, и недостаточно узкомыслящий, чтобы угодить ханжам. Иначе говоря, он был олицетворением известного явления нашего времени — политик, побеждающий на выборах лишь потому, что никто не настроен против него столь же решительно, как против других кандидатов. Отнюдь не лучший из людей — просто наименьшее зло.

Именно такие вот события используют большие люди, чтобы переговорить с другими большими людьми о взаимно интересующих их вопросах, с хозяйской гордостью отметил про себя Крамнэгел. Но вдруг, несмотря на свою центральную в сегодняшней церемонии роль, он по какой-то необъяснимой причине рассердился. Жена Крамнэгела оживленно болтала с его заместителем Алом Карбайдом, и казалось, слушая, смотрит на его губы, как бы угадывая слова. Почему это она не может смотреть ему в глаза, как все нормальные люди? Ощутив на себе взгляд мужа, Эди неожиданно повернулась, радостно подпрыгнула в кресле и послала ему несколько быстрых воздушных поцелуев. Крамнэгел выдавил из себя улыбку, а Ал Карбайд подмигнул ему точно так же, как только что перед ним Арни Браггер. В конце концов, решил Крамнэгел, это мой день, и в мире, черт побери, полно дружелюбия, проникшего даже в черные души замов и психиатров. Снова застучал молоточек, и мэр попросил монсеньора Фрэнсиса Ксавьера О'Хэпрэхэнти, президента католического университета Тернового венца, вознести благодарственную молитву.

— О, боже, — сказал монсеньор, как бы проверяя экзаменационную работу, в которой бог опять допустил ту же ошибку, что и в прошлый раз. — О, боже, ты являешь нам чудо своей вселенской мудрости и своей вездесущности, и нет предела нашему унынию, когда ты покидаешь нас, ты являешь нам красоту и чудеса индустриальной мощи нашей великой страны, в которой дочери твои и сыновья могут славить тебя под сенью конституции согласно со своими верованиями и взглядами. Горстка детей твоих возносит тебе сейчас хвалу за щедрость этого стола и молит тебя благословить наш чу-

десный штат, и наш Город, и особенно его полицейское управление...

Взгляды всех присутствующих обратились к Крамнэгелу, он явственно ощутил, как бог, благословляя, прикоснулся к его лбу полицейской дубинкой, и покраснел.

— Наше полицейское управление, под руководством его начальника Бартрама С. Крамнэгела, всегда старалось идти путем благочестия и улучшать жизнь в нашем Городе. Господи боже наш, помоги же ему в этом важном, воистину всепоглощающем деле. Освяти незыблемость семьи, отцов утверди в их отцовской власти, матерей в их материнской любви и научи детей наших чтить тебя в стенах нерушимой крепости американского дома.

Мэр взглянул на часы. Всем ведь предстояло возвращаться на службу в свои заведения. Монсеньор заметил его взгляд и успокаивающе кивнул. В конце концов, ему ведь тоже предстояло возвращаться на службу в свое заведение, как и всем остальным.

— Да пребудут с полицейским управлением нашего города гнев твой и благость твоя: гнев — дабы покарать злодеев, а благость — как бальзам для заживления ран, нечаянно наносимых современной жизнью. Да смягчит его карающую десницу милосердие, а милосердие да будет сочетаться с твердостью стали. Аминь.

Некоторые неумные личности позволили себе захихикать, поскольку как раз в этот момент официант уронил высокую стопку тарелок, но в большинстве своем присутствующие сохраняли завидную выдержку, устремив к богу все свои помыслы. Мэр поднялся из-за стола.

— Спасибо вам, монсеньор, — сказал он. — Чудесная была молитва, и если она не получит отклика сверху, значит, что-то неладно с нашим спутником связи.

Аудитория тепло встретила его слова: хотя поведение почти каждого зиждилось на краеугольном камне благочестия, существовало все же общепринятое мнение, что для своего же собственного блага Всевышний должен идти в ногу со временем. Глубже всего, пожалуй, подобные настроения укоренились в душе именно монсеньора О'Хэнрэхэнти, поскольку он, как частенько говаривал сам, «служил в местном рекламном агентстве, обслуживающем небесную клиентуру», а в качестве вспомогательного двигателя торговли всегда держал про запас кладезь анекдотов о грешниках и детях; анекдоты эти успешно сводили веру до уровня дозы слабительного.

— Ну что ж, все мы — люди занятые, — оживленно

продолжал мэр. — И все знаем, по какой причине здесь собрались. Мы здесь собрались сегодня для того, чтобы почтить великого полицейского, великого гражданина и великого американца. (Раздались аплодисменты. Крамнэгел нервно ткнул ножом в стол, чувствуя, что похвала, хотя, может, и заслуженная, все же несколько чрезмерна. Мэр покивал головой, потеребил свой серебряный, словно рыбья чешуя, галстук.) Мне нет нужды объяснять, о ком я говорю. (Смех в зале. Все взгляды устремились на Крамнэгела. Эди в экстазе запрыгала в кресле.) Это Бартрам С. Крамнэгел. (Снова аплодисменты. Мэр заговорил отвратительно слащавым тоном, будто вдруг наступило рождество, и липкая лава любви к ближнему потекла в зал.) Мы с вами знакомы уже много лет, Барт... не стоит уточнять, сколько именно, а то мы оба лишимся работы. (Смех, переходящий в аплодисменты. Ничто не ценилось в этом кругу так, как умение человека весело взглянуть на себя со стороны. Крамнэгел кипел от ярости. Мэр был старше его на год и знал об этом. И не имел никакого права на грязные намеки. Но Крамнэгел выдавил из себя непринужденную улыбку, рука поднялась в приветственном жесте.) И все эти годы вы, конечно, трудились — может, лишь я знаю как, — чтобы сделать полицейское управление нашего Города лучшим во всем штате. (Жидкие аплодисменты, но, господи ты боже мой, что это еще за сомнительный комплимент?) Хотя я должен отметить, что при правлении моего предшественника — демократа Сеймура Фензи — уровень преступности был чуть-чуть ниже, чем сейчас. Впрочем, возможно, его правление отличалось такой серостью, что одна только боязнь скуки отпугивала организованную преступность подальше от нашего Города. (Смех среди гостей-демократов.)

— Преступности было меньше, потому как населения в Городе было меньше, вот почему! — выкрикнул с места Крамнэгел.

Губернатора передернуло. Неужели до этого тупицы совсем не доходит ирония?

— Причины мне хорошо известны, Барт, — громко выкрикнул мэр, улыбнувшись. — Но вот вряд ли широко известно то, что Барт Крамнэгел явился на вербовочный пункт всего лишь через двадцать минут после того, как узнал о нападении на Пирл-Харбор... (Тьфу ты, опять он про это.) ...пришел добровольцем, чтобы снова начать с самой нижней ступеньки ради служения ро-

дине. (Восторженное одобрение в зале. Но прежде чем мэр продолжил речь, раздался громкий голос некоего Реда Лейфсона, самочинного учредителя наблюдательного комитета в составе одного человека, ведущего несколько радио- и телевизионных программ и колонку в газете; светясь улыбкой, он сидел в своем инвалидном кресле-каталке.)

— Так что же случилось? Почему его не призвали?

Мэр обменялся с Крамнэгелом почти неуловимым взглядом.

— Дело ведь не в этом, Ред, дело в самом поступке, а что вышло потом, вряд ли так уж важно, — твердо заявил мэр.

— Разве я не имею права знать? — спросил Ред, резко подчеркивая слово «я».

Гад ползучий. Вернулся с войны без обеих ног, отчего впоследствии сложилось мнение, которое сам Ред не только не пытался рассеять, но, напротив, всячески поддерживал, будто он потерял их во время особо опасного и героического парашютного десанта при выполнении заведомо самоубийственного задания глубоко за линией фронта. Ред всегда тщательно избегал уточнения, с какой именно стороны линии фронта это происходило, что, пожалуй, было и к лучшему.

— Барта не пропустила призывная комиссия...

— По состоянию здоровья?

— Не только, — продолжал мэр. — Один из моих предшественников, мэр Касбэк... (Мэр, заметьте, выбрал одного из своих покойных предшественников) ... так вот, Фил Касбэк рассказывал мне, что специально обращался с ходатайством к военным властям, чтобы Барта оставили на его посту, как человека, крайне необходимого стране во время войны.

— Но ведь он тогда еще не был начальником полиции.

— Нет, сэр, не был, но все понимали, что когда-нибудь станет им.

Ред добродушно улыбнулся. То, что он перебил мэра, не вызвало ни замечаний, ни какой-либо реакции вообще. Реда боялись в Городе. Он устанавливал свои собственные правила и, когда это его устраивало, придерживался их.

Крамнэгел весь кипел. За каким чертом понадобилось этому треклятому мэру ворошить прошлое? Кому какое дело, что он хотел пойти добровольцем? Этак еще

всплывет и то, что его не взяли из-за геморроя, — хорошенький будет материал для газет. И не опровергнешь — все ведь зафиксировано в хранящихся где-то документах. А, чтоб их...

— Безустанная борьба, которую Барт ведет с растущей волной преступности и правонарушений еще с тех давних пор, когда он был молодым полицейским с многообещающим будущим, хорошо известна и отражена во многих документах, ставших частью официальной истории, — продолжал мэр. (Вот-вот, снова он об этих паршивых документах.) — И если количество убийств все же возросло — семьдесят шесть в позапрошлом году, девяносто одно в прошлом году и пятьдесят четыре за первые шесть месяцев этого года, — то возросло и количество произведенных полицией арестов. Проблемы эти хорошо известны нам всем, но если кому и понятно, как их решать, то это Барту. После разгрома организованной преступности в Чикаго многие семьи мафии стали искать прибежище в других местах — на наши головы свалились банды Перилли и братьев Пенаполи, — и я откровенно скажу то, о чем нечасто говорят вслух: Чикаго очистили от преступности за счет других городов. Вот уж действительно: проделали великую патриотическую работу по очистке! Взяли и вытрясли в окно ковер коррупции, нисколько не беспокоясь о том, куда с него полетит грязь! (Раздались аплодисменты, но мало кто заметил, что мэр ни слова не сказал о ныне здравствующих семьях мафии, остановившись лишь на бандах Перилли и Пенаполи, оказавших полиции конкретно ощутимую помощь, истребив друг друга под корень.) Кто придумал «полицейского-ловушку», как любовно окрестил его сам автор? Барт Крамнэгел. (Крамнэгел глубокомысленно кивнул.) Полицейские, загримированные под женщин, наркоманов, хиппи и извращенцев, проникают и сейчас в уголовные шайки, свободно вращаются в преступном мире, сея панику, подозрения и страх среди правонарушителей. Кого первого осенила мысль привлечь дежурных педагогов, переводящих школьников через дорогу, чтобы они записывали номера подозрительных машин, нарушающих правила движения? Барту Крамнэгелу. Мы помним его любимый лозунг: «Полицейским становятся с пеленок» — и благодарим его за дальновидность, за гражданскую доблесть, за высокое чувство ответственности и патриотизма. (Аплодисменты.) А теперь разрешите мне предоставить слово губернатору нашего великого штата,

моему старому другу, чудеснейшему человеку и отменному политику — а такое сочетание не часто встретишь, вы уж мне поверьте... (Смех, аплодисменты.) ...Дарвуду Х. Макалпину.

Поднявшись из-за стола, губернатор вперил взгляд в потолок, как бы предавшись каким-то туманным, но забавным воспоминаниям. Затем раздался его красивый шуршащий голос, изысканный и сдержанный, но не лишенный, однако, и призвука огрубелой шероховатости, с каким рвется плотный дорогой пергамент, вызванного в основном регулярным употреблением мартини.

— Господин мэр, — начал он. — Отис. Для человека, которому приходится следить за общей картиной жизни нашего великого штата и у которого обычно нет времени вдаваться в частности, сегодняшний банкет является чудесным событием. Он ничем не уступит самым роскошным и великолепным банкетам, на которых мне довелось бывать, и я, разумеется, хочу поблагодарить прекрасных руководителей и хозяев отеля «Гейтуэй Шератон интернэшнл» за их умение работать и за оказанную нам любезность. (Аплодисменты.) Я хочу поблагодарить и присутствующего здесь монсеньора за просто восхитительную молитву, одновременно и благочестивую, и мудрую, и... политически грамотную. (Смех в зале, сигнал к которому подал сам велеречивый монсеньор.) Мне, безусловно, нет нужды приукрашивать наши с вами отношения, господин мэр, отношения всегда теплые, сердечные и приятные даже в тех случаях, когда некоторые разногласия во мнениях подвергали их испытанию если не кислотой, то... ну, скажем, по меньшей мере хорошо очищенным виски. (Сей пассаж в «народном стиле», исполненный неразборчивым говором местных старожилов, вызвал несколько восторженных воплей, а дветри воодушевленные сладким рейнвейном души затянули гимн штата: «Там, где колюшка плывет, там, шиповник где растет, там, ребята, место для меня». Губернатор поднял руку, жестом сдерживая шум.) Но сегодня мы собрались главным образом, чтобы почтить начальника полиции Крамнэгела. Мне не хватает ни красноречия, ни знаний, чтобы добавить что-либо к дани уважения, возданной этому отличному полицейскому офицеру. Но я хочу сказать одно: в наши дни студенческих беспорядков, дни бросающих школу и дом недоучек, общего упадка родительского авторитета и всеобщего поругания тех норм личной порядочности, которым нас учили как ос-

новам христианской этики наших предков, мы ни в ком не нуждаемся так сильно, так остро, так воистину отчаянно, как в умелых, крепких и строгих полицейских. (Вызванные этими словами аплодисменты переросли в грандиозную овацию: вся горечь, накопившаяся в родительских душах из-за домашних неурядиц, выплеснулась в горячее одобрение жесткого курса.) Начальник полиции Крамнэгел, вы — олицетворение полицейского того типа, который нам особенно нужен... Родившись в скромной семье, проведя детство на улицах Города, вы, Барт, могли бы пойти и по кривой дорожке, на которую свернул кое-кто из друзей ваших детских игр, но, влекомый не обещаниями наград, а одним лишь скромным огоньком, горящим в вашем сердце, огоньком, зажженным стремлением приносить пользу, вы избрали путь служения общественному благу, народу, свету справедливости и богу. Вы поступали правильно, когда были маленьким американским мальчиком. Вы поступаете правильно сейчас, будучи взрослым, зрелым американцем.

Под одобрительный рев присутствующих дружеские руки подвели Крамнэгела к губернатору.

— Приветственный адрес, который я сейчас держу, — сказал губернатор, — выразит куда лучше, чем мои слова, все, чем мы обязаны этому человеку. С чувством глубокой гордости вручаю я вам этот... этот прекрасный документ. Пусть многие и многие годы он напоминает вам о сегодняшнем дне.

Рукопожатие губернатора потрясло Крамнэгела своей мужественностью — настоящий нокаут, а не рукопожатие. Крамнэгел глянул на адрес. «Да будет сим извещено...» — начинался он витиеватым, под средневековье, стилем. Буквица была ярко раскрашена, а по бокам вились гирлянды из лавровых листьев, наручников, дубинок и патронов; солнечный диск венчал силуэт Города, из которого броско, как подпись под старомодной политической карикатурой, выступали слова: «за службу». Крамнэгел с трудом разбирал буквы: зрение изменило ему. Аплодисменты начали отдаваться в его голове звуком какого-то электронного инструмента, эхом биения сердца, кошмаром.

— Господин губернатор... сэр, — начал он чисто машинально.

— Погодите минутку.

— Что такое?

— Погодите минутку, — заговорил рядом с ним но-

вый, совсем другой голос, несомненно принадлежавший кому-то из членов губернаторской свиты. Незнакомец курил сигару из совсем сырого табака, от дыма которой Крамнэгела едва не затошнило, и дышал отвратительным табачным перегаром. — Губернатор еще не кончил говорить.

— Что такое?

Дышавший табачной вонью рот придвинулся к уху Крамнэгела.

— Губернатор будет говорить еще.

— А-а...

У Крамнэгела помутилось в глазах, как у боксера, уже неспособного даже найти на ринге свой угол.

— Позвольте мне также, — продолжал губернатор, — вручить вам вместе с адресом еще один символ глубочайшего уважения и признательности, переданный мне минуту назад, символ уважения всех сотрудников полицейского управления и признательности ваших начальников — два билета первого класса для кругосветного путешествия — вам и вашей очаровательной супруге!

В зале раздался рев, в котором смешались чувства самые разнообразные — так, пожалуй, взревела бы толпа, выиграй Рокфеллер «кадиллак» в грошовой благотворительной лотерее. К Крамнэгелу мгновенно вернулась ясность мысли, в крови заиграл адреналин, и он заметил, как Ал Карбайд, крадучись, пробирается на свое место, хлопая на ходу в ладоши. Это он, должно быть, передал губернатору билеты. Крамнэгела охватила слепая ярость, резко контрастировавшая с морем улыбавшихся лиц, которые жадно ждали его ответа.

— Господин губернатор... Господин мэр... О, да, и монсеньор, простите, пожалуйста...

Несмотря на гнев, Крамнэгел говорил мягким, смиренным, заискивающим голосом. Только опыт и выучка заставляли его держать себя в руках. Боксер услышал гонг и выпрыгнул на ринг, устремившись в верном направлении и приняв боевую стойку. Противник не должен догадываться, что нанес ему жестокий удар.

— Если мне и удалось сделать в жизни что-то хорошее, то я хочу за это поблагодарить всех, кто прямо или косвенно связан с полицейским управлением, тех, чьими стараниями стало возможным... Конечно... конечно же... чудесное испытываешь чувство... когда тебя ценят... Нет такого человека на благословенной земле, чтобы он хорошо работал, если его работу не ценят... И плевать я

хотел, если кто другой думает иначе! (Монсеньор кивнул, как бы мрачно удивляясь справедливости этого наблюдения, а слушатели оценили эту самобытную прямоту.) И вот еще что. Не родился на земле такой парень, которому по плечу делать все одному... то есть не родился еще парень, способный жить без помощи... но вам, ясное дело, никто помогать не станет, если вы сами не умеете помогать другим... Не знаю, понятно ли я говорю... но... но мне очень во многом помогла моя мать, моя мама... (Стоило лишь ему произнести это слово, как в зале воцарилась задумчивая тишина и многие губы, даже те, что стискивали сигары, свело в натянутые улыбочки.) Я вряд ли скажу что-нибудь новое, ну да по мне так лучше старое, но правдивое, чем новое, да фальшивое... Моя мама... ну, что я могу сказать, я, сдается мне, только потом уже понял, каких жертв ей стоили заботы о нас всех... нас ведь было трое... все были сыты, одеты, бога чтили... И если я стал тем, кем стал, что ж... (Сама бессвязность его речи была достаточно красноречива.) Отец... (Тут он улыбнулся с вымученным восторгом, и все присутствующие немного расслабились, поняв, что самый священный предмет уже отступает на пропахший лавандой задний план.) Отец... он был строг, но, ей-богу, всегда справедлив. Если он ловил нас на драке или, так сказать, на неправде, его ремень тут же выпрыгивал из брюк, что гремучая змея, а мы сразу шагали к дровяному сараю, не дожидаясь повторного приглашения. Да, он был строг, но он научил нас отличать белое от черного. (Двусмысленность последней метафоры несколько омрачила всю радость от мазохистских воспоминаний Крамнэгела, и в зале раздалось покашливание, которого он, впрочем, не понял.) Должен я также сказать и о своей чудесной жене, миссис Крамнэгел... Встань, поклонись, Эди... (Готовая вот-вот прослезиться, Эди встала и поклонилась.) Не знаю никого другого на белом свете, кому бы так повезло, как мне. Я нашел Эди сразу вскоре после того, как ее муж — да, да, я назову его имя, он ведь был моим другом, товарищем моим, и погиб, выполняя свой долг... прости, Эди, но я обязан это сказать... Чет Козловски был отличным полицейским, одним из самых лучших полицейских всех времен, и где бы ты сейчас ни был, Чет, я хочу, чтобы ты знал, что таких, как ты, теперь уже не бывает. Несмотря на горе утраты, Эди сочла возможным... что ж, даже если я и не мог заменить ей Чета... она согласилась стать миссис

Крамнэгел... Благослови тебя господь, Эди. (К этому моменту Эди заливалась слезами так, что была уже не в состоянии реагировать.) Ну вот, а что касается полицейского управления, то я просто хочу, чтобы вы знали, что я до последнего вздоха... повторяю, до последнего вздоха буду бороться за то, чтобы наша полиция была самой лучшей и самой толковой во всем штате... и, даже более того: во всем, черт побери, мире! (Вот это выдал! Естественно, грянули аплодисменты. Теперь Крамнэгел перешел на более мирный тон, как обычно — исключительно по соображениям благозвучия — поступает большинство ораторов, если подобный переход оправдывается реакцией аудитории.) Я знаю, что наша работа подвергалась критике. (Он взглянул на этого калеку паршивого, Реда Лейфсона, усмехавшегося в своем кресле на колесиках, и ответил ему усмешкой на усмешку.) Вот, например, дело Тэда Морасаки, молодого американца японского происхождения, страдающего дефектом речи. Его приметы совпадали со словесным портретом и фотороботом молодого филиппинца, которого разыскивали федеральные власти за торговлю наркотиками. Он остановил патрульную машину, чтобы что-то спросить у полицейского — все, вы, наверно, помните этот случай, — и полицейскому показалось, что он опознал разыскиваемого, поэтому он, значит, попросил его предъявить документы... ну, парень полез в карман за водительскими правами, а полицейский решил, что тот полез за оружием, и поэтому выстрелил первый... Вы, наверно, помните похороны... Я послал венок лично от себя, полицейское управление выставило почетный караул... Мы получили благодарственное письмо от родителей паренька — просто чудеснейший человеческий документ. Так что вот: я никоим образом не оправдываю действий этого патрульного. Он получил выговор и был переведен из уголовной полиции в полицию нравов. Вот так решительно я отреагировал, но все же позвольте вам кое-что сказать: когда человек лезет в карман, а у вас есть основания считать, что в кармане у него револьвер, то вам некогда миндальничать. Либо он, либо вы, а разбираться будем в участке.

— Или в морге, — приятным голоском сказал Ред Лейфсон.

— Еще один случай, — продолжал Крамнэгел, не обращая на него внимания. — Молодой человек по имени Касс Чокбэрнер, отличный парень и хороший американец с безупречным армейским послужным списком, со-

брался, значит, жениться и зашел в ювелирный магазин Зиглера, что на перекрестке улиц Монмут и Седьмой, чтобы купить кольцо. Он, значит, заплатил за покупку — дело это было давно, в сороковых годах, — и тут увидел, что к остановке подходит его автобус — в те времена, значит, маршрут пригородного автобуса проходил по Седьмой улице — это было еще до того, как ее сделали односторонней. Ну, так вот, он бросил на прилавок деньги, схватил кольцо и выбежал из магазина. Постовой увидел, как он выбегал из магазина, выстрелил и уложил его наповал. Этим постовым, дамы и господа, был я — и, доложу вам, нагорело мне тогда по первое число. Я, конечно, глубоко сожалел о случившемся, просто крайне сожалел, но что же прикажете в таких случаях делать? Когда на твоих глазах из ювелирного магазина вылетает молодой парень — который, может, только что пришил хозяина, — тебе некогда разбираться, на автобус он спешит или нет, да и вообще, если у парня есть монета, чтобы ходить по ювелирам, то ведь в голову не придет, что он бежит на автобус, верно? Если он преступник, а к дверям подбежит хозяин магазина и увидит, что постовой не принял никаких мер, только приказал парню подойти к нему и ответить на пару вопросов, то где потом этот постовой окажется?

— Вы, помнится, говорили, что хозяин-то был убит, — опять перебил его Ред.

— В глубокой луже, вот где, — продолжал Крамнэгел, — так что когда вы критикуете полицейского за ошибку, совершенную при исполнении служебных обязанностей, всегда помните, что эту ошибку он совершил в какую-то тысячную долю секунды, когда на колебания и сомнения нет времени. И думайте о том, сколько жизней спасено, сколько преступников задержано или уничтожено потому, что полицейский сумел принять верное решение! (Лицо его посуровело.) Преступник — это человек, преступивший закон, человек, который не чтит ничего, кроме своих преступных талантов, не опасается ничего, кроме собственных нервов, и думает лишь о том, как преуспеть. (За долгие годы выступлений перед новобранцами Крамнэгел отработал четкие формулировки.) Мне безразлично, как, каким путем и какими средствами мы выиграем войну с ним, но мы вышли на бой, чтобы победить, и как перед богом, именно этого мы — чтоб им всем... прошу прощения... — добьемся!... (Аплодисменты.) Плевать мне, если я убью или покалечу злост-

ного гомосексуалиста. Плевать мне, если я оборву карьеру торговца наркотиками, раз я защищаю этим невинных детей и спокойствие наших улиц. И поэтому я так восхищен и тронут этим отличным, художественно выполненным приветственным адресом, всеми великолепными словами, которые в нем написаны, и его прекрасным оформлением. Он, разумеется, будет висеть на самом почетном месте в моем скромном доме. (Крамнэгел насупился.) Разумеется, я очень признателен и за билеты на кругосветное путешествие тоже, но, по-моему, здесь у нас еще столько работы... а мир никуда не денется... и я в самом деле считаю, что нельзя мне покидать поле боя в такой горячий момент. (В зале начали переглядываться. Может, здесь заговор, чтобы убрать его в отставку? Среди присутствующих стали раздаваться непроизвольные возгласы симпатии и одобрения.) И если бы не Эди... Вот что я вам скажу, друзья любезные: я поеду, если мэр даст мне слово, что, когда я вернусь, мое место останется за мной.

Мэр моментально вскочил на ноги.

— Это же банкет в вашу честь, Барт! Да никому и в голову не приходило даже думать о вашей отставке!

(А теперь вот, ей-богу, пришло.)

— Вы тут упоминали про то, сколько нам с вами лет...

— Да что вы, Барт, право... Я же пошутил! Шуток вы никогда не слыхали, что ли?

— Шутки я слыхал. Только разные бывают шутки.

— Вот как? Но, право же, мы достаточно давно знакомы, чтобы...

Крамнэгел посмотрел на своего заместителя.

— К тебе, Ал, это не относится, сам понимаешь.

Улыбка сползла с лица Ала Карбайда. Только сейчас до него дошло, что слова Крамнэгела могли относиться к нему.

— Ну ладно, ладно, я поеду, поеду, чтобы доставить всем удовольствие, но... ненадолго!

Поднялся со своего места губернатор.

— Я только хочу сказать, что вернусь к себе в резиденцию, вынеся из этого примечательного события память о том, с какой чудесной силой горит в сердце этого человека пыл служения своему делу. В наш век малодушия и неверия встреча с таким человеком воистину вдохновляет, и я еще раз хочу поблагодарить вас, Барт. Подобные уроки не забываются, сэр.

Раздалось еще несколько разрозненных хлопков, и все гости поднялись со своих мест, думая уже совершенно о другом.

2

К тому моменту как Крамнэгел появился в своем кабинете с табуреткой и молотком в руках, намереваясь прибить приветственный адрес к стене, он уже выпил немного больше, чем следовало. По этой, видимо, причине он и вогнал гвоздь себе в палец и завопил, изрыгая ругательства, пока жена не напомнила ему, что он — взрослый человек, страж порядка и всем гражданам пример. После банкета Крамнэгел вернулся из гостиницы в полицейское управление пешком, по пути обсасывая про себя все подробности достославного события; мозг его застилала мутная пелена, оставленная вином, пить которое он не привык, и, с усилием продираясь мыслями сквозь нее, он пытался решить, удался его триумф или нет. Казалось, прохожие теперь вели себя менее дружелюбно, чем до банкета, но это, наверное, просто давала себя знать мания преследования, дремлющая в душе каждого человека. Добравшись до своего кабинета в управлении, он попытался сделать вид, что работает, но раза два засыпал за столом, причем один раз проснулся от собственного храпа и увидел усмешку на лице стоявшего рядом и разглядывавшего его Ала Карбайда — а не проскользнуло ли в этой усмешке ехидное удовлетворение? «Ты уже стар, отец Бартрам, — сказал юнец» *. «Ну, покажу же я им», — и снова отключился на минутку. Нет, это не возрастное, все, должно быть, от этого гнусного пойла — калифорнийского бургундского.

Управление он — человек, всегда засиживавшийся допоздна, — покинул в тот день рано. В коридорах толпились переодетые женщинами полицейские, последними мазками приводившие в порядок косметику, прежде чем выйти на панель, соблазнительно семеня ножками и скрывая под платьицами натренированные мышцы, готовые молниеносно выполнить прием каратэ. Другие полицейские по-мужски грубовато пошучивали, натягивая на коротко остриженные головы хипповые парики, да так, чтобы кудряшки скрывали выбритые до синевы мордасы. В вестибюле Крамнэгел неожиданно столкнулся с

* Перефразированная строка стихотворения Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес».

кучкой типичных ветхозаветных евреев, белых, как сметана, в бархатных воротниках, густо обсыпанных пылью и перхотью, в больших черных шляпах; спускавшиеся на щеки пейсы придавали им какой-то болезненно-невинный вид.

— Это еще что за чучела, черт побери? — поинтересовался Крамнэгел.

— Сержант Волински.

— Постовой Джегер.

— Лейтенант Сайвертс.

— Сайвертс? — зарычал Крамнэгел. — Что вы здесь устроили за чертовщину? Бал-маскарад прямо в управлении?

— Это АСП, капитан.

— АСП? — вскричал Крамнэгел. — Господи, да я напрочь забыл о нем! А знаете, ребята, что скажу? Вы смотритесь на все сто! Здорово, ей-богу, здорово! Да какого черта я все время тебя поминаю, господи, скажи мне, Христа ради?

«АСП» означало «антисемитский патруль», новое изобретение Крамнэгела (а может, на самом деле, Ала Карбайда?), явившееся следствием отчаянных просьб руководителей городской еврейской общины. По улицам Города, смутно напоминая восседающих на непомерно больших мотоциклах валькирий, носились орды возбужденных юнцов, одетых в черную кожу, украшенную знаками различия времен войны 1914 года, и избивали раввинов прямо под стенами иудейской богословской школы. Неожиданное столкновение с более спортивной породой святых людей должно было внести смятение в их ряды. Кудахтая от охватившего его восторга, Крамнэгел вывалился на улицу и позволил отвезти себя домой в патрульной машине. Коктейль из алкоголя с интригами — все это вино за обедом, да потом пара банок пива в управлении, да бурбон с Алом Карбайдом, чтобы показать, что он на Ала камня за пазухой не держит, да потом еще три-четыре бурбона с лейтенантами Армстронгом, Кьюликом и Перри, чтобы камень на Ала лежал за пазухой и у них, — возымел свое действие, и Крамнэгела снова пришлось будить, когда машина затормозила возле его дома.

И вот теперь он уже сидел в пижаме, которую шутки ради подарила ему жена, — пижаме в тюремную полоску, с номером на груди и с надписью: «Меня разыскивают... в кровати» на спине. Палец его был щедро забин-

тован, и он уплетал уже третью порцию размороженного и разогретого ужина, специально приготавливаемого для телезрителей, чтобы тем не приходилось отрываться от экранов. Крамнэгел и не отрывался — он внимательнейшим образом смотрел программу новостей, шедшую по одному из семи каналов. Он уже посмотрел на себя по трем другим каналам и был разочарован. Слишком много места было уделено тому, как он мямлил вначале, а самые боевые куски его речи не показали, изображение на экране было таким темным, что зубы губернатора, вручавшего приветственный адрес, сверкали, как фары приближающегося потока машин. Камера показывала улыбающиеся лица всякой мелкой сошки, присутствие которой на банкете не заслуживало внимания. О Крамнэгеле комментаторы говорили безразличным голосом и без тени похвалы.

По четвертому каналу выступал со своей версией последних известий Ред Лейфсон. Хотя согласно опросу телезрителей его программа не принадлежала к основным источникам новостей и информации, она была единственной, которую смотрели абсолютно все. Крамнэгел поджидал ее с опаской, и недовольство начало накапливаться в его душе задолго до начала передачи. К тому моменту, как Ред появился на экране, улыбаясь из своей инвалидной коляски (выглядел он при этом как топорно сделанная гипсовая статуя из тех, что стоят в парках), а рядом трясся в потоке небесной пыли маленький глобус (что должно было изображать его «мир»), Крамнэгела уже охватила ярость.

Ред Лейфсон увещевал китайское руководство так, будто его взгляды имели вес в Пекине; затем он дал понять, что Соединенные Штаты лет на пять отстали от русских в освоении космоса. Никто знать не знал, откуда он берет свои данные, да и берет ли он их откуда-то вообще, — главное заключалось в том, что к его словам прислушивались в Городе так же внимательно, как если бы это были слова кого-нибудь из членов сената США, сказанные, впрочем, с не более весомым основанием. Ред свирепо обрушился на ставшие почти повседневным явлением примеры коррупции, нещадно критикуя членов Верховного суда, небрежно принимавших крупные подношения в обмен на ничтожные услуги; генералов, финансово заинтересованных в программах по культурному обслуживанию войск; не обошел он никого, вплоть до рядового церковного миссионера, оказавшегося на повер-

ку хозяином борделя в Сайгоне, который поставлял клиентам по телефонным вызовам сифилитических проституток. Программу свою Ред вел тоном разящего благолепия: «Мне-де от всего рассказанного еще больнее, чем вам самим». И если бы Реду Лейфсону сказали, что манипуляция информацией является разновидностью злоупотреблений, он прорычал бы в ответ, что свобода печати подвергается угрозе то ли со стороны явных, то ли со стороны тайных коммунистов, то ли со стороны «новых левых», хотя, кто они такие, он себе толком и не представлял.

А вот освещение спортивных новостей носило у Реда Лейфсона характер менее противоречивый — хотя бы потому, что здесь результаты легче подвергались проверке, зато Лейфсон чувствовал себя вправе советовать спортсменам уйти из спорта, если в данном сезоне им не везло. Он анализировал результаты их недавних выступлений, сопровождая свой комментарий демонстрацией слайдов, изображающих спортсменов в действии и заведомо подобранных так, чтобы они выглядели возможно более нелепо. Затем Ред вновь напяливал на себя маску добродушного дядюшки и задавал вопрос вроде: «Не пора ли опустить занавес над спортивной карьерой Холли Шметечека в сборной университета Тернового венца? Разумеется, опускать занавес не всегда приятно, Холли, но зрители-то валом валят с трибун во время ваших выступлений. Так не лучше ли, старина, поставить точку сейчас и выжать из толпы хоть какие-то аплодисменты, пока их еще можно выжать вообще?»

Политика, спорт, а о банкете пока ни слова. Местные новости. Еще один раввин, избитый налетчиками, отважно бормочет в луже крови банальные фразы о необходимости прощать обидчиков. Полицейские волокут одуревшего от наркотиков негра, только что убившего своего брата из-за того, что они с ним никак не могли решить, где сидеть в закусочной, — его мать, закатив глаза, шныряет из стороны в сторону так быстро, что камера не поспевает за ней. Член преступного синдиката, представший перед судом по обвинению в жульнических махинациях с городским бюджетом и оправданный, повторяет с размеренностью метронома, что ему нечего добавить к словам судьи, — его сияющий от восторга адвокат сообщает репортерам, что клиента ждет продолжительный отдых на Багамских островах. Полицейские вышвыривают группу хиппи с территории университетского город-

ка — окровавленных, ободранных, шатающихся юнцов, падающих под градом ударов; хриплые выкрики сержантов, поднятые руки тех, кто пытается закрыть лицо, стыдясь быть узнанным, настороженное ухо и пытливый взгляд послушно выдрессированного пса — лучшего друга человека, по команде готового на человека наброситься. Шум, беспорядок, полная бессмысленность происходящего, смерть, столь же необъяснимая, как и сама жизнь, — экран дергался нервным тиком очередной дневной порции местных новостей.

— Ага, наконец-то он дошел до дела, сукин сын! — завопил Крамнэгел.

— Уж коль мы заговорили о делах полицейского управления, было бы несправедливо обойти молчанием одно из тех прекрасных событий общественной жизни, которые все еще способны напомнить нам о днях, ушедших в прошлое, — промурлыкал Ред Лейфсон. — Гостей поили то ли калифорнийским, то ли мозельским, потчевали то ли бифштексом, то ли телятиной, а чествовали то ли Барта Крамнэгела, то ли дыры в структуре нашего полицейского управления, где их не меньше, чем в мишени, по которой упражняются в стрельбе агенты ФБР.

— У-у, сволочь!

— Будем откровенны. Мы услышали много интересного. Начальник полиции Крамнэгел пошел записываться добровольцем в морскую пехоту через полчаса после нападения на Пирл-Харбор. Армия, право же, потеряла хорошего человека, отказав ему по причинам, которые мои сотрудники... (Он рассмеялся, заглянув в лежавшую перед ним бумажку.) Но эти причины никак — ну, просто никак — не подлежат огласке. Остается лишь пожалеть, что полицейское управление не получило в его лице работника столь же ценного, сколь потеряла армия. Давайте смотреть правде в глаза, Барт: что-то не так уж много уголовников попадает сегодня в тюрьму. Аресты вроде вышли из моды. А скольких насильников сумело задержать бравое подразделение переодетых в баб полицейских? Ей-богу, очень даже интересно наблюдать полицейских, прогуливающихся по улицам в столь живописном виде, за который нормальный человек загремел бы за решетку как извращенец. Я, право, не хочу сказать, что все это способствует росту престижа полиции в глазах общественности, я всего лишь хочу сказать, что картина уж больно впечатляющая — да и слухи ходят, что некоторые из ваших сотрудников получают от этого

ух какое удовольствие... но где же аресты? А как обстоят дела с этим вашим последним всплеском фантазии — с патрулем, переодетым в школяров хедера? Сколько им удалось сцапать потенциальных гауляйтеров и кровопийц? Сколько, а? — Ред даже присвистнул. — И не говорите! Эти ваши идеи, Барт, должно быть, великолепно звучат в стенах вашего кабинета. Может, они даже сохраняют какой-то блеск при проведении инструктажа. Но почему же, черт побери, они так жалко выглядят на практике, а? Нет, Барт, не мне отвечайте, мне отвечать не надо. Ответьте Городу!

— Свинья, сволочь, погань проклятая! — завопил Крамнэгел, выключая телевизор и срывая с телефона трубку. Дежурным по управлению оказался лейтенант Армстронг. Крамнэгел, у которого от ярости начали дергаться веки, приказал тому смотреть в оба за машиной Реда Лейфсона и следить, куда бы Ред ни ехал.

— Чтоб всю машину увесить штрафными квитанциями, как рождественскую елку игрушками... любое нарушение, самое мелкое, немедленно оформлять протоколом... техническое, любое другое... чуть что — сразу привлекай по статье... По всем статьям, ясно? Если он действительно наколется на чем-нибудь серьезном, то просто прекрасно... Знаю, что сам не водит, но это неважно... Да, Марвин, раз уж мы все равно о нем. Разыщи по архивам сведения о том, как этот дешевый христопродавец потерял свои ноги... Это он так говорит, а я тебе говорю, что либо ему ноги дверью лифта отдавило, либо на него наскочил официант с тележкой, когда он в какой-нибудь гостинице подглядывал из коридора в замочную скважину... — Он заревел во все горло: — Плевать мне где, пусть тебе хоть в Форт-Нокс * придется вламываться! Но чтоб материал лежал у меня на столе!

Крамнэгел повесил трубку. Чувствуя, что после беседы с Армстронгом он успокоился и немного пришел в себя, он включил телевизор снова, но теперь уже на другую программу, чтобы не нарываться больше на мистера Лейфсона.

«Мы же были дружками, помнишь, Сидни? Помнишь, как мы на рыбалку ездили, а, Сид? Вдвоем, только ты и я... Ездили на рыбалку, рыбку удили...»

Раздался выстрел, за которым последовал шум падающего тела. Устроившись в кресле-качалке поудобнее,

---

* Хранилище золотого запаса США.

Крамнэгел на ощупь, как слепой, потянулся к банке с пивом, уже с головой погрузившись в новую передачу и напрочь забыв о Лейфсоне.

Ближе к концу фильма в дверях появилась Эди. Мешанина из напитков подействовала и на нее. Свою прическу она превратила в заросли дикого кустарника, откуда отдельные пряди падали ей на глаза. Наряд ее состоял из черных прозрачных пижамных брючек и черного прозрачного балахона, запястья и щиколотки украшали выпушки из искусственного меха. Сквозь балахон просвечивал усыпанный звездами лифчик, подхватывавший грудь, оставляя обнаженными соски. Эди курила вставленную в мундштук из слоновой кости сигарету.

— Привет, любовничек, — прохрипела она.

— Тс-с-с! Он сейчас так промахнулся, господи ты боже мой!

— Кто промахнулся?

— Лем Крэддокс.

— Это еще кто, черт его дери?

— Частный детектив. Китайцу, значит, трепанул, а старику, значит, ничего не сказал, вот он и... — Крамнэгел взглянул на жену и присвистнул.

— Секса не желаете? — осведомилась она.

— Ты вся такая аппетитная, прямо так бы и съел, — ответил супруг, снова поворачиваясь к экрану.

Эди давно уже привыкла и к нему, и ко всем его повадкам. Замужество за тремя полицейскими даром не прошло. Подойдя к проигрывателю, она поставила пластинку. Музыка с настроением. Под такую музыку хорошо раздеваться. Она зажгла палочку благовоний, и густой виток голубого дыма начал подниматься вверх анемичной коброй. Она пригасила свет. Крамнэгел впился в экран, от души надеясь, что Крэддокс успеет произвести арест, прежде чем ему самому придется исполнять супружеские обязанности. Но Крэддокс все медлил. Крамнэгел разрывался от нерешительности. Он взглянул на часы, и вдруг экран заслонила волнующаяся тощая грудь Эди, и прямо перед его лицом очутились губы, влажные, как мостовая в дождливый вечер. Эди зажмурила глаза в предвкушении экстаза. Передний зуб был испачкан помадой, и от нее пахло спиртным.

— Ну давай же, давай, — прошипела она.

Ничего не оставалось делать, кроме как повиноваться, но Крамнэгел был далек от мысли о позорной капитуляции. Он атаковал полураскрытый рот с такой яростью, что

голова жены упала прямо в его подставленные руки, тем самым вновь открыв экран для обозрения. Крэддокс лез в дом через чердак. Тьфу, черт, похоже, что самое важное-то он и пропустил. На кой ляд нужно Крэддоксу переться через чердак, когда в доме есть нормальные двери? Хотя... постой-ка... неужто китаец?.. Из приоткрытых век Эди брызнул предупреждающий зеленый луч, Крамнэгел виновато зажмурился и потянулся рукой к обнаженной груди. «Так, Макмайкл, значит, хотите поиграть? — спросил Крэддокс жестко, приглушенным голосом. — Ну что ж, раз вы так желаете...»

Послышался шум схватки, но у Крамнэгела не хватило мужества открыть глаза. Жаль, что он не успел сделать звук погромче.

Минуту спустя он услышал, что по телевизору уже идет рекламный ролик — женский хор восхвалял достоинства ментолового дезодоранта. Так теперь никогда и не узнать, кто был убийцей. Тьфу, черт!

Проснулся Крамнэгел в половине пятого утра и осторожно выбрался из постели.

— Ты куда собрался, любовничек?

— В сортир.

— Да, другого такого романтика на всем белом свете не сыскать, чтоб тебя разорвало! — не на шутку рассердилась проснувшаяся Эди.

— Что я такого сказал?

Она запустила в него подушкой.

Крамнэгел шагнул было обратно к кровати, но потом передумал и включил телевизор. Шла ночная рекламная передача, в которой диктор всю ночь болтал с усталым шимпанзе, пытаясь прославить товары тех фирм, которым оказалось не по карману более подходящее для рекламы время.

— Выключи, — пробормотала она, снова засыпая.

Оставив телевизор включенным, он отправился в уборную.

Три часа спустя они пили кофе, который молча заварил он сам.

— В чем дело, крошка? — спросил он.

Эди начала плакать. Крамнэгел подлил себе в кофе молока.

— Конечно, я понимаю, — попытался он утешить жену. — Ночью у меня не очень-то получилось, но все будет по-другому, как только мы доберемся до Азии. Наверное, они правы: я действительно перетрудился, надо

отдохнуть, не нервничать... А то уже очень выходит тяжело для тебя... хотя, видит бог...

— Что он видит? — резко спросила Эди, промакивая глаза салфеткой.

— Бог видит, что ты и раньше была замужем за полицейскими и должна понимать...

— «Чет Козловски, где бы ты ни был, я хочу, чтобы ты знал: таких, как ты, теперь уже не бывает», — жестоко и нагло передразнила Эди, а затем перешла на свой обычный раздраженный тон: — Чет Козловски был педераст.

— Не смей! — поднялся он из-за стола.

— Это правда, черт побери, и все тут!

— Не смей так говорить о моем друге! — прорычал Крамнэгел.

— О, вот оно что?

Крамнэгел рухнул обратно на стул.

Теперь атмосфера накалилась до того, что, несмотря на раздражение, Крамнэгел счел своим долгом попытаться разрядить ее.

— Да-а, — сказал он. — Видел я как-то в книжке картинку Тадж-Махала. Прямо как в сказке. Чудесная работа.

— Мы не поедем в Тадж-Махал, — хмуро буркнула Эди.

Вот так-то. Подождав минуту, Крамнэгел накрыл ее руку своей тяжелой огромной ладонью.

— Есть же и другие места, — сказал он отважно. — На этом паршивом Тадж-Махале свет клином не сошелся. — Поскольку реакции на его слова не последовало, он спросил: — По какому маршруту мы поедем?

— У меня все записано.

— Ну и отлично.

Еще одна бесконечная пауза. Затем:

— Что отлично?

— То, что у тебя все записано. Так мы хоть будем знать, куда едем. Чтоб никаких там неожиданностей. Нет, правда, я даже предвкушаю удовольствие от нашей поездки.

— Но ты же говорил...

— Забудь, что я говорил. Что у нас там — Греция? В Грецию едем, да? Колыбель нашей цивилизации, это уж точно... Желудь, из которого проросла наша конституция. И Италия, а? Былая слава Рима! Помнишь тот

фильм — «Мантия»? Как раз про это. И Израиль! И Аравия!

На этом известные ему страны кончились. Не сумев больше ничего придумать, он по зрелом размышлении поднялся из-за стола.

— Куда ты?

— В душ.

3

Прежде чем стать на стезю своих великих приключений, Крамнэгел позаботился о том, чтобы перед отъездом нанести ряд визитов с целью «прояснить», как он это сформулировал, «отношения». И пригласил в дешевую бифштекспую Ала Карбайда. Как ни старался Крамнэгел скрыть неприязнь к своему заму, одного вида этого худого серого лица с кружевом вен на висках и с глубокими впадинами щек, подергивающего носом и прищелкивающего зубами, заглатывая лук со сметаной подобно какой-то истеричной рыбе тропических широт, было достаточно, чтобы пробудить чувство чисто животного отвращения. Чтобы человек хотел — и мог! — поглощать целые горы пищи с упорством обжоры и постоянством сластолюбца, оставаясь при этом жилистым и крепким, как стальной трос, — нет, здесь явно что-то не так!

— Ну, так как бы ты руководил нашей полицией? — спросил Крамнэгел, обескураженный направлением, которое принял их разговор.

Ал улыбнулся и ответил тихо:

— Мне вряд ли пристало говорить о том, как бы я вел себя на твоем месте, Барт.

— Это почему?

— Да потому, что оно твое место, а не мое.

— Когда-нибудь оно может стать и твоим.

— Есть большая разница между «может» и «станет».

Крамнэгел умолк.

— А если я тебе прикажу отвечать? — спросил он наконец.

Ал лишь шире раздвинул рот в улыбке, обнажив больше зубов, чем обычно свойственно улыбающемуся человеку.

— Так приказ это или нет, а, Барт? Я же сейчас не на службе.

— Послушай, я просто хочу знать, что я, по-твоему, делаю не так.

— С какой стати я должен считать, будто ты что-то делаешь не так, Барт?

— Да с такой, Ал: нормальный человек не может не подозревать за собой ошибок, вот с какой! — повысил голос Крамнэгел.

Немного поразмыслив, Ал Карбайд начал рассудительно:

— Ну ладно, начальник. Скажу. По-моему, ты не прав в том, что слишком много требуешь с подчиненных.

— То есть заставляю их работать вовсю? — От такой славы Крамнэгел и не думал отказываться.

— Нет. Я о другом. По-моему, ты не можешь требовать, чтобы они играли роли хиппи, шлюх, раввинов и бог знает кого еще. Они — не актеры, они — полицейские. И работают они плохо только потому, что от них слишком многого хотят.

— Что же ты предлагаешь?

— Одеть их в подходящую одежду. Ну, такую, какую они сами носили бы вне службы. И не назначать больше парней изображать из себя раввинов только потому, что подошла их очередь, и не требовать от полузащитников нашей футбольной команды убедительно разыгрывать из себя девочек на панели. Да вот, пожалуйста, тебе конкретный пример: только в прошлый вторник мне пришлось снять с антисемитского патруля сержанта Ламберта, когда тот уже выходил на дежурство. Выходил потому, что никто не решился взять на себя ответственность исключить его из списка — ведь список подписал ты, Барт. Вот такие вещи и выставляют наше управление на посмешище.

Крамнэгел почувствовал себя достаточно смущенным, чтобы тут же ринуться в атаку.

— Почему это Ламберту было неугодно выходить на дежурство в составе антисемитского патруля, как всем другим? — поинтересовался он. — Что он вообще имеет против антисемитского патруля? Уж не антисемит ли сам? Почему это Ламберт не пожелал переодеваться раввином?

— Потому что сержант Ламберт — негр, — мягко объяснил Ал.

Крамнэгел на секунду прикрылся пивной кружкой.

— Что ж, может, ты и прав, — вздохнул он. — Может, нам и впрямь надо попробовать что-то другое.

Но ведь эти патрули-ловушки мне вроде как собственные дети, Ал. Дай им время встать на ноги, они, может, еще и сработают. Давай проявим хоть немного веры. Ал. Ей-богу, ведь в этом и есть вся жизнь — в вере, правда?

— Конечно, конечно. Я ведь выкладываю тебе свои мысли только потому, что ты меня заставил, Барт. Я знаю, что патрули — твое детище. Я ничего общего с ними иметь не хочу, то есть я хотел сказать, что не претендую ни на какую от них славу. И не только потому, что я ее не заслужил, но и потому, что с помощью твоих патрулей мы так никого ни разу и не задержали. Нет, не верю я в них.

— Все, кончил? — прошипел Крамнэгел. Уж чего-чего, а подобного несогласия со стороны подчиненных он не терпел.

Теперь настала очередь Ала Карбайда рассердиться. Глаза его блеснули пронзительной холодной голубизной.

— Нет, не кончил, — сказал он очень тихо. — Чем мы вообще занимаемся в этом нашем полицейском управлении? Боремся с организованной преступностью или устраиваем цирк?

— Что такое?

— Вопрос, Барт, всего-навсего вопрос. Ты же поощряешь вопросы. Так за кем же мы охотимся, кого ловим: какого-то извращенца, разгуливающего в женском платье, сопливого прыщавого дурня в кожаной куртке со свастикой или организованных преступников, настоящих гангстеров, тех людей, которые раскланиваются и с тобой, и со мной, когда мы встречаем их в приличных домах, и которые посылают нам поздравительные открытки к рождеству?

— Ну знаешь! — завопил в ярости Крамнэгел, но тут же, прежде чем продолжить тираду, внимательно огляделся по сторонам и понизил голос: — Слыхали мы такие разговорчики, Ал, всю жизнь слыхали, пока карабкались к верхушке дерева сами... так болтать можно только по молодости, и только по молодости можно слушать этот треп без того, чтобы не психануть.

— Ты стал такой уж старый, Барт? — спросил Ал, спросил как ударил.

— Я достаточно стар и достаточно молод для своей работы — и не в возрасте здесь дело, Ал, а в том, что лучше меня полицейского в округе нет!

Ал промолчал.

— Идеалы! — фыркнул Крамнэгел. — Мы живем в

мире, который не мы придумали, Ал. Организованная преступность не нравится мне так же, как и тебе, — даже еще больше не нравится, но она реальность, жизненный факт... все равно что мой кабинет в управлении — дали мне, значит, комнату в один прекрасный день, а я ее, между прочим, не обставлял, взял с мебелью, какая там была... Может, мне эта дерьмовая мебель и не нравится, но это мебель, при которой мне приходится жить.

— Как начальник полиции ты обладаешь достаточной властью, чтобы сменить мебель, которая тебе не нравится, Барт.

— Но дело в том, что именно эта мебель мне и нравится, — решительно отпарировал Крамнэгел.

— И организованная преступность тоже?

— Я просто выбрал неудачный пример, вот и все. С каждым может случиться. — Он вдруг заговорил напряженным шепотом: — Я слежу за ними — и когда настанет время, когда все нужные факты будут у меня в руках, я врежу им так, что они даже не поймут, что это на них свалилось.

Ал нахмурился.

— Может, ты и следишь за ними, Барт... Мне трудно сказать...

— Раз я сказал, что слежу, — взорвался Крамнэгел, — значит, так оно и есть!

— Но меня беспокоит то, что они даже не считают нужным следить за тобой, а гуляют себе, как будто полиции вовсе нет.

Крамнэгел понизил голос и прошептал как заговорщик — с лукавым удовольствием:

— А я именно того и добиваюсь. Я не хочу их настораживать. Я дождусь, пока марихуану не начнут разводить на каждом подоконнике и пока в каждом дворе не начнут выращивать это паршивое зелье, и только тогда на них обрушусь, но не раньше. Как только они почувствуют себя в полной безопасности, вот тут-то я их и возьму.

— К тому времени уже может оказаться поздно, Барт. Съезди-ка в любой другой город нашего штата — везде ведь думают, что наше управление уже куплено на корню, да и статистические данные по преступности и наркомании не в нашу пользу — нам этими данными не прикрыться.

— Пусть так и думают... пусть все так думают... это поможет нам в конечном счете накрыть всех разом.

Ал пожал плечами и помолчал немного, но улыбка больше не появлялась на его лице.

— У тебя на все есть ответ, Барт.

— Припиши это моему опыту, Ал.

— Позволь задать еще один вопрос, начальник. Наша полиция действительно куплена?

Крамнэгел грохнул кулаком по столу и, с видимым усилием сдерживая гнев, прошипел голосом, в котором отчетливо прозвучали угроза и неприязнь:

— Тебе бы следовало быть умнее и не задавать таких вопросов.

Ничуть не дрогнув, Ал Карбайд в упор уставился на Крамнэгела пристальным взглядом бледно-голубых глаз.

— Я спросил, потому что должен знать наверняка, начальник. Говорим ли мы об одних и тех же людях, когда говорим об организованной преступности?

— Мы говорим о преступном синдикате, — невнятно буркнул Крамнэгел.

— Имена, Барт, имена...

— Имена ты знаешь не хуже меня...

— Джо Тортони... Милт Роттердам... Бутс Шиллигер...

— Да, — нервно согласился Крамнэгел.

— Судья Уайербэк... его честь мэр Города, — продолжил Ал.

— Ты, знать, совсем с ума спятил, — вспыхнул Крамнэгел. — Ума в тебе не больше, чем в сборщике хлопка.

Он расплатился, и они покинули ресторанчик, не сказав друг другу больше ни слова.

В непродолжительной беседе с мэром Крамнэгел постарался тщательнейшим образом объяснить свою болезненную реакцию на упоминание о возрасте, ни на секунду не опускаясь до извинений. Мэр же отнесся к этому происшествию легко.

— Никто из нас не безупречен, Барт, как говаривала мне моя старая мать-гречанка.

Крамнэгел счел замечание мэра неприличным, поскольку он сам — хотя и не обладая достаточной наглостью, чтобы считать себя безупречным, — ни на минуту не допускал мысли о том, что хоть в чем-то может оказаться небезупречным. И умеет же эта скотина мэр сыпать ему соль на раны!

— Какой порядок вы предусматриваете на время моего отсутствия? — спросил он.

— Ну, тут все очень просто, — ответил мэр. — Существуют же установленные правила на случай вашего отсутствия, вашей болезни, неспособности исполнять свои обязанности, экс-сетера́, экс-сетера́ *. (В устах мэра латынь почему-то прозвучала как «сетера» в отставке.) Согласно им ваш пост — временно, разумеется, — занимает ваш заместитель. В данном случае — Ал Карбайд.

— Мы только вчера с ним вместе обедали, господин мэр.

— Очень мило.

— Да. Он думает, что мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы искоренить организованную преступность.

— Какую такую организованную преступность? — Мэр был само изумление.

— Именно об этом я его и спросил, — поспешно заверил Крамнэгел.

— Шайку Перилли? Или братьев Пенаполи? Но это ведь древняя история. Какая же у нас сейчас организованная преступность?

— То-то и оно... Я вот тоже не знал и спросил, значит, о чем это он... Я прямо, как вы сейчас, господин мэр, сказал ему: «Назови имена».

— А он?

— А он и назвал, — осторожно сказал Крамнэгел.

Мэр раскурил сигару и посмотрел на Крамнэгела сквозь табачный дым.

— Следует ли мне знать его мнение, кто они? — так же осторожно спросил он.

— Как сказать... Может, я просто выношу сор из избы...

— Вы — начальник полиции, Барт. А я — мэр. Не вынося сора из избы, мы не сможем руководить.

— Ну ладно... в общем, он назвал Джо Тортони...

— И кого же еще? — улыбнулся мэр.

— Бутса Шиллигера.

Улыбка на лице мэра сразу съежилась.

— Милта Роттердама.

Теперь мэр больше не улыбался совсем.

— И судью Уайербэка.

Мэр моргнул. Затем рассмеялся.

— Удивительно, что в такую компанию Ал не зачислил и меня, — пошутил он.

* Искаженное латинское «et cetera» — «и так далее».

— Ну, он так далеко еще не зашел, — в тон ему рассмеялся и Крамнэгел.

Как раз в это время загудел на столе селектор.

— Да? — нажал на кнопку мэр.

В динамике забился консервированный голос его секретарши:

— К вам мистер Роттердам, сэр.

— Попросите его подождать. — Мэр выключил аппарат. — Что ж, Барт, извините, но... дела. Наслаждайтесь путешествием и передайте мои наилучшие пожелания миссис Крамнэгел.

Пожав мэру руку, Крамнэгел покинул кабинет.

Не успел он скрыться за дверью, как мэр тут же включил аппарат внутренней связи.

— Мистер Роттердам ждет приема один?

— Нет, сэр, с ним мистер Тортони.

— Проводите их через кабинет казначея, хорошо? Я не хочу, чтобы они наткнулись на Крамнэгела.

— Хорошо, сэр.

Отойдя к окну, мэр прищурил глаза и глубоко затянулся сигарой, размышляя о том, что Ал Карбайд — человек толковый и стоящий и что такого человека всегда безопаснее иметь союзником, нежели врагом.

Крамнэгел же тем временем выходил на улицу, восторгаясь собственным умением — как хитро он сумел подложить Алу Карбайду свинью — и удивляясь своей удаче: он ведь сам оказался свидетелем того, что Милт Роттердам ждал приема у мэра. Сей факт может оказаться весьма весомым, прими дела определенный оборот. Да, хороший подвернулся козырь. Жизнь ведь штука тонкая: никогда не знаешь, что сгодится.

Вернувшись в управление, он вызвал Карбайда к себе, но не сказал ему ничего, только велел установить наблюдение за Роттердамом.

— Есть на него факты? — поинтересовался Ал.

— Нет, просто интуиция... И еще: узнай-ка фамилию и всю подноготную секретарши мэра — маленькая такая, рыженькая, лет двадцати пяти...

— Мэрилин Шопенгауэр.

Крамнэгел окинул Ала холодным взглядом.

— Узнай, — повторил он, как будто и не слышал слов Ала, и затем покинул управление.

Он был в восторге от проницательности, с какою сумел направить этого поганого умника по столь опасному пути, на котором тот неизбежно свернет себе шею. Чем

честолюбивый Ал докопается к истине ближе, тем больше вероятности, что мэр и вся шайка запаникуют, а на кого ставить в открытой войне между мэром и законом, Крамнэгел уж как-нибудь разберется.

Он, разумеется, оценивал других, исходя из того, как реагировал бы на события сам: ведь мало кто из людей способен на большее. В его уме враждующие стороны были четко разложены по полочкам, и неспособность представить себе возможность компромисса между одинаково сильными врагами, ничего не видящими в войне, кроме убытка, а в мире, кроме прибыли, — иными словами, компромисса меж разумными деловыми людьми — была в общем-то своеобразным проявлением цельности его натуры. По меньшей мере, именно так он оценивал конфликты, в которых не участвовал лично.

Его третья — и последняя — встреча, несомненно, была самой трудной из всех. По правде говоря, она была назначена еще до того, как Крамнэгел узнал о предстоящем путешествии. Отменять же ее сейчас ему не хотелось: он нуждался в закреплении публичного рукопожатия, имевшего место на банкете. Крамнэгел отправился к Арни Браггеру. Арни, хотя и подтвердил время встречи, оказался у себя дома не один. В его кабинете, уютно устроившись в кожаном кресле, сидел адвокат Мервин Шпиндельман, близкий сотрудник Арни, человек, уже начинавший пользоваться общенациональной известностью благодаря своему фиглярству в зале суда, в результате чего он все больше и больше времени проводил за пределами Города, затуманивая те вопросы, которые должен был прояснять, с помощью стиля столь же выспреннего, сколь и педантичного. Складывалось впечатление, что каждый свой процесс он рассматривает как спортивное соревнование, в котором сам он выступает в роли чемпиона, его клиент — в роли мяча, а судья — в роли рефери, которого можно и надуть.

Только что вышел из печати третий том его автобиографии, скромно озаглавленной «Привычка побеждать», и сейчас он надписывал экземпляр на память Крамнэгелу: «Начальнику полиции Крамнэгелу, который иногда бывает моим оппонентом, но никогда — врагом».

Крамнэгел поблагодарил его.

— Мы ведь все вас любим, — небрежно бросил Шпиндельман, легко похлопывая его по плечу. — Я специально задержался у Арни, чтобы лично вручить вам книгу.

Однако уходить Шпиндельман и не собирался.

Крамнэгел нахмурился. Эту привычку он обрел давным-давно, еще в школе, дабы показать учителям, что всерьез трудится над решением данной ему задачи. Поэтому и сейчас, когда он не знал, что следует сказать или сделать, он хмурился. Арни усмехнулся и покачал свой бокал так, чтобы в нем застучали друг о дружку льдинки.

— Чему же мы обязаны честью такого визита? При этом мы, разумеется, просто счастливы видеть вас.

Крамнэгел посмотрел ему прямо в глаза с внезапной и обезоруживающей прямотой.

— Дайте мне передышку, Арни, — сказал он.

— Передышку? — откровенно изумился тот.

— Вы думаете, так легко осуществлять правопорядок?

— Одну минуту, — перебил его Шпиндельман. — Если разговор примет тот оборот, который, как я подозреваю, он и примет, я хочу сразу оговорить, что он ведется строго неофициально.

Адвокат за работой!

— Разумеется, — согласился Крамнэгел. — Что, по-вашему, мне очень хочется, чтоб все знали, как я к вам ходил милости просить?

— Просить милости? — вскричал Шпиндельман. — Но вы отнюдь не пришли сюда просить милости. Вы пришли, как пришел бы любой уважающий себя полицейский, по-дружески попросить не мешать лишний раз вынесению обвинительного приговора, чтобы дать вам возможность показать себя в лучшем свете.

— Не себя, Шпиндельман, — пылко заверил Крамнэгел. — А полицейское управление, дело правопорядка — и не только здесь, не только в нашем штате, черт побери, а во всей, черт побери, стране, если на то пошло! Неужели вы сами не видите, что творится? Стоит нам арестовать кого-нибудь по более серьезному поводу, чем вождение автомобиля в нетрезвом виде, как на следующее же утро в зале суда появляется один из вас или вы оба и затуманиваете всем мозги. У этого маниакального убийцы было, понимаете ли, трудное детство! А этот насильник страдал импотенцией в результате полученной на войне контузии! У вас все расписано! Местные судьи — они ведь не бог весть какие мудрецы, и вы их просто забалтываете, а потом что выходит? И маньяк-убийца, и бандит, изнасиловавший ребенка, отправляются в психиатрическую лечебницу под наблюдение и в ско-

ром времени снова гуляют на свободе как исцеленные. Исцеленные до следующего преступления!

Арни Браггер жестом дал понять Шпиндельману, что тоже хочет принять участие в споре, и заговорил очень мягко, почти таинственно.

— Барт, — замурлыкал он, — понимает ли кто-нибудь из нас мир, в котором мы сейчас живем? Да и существовало ли когда-либо поколение, способное понять окружающий мир?

— При чем здесь это?

— Сто пятьдесят лет назад матросов на флоте протаскивали под килем за мелкие провинности, а крестьян вешали за украденную овцу.

— Кому, черт побери, придет сегодня в голову воровать овец?

— Барт, окажите мне любезность, выслушайте меня, я ведь пытаюсь вам сказать нечто весьма важное. Я хочу сказать, что времена меняются. Раньше за все карали смертью. Тюрьмы были набиты битком. Это были решения, продиктованные необходимостью. Постепенно, очень медленно, по мере того как росло уважение к человеческой жизни, мы стали ограничивать применение наказания смертью только теми случаями, которые, на наш взгляд, действительно заслужили их: убийства, похищение людей... Но много ли мы прошли — и достаточно ли быстро? Любое ли преступление заслуживает наказания, если состояние, в котором оно было совершено, являлось временным отклонением от нормы и это отклонение излечимо? Ведь убийца способен на убийство лишь в определенные моменты, а в другие времена он может быть прелестным парнем. Возникает вопрос: должны ли мы судить его на основании случайного отклонения или исходя из совокупности всех его действий? А если мы способны вскрыть корни терзающей его проблемы и превратить его в надежного члена общества, смеем ли мы тогда наказывать его за то, что является его болезнью? Вы же не пошлете человека за решетку только за то, что он страдает насморком или, что еще хуже, за то, что он когда-то страдал насморком!

— Вот, пожалуйста, сейчас вы как раз и делаете со мной то же самое, что всегда делаете с судьями!

— Но вы понимаете, о чем я?

— Нет.

Арни улыбнулся.

— Нет, — повторил он, — не понимаете, потому что

и у вас, и у суда существуют свои — весьма жесткие — точки отсчета. Не думаю, что вы вообще смогли бы существовать, действовать, не имей вы устава. Вы не можете мыслить и действовать иначе, нежели исходя из представления, что мир статичен и время неподвижно. Но это отнюдь не так, Барт.

С улицы донесся странный звенящий звук. Арни подошел к окну и, раздвинув портьеры, выглянул на улицу.

— Скажите, пожалуйста, что это, по-вашему, такое? — спросил он.

— Психи, одно слово, — ответил Крамнэгел.

Улицу пересекала группка моложавых на вид, одетых в желтые балахоны буддистов. Наголо бритые мужчины и женщины медленно шли через дорогу, звеня колокольчиками, они напевали, не обращая ровно никакого внимания на нетерпеливые гудки автомобилей. Браггер и Крамнэгел провожали их взглядом, пока они не достигли противоположного тротуара и не расположились на полупустой автостоянке с намерением помолиться.

— Для вас эти люди, насколько я понимаю, всего лишь нарушители правил уличного движения и не больше? — спросил Арни.

— Разумеется. И на этой автостоянке им тоже делать нечего. Она принадлежит «Леверетт корпорейшн».

— Ну да. Ничего другого в данной ситуации вы не видите. И то, что их может посетить божественное озарение, вам глубоко безразлично.

— Да вы что, никак и впрямь принимаете всерьез всю эту чушь собачью? — удивился Крамнэгел. Ему никогда не приходило в голову, что Арни Браггер может руководствоваться мотивами иными, нежели эгоизм и личная неприязнь.

— Я принимаю всерьез все, в чем есть привкус тайны, Барт. Значит, я принимаю всерьез абсолютно все в этой жизни. И даже — при чрезвычайных обстоятельствах — полицейское управление и органы юстиции. Самую же великую тайну представляет собой человек. Человек, Барт! И я отношусь к нему серьезно.

— Но, я надеюсь, вы проводите грань между законопослушными гражданами и правонарушителями?

— Нет, не провожу. Абсолютно никакой.

— Вы что, рехнулись?

— Барт, вы помните дело Бострома? Бросивший шко-

лу парень, арестованный за немотивированные убийства год или два назад?

— Еще бы не помнить! Уж не хотите ли вы сказать, что были правы, спасая Холлама Бострома от смертной казни?

— А вы были правы, что не возбудили дела против его отца?

— Его отца? — переспросил Крампэгел в полном недоумении.

— Да, его отца. Разве вы не помните? Я ведь раскопал всю его подноготную: мать — проститутка из городка Пеория в штате Иллинойс, а отец — полковник американской армии.

— Ну, мало ли что скажет проститутка!

— А если это правда?

— Ну, можно ли винить офицера за то, что он завалился под куст со шлюхой? Да еще в такой дыре, как Пеория! Тогда уж всю армию надо сажать на губу!

— Но что, если результатом столь снисходительной терпимости явился маленький монстр вроде Холлама Бострома? Тот полковник, по всей вероятности, добропорядочный, богобоязненный гражданин и отец — как раз того сорта, что вы воспели в своей речи, Барт, — когда он дома и когда его держат в узде жена, проповедник и мундир. Но стоит ему попасть в служебную командировку в Пеорию — и дело обстоит совсем иначе, и вот вам последствия. Разве это справедливо?

— Я и не говорю, что справедливо. Я просто говорю, что лучшей системы, чем существует, все равно еще не придумали... Но и фактора случайности тоже не исключишь... Все мы только люди, в конце концов.

— О, вот вы как теперь заговорили! — встрепенулся Шпиндельман. — И именно поэтому вы и пришли к нам требовать головы, а то и двух, выражаясь жаргоном французской революции, чтобы укрепить репутацию своего управления, — именно потому, что все мы только люди!

— Вы переворачиваете мои слова наизнанку!

— Переверните их обратно!

— Вы отлично знаете, чего я, черт побери, хочу, Шпиндельман, и вы, Арни, тоже. Я всего лишь прошу передышки для своего управления.

— Иными словами, вы хотите получить один-два судебных приговора, не сталкиваясь с обычной оппозицией с нашей стороны, — уточнил Шпиндельман

— Можно сказать и так, если хотите...

— Но разве есть дела, которые больше заслуживают такого отношения, чем другие?

Наступило молчание.

— Ехали бы вы оба в какой-нибудь другой город и оставили бы наши заботы нам...

Шпиндельман расхохотался. Арни лишь улыбнулся в ответ на жалобные слова Крамнэгела.

— Послушайте, Барт. — Арни снова как бы рассуждал вслух о тайнах бытия. В словах его зазвучали нотки понимания и сочувствия. — Есть у вас хотя бы малейшее представление о той черной ночи, которую переживает сейчас род человеческий, и особенно эти наши Соединенные Штаты именно потому, что мы — самые богатые, самые сытые, глубже всех отравленные чувством вины, самые уязвимые? За последние пятьдесят лет, — продолжал он, — наш образ жизни претерпел больше изменений, чем за предшествующие пятьдесят тысяч. Пространство сжалось, а местами и совсем исчезло. Можно по душам беседовать с людьми, находящимися за тысячи миль, и смотреть при этом им в глаза. За нас решаются все сложные задачи, требующие умственного труда. И нам не остается ничего, кроме как наслаждаться. А это ведет к лености души, Барт. Естественно или неестественно, но все это произошло слишком быстро. Современный ребенок уже просто не успевает усвоить, что к чему; ему даже не приходится задумываться над тем, что собою представляла жизнь раньше, до того, как она вошла в русло рационализации, — ему нет в том нужды. Он уже не способен представить себе существование без современной техники и современных приборов. Более того, история его утомляет. Жизнь в обществе учит его смотреть только вперед и видеть впереди лишь Космонавта, Супермена и других ницшеанских героев, в одиночку выигрывающих межпланетные битвы в комиксах. Даже если он окажется вне общества — история все равно не заинтересует его. Не история, а предыстория человечества овладеет тогда его воображением: жизнь в пещерных коммунах, где можно спать с любой подвернувшейся под руку самкой, воровать ради пропитания и напрочь забыть о том, что такое чувство ответственности. И природа отнюдь не остается безучастной ко всей этой сумятице, к этому вторжению в эволюционный процесс, к наглому вызову, брошенному структуре бытия, — нет, она реагирует, реагирует быстро — взрывами, катаклизмами,

катастрофами, безумной и бессердечной какофонией, действиями, не поддающимися объяснению: бессмысленными убийствами по пустяковому поводу, размножением, представляемым как часть дьявольских усилий по поддержанию формы, о возможных последствиях которых почти никто не задумывается, бредовыми маниями и страннейшего характера склонностями, как будто наивысшим выражением честности является нагота. И весь этот новейший вселенский грохот озаряется дергающимся стереотипным и монотонным светом распаленного наркотиками воображения. — Арни замолк. Затем добавил медленно: — Мне ненавистно все, происходящее с нами, Барт. Ибо я не понимаю, что с нами происходит. Я ненавижу то, чего не понимаю, если чувствую, что мне следовало бы это понимать. Здесь, видимо, и лежит различие между мною и вами, Барт. Вы думаете, что понимаете. А я знаю, что не понимаю. Поэтому и пытаюсь понять. А вам и пытаться не приходится.

— Боже ты мой, да позволь я себе думать так, как вы, я б не смог произвести больше ни одного ареста, — ответил Крамнэгел. — Не говоря уже о том, что я просто спятил бы.

Арни печально улыбнулся:

— Вот поэтому, надо полагать, вы и стали полицейским, а я — психиатром.

Крамнэгел не был настроен идти на компромисс.

— Не знай я, что вы — психиатр, — заявил он, — точно бы решил, что вы еще дурнее тех шальных буддистов, которые незаконно вперлись на автостоянку «Леверетт корпорейшн».

— Наши мнения всегда формируются нашими способностями и нашими темпераментами, Барт. Вы — максималист. Вам подавай все сразу. Если в январе вы произвели пятьсот арестов, то в феврале вам хочется улучшить показатели.

— Так ведь оно и естественно.

— Пожалуй, да — для вас. Но если мне удалось разобраться хотя бы в единственном мотиве или в комплексе мотивов поведения одного пациента в январе, я едва ли могу надеяться на подобную удачу в феврале.

— Знаете, что с вами неладно, Арни? Вы просто паршивый пессимист.

Арни больше не улыбался. Казалось, он боролся с обуревавшими его противоречивыми чувствами. Наконец он заговорил снова:

— У меня был сын, Барт.

Шпиндельман встрепенулся, но Арни успокоил его быстрым движением руки.

— А я и не знал, — сказал Крамнэгел, чувствуя, что разговор вот-вот коснется какой-то трагедии.

— Поскольку наша беседа носит доверительный и неофициальный характер, я не вижу для вас необходимости помнить о ней впоследствии...

— Я сразу же забуду о ней, — тихо пообещал Крамнэгел.

— Но прежде, чем я расскажу вам... Послушайте, Барт, в чем, на основании вашего опыта, вы видите основные источники детской преступности?

— Я бы сказал, в развалившихся семьях, в отсутствии контроля со стороны родителей.

— Да, да... Вечные клише. Условный рефлекс. Всему виною развалившиеся семьи.

— Ну есть, наверное, и исключения.

— Еще бы им не быть. У нас вот была семья просто идеальная. Бернард — мой сын, его мать и я были в наилучших отношениях. Все было как надо. Любовь, привязанность, чувство юмора, взаимное уважение — все, что хотите. Если и встречаются благословенные семьи, то наша семья была именно такой. Он играл в футбол, как молодой бог, был обручен с милой девушкой, все само шло ему в руки. Но потом... — Голос Арни оборвался. — Потом... Возможно, и чересчур стабильное воспитание имеет свои пороки... Наверное, юноша чувствует себя слишком примитивным, не вписывается в общую картину... А страдания и бунтарство обладают, наверное, в сегодняшнем обществе терапевтическими свойствами — не знаю. В общем, в один прекрасный день он просто исчез. Ушел из дому — вот и все. И не спрашивайте меня больше ни о чем, я все равно больше ничего не знаю.

— Где же он сейчас? — спросил Крамнэгел, обескураженный столь неожиданно оборвавшимся рассказом.

— Не знаю.

— Но он жив?

— Кто же знает?

— Но это смехотворно. Вы можете найти парня. Полиция объявила розыск?

— О, разумеется. Несколько лет назад. Еще до того, как мы перебрались в Город. Все это произошло в Небраске, когда я работал в больнице Омахи.

— То есть он просто вот так взял и испарился?

Арни кивнул.

— Но теперь, — спокойно вымолвил он, — теперь я, пожалуй, не хочу уже знать, жив он или умер. Если он захочет вернуться, пусть сделает это сам, по доброй воле и по собственному желанию, если он на них еще способен. Я вынужден заключить, что он оказался вне общества. И вот что я хочу вам сказать, Барт: все, что я в своей жизни делаю, — это просто молчаливый призыв к нему... призыв вернуться... уразуметь, что я не филистер... что я отчаянно пытаюсь понять мир, который я так щедро подарил ему... и что, если он захочет упитанного тельца, телец ждет его, ему стоит лишь попросить... но если — что весьма вероятно — он предпочел бы, чтобы телец остался живым... Что ж, я соглашусь и на это... — Помолчав немного, Арни добавил с мучительным усилием: — Так что, Барт, вы теперь и сами понимаете, что не к тому лицу обратились за помощью.

— Ну, этого я не пойму, — начал было Крамнэгел.

— Я помогу вам только в одном случае: если вне общества окажетесь вы.

Крамнэгел лишь покачал головой.

Стремясь разрядить атмосферу, Шпиндельман бурно ворвался в разговор:

— Вот вам ирония судьбы, Барт, ирония и полный парадокс. Я — плохой отец и всегда был плохим отцом. Детей я не понимаю, никогда не понимал и не пытался понять. Их незрелость нагоняет на меня тоску. Вечно несут чушь да еще пробуждают в женщинах все самое худшее. С полным на то основанием могу сказать, что детей я ненавижу. И тем не менее у меня их четверо — исключительно по недосмотру. Ну, сейчас им уже за двадцать, так что они становятся более или менее сносными людьми. Однако я никогда не уделял им своего драгоценного времени ни на секунду больше, чем требовалось. Я считал нужным предложить им лишь одно — мой собственный пример. И, видимо, этого хватило. Говард уже кончает юридический, Эрнест там же на втором курсе, Лютер собирается поступать туда же, а Сильвия... Ну, Сильвия — девушка. Она обручена с Лайонелом Уэйфлешем, одним из самых толковых парней в фирме «Левинс, Коннор, Якобович и Лехман». Нельзя, Барт, просто никак нельзя осложнять дело любовью, заботой, вниманием — всей этой личностной дребеденью. Нельзя — это роковая ошибка. Держите свои чувства при себе и тратьте их только на женщину, с которой крутите в настоящий мо-

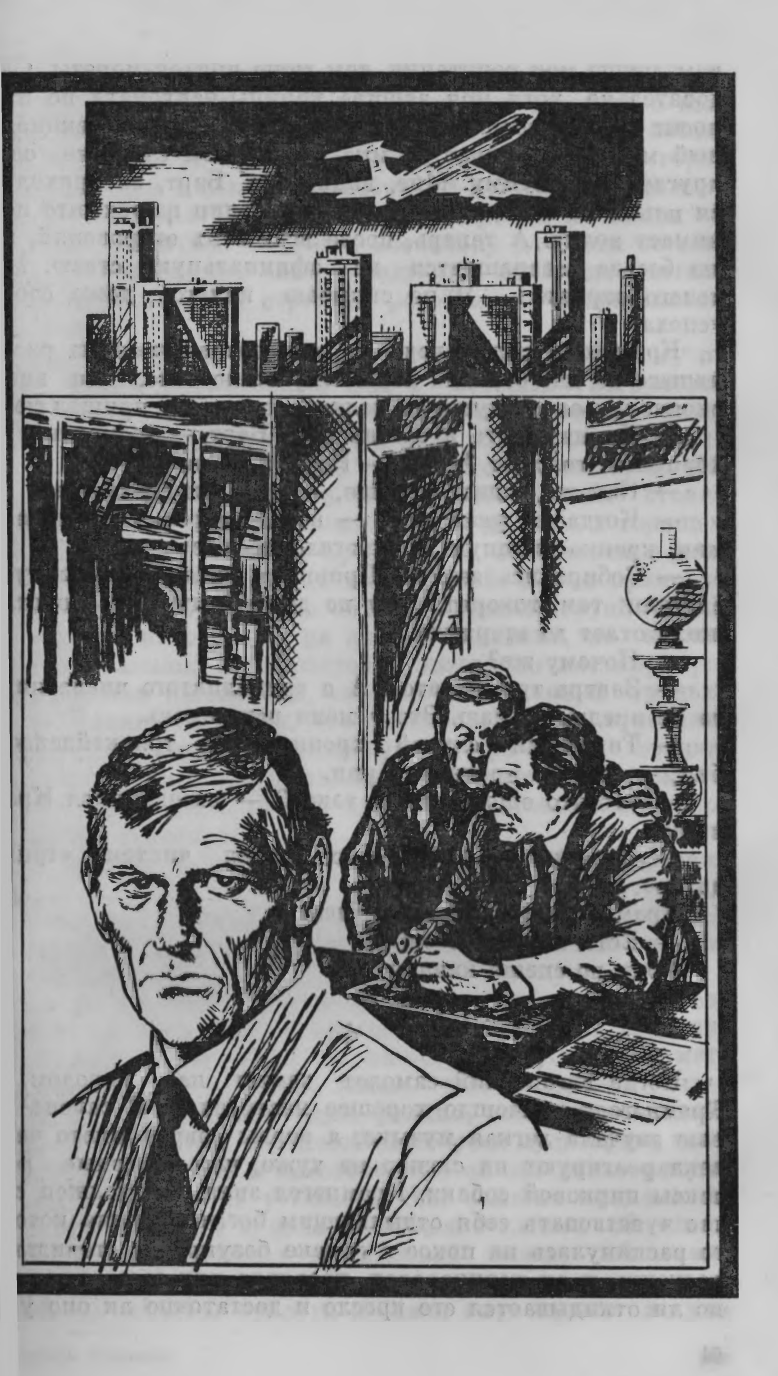
мент. А начни вы только размазывать нюни, как масло на бутерброде,—накличете беду, и поделом вам будет. Половиной всех своих бед люди обязаны тому, что не умеют контролировать разумом свои эмоции. Все думают, что запасы человеческой доброты и терпения беспредельны. Но это отнюдь не так. И все верят, что принадлежность к роду человеческому обязывает их беспокоиться чуть ли не обо всем на свете. Однако это отнюдь не так. А хуже всего то, что каждый считает себя личностью исключительно значимой и глубокой. Какое заблуждение! Большинство людей вообще стоят не больше, чем те химические вещества, из которых они состоят. Посмотрите на себя, Барт, на ревностного служаку-полицейского. Ну что вы печетесь о репутации полицейского управления? Что оно, черт его дери, сделало для вас хорошего, чтобы заслужить такое участие с вашей стороны? Что оно вообще вам дало, кроме неприятностей, головных болей да еще, наверное, и язвы в придачу?

— Есть ведь еще и долг, — запротестовал Крамнэгел.

— Чушь собачья! — рявкнул Шпиндельман, вспыхнув. — Несете чушь, как под испорченный патефон! Долг? По-вашему, вы так выкладываетесь только ради престижа наших органов правопорядка? Да на самом деле они для вас то же самое, что для неграмотного индейца его тотемный столб. Очнитесь, Барт, и поймите наконец пределы своих возможностей. Вы принесете гораздо больше пользы, если перестанете надрываться в погоне за результатами и станете относиться ко всему легко. Плывите по течению, Барт, и вы переживете всех ваших врагов. Только так и можно выжить. Вы заработаете себе куда больше друзей, переводя старушек через Главную улицу Города, нежели хладнокровно пристрелив мелкого воришку в негритянском гетто.

— А вы сами? — пылко спросил Крамнэгел. — Хотите, чтобы я поверил, что вам все равно, выиграете вы судебный процесс или нет, что вам плевать, как вы будете выглядеть в глазах публики?

— Я — дело другое, — любезнейшим образом ответил Шпиндельман. — Я и вправду редкого ума человек, блестящий юридический талант. Это слова не вашего покорного слуги, это слова литературного обозревателя из толедской «Блэйд», я же просто вынужден согласиться с ним. Я знаю, что репутация создается на безнадежных делах, хотя деньги делаются совсем на других. Но



чем лучше моя репутация, тем гуще приток монеты. Следовательно, хотя моя защита убийцы-психопата не приносит мне ни гроша сама по себе, она как потенциальный магнит притянет ко мне в конечном счете не одну кругленькую сумму. Мне, видите ли, Барт, не приходится плыть по течению потому, что я один из тех, кто поднимает волну. А теперь, после всех этих откровений, наша беседа возвращается на официальную стезю. Мне нечего скрывать. Я не скрываю ничего, даже своего успеха.

Крамнэгел допил водичку, образовавшуюся из растаявшего на дне стакана льда. Ему стало ясно, что визит окончен, и он от души пожалел, что вообще пришел сюда.

— Помните, что я сказал вам, Барт, — промолвил похоронным голосом Арни. — Не о сыне, а о вас.

— Как же, ждите дольше, — ответил Крамнэгел.

— Когда вы уезжаете? — весело спросил Шпиндельман, крепко хлопнув Крамнэгела по плечу.

— Собирались завтра. Прививки для Европы уже сделали: там, говорят, воду не дезинфицируют. Но отложили отлет до вторника.

— Почему же?

— Завтра тринадцатое. А я тринадцатого числа ничего не предпринимаю. Это у меня всю жизнь.

— Типичный случай хронической триакайдекафобии, — мрачно произнес Арни.

— Это что еще за чушь такая? — осведомился Крамнэгел.

— Иррациональный страх перед числом «тринадцать».

Крамнэгел прямо задохнулся:

— Есть такая болезнь?

Арни не спеша кивнул.

4

Когда гигантский самолет взмыл над Городом, на Крамнэгела снизошло хорошее настроение. В салоне все еще звучала легкая музыка, а нервы современного человека реагируют на сигнал не хуже, чем условные рефлексы цирковой собаки. Крамнэгел знал, что должен сейчас чувствовать себя отдыхающим богачом, душа которого раскинулась на покое в гамаке безупречно стерильной роскоши, и он повиновался, проверяя при этом, правильно ли откидывается его кресло и достаточно ли оно уют-

но, и отвечая на дежурную улыбку стюардессы такой же дежурной улыбкой. Затем он помог Эди опознать с воздуха различные общественные здания и даже с беспокойством заметил пробку на одном из ведущих в город шоссе. (О чем только этот чертов Ал думает?.. И где патрульный вертолет?) Откинувшись в кресле, он выпил в качестве аперитива мартини, поскольку до обеда оставалось всего лишь три часа, и задремал, пока Эди читала «Снежную гусыню», стремясь разобраться в британском характере.

Полет протекал без происшествий, и казалось, ему не будет конца. Беспокойный сон, в который погрузился Крамнэгел, вылился в какое-то сюрреалистическое видение, охватывавшее его жизнь и дела. Снилось ему, что он произносит беззвучную речь на большом банкете, но никто из присутствующих не слушает его. Гости стояли группками, их сигары дымились, как деревья в горящем лесу, сквозь клубы дыма продирались официанты с подносами, высоко поднятыми над головой. Потом прямо по банкетному столу, как по облачку, прошла группа буддистских монахов, неся на плечах паланкин, на крыше которого зазывно и непристойно энергично жестикулировала обритая наголо Эди, сверкая обнаженной грудью. Вдруг Крамнэгел понял, что он догола раздет, и нечаянное его открытие спровоцировало истерическую овацию зала. Ноздри его зашевелились, учуяв легкий запах жвачки, и он проснулся, увидев прямо перед собой лицо склонившейся стюардессы.

— Могу я быть вам чем-нибудь полезной? — спросила она.

Поспешно окинув себя взглядом, Крамнэгел обнаружил с еле уловимой смесью досады и облегчения, что полностью одет.

Он не пропустил ничего из того, что предлагают в самолете: ни напитков, ни орешков на маленьких подносиках из гофрированной жести, ни обеда, ни ужина, ни мягких тапочек, ни маски на глаза, чтобы удобнее было спать. Не пропустил он даже фильма, хотя фильм попался из тех, что вряд ли способны собрать аудиторию, если аудитория не сидит в самолете, там ей все равно некуда деться. Несмотря на усталость, Эди заметно оживала по мере приближения к цели. Сообщение пилота об огнях Белфаста, мелькнувших в разрывах между облаками, вдохновило ее настолько, что она всадила ногти в веснушчатое запястье супруга и спела ему прямо в ухо

«Улыбку ирландских глаз», компенсируя живостью некоторую фальшь исполнения.

Храня верность традиции, Лондон был совершенно не виден, пока самолет не снизился почти до самой земли, — тут город вдруг оказался прямо под крылом. Крамнэгел восторженно взревел.

— Вот ведь сукины дети! — орал он, разглядывая в окно ползущие по дорогам машины. — Нет, как тебе это нравится? Ты посмотри — да они же все едут не по той стороне! Бог ты мой, да я бы здесь за один вечер выписал столько квитанций, что мог бы спокойно удалиться на покой!

Он пытался поделиться своим изумлением с другими пассажирами, но все они, видимо, уже бывали за границей раньше и потому либо не обращали на него внимания, либо просто снисходительно кивали в ответ.

Мелкий дождичек встретил их у трапа и проводил до дверей иммиграционного контроля. Крамнэгелу не очень понравилось то, что к гражданам стран британского содружества явно проявлялось отношение более благосклонное, но чувства свои он держал при себе, заморгав, однако, от первого столкновения с запахом английского дезинфектанта — тем самым неистребимым и свирепым запахом, который на веки вечные пропитал бесчисленные холодные коридоры и мрачные лестничные клетки, темно-коричневым запахом, который сразу кажется ближайшим родственником бульонного концентрата.

Хотя Крамнэгела об этом не спрашивали, он сам заявил работнику иммиграционной службы, что он — начальник полиции. Англичанин — с длинными спутанными соломенными волосами до плеч — молча протянул обратно паспорт после того, как еще более длинноволосый коллега вместе с ним тщательно изучил документ.

— Как это вам, ребята, позволяют носить такие длинные волосы? — спросил Крамнэгел.

— У нас свободная страна, — ответил англичанин, открывая паспорт следующего пассажира.

Столь откровенная нелюбезность и нежелание пожертвовать хотя бы секунду, чтобы проявить дружелюбие — не просто вежливость, а именно дружелюбие, — допекли Крамнэгела.

— Боже, храни королеву, — монотонно буркнул он, как бы произнося пароль.

Работники иммиграционной службы и тут не обратили на него никакого внимания.

— Вы, парни, что, флотские офицеры? — поинтересовался Крамнэгел у таможенника.

— Таможенные и акцизные чиновники, сэр, — ответил тот таким тоном, будто последнее слово было еще неприличнее первых, а все вместе звучало просто скабрезно.

— Ну-ну, так что же мы имеем заявить? — поинтересовался он. — Если, конечно, что-нибудь имеем заявить вообще, — съязвил он, не удержавшись.

— Мы — американские граждане, понимаете? — начал Крамнэгел.

— Неужели? — выдохнул таможенник в наигранном изумлении.

Эди отважно улыбнулась, но таможенник лишь возвел взгляд к небесам и заговорил, не глядя на них:

— Нет, мне почему-то и не думается, что у нас есть что-либо такое, о чем стоит заявить разорившимся британцам, или все-таки есть? То есть зачем это нам тратиться на ерунду? То есть зачем нам это делать, когда в мире есть много неразвитых стран, все еще жаждущих получить наши устаревшие пушки? То есть... Ведь все обстоит именно так, не правда ли? — И таможенник изобразил на чемодане загогулину своим нежно-голубым мелком.

— Немедленно прекратить, Майтлэнд-Кливер! — раздался голос его старшего коллеги, человека со впалыми щеками, выросшего за его спиной эффектно и бесшумно — прямо как сотрудник МИ-5 *.

— А, так, значит, сегодня я уже Майтлэнд-Кливер? — прошипел таможенник.

— Немедленно прекратить, Майтлэнд-Кливер, — повторил старший таможенник почти тем же тоном, что и в первый раз, добавив, пожалуй, выразительности.

— Еще только вчера я был просто Ронни.

— Майтлэнд-Кливер! — выкрикнул на этот раз таможенный чиновник значительно более высокого ранга. Лицо его исказила ухмылка столь же грозная, сколь и фальшивая.

— Искренне надеюсь, что вам не причинили никакого излишнего беспокойства, — обратился к Крамнэгелам старший таможенник. Сочетание слов «излишнее» и «беспокойство» — явление, безусловно, исключительно британское, но Крамнэгелам не дано было понимать по-

* Британская контрразведка.

добные несоответствия, да и в страну они ведь попали только-только.

— Что за дела с этим парнем? Ну и чудик! — Эди дернула мужа за рукав и вызывающе огляделась по сторонам.

— Он несколько перетрудился и устал, скажем так, — тактично заметил старший таможенник. — Я надеюсь, вы разбираетесь в наших деньгах, не так ли, сэр?

— У нас есть брошюрка с объяснениями.

— О, в ней вы найдете все подробности, сэр. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью и приветствовать вас и миссис Бэрроуз на земле Соединенного Королевства.

— Миссис Бэрроуз? Это еще кто такая, черт ее дери?

— Но ведь вы мистер Бэрроуз? Особо важное лицо?

— Ничего подобного.

— Нет-нет, как же, — упорно стоял на своем человек из МИ-5. Его не так-то легко было сбить со следа. — Компания «Джерико стил»?

— «Джерико стил»? Господи Иисусе, да будь я из «Джерико стил»...

— Уинкуорт! — Таможенный чиновник еще более высокого ранга подошел к ним все с той же свирепой ухмылкой на лице и небрежным жестом удалил незадачливого деятеля МИ-5, который отошел, нервно теребя свой не успевший побывать в употреблении мелок.

— Итак, мистер и миссис?.. — Он не договорил фразу, дав прозвучать в ней вопросу.

— Крамнэгел.

— Очень рад. Очень, очень рад. Позвольте мне воспользоваться случаем и приветствовать вас и миссис... на земле Соединенного Королевства.

— Нас уже приветствовали..

— Что ж, в наши дни лишнее приветствие никак не повредит, не так ли, сэр? Я имею в виду, что во всем теперь чувствуется недостаток любезности, сэр, не правда ли? Вежливость — toujours* вежливость, как принято среди культурных людей, чудеснейшая вещь, чудеснейшая во всех отношениях, сэр.

— Вы что, так ничего из багажа и не откроете?

— Зачем же беспокоить вас, да еще сразу по прибытии в страну, сэр? То есть ведь если вы перевозите что-то незаконное, я все равно ничего не найду, если только вы

* Всегда *(франц.)*.

мне сами не поможете, не так ли? Но если вы такой человек, который способен на перевозку чего-то незаконного, то вы вовсе не такой человек, чтобы помогать таможеннику, верно?

— Так что же вы тогда вообще здесь делаете?

— А что мы все здесь делаем?

— Ну, мы вот приехали посмотреть Великобританию.

— И за сколько же дней, позвольте вас спросить?

— За три дня.

— Разве вы сумеете за три дня увидеть здесь больше, чем могли бы почерпнуть за те же три дня из хорошо иллюстрированной книги, не покидая своего дома?

— Раз уж нам дали билеты... — оправдываясь, произнес Крамнэгел.

— О, это меняет дело, — сказал таможенник. — Такова человеческая природа, — не правда ли, сэр? — исследователем которой, вряд ли есть необходимость пояснять это, я являюсь. Да, таков человек! Дайте мне билеты на казнь через повешение, и я безусловно вынужден буду пойти на это зрелище хотя бы из чувства вежливости. Вот мы и снова вернулись к вопросу о вежливости — toujours вежливость. Все дороги рано или поздно заставляют нас снова возвращаться к ней.

— Билеты на казнь через повешение? Это у вас что, публичное зрелище? — трагическим голосом спросил Крамнэгел.

— Весьма вероятно, что мы вернемся к подобному положению дел. Весьма. Общественность все время высказывается то за, то против этого. В поисках средства устрашения, учитывая ничтожно низкое количество убийств в нашей стране, общественность готова на все, что угодно. Будучи исследователем человеческой природы, о чем я уже имел честь сообщить, я просто изумлен тем, что у нас так мало убийств. Имея возможность наблюдать общество в разрезе, я не могу не прийти к выводу, что убийство как способ времяпрепровождения следует скорее поощрять, нежели осуждать.

— Да вы с ума сошли! — завопил Крамнэгел.

— Toujours вежливость, сэр, не устану я повторять. — И он зачиркал мелком по чемоданам.

— Клодсли! — раздался теперь голос самого старшего таможенника.

Клодсли, на лице которого появился оттенок меланхолии, достойной испанского монаха, ответил, что сию минуту идет. Меланхолию снова сменила свирепая ухмылка,

напрочь стершая выражение философской самоуглубленности и заставившая чету Крамнэгелов спешно пройти дальше, в то время как за их спиной массивный человек в пальто из верблюжьей шерсти начал возмущаться и кипеть:

— Я — Бэрроуз, и меня...

— О, разумеется, сэр, будьте любезны, откройте, пожалуйста, ваши чемоданы. Да, пожалуйста, до единого.

— Все они здесь психи как на подбор, все до одного, — сообщил Крамнэгел жене, когда они сели в такси. — Двое хиппи в иммиграционной службе и пара чокнутых в таможне — н-да, вот было бы здесь работенки Арни Браггеру! А глянь на это такси — как тебе нравится ехать стоя, Эди? * Мы, должно быть, едем со скоростью десять миль в час и к тому же не по той стороне. Сколько, он сказал, стоит проезд до города?

— Четыре фунта, — ответила Эди.

— Это сколько будет в настоящих деньгах?

— Даже не соображу. Долларов десять? Какая разница? — Она схватила Крамнэгела за руку. — Ведь мы в Англии, понимаешь? В Англии, откуда отплыли отцы-пилигримы!

— И ничего нет удивительного, что отплыли, раз здесь такие таможни.

Когда такси затормозило у гостиницы «Лексингтон Тауэрс», филиала гостиничного концерна Фрискина из города Де Мойна (Айова), дверцу машины открыл швейцар в форме солдата времен гражданской войны между Севером и Югом.

— Это еще что за чучело? — изумился Крамнэгел и полез в карман за бумажником.

— Рядовой гражданской войны, — отчеканил лупоглазый кокни. — А зачем — не пойму. Работа, понимаете ли, новая, вчера только мне обломилась. Видно, значит, чтоб приезжающие были как в своей тарелке. Наша гостиница — дочернее предприятие от отелей «Фрискин». И в начальниках — сплошные янки, как и во всех британских заведениях, кроме пакистанских ресторанчиков. Пожалуйте к портье, и тут же ваш багаж доставят вслед за вами. Если что нужно — не стесняйтесь, спросите. Мы здесь для того, чтобы обеспечить вам комфорт и уют в атмосфере непринужденной и со вкусом организованной

---

* В лондонских такси вместо переднего сиденья для пассажиров устроено большое пустое отделение для багажа.

роскоши. Чаевые только при отъезде, спасибо, и очень было приятно вас обслуживать. Что вся эта галиматья означает, можете не спрашивать, мне просто пришлось вызубрить из фирменного проспекта.

— По-моему, все это звучит очень мило, — сказала Эди, чуть кивнув с королевским величием.

— Сколько? — спросил таксиста Крамнэгел.

— Восемь колов, — ответил тот душевно и с сердечной теплотой.

— Что такое кол?

— Фунт.

— Вы же вроде сказали четыре.

— Четыре — в один конец. А мне еще вернуться надо.

— Но мы-то с вами обратно не едем.

— То-то и оно. Мне придется ехать пустым.

— Что-то я вас не пойму. С какой стати вам вообще ехать обратно? В городе пассажиров нет, что ли?

— Я аэродромный таксист. Конторы у нас, видите ли, разные. Мне пассажира, который не в аэропорт, брать нельзя. Нестоящее дело. Лицензию отберут.

— Дайте ему шесть, — посоветовал швейцар.

— Да? — Все еще сомневаясь, Крамнэгел тем не менее отсчитал шесть однофунтовых бумажек. Время было позднее, шел дождь, Эди озябла.

Как только Крамнэгелы скрылись в дверях, таксист протянул швейцару однофунтовую бумажку.

— Очень мило с вашей стороны.

Следующие два дня Крамнэгелы провели в строгом соответствии с программой, заранее разработанной Эди. Стояли в благоговейном восторге перед памятником принцу Альберту и, казалось, слышали, как по сердцу столицы грохочут маршем римские легионы. Провели несколько минут в парламенте, прислушиваясь к волнующей дискуссии по поводу власти на местах и жилищного строительства, которая открыла обоим глаза на то, как действует конституционная демократия, еще более почтенная, нежели их собственная. Осмотрели бриллианты короны и темницы Тауэра и обошли в сопровождении гида Хэмптон-Корт. Третий, и последний, день Эди оставила для своих дел. На американской военно-воздушной базе где-то в Хартфордшире служил ее сводный брат майор Ватт О'Фехи. Крамнэгел не питал к нему особой симпатии — именно, может, потому, что они были очень друг на друга похожи. Выпивка служила обоим необходимой

стартовой площадкой для запуска механизма светского общения, хотя Крамнэгел предпочитал напитки помягче, вроде пива — ничто не доставляло ему такого наслаждения, как со смаком рыгнуть, — а майор О' Фехи предпочитал виски как более быстрое средство доставки в то состояние эйфории, которое только одно и способно принести наслаждение людям, слушающим, ничего не слыша, и говорящим, ничего не сказав.

Начался этот третий день просто ужасно. Уверенный в своих способностях следопыта, Крамнэгел взял напрокат машину, дабы самолично разыскать базу ВВС США. В прокатном бюро оказался свободным лишь крохотный автомобильчик британского производства, которому изрядно досталось за его рабочую жизнь. Коробка передач вела себя так, будто ее всю ночь продержали в густо засохшем к утру клее. Сцепление не сцепляло. Двигатель временами вдруг начинал нести как одуревшая лошадь, педаль газа застревала в полу. Каждый раз при включении тормозов кресло водителя либо прыгало вперед, либо отскакивало назад — в зависимости от настроения.

Пытаясь найти дорогу, чтобы выбраться из Лондона, Крамнэгел раз шесть осаживал мотор, потому что никак не мог понять, включена ли скорость, а если включена — то какая.

К тому времени, когда они достигли пригородов, Крамнэгел уже был вне себя от гнева и обрушился на Эди, сидевшую с картой на коленях.

— Что я такого сделал, чтобы бог меня покарал этой задрипанной колымагой! — вопил он. — И все из-за того, что тебе загорелось свидеться с этим треклятым... Он ведь даже и не настоящий тебе брат, если на то пошло! Если бы вы с ним поддерживали хоть какие-нибудь родственные отношения, я б еще мог понять, но проехать целых пять тысяч миль только для того, чтоб посмотреть на паршивого майора Батта О'Фехи, — это, знаешь ли, слишком даже для родственных чувств. — И поспешил добавить: — Вот ведь кретин!

Эди сидела посреди этой бури и либо вообще отказывалась отвечать на вопросы мужа, где они находятся, либо холодно отвечала, даже не заглядывая в карту.

— Слушай, ты хочешь добраться до этого своего паршивого майора или нет? Я ведь, знаешь ли, всего-навсего шофер, и не жди от меня ничего большего. Ты мне только скажи, куда ехать, и я направлю туда наш рос-

кошный лимузин. Я, может, предпочел бы провести сегодняшний день в Виндзорском замке, или на Эдинбургском фестивале, или где еще, ну да уж что поделаешь. Может, у тебя и в Париже есть родня или мне все-таки удастся взглянуть на Эйфелеву башню?

Эди вышла из положения, заревев — сначала тихонько, затем громко и отчаянно. Теперь в камень обратился Крамнэгел, выдавая обуревавший его душу гнев лишь лихостью езды, которая достигла апогея в небольшой деревушке. Эди завопила, увидев мчавшийся прямо на них грузовик.

— Какого черта? — воскликнул Крамнэгел.

— Ты едешь не по той сто...

Далее имело место бурное столкновение интересов между огромным восьмиколесным грузовиком, перевозившим часть дома, и маленьким автомобильчиком. К счастью, когда они столкнулись, грузовик еле двигался, а Крамнэгел успел нажать на тормоза, но авария все равно произошла изрядная. Автомобильчик — вернее, его составные части, разбросанные по дороге, — напоминал обломки игрушек, выброшенные злостным баловником из детской коляски.

Водитель грузовика оказался родом откуда-то с севера и изъяснялся усеченным телеграфным стилем, да к тому же с таким акцентом, что Крамнэгел не понимал ни слова. Однако слов понимать и не было надобности: по интонациям было достаточно ясно, что Крамнэгел идиот по меньшей мере и, вероятно, еще кое-кто похуже.

Крамнэгел соображал медленно, был настолько перепуган, что даже побледнел. Эди сидела, привалившись к дверце и закрыв глаза. Крамнэгел весьма патетично объяснил появившемуся полисмену:

— Я, значит, американец и напрочь забыл, что вы здесь ездите не по той стороне.

Полисмен оказался весьма расторопным, кто-то неизвестный принес Эди горячего чая, успокоился постепенно и шофер грузовика.

Было быстро решено, что местное такси доставит Эди на авиабазу, а Крамнэгел пообедает пока в закусочной, затем, как он выразился, «проглотит фильмишку», а вечером они встретятся в той же закусочной и тем же местным такси вернутся обратно в Лондон.

Уезжая, Эди благодарно чмокнула Крамнэгела, а тот чмокнул ее в ответ. Приехала аварийная машина и взя-

ла на буксир остатки прокатного автомобиля. Толпа разошлась. Крамнэгел остался в полном одиночестве в поселке Уинкуорт-Трэвис.

5

Поселок был типичный — медленно, веками накапливавшаяся импровизация, внезапно распятая на магистральном шоссе, которое безжалостно взрезало тихий сельский уют не без сопротивления со стороны поселка, сопротивления, обозначившегося в виде головокружительных поворотов, опасных пешеходных переходов и хорошо замаскированных въездов на боковые улочки. Все здесь казалось Крамнэгелу удивительным и самобытным, особенно потому, что транспортные проблемы волновали его куда больше, нежели романская архитектура. Стоя на углу, он как зачарованный следил за мрачно-торжественной дисциплиной дорожного движения, временами нарушаемой каким-нибудь романтиком шоссе, плюющим на дорожные знаки с той уверенностью в себе и не знающей преград напористостью, которые создали в этой древней стране в более славные времена высокую репутацию пиратству. Подгоняемый неодолимой жаждой общения, Крамнэгел подошел к молодому полисмену, который по-совиному выглядывал из глубин своего шлема и останавливал время от времени без особого усердия поток машин, чтобы дать перейти улицу пешеходам.

— Наше вам, — приветствовал Крамнэгел полисмена.

— Простите, сэр?

— Чего нового?

— Нового? Извините, сэр.

С этими словами полисмен мужественно пересек улицу перед самым носом у машины, чтобы помочь на переходе группке мамаш с колясками. Крамнэгел снова почувствовал, что ему не уделяют достаточного внимания. В глубине души он ведь считал, что предпочтение должно отдаваться ему, а не каким-то заурядным пешеходам.

— Итак, сэр, вы что-то здесь ищете? — вернувшись на тротуар, спросил полисмен.

— Я тоже полицейский, — объявил Крамнэгел.

— Да, та еще работенка, — отреагировал полисмен. — Я вовсе не намерен заниматься ею всю жизнь.

— Не намерен? — переспросил Крамнэгел, с трудом разбирая акцент собеседника. — Что же может быть лучше для мужчины?

— Я увлекаюсь архитектурой.

— Архитектурой? — Крамнэгел не поверил своим ушам.

— Да. Ну, строительством домов.

— Я знаю, что такое архитектура, — заявил Крамнэгел.

— Я всегда увлекался ею. А вы откуда родом? Из Канады?

— Из Канады? Из США — из Соединенных Штатов Америки.

— Да? — Слова Крамнэгела, казалось, не произвели на молодого полисмена никакого впечатления. И почему вдруг Канада? С какой стати этот юнец вспоминает сперва о Канаде и только лишь потом о Соединенных Штатах?

— Я начальник полиции. На меня больше тысячи человек работает.

— О, но в таком случае вас вряд ли можно считать полицейским, — заметил юноша. — Вы скорее кабинетный работник.

— Ни черта подобного! — возмутился Крамнэгел. — Да я почти все время с парнями на улицах, а бумагами в моей конторе занимаются другие. Я никогда не забываю, что начал службу простым постовым — как вы сейчас. Да, сэр, был и я когда-то новичком, совсем зеленым, с самых азов начинал...

— Простите.

Юноша снова остановил движение, и колонна школьников, подобно гигантскому крокодилу, выползла на дорогу. Пока болтающая и смеющаяся масса детей переливалась через узкое шоссе, раздосадованный Крамнэгел шагнул в сторону. Поведение юного полисмена не пришлось ему по душе, более того, общение с ним никак не помогло борьбе с охватившим Крамнэгела весьма странным чувством одиночества, к которому он не привык и которое в его возрасте малоприятно. Все равно как если бы часть его души, никогда ранее признаков жизни не подававшая, часть души, существование которой люди в большинстве своем осознают еще в детстве, — та самая, что заставляет детей часами простаивать у окон, уткнувшись носом в стекло, — вдруг неожиданно проснулась и начала его терзать. Дома он привык быть на виду, его уважали и боялись. Не обязательно было и форму надевать — его и так замечали. Он всегда ходил с высоко поднятой головой — даже когда ничего не случалось. Он

привык к тому, что люди ощущают его присутствие, привык замечать краешком глаза их реакцию, и этого ему хватало для сохранения душевного равновесия. Он жил этим постоянным напоминанием о пройденном пути, теша свое тщеславие и гордясь своим скромным происхождением: ведь, если посмотреть, чего он достиг, скромность происхождения оказывалась не чем иным, как маркой качества его личности.

Здесь же, в этом поселке, который настолько погряз в своих косных заботах, что вовсе не замечал его августейшего присутствия, Крамнэгела вдруг охватило предчувствие беды, какой-то ужасной ошибки, как случается иногда во сне. Никто даже не смотрел на него. То ли все они здесь напрочь лишены наблюдательности, то ли в проявляемой ими враждебности скрывается какой-то умысел. О, разумеется, когда он обращался к ним, вели они себя вполне любезно, но то была любезность, в которой не чувствуется уважения. Ему даже стало не хватать Эди — отнюдь не по причине глубокой к ней привязанности, но потому, что во всей округе она была единственным человеком, знавшим, кто он такой есть.

Крамнэгел остановился перед памятником жертвам войны. Скромный маленький обелиск с выгравированным сбоку пальмовым листом. Обелиск воздвигнут в память восьми человек, павших во время войны 1914—1918 годов. О погибших же в последнюю войну — ни слова, как будто люди перестали поминать павших, сбившись со счета. Из церкви за памятником вышел священник с профессионально угрюмой улыбкой на лице. Крамнэгел стоял неподвижно, как в засаде, и, когда священник поравнялся с ним, сказал:

— Доброе утро.

— Доброе утро, — удивленно ответил священник. — Хотя... разве сейчас утро? — И взглянул на часы. — Пожалуй. Но с натяжкой, конечно.

— Почему на этом камне нет имен павших в прошлую войну?

— Разве нет? О боже, а я и не замечал. Большое спасибо, что обратили внимание. Подумать только! Однако, с вашего позволения... — Священник приподнял шляпу и поспешил прочь.

— «Подумать только», — передразнил его Крамнэгел. — Господи ты боже мой!

Постепенно недоумение и растерянность, вызванные столь оскорбительным безразличием к нему со стороны

захолустного поселка, начали перерастать в гнев — вернейший союзник всех тех, кому не дано умение понимать. Так что Крамнэгел, привлеченный «легким ленчем», обещанным вывеской, появился в дверях «Кафе Тюдоров» в том настроении, которое лишает человека какой бы то ни было восприимчивости. Его флирт со стариной начался с того, что голова его вошла в соприкосновение с балкой, приведя тем самым в действие истерический колокольчик, прекративший возвещать его появление в зале, только когда он сел за столик и снял пиджак.

— Какого дьявола вы не уберете эту балку? — спросил он официантку.

— А, никак американец пожаловал? Ну, тогда ничего странного, что вы ее не оценили, — ядовито ответила она.

Крамнэгел с неудовольствием отметил, что от платья ее несло чем-то прогорклым, и в изумлении уставился на ее кружевной чепец — слабую попытку придать кокетливый вид ссохшейся головке с редкими волосами, недовольно поджатым ртом и ханжеским выражением лица.

— Вот именно! В точку попали. Я американец, и ваша балка мне никак не понравилась.

— Что ж, она находится на этом месте с тысяча пятьсот восьмого года и, надо думать, имеет полное право находиться и далее. Тем более что мы все равно не можем ее снять.

— Это еще почему?

— Охраняется государством. Как и почти весь поселок. Историческое место. Здесь было сражение.

— Сражение? Здесь? — Крамнэгел что-то не помнил, чтобы немцы высаживались в Англии во время мировых войн.

— Да, сражение. Там, где сейчас кладбище, под принцем Рупертом коня убило.

— Под принцем Рупертом? — Напрягши свои умственные способности, Крамнэгел перебрал все когда-либо виденные им фильмы. — Когда это было?

— Девятого октября тысяча шестьсот сорок седьмого года. Он был гнедой.

— Кто?

— Конь.

— Вы-то откуда, черт подери, все это знаете? — Крамнэгел больше не мог выносить столь педантично-детальную лекцию, да еще от женщины.

— Нет надобности грубить мне, — остерегла его официантка, и ее холодные глаза школьной учительницы сверкнули за стеклами очков.

— Я и не грублю. Где еще в этом поселке можно пообедать?

— В «Гнедом коне и голове принца».

Крамнэгел поднялся со стула.

— Но только там больше не готовят обедов.

— Я ведь вас спрашивал, где можно пообедать, — со вздохом напомнил ей Крамнэгел.

— Вам же будет лучше, если перестанете перебивать и дадите мне договорить. Обедов там больше не готовят, но раньше готовили. Вот приехали бы вы раньше ноября прошлого года, там бы и пообедали. И очень вкусно к тому же.

— Но я приехал не в прошлом году. Я сейчас приехал. И я хочу знать, где в этом поселке можно пообедать.

— Здесь. Но у нас вы получите только легкий обед.

— Ну ладно, пусть будет легкий. А потом я съем легкий ужин или два для компенсации.

— Но вы должны взять себе в толк, что легких ужинов мы не готовим.

— Хорошо, обойдусь тяжелым.

— Мы вообще не подаем ужинов. Если желаете поужинать, вам придется идти в «Гнедого коня и голову принца».

— Сейчас или до ноября прошлого года?

— До того ноября они не готовили ужинов.

— Даже легких?

— Никаких. А вот сейчас готовят легкие.

— Послушайте, сударыня, — взмолился Крамнэгел, — тот мост мы перейдем, когда доберемся до него. Просто скажите мне, что у вас есть. — И он тяжело плюхнулся на стул.

— Дежурный суп. Яичный салат. Паровой пудинг на нутряном сале.

— А что еще?

— Больше ничего.

— Как, это все?

— Все.

— О боже!

Официантка глянула на него так, будто он самым неподобающим образом нарушил приличия.

— Какой у вас дежурный суп?

—Просто суп. Без названия.

Крамнэгел, выражаясь его же собственным языком, начал закипать.

— Но он же сделан из чего-то конкретного, а не просто из одной горячей воды. Должен же он быть из чего-то, черт его возьми.

— Сожалею, но сегодняшнего супа я еще не видела.

— О, господи! В этом проклятом меню всего три блюда, и если уж вы тут работаете, то могли бы знать, что делается на кухне. Ну, яичный салат — это ладно, это еще можно догадаться: салат, в котором яйцо, так, что ли? Паровой пудинг... Десерта я не ем, так что мне... То есть наплевать мне, значит. Так что остается суп. Можете вы узнать, из чего он, или я уж слишком многого хочу?

— Из чего бы он ни был, — последовал ледяной ответ, — другого у нас нет, значит, неважно, из чего он, потому что именно его вы и получите. А что вы не едите сладкого, так все равно придется платить за него. Раз стоит в меню, значит, мы обязаны подавать, хотите вы того или не хотите. Ну, так как, узнавать вам, из чего суп, или просто подавать?

Крамнэгел уселся поудобнее.

— Просто дайте мне пива.

— У нас нет лицензии на торговлю алкоголем. Если хотите пива, идите в «Гнедого коня и голову принца».

— Вот те на, — буркнул Крамнэгел и снова встал из-за столика.

— Но они открывают только в половине шестого.

— То есть я даже треклятого пива не могу...

Официантка торжествующе кивнула.

Крамнэгел снова сел. Он чувствовал себя униженным до того, что чуть не плакал.

— Тогда принесите, пожалуйста, супа, только горячего.

— Горяченького захотели, да? — произнесла официантка, принимая к сведению его просьбу и каким-то образом сделав так, что она прозвучала как непомерная претензия.

За соседний столик уселись две пожилые дамы и сразу заговорили заговорщицким шепотом. Вслед за ними вошла мрачная пара — высокий лысый человек, порезавшийся во время бритья, и с ним весьма крупная женщина. За весь обед они не промолвили ни слова. Затем пришли отец с сыном — оба уже немолодые, и было слышно лишь хриплое старческое дыхание отца, да сын что-

то басовито бубнил. Если бы не стук ложек о тарелки, можно подумать, что ты в церкви.

Суп отказался раскрыть тайну своего происхождения. Невозможно было даже угадать, что было написано на этикетке консервной банки, из которой его извлекли. Он представлял собою горячую непрозрачную жидкость коричневого цвета. Яичный салат оказался не чем иным, как разрезанным на две половинки крутым яйцом с синюшным оттенком по краям, торжественно-похоронно возлежавшим на листьях салата, тронутых золотистой желтизной осени. Сие приглашение к чревоугодию дополнялось двумя иссохшими ломтиками огурца и несколькими дольками свеклы. Все вокруг Крамнэгела поглощали пищу с прилежанием диккенсовских детей из работного дома, вкладывая в каждое движение неописуемую изысканность. Запихнув салфетку за ворот рубашки, старик отец заталкивал листья салата себе в рот лихорадочно трясущейся рукой, роняя листики то на скатерть, то себе на брюки, и тогда его пожилой сын с элегантным проворством фокусника перекладывал их обратно на тарелку отца. Крупная дама разделила каждую половинку яйца частей на восемь, прежде чем рискнуть отправить в рот, который широко не раскрывался, а был лишь приоткрыт для принятия пищи крошечными кусочками. Далее дама деликатно и очень долго разжевывала их один за другим, чтобы потом проглотить с видом явного неудовольствия. Высокий мужчина ел с безупречной аккуратностью, располагая еду на своей тарелке так, чтобы каждый отрезанный кусочек можно было проглотить в один присест.

Крамнэгел следил за этим молчаливым тщанием со все возраставшим беспокойством. Общее молчание действовало на нервы. Видеть пожилых дам, не повернувшись к ним, он не мог, поэтому повернулся и на них уставился.

Они ответили снисходительным взглядом, как бы жалея его, и жалея потому, что он выглядел чужаком, не посвященным в тайны английской сельской гастрономии. Откуда-то из-за пределов безмолвия выплыли их улыбки; тиканье часов напоминало биение сердца. У Крамнэгела даже дух перехватило.

— Да что у вас тут — ни радио нет, ничего такого... а?

Он сам удивился тому, как громко прозвучал его голос. Пожалуй, он просто утратил ощущение нормальной

громкости. Худой перестал жевать и поднял голову, как почуявшее опасность животное. Затем быстро улыбнулся, словно успокаивая умалишенного.

— Да, у меня есть радио. Дома, — объявил он каким-то особо высоким стаккато.

— Неужели она не действует вам на нервы, эта тишина тягучая?

Старик прохрипел что-то вопросительное. Его сын пробормотал, в свою очередь, что-то успокаивающее, одновременно подбирая с пола листики салата. Пожилые дамы — одряхлевшие жрицы сего престранного культа — лишь улыбнулись печально. Высокая дама сложила свой малюсенький рот так, что он стал казаться шрамом на общественном сознании, и с сосредоточенностью мистика вперила взор в кружевные занавески. С неожиданной напыщенностью зашипели часы и нехотя, с паузой пробили два раза — как будто откуда-то издалека донесся колокольный звон. Крамнэгел попросил счет и поинтересовался, хватит ли для уплаты одного фунта. Не удостоив его ответом, официантка сказала, что с него пятьдесят семь новых пенсов. Крамнэгел оставил на столе фунт. Забрав его нетронутый пудинг, официантка ушла на кухню, сосчитала в уме до трех, затем вернулась в зал и подала пудинг старику.

Крамнэгел направился в кино, надеясь хоть там увидеть что-то знакомое.

Но ему не везло. Привыкнув к темноте, он увидел королеву, принимавшую парад какого-то почетного караула в сопровождении нескольких мужчин, которые едва ли что видели из-за лезших им в глаза белых перьев. Королева упорно улыбалась, офицеры же из-за трепыхания перьев выглядели абсолютно безучастными к происходящему. Какие-то плохо одетые, но симпатичные женщины приседали в реверансах, когда королева обращалась к ним, и толпы детей размахивали флажками, как бы повторяя заранее отрепетированные движения.

— Ерунда собачья! — громко сказал Крамнэгел. Услышать собственный голос было все равно что встретить старого друга. Его высказывание никого не задело, поскольку в зале он сидел практически один.

Проскакал на пони член королевской фамилии, имени которого Крамнэгел не разобрал; в озаряемом фотовспышками темном холле какой-то гостиницы сделал мрачное заявление о состоянии платежного баланса страны премьер-министр. По всей видимости, это были

самые свежие и наиболее животрепещущие новости из жизни Британии на сегодняшний день.

После киножурнала в зале вспыхнул свет, и под музыку тридцатых годов на экране замелькали рекламные слайды местных компаний — на более светлых из них отчетливо выделялись отпечатки пальцев, а по пустому залу продефилировала одетая в гусарский костюм девушка, неся в руках поднос со сладостями. Вокруг ее ничего не выражавших глаз растекалась тушь. Крамнэгел посмотрел на девушку и улыбнулся, но у нее, казалось, не хватало энергии даже на то, чтобы улыбнуться в ответ. Крамнэгел окинул взглядом ее фигуру — фигура была объемистая. Один из сетчатых чулок порван. «Женщины», — вздохнул Крамнэгел и принялся насвистывать, отчего сразу почувствовал себя более или менее сносно. Он даже припомнил слова некоторых песенок и начал напевать, притопывая в такт музыке. Развлечение, разумеется, не бог весть какое, но давало Крамнэгелу теплое чувство встречи с чем-то давно знакомым, и за это он был признателен.

Фильм попался английский и грешил вседозволенностью и неизбывным английским провинциализмом. Он был поставлен по мотивам бестселлера одного молодого местного уроженца, действие разворачивалось в окрестностях Дарлингтона. Критики всегда узнают жизненность и достоверность, если встречают их в произведении: так произошло и в данном случае, хотя мало кто из них имел пусть даже туманное представление о жизни в окрестностях Дарлингтона. И посему они не знали удержу в похвалах блестящей наблюдательности авторов фильма, хотя Крамнэгел этой блестящей наблюдательности, естественно, не заметил — по нему, актеры с равным успехом могли говорить на суахили.

Временами, когда действующие лица разговаривали помедленнее, Крамнэгелу удавалось разобрать слова. Вот, например, когда девушка в дешевой косынке сказала, прижавшись спиной к стене муниципального здания: «Сегодня никак нельзя, голуба, я нездорова», Крамнэгел все понял и даже объявил во всеуслышание:

— Времени жалко на такое дерьмо!

Секс он понимал и принимал, но жизнь была для него сущей неразберихой. «Какое отношение это имеет к любви, так-растак?» Конечно, то, что девушка должна заниматься любовью — на то и кино, но с какой это стати камера должна ловить ее в столь неудобный момент,

будто для этого нет рекламных коммерческих роликов, которые обходятся с подобными проблемами тактично и со вкусом. Что же до ее юного компаньона, то его во всей красе показали в государственном венерологическом диспансере. Поскольку роль доктора играл хорошо известный местный комик, остальные пять-шесть зрителей буквально сотрясались от хохота.

— Блевать от этого хочется! — выкрикнул в темноту Крамнэгел.

С юношей сурово поговорил отец, пригрозив вышибить из него дух, если он еще раз подцепит то же самое, — так, во всяком случае, понял его слова Крамнэгел. А в следующей сцене достойный родитель уже катался по кровати с огромной бабищей.

И снова аудитория — как мала она ни была — зашлась от смеха.

Камера прошлась по ряду грязных, запущенных домишек, зацепилась за освещенное окно в одном из них. В этой комнате, раскрыв в приступе страсти рот, лежала с волосатым рабочим-итальянцем мать героя фильма, благочестивая ханжа-фанатичка, не выпускавшая из рук Библии. И все это для того, чтобы показать, что в нашем мире распутство плодит распутство. Круг замкнулся. Вернулись к исходной точке. Распад семьи. Ей-богу, фильм прямо для Арни Браггера и ему подобных. Чушь собачья.

Выходя из кино, Крамнэгел объявил кучке людей, изучавших развешанные у входа кадры из фильма:

— Надо быть последним психом, чтоб ходить на такое дерьмо. Одно слово —грязь!

К его изумлению, этого высказывания оказалось достаточно, чтобы заставить колебавшихся принять решение. Они сразу же выстроились в очередь за билетами.

— И что это за паршивая страна такая? — вслух поразился Крамнэгел.

А люди поглядывали на него сочувственно и откликались на возмущенный взгляд виновато-непристойными улыбочками. Крамнэгел пошел своей дорогой; события дня окончательно вывели его из равновесия.

Таверна «Гнедой конь и голова принца» еще не открылась. Крамнэгел потряс дверь и попытался заглянуть внутрь через мутное окно, «козырьком» приставив ладонь к глазам. Раньше, чем можно было ожидать, сгущались сумерки. Никаких признаков жизни. Холодно. Пройдясь взад-вперед по унылому тротуару, Крамнэгел

в конце концов прибавил шаг, потому что сизая вечерняя сырость уже пронизала его до мозга костей — на окрестных полях лежала дымка тумана. Из луж, въедаясь ему в ноздри, поднимался пронзительный запах навоза. Именно таким представлял он себе ад. Ботинки вязли в грязи, той же грязью ласково обдавали проходившие мимо машины. Вышел в поле. Да, ужасный выдался день, просто ужасный, а ведь наступлению этого дня способствовало все бескрайнее двуличие его собственного полицейского управления! В воображении возникло расплывшееся в улыбке Чеширского кота* лицо губернатора — сверкая прекрасными зубами, тот с презрительным равнодушием взирал на безобразную terra incognita**, расстилавшуюся во мраке по сторонам гордого одинокого утеса богоизбранной страны. Доведенный до отчаяния неожиданным и непривычным одиночеством, Крамнэгел затянул «Америка прекрасная», а прервав пение, полез в карман за сигаретами и обнаружил, что сигареты кончились. Он вышвырнул пустую пачку таким жестом, будто пустил камешег «печь блины» по воде. От того, что в карманах нашлось несколько коробков спичек, стало совсем тошно.

Теперь окончательно стемнело. В «Гнедом коне и голове принца» зажглись огни, и издалека таверна походила на рождественскую открытку. В зале сидели четверо стариков и старуха. Заведение открылось минуты две назад, но они, казалось, сидели там давным-давно. Три старика, пристроившиеся на лавке, взглянули на пришельца с меланхолией, которую у стариков легко принять за враждебность. В пожилой даме было что-то кричаще мужеподобное: она была из тех потускневших, беззубых, потрепанных и изжеванных жизнью особ, чей когдатошний порок — любовь к черному пиву — увы, не считается больше пороком. Четвертый старик расположился за стойкой, и в позе его было нечто, свидетельствующее о желании обособиться. Если у остальных кепки на голове сидели прямо, символизируя тем самым конформизм, уравновешенность и, следовательно, добропорядочность, то он свою кепку лихо надел набекрень. Горло у него было укутано клетчатым шарфом, оба конца которого свисали до пола. Лицо, не лишенное сумасшедшинки, алело отблесками былых бурь, в глазах горело

* Персонаж из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».
** Неизведанная земля *(лат.)*.

пламя нетерпимости, а испятнанные никотином губы время от времени кривились, когда его сознание пронизывала очередная буйная мысль. На кончике носа у него дрожала капля, и он тщетно пытался втянуть ее обратно в ноздрю.

— Привет, — сказал, войдя, Крамнэгел.

Три старика изумленно посмотрели на него, а старуха пожевала пустым ртом. Только старик за стойкой вздрогнул при этом неожиданном вторжении, но не снизошел откликнуться.

— Пиво есть? — спросил Крамнэгел у барменши.

Но непосвященному не было дано понять ее ответ.

— Чего-чего?

Барменша повторила, выговаривая слова мучительно медленно, но так и не пролив света на их смысл.

— Послушайте, я всего-навсего хочу пива... холодного пива... со льда.

Из последующего ответа Крамнэгел ухитрился почерпнуть, что льда нет, поскольку сломался холодильник.

— Господи Иисусе — нет льда?!

— Никак янки? — поинтересовался старик шотландец, ехидно подмигнув.

— Я американец, если вы это хотели сказать.

— Ну да, так я и думал... приперся сюда со своими замашками... поразительно, должен сказать...

Три старика на скамейке захихикали.

— Во-во, Джок, покажи ему! — подзадорил один из них.

По какой-то необъяснимой причине Крамнэгел почувствовал, что попал в ловушку, и огляделся по сторонам, оценивая противников.

— Ничего, ничего, не обращайте на него внимания, — подбодрил его самый миролюбивый из стариков. — Это всего лишь старый Джок.

— Всего лишь старый Джок! — сказал как сплюнул старик шотландец. — В продажном мире буржуазных ценностей раздается трезвый глас, но вот и все ему признание — «всего лишь старый Джок»... Что ж, позвольте вам кое-что заметить: старый Джок, конечно, не великий пророк, но у него вполне хватает мозгов разъяснить мистеру замухрышке Эдварду Бриггсу, что дни его разложившегося общества сочтены и, более того, не нужно быть гениальным математиком, чтобы на пальцах одной руки сосчитать, сколько осталось жить роялистско-

капиталистическим заговорщикам, покуда их не сметет безжалостная волна народного гнева и возмущения.

Старуха бросила на него из-под своей заношенной фетровой шляпы неприязненный взгляд.

— Будь любезен, придержи язык, Джок, и не распускай его в присутствии дамы. — И она подмигнула.

— В присутствии дамы? Тоже мне дама! Да по сравнению с тобой, Лили, вавилонская блудница и та сойдет за даму!

Старуха даже хрюкнула от удовольствия.

— Что это вы за чертовщину несете? — осведомился Крамнэгел, принимая поданную ему кружку теплого пива. — И кто такой Эдвард Бриггс?

— Это я, — ответил ему один из стариков. И тоже подмигнул. Подмигиванье, похоже, было в этих краях своего рода хворью.

— Рад познакомиться. А я — Бартрам С. Крамнэгел.

— О!

— Звучит по-иностранному, — прошамкала Лили.

— Тебе все звучит по-иностранному, старый ты осколок эдвардианской старой империи! — отрезал Джок.

— Это уж точно, я такая, — согласилась та и мигнула. — А ты, милок, мне пивка не поставишь? — обратилась она к Крамнэгелу.

— Ну, разумеется. Эй, послушайте! — окликнул он барменшу. — Обслужите-ка нас, сударыня. Ставлю всем.

Он буквально расцвел, чувствуя себя кем-то вроде посла среди этих чужаков. Он нуждался в их дружелюбии.

— Только не мне, Эгнесс, будь любезна.

— Что это с вами такое? Вы не пьете? — поинтересовался Крамнэгел.

— Из принципа.

— Из принципа?

— Из принципа не стану пить с представителем эксплуататоров трудящихся масс.

Крамнэгел хмуро улыбнулся и кивнул.

— Не обращайте на него внимания, это всего лишь старый Джок, — передразнивая своих новых знакомцев, заметил он.

Три старика одобрительно подмигнули. Крамнэгел решил выиграть время и поднес кружку к губам. Его чуть не стошнило.

— Это еще что такое, черт побери! Чем вы тут поите — подогретой мочой? — проревел он.

Старуха чуть не умерла от восторга, во взглядах трех стариков проскользнули искорки веселого злорадства. Мало что может прийтись англичанину по душе больше, чем быть неправильно понятым, если непонимание выражается самым неожиданным и самым занятным образом. Если вкусы приобретаются, то англичане из кожи вон лезут, чтобы приобрести именно такие вкусы, которые не присущи никому. Соответственно и получаемое удовольствие подогревается созерцанием тех, кто пытается следовать их предрассудкам, но терпит неудачу. В таких случаях все взгляды сосредоточиваются на той самой банановой кожуре, на которой человек поскользнулся.

— На этот раз я соглашусь с вами, — сказал неисправимый болтун Джок. — Англичанин любит мучить свое нёбо теплой водичкой из-под мытья посуды, будто балуется нектаром, и все только потому, что никто другой ее пить не станет. Я выпью солодового виски, но за свой собственный счет.

— Вам же хуже, — заметил Крамнэгел, нисколько не обидевшись, ибо налицо была явная коммерческая глупость.

Хладнокровие Крамнэгела заметно раздражало Джока. Что за потеха дразнить спокойного быка? И Джок стал искать тряпку достаточно красную, чтобы вывести это чужеродное тело из состояния апатии.

— Знаете что, — неожиданно сказал Крамнэгел. — Я тоже выпью виски. Сударыня, двойной скотч! — И он посмотрел на Джока так, будто сделал ему важную уступку, и сделал ее самым элегантным образом.

Джок внимательно изучал свою добычу.

— Будем!

— Дернули.

Они выпили, и все присутствующие своими кружками теплого пива приветствовали угощавшего.

— Так-то оно лучше, — объявил Крамнэгел. — Я вообще не любитель крепкого, но ваше пиво как будто прямо из стиральной машины. Одного стакана хватит, чтобы отравить всю Ниагару.

В ответ — смешки и подмигивание.

— Так чем же вы зарабатываете себе на жизнь, мистер? — поинтересовался Джок.

— Зовите меня просто Барт.

— Барт?

— Барт. Я полицейский.

— О... — «О» оказалось весьма длинным и протяжным, как будто полученная Джоком информация укладывалась на какую-то полочку таинственного шкафа.

— А что?

— Вы, значит, управляете движением этих хромированных чудищ, да? Этих огромных машин, в которых вдовы с огненными волосами ездят за покупками?

— Я управляю людьми, которые управляют ими, — ответил Крамнэгел, обретая уверенность. — Я начальник полиции.

— Начальник полиции? — Брови Джока моментально взлетели к самым волосам. — Ну и ну, большая к нам заплыла рыбина. Большущая рыбина из тех вод, где кишат акулы Уолл-стрита и черномазые кильки, которых эти акулы едят.

Крамнэгел с интересом посмотрел на Джока. В напыщенной речи и необычных образах ворчливого старика было что-то занимательное. В известном возрасте право на свою долю сумасшедшинки имеет каждый, и если существует мысленная дорога, решил Крамнэгел, то он поможет Джоку благополучно перейти ее.

— А чем вы зарабатывали себе на жизнь, старина? — спросил он.

— Зарабатывал? Зарабатывал? — Не веря своим ушам, завопил Джок. — Зарабатываю!

— О, в таком возрасте и все еще ведете активный образ жизни — это же просто здорово!

Но Джок не принял жеста солидарности.

— Я цеховой староста профсоюза электриков. Профсоюза славных традиций и замечательных побед. Староста местного отделения, номер девятьсот шестнадцать, металло-мастерские «Паркер Маккиннон», ниже по шоссе, изготовителя домашних бойлеров и чудо-печек марки «Непобедимый».

— В самом деле?

Крамнэгел успел заметить, что все три старика исподтишка делают какие-то негативные жесты по адресу Джока.

— Он был цеховым старостой, — осмелился сказать один из них.

— И остаюсь им по сей день, мистер Бристоу, соглашение не было аннулировано, а посему оно и по сей день сохраняет силу и действительно согласно всем законам, правилам и постановлениям. — Предвидя дальнейшие возражения, он заговорил еще пронзительнее: —

Я получил решение, вынесенное самим министерством. От девятого апреля. Действительно по настоящее время и впредь до дальнейшего уведомления.

— «Паркер Маккиннон» больше не существует, — мягко заметил Бристоу.

Джок закрыл глаза, готовясь торжественно изречь то, что последовало, и пропел на манер псалма:

— «Паркер Маккиннон» находится в процессе реорганизации и, даже можно сказать, консолидации. Это я признаю. Что верно, то верно. Сейчас происходит немало слияний, и такой фирме, как «Паркер Маккиннон», вполне разумно принять в этом процессе участие. Мы сливаемся с корпорацией «Интекс».

— Это американская корпорация, — вставил Крамнэгел.

— Нет, не американская.

— Нет, американская.

— Нет, не американская.

— Говорят вам: «Интернэшнл энд Техас», ясно?

— «Интернэшнл телевижн эксчейнджес компани лимитед».

— Господи ты боже мой! Да ведь это одна из наших корпораций-гигантов! У них же филиалов где только нет! А дирекция в Делавэре. Ну, да, Дувр, штат Делавэр. Вот уловка какая, чтоб, значит, поменьше налогов платить. Они делают ракеты класса «земля—земля» марки «Старспаркл», ракеты класса «Спрейчиф» для подлодок, а также анти-антибаллистические ракеты «Тотем» и черт знает еще сколько всякого такого добра. Этот «Интекс» — большая штучка!

— Значит, мы говорим о разных «Интексах», — надменно фыркнул Джок.

— Один только «Интекс» и есть — американский, вы уж мне поверьте. «Интернэшнл энд Техас». Сокращенно: «Интекс». Разве не ясно?

— «Интернэшнл телевижн эксчейнджес компани лимитед»... город Абердин.

Удивительно, как распаляются взрослые люди из-за того, где находится компания, в которой никогда не служил ни один из них и по отношению к которой ни тот, ни другой не испытывал никаких чувств — ни глубоких, ни поверхностных. То, что до этого они разве что не оскорбляли друг друга, никоим образом их не взволновало, но вдруг у них вздыбились перья по причинам, глубоко скрытым во тьме человеческого сознания. Крам-

нэгела искренне разгневали попытки принизить американский индустриальный гигант. Джок же угрюмо кипел про себя, поскольку в глубине души подозревал, что ошибался, но считал, что это исключительно его дело и никого больше не касается. Чтобы успокоиться, оба пропустили еще по стаканчику.

Неожиданно Джок извинился и вышел.

— Все-таки кто он — этот старый хрыч? — спросил Крамнэгел.

— А, у него не все дома, — сказал Бриггс.

— Я бы так далеко заходить не стал, — заявил старик по фамилии Бэйли. Как и все деревенские мудрецы, он был большой мастер по части оценок и ярлыков: всему своя полочка.

— А я бы и дальше зашел, — заметил Бристоу.

— Э, нет, я бы так далеко заходить не стал, — стоял на своем Бэйли.

— А я говорю, что у него не все дома, — повторил Бриггс.

— В любом случае он был большая шишка, доложу я вам, в ранние дни профсоюзного движения на берегах Клайда, в судостроительной промышленности, — пояснил Бэйли.

— Трудно в это поверить, — пробормотал Бристоу.

— Да нет, правда. Дружил с Уиллом Галлахером и со всей компанией. Эрни Бевин. Суповые кухни. Голодные марши. Интернационал. А потом переехал на юг с фирмой «Паркер Маккиннон», но они уже год как сидят без дела. А его, сдается мне, держат за ночного сторожа при пустой фабрике. В память о старых днях, наверное.

— Хорош ночной сторож, нечего сказать! Из пивной не вылезает, — хихикнула старуха. — И все равно надо отдать ему должное: никто не знает столько соленых анекдотов, как он. До чего грязный старикан — просто прелесть. Знатный, наверное, был в свое время жеребец!

— Вряд ли у него хватало времени, чтоб этим заниматься, как ты думаешь, Берт? — весело спросил Бриггс.

— Думаю, вряд ли. Хотя он ведь не был женат, так что какое-то время у него имелось.

Раздался хохот.

— Что-то уж больно он голодранцем выглядит для профсоюзного вождя, — заметил Крамнэгел.

— Голодранцем? Нет, право же, я бы так не сказал, — возразил Бэйли.

— Да нет, просто он типичный шотландец.

— Голодранец, да еще какой! — подтвердил Бристоу.

— Шотландец из голодранцев, — предложил компромисс Бриггс. — Но ведь вряд ли можно ожидать от коммуниста, чтобы он носил костюм в полоску.

— Он коммунист? — приглушенным голосом переспросил Крамнэгел.

— О, да, — ответил Бриггс. — Баллотировался когда-то в парламент от коммунистической партии, но только потерял залог *.

Как раз в этот момент Джок вернулся в зал, слегка путаясь ногами в концах своего шарфа, и заказал еще виски.

— И мне налейте, — прорычал Крамнэгел и увидел вдруг Джока в совершенно ином свете. Он увидел, как компания «Интернэшнл энд Тексас», этот добрый и доверчивый гигант, раздающий лучшим рабочим свои акции в порядке поощрения и ставящий негров на должности, ну пусть не решающие, но все же ведь ответственные, эта великая сила, несущая миру добро, слепая, как само правосудие, во всей своей беспредельной доброте и милости пригревает на своей широкой груди участника коммунистического заговора с партийным билетом. Этому кошмару должен быть положен конец. И, благодарение господу, он оказался здесь, дабы сделать это.

— Мне сказали, что вы коммунист, — начал он тонкий заход.

— Да, и горжусь этим.

— Гордитесь? Хм... Объясните-ка, что привело вас к коммунистам?

— Ну все, теперь он заведется, — простонали старики.

Джок окинул их презрительным взглядом, а Крамнэгел жестом призвал к молчанию. Он хотел вести следствие самостоятельно.

— Понимание истории, — величественно произнес Джок. — Чувство социальной несправедливости, социального неравенства. Желание добиться во всем справедливости.

— А разве не настанет справедливость, если научится быть справедливым каждый человек? — спросил Крамнэгел.

* Имеется в виду избирательный залог, установленный для кандидатов в члены палаты общин; не возвращается, если кандидат собрал менее 1/8 голосов избирателей.

— Ей-богу, вы коммунист, хотя сами того не знаете! — в деланном изумлении воскликнул Джок.

— Никогда им не был. И никогда не буду.

Столь категоричная защита рабства со стороны раба заставила Джока нахмуриться. Рот его скривился в сатанинскую улыбку жалости, и он сощурил глаза.

— Ишь, как вы в себе уверены! Выставляете свои цепи напоказ — будто они не кандалы, а наиценнейшие браслеты!

— Что вы мелете, черт побери!

— Сказать вам, кто вы такой, господин полицейский? Глина вы, вот кто. Глина, из которой правящие классы лепят все, что им заблагорассудится, что только позволят пределы человеческого унижения. Когда труба зовет, вы первым бежите на войну, подбрасывая шапку в воздух. В Берлин, в Париж, в Нью-Йорк — куда угодно, хоть к черту на рога! Когда кто-нибудь из ваших политиканов требует жертв, вы первым готовы жертвовать чем угодно: кровью, деньгами... жизнью. Когда тот же золотушный политикан чмокает какого-нибудь ребенка, вы тут же отдаете ему свой голос — что, разве не так? А стоит ему нацепить ковбойскую шляпу и побренчать одним пальцем на банджо, как вы сразу считаете его человеком из народа, да? Вас слеза прошибает от патриотизма. Вы идеальный материал для гипнотизера. Стоит только войти сюда человеку с собачьим ошейником, как вы сразу начнете следить за тем, что говорите, сразу нацепите на себя тошнотворную улыбку, а когда раздастся голос — неважно чей: «На молитву!» — вы грохнетесь на колени хоть на долю секунды да раньше всех остальных, ну, разве не так?

— Что вы пытаетесь мне сказать? — спросил Крамнэгел, преисполненный решимости не утратить выдержки, которая должна была оставаться его козырем, секретным оружием. — Вы пытаетесь мне сказать, что я сам себе не хозяин? — Сделав паузу, он заказал еще порцию выпивки для всех лишь для того, чтобы продемонстрировать свое спокойствие. Теперь всем уже было безразлично, кто платит. — Вы когда-нибудь слышали о демократии? — спросил он наконец.

— А, опять, значит, примемся за этот гнилой орех? — вскричал Джок.

— Вы пытаетесь мне сказать...

— Какого черта вы думаете, будто я пытаюсь вам что-то сказать? — заревел Джок, внезапно выйдя из се-

бя. — Либо я сумел вам что-то сказать, либо нет. Если нет, то потому лишь, что вы слишком большой дурак, чтобы меня понять. Если да, то потому лишь, что каким-то чудом вы поймете. Я не пытаюсь вам ничего сказать. Я вам говорю!

Закрыв глаза и поджав губы, Крамнэгел ждал, пока тот выговорится. Дождавшись, открыл глаза.

— Вы говорите мне, демократия — гнилой орех?

— Я вам говорю, демократия — гнилой орех.

— Будем, — сказал Бриггс.

— Будем, — отозвались эхом все.

— Дернули, — добавил от себя Джок после того, как все воздали дань традиции.

— Вы голосуете на выборах? — спросил Крамнэгел.

— Куда вы теперь гнете? Хотите развести бодягу насчет американской войны за независимость и про то, как вы изобрели демократию еще до греков и Сократа? Слушайте вы, голова садовая, я баллотировался в парламент. Знаете, что такое парламент? Порочный дядюшка вашего конгресса. И почти такой же бесполезный. Выборы? У вас они превращены в своего рода моральную повинность, разве не так? Вы не способны понять, что воздержаться от участия в выборах — такой же способ выразить свое мнение, как и любой другой. Нет. Раз вам дают пару паршивых кандидатов, вы должны голосовать за не самого паршивого из них. А по мне, именно это и есть предательство демократии! Нет, я никогда не голосовал на выборах. Никогда. Почему? Потому что никогда не было кандидата-коммуниста, за которого я мог бы отдать свой голос, вот почему. А потуги лейбористов показать, что они почти что наши, меня не обманут, нет — я уж, пожалуй, скорее голосовал бы за тори. По мне, откровенный бандит лучше, чем маскирующийся. Волк в волчьей шкуре — это хоть по-честному.

— То есть вы не станете голосовать, если вам не дадут кандидата-коммуниста? — расхохотался Крамнэгел, качая головой. — Господи Иисусе, вы, значит, согласитесь воспользоваться благами демократии только в одном случае: чтобы отдать свой голос за человека, который заведомо поклялся их уничтожить. Ничего себе логика!

— Да, логика! — вскричал Джок. —А такие, как вы, используют демократию лишь для того, чтобы ограничить выбор народа рамками статус-кво...

— Чего-чего?

— Статус-кво. Существующее положение вещей. Капиталисты. Средний класс. И только на самом что ни на есть последнем месте — рабочие. Может такой человек, как я, баллотироваться на выборах в Соединенных Штатах?

— Конечно!

— А может он победить на выборах?

— Но здесь ведь вам победить тоже не удалось, а?

— Вот именно. Потому что здесь такая же прогнившая система, как и у вас. Вы же ее отсюда и заимствовали. А вот в Советском Союзе...

— В Советском Союзе вообще нет выборов.

— Есть и еще какие!

— Нет. У них и партий даже нет.

— А у нас есть, да? А какая разница между этими нашими партиями, чтоб им пусто было? Ни малейшей! «Коммунистический манифест» — это единственная альтернатива великому заговору капиталистических партий. Как вы думаете, почему, едва кончилась война тысяча девятьсот четырнадцатого-восемнадцатого годов — прошу прощения, для вас это была война тысяча девятьсот семнадцатого-восемнадцатого годов, — почему, как только закончился этот грандиозный пожар с монументальным побоищем, великие державы надумали послать армии интервентов в Советский Союз? Они знали, что опасность в конечном счете заключается не в одном из империалистических соперников, а в новой концепции места человека в обществе, провозглашенной юным голосом международного социализма. Британские войска высадились в Мурманске, друг мой, французские войска... А не забыл ли я кого? Ну, разумеется, забыл: американские войска вторглись в Советский Союз, чтобы в корне пресечь красную заразу. Но ничего у них не вышло.

Крамнэгел почувствовал, как в голову ему бросилась кровь.

— Позвольте вам сказать вот что, — начал он задыхающимся от волнения голосом. — Во-первых, Соединенные Штаты никогда не вторгались в Советский Союз, и вам прекрасно это известно. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда еще не проигрывали ни одной войны. Никогда! Никогда!

— Соединенные Штаты никогда не вторгались в Советский Союз? — вскричал Джок. — Как же тогда, по-вашему, называется высадка войск одного государства

на территории другого? Вы, видно, называете это вторжением лишь в том случае, если оно увенчалось успехом? Так я должен вас понимать? Тогда спасибо за поправку, господин полицейский. Ваше вторжение провалилось, поэтому вы тактично набросили на него вуальку в учебниках истории, чтобы детки продолжали верить сказкам о том, будто великие Соединенные Штаты никогда не проигрывали войны.

— Это грязная ложь! — завопил Крамнэгел.

— Спокойно, спокойно, — пробормотал Бэйли.

Джок щедрым жестом заказал выпивку для всех.

В напряженной тишине все уставились в пол, за исключением Джока, вперившего взгляд в потолок. Старуха облизнула губы в поисках последней капли горькой пены.

— Ну ладно, ладно, — произнес Крамнэгел более примирительным тоном, — давайте оставим в покое историю, хорошо? Давайте говорить про сейчас.

— Сейчас — часть истории, то есть скоро станет ею.

— Ну хорошо, а как насчет трудовых лагерей в России? Как насчет разгонений евреев...

— Вы, надо понимать, хотели сказать: «Как насчет гонений на евреев»...

— Черт с ним, что я хотел сказать, это неважно, — храбро заявил Крамнэгел. — Вы что отрицаете, что они существуют? А как насчет того, что русские вооружают арабов? А насчет того, что писатели у них не могут писать чего хотят? А тайная полиция, которая понаставила микрофонов в гостиницах и частных квартирах? А дикие собаки и колючая проволока на границах — я сам в кино видел! Все это вы тоже будете отрицать?

Джок прикрыл глаза.

— Совершенства в мире нет, — ответил он. — Я уверен, что в Советском Союзе есть своя доля потенциальных преступников, подонков и подрывных элементов. Я всего лишь хочу сказать, что они их лучше держат в руках, нежели мы. Потому-то и существуют трудовые лагеря, друг мой. В вашей стране такие элементы либо сидят в тюрьме, либо шатаются по улицам, собираясь совершить преступление, за которое сядут в тюрьму. Что ж до писателей, которые, по вашему мнению, не могут писать как хотят...

— Будем, — предложил Бристоу.

— Будем, — откликнулись эхом остальные.

— Дернули, — сказал Джок. — Что же до писателей,

позвольте вас спросить: а есть ли в мире такой писатель, который пишет именно то, что он хочет? Писатель пишет на продажу, не так ли? Так же, как женщина, которая старается быть привлекательной не только для себя самой, но и для других... И если писатель не может удовлетворить требованиям капиталистического рынка, он терпит неудачу; а если он терпит неудачу, он голодает. Если коммунистический писатель не может писать так, чтобы удовлетворить требованиям коммунистического рынка, он тоже терпит неудачу, но при этом не голодает никто. Наша свобода, как видите, так далеко не заходит.

Ирония Джока не дошла до Крамнэгела, которого все больше и больше раздражало красноречие оппонента, но не удавалось вцепиться в какую-нибудь более или менее понятную фразу, чтобы дать отпор.

— Вы тут говорили, полиция ставит микрофоны в гостиничных номерах и в частных квартирах. Что ж, недавно я видел фильм о том, как именно этим занимается ФБР. И наконец, если мне не изменяет память, вы упомянули о том, что Советский Союз вооружает арабов. Что вы, черт побери, вообще об этом знаете?

— Очень даже много, — заявил Крамнэгел. — И как бы вы ни искажали факты, вам это не поможет. Евреи имеют право на свой национальный очаг, так? И значит, много веков подряд им в этом праве отказывали. Шесть миллионов евреев погибли в концентрационных лагерях. И они всего лишь хотят добиться права на свой национальный очаг, а Соединенные Штаты как раз и помогают им осуществить это право.

— При чем тут арабы? Разве арабы уничтожили шесть миллионов человек в концентрационных лагерях?

— Вы же сами знаете, что нет. Их убили фрицы. Немцы то есть.

— Так что же плохого в том, что Советский Союз вооружает арабов? Разве вы не вооружаете Израиль?

Крамнэгел вздохнул. Его прямо передернуло от раздражения. Заказав еще раз выпивку для всех, он почесал в затылке.

— Вы антисемит? — спросил он наконец.

— Как может коммунист быть антисемитом? — расхохотался Джок. — Согласно религиозным авторитетам евреи были народом, избранным богом. По мне, так пожалуйста. Но, может быть, этого хватит? Зачем же им еще и самим себя избирать? Или они относятся к выбо-

ру, сделанному богом, так же скептически, как и я?

— Вы атеист? — тоном обвинителя спросил его Крамнэгел.

— Разумеется.

Вот ведь наглец — даже не стыдится открыто признаться в этом.

— Более того, я хотел бы заметить, что объявление евреев избранным народом было первым в истории проявлением расизма.

Крамнэгел моргнул. Он видел двух Джоков, сидевших впритык и двигавшихся до отвращения синхронно.

— Все это мура собачья!

— Убедительным аргументом отвечаете, нечего сказать.

Крамнэгел попытался громко и добродушно рассмеяться, уловив даже сквозь внезапно окутавший его туман, что тут есть вроде бы доля смешного. Он сделал усилие, чтобы встать, но рухнул прямо на старуху, да так, что та расплескала свое пиво. Старуха добродушно хохотнула: она-то пить умела.

— Будем, — сказал Бэйли.

— Дерни себя за нос, — пробормотал Крамнэгел и затрясся от охватившего его хохота — до того он был рад, что сумел сразу отреагировать.

— Будем, — сказал Джок, чей взгляд тоже утратил былую твердость, но был полон презрения к человеку, не умеющему пить. Джок вцепился в стойку бара, как в поручень на корабельной палубе, раскачиваемой бурными волнами моря. — Сионизм — это европейская концепция, сформулированная европейскими евреями в конце прошлого века в попытках вновь обрести утраченное достоинство. И когда... да слушайте же вы, чтоб вас... я же не для себя излагаю сию премудрость, я все это и так знаю, — знаю, ясно?.. Так к чему же ведет поиск утраченного достоинства? К самому порогу фашизма — вот к чему! Взять хотя бы Бенито Муссолини...

— Сами, чтоб вам треснуть, не знаете, чего несете, — тихо, угрожающе произнес Крамнэгел.

— Взять хотя бы Бенито Муссолини, — не отступался Джок, брызгая слюной и пытаясь чеканить каждое слово, чтобы побороть растущее опьянение исключительной четкостью речи. — Любовался гробницами вдоль Аппиевой дороги! Йозеф Шикльгрум, то есть Адольф Гитлер...

— Сами, чтоб вам треснуть, не знаете, что несете, — повторил Крамнэгел.

— А как насчет Кубы?

— Кубу вы сюда не приплетайте! — мгновенно встрепенулся Крамнэгел, ибо Джок явно покушался на доктрину Монро.

— А вы меня не пугайте, — вдруг завопил Джок, гордость которого была уязвлена чванливостью пьяного полицейского. — Почитали бы лучше кое-какие материалы Общества дружбы с Советским...

— Ей-богу, не будь ты таким плюгавым старым замухрышкой, я б тебе показал...

— Где же твой боевой дух? Остался в развалинах какой-нибудь сожженной напалмом вьетнамской деревни?

— А, чтоб тебя, довел ты меня все-таки!

Крамнэгела даже передернуло от ненависти к непонятности огромного мира. Он попытался было рвануться к Джоку, но пол так качался под ногами, что не получалось сдвинуться с места.

— А ну иди сюда, ты, гук * паршивый! — зарычал он.

— Рот себе прополощи, — вдруг приказала ему неожиданно ожившая старуха.

— Вот полюбуйтесь на эту великую руку помощи, протянутую миру! — кричал Джок, брызгая слюной. — Припрется всякая горилла и начинает пороть всякую пошлятину...

— Гук! Гук! Гук! — вопил Крамнэгел.

Оба прочно, как якорями, уцепились за мебель, поскольку не могли двинуться ни вперед, ни назад, столь же величественные и столь же беспомощные, как парусные фрегаты в безветренный день. Джок вдруг вспомнил о висевшей на кончике носа капле и полез в карман — по всей вероятности, за носовым платком.

Сквозь пьяную мглу Крамнэгел заметил, что рука Джока нырнула в карман, и, должно быть, мгновенно сработал рефлекс, ибо, когда щелкнули два револьверных выстрела, даже Крамнэгел толком не сообразил, что стрелял он сам. Глянув секунду спустя на собственную руку, он увидел в ней револьвер, из ствола которого курился дымок. Джок с изумлением глянул на свою руку,

---

* Презрительная кличка, которой американские военные называли вьетнамцев.

затем перевел взгляд на грудь. Его кепку подбросило к потолку, и она упала за стойку бара.

— О боже, ты еще хуже, чем я думал, — прошептал Джок и медленно сполз на пол.

Старики, пошатываясь, поднялись с мест, а старуха все повторяла: «Что ты наделал, что ты наделал?» — будто увещевая ребенка. Крамнэгел первым осознал, что произошло.

Протрезвев от случившегося, он заметил, что все присутствующие напуганы видом револьвера, который он все еще держал в руке, и сунул револьвер в кобуру под мышкой.

Спустя минут пять появился молодой полисмен. За ним прибыл доктор.

— Вы были очевидцем происшествия? — спросил полисмен Крамнэгела.

— Разумеется, это же я в него стрелял.

Полисмен уставился на него неверящим взглядом.

— Вы, сэр?

Три старика и старуха нервно подтвердили слова Крамнэгела.

— Сдайте, пожалуйста, ваше оружие, сэр.

— Я бы лучше оставил его у себя, — ответил Крамнэгел, доставая свое удостоверение в целлофановой обложке. — Я, видите ли, сам полицейский. Начальник полиции. Вот здесь все про меня сказано... Да я же с вами разговаривал, помните, в поселке? Так вот, это я. — Он указал на свою фотографию на удостоверении. — А этот тип, — ткнул он пальцем в Джока, — полез в карман за оружием, чтоб в меня стрелять. Я выстрелил в него в порядке самозащиты.

— Самозащиты? Вот как?

Полисмен опустился на колени рядом с Джоком.

— Он жив? — спросил полисмен доктора.

— Жив, но в тяжелом состоянии. Надо срочно вызвать «скорую помощь».

— У него нет в кармане оружия, сэр, — сказал полисмен Крамнэгелу минуту спустя. — Только носовой платок.

— Только платок, — повторил Крамнэгел, впервые начиная испытывать смутное беспокойство. — Поищите в другом кармане.

— Там только ключ и коробок спичек.

Поднявшись на ноги, полисмен отряхнул колени.

— Будет лучше, если вы сдадите оружие мне, сэр.

— А обратно мне его вернут? Я вам лучше подпишу что угодно. Я же вам сказал: я в этого типа стрелял в порядке самозащиты. Ведь я вас сам сюда и вызвал, понимаете? Я...

— У вас есть разрешение на ношение оружия, сэр?

— Конечно, есть, я же начальник полиции...

— Я имею в виду разрешение, выданное английскими властями, сэр?

— Нет. На черта мне английское разрешение?..,

— В таком случае, сэр будет лучше, если вы сдадите мне оружие. Вы носите его незаконно.

— То есть как это незаконно?..

— Мы не носим оружия, сэр.

— Не носите, — Крамнэгела разобрал смех. Издевательский или истеричный — сказать трудно. Так или иначе, но Крамнэгел рассмеялся, и от этого ему стало легче. Проверив, стоит ли револьвер на предохранителе, он протянул его полисмену.

— А теперь, сэр, прошу следовать за мной.

— После вас.

— Пожалуй, я должен предупредить вас, что все, сказанное вами, будет внесено в протокол и может быть использовано как показания.

— Показания? — Крамнэгел даже пошатнулся и нахмурился, как человек, внезапно ставший жертвой измены. — Какого черта?

6

Сэр Невилл Ним был холостяком и человеком слишком блестящим для своей должности — возможно, даже чуть-чуть излишне блестящим для любой должности. Занимая пост главного прокурора министерства внутренних дел, он постоянно соприкасался с самыми неприглядными сторонами человеческой натуры, но сумел найти среднюю линию между двойным искушением — безграничной черствостью и безграничной строгостью, и придерживался этой линии не без своего рода иронической мягкости. Он рано вставал и завтракал в своих пыльных унылых покоях. Завтрак ему подавала экономка миссис Шекспир. За завтраком сэр Невилл был не очень разговорчив, поскольку читал в это время газету, решал кроссворд в «Гардиан», пока набиралась вода в ванну, и только после ванны, прежде чем отправиться пешком на

работу в министерство, уделял пять минут для ласковой и не лишенной сложности беседы на самые разнообразные темы со своей экономкой. Сегодня же, однако, не успел он раскрыть газету, как сразу воскликнул:

— О боже!

Миссис Шекспир моментально почувствовала, что ее хозяин на сей раз жаждет общения.

— Я могу быть чем-нибудь полезна, сэр?

Сэр Невилл нахмурился и улыбнулся одновременно.

— Вы знаете, миссис Шекспир, мир стал настолько тесен, что стандарты и принципы, не имеющие ничего общего между собой, внезапно оказываются в вынужденном соседстве. В нашем веке столько аномалий, что количество предсказуемых несчастий растет с пугающей быстротой. Их безбрежное множество пугает меня, я каждое утро открываю газету с мрачным предчувствием. И вот сегодня — да, именно сегодня — сбылся один из терзающих мое воображение кошмаров.

— Глубоко сожалею, сэр Невилл, право, сожалею.

— Спасибо, миссис Шекспир. Полагаю, вы бы хотели узнать, что именно произошло.

— Да, я бы не прочь, если и вы не возражаете.

— Американский полицейский открыл огонь в сельской пивной в Хартфордшире и ранил местного профсоюзного лидера — шотландца.

— Ну, от них всего можно ожидать — от американцев. Вы ведь бываете в кино, сэр Невилл?

— В кино я не ходил со времени расцвета Гарольда Ллойда, а тогда так называемый постовой представлялся персонажем забавным, объектом добродушных шуток.

— Теперь-то все по-другому, — проворчала миссис Шекспир. — Я знаю, я ведь вожу в кино своего младшего. Теперь все фильмы — сплошная кровавая баня с легавым в центре — их теперь так называют, этих ваших постовых.

— Легавый? — Сэр Невилл даже поморщился.

— Да, легавый. И легавый должен выстрелами проложить себе дорогу из любой беды.

— Вот здесь-то вы и попали в самый корень проблемы, миссис Шекспир.

— Да? — Миссис Шекспир даже несколько растерялась от собственных достижений.

— Совершенно верно. Мы не можем изменить американский образ жизни. Пытаться сделать это — значит, слишком много брать на себя, даже если бы такое вооб-

ще было возможно. Американцы, по всей видимости, приписывают смерти качества веселого приключения и, безусловно, имеют право на это. Пожалуй, тут наш недостаток, но мы не способны найти в смерти ничего, кроме довольно безвкусной скуки или, при некоторых обстоятельствах, явного облегчения. Тот же человек, который в Америке выстрелами прокладывает себе дорогу из беды, может легко оказаться тем человеком, который в нашей стране своими выстрелами проложит себе дорогу в беду. Сдается мне, точнее характер сего дела и не сформулировать. Поймите меня правильно: я критикую его поведение отнюдь не с позиций высокой морали. Профсоюзный лидер-шотландец в самом сердце сельского Хартфордшира — явление само по себе уже настолько невероятное, что, кто знает, возможно, он действительно заслуживал смерти, пусть даже от руки какого-то заезжего легавого. Так или иначе, мое беспокойство вызвано вопросами чисто технического характера, равно как и мои постоянные кошмары. Ведь на наши головы обрушилось дело, выносить суждение по которому не компетентны ни английские судьи, ни английские адвокаты, ни английские присяжные, ни английское общественное мнение. — Сэр Невилл сделал паузу. — Спросите меня, почему, миссис Шекспир.

— Почему, сэр Невилл?

— Ибо никому из нас не понять, что такое быть американским легавым в американском городе. Попробуйте осмыслить с английской точки зрения мотивы, которые заставляют человека подобного сорта применять оружие, и вы не найдете никакого смысла. Английская кровь обладает намного более высокой точкой кипения, чем ее американский эквивалент. Да, нам предстоит одно из тех злосчастных дел, где судебная ошибка просто неизбежна.

— Неизбежна, сэр? Но ведь такого никак не может быть в Англии.

— Если бы я опустился до того, чтобы застрелить человека в американском городе Де Мойн, миссис Шекспир, я бы не хотел подвергнуться суду по американским стандартам или — что еще хуже — по американским стандартам, видоизмененным во имя проявления доброй воли в духе Дэвида Копперфилда и миссис Минивер.

— Я понимаю, сэр, понимаю, — в суровом раздумье пробормотала миссис Шекспир. Большую часть того, что говорил ей сэр Невилл, она не понимала, именно поэто-

му ей он это и говорил. Возможность еще утром разогреть свой мыслительный механизм на глазах свидетеля, не способного ни на какие инициативы, которые могли бы затуманить обдумываемый вопрос, вызывала у него удивительное чувство освобождения от бремени.

— А сейчас я приму ванну, миссис Шекспир.

— Вы еще не доели яйцо, сэр Невилл.

Сэр Невилл скрылся в ванной, никак не обосновав свой отказ доесть яйцо.

Придя на работу, он принял своего помощника Билла Стокарда и высокого чина из Скотленд-Ярда — Пьютри, главного инспектора уголовной полиции. Они сидели, попивая чай.

— И ведь он отнюдь не рядовой полицейский, — говорил Пьютри. — Он начальник полиции города с почти миллионным населением.

— Я этого не знал. — Сэр Невилл задумчиво помешивал ложечкой чай. — О боже, да это же намного осложняет дело, не правда ли?

— Почему же?

— Видите ли, нам будет еще труднее судить его.

Стокард еле заметно улыбнулся. Он хорошо понимал ход мыслей своего начальника.

— О господи, да начни мы размышлять над тем, что судить легко, что трудно, а что вообще невозможно, мы бы уже давно все свихнулись, — заметил Пьютри, раскуривая трубку. — Вы только вспомните все эти обрядовые дела — ритуальные убийства и каннибализм в районе Ноттингхилл-гейт *! А кровная месть в Беркемпстеде, когда сводились счеты вражды, начавшейся пятьсот лет назад в Северной Нигерии! Вы думаете, его светлость судья Бекуит и судья миссис Макквистон были способны принять в том случае справедливое решение, а? Что скажете? Нам тогда нужен был колдун в полном боевом облачении, который в порядке наказания отрезал бы виновнику полагающийся орган — и точка.

— Но потом все равно последовала бы, я полагаю, апелляция, — сухо улыбнулся сэр Невилл.

Пьютри рассмеялся.

Загудел зуммер селектора, и Стокард щелкнул рычажком.

---

* Ноттингхилл-гейт — район бедноты в западной части Лондона; населен в основном иммигрантами из бывших колоний Британии, известен как место расовых столкновений в 50—70-х годах.

— К вам господин из министерства иностранных дел, — раздался голос секретарши.

— О? — Стокард вопросительно глянул на сэра Невилла, тот кивнул.

— Хорошо, просите. — Стокард выключил аппарат. — Что же теперь? — спросил он.

— Янки, наверное, пригрозят направить Шестой флот, если мы не выпустим их человека, — пошутил Пьютри.

— Вряд ли они пошлют Шестой флот из-за какого-то полицейского чиновника. Рональда Рейгана или Ширли Темпл * еще куда ни шло, но Шестой флот — маловероятно, — заметил Стокард.

Отворилась дверь, и вошел коротенький, очень неопрятный человечек, который как-то очень странно держал голову — то ли собираясь извиняться, то ли играя на воображаемой виолончели и прислушиваясь к ее звучанию. Глаза его бегали вверх, вниз и по сторонам, и при этом на губах бродила жеманная улыбочка. Когда он переставал гримасничать, лицо сразу становилось утонченным и достойным, однако это обстоятельство, казалось, очень его смущало, и он изо всех сил старался произвести впечатление неприглядной никчемности. Представился он как Гайлз де Монтесано. Он был отпрыском одной из старых английских католических семей, и звук «р» раскатывался в его устах далекой барабанной дробью.

— Сегодня утром мы получили сообщение из консульства Соединенных Штатов по поводу мистера Крамнэгела, — заявил он.

— Уже? Однако быстро они работают, быстро, — заметил сэр Невилл.

Улыбнувшись, Монтесано стал похож на святого, умирающего мученической смертью на костре.

— Сообщение, полученное нами, носит неофициальный характер, поэтому мы так быстро и получили его, — пояснил он. — Прошу учесть, однако, что оно носит неофициальный характер только потому, что за ним пока еще не последовало официальной памятной записки или чего-либо подобного.

— Не понимаю, — сознался Пьютри.

— Видите ли, — еще отчаяннее скривился Монтесано, — видите ли, сообщение поступило в форме телефон-

* Ширли Темпл — известная американская актриса, ставшая работником дипломатической службы и дослужившаяся до ранга посла.

ного звонка мистера Элбертса, личного помощника генерального консула США, и он вполне ясно дал понять, что его звонок не следует считать сугубо неофициальным, поскольку за ним, безусловно, последует письменное извещение. Не знаю, право, достаточно ли понятно я изъясняюсь...

— М-м... Не могли бы вы изложить нам содержание сообщения американцев? — мягко направил его в нужное русло сэр Невилл. — Полагаю, что именно в этом и заключалась цель вашего визита к нам.

— Совершенно верно, совершенно верно, — захлебнулся безрадостным смехом Монтесано. — По всей видимости, американцы хотят заверить нас, что не рассчитывают на какое-то особое отношение к этому человеку. Говоря словами мистера Элбертса, он должен был бы лучше соображать. И сам виноват, если не сообразил.

— То есть никакого давления, — сказал Пьютри.

— Что есть отсутствие давления, как не способ оказать давление? — заметил сэр Невилл.

— А-а... — с мудрым видом протянул Стокард.

— Должен отметить, что сначала именно так восприняли звонок мистера Элбертса и мы, — заявил Монтесано. — Сообщение показалось нам слишком уж поспешным... И все же у меня сложилось впечатление, что они искренне смущены случившимся.

— Они и должны быть смущены, — сказал Пьютри.

— Они полагают, что он подвел свою страну.

— Это только потому, что он — за границей, — заметил сэр Невилл. — Дома, по всей вероятности, он получил бы за это медаль.

— Ну, что вы! — Стокард никак не мог поверить, что существует такая огромная разница между англичанами и людьми, которых он любил называть «нашими американскими кузенами».

Зазвонил телефон. Стокард снял трубку. Послушав немного, сказал:

— Ясно. — И положил трубку на рычаг. Сэр Невилл даже не взглянул на него.

— Умер шотландец, не так ли?

— Да.

— Рассуждать больше не о чем, — сказал Пьютри.

— Да, я ждал этого. Мне так и казалось, что наша проблема разрешится возникновением новой проблемы. Итак, мистер де Монтесано, все рассуждения о давлении носят теперь исключительно академический характер.

Я больше не могу закрывать глаза на случившееся. Я могу пойти на некоторые скидки, но только в рамках дела об убийстве.

— Конечно, разумеется.

— Можно ли спросить, что вы намерены предпринять? — поинтересовался Пьютри.

— Буду всеми силами добиваться обвинения в непредумышленном убийстве. Какое же здесь предумышление?

— А почему он носил с собой оружие?

— Почему все мы носим с собой зубные щетки, стоит нам уехать из дому хоть на одну ночь? Сила привычки.

— Неужели, по-вашему, он такой идиот?

— Не забывайте, что он полицейский.

— Н-да. Их полицейский.

Узнав о смерти Джока, Крамнэгел, не стесняясь, расплакался, к вящему смущению присутствовавших при этом полицейских.

— Он же был просто милый старичок, — повторял Крамнэгел как молитву, то и дело спрашивая, осталась ли у Джока семья. Когда сказали, что, насколько известно полиции, семьи у Джока не было, Крамнэгел стал благодарить за это господа бога. Глубина скорби Крамнэгела смутила его стражников, которые обращались с ним скорее как с достойным военнопленным, чем с арестованным преступником. Неожиданное сочувствие к жертве, вызванное лишь тем, что жертва скончалась, возбудило в них изрядное недоумение, поскольку до сих пор оправданием поступка Крамнэгела служило то, что закоренелый и злобный агитатор-коммунист оскорбил Соединенные Штаты и лез из кожи вон, чтобы спровоцировать обычно уравновешенного американца, начальника полиции, и заставить его совершить преступление.

К концу дня Крамнэгел постепенно взял себя в руки. Улучшению его настроения во многом способствовал визит Эди, хотя она и явилась в сопровождении нелюбимого им майора Батта О'Фехи, который смачно жевал резинку во время пылких родственных объятий.

— Пойди и скажи им все, как ты сказал на своем чествовании, — потребовала Эди, ударяя его кулаком в грудь.

— Обязательно. Я себя в обиду не дам. Если б только тот бедный старикашка... — Он умолк, глаза его наполнились слезами при одной только мысли о Джоке.

— Он не первый в мире покойник и не последний, — заявила Эди, которой совсем не нравилось то, как действовал на воображение супруга этот подохший шотландец.

— Во-во, — заметил О'Фехи, перекатывая жвачку в другой угол рта.

— Помнишь тот день, когда ты пришел сообщить мне про Чета... Чета... Козловски... Я тогда была замужем за ним и имела право плакать, верно?

Крамнэгел чисто по-мужски потер челюсть.

— Знаю, Эди, знаю. Просто я не спал всю ночь.

— Я понимаю. Эди все понимает. — Встав на цыпочки, она поцеловала мужа в щеку.

— Слышь, Батт, сигаретки у тебя не будет?

— Извини, друг, сигаретки нет, есть жвачка, если желаешь. С куревом я завязал: табак и парашютизм — вещи несовместимые.

— На жвачку меня что-то не тянет. Во всяком случае сейчас.

Атмосфера напоминала канун важного матча по боксу, за исключением того, что репутация и данные противника оставались факторами абсолютно неизвестными. Герой и его свита не могли даже строить догадок относительно противостоящего им бойца. Нельзя было ни посоветовать, ни поглумиться, ни посмеяться, ни порыдать. И Крамнэгел уж никак не чувствовал себя в большей безопасности от того, что Батт О'Фехи смачно жевал резинку и время от времени посматривал на часы. Надо было, чтобы с ним это случилось, сволочь он эдакая.

На следующий день произошли два события. Прежде всего Крамнэгелу предложили адвоката — Мод Эпсом, королевскую советницу юстиции. Как он сам сказал посетившей его Эди, он чуть не лопнул от злости.

— За каким чертом мне суют эту бабу? Да где это слыхано — баба-адвокат! Я этих сукиных детей насквозь вижу: хотят, чтоб я продул процесс! Ведь обвинение-то явно подстроено, чтоб их... Да я, черт возьми, абсолютно уверен, что этот вонючий комми где-то прятал револьвер — успел, наверное, сунуть его за стойку. Полицейский-то там оказался совсем зеленый, такой сопляк, что ему даже личного оружия не доверили — он вообще не догадался там и посмотреть, а теперь-то уж этот паршивый кабак обыскивать без толку... — все они заодно. Чтоб их!

— За каким дьяволом ему посылают бабу? — вскипе-

ла Эди, воображение которой уже нарисовало сцену в камере: встрепанная адвокатеса в пылких объятиях нежных лапищ ее Барта.

— Должен заметить, мисс Эпсом — одна из лучших защитниц в стране, — ответил полицейский сержант. — Я никогда не слышал, чтобы она позволяла мужчинам какие-нибудь глупости. Поэтому, наверное, она до сих пор и не замужем, — добавил он добродушно.

Вообще-то идея пригласить для защиты Крамнэгела женщину родилась в мозгу сэра Невилла. Принимая Элбертса, личного помощника американского генерального консула, нанесшего ему визит в сопровождении Гайлза де Монтесано, сэр Невилл предельно ясно изложил свои опасения в связи с данным делом, к вящему удовлетворению своего гостя, и одновременно предложил пригласить женщину-адвоката блестящего дарования, чтобы тем самым изощренно и хитро повлиять на атмосферу этого невероятного процесса. Надо полагать, что рассказ о стрельбе и убийстве, изложенный мелодичным контральто, изрядно отдалит существо дела от реальной действительности.

И теперь Элбертс нанес визит Крамнэгелу, чтобы установить необходимый контакт с ним и попытаться убедить его в том, что приглашение женщины-адвоката было искренней попыткой помочь ему, а не грубым маневром, рассчитанным на то, чтобы подорвать силы этого Самсона в предстоящем ему бою.

К несчастью, между четой Крамнэгелов и Элбертсом лежала пропасть привычек, мнений, взглядов и вкусов еще более глубокая, чем та, что отделяла каждую из сторон от англичан, которые хотя бы пытались эту пропасть преодолеть. С первого же взгляда друг на друга соотечественники насторожились. Крамнэгел олицетворял все то, что раздражало и огорчало Элбертса в его собственной стране. Усевшись с изяществом афганской гончей на шатком стуле в маленькой комнате, предоставленной в их распоряжение руководством полицейского участка, Элбертс изучал злоумышленника из-под опущенных век.

Убогость его речи, неспособность его мозга следовать (пусть даже на почтительном расстоянии) за логическим ходом мысли, грубость черт и выражения лица, вся отвратительная вульгарность этого человека и его жены преисполнили Элбертса чувством тупой ярости. Мысль же, что этот дубина был представителем местной власти,

заставляла Элбертса укрепиться во мнении, что, за исключением ряда районов Новой Англии, его Соединенные Штаты — это всего-навсего огромная недоразвитая страна.

— Я искренне убежден, что вам следовало бы всерьез подумать о том, чтобы согласиться с кандидатурой мисс Эпсом, — сказал Элбертс, настоятельно качнув головой.

— Слушайте, вы женаты? — без обиняков спросил Крамнэгел.

— Некоторым образом да, — Элбертс придал своему ответу известную весомость.

— Тогда вы должны знать, что есть вещи, которых собственной жене не расскажешь, но выложишь первому встречному. Не суйся в разговор, Эди, — бросил он жене, которая и не собиралась открывать рот.

— А вы подумайте о том впечатлении, которое произведет женщина-адвокат на суд, особенно на процессе по делу о непредумышленном убийстве с помощью огнестрельного оружия. Мне удалось узнать, что люди, ведущие ваше дело, руководствуются именно этими соображениями.

— Значит, у них головы набиты трухой, если они этим руководствуются, — прорычал Крамнэгел так, что Элбертс вздрогнул. — А кто у них здесь вместо окружного прокурора? Что он собою представляет?

— У них нет окружных прокуроров.

— Я же спросил: «Кто вместо?» Знаю, наших прокуроров у них нет, я грамотный.

— Не имею представления. Нам, видите ли, не каждый день приходится иметь дело с соотечественниками, угодившими в тюрьму за уголовное преступление.

— Ну, он-то уж точно будет мужчина, да?

— Надо полагать.

— Вот и я про то же. Так разве моей дамочке сдюжить против него в драке?

— В драке? Не понимаю, право, каким вы себе представляете английский суд.

— Но ведь наши традиции позаимствованы отсюда. Так?

— Да, — терпеливо согласился Элбертс.

— Раз мы позаимствовали свои традиции отсюда, то и у них в суде все происходит с грызней и дракой, как и у нас. А в судебной драке обо всей этой ерунде собачьей насчет того, чтоб «женщин вперед», никто и не вспоминает. Адвокат туда приходит, чтоб выиграть дело, и если

он хоть чего-нибудь стоит, плевать ему, как именно он его выиграет. Слушайте, я в суде полжизни провел, я, черт побери, знаю, о чем говорю. И я вам вот что скажу, мистер: дамочке-адвокату в суде делать нечего. Ну, конечно, если она защищает какую-нибудь смазливую бабенку, которая только что пришила мужа, разоделась во все черное и жутко жалеет о том, что натворила, а сама до смерти рада, — тогда все о'кэй. Здесь я с вами согласен. Но некоторые профессии просто не для женщин. Может, епископы — это одно, а адвокаты — совсем другое. И вы, черт побери, можете сказать это кому угодно с большим приветом от начальника Крамнэгела.

Вздохнув, Элбертс поднялся со стула.

— Уверен, все будет хорошо, — сказал он, протягивая руку с улыбкой столь же великодушной, сколь и неискренней.

— Иначе и быть не должно, это я вам говорю.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, миссис Крамнэгел.

— Мне случалось переживать и худшее, — сказала Эди.

— Вот это правильное настроение. — И, покачав головой на тонкой шее — прощальный знак вызывающей изрядные сомнения солидарности, Элбертс отправился на ретроспективную выставку Джексона Поллока * в галерее Тейт.

По настоянию Крамнэгела кандидатура мисс Эпсом была отведена, и его посетил новый кандидат в защитники — Локвуд Крэмп, член парламента от избирательного округа в Северной Ирландии. Он не совсем соответствовал представлениям Крамнэгела о том, каким следовало бы быть союзнику, ибо даже внешность его никоим образом не укладывалась в рамки привычного американцу стандарта. Но при всем при этом выглядел он как человек, отобранный для защиты Крамнэгела именно за умение драться в суде и ни за что иное. Его изрядно помятое лицо, по которому, оставив глубокие следы, прокатились и война и мир, являло собой гамму разнообразнейших оттенков красного цвета, разрываемую пучками буйной верескоподобной рыжеватой растительности, украшавшей уши, поздри и скулы. («Хоть бы сбрил он эту пакость, что ли», — жаловался Крамнэгел потом жене.)

---

* Джексон Поллок (1912—1956) — известный американский художник-абстракционист.

Локвуд Крэмп носил длинные колючие бакенбарды, обрамляющие большой рот, из которого торчали бивнеподобные зубы, оставляя, однако, место для изгрызенной черной трубки. Трубка эта беспрерывно изрыгала удушающие клубы дыма, а по подбородку из-под нее все время сочилась слюна. Самым же интересным в его лице были голубые глаза, детски-наивные и доверчивые, — огромные круглые пуговицы, совершенно плоские, они выглядывали из-под рыжих бровей с искренностью, одновременно смешной и волнующей. Сразу становилось ясно: вот человек, который в жизни не знал ничего, кроме физической отваги, и эта черта характера была, вероятно, и его силой, и его слабостью. Возможно, он и был рожден для того, чтобы вести за собой людей, но вряд ли для того, чтобы люди за ним шли.

Его совещание с Крамнэгелом в камере носило мучительный характер беседы учителя с учеником, пытающимся сдать «хвосты» по домашним занятиям.

— В вооруженных силах вы не служили вообще?

— Нет, сэр, не служил.

— Жаль, жаль... Ну, ничего.

— Это вы к тому, что присяжных было бы легче разжалобить, имей я «Пурпурное сердце»? *

Крэмп хмуро усмехнулся.

— Такие вещи помогают, хотя и не должны бы помогать. Я когда-то знавал немало героев войны — в мирное время они, как правило, становились весьма неуравновешенными гражданами. Дело в том, что одно с другим несовместимо и не может ужиться в человеке, но суды все равно этого не понимают. Вас не взяли в армию по здоровью?

— Да, сэр, по здоровью.

— Чем вы были больны? Может, удастся выжать сочувствие к вашей болезни. Что у вас было? Рак? Туберкулез? Что-нибудь повлиявшее на психическую уравновешенность?

— Нет, сэр, не это, — Крамнэгел сглотнул слюну.

— Ну, раз нет, то мне и знать ни к чему.

О черт, теперь у этого типа сложится превратное о нем представление!

— Болезнь была такая, которую каждый человек может подцепить.

---

* Медаль за ранение в бою.

— А, одна из тех, значит... — хмыкнул Крэмп. —Ну, тогда лучше о ней и не заикаться.

— Нет, вовсе не одна из тех, — возразил Крамнэгел. — Одна из других.

— Из каких таких других? — пристально посмотрел на него Крэмп.

— Да не из тех... из этих...

— Не понимаю...

— Господи Иисусе! — Крамнэгел швырнул коробок спичек через всю камеру.

— Сядьте и не будьте ребенком, — одернул его Крэмп. — Сейчас нет времени ни на что, кроме полного и безраздельного делового сотрудничества. Нам надо как следует подготовиться к процессу, а застрелив в пивной беззащитного старика, вы даете мне не такой уж богатый материал для защиты. У нас есть выбор только из двух возможностей. Первое: объявить вас маньяком. Второе: доказать, что все происшедшее явилось лишь результатом трагического недоразумения. Говоря по правде, первое сделать легче.

— Какой же я маньяк! Я просто вдрызг надрался! — вскричал Крамнэгел.

— Это, поверьте мне, отнюдь не лучшая линия защиты.

— Но он ведь тоже надрался!

— Он, к сожалению, мертв. И нам уже нет никакого дела до того, надрался он тогда или нет.

— И все равно никакой я вам, к черту, не маньяк!

— Глубоко сожалею об этом.

— Вот что, я хочу ехать домой, вернуться, значит, к тому, что оставил. Я начальник полиции и намерен им оставаться. Начальник полиции — и никто в мире этого у меня не отнимет.

Но тут на Крамнэгела внезапно нахлынули нелегкие мысли об Але Карбайде, о котором он за последнее время начисто забыл.

— Вы хотите сказать, что ожидаете оправдательного приговора, после которого вас отпустят домой и разрешат возобновить вашу прежнюю деятельность?

— Конечно. А как же иначе?

— Ну, знаете, вы верите в меня и в мои возможности гораздо больше, чем верю в них я сам, — пробормотал Крэмп.

— Слушайте, ведь то, что случилось со мной, могло случиться с кем угодно, и вам отлично это известно.

— Нет, мне это неизвестно. Здесь такое могло случиться только с уголовным преступником или с американским полицейским. А теперь я должен — в надежде, что мне это удастся, разумеется, — попытаться доказать суду, что уголовный преступник и американский полицейский — это не одно и то же.

7

Сэр Невилл обнаружил, что по мере приближения суда он все чаще и чаще задумывается над делом Крамнэгела, рассматривая его со всех возможных сторон — со стратегической, и с тактической, и просто с человеческой. С людьми, овладевшими сложным предметом во всей его многогранности, случается порой, что широта их воззрений и терпимость к новому увеличиваются, а не уменьшаются по мере профессионального и служебного роста. Таким человеком был и сэр Невилл: его видение мира давно уже не сковывалось буквой закона, но всего лишь ограничивалось рамками его духа. Предложить всеми силами добиваться обвинения в непредумышленном убийстве мог только человек либо юридически безграмотный, либо столь чистый в помыслах, как сэр Невилл. Это было невообразимо, ибо в Англии заведомо никто не поверит, чтобы человек — будь он хоть зулус, или мальгаш, или туземец с Мальдивских островов, не говоря уже о начальнике полиции американского города, — не отличил бы старика, достающего из кармана носовой платок, от выхватывающего револьвер бандита.

Как заметил по этому поводу Билл Стокард, «ребенку, когда он смотрит вестерн, никогда и в голову не придет, что ковбои, сходящиеся на главной улице Карсонсити, лезут в карман за носовым платком. С какой же стати требовать от людей веры в противоположное?»

Сэр Невилл рассмеялся. Ему нравился Стокард. Нравился своей молодостью и прямотой: ведь сэр Невилл знал, что вслед за покидающей тело молодостью вскоре душу покидает прямота. Глядя на Стокарда, он вспоминал свой собственный путь наверх.

— Я согласен с вами, — заметил он Стокарду, у которого сразу отлегло от сердца. — Суд сам должен прийти к обвинению в непредумышленном убийстве, и прийти на основании доказательства того, что обвинение в предумышленном убийстве в данном случае неуместно.

— Вот именно! — И, улыбнувшись собственной не-

скромности, Билл Стокард добавил: — Но ведь вы знали это с самого начала и просто водили нас всех за нос, не так ли, сэр Невилл?

— Я знал это с самого начала, — очень серьезно ответил сэр Невилл. — В противном случае я бы не занимал этого кресла в этом кабинете. Но, уверяю вас, за нос я не вожу никого. Ну разве только самого себя. Я просто-напросто бьюсь в обычной агонии демократических порядков, Билл. Я точно знаю, как именно следует поступить — и отнюдь не во имя торжества правосудия, о нет, вовсе не ради этого, а только для того, чтобы правосудием не злоупотребляли. К несчастью, мои полномочия не так уж широки, и мне ничего не остается, кроме как следить за происходящим и доверять действующим лицам. А я не доверяю им, Билл. Я никому не доверяю, кроме себя самого. — Улыбнувшись наконец, сэр Невилл добавил: — Разумеется, я говорю это со всей должной скромностью.

— Вы совершенно правы, называя происходящее обычной агонией демократических порядков. Все мы в этой агонии бьемся.

— Да, и поскольку бьемся действительно все, то при диктатуре было бы не в пример спокойнее.

— Не могу себе представить вас под пятой диктатуры, сэр.

— Какой же толк в диктатуре, если попадаешь под ее пяту? Вот будь диктатором я сам, тогда бы я не возражал против нее никоим образом.

— Я вам не верю, сэр. Не при вас будь сказано, но диктатор вышел бы никудышный. Уж больно сложный вы человек.

— Серьезно?

— О да. К тому же вы чересчур вежливы.

— Я тешу себя мыслью, что временами бываю очень груб.

— Только истинно вежливому человеку доступна великолепная техника настоящей грубости. А у диктаторов на это нет времени. Они вынуждены быть нечувствительными. И не могут себе позволить прислушиваться к чужому мнению.

— Гм-м... Пожалуй, вы были бы столь же плохой опорой диктатору, сколь я был бы плохим диктатором. Дойдя в нашей беседе до столь обнадеживающего момента, позволю себе пригласить вас отобедать.

Билл знал, что означало приглашение сэра Невилла, и на минуту замялся. Он был слишком современен, чтобы получать удовольствие от обедов в клубах. Он предпочел бы где-нибудь быстро перекусить. К тому же дома жена, трое детей... Нет, у него совсем не было времени на сидение в залах, где почтенные старцы потягивают портвейн, пересказывая друг другу последние сплетни.

— С удовольствием, — ответил он.

По дороге в клуб сэр Невилл разговорился:

— С вашей стороны было очень любезно принять мое приглашение, Билл. Я ведь знаю, что для клубов у вас просто нет времени.

— О, это совсем не так...

— Именно так, и я вполне это понимаю. Вы человек семейный. И ваша жизнь идет совсем по другому руслу. Клуб как общественный институт — всего лишь прибежище для стареющих подростков, но есть, разумеется, и иная подоплека. Англия — это страна, не имеющая конституции. Письменно не фиксируется практически ничего: по ходу дела мы уничтожаем все свидетельства, не оставляя иного наследия, кроме никем не истолкованных традиций, причем все, что делаем, мы делаем с кажущимся безразличием, в действительности же в своем таинственном поведении руководствуемся неписаными и никогда не упоминаемыми вслух правилами, по сравнению с которыми мафия выглядит скорее организацией муниципальной службы, нежели тайным сообществом. Своего рода инстинкт, выработанный привычкой, предрассудками, реакцией на нюансы и бог знает какими еще движениями души, всегда подскажет упорядоченному уму британского чиновника, в каком клубе и в котором часу могут, вероятнее всего, встретиться его друзья и его враги. И только в тех редчайших случаях, когда ему случается ошибиться, он горько вздыхает, думая о неисповедимых путях, которыми следует жизнь: «Никогда ведь не угадаешь...» Но подобные ошибки случаются столь редко, что не стоят и внимания. Тем не менее, исходя из соображений политики — ведь политика не делается ни в парламенте, ни в министерствах, она делается в клубах, — так вот, исходя из этих соображений, а вовсе не из желания помочь вам приятно убивать время, я и настаивал на том, чтобы вы баллотировались в клуб «Блэкс».

— Я вполне понимаю ваши мотивы, сэр Невилл, и

глубоко вам признателен, несмотря на то, что мой годовой доход сокращается на семьдесят пять фунтов.

— Ну, вас ведь еще не приняли! Дело, несомненно, затянется лет на пять, не меньше. Видите, не такое уж это разорение, как вам кажется. Однако сейчас мы идем не туда.

— Я знаю.

Сэр Невилл метнул на Стокарда цепкий взгляд.

— Почему вы так думаете?

— В основном потому, что мы идем совсем не в ту сторону.

— Ах, да...

— Мне кажется, мы идем в «Кембл».

— Почему, черт побери, вам кажется именно так?

— Мне кажется, вы хотите повидаться с сэром Аароном Уэллбехолденом. В это время он обычно бывает там.

— Вы способный ученик, — удовлетворенно кивнул сэр Невилл.

Сэр Аарон Уэллбехолден был человеком огромных размеров: нижняя губа его всегда была так выпячена, что влажность ее внутренней стороны оказывалась доступной всеобщему обозрению. Временами он ворчал и принюхивался, подобно старому бульдогу. Он обладал благородством крайнего уродства, скрашивавшим даже вспышки его скверного характера или по крайней мере делавшим их извинительными.

— Что это вдруг вам загорелось меня видеть? — спросил он, шумно и с удовольствием потягивая розовый джин.

— Я пришел сюда отнюдь не только для того, чтобы повидаться с вами, — солгал на ходу сэр Невилл. — Я просто хотел угостить обедом моего юного помощника Билла Стокарда. Я ведь, знаете, тоже член этого клуба.

— Ходили слухи, что вы променяли нас на клуб «Блэкс», — проворчал сэр Аарон, окропляя джином свой жилет, залитый слезами многих других не донесенных до рта деликатесов.

— Semper fidelis *.

— Что?

— Я сказал: «Semper fidelis».

— А, да, латынь. — Сэр Аарон одобрительно хмык-

---

* Верен всегда *(лат.)*.

нул. — Что ж, тогда не будем портить себе обед делами, а? Давайте покончим с ними до того, как перейдем в столовую. Зачем вам понадобилось искать меня в моем логове?

— Право же, совершенно ни за чем, разве что для душевного спокойствия.

— Для душевного спокойствия? Неужели ваша душа бывает когда-либо спокойной... как, впрочем, и моя, а?

— Сразу видно совестливого юриста.

Сэр Аарон чихнул и весь заколыхался от удовольствия, его нижняя губа блестела, как коралловый риф на мелководье.

— Хорошо зная вас, могу предположить, что вы обеспокоены делом этого американского парня.

— Мы оба слишком уж долго занимаемся нашей профессией, — тихо заметил сэр Невилл.

— Не стану притворяться, будто понимаю его характер или мотивы его поступков. Я не понимаю их совсем. Абсолютно не понимаю. А я терпеть не могу дел, которых не понимаю. Вы же сами знаете: в таких случаях теряешь всякое чувство справедливости. Или, по меньшей мере, становишься мысленно в оборонительную позицию.

— Может, оно и к лучшему?

— Почему вы так говорите? — спросил сэр Аарон. — Мы все время забываем — а это, пожалуй, единственный приятный сюрприз, который мы можем обеспечить нашему заокеанскому гостю, — мы все время забываем, что роль обвинителя в английском суде заключается не в том, чтобы выиграть дело, но лишь в том, чтобы как можно точнее и беспристрастнее изложить суду факты. Проиграть процесс для нас грехом не считается. Некоторые из нас были бы рады проигрывать каждый свой процесс.

— Что ж... вы, безусловно, правы, мы об этом забываем, — и я так благодарен вам, хотя и не так уж удивлен тем, что вы мне об этом напомнили. Ведь некоторые из лучших юристов страны не в состоянии противостоять воздействию повышения температуры в зале суда.

— Потому-то их и считают лучшими, — пробормотал сэр Аарон лукаво.

Наступило молчание. Сэр Аарон покручивал в руке свой второй стакан розового джина, пристально разгля-

дывая плескавшуюся в стакане жидкость и как бы пытаясь увидеть в ней будущее.

— Есть ли у вас хоть малейшее представление о том, почему нормально устроенный человек вдруг стреляет в другого человека в пивной?

— А почему китаянки уродуют себе ноги, или африканцы удлиняют себе шею с помощью колец, или буддийские монахи сжигают себя на улицах, чтобы придать большую убедительность своим аргументам?

— Иными словами, вы считаете его поступок настолько для него естественным, что тут и объяснений не требуется?

— Пожалуй.

— Но почему же такого не бывало раньше?

— Может, и бывало.

— Вы хотите сказать — здесь, у нас?

— Да, разумеется.

— Ужасно.

Снова пауза.

— У вас ведь есть внуки?

— Целых четверо маленьких попрошаек. Только не говорите мне, что жаждете взглянуть на их фотографии. Я умышленно не ношу с собой фотографии моих родных.

— Вот еще одна черта характера, из-за которой вам трудно понять американцев.

— Да что американцы — англичане ведь тоже путешествуют. И, распаковывая чемоданы, первым делом достают нечто вроде складного алтаря, на котором красуются все, кого они успели произвести на свет. О боже мой, да ведь если человек не способен запомнить, как выглядят его жена и дети, он просто их не заслуживает. Но почему вы заинтересовались моими внуками?

— Они ведь смотрят вестерны, верно? — спросил сэр Невилл, благодарно посмотрев на Билла, который несколько раньше навел его на эту мысль.

— Да что внуки! Я сам смотрю вестерны, старина. Жизнь была бы много беднее без столь простых выходов из положения и столь простых решений. Тем не менее это вымысел, а не реальная жизнь.

— Как бы далеко ни заходил вымысел автора, он ведь всегда — пусть отдаленно — основывается на реальной жизни.

— Верно, только людей таких в жизни не бывает, я это хотел сказать.

— Где-то они есть. Почти такие.

— Я вам не верю.

Сэр Невилл решил зайти с другой стороны:

— Если вам нравится опера, вы ведь обычно ходите в оперу ради музыки, а не ради сюжета, не так ли?

— Я не люблю оперу.

— Я тоже не люблю оперу, но если бы мы ее любили, то ходили бы в театр слушать музыку, а не затем, чтобы выяснить, кому достанется девушка, а кому — нож под ребра. То есть проникновенная мелодия может тронуть даже обывателя, в то время как история шута, в бурю и дождь несущего в мешке труп своей дочери, явно абсурдна.

— Верно... И все-таки было же дело буквально на днях: какой-то безработный комик — нелепейшее убийство века...

— Абсолютно точно. Вы сами сделали вывод, к которому я вел. Процесс, о котором вы говорите, даже бульварную прессу вынудил проявить интеллект, и она окрестила его «Делом Риголетто».

— Ваш вывод мне ясен. Я и сам к нему пришел. Нет такого абсурда, который не мог бы случиться в жизни. — И сэр Аарон неожиданно спросил: — Кто защитник?

— Крэмп *.

— Крэмп.

Оба произнесли это имя как нечто малозначительное, и, однако же, им было все сказано, будто собеседники обладали умением читать мысли друг друга. В интонациях не слышалось никакой злобы. Скорее даже звучал некоторый оттенок восхищения, и все же оставался стойкий привкус чего-то ограниченного, лишенного полета, ибо, разумеется, сама фамилия уже создавала ощущение узости и заземленности. Собеседники задумались.

— Я полагал, что защиту поручат Мод Эпсом.

— Так и было. Но человек, которого вы именуете «нашим американским гостем», дал ей отвод.

Сэр Аарон состроил гримасу.

— Он совершил ошибку.

— Разумеется.

— Ваша, должно быть, идея — пригласить Мод Эпсом?

— Сознаюсь — моя.

— Я так и думал. Что же, пообедаем? — сказал сэр Аарон, впервые за всю беседу по-настоящему оживляясь.

---

* «Cramp» по-английски означает «ограниченный, узкий».

Вернувшись из клуба в свой кабинет, сэр Невилл отметил, что встреча с сэром Аароном успокоила его, насколько это вообще возможно при данных обстоятельствах. Во всяком случае, пища была съедобной. Полтора года назад «Кембл» пережил кулинарный кризис, но сейчас явно уже оправился. Сэр Невилл радовался этому, хотя был одним из очень немногих членов клуба, заметивших упадок, а ныне возрождение кухни. Теперь оставалась лишь одна неизвестная, или, вернее, фактически неизвестная величина: лорд — судья Плантагенет-Уильямс, которому надлежало слушать дело на предстоящей квартальной сессии в Хартфорде. Судья был стар — один из старейших, пользовался отменной репутацией, но как это следовало понимать — то ли «отменной» для своего почтенного возраста, то ли с точки зрения объективной оценки профессиональных качеств, — сказать было почти невозможно. Для процесса Крамнэгела сэр Невилл предпочел бы Джорджа Глэдборна или Говарда Фитцэндрю — судей более современных, в меру прагматичных, толковых и решительных, воспринимающих быстро меняющийся мир с чувством тревоги, не сужающим, однако, широты их мышления. А вот свидетельств того, что судья Плантагенет-Уильямс движется в ногу со временем, не было никаких, как, впрочем, и того, что он вообще сохранил еще способность двигаться. Он никогда в жизни не состоял ни в одном клубе, поэтому в том, что он добрался до высшей ступеньки в своей профессии, было нечто и сверхъестественное и одновременно пугающее. У сэра Невилла даже мелькнула мысль, что Плантагенет-Уильямс вполне мог достичь таких результатов неодолимой цельностью характера — качеством, вызывавшим отнюдь не меньшее количество судебных ошибок, чем многие другие качества.

Однако никаких мер принять было нельзя. Главному прокурору не подобает создавать впечатление, будто он пытается повлиять на судью перед началом процесса. Вот здесь-то и оказывалась полезной дружба — дружба, равно как клубы, которые при необходимости позволяли придать вид дружбы мимолетным знакомствам. Если человек предпочитает всех чураться и полагает, что подобная изоляция позволяет сохранять объективность и открытый взгляд на жизнь, ладно, это его личное дело. Однако ж сэр Невилл подозревал, что большинство тех, кто решается сохранять открытый взгляд на жизнь, приходят к подобному через некоторое время после того, как

мозги герметически и навсегда закупориваются. Черт бы побрал эту демократию.

Сэр Невилл принял решение за день до суда. И сказал Биллу Стокарду, что на следующий день не придет на работу, Билл сразу же понял, в чем дело.

— Уж не хотите ли вы этим сказать, что едете в Хартфорд, сэр Невилл?

Сэр Невилл взглянул на него с некоторым раздражением. Не ответить совсем означало придать событию излишнюю значимость. Утвердительный же ответ непонятно почему заставлял его чувствовать себя виноватым.

— Почему бы и нет? — проговорил он.

— Надеюсь, этот процесс не превратится в навязчивую идею.

— Справедливость вполне может стать навязчивой идеей, Билл. И если навязчивая идея находит выражение в данном процессе, мне не остается ничего другого, как просто ей не препятствовать.

— Чем мне объяснять ваше отсутствие? Легким недомоганием?

— Это слишком уж в стиле Букингемского дворца. Просто отвечайте, что меня нет.

— Вы хотите, чтобы я поехал с вами?

— Я бы предпочел, чтобы именно вы говорили, что меня нет на работе. У вас это прозвучит убедительнее, чем у кого-либо другого.

— Пожалуй, вы правы. Благодарю вас.

Уровень личной свободы отнюдь не возрастает по мере продвижения человека по социальной лестнице — это сэру Невиллу было прекрасно известно. Будь он простым начальником тюрьмы, то мог бы удовлетворять свое любопытство по поводу Крамнэгела сколько душе угодно. Но главному прокурору это недоступно. Поэтому приходилось полагаться на источники столь же доброжелательные, сколь и далекие по кругозору и среде, — например, на инспектора уголовной полиции Пьютри.

— Чудной парень, — сообщил Пьютри. — Похож на человека, спятившего после какого-то случая на войне — иначе и не объяснишь. По складу характера типичный сержант, или, точнее, фельдфебель. То совершенно толково рассказывает о своей профессии — а он прекрасно разбирается в полицейской службе, и у него дельные соображения: мы, правда, привыкли думать совсем иначе, но его соображения вполне могут и сработать, — в

общем, профессионал, настоящий стопроцентный полицейский. Это с одной стороны. А потом вдруг ни с того ни с сего начинает бушевать — нет, до драки не доходит. Лично я убежден, что в тот раз все дело было в проклятом алкоголе: он просто заводится, и это, пожалуй, еще опаснее. Выражается очень соленым языком — особенно при дамах. В больнице, когда его обследовали на вменяемость, стоило зайти в кабинет женщине, как он разражался потоком отборнейших ругательств...

— Вы уверены, что он не пытался симулировать сумасшествие?

— Да нет же, совсем наоборот! — вскричал Пьютри. — Он убежден: его оправдают и со следующей недели он снова сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Он же нам всем разъяснил самым недвусмысленным образом, что весь остальной мир мы можем оставить себе — он его по завязку насмотрелся в Англии, а о том, что делается в других местах, вполне может догадаться: везде глупость, бестолковщина, никакой современной техники, кругом кишмя кишат коммунисты — американцу в таком мире без оружия не прожить. Причем, учтите, имеется в виду не просто револьвер в кобуре под мышкой, а автомат у бедра да куча даров цивилизации в придачу.

— Вот это меня и беспокоит, — вздохнул сэр Невилл. — Сам я не имею ничего против подобных речей. Я нахожу их освежающими и колоритными. Но где же гарантия, что британский судья преклонного возраста не истолкует их в том духе, в каком они произносятся?

— Вы меня совсем замучили, сэр Невилл, — рассмеялся Пьютри. — Вас всегда приходится слушать очень внимательно, чтобы понять, что же вы все-таки имеете в виду. Но я понял. «В том духе, в каком они произносятся». Здорово!

— Рад, что вам понравилось, — сознался сэр Невилл. — Но удовольствие, доставленное вам моими шуточками, вряд ли поможет нам решить проблему. Весьма печально, что все же выдвинуто обвинение в предумышленном убийстве.

— Но ведь с технической точки зрения это было убийство.

Сэр Невилл еле заметно поморщился.

— Мне до смерти надоели формальности и технические детали, — отрубил он. — Будь моя воля, я бы настоял на непредумышленном убийстве. Мне совсем не

улыбается допустить хотя бы на секунду применение иного термина — это слишком рискованно.

— Ну, какой же там риск, сэр Невилл. Крэмп обязательно выстроит сильную защиту. Сэр Аарон не дурак, а лет десять назад Плантагенет-Уильямс считался очень хорошим судьей.

— А сейчас?

— Сейчас? Насколько мне известно, он поныне пользуется хорошей репутацией, но сейчас он старик.

— Он был стариком и десять лет назад.

— Но сейчас он... он еще старше.

Открытие процесса омрачилось происшествием, которого не мог предвидеть никто. Войдя из темного коридора в зал суда, Крамнэгел увидел льва и единорога, держащих щит с государственным гербом, — зрелище, веками леденившее сердца и виновных и невинных, поскольку означало оно, что ты стоишь перед судом самой нации, стоишь в наготе своей перед полками, бряцающими мушкетами, перед взмыленными лошадьми, гибралтарской скалой и заблеванными палубами броненосцев, перед всем ужасающим геральдическим ритуалом, — одиноко стоишь под бременем предъявленных обвинений. Но Крамнэгелу это все было как об стенку горох, потому что его рефлексы вырабатывались совсем другим набором раздражителей. Он разглядывал убранство зала суда как экспонаты выставки какой-то затерянной в джунглях культуры, а затем перевел взгляд на лорда-судью Плантагенета-Уильямса, который делал вид, будто изучает разложенные перед ним документы. Крамнэгел увидел престарелого патриция, что-то бубнившего себе под нос, нацепившего себе на голову то ли швабру, то ли какую-то скомканную тряпку, которую, словно теннисную туфлю, кто-то опустил в белый раствор, чтобы отчистить. Крамнэгел нахмурился, затем улыбнулся. Потом перевел взгляд на сэра Аарона Уэллбехолдена, тоже старательно копавшегося в бумагах: у него ярко блестела губа, а взгляд был тусклый. Голову сэра Аарона венчал такой же необычный головной убор. Крамнэгел хихикнул про себя и тут заметил Локвуда Крэмпа, которого привык видеть либо простоволосым, либо в потрепанном котелке — настолько потрепанном, что сквозь протертые поля местами виднелся картон. Сейчас же голубые глаза взирали на него по-дружески ободряюще (сохраняя при этом обычную непреодолимую дистанцию) из-под точной копии головных уборов судьи и прокурора. Багровую физиономию с

ее морковного цвета порослью обрамляли белые кудряшки... Нет, это уж было слишком! Крамнэгел не сдержался и дал волю смеху.

Судья и сэр Аарон подняли от бумаг удивленные глаза, а на галерее для зрителей зашуршал шепоток. Крэмпа такой поворот заинтересовал. Судья хотел было призвать к порядку, но не решился: сначала надо уяснить до конца причину сего веселья. Поскольку все судьи, дабы заставить злоумышленников прочувствовать всю глубину своих преступлений, страдают привычкой притворяться, будто их потрясает каждый пустяк, лицо судьи Плантагенета-Уильямса немедленно и без особых усилий приняло безмерно возмущенное выражение, но выражение это было всецело следствием привычки, и потому дальнейшее поведение судьи никак не соответствовало принятой им позе. Подобно школьному учителю, стоящему перед хихикающим классом, он, разумеется, в ужасе заподозрил, будто что-то не в порядке с его внешним видом. Скрюченные пальцы судьи быстро пробежались по макушке парика, словно пытаясь найти там какой-то малопристойный предмет, пришпиленный булавкой. Ничего не обнаружив, судья решил заодно поправить парик, который и так сидел безукоризненно. Тогда он как бы между делом, но тщательно ощупал лицо и, будто охорашивающаяся птица, оправил мантию. Затем посмотрел на стул, на потолок, на Крамнэгела. А Крамнэгел, вцепившись руками в барьер перед скамьей, как в ручки мотоцикла, дергался и извивался над ним в попытке подавить приступ смеха.

— Что с вами такое? Вы больны? — спросил судья.

Почему-то, открывая рты, эти субъекты в париках становились еще смешнее. Так бесконечно смешны люди, расхаживающие нагишом по душевым спортивных клубов с благопристойным видом одетых особ. И так же нельзя удержаться от смеха, когда из-под невероятного головного убора выглядывает существо, обладающее, оказывается, даром речи да еще требующее, чтобы его принимали всерьез.

— Он болен? — спросил судья, обращаясь неизвестно к кому.

Один лишь сэр Невилл прикрыл глаза как человек, ожидавший самого худшего и увидевший, что все опасения сбылись. Он мгновенно понял: даже самые незыблемые, освященные временем символы не могут оставаться вечными в мире, который веками довольствовался пе-

шей ходьбой, потом вдруг неожиданно — на памяти одного поколения — затрусил рысцой, потом понесся галопом, а потом вдруг полетел и летит теперь так быстро, что глаз не успевает следить за тем, что происходит вокруг, за постоянно меняющимся пейзажем. А все эти старики, упорно верящие, что они руководят событиями, по-прежнему продолжают исполнять старинный церемониал: по-прежнему садятся в самолеты и автомобили и входят во дворцы, отдают почести и пожимают руки, возлагают венки к могилам неизвестных солдат. Они по-прежнему делают заявления для печати и отвечают на вопросы с тщательно отрепетированной и потому глубоко прочувствованной искренностью. Но хоть они и не замечают этого, на них почти никто не обращает внимания. Они похожи на актеров, играющих перед пустым залом и кланяющихся при гробовом молчании.

Обретя дар речи, Крамнэгел начал защищаться, но совсем перед другим судом, совсем в другом измерении.

— Здесь, значит, вот какое дело, ваша честь, — начал было он, но не смог сдержать нового приступа смеха.

— Меня следует называть «милорд», а не «ваша честь», — объявил судья только ради того, чтобы сказать хоть что-то.

Нахмурившись, Крамнэгел подумал с минуту и решил, что согласиться со словами судьи никак не может, поскольку в подобном обращении есть оттенок богохульства: «милорд» — это же «мой лорд», «мой владыка»; да что он в самом деле, владыкой небесным себя возомнил, что ли? Вдруг на Крамнэгела накатила новая волна смеха, от которой он затрясся как заячий хвост и даже стал подвывать.

— Я вынужден приказать вам взять себя в руки! — крикнул судья и обратился к Крэмпу: — Могу ли я просить вас повлиять на вашего клиента и заставить его держать себя в руках?

— Прошу позволения напомнить вам, милорд, что мой клиент — иностранец и что, без сомнения, тягостные обстоятельства и непривычная обстановка подействовали на него, — вступился за своего подзащитного Крэмп.

Неужели они не способны понять, что выглядят смехотворно в глазах тех, кого не приучили с детства содрогаться при их виде? В конце концов Крамнэгел, разумеется, сумел справиться с охватившим его приступом, хотя во время всего процесса на губах его то и дело

блуждала желчная улыбочка, угрожая рецидивом смеха. Он уразумел, что подобным поведением не расположить к себе людей, в руки которых попал. Пленнику каннибалов не пристало шутить о калориях.

Сэр Аарон излагал дело продуманно и тактично, ясно давая понять, что обвинение отнюдь не требует головы подсудимого, а всего лишь выполняет печальный, но необходимый долг в силу того, что превратности судьбы положили конец жизни старого Джока. Призванные в свидетели три старика стояли на том, что вплоть до печального финала беседа носила исключительно добродушный характер, хотя Крэмп своим перекрестным допросом все же добился и от них, и от старухи признания, что Джок изрядно провоцировал Крамнэгела.

— Не забывайте, — заметил Бриггс, — что Джок был коммунистом. Пусть их у нас немного, а они кого хочешь могут завести, даже социалиста — я про нынешних социалистов говорю, — для Джока это была не политика, а религия, вот именно — религия.

Сэр Невилл с симпатией посмотрел на Бриггса. Вот, пожалуйста, — старый простак, у которого своя голова на плечах и который героическими усилиями почти добивается того, что его понимают.

— То есть, по-вашему, коммунизм заменял ему веру в бога? — спросил Крэмп.

«Ну и идиот же ты, Крэмп! Ведь своим лицемерным вопросом ты убил всю простодушную непосредственность сделанной Бриггсом оценки!»

— Мне трудно сказать, сэр, поскольку в его душу влезть я не мог, да и поздно уже...

— Но в любом случае впечатление складывалось именно такое?

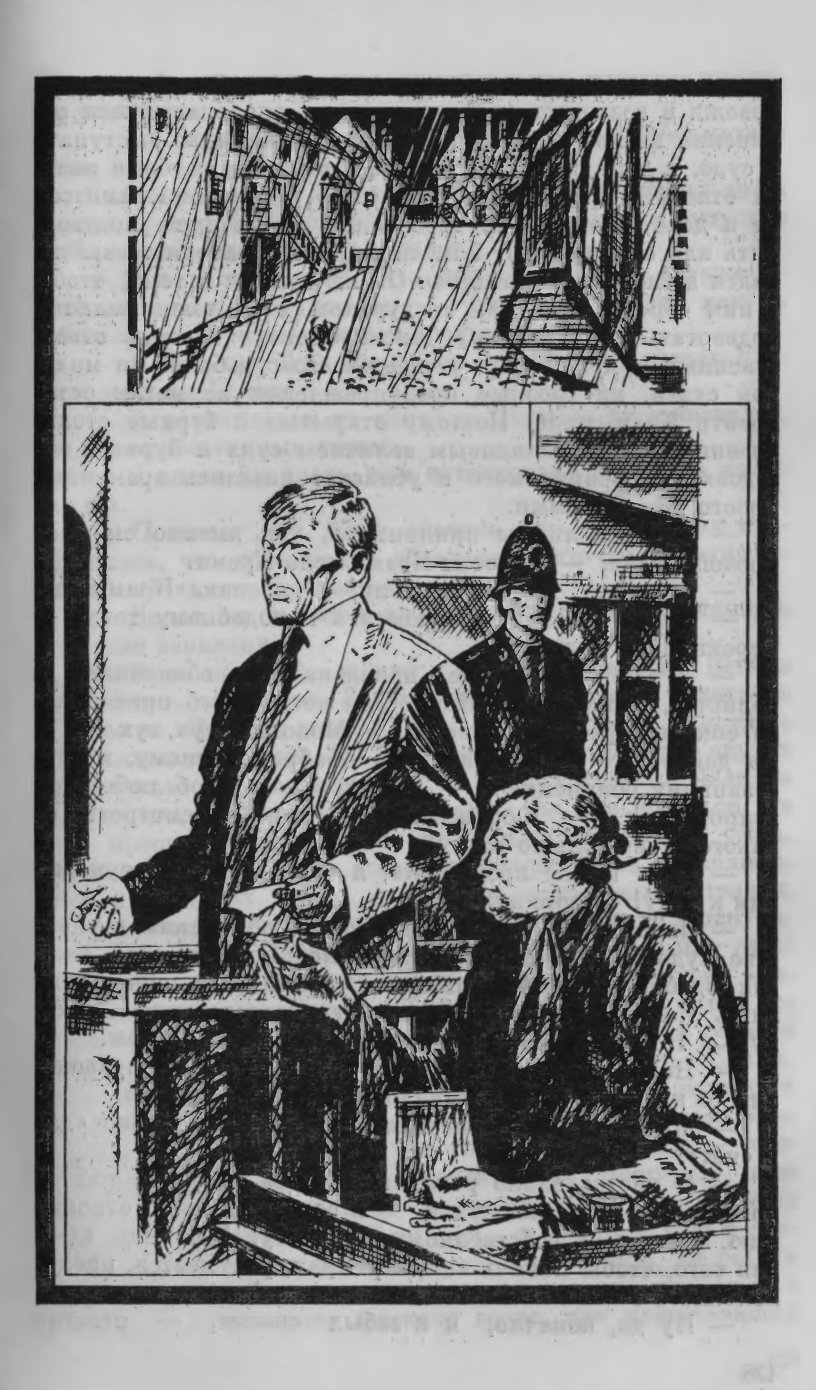
«Это уже лучше, Крэмп, но напортил ты все же здорово».

— У меня да.

— Ясно. Не могли бы вы припомнить, как именно он провоцировал подсудимого?

— Да нет... — Бриггс старался припомнить. — Нет... Но он точно подзуживал его. Это все видели, но только мы все тогда не очень... Нет, точных слов я не припомню...

Выступая в собственную защиту, Крамнэгел проявил склонность к словоохотливости. Но ведь он совсем не привык ни к выступлениям в подобном качестве, ни к манере давать суду показания по возможности однослож-



но — для того, по всей вероятности, дабы обезопасить невежд и возложить всю тяжесть их оправдания или обвинения на плечи тех, кто умеет красноречиво выступать в суде, и черт с ними, с теми фактами, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Поэтому Крамнэгел то и дело игнорировал требования судьи лишь подтвердить или отрицать тот или иной факт и напористо ввязывался в словесную баталию. Он не привык к тому, чтобы с ним обращались как с дураком, и не имел желания подвергаться подобному эксперименту в столь ответственный момент, когда решается его судьба. И ни молоток судьи, ни грозные предупреждения не могли остановить Крамнэгела. Поэтому открытые и бурные столкновения между чванливым величием суда и бурным негодованием обвиняемого в убийстве казались временами просто неизбежными.

— Можете ли вы припомнить, как именно он вас провоцировал? — спросил Крамнэгела Крэмп.

— А то нет. Вы как думали? — пролаял Крамнэгел.

— Вовсе не следует прибегать к подобному тону, — упрекнул его судья.

— А вас никогда не привлекали по обвинению в убийстве, ваша честь? Нет? Так вот, если б привлекли, да еще по сфабрикованному... — Молоток: тук, тук тук.— Да дайте же договорить! По сфабрикованному, подтасованному обвинению... — Тук! тук! — ...вы б любой тон испробовали... — Фортиссимо. — ...чтоб посмотреть, от какого будет больше толку!

— Если вы не прекратите, я обвиню вас в неуважении к суду! — крикнул судья.

— Нашли чем пугать, меня вон по обвинению в убийстве судят! — Крамнэгел огляделся по сторонам, ожидая одобрения проявленной им иронии, но обнаружил лишь послушную и исполненную благоговения публику. — Надо же, что за чучела, — пробормотал он.

— Не могли бы вы описать некоторые из провокаций, о которых вы упоминали? — спросил Крэмп.

— Мне что, опять разрешается говорить только «да» и «нет»?

— Я настоятельно рекомендую вам изменить тон и поведение, — заявил судья, — в особенности по отношению к вашему собственному адвокату. Мы ведь здесь для того, чтобы помочь вам, в рамках, разумеется, предъявленного обвинения.

— Ну да, конечно, я и забыл совсем, — ответил

Крамнэгел, проявляя свое оригинальное чувство горького юмора.

— Да не заводись ты так, Барт, — пробормотала Эди.

Сидевший подле Эди майор Батт О'Фехи обнял ее за плечи, философски покачал головой и глубоко запустил зубы в свою жевательную резинку.

— Вы хотите знать, что сказал мне тот старикашка? — спросил Крамнэгел. — Что ж, я помню, как он обозвал демократию гнилым орехом.

— И что же, по-вашему, он хотел этим сказать? — осведомился Крэмп.

— А разве и так не ясно? — Крамнэгел набычился, не веря собственным ушам.

— Я хотел бы знать, как истолковали его слова именно вы.

— По-моему, он хотел сказать, что демократия окочурилась, что демократия обделалась, что демократия — выжатый лимон. Продолжать или хватит?

— Делал ли он какие-либо специфические антиамериканские заявления?

— А то нет! Он заявил, что Соединенные Штаты вторгались в Россию. Заявил, что нам нечего делать во Вьетнаме. Заявил, что он — коммунист. — Но здесь Крамнэгел запнулся. Он вдруг понял, что все это звучит не очень-то провокационно. И сменил тон. — Дело не в том, что, а в том, как говорил, вы уж мне поверьте. Да он просто издевался и все пытался меня уесть, ясно, нет? У нас дома всегда предупреждают и дипломатов и военных, что в некоторых зарубежных странах, где, значит, люди нам здорово завидуют, такие вещи часто случаются. Перед отъездом за границу у нас даже брошюрки такие выдают, вроде «Как быть хорошим американцем за границей». Там сказано: «Помните, что каждый гражданин является таким же послом нашей страны, как и любой аккредитованный посол США». Именно так и сказано, я сам видел такую брошюрку, и я, значит, изо всех сил старался делать то, что там рекомендуется, только, видно, так уж люди устроены, — стоило мне услышать, как поносят мою страну, да еще кто? — человек, открыто признавшийся, что состоит членом коммунистической партии... и при этом еще и атеист — да, вот еще, он к тому же атеист: мол, на бога и на молитвы у него нет времени, прямо так при всех и заявил! — Крамнэгел понизил голос, как нашкодивший

ребенок. — Ну а тут еще виски с пивом и незнакомая обстановка... да просто отсутствие должного самоконтроля — вот и все дела... Так что, когда старик сунулся в карман, я и подумать толком не успел: у нас ведь в полиции, пока не дослужишься до руководящей работы, все время приходится заниматься огневой подготовкой, но я, даже когда стал начальником полиции, все равно ее не бросил, до сих пор раза два в неделю хожу в спортзал, чтоб, значит, сохранять форму, и в тир хожу обязательно, может, я и впрямь чересчур активен для своего положения — кто знает... Ну, в общем, как я увидел, что тот старик лезет в карман за пушкой — я ведь честно думал, что за пушкой, — ну, я и не стал колебаться.

— Во дает!.. — пробормотал Батт О'Фехи.

— О Батт, он может быть таким великолепным! — проворковала Эди. — Я так люблю его!

— Знаю, милая, знаю.

— И такое с вами случилось впервые в жизни? — спросил Крэмп.

— Нет, сэр, — отвечал Крамнэгел.

Судья выпучил глаза и наклонился вперед.

— Не будете ли вы любезны изложить суду обстоятельства, при которых имело место предыдущее происшествие подобного рода? — попросил Крэмп.

— Пожалуйста... Дело было в конце сороковых... в сорок восьмом — сорок девятом, где-то в этом районе... Я, значит, дежурил по участку в деловой части нашего города, а там тогда жуть что творилось... Ну, знаете, ребята из армии возвращались, обученные убивать, а тут ночью податься некуда, днем скучища... ну и мы, конечно, начеку. И вот, значит, на углу Монмут и Седьмой, где ювелирный магазин Зиглера — он там и теперь стоит, — вижу, молодой парень лет двадцати, светловолосый и коротко остриженный, пулей вылетает из двери магазина и бежит по тротуару. Я ведь таких случаев в кино сколько угодно видел, публика тоже — поэтому уже и начала терять к нам доверие. Я и подумать не успел, как револьвер оказался у меня в руке и начал плевать свинцом, а этот юноша — Касс Чокбэрнер его звали, по гроб не забуду — уже лежит на тротуаре метрах в десяти от собственных мозгов. Вот, кажется, и все.

— Он ограбил ювелирную лавку? — спросил судья с жадностью ребенка, слушающего сказку на ночь.

Как было бы легко и приятно ответить «да»!

— Нет, сэр, не ограбил. Он... — Крамнэгел запнулся.

Касс Чокбэрнер и старый Джок начали сливаться в его мозгу воедино, в один тяжкий крест, который теперь не снимешь с плеч. — Он только... только обручился, сэр... ваша честь... и просто зашел в лавку купить к свадьбе кольцо, сэр... У него был отличный послужной список, и он собирался жениться на прекрасной девушке... А я его убил, ваша честь.

Зал суда замер. Столь простодушно обвиняя себя, Крамнэгел выглядел не менее достойно, чем Дрейфус, даже еще достойнее, ибо тот всего лишь проявил стойкость, тогда как Крамнэгелу представилась возможность изложить свою вину, хладнокровно ее при этом приуменьшив. И, правильно уловив чутьем момент и обстановку, он не преминул этой возможностью воспользоваться.

Тишину нарушил Крэмп:

— Не будете ли вы добры сообщить суду о последствиях ваших действий?

— Никаких последствий не было, сэр.

— Никаких? — не веря своим ушам, переспросил судья. — И суда не было?

— Нет, ваша честь, не было.

— Почему?

— Расследование, конечно, имело место.

— Не было суда, несмотря на то, что поведение вашей жертвы не давало вам ни малейшего повода стрелять?

— Не было, сэр. Как я уже сказал, имело место расследование.

— И каков же был его результат?

— Я получил выговор, ваша честь, но я помню, что тогдашний начальник полиции — Ритчи Маккэррон, прекрасный человек и отличный полицейский, просто отличный — вызвал меня к себе в кабинет, и я решил, что сейчас-то меня мордой об стол... думал, так врежут, что захочется мне лучше помереть вместо того парня. А начальник мне сказал — цитирую, насколько точно помню: «Барт, — сказал начальник, — на том, что ты натворил, и погореть недолго, но я не собираюсь полоскать тебе мозги — хоть бессмысленной пальбы я не люблю: мы в городе ее не потерпим — это одна сторона вопроса, а теперь, когда с этим ясно, хочу тебе сказать: на твоем месте я поступил бы точно так же. С каждым постовым это разок-другой случается, и я такому полицейскому доверяю больше, чем человеку, который ни-

когда нигде не оступится. Это все, конечно, строго между нами», — говорит он и угощает меня сигарой. Сигара была зеленая, я к таким не привык, и меня стошнило. А в следующем же списке на повышение была моя фамилия.

— Не хотите ли вы сказать, — заметил судья дребезжащим голосом, — что сейчас с вами и произошла вторая из тех ошибок, которые каждый стоящий полицейский рано или поздно должен совершить?

— Я ничего такого не хотел сказать, ваша честь, — покорно ответил Крамнэгел. — Я, значит, просто рассказал про то, что было, как меня просили.

Судья счел за лучшее объявить перерыв на обед.

8

В маленьком захолустном городке не так-то просто пообедать в день ярмарки, если не заказать места заранее. Сэр Невилл это предвидел и сейчас пробирался к своему месту сквозь толпу фермеров у стойки бара. Уже получив желанные стаканы с выпивкой и держа их над головой, они с грубоватой деликатностью прокладывали себе путь к столикам, громко сообщая друзьям об удачно выполненной наконец миссии. В этом водовороте сэр Невилл внезапно столкнулся лицом к лицу с сэром Аароном, и, словно два мореплавателя, потерпевших кораблекрушение в бурном море, они заговорили, насколько позволял рев стихии.

— Начал он просто катастрофически, но к концу собрался и, по-моему, финишировал весьма солидно. Занятный тип. Совсем из иного мира. Ведь из иного, а?

— Вы заслуживаете величайшей признательности, — отвечал сэр Невилл, которого толкали со всех сторон. — Ведь даже в предусмотренных законом границах вы могли бы допрашивать его намного жестче.

— Делаем, что можем. Но я согласен с вами, главный прокурор: мы не способны его судить. Довольно скоро неизбежно начинаешь задавать себе вопрос: а кого мы вообще способны судить? Вот какую реакцию вызывает парень вроде нашего американского гостя.

— Как, по-вашему, идет процесс?

— Если бы судьей был я, он шел бы вполне прилично. Иногда бывает полезно произвести два столь разных впечатления, какие произвел на суд Крамнэгел... Не

знаю, право... Все теперь зависит от старика Плантагенета-Уильямса.

Прибой вынес к ним Элбертса, тот услышал их разговор. Теперь он проследовал за сэром Невиллом в обеденный зал. Они миновали Крэмпа, приютившегося подле стены. Упершись рукой в стену и не давая толпе вдавить себя в Крэмпа, сэр Невилл спросил защитника, чем, по его мнению, может кончиться процесс.

— Не имею ни малейшего представления. Воевать с гуннами куда легче, чем защищать янки. Это все равно что выбивать правду из ребенка: он беспредельно простодушен и всю работу делает сам. Но потом вдруг попадается узелок в веревочке, и он застопоривается на какой-то ужасной ерунде. Он показался мне конченым, когда пытался защищаться, хотя бы потому, что в его положении все равно не победишь, а только произведешь плохое впечатление, — мы-то все это знаем, а ему, к сожалению, пришлось это познать на опыте. С другой стороны, когда он начал объяснять, то был просто великолепен. Просто великолепен! Благороден, как древний римлянин. Не пойму даже, что на него нашло.

— Очевидно, при всей разнице в наших проблемах и традициях человек, поднявшийся до его положения в обществе, должен все же иметь какие-то хорошие качества.

— Это верно, но я ожидал от него большего.

— Тоже правильно. А каковы ваши предположения?

— Старик Плантагенет-Уильямс не выдает своего мнения. Сидит — неприступный, как айсберг. Не знаю, право. — Крэмп хитро улыбнулся. — Не ожидал я вас здесь встретить, главный прокурор. Неужели дело настолько захватывающее?

— Если я скажу, что просто случайно проезжал мимо, вы ведь все равно не поверите. Вы беседовали с сэром Аароном?

— О, да, в туалете. Старый адвокатский трюк. К сожалению, в здешнем туалете три кабинки — я его знаю издавна, — и кабинку номер три занял представитель «Дейли мейл». Правда, через четверть часа ему пришлось капитулировать перед натиском; нас же с сэром Аароном тревожить не решились, поскольку мы люди чересчур почтенные, так что нам удалось перемолвиться словцом. Наши мнения во многом совпадают.

Сэр Невилл был вынужден пригласить Элбертса составить компанию, поскольку тому некуда было деваться, но сэру Невиллу удалось получить лишь крохотный

столик — и то лишь в награду за свою предусмотрительность. Удовольствия от проявленной любезности он не получил, ибо Элбертс с его несколько ядовитой изысканностью и повадками всезнайки отнюдь не принадлежал к тому разряду заморских обитателей, которым сэр Невилл мог симпатизировать.

— Да, — начал Элбертс, — с каждым днем я все больше восхищаюсь величием и красотой вашей замечательной страны.

— Очень любезно с вашей стороны, право, — пробормотал в ответ сэр Невилл.

Столь поразительно щедрая лесть казалась наиболее подходящей стрелой для ахиллесовой пяты англичан. Сэр Невилл с куда большим удовольствием предпочел бы отбиваться от какой-нибудь вполне обоснованной критики. Здесь он себя чувствовал на привычной почве. Он сам был настолько полон критицизма, что знал все щелочки в броне и умел в зависимости от желания либо защищаться, либо атаковать.

— Я мог бы получить никому не нужное повышение по службе и стать советником на острове Маврикий или культурным атташе в каком-нибудь Мали, но я предпочел остаться в Лондоне. Я просто с наслаждением — не могу подобрать иного слова — окунаюсь в британский образ жизни, — продолжал Элбертс.

— Что вы говорите!

— Да, да. Конечно, музей Гуггенхейма или Музей современного искусства, возможно, обладают лучшими коллекциями, но где там душа? — Он энергично покачал головой и сам ответил на собственный вопрос: — Нет, мне уж лучше подавайте старушку галерею Тейт с ее паршивым освещением и некоторыми сомнительными шедеврами. — Элбертс постучал себя в грудь двумя пальцами. — Душа, — повторил он. — Она хотя и неохотно, а все-таки присутствует в каждой артерии британской жизни.

Сэр Невилл встревожился. Слова Элбертса произвели на него довольно приятное впечатление, но как-то огорчительно слышать справедливые замечания из уст человека, которому ты уже решил не симпатизировать. В своем роде Элбертс оказывался столь же непонятным, сколь и Крамнэгел. Странные все-таки люди эти американцы.

— Какое впечатление производит на вас процесс? — осведомился сэр Невилл.

— Именно такое, как я только что объяснил. Хотел

бы я знать, насколько к этому всему причастны лично вы, сэр Невилл.

— Абсолютно ни насколько. Я к этому процессу не причастен совсем, — отрезал сэр Невилл.

— Вот это и замечательно. Нет никакой возможности открыто признать, что Крамнэгел идиот, не развязав при этом мешок с неприятностями, и все же то, что дело носит ненормальный характер, явственно звучит в каждом вопросе обвинителя и судьи. Если бы все эти нюансы можно было выразить словами, то самым подходящим словом было бы «сговор», ибо во всей атмосфере процесса чувствуется понимание того, что перед судом очутился недоумок, действовавший в момент стресса под влиянием своего замутненного сознания, — человек, которого можно судить лишь по его собственным меркам. Я ощущал эту атмосферу так сильно, что просто был потрясен, услышав, как обвинитель облек мои мысли в слова. Меня это потрясло, потому что в подобном выступлении не было необходимости. Ведь суд и так все уже понял.

— Суд-то, возможно, и понял, но понял ли судья? Вот что нас сейчас тревожит.

— О, разумеется.

— Вы думаете, Крамнэгелу удастся выкрутиться?

— Думаю, есть шансы. Другой вопрос — думаю ли я, что он того заслуживает.

— И что же?

— Думаю, нет.

Сэр Невилл поднял брови.

— Оригинальная точка зрения. Почему же нет?

Улыбка Элбертса получилась мрачноватая, как у человека, знающего, что придется отстаивать заведомо непопулярную точку зрения.

— Не знаю, право, как начать, сэр Невилл. У нас дома сейчас очень много говорят о расизме.

— Как и везде.

— Верно, как и везде. Обычно расизм воспринимается как производное от весьма жестких оценок, базирующихся лишь на цвете кожи. Черные, белые, желтые и краснокожие. Нечто вроде грубой и зловещей игры, в которую, увы, могут играть все, кому не лень. Но расизм — не только это. Я твердо придерживаюсь мнения — это мое убеждение, от которого я ни при каких обстоятельствах не откажусь, — что Америка держится на английских корнях. И полагаю, между тем, что дала

Америке Англия и что дала ей Германия, что дали ей Ирландия, и Италия, и евреи, и Швеция, и Голландия, и Япония, такая же разница, как между тем, что дала ей любая из этих стран, и тем, что ей дали негры. Иными словами, между белыми существуют такие же острые расовые противоречия и трения, как и между черными и белыми, особенно если учесть, что мы страдаем привычкой оценивать черных, исходя не из их специфических качеств, а лишь исходя из способности или неспособности выполнять работу белого. Расист, который считает, что из негра не выйдет такого же хорошего полицейского, как из ирландца, не просто белый расист, а ирландский расист, поскольку с таким же предубеждением ирландец относится и к армянам и к пуэрториканцам. В полиции терпимо относятся ко всем национальностям, потому что это демократично и по-американски, но эта терпимость лишь обостряет потаенные предубеждения, из которых и произрастают всякого рода идиотские побасенки, принимаемые всеми на веру, если они достаточно хлесткие, — это тоже демократично, тоже по-американски и все такое прочее. Мы любим говорить о драчливости ирландцев, почему-то мы миримся с драчливостью ирландцев, но ни секунды не потерпим драчливого ливанца. То, что в одном рассматривается как здоровый бойцовский дух, в другом будет рассматриваться как зловещая склонность к насилию и поножовщине. Мы любим говорить о еврейском юморе, но кто когда-либо слышал о финском юморе или о назиданиях турецких мамаш?

— Возможно, у турок просто нет такого института мамаш?

— Есть, и еще какой! Я ведь там работал, и, доложу я вам, сыновняя почтительность у турок — это нечто чудовищное. У каждого хоть мало-мальски стоящего турецкого генерала обязательно есть свирепая мамаша годков эдак под сто.

— Из того, что мне известно о вашей стране — а известно мне позорно мало, — у меня сложилось впечатление, что вы всегда особенно широко открывали двери именно малым народам, которые на ваших берегах обретали свое второе «я»... В частности, я имею в виду ирландцев и евреев. Ведь у себя дома ирландцам не с кем драться, кроме как друг с другом, да иногда с англичанами. Вряд ли такая диета удовлетворит голодный кулак. И чтобы проявить себя подлинными ирландцами в той степени, как им бы хотелось, ирландцам пришлось

перебраться в Америку. То же и с евреями. Они ведь больше умеют говорить, чем слушать, — это красною нитью проходит через всю их историю, — и, пожалуй, Иисус Христос не кончил бы так трагически, если бы евреи в его аудитории больше слушали и меньше говорили, а римляне — наоборот: больше говорили и меньше слушали. Так это или не так, но факт остается фактом: в Израиле, где у них нет другой аудитории, кроме арабов, евреям изощряться в своем юморе бесполезно. Их юмор требует более широкой публики, вот они и двинулись в Америку, чтобы всем проповедовать свое кисло-сладкое восприятие жизни. А вот такие меньшинства, как русские, имеют предостаточно местного колорита и у себя дома — от Достоевского до Сибири и обратно, — поэтому тем из них, кто прибыл в Америку, нет особой необходимости так уж держаться за свою специфику.

— Интересное утверждение, сэр Невилл, и все же это не совсем верно.

— Ничто не бывает «совсем верно», в противном случае не стало бы нужды в законах.

— И разговаривать тоже было бы не о чем.

— Вот именно.

Элбертс улыбнулся.

— С англичанином невозможно быть серьезным.

— С англичанами всегда можно быть серьезным, — строго поправил его сэр Невилл. — Что действительно трудно — это быть глубокомысленным. Отсюда и Оскар Уайльд.

— Но он был ирландец.

— Однако писал об англичанах и для англичан.

Элбертс поиграл вилкой.

— Крамнэгел, — сказал он, — просто образец ограниченного провинциального деспота, который вечно болтает о правах и равных возможностях; помогает друзьям и гадит тем, кто не проявляет по отношению к нему должной почтительности; бьет ниже пояса, когда никто не видит; пускает слезу, глядя на флаг, не доверяет неграм, мексиканцам и евреям; любит поговорить о равенстве всех рас; носит зеленое в день святого Патрика * и излишне рьяно мажет лоб пеплом в черную среду **. Он ничего не дает обществу, но зато много берет и

* 17 марта, в день святого Патрика, покровителя Ирландии, принято надевать что-либо зеленое.

** Первый день великого поста в римско-католической и протестантских церквах.

мнит себя воплощением мужества, чистоты и благочестия.

Сэр Невилл рассмеялся.

— О боже, ну и изобразили же вы его! Ваш Крамнэгел (надеюсь, я выговариваю фамилию правильно) кажется мне одним из тех сентиментальных, бравых и безжалостных людей, которых сотрудник Скотленд-Ярда, занимавшийся им и ведущий его дело, причисляет к разряду «фельдфебелей». А вы ведь знаете, как ведет себя унтер, случись ему очутиться среди тех, кто, по его мнению, занимает более высокое положение в силу удачи или происхождения, — он начинает чваниться и из кожи вон лезет, пытаясь показать, что всем обязан только себе, не то что некоторые, которых он мог бы назвать. «Не то что некоторые» — это расхожая фраза унтеров. Подобная черта характерна для людей такого рода в любой стране, и мы способны распознать ее, как и вы. Я сразу вижу человека, приученного думать своей головой, он и думает своей головой, пытаясь угадать, каких мыслей ждут от него те, кто учил его думать; понимаете, о чем я? Этот человек получает власть и, прежде чем отдавать приказы, вспоминает, какие приказы получал сам, и отдает их соответственно как свои собственные. Возможно, я клевещу на него, а возможно, сужу, исходя из того, что мне известно о его английском эквиваленте. Поэтому причины, на основании которых вы его осуждаете, я не могу признать достаточно вескими. Нам нужны собаки, чтобы защищать наши дома, нам нужны люди, чтобы воевать на наших войнах. Мы, черт возьми, сами во всем виноваты. Иногда собака согрешит от избытка усердия и укусит хозяина. Иногда фельдфебель потеряет ориентировку и начнет воевать в пивной. Как я уже сказал, мы во всем виноваты сами. Хотели создать таких людей и создали их!

Элбертс прикрыл глаза, всем видом выражая благоговейную почтительность.

— Все это лишь укрепляет меня в высоком мнении о вашей стране.

— Что «это»? — теперь сэр Невилл рассердился. — Разрази гром Генри Джеймса, его треклятый котелок и преклонение перед королевой... или тогда был король?

— Да то, что, невзирая на все приведенные доказательства и все эти игры в суде, вы умудряетесь сохранять подобное великодушие.

— Вы говорите, как отец-пилигрим, решивший первым воспользоваться обратным билетом.

— Именно таковым я и являюсь, хоть и ношу маску личного помощника генерального консула Соединенных Штатов, будучи по званию консулом первого ранга. — И Элбертс покачал головой над собственной шуткой, пряча от сэра Невилла взгляд.

Вслед за стремительным обменом репликами наступило молчание, во время которого сэр Невилл размышлял о судье. В вопросах общественных личное мнение в силу хрупкости ценится не слишком высоко. Как часто в театре он искренне наслаждался первым актом и в прекраснейшем настроении выходил в буфет, где общее мнение оказывалось куда более сдержанным. В итоге приходилось либо отстаивать свою точку зрения, либо малодушно уступать по ряду вопросов, чтобы не быть невежливым. Дискуссия в антракте неизбежно сказывалась на отношении по второму акту, чистота восприятия исчезала. В конце спектакля он аплодировал, если полученное удовольствие все же оправдывало подобное выражение восторга, или же начинал лучше понимать ход мыслей других людей и покидал театр уже не таким расстроенным, а по большей части обеспокоенным самим собой. После этого все светские разговоры о той пьесе воспринимались как вдруг открывшаяся старая рана. Необходимость защищать ее или осуждать с помощью аргументов, которые пришли в голову не ему первому, утомляла. И он с удивительной быстротой забывал, что происходило на сцене, что вызывало тогда его восторг и заставляло ожесточенно спорить, и лишь повторял то, что говорил уже раньше. Так постепенно привычка подрывает память. Потому-то сэр Невилл, несмотря на частые приглашения, боялся театральных премьер как огня.

В юриспруденции же каждый процесс — премьера, избежать этого невозможно. И вот теперь, когда наступил антракт, он, сидя над деревенским пирогом и сосисками с пикулями, все пытался угадать, что там черкает на полях программки великий критик. Сэр Невилл окинул соседние столики быстрым взглядом. Разумеется, судьи Плантагенета-Уильямса оказаться здесь не могло, но сэр Невилл все равно поискал его глазами. Судья, наверное, заперся в своих покоях, чтобы оградить себя от давления извне и от сквозняков, жует бутерброд без корочки, потягивает чай и раскладывает все по кристально чистым полочкам своих непостижимо упорядоченных мыслей.

Процесс закончился быстро. Свидетелей было мало, и

в силу не зависевших от них обстоятельств они не могли припомнить ничего из случившегося с той сжатой четкостью, которой всегда требует хороший судебный процесс, в противовес расплывчатой неопределенности и путанице, с какою происходят в жизни события. И сэр Аарон и Крэмп оправдали возлагавшиеся на них надежды, причем сэр Аарон сделал особый упор на постигшее подсудимого невезение, выразившееся в том, что многолетняя практика обращения с огнестрельным оружием взяла верх над алкогольным опьянением и пуля нашла цель. Сэр Аарон признал даже, что дело Крамнэгела не лишено элементов личной трагедии — элементов, которые должны смущать всех, ибо перед каждым нормальным человеком время от времени неизбежно встает вопрос: «Где пределы моего терпения? Где пределы моей выдержки? На что я способен, если в моем присутствии начнут поносить все, что для меня свято? До какой степени я способен владеть собой, если выпью лишнего? Когда я, изрядно выпив, веду свою машину домой, вижу ли я сквозь лобовое стекло реальный мир или навязанную алкоголем фантазию?»

Временами судья моргал от изумления, не веря своим ушам, не в состоянии понять, на чьей стороне выступает сэр Аарон, вовсю используя свой викторианский дар нагнетания ужаса: ведь если так пойдет и дальше, Крэмпу вообще не придется ничего говорить.

Крэмп попросил присяжных поставить себя на место американского полицейского, оказавшегося за границей, но присяжные единодушно отвергли это предложение. С поистине беспредельным упорством описывал он им умственное состояние человека, ищущего утешения в одном-единственном стаканчике после ужасной аварии, в которую он попал; описал Крэмп и то, как единственный стаканчик перерос в серию стаканчиков — исключительно потому, что в сложившейся ситуации уклониться от участия в выпивке было бы просто невежливо. И то, как разговор — вначале невинный и веселый — перешел в ожесточенный спор, когда спорщиков разгорячил алкоголь.

— Спиртное, виски растревожило тот тихий омут, который таится в глубине души каждого из нас, омут, воды которого обычно удерживаются в покое полученным нами воспитанием, чувством гражданской ответственности и образованием, но которые, если их взбаламутить, выносят на поверхность все, что есть в наших душах

первобытного, всю скопившуюся там ненависть, агрессивность, болезненные воспоминания детства, кошмары — всю атавистическую темень, восходящую к каиновой печати. — На этой страшной фразе он сделал паузу и обвел присяжных взглядом непроницаемых голубых глаз, вызвав у каждого чувство неловкости. — Такой омут, такие мутные воды таятся в душе каждого из нас.

— Однако здесь не то место, где избавляются от них, — прошептал сэр Невилл Элбертсу, который вдруг весь затрясся от бурного, хоть и сдавленного приступа смеха, так что сэр Невилл сразу же пожалел о своей шуточке.

Завершая речь в защиту своего клиента, Крэмп решительно отверг обвинение в предумышленном убийстве: при данных обстоятельствах это просто смехотворно, хотя с формальной точки зрения и нет другого обвинения, которое можно было бы выдвинуть против подсудимого. По мнению защитника, действия подсудимого еще можно бы рассматривать как непредумышленное убийство, да и то на подобной точке зрения способны настаивать только лишь исключительно безжалостные и бездушные люди. Он искоса взглянул на судью, чье лицо хранило беспристрастное выражение. Разумеется, безнаказанным оставлять беспричинное убийство в общественном месте, да и в других местах, нельзя никак, признал защитник. Но перед нами достойный слуга общества, человек, занимающий в своих родных краях ответственнейшее положение и добившийся в порученном ему деле больших успехов, которым воздали должное его сограждане, наградив его этим завидным свидетельством (здесь Крэмп полностью привел текст памятного адреса, слегка морщась от «неоклассицизмов» в выражениях). В силу сложившихся обстоятельств человек этот, прожив на свете более полувека, ни разу в жизни не выезжал за пределы Соединенных Штатов. И если в проблемах своего края он разбирается до тонкостей, то представления о жизни в других краях не имеет никакого. И посему присяжные — пусть даже из одного уважения к нашему великому союзнику, который всегда был важнейшим, а иногда и просто единственым оплотом демократии в нашем резко разделенном мире, — должны счесть своим священным долгом оправдать одного из ответственных должностных лиц великой союзной державы, запутавшегося в трагической ловушке вдали от родных берегов, — чело-

века, которому грозит тяжкое наказание не за преступление, как убедительно показали все представленные суду факты, а всего лишь за совершенную им ошибку.

— Понравилось бы вам, если бы местный главный констебль был арестован американской полицией и предстал перед американским судом, совершив подобное глупейшее преступление?

В зале суда стояла тишина, и что-то в характере этой тишины подсказало Крэмпу, что многие из присутствующих не имели бы ничего против подобной ситуации. Поэтому он быстро вернулся к прежней — менее умозрительной, более риторической — аргументации и закончил свою речь на высокопарной ноте, которая вполне была бы под стать высокопарно-мрачному стилю сэра Аарона, не прозвучи она в устах Крэмпа с оттенком раздражения. Раскрасневшись, весь дергаясь, он взмахнул несколькими листами чистой бумаги и уселся на место, стиснув зубами желтый карандаш взамен отсутствующей трубки. По его подбородку потекла струйка слюны, отчего он сразу стал похожим на огромного младенца в белом чепчике; в глазах его по-прежнему не отражалось ничего.

Судья начал заключительную речь. Голос его звучал бесстрастно, но манера ласкать языком каждое слово свидетельствовала о былом умении наслаждаться вещами, абсолютно безразличными большинству других людей. Если этого старичка как следует выбить, подумалось сэру Невиллу, то из него поднимется облачко библиотечной пыли и навечно повиснет в воздухе.

— Если вы решите, — заявил он присяжным, произнося слова нараспев, как детский стишок, — если вы решите, что перед вами человек, вошедший в пивную с желанием убить и удовлетворивший это желание, лишив жизни свою несчастную жертву, то возможен лишь один вердикт: виновен в предумышленном убийстве. Из показаний свидетелей следует, что подсудимый никоим образом не мог быть ранее знаком с убитым, следовательно, нет никакого сомнения в том, что их встреча носила случайный характер, характер встречи двух людей, которым довелось утолять жажду — или, вернее сказать, предаваться слабости — в одном и том же заведении. Поскольку подсудимый не проявил никаких признаков ненормальности, за исключением склонности чересчур поспешно хвататься за оружие, с которым, как нам стало известно, ему позволено расхаживать у себя дома, то не возникает и

предположения, что мы имеем дело с сумасшедшим, страдающим манией убийства первого встречного. Следовательно, нельзя предполагать, что подсудимый мог бы совершить предумышленное убийство ранее неизвестного ему лица. С другой стороны, вы можете посмотреть на это и так, что — как весьма красноречиво показал защитник и в чем его, к некоторому нашему удивлению, поддержал королевский прокурор — перед вами стоит человек, занимающий высокий официальный пост в дружественной нам стране и волею несчастного случая забредший далеко от родных и привычных ему мест. Если этому поверить, то здесь перед нами стоит заблудшая овца с золотой душой и безупречной репутацией, хотя эта овца уже и заблудилась однажды в том же направлении, что и сейчас, и притом в тех краях, где ей следовало бы от этого воздержаться и где наказание, как мы поняли, заменили поощрением и повышением по службе. Но как бы там ни было, сей вопрос, слава богу, лежит за пределами нашей юрисдикции и, следовательно, за пределами нашего суждения, хотя нам, пожалуй, вполне позволительно заметить, исходя из представлений о жизни в нашей относительно безопасной сфере существования, что поощрение и продвижение по службе являются сомнительным методом пресечения произвольных убийств. И если подсудимый вскормлен на подобного рода интеллектуальной диете, то нет ничего удивительного в том, что наш образ мышления не пришелся ему по вкусу. Персонажи «Алисы в стране чудес» тоже, вне всякого сомнения, испытывали бы подобные затруднения, попытайся они приспособиться к жизни в Англии, и мы сочли бы своим долгом позволить чувству жалости умерить выносимое порицание. Вполне естественно, что человеку, вздумавшему играть в гольф, схватив за ноги фламинго вместо клюшки, придется иметь дело с Королевским обществом защиты животных от жестокого обращения: более того, играя подобным образом, он вряд ли добьется на поле успеха, и — такова уж человеческая натура — он оставит фламинго в покое скорее по этой причине, нежели из боязни преследования со стороны Королевского общества. Волшебные сказки всегда доставляют нам безграничное удовольствие. Особенно с возрастом, когда перед нами все больше и больше раскрывается литературный и житейский подтекст этих полетов фантазии и границы между нею и реальностью становятся все более расплывчатыми. Я всегда готов верить сказкам, и все же

мы обязаны спросить себя: правдоподобна ли, допустима ли вообще мысль о том, чтобы иностранец был совсем уж незнаком с образом жизни в других странах и прибегал к оружию в качестве последнего аргумента в политической дискуссии с незнакомым ему человеком? И даже если подобная мысль покажется нам допустимой и приемлемой, должны ли мы проявлять к такому человеку особую снисходительность, учитывая его высокое положение на родине, или же, напротив, должны ожидать от него более высоких стандартов поведения? Если мы осуждаем простого человека с улицы, когда он не знает, что к чему, то может ли закон подходить с иными мерками к ответственному лицу, которому сам бог велел это знать? Можно ли вообще трактовать закон по-разному в зависимости от обстоятельств? Давайте предложим Алисе спросить об этом Червонную даму. Если же вы поверите, как нас только что просили поверить, что этот высокопоставленный «простак за границей» ввязался в кабаке в острую дискуссию и прибег к оружию для утверждения своей точки зрения только потому, что привык к подобной аргументации, как и к поощрениям и к повышениям по службе за ее применение, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести оправдательный вердикт. Есть, однако, и альтернатива. Если вы считаете, что перед вами стоит человек, у которого не хватило ума заявить об имевшемся у него оружии при таможенном досмотре, — а это само по себе исключило бы все дальнейшие проблемы, — если вы видите в нем человека столь наивного и искренне считающего, что начальник полиции автоматически остается начальником полиции, куда бы он ни приехал, человека ограниченного, лишенного живости ума, тщеславного, задиристого, грубоватого, в чем-то добросердечного дурака и очень во многом избалованного ребенка, то следует вынести вердикт одновременно и строгий и милосердный. Если вы верите, что он зашел в пивную с единственной целью провести время, пока не вернется его жена, и начал невоздержанно пить исключительно под влиянием той атмосферы любезной щедрости, которая часто возникает при случайных знакомствах в барах и пивных, и что затем он оказался втянутым в дискуссию, которая становилась все более и более ожесточенной и бессмысленной и которая закончилась тем, что он застрелил беззащитного человека, тогда ваш долг состоит в том, чтобы вынести вердикт: «Виновен в непредумышленном убийстве». И последнее. Если вы ве-

рите, что подсудимый — в невежестве своем и под воздействием алкоголя — искренне считал, будто его жертва пыталась достать оружие для нападения, тогда еще можно квалифицировать его действия как акт самообороны. Если же вы полагаете, что есть большая и очевидная разница между тем, как человек лезет в карман за носовым платком, и тем, как он лезет в карман за огнестрельным оружием, — разница в скорости, характере и манере движения, которую не может не заметить даже изрядно выпивший человек, то не может быть иного вердикта, кроме: «Виновен в непредумышленном убийстве». Помните: ни в чем не повинный человек вошел в ту пивную одновременно с подсудимым. Но один из них вышел оттуда живым, а другой расстался там с жизнью.

Присяжные совещались недолго и вернулись в зал суда с вердиктом: «Не виновен в совершении предумышленного убийства, виновен в совершении непредумышленного убийства». Судья назначил Крамнэгелу семь лет каторжных работ, и Крамнэгела, выкрикивавшего во всю глотку не занесенные в протокол выражения, удалили из зала суда. Эди завопила на судью, но мысли его уже блуждали где-то далеко.

— И все же Англия — великая страна, — сказал Элбертс сэру Невиллу, улыбаясь самой несносной своей улыбкой.

Сэр Аарон был мрачен.

— Боюсь, это я во всем виноват. Я, кажется, перестарался.

— Вы здесь совершенно ни при чем, — возразил сэр Невилл. — Во всем виновата демократия. Когда на одном борту корабля скапливается слишком много людей, они склонны перебраться на другой борт, чтобы чертова посудина сохраняла равновесие и держалась на плаву. Все лицемерно распинаются в уважении к личности, но на самом-то деле все пекутся только о корабле, и ни о чем ином.

— Но не будь под нами корабля, мы бы все очутились сейчас в воде и шли ко дну.

— Я знаю.

— Следовательно, вы ничего лучшего предложить не можете?

— Нет. Пока нет, — добавил он скромно, с грустной улыбкой. — Но не очень это все складно.

— Вы просите невозможного.

— Если не просить невозможного, то какой же тогда смысл жить?

9

Процесс имел сразу целый ряд последствий. Заливаясь горючими слезами, Эди дала пресс-конференцию. Все ее сдерживающие центры тотчас отказали, когда она, такая маленькая и тоненькая, стояла одна посреди конференц-зала лондонского отеля «Лексингтон». Майор Батт О'Фехи не сопровождал ее, поскольку она сама пожелала драться в одиночку.

Вопросы в основном задавали репортеры бульварных газетенок и воскресных приложений, специализирующихся на скандальных процессах.

— Что вы думаете о нашем английском правосудии?

— Спросите лучше, что я думаю о ваших английских законах, а правосудия здесь я что-то не заметила.

— Что ж, справедливо. Вы, значит, считаете, что вашего мужа просто следовало отпустить на все четыре стороны?

— Идиотский вопрос! Ты никак только-только попал в репортеры, сынок?

— Что вы намерены делать теперь?

— Что я намерена делать? Драться! Вот что! Смешно вам, а? Смешно, что женщина хочет драться? Позвольте вам заметить, что мы умеем это делать лучше, чем многие из вас, мужчин. И хотите знать почему? Потому что у нас больше выбор оружия, чем у вас, вот почему! Да, я намерена драться за своего мужа, и никаких гвоздей!

— Как именно вы собираетесь драться?

— Если вы хотите услышать, как именно, то вам придется услышать еще кое-что. Думаете, наш родной город потерпит такое? Думаете, такое потерпит Америка? Я сделаю все, что смогу, чтобы доставить вам кучу неприятностей. Я обращусь на радио, на телевидение, если надо — выйду на улицы, только чтоб рассказать людям, какие у вас тут на самом деле порядки. Все им расскажу о вашем гостеприимстве и о вашем христианском чувстве добрососедства — семь лет в вонючей яме!

— Вы, значит, христианка?

— Он еще спрашивает, нахал! Я — католичка.

— Намерены ли вы просить о свидании с мужем перед отъездом на родину?

— Естественно. И еду я домой только для того, чтобы потом вернуться и вырвать его отсюда! Я еду, значит, домой, чтоб подсобрать денег, создать фонд борьбы и выступить по телевидению, как я уже говорила. Я своего мужа не брошу!

— Сколько бы ни пришлось за него драться?

— Сколько бы ни пришлось за него драться!

— Хоть все семь лет?

— Хоть все семьдесят, хоть сколько угодно. Я люблю своего мужа, понятно вам? И прошу вас, ребята, об этом написать.

— А вас не смущает... вас никогда не смущала мысль о том, что вы живете с человеком, способным стрелять в других людей?

— Я не могла бы уважать человека, неспособного решить дело перестрелкой, если нужно. Я не могла бы уважать мужчину, неспособного обращаться с оружием. Я, видите ли, не первый раз замужем, так что смело могу утверждать, что знаю, о чем говорю.

— Сколько же раз вы были замужем?

— Я-то? Четыре раза. И всякий раз за полицейским, чем и горжусь.

— Четыре раза? Но вы же только что заявили, что вы — католичка. Разве ваша религия допускает такое количество браков?

Эди помолчала, затем с угрожающим видом помотала головой, не сводя с допрашивавших ее репортеров пронзительного взгляда.

— Ишь умник какой сыскался, — сказала она наконец. — Я вышла замуж в пятнадцать лет за постового Уоррена С. О'Хэрити. Мы не очень-то уживались, но я оставалась с ним, пока он не погиб в катастрофе, когда на Сто семьдесят третьем шоссе между Бекфордом и Нью-Уиттенбергом столкнулось сразу семь машин... В семнадцать лет я стала вдовой. — Эди выкрикивала все это размеренно, точно диктовала, чтобы репортеры успевали записывать. — Затем был Ларри Баньян из уголовного розыска. Отличный был сотрудник, но мне изменял. Я ничего плохого о нем сказать не хочу, потому как он скончался. Продолжать, нет? Он помер от лейкемии. Диагноз ему только перед самой смертью поставили. Слушаете, да? Потом, значит, начал за мной ухаживать Чет Козловски. Пока ухаживал, был мужик — первый сорт, но вот потом... В общем, идеала не найдешь, так, что ли? Это, наверное, даже вы здесь знаете.

Чет ввязался в перестрелку с гангстером у «Погребка на крыше» — есть у нас такая забегаловка на одном чердаке. Погибли оба... А потом на меня положил глаз начальник полиции Крампэгел. Вот мы вроде и подошли к сегодняшнему дню, верно? Ну так вот, в священном писании ничего нет такого, чтоб запретить доброй католичке снова выйти замуж, если ее дражайшей половины не стало. Говорится-то ведь так: «Пока не разлучит нас смерть» — помните? Или вы не женаты? — усмехнулась она.

Но журналист попался на редкость бессовестный. Нимало не смутившись, он хладнокровно продолжал допрос:

— А не удивительно ли, что женщина четыре раза подряд выходит замуж только за полицейских?

— Вы что же, хотите состряпать из моей жизни колонку для «Хотите верьте, хотите нет» и сорвать свой кусок на гонораре? Ничего нет удивительного! Если б не мое невезение, я до сих пор была бы замужем за одним полицейским, так? Мой отец — он ведь тоже полицейский, лейтенант Каспар Х. Миттелхаузер-младший — сейчас уже на пенсии. В родительском доме я мало с кем могла познакомиться, разве что с другими полицейскими, поэтому мои замужества в порядке вещей. Как в порядке вещей и то, что я собираюсь сейчас драться за своего мужа.

— Апелляцию подавать будете?

— Случись мне еще раз увидеть этого сукина сына судью с его засаленной тряпкой на кумполе, я харкну ему в глаза, чтоб им лопнуть. А насчет апелляции, так я здесь затем, чтоб драться, а коли я собираюсь драться, то собираюсь победить!

Следующим утром две газеты опубликовали огромные фотографии Эди. На одной, подобранной умышленно злобно, она была изображена с широко раскрытым ртом под заголовком: «Я здесь затем, чтобы драться». На другой она была изображена приложившей кулак ко лбу, с закрытыми глазами.

Сэр Невилл заказал все газеты, вышедшие в тот день, и за завтраком миссис Шекспир нашла его непривычно молчаливым. Прочитанное — как стандартная «клюква» газетенок, претендующих на выражение взглядов среднего человека, так и безликая сухость более респекта-

бельных изданий — вызвало у него чувство отвращения. Никто из журналистов не смог выйти за привычные рамки описания суда или хотя бы поразмышлять над обломками человеческих судеб, остающимися после каждого судебного процесса. Рассматривая портреты Эди, втиснутые между двумя другими изображениями — обнаженной скульптуры, которую только что запретил за непристойность муниципальный совет Фишгарда, и трех улыбающихся волосатых английских хиппи, выставленных с Азорских островов за полуночную черную мессу у городского фонтана, сэр Невилл ощутил глубочайшее разочарование. До этого он имел обыкновение читать лишь две наиболее известные газеты и, отказываясь от других источников информации, пожалуй, сознательно закрывал глаза на все невероятные события, повседневно происходящие вокруг. Само по себе человеческое существование мало в чем изменилось, но вот манера, в которой оно стало подаваться — или теперь, кажется, это называется у публицистов: «продаваться»? — начала походить на попытку предугадать мнение публики и потрафить ему, выделяя и обсасывая наиболее лакомые аспекты в ущерб всем остальным. Общее впечатление создавалось такое, будто каждый кусочек информации то ли тщательно выхолащивался, чтобы его легче было усвоить читающим кретинам, то ли подавался сквозь мутную призму восприятия развратника, вздумавшего читать мораль. Разносторонней объективной информации как таковой в газетах не было; ее заменяли по-телеграфному коротенькие сенсационные заметочки, состряпанные на скорую руку и с полным пренебрежением к стилистике, причем одна казалась невероятнее и инфантильнее другой, и каждая была аккуратно, как леденец, упакована в обертку стандартных форм. От них и пахло, как от леденца — эрзацем.

Стоит ли тщательно воспитывать детей, думал сэр Невилл, обучать их искусству цивилизованной дискуссии, прививать им основы гражданственности, если с первых же шагов жизнь их подвергается такому ужасающему воздействию посредственности? Зачем биться над развитием интеллекта, зачем гнаться за такими химерами, как справедливость, беспристрастность, права человека, когда везде и всюду торжествует убожество и верхоглядство? Это был один из тех редких дней в жизни сэра Невилла, когда он искренне радовался, что у него нет детей. Он чувствовал себя бессильным, изможден-

ным, никому не нужным педантом, то есть бесполезным излишеством, без которого вполне могло обойтись — да и должно бы обходиться — любое современное государство. Он принял твердое решение бросить разгадывать кроссворды — подобно тому как многие решают бросить курить — и благодаря недюжинной силе воли продержался целую неделю. Зато, вновь предавшись своему пороку, устроил себе настоящую кроссвордную оргию, благо он тщательно сохранял все номера «Гардиан» на случай проявления слабости.

Крамнэгел же тем временем начал свое восхождение на голгофу, автоматически превратившись в объект для обычных унижений, сопутствующих вступлению в тюремную жизнь. У него изъяли личные вещи и переписали, чтобы вернуть их владельцу по истечении срока заключения. Самого же его — голого и дрожавшего от холода — подвергли малоприятному медицинскому осмотру. После осмотра заключенному пришлось расхаживать в белой простыне, напоминая своим обликом куклуксклановца, потерявшего капюшон во время негритянского погрома, — пока ему не выдали грубую тюремную робу. Крамнэгел всеми силами пытался сохранять самообладание, и к чести его надо сказать, что по большей части ему это удавалось. Удавалось благодаря тому, что он пытался оценить все с ним происходящее беспристрастным взглядом социолога, изо всех сил убеждая себя, что происходит это все не с ним, а с кем-то другим, он же всего лишь присутствует как своего рода почетный наблюдатель, которому предоставили возможность ознакомиться для сравнения с работой исправительных заведений по другую сторону Атлантики.

Ему сообщили, что приговор может быть пересмотрен по отбытии четырех с половиной лет из полученных им семи; по истечении двух лет и трех месяцев его дело рассмотрит комитет по помилованию, но в любом случае Крэмп преисполнен решимости подавать апелляцию. В итоге предстоявший Крамнэгелу срок заключения както не обретал законченных очертаний во времени. Еще сохранялись надежды на будущее, и сам факт пребывания в тюрьме не предвиделся чем-то неизбежным и ужасным. Он еще не освоился с этой полужизнью, подменившей вдруг его настоящую жизнь, и, дай бог, никогда с ней не освоится.

Первая ночь в тюрьме показалась ему вечностью. В камере не было ни воздуха, ни света, кроме ввинченной в потолок тусклой лампочки, мерцавшей как глаз сторожевой собаки, чуть подернутый настороженным сном и готовый в любую секунду вспыхнуть при малейшем движении пленника. Ночь не принесла облегчения, не принесла ничего, кроме часами длившихся кошмаров, которые на самом деле длились не долее десяти секунд, — вспышки молний под закрытыми веками, барабанный грохот в ушах.

Пришел рассвет, но светлее в камере не стало. Только стало слышно, как ворочаются во сне уже свыкшиеся с тюрьмой соседи, цепляясь за остатки сна, как за обломки детства, будто в них ища укрытия от горестей ждавшей их наяву жизни. Услышав, что соседи начали пробуждаться, Крамнэгел затих — теперь ему предстояло одиночество в толпе, а не наедине с самим собой. Он даже погрузился в короткий (а может, долгий?) сон.

К тому времени, как его выпустили из камеры умыться к завтраку, он уже был в состоянии трезво обдумать линию дальнейшего поведения. Все еще кипя от обиды и возмущения, он, однако, уже начал понимать, что пропадет совсем, позволь он превратить себя в покорного арестанта. Инициатива во всем должна оставаться за ним. Он не станет ни с кем дружить, потому что дружба несет заразу духовного крушения. Он ни за что не станет членом этого коллектива временно изъятых из общества, потому что позже, когда он выйдет отсюда, подобная капитуляция перед волей покаравших его властей оставит на нем неизбежный отпечаток. Под прикрытием дымовой завесы угрюмой замкнутости он развернет резервы, коварно эшелонирует оборону и начнет с тюрьмой войну на изматывание.

Его навестил священник — улыбчивый человек с обманчиво мягкими манерами и ухватками атлета, воспринимающего жизнь как спортивную игру, ведущуюся по свистку судьи.

— Спалось, наверное, ужасно? Все мы так первую ночь.

Мы? Ну и нахал!

— Я спал как убитый, ваше преподобие, — отвечал Крамнэгел.

— О, вот как... А вы... вы что же, здесь впервые?

Да как он смеет, что я ему, уголовник какой? Спо-

койно. Споко-о-йно. Крамнэгел собрал всю свою выдержку.

— Конечно, впервые. А почему вы спрашиваете?

— Обычно первую ночь спят хорошо лишь те, у кого, к сожалению, уже создалась привычка бывать здесь часто и относиться к королевским тюрьмам как к гостиницам. И все равно, учтите, в первую ночь и они не очень-то хорошо спят.

— Что вы говорите, — сказал Крамнэгел с полнейшим безразличием, не удосужившись даже придать своим словам характер вопроса.

— Боюсь, это действительно так. Меня информировали, будто вы кричали во сне, вот я и решил зайти удостовериться, что у вас просто синдром новичка — и ничего больше.

— Я кричал во сне? — спросил Крамнэгел недоверчиво, но без особого удивления. — Вы, вероятно, ошиблись. Я не имею привычки кричать во сне.

Увидев, что священник ему все равно не верит, Крамнэгел пришурился, как бы напрягая память (явно при этом переигрывая), и медленно пробормотал:

— Вообще-то, если припомнить, кричал тут один вроде как от боли... Дальше по коридору...

— Нет ничего постыдного, если человек тоскует по дому, если чувствует себя всеми брошенным. В конце концов отнеситесь к этому как мальчик в школе-интернате к своему первому дню.

Надо поставить этого хмыря на место, но только спокойно, не теряя хладнокровия. Мальчик, значит? Интересно, что это он вдруг загнул насчет «мальчика»? Не понимает, что к чему?

— Вы, наверное, не знаете, кто я такой, ваше преподобие.

— Здесь мы все равны, и никому нет дела до того, кто кем был раньше. В беде мы все живем одной семьей, пытаясь с божьей помощью примириться с выпавшим нам уделом.

— Вас это тоже касается? Почему же вы тогда одеты по-другому, а не так, как мы?

— Разница между нами лишь в том, — отвечал священник, — что я могу на ночь уходить домой. Да, конечно, я понимаю, что вам это кажется очень большой разницей, и, однако же, почти все время, когда я не сплю, я провожу здесь. А знаем ли мы, где находимся, когда спим?

— Разница есть и в другом, ваше преподобие. Вы ко мне обращаетесь сверху вниз, а я должен отвечать вам снизу вверх.

— Ну, это не совсем так. Просто дело в том, что я в каком-то смысле представляю бога, пусть даже в самой малой мере. Вы верующий?

Крамнэгел нахмурился.

— Конечно. И никто не посмеет этого отрицать. У меня есть свой исповедник, преподобный Делрикс из лютеранской епископальной церкви в Солнечной долине, и когда я вернусь домой, я собираюсь задать через него пару вопросов большому боссу там, наверху.

— Какому боссу?

— Ну, тому, который в облаках. Который движет землей и солнцем и читает наши мысли, как раскрытую книгу.

— А, понимаю.

— И если он может прочесть мои мысли прямо сейчас, то он должен знать, что я очень даже взбешен.

— Взбешен?

— Да, взбешен, — спокойно отвечал Крамнэгел, как бы найдя наконец после долгих поисков нужное слово. — Может, вам по душе весь этот треп насчет друзей по несчастью и что мы здесь все равны, а мне — нет и никогда не будет. Мой бог мне никогда не указывал, что я такой же, как все, и со всеми равен, кроме как в том смысле, в каком записано в конституции, что мы все перед богом равны.

— Но я имел в виду только это...

— Э нет, не только в этом дело. Вы хотели, чтоб я забыл, кем был, пока не попал сюда. Вы хотели, чтоб я сдался и начал думать, будто я такой же, как все здесь, — душой и телом, потому что на мне такая же вонючая тюремная роба. Нет, я на это никак не согласен, и мой бог никогда не указывал, что готовит мне такой удел, потому что зачем ему, в противном случае, было делать меня начальником полиции, поручать мне такую ответственность и заставлять почти с миллион людей приветствовать меня на улицах? Только и слышно было, куда ни пойди в любое время дня и ночи: «Привет, начальник!», «Как дела, начальник?», «Не берите в голову, начальник!» Меня уважали! Я даже позволю себе сказать, что меня любили! Правда, правда, без балды, я вам мозги не вкручиваю. Меня действительно все любили и часто говорили мне об этом. А почему? Потому,

что знали: я, с божьей помощью, стараюсь работать как можно лучше, стараюсь изо всех сил. Вот почему.

— Что значит для вас бог? — спросил священник. — Каким вы его видите?

Крамнэгел вскинул голову, размышляя над столь серьезным вопросом.

— Что ж, скажу, — ответил он наконец, медленно и размеренно выговаривая слова. — Он мне все равно, что старший брат... которого у меня никогда не было. Пожалуй, так. Я вроде как тень его, но в то же время он хочет, чтобы я сам стоял на ногах и служил ему наиболее подходящим для меня образом.

— Так что же вас бесит?

— Он не имел никакого права позволить засадить меня сюда.

— После всего, что вы для него сделали, верно?

— Еще как верно.

— Но когда вы молитесь... Вы ведь молитесь?

— Два раза в день, утром и вечером.

Священник несколько оторопел от легкости, с которой последовал ответ. Ему померещилось даже, что он отвлекся и спросил Крамнэгела, как часто тот чистит зубы.

— Итак, когда вы молитесь, вы раскрываете богу сердце, смиренно просите о чем-то... Или предъявляете список требований?

— Я никогда ничего не прошу, — отрубил Крамнэгел, декларируя независимость от бога, но так, чтобы не выходить за рамки только что признанной зависимости от него. — Я люблю советоваться с ним, рассказывать, что сделал, что собираюсь делать.

— Вы облекаете свои чувства в слова?

— Я не ору во всю глотку, если вас это интересует. Не выставляться же мне напоказ психом. Нет! Я размышляю.

— То есть с богом говорит ваш внутренний голос.

— Вот-вот! Да, это вы хорошо сказали: внутренний голос.

— Но сейчас, сегодня ночью и утром, вы высказывали богу свое недовольство, не так ли?

— Слушайте, наши отношения с богом — это мое... То есть, прости меня, господи, наше с ним дело.

— Потому что вы — большой полицейский начальник, выполняющий те же функции, что и бог, но только

на более скромном уровне человеческих возможностей?

Глаза Крамнэгела сузились.

— Мне не нравится этот тон, ваше преподобие.

— А я вас не боюсь, — ответил священник, от которого вдруг повеяло спокойствием человека, всегда имеющего про запас несколько благочестивых приемов дзюдо.

— А я вас и не пугаю, — выдавил из себя улыбку Крамнэгел. — Но у меня есть один вам совет. Тюряга здесь, похоже, большая; места хватит нам обоим. Так что держитесь от меня подальше, и это все, о чем я вас прошу. Мне осложнения ни к чему. И моему богу тоже.

Священник усмехнулся. Он любил заглядывать вперед и искать во всем потенциальный пример для чтения морали. Его мысленному взору уже рисовалось, как это огромное тело с горькими рыданиями падает на колени, обнаружив, что его бог — это всего лишь умозрительное отражение его самого, раздутое до невероятных размеров, и что смиренное блеяние ягненка еще никогда не находило отклика в его сердце. Священник уже предвкушал великолепную проповедь, которую в конечном счете составит на этой истории. Чтобы добиться победы, следовало лишь проявить терпение, ибо он знал: его бог одолеет бога Крамнэгела, если даже с Крамнэгелом не сумеет справиться он сам.

Никто из заключенных не произвел на Крамнэгела особого впечатления, но они все безо всякого стеснения пялили на него глаза, поскольку следили за процессом по газетам и хотели теперь понять, что же на самом деле представляет собой новый член семьи «собратьев по несчастью».

Только один из заключенных упорно не оставлял попыток сблизиться с Крамнэгелом. Это был веселый, надрывно кашлявший старичок с приятно-озорным выражением лица. Время от времени он наставлял указательный палец на новичка и, делая вид, будто стреляет, голосом довольно сносно имитировал треск автоматной очереди. Затем, как бы поясняя, выкрикивал что-нибудь вроде: «Чикаго!», или: «Ишь ты, умник», или: «Я нашпиговал тебя свинцом, бэби!» — с акцентом, который он считал присущим чикагским гангстерам, но который на самом деле был всего лишь рычащим кокни.

Только такой полубезумный старик мог проникнуть сквозь все укрепления возведенной Крамнэгелом оборо-

ны и тем самым поставить его душевное равновесие под угрозу. В конце концов происшествие, закончившееся смертью старого Джока, началось ведь с неожиданного приступа симпатии к старикам и их невинным старческим причудам. Тщательно все обдумав, Крамнэгел решил, что терпимое отношение к старому дурню прекрасно может сочетаться с твердой линией, проводимой ко всем остальным. В этом решении сказался и прилив оптимизма, вызванный в его душе первой волной писем от Эди со вложенными в них газетными вырезками, освещавшими ее вызывающе боевую пресс-конференцию. Сентиментальность, размягчившая душу при виде такого проявления солидарности и готовности драться за него, требовала выхода, вот он и разговорился со старцем, которого, как выяснилось, звали Гарольд, или попросту Гарри.

Единственный сохранившийся зуб запирал, подобно скале, вход в рот Гарри, и, как о скалу, о него разбивались, разлетаясь брызгами во все стороны, потоки гонимой языком слюны.

То обстоятельство, что между Гарри и Крамнэгелом столь явно и столь быстро завязалась дружба, объяснялось, по-видимому, тем, что оба они в своем развитии не так уж далеко ушли от мира детских фантазий и, очутившись в суровой и мрачной атмосфере тюрьмы, не дающей воображению никакой пищи, оба оказались вынуждены замкнуться в своем вымышленном мире, воспринимая порой свои вымыслы как реальность.

В ответ на телефонный звонок сэра Невилла начальник тюрьмы майор Эттлиси-Гор сообщил ему, что к своей новой жизни заключенный привыкает с большим трудом, что он угрюм и некоммуникабелен, что священник, который умудряется превращать закоренелых преступников в пай-мальчиков, ничего не смог от него добиться. Но обнадеживает то, что он, кажется, подружился с одним рецидивистом лет под восемьдесят, неким Гарри Мазерсом, который провел за решеткой более тридцати лет.

— Рецидивист лет под восемьдесят? — не поверил своим ушам сэр Невилл.

— Да. Но он не совсем нормален. Отчасти старческий маразм, по-моему, отчасти же просто врожденный идиотизм. Всю жизнь он то и дело был нашим гостем.

— За что же?

— Да в основном по всякой ерунде, но последнее вре-

мя в нем вдруг взыграло честолюбие, и он взялся за ограбление банков, хотя для таких дел ни черта не годен. Он вообще-то дай бог чтобы награбил тысчонки две за все свои тридцать лет преступной деятельности.

— Весьма печально. И все же я рад, что Крамнэгел нашел себе друга.

— Да, но... Боюсь, что ненадолго. Через две недели Гарри выходит на волю.

— О боже! Но если вы о нем справедливо судите, то он на воле не задержится.

— Он может скоро умереть. Ему семьдесят шесть лет, и он был отравлен газом еще в первую мировую войну.

10

На следующей неделе кампания, начатая Эди в родных краях, достигла апогея. Эди нанесла визит мэру Города, который был весь участие и даже осушил ее слезы собственным, украшенным монограммой носовым платком. Когда Эди в третий раз излагала свою печальную повесть, описание судебного процесса приобрело в ее устах столь зловещий характер, что у слушателя волосы вставали дыбом, поэтому к тому времени, как она добралась до Арни Браггера, процесс над Крамнэгелом в ее изложении начал выглядеть таким же фарсом, как облыжное обвинение Сократа.

Судья, согласно версии сей патриотки, выглядел человеком злостно пристрастным и понятия не имевшим в невежестве своем о широчайших свободах, к которым привыкли граждане США, а потому и явно антиамерикански настроенным, самодовольно окопавшимся в своем ограниченном книжном мирке среди разваливающейся от ветхости страны, где вместо кондиционеров приходится довольствоваться сквозняками, вместо свободы — абсолютным произволом, а вместо широких горизонтов бескрайних вольных просторов — туманом, густым, как гороховый суп-пюре. Тамошние юристы в описании Эди выглядели чудовищами из диснеевских мультипликационных фильмов: у одного вся рожа поросла какой-то дрянью, у другого выпирает рыло, как носик у кофейника, а уж кто из них прокурор, а кто защитник — вообще не поймешь, потому что оба дуют в одну дуду. Свидетели там не свидетели, а те же диснеевские уроды; поли-

цейские ничего из-под своих шлемов не видят, носят жуткие башмаки и невнятно мычат.

В своем донельзя наэлектризованном мифотворчестве Эди заходила слишком уж далеко, а потому для большинства ее слушателей это звучало неубедительно, но достаточно невероятно, так что история Эди заняла еще больше полос в местной печати, чем в лондонской. Единственная утренняя газета Города — «Правдоискатель и свободный оратор» — даже тиснула передовую под заголовком «Природа правосудия», в которой цитировались источники столь разные, как Библия и Феликс Франкфуртер *, и где напоминалось гражданам, что государственный департамент обязан защищать американцев не только в тех странах, которые не приемлют свободы личности, но и в таких, как Южная Корея и Англия, где прокламируется дружба к Америке. «В наш век развитых средств связи не так уж много и требуется от наших аккредитованных послов. Пусть наш представитель в Лондоне пойдет куда следует и задаст кому следует пару прямых вопросов. Этого требует не только один наш Город, но и вся Америка, и сама Справедливость, вечно слепая, но, будем надеяться, не глухая все же» — так кончалась статья.

Как только в печати наметилась подобная линия, легко удалось организовать комитет и без труда найти номинального председателя в лице одного из наиболее занозистых граждан Города — генерал-майора в отставке Кливера Т. Камбермора, крепкого орешка, человека с багровой физиономией, на которой рот виделся, словно наспех зашитая рана, и смелыми крупными мазками был явственно выписан скверный характер.

Общественный, как принято выражаться, вес генерала Камбермора покоился сразу на нескольких китах. Прежде всего он был генерал, а генералы в Америке, подобно птице Феникс, склонны до бесконечности восставать из пепла бессмысленно разрушительных битв — они восстают в первозданной чистоте своей, во всем безупречные, с репутацией непреклонных авторитетов в любой области. Мнения генералов по любому вопросу, включая образование, изящные искусства и социологию, постоянно выясняются и широко освещаются печатью. Разумеется, каждый отдельно взятый генерал получает свою долю лавров соответственно громкости своей репу-

* Член Верховного суда США с 1939 по 1962 год.

тации, и вот в этом-то отношении лично генералу Камбермору что-то не везло. Если генерал Паттон однажды ударил солдата и нажил крупные неприятности, то генерал Камбермор бил солдат не единожды, но никто не обратил на это никакого внимания. Жертвам его рукоприкладства даже не пришла в голову мысль пожаловаться. Все дело, видимо, было в каких-то особых качествах генерала Паттона, придавших влепленной им солдату затрещине характер исторического события, и в отсутствии тех же качеств у генерала Камбермора, из-за чего им раздаваемые солдатам оплеухи оставались явлением сугубо эфемерным. Хотя ему вечно мешали развернуться либо события, либо отсутствие оных, в нем оставалось предостаточно любви к шкодливости, а это уже немало.

— Такое дело... дело об аресте этого... как его... ну, начальника полиции Крамнэгела... это, значит, позор, чтоб их так и разэтак... Будь по-моему... по-моему... я б уж показал этим... этим красномундирникам *... как трогать наших! Мы, ей-же-ей, знаем, что такое справедливость красномундирников, а? Спросите хоть генерала Вашингтона! — заявил генерал Камбермор в ходе телевизионного интервью, раскрасневшись от гнева, и, как принято выражаться, оттого что выкушал лишнего. Этого заявления оказалось достаточно, чтобы разжечь страсти наиболее экстремистски настроенных элементов в Городе, тех мужчин и женщин, пресная жизнь которых была напрочь лишена каких бы то ни было острых ощущений.

Группа этих экстремистов (во всяком случае, все подумали на них, поскольку полиция не спешила выдвинуть свою версию) подложила бомбу в британское консульство в Хьюстоне, оказавшееся ближайшим к Городу британским представительством. Бомба взорвалась, ранив прислугу-негритянку, которая несла из буфета кофе и пирожные. Как раз в это время местное отделение процветающего и способствующего просвещению торгового дома «Сакс и Фриденберг», раскинувшего сеть гигантских универсамов по всему Югу и Среднему Западу Соединенных Штатов, приступило в Городе к проведению Недели британских сыров с целью помочь британской торговле и показать этим французам, что на них, черт побери, свет клином не сошелся. Однако выставка-про-

* Так американцы называли английских солдат во время войны за независимость американских колоний.

дажа сыров, для украшения которой из Англии прислали типичный лондонский автобус и четырех «бифитеров» *, закончилась плачевно. «Чеддеры» и «Чеширские», «Уэнслейдельские» и «Кэрфиллы» вылетали из разбитых окон вперемешку с британскими флажками и портретами королевы. Автобус перевернули и подожгли, а бедным старикам «бифитерам» изрядно намяли бока. Британское консульство в Хьюстоне отправило в Лондон депешу, рекомендующую министерству иностранных дел воздержаться от дальнейшей посылки в США автобусов и сыров вплоть до нормализации обстановки. «Бифитеров» же отослали обратно в Тауэр через Монреаль.

Когда известия об этих событиях достигли тюрьмы, авторитет Крамнэгела вырос до небес. В глазах заключенных он превратился в таинственную личность, и замкнутость его стала вызывать благоговейный трепет. Ведь не каждый день британской тюрьме выпадает честь принимать человека, способного вдохновить бунт на расстоянии пяти тысяч миль. На тюремщиков это все произвело впечатление, пожалуй, еще более сильное, чем на заключенных, и, будучи как-никак хозяевами положения, они реагировали не молча, а с юмором — правда, не без оглядки. Лед был сломан, и они уже начали относиться к Крамнэгелу не столько как к преступнику, сколько как к человеку, которому просто не повезло.

Даже священник подошел к Крамнэгелу и сказал:

— Я прочел в газете, что ваши сторонники в дальних краях поднялись с оружием в руках.

— Наверное, мой бог услышал мои молитвы, — отрубил Крамнэгел и удалился такою царственной походкой современного Лира, что за его спиной почти явственно возникла фигурка пожилого шута, натягивавшего священнику нос.

Сидя в своем кабинете, сэр Невилл искренне и с детским упорством надеялся, что хулиганы уничтожат побольше британской собственности и докажут тем самым правоту его точки зрения. Погром, устроенный на ярмарке сыров, — платформа для демарша неубедительная, и даже перевернутый автобус вряд ли привлечет к себе особое внимание во времена, когда каждый день по все-

* «Бифитеры» — «мясоеды» — прозвище стражников лондонского Тауэра. Их живописными средневековыми костюмами до сих пор любуются туристы.

му миру переворачивают сотни автобусов то недовольные водители, то возмущенные студенты, то разозлившиеся пассажиры, то разъяренные мусульмане, то объявившие крестовый поход католики, то праведные протестанты, то скорбящие евреи — любая из миллиона сект, групп и фракций, имеющая повод для недовольства. Что же до избиения «бифитеров», то тут газеты явно преувеличили, дабы придать делу побольше пикантности, в действительности же им намяли бока не больше, чем при прохождении через Тауэр обычной группы американских туристов.

И все же сэр Невилл развил в обеденный перерыв бурную деятельность, выпив коктейль в одном клубе, пообедав во втором и выпив кофе в третьем, и в каждом из них старался коснуться в разговоре дела Крамнэгела. Как часто бывает в Англии, его собеседники, которые пользовались репутацией хорошо осведомленных людей, по большей части отвечали: «О, а я этого и не заметил. На какой, говорите, странице?» Или: «Что ж здесь удивительного? Провинция, она и есть провинция!» А затем, не веря ушам своим: «Где, где это произошло?»

С одним или двумя собеседниками сэру Невиллу повезло больше, чем с другими, но в целом орешек оказался чересчур крепким. Слишком незначителен был ущерб от бунта, и слишком уж незаметен был Город Крамнэгела. Другое дело, случись это все в Нью-Йорке или еще лучше — в Вашингтоне...

Как уныло подытожил потом результаты сэр Невилл в разговоре с сэром Аароном:

— Раньше говорили: «Слишком мало и слишком поздно». А теперь надо сказать: «Слишком мало и слишком далеко».

— До тех пор, — пробурчал в ответ сэр Аарон, — пока обстоятельства еще позволяют нам жить, сохраняя иллюзию комфорта и мираж благосостояния, управлять страной через парламент, вести дела через министерства, а на самом деле править ею из клубов, всегда что-нибудь будет казаться «слишком», а иное чем-то еще.

— Верно, — согласился сэр Невилл с присущим ему ненавязчивым лукавством. — И дай бог, чтобы так было всегда. Выпьем за это.

Тем временем комитет, столь успешно созданный Эди в родном Городе, начал выдыхаться. Жизнь, к несчастью, не остановишь; и в общей сумятице убийств, изнасило-

ваний, грабежей, похищений, сидячих забастовок в служебных помещениях, сидячих забастовок перед входом в служебные помещения, демонстраций за и против, сексуальных извращений, наркомании, избиений и нападений, нюни, распущенные по поводу начальника полиции, влипшего в невероятную историю, и его отважной половины не могли надолго завладеть вниманием публики. Комитет провел два-три заседания и тщательно разработал план предстоящей кампании, осуществление которой, как всегда в подобных случаях, требовало изрядных средств. Но поскольку деньги в фонд комитета жертвовались весьма неохотно и в скромных размерах, то в итоге вся грандиозная программа действий оказалась на мели. Выжав, согласно своему обыкновению, из этой авантюры минимально возможное количество дивидендов, генерал Камбермор проявил достойную стратега мудрость и сказался больным. Попытки Эди привлечь к своей кампании людей за пределами Города не увенчались успехом. Газеты считали, что уже внесли свой вклад в борьбу, опубликовав передовицы, но редакторов разочаровала вялая реакция читателей, а даже такие великие издания не могут позволить себе отдавать свои страницы не пользующимся успехом темам из боязни потерять читателей, объясняли Эди редакторы. Не помогла, разумеется, деятельности комитета и распространенная по газетам фарисейская статейка, которую сочинил Ред Лейфсон, сидя в своей инвалидной коляске, столь же далекой от житейских бурь, как папский престол. «Что же сталось с великой кампанией по спасению начальника полицейского управления Крамнэгела, начатой с такою помпой не кем иным, как генералом Камбермором и вечной полицейской женушкой Эди Крамнэгел, — кампанией, которая уже обошлась бывшей Великой Британии в половину национального дохода от продажи сыра «Чеддер» в будущем году? Неужели мои друзья и коллеги читатели (привет вам) сыты по горло старомодными рыданиями в платочек и уже готовы забыть тех, кто все равно сошел с пробега?»

Эди возмутилась злобным тоном статьи, но редактор лишь пожал плечами:

— Газета есть газета, Эди, вы же понимаете. Вы ведь напечатали у нас, что вам было нужно, факт? Публике начхать на то, что говорят газеты, если это говорят газеты. То ли Уолт Уитмен сказал, то ли Орсон Уэллес, то ли еще кто — неважно, кто именно, важно, что пра-

вильно сказал. Поймите, Эди, у Реда Лейфсона в нашем Городе полно врагов. Мы только потому его и держим: ведь по большей части его читают из злости. А эта его статейка только вызовет сочувствие к вам, честно говорю.

Правильно. А дело было в том, что мало кто любил Крамнэгела, когда тот был на вершине славы, и факт падения никоим образом не способствовал увеличению числа его сторонников. Не нашлось значительной поддержки и среди законодателей общественного мнения — вот ведь другой источник дохода, откуда можно было ждать крупных сумм при небольшом количестве жертвователей. Так называемое свободное общество никогда не отличалось милостивым отношением к своим жертвам. Оно неизменно проявляет больше благотворительности, чем милосердия, потому, наверное, что затраты на благотворительность снижают сумму налогообложения, а милосердие лишь попусту съедает время. У столпов местного общества, привыкших думать лишь о наиболее легких путях обогащения и об образе жизни, наглядно демонстрирующем успех, просто не оставалось времени ни на что, кроме удачливых и прибыльных деяний, особенно с тех пор, как исполняющим обязанности начальника полиции назначили Ала Карбайда, тут же переставшего показывать зубы. Напротив, Ал относился теперь к Джо Тортони, Бутсу Шиллигеру, Милту Роттердаму и другим широко известным в обществе бандитам и мошенникам со всей почтительностью, какая подобает их высокому положению на социальной лестнице. Мэр Города даже устроил на своем ранчо небольшой ужин с купанием в бассейне, на который пригласил всех почтенных мошенников вместе с достаточно гибкими представителями юридического и политического мира, причем счел возможным включить в число гостей и Карбайда, чего он никогда не позволил бы себе с его предшественником, так как Крамнэгел всегда казался ему человеком слишком глупым, на которого нельзя положиться ни в добром деле, ни в злом. А поскольку мэр считал — и временами даже искренне, — что ухитряется творить добро посредством зла (исходя из той логики, согласно которой лекарства для больных можно покупать и на фальшивые деньги, если никто не знает, что они фальшивые), он, вполне естественно, чувствовал себя намного спокойнее, имея дело с откровенной осведомленностью Карбайда, нежели с неуклюжим лукавством Крамнэгела.

Единственное, чего смогла добиться Эди от тех, кто

присутствовал на чествовании Крамнэгела три месяца назад, было сочувственное письмо от губернатора, подписанное в его отсутствие (отсутствовал он, надо полагать, в соседней комнате) секретарем, да обещание монсеньора Фрэнсиса Ксавьера О'Хэнрэхэнти послать Крамнэгелу составленный им сборничек утешительных изречений для тех, кто сбился с пути истинного, с предисловием архиепископа Бостонского.

Хотя звезда полицейской славы Крамнэгела быстро закатывалась, на его горизонте уже начала восходить другая. Поскольку старик Гарри стал для него исповедником, которому он изливал всю накопившуюся в душе горечь, они частенько усаживались поболтать в уединенных уголках тюрьмы. Вернее, говорил — и без удержу — Крамнэгел, а Гарри слушал, как ребенок, раскрыв рот. Пробелы в своих познаниях Крамнэгел заполнял фантазией и вскоре стал для старика светочем премудрости. Крамнэгел говорил о Джеси Джеймсе, Малыше Сиско, Диллинджере, Аль Капоне, Эллиоте Нессе так, будто лично знал их всех и не раз обменивался с ними словами и пулями. Его рассказы о старых американских гангстерах были опоэтизированы той же романтической эйфорией, которая заставила людей забыть весь ужас воздушных боев первой мировой войны и придала им характер прекрасного эпоса.

Старик, не ведавший в жизни иного источника знаний, кроме комиксов, временами впадал в меланхолию.

— Всю-то жизнь, — говорил он, уставясь в пространство и сморщив лицо так, что подбородок придвигался к самому носу, — да, всю жизнь я работал в одиночку. Никак не попадался партнер.

— Тут стыдиться нечего, тут гордиться нужно. Диллинджер тоже был одиночка. Его и пришили-то, когда он выходил из киношки один.

Гарри изобразил автоматную очередь и сделал вид, будто падает мертвым.

— Во-во, так оно и было, — не улыбнувшись, продолжал Крамнэгел. — А вот Капоне — этот другое дело. Аль всегда хотел, чтоб вокруг него толпились люди. Без своей банды он был ничто, не испугал бы и ребенка. Но когда собирались его ребята, тут уж хоть святых выноси.

— Я нашпигую тебя свинцом, беби.

— Еще бы, чего-чего, а пуль у них хватало. Уж если

скажут, что продырявят кого, так продырявят за милую душу, и никаких гвоздей. В наше время их сочли бы неэкономными, теперь-то мы стреляем аккуратно прямо в цель, но те старички любили палить из кармана. В былые времена, как попадешь в Чикаго и увидишь парня с дырой в кармане, можешь ставить свой последний доллар — гангстер, и все дела.

Гарри даже присвистнул — до того трудно было такому поверить.

— Точно тебе говорю. Знавал я в Чикаго одного типа, твоего примерно возраста, ну, может, чуток помоложе был. Звали его Израэл Менделсон — еврей был, портной, все звали его просто Иззи, так он жутко разбогател на одной штопке карманов для гангстеров. Целое состояние нажил! Когда бросил работать, купил себе домину в Майами — это знаешь где? Во Флориде. И поставил в гостиной орган. Умер не так давно. Денег у него развелось точно грязи, и самое смешное, ни он, ни его жена на органе отродясь не играли, а детей у них не было.

Оба задумались над столь горькой иронией судьбы, и вдруг Гарри спросил:

— А банки эти ребята грабили?

— И еще как! Но большинству из них не было в том нужды. Так разбогатели, что начали банки скупать.

— То есть как это? — оторопел Гарри.

— Банкиров шантажировали.

Гарри снова присвистнул.

— Точно. А вот одиночкам приходилось попотеть, чтобы взять банк. У таких ребят, как Джесси Джеймс, первая заповедь была: никогда не входить в банк через парадную дверь.

— А я всегда через парадную! — разволновался Гарри. — Берешь напильник, проволоку...

— Ты что, сдурел?

— А как бы ты пошел?

— Только через черный ход.

— Мне его не найти нипочем.

— Тогда через окно.

— Я ростом не вышел, не достану. А с лестницей враз заметут, если без напарника.

— Слушай-ка, Гарри. Нынешние медвежатники-одиночки, они, конечно, соображают, что времена меняются и что даже одиночке надо шагать в ногу с прогрессом. Сегодня под Джесси Джеймса работать смысла нет — понаставили везде скрытых камер и всякого такого дерьма,

сколько себе чулок на голову ни напяливай, все равно в конце концов заметут. Поэтому многие из нынешних — я их зову «новой волной в преступности» — вообще не лезут ни в двери, ни в окна.

— А как же?.. Не, не говори, я сам догадаюсь... Через чердак, да?

— Вот и нет. Они, значит, берут взрывчатку и пробивают в стене дыру. Все надо планировать заранее, понял? Потом другим зарядом отшибают у сейфа дверь, а если кто помешает — ну, тем хуже для него, пусть не лезет. Налетчик тогда швыряет три-четыре бутылки с горючей смесью, и начинается пожар. А ничто так не пугает, как пожар. Я вот одного знал — взяли мы его в конце концов, хоть он от нас десять месяцев бегал, звали его Джо Корилли, или короче Джо, а полностью значит Джозеф, — так он именно таким путем в банк и проник. Тоже один работал. Все подготовил заранее: в семь вечера заявился, значит, в банк, одетый под водопроводчика, и заложил часовую бомбу. Ну, она и грохнула в час ночи, как положено, и он пролез в банк, взорвал вторым зарядом сейф, а тут как раз подъезжает к банку патрульная машина — банк-то стоял на «стороже», — заходит, значит, полицейский вовнутрь через пролом в стене, а Джо знаешь, что учудил? Взял и крикнул полицейскому сдавленным голосом: «Скорее... вызывайте подмогу... в сейфе пожар... Я ночной сторож...» — и с этими словами швырнул бутылку с горючей смесью. Ну, полицейский как услыхал «пожар», так и побежал в машину вызывать по радио пожарную команду, вместо того чтобы открыть огонь по Джо. А Джо тем временем отворил входную дверь и преспокойно, как хозяин, вышел из банка на шестьдесят две тысячи долларов богаче, чем был, когда вошел. И поймали мы его только десять месяцев спустя — взяли по обвинению в похищении с целью изнасилования, когда он пересекал границу штата с одной девицей. При обыске у него нашли пять тысяч еще в банковских упаковках. Я эту историю помню, потому что именно мне пришлось закатить тому патрульному — Келли его звали — головомойку за то, что не пристрелил Джо, а побежал звать на помощь. — Крамнэгел рассмеялся. — Я, должно быть, здорово ему тогда мозги прочистил, в следующий раз он нарвался на настоящего водопроводчика и, ни слова не спрося, открыл огонь. — Крамнэгел снова помрачнел. — На этом Келли и спекся. Вышибли его психиатры из полиции.

Астматически хрипя, Гарри в изумлении покачивал головой.

— Не, не пойму, как он это сделал, — пробормотал он наконец.

— Кто, Келли?

— Не, не Келли, Джо. Не пойму, и все тут.

— Я ведь тебе объяснил, — сказал Крамнэгел, уже теряя терпение.

— Ну да, объяснил. Я потому и говорю, что не пойму. Бомбу-то ведь сделать надо, нет? Ее ж у «Хэрродса» * не закажешь. Потом эти бутылки с горючей смесью...

— Не проблема. Я тебе за час такую бомбу смастерю, что живо тюремную стену продырявит.

— Отчего же до сих пор не смастерил?

— Чокнулся ты, что ли? Где же я здесь материал возьму?

— А что для бомбы надо?

— Сейчас расскажу...

И Крамнэгел начал перечислять на пальцах ингредиенты и чертить прутиком на земле схему. Гарри впитывал в себя премудрость как ребенок, которого учат азбуке. Перед ним раскрывался мир безбрежных возможностей.

Два дня спустя Гарри выходил на свободу. Прощание было дружеским и трогательным — печальный и в то же время возвышающий дух момент. Со слезами на глазах протянул Гарри руку своему наставнику. При виде его слез у Крамнэгела перехватило горло и невольно задрожали губы.

— Ты знаешь, дружище, мне даже уходить отсюда не хочется, — пробормотал Гарри.

— Иди, дружище, иди и покажи им там... И за меня покажи... за Большого Барта.

И надзиратель повел старика навстречу немилой его сердцу свободе.

Для Крамнэгела освобождение Гарри оказалось катастрофой. До ухода Гарри он не отдавал себе отчета в том, до какой степени тот стал ему необходим — как в роли дружелюбного, пусть и не совсем нормального слушателя, так и в роли исповедника, которому можно излить душу. С его уходом вокруг Крамнэгела воцарилась тишина и навалилось то ужасное состояние, которое му-

* Крупнейший лондонский универмаг.

чило в первую тюремную ночь, он снова увидел вокруг себя заключенных и обнаружил, что за неимением других занятий изучил всю обстановку своей камеры до тошнотворных подробностей. Об апелляции не поступало никаких новостей, письма от Эди приходили все реже и становились все короче, а улыбка священника — все наглее.

Затем, шесть дней спустя, около семи часов утра сильнейший взрыв потряс Найтсбридж *, и весь эдвардианский фасад здания банка «Манчестер коттон» с его карнизами, горгульями, бойницами, башенками и прочими финтифлюшками обрушился на мостовую, полностью перекрыв движение. Прохожих в этот час, к счастью, не оказалось, на месте происшествия нашли лишь старика водопроводчика со сморщенным лицом, выхаркивавшего в клубах пыли легкие. Сначала полиция приняла Гарри за невинно пострадавшего человека, случайно оказавшегося на месте катастрофы, но у одного из констеблей вызвали подозрения три канистры, висевшие на обмотанной вокруг талии старика веревке.

— Зачем они вам? — спросил констебль, но Гарри все еще бился в тисках сильнейшего кашля и членораздельно ответить не мог.

— Как по-твоему, Билл, что это у него такое? — спросил констебль у коллеги и услышал в ответ:

— На мой взгляд, канистры с горючей смесью. — После чего полицейские переглянулись, затем пристально посмотрели на старика и все поняли.

В участке Гарри быстро опознали, поэтому разрешили присесть, и теперь он сидел, завернувшись в одеяла, потягивая сладкий горячий чай, и отвечал на вопросы примчавшегося из Скотленд-Ярда Пьютри, решившего, что акт столь невероятного вандализма обязательно должен иметь либо политическую, либо расовую подоплеку, ибо чем же еще объяснить его размах, неистовство и явное отсутствие профессионализма в исполнении?

— Но почему вы взялись именно за «Манчестер коттон», Гарри? Почему? Вы, случайно, не спутали его с каким-нибудь другим зданием?

— Спутал? Как бы не так, — сплюнул Гарри. — Я знал, что делал.

Пьютри переменил тон:

---

* Фешенебельный район лондонского Уэст-Энда, известный своими ювелирными магазинами.

— Вы работали без помощников, старина?

— Я всегда работаю только один.

— Что так оно всегда и было, я знаю, но человек ваших лет не станет, черт возьми, обрушивать фасад банка просто так — ни с того ни с сего. Кто еще работал с вами, Гарри?

— Никто! — сверкнул глазами Гарри.

— Тогда скажите, сколько вам заплатили? И кто?

— Я сам собирался себе заплатить тем, что оттуда вынесу.

Пьютри поднялся со стула.

— Не заставляйте меня тратить зря время, Гарри. Я человек занятой.

— Я тоже был занятой, пока меня не сволокли сюда.

Сыщик наклонился к Гарри, придвинул лицо к самому его носу и испробовал очень мягкий, очень деликатный подход:

— Здесь замешана политика?

— Чего?

— Кто вам заплатил? Арабы? Или ирландцы?

— Да нет же. Зато вот ему теперь будет что рассказать.

— Кому, Гарри? Кому?

Гарри крепко сжал челюсти, даже губы исчезли. Он молчал.

Пьютри вздохнул.

— Вам теперь легко не отделаться, мой мальчик, Гарри. Вам семьдесят шесть лет. Это ваш двадцать девятый арест. И если раньше суд всегда проявлял к вам снисхождение — именно потому, что вы работали в одиночку, то теперь вы выступаете как участник шайки, причем, извините меня, самый глупый ее участник, который берет все на себя, в то время как остальные продолжают гулять на воле. Нет, теперь от суда снисхождения не ждите. К тому же на этот раз вы попались не на мелочи, не на каких-нибудь серебряных подсвечниках. Вы уничтожили черт знает на сколько миллионов частной собственности, так что я не удивлюсь, если...

Пьютри запнулся, ибо в глазах Гарри вдруг вспыхнул огонек, зажженный сознанием исполненного долга, в них так и светились уничтоженные им миллионы, и в сердце Пьютри закралось подозрение, что старик действительно работал один.

—Ну хорошо, — сказал он устало. — Допустим, у вас не было соучастников.

— Так-то оно лучше. Больше похоже на правду, — сказал Гарри.

— Почему вы маскировались под водопроводчика?

— Под кого же мне еще маскироваться?

— Почему вы не пошли на дело в своей обычной одежде?

— Меня слишком хорошо знают, нельзя было рисковать. И вообще, когда у них идут брать банк, почти всегда переодеваются водопроводчиками.

— Где это «у них»?

— В Дикси *.

— В Дикси медвежатники обычно переодеваются водопроводчиками, когда идут на дело, вы это хотите сказать?

— Вот именно.

— Откуда, черт побери, вы это узнали?

— Слухом земля полнится.

— Слухом, значит. Так-так. А одежду водопроводчика где взяли?

— Взял напрокат в мастерской театральных костюмов Абрахамса.

— Ну, хоть с этим разобрались, — сказал Пьютри своему помощнику. — Отправьте костюм обратно к Абрахамсу. Так, а горючая смесь на что?

— Проникнув в банк, я собирался его поджечь.

— Вы соображаете, что несете? Сержант, этих слов в протокол не записывать!

— Конечно, соображаю! Если б в дыру, которую я проделал в стене, полезла полиция, я бы сказал им, что в банке начался пожар, а чтоб сомнений не было, бросил бы туда одну из своих малюток, ясно?

— Но как вы вообще додумались до взрывчатки и горючей смеси? Кто вам изготовил бомбу и смесь?

— Я сам все изготовил! — рявкнул Гарри.

— Ни черта вы сами не изготовили! — закричал в ответ Пьютри.

— Не верит, — вдруг захихикал Гари. — Он мне не верит! — И снова сцепил челюсти так, что исчезли губы.

Пьютри раздраженно посмотрел на него.

— О боже мой, только этого еще не хватало. Ну хорошо, вы сами ее изготовили, сами.

— Так-то оно больше на правду похоже.

— Но кто же вас научил?

* Распространенное название южных штатов США.

— Сам сделал. А кто учил — неважно.

— Мне как раз важно.

— Сам сделал, и все тут.

— Да вы же в жизни ничего сами не сделали.

— Спорим?

Придя в отчаяние, Пьютри сгреб Гарри за плечи, рывком поднял его из кресла и завопил:

— Кто?! Кто вас надоумил, Гарри?!

— Он, — ответил Гарри испуганно.

— Кто он?

— Барт. Мой кореш. Большой янк с веснушками. Лучший стрелок на Западе. Дрался с Диллинджером.

— Крамнэгел? — переспросил Пьютри, не веря собственным ушам.

— Во-во, он самый. — Гарри был полон желания поддержать репутацию друга. — И он совсем не виноват, что у меня не вышло. Он-то мне все растолковал как надо. Он не виноват — просто у меня грохнуло раньше времени. Я, наверное, не тот провод к будильнику подсоединил, или он отошел, или будильник я взял какой-то барахольный, поди пойми. В общем, бомба должна была рвануть в час ночи, а рванула, только я ее поставил.

— Как вы прибыли на место преступления?

— Автобусом.

— Народу ехало много?

— Пришлось стоять.

Пьютри закрыл глаза: его била мелкая дрожь.

— Ну, хоть она и рванула раньше положенного, я все равно мог забраться вовнутрь и взять деньги. Одного вот только не учел.

— Чего же именно?

— Пылищи. Я же еще в первую мировую наглотался газа, а потом схватил туберкулез. Одно осталось легкое. Вот про пыль и не подумал — дышать-то не смог, а то б пролез вовнутрь и зажег горючку.

В Скотленд-Ярде все забегали. Снеслись с тюрьмой. Майор Эттлиси-Гор опросил надзирателей, и один из них припомнил сцену прощания друзей.

— Так точно, сэр, ясно помню. Как Крамнэгел говорил Гарри: «Иди покажи им — с приветом от меня, от Большого Барта».

— Вот как, — мрачно произнес майор. — А еще с

кем-нибудь этот Большой Барт беседовал, вы не заметили?

— Никак нет, сэр, он ведет себя очень замкнуто, — доложил другой надзиратель, и все его коллеги подтвердили это, за исключением одного, который видел, как Крамнэгел не раз прикуривал у Неда Прэтфолда. Майор Эттлиси-Гор сразу насторожился. Нед Прэтфолд был одним из самых многообещающих талантов преступного мира Британии — больше, правда, пока обещающим, чем добившимся рекордных результатов. Нет, все эти прикуривания не пришлись начальнику тюрьмы по душе. Где-то в глубине его подсознания засело туманное изображение американских гангстеров, неизменно обсуждающих каждый свой отчаянный шаг, прикуривая друг у друга, обжигая спичками палец за пальцем. Весьма вероятно, что это была всего лишь картинка, навеянная виденными в юности гангстерскими боевиками, но кто знает, как попадает в наш мозг добрая половина содержащейся в нем информации? Достаточно будет сказать, что вставшая перед умственным взором майора сценка подействовала на него весьма убеждающе, и по его просьбе Крамнэгела перевели в отделение максимально строгого режима расположенной на морском острове тюрьмы — как раз в тот день, когда апелляцию Крамнэгела отклонили.

11

Узнав о случившемся, сэр Невилл был вне себя — не столько от гнева (за всю свою жизнь он не научился-таки отводить душу в тяжелую минуту), сколько от беспомощности и сознания того, что с его ведома и отчасти даже его именем попираются каноны справедливости. Подобных и еще более трагических случаев полна история. Склоняясь перед обстоятельствами, правосудие часто творится безжалостно и наспех, буква закона редко оказывается способной объективно воздать за совершенный грех, и несть числа смертным приговорам, вынесенным дрогнувшим голосом и скрепленным нетвердой рукой.

Сейчас, правда, о казни не шло и речи, так что сэр Невилл был избавлен от душевных мук, которые выпали бы на его долю, будь приговор по подобному делу вынесен сто лет назад. Но все равно даже самая незначительная ошибка, хоть на гран вызвавшая отклонение от спра-

ведливости, так же непростительна, как и ошибка, вопиющая в своей очевидной грубости. Можно было пытаться утешать себя тем, что Крамнэгел никак не походит на героя. Он не Андре Шенье, способный найти бессмертные слова в тот момент, когда доказывается его принадлежность к смертным. И все же общие представления о том, что такое героизм, изменились настолько — хоть это и не облечено в слова, но, по крайней мере, подсознательно признано, — что Крамнэгел, сей огромный, грубый, крикливый и тупой бурбон, скорее мог вызвать сочувствие современного человека, нежели утонченный и изысканный поэт в рубашке с распахнутым воротом.

Юристы, как, впрочем, и политики, и военные, и служители церкви, в большинстве своем оказались неспособны угнаться за стремительным ростом общественного сознания, осмысляющего жизнь, как парадокс. Они цепляются за кочки тихих заводей, командуют глухими и верят, что все по-прежнему хорошо. Король давно уже мертв, и новое платье короля носят теперь сливки его двора, а наготу придворных видят те, кто помоложе. И положение дел куда плачевнее для их душ, чем для тел нагих придворных.

Сэр Невилл остро ощущал подспудные течения душевной смуты и понимал, что они способны привести его к позициям, непопулярным в обществе, да еще в возрасте, к которому, считается, пора набраться ума. Позднее пробуждение чревато опасностями, и сэр Невилл полностью осознавал их. Интеллектуальная жизнь в Англии более, чем где либо, отравлена страхом произвести впечатление отсталости, и во многих критических трудах звучит отчаянное желание не отстать от молодых. Термины «в ногу» и «не в ногу» достаточно красноречивы сами по себе, и многие люди средних лет стыдливо отпускают волосы до плеч и украшают галстуки изображением подсолнуха.

Горячо сочувствуя молодежи, сэр Невилл соглашался с большей частью ее жалоб и протестов, и если в своей поддержке молодых не заходил далеко и не одобрял их, когда они били по голове полицейских, то лишь потому, что считал: бьют не по тем головам, по которым следовало бы. Не испытывал он и тяги к бунту, в отличие от некоторых своих сверстников, пытающихся впрыснуть подобным образом в свои умирающие вены немного живительной влаги. Напротив, подобно большинству холо-

стяков, он чувствовал себя старше, чем на самом деле, выглядел моложе своего возраста и со всем смирился.

Однако некоторые его друзья встревожились тем, что столь блестящий человек начал проявлять растущие признаки беспокойства. Не будучи от природы грубым, все чаще стал затевать ссоры. Друзья сэра Невилла высказывали предположение, что всему виною изменившийся образ жизни (предположения, вероятно, отчасти справедливые), и тем не менее недуг носил явно интеллектуальный характер, только слепой мог принять причину за следствие.

Дело в том, что сэр Невилл занимал пост главного прокурора вот уже почти три года; положенный срок пребывания в этой должности подходил к концу. Что станется с ним потом — это уже его дело, но пока ему приходилось жить в заточении своего кабинета, в панцире официального костюма, терзаясь значительной, хотя и ограниченной ответственностью. Случались дни, когда он влетал в свои клубы с таким видом, точно готов был кого-нибудь ударить, но вместо этого натыкался на хорошего знакомого и принимался за самокопанье, приправленное чувством юмора, помогающее и сохранить лицо, и вовремя остановиться.

Однако иногда ему все-таки случалось взорваться, наткнувшись на какого-нибудь сэра Иниго (фамилия его писалась Чивернейкс, но произносилась Чинни), мертвенно-бледную, выжившую из ума мумию из бывшего министерства колоний, или на багроволицего, вечно ворчащего и трясущегося от злости бизнесмена сэра Пола Гора.

— Нет, это никуда не годится — услышать такое от главного прокурора — просто ни в какие ворота не лезет. Что подумают иностранцы, услышь они вас? И так в доброй старой Англии стало не продохнуть от всякой пакости, набившейся из колоний. А уж что сказал бы мой дражайший дед? Могу себе представить! Повернулся бы, наверное, к Асквиту * или к тому, кто этим ведал, и спросил бы без обиняков: «Не слишком ли мы миндальничаем с черной костью?» Он никогда не грубил, наш первый лорд Гор, но подколоть умел. И вас он бы уж никак по головке не погладил, убежден. Он был много талантливее меня, хотя я оставлю намного больше денег после своей смерти, но, видимо, нельзя иметь

* Генри Герберт Асквит (1852—1928) — видный деятель либеральной партии, премьер-министр Великобритании с 1908 по 1916 год.

все сразу. Так вот, как я вам говорил, пока речь не зашла о моем предке: в стране нашей развелось столько всякой накипи из колоний, что Англии не узнать. Заезжаю я тут в воскресенье в соседнюю таверну пропустить стаканчик — и что же вижу? Сплошные негры, пакистанцы, барменша и та из Югославии. А американцы — те знай едут и едут. В газетах только и читаешь: проглотили еще одну почтенную старую фирму, а потом, когда их полицейский приезжает сюда и превращает старинную английскую деревеньку в какое-то Чикаго, вы еще хотите этого мерзавца отпустить восвояси! Я вам скажу, что бы я сделал, будь моя воля. И не сомневаюсь, что деду бы это понравилось. Вывез бы из Синг-Синга дюжину профессиональных американских гангстеров и приговорил бы этого полисмена с непроизносимым именем к казни, причем чтобы казнь эту осуществили его же сородичи.

Сэр Иниго выражал свои мысли экономно, вероятно потому, что провел изрядную часть своей долгой жизни в тропиках, а не среди сырых торфяников, подобно лорду Гору, который, казалось, всегда говорил не для того, чтобы высказать мысль, а для того, чтобы разогреться.

— Розга эффективнее виселицы. Виселица бесчестит, розга лишь унижает, — проскрипел сэр Иниго. — Держите в каждом доме моченую розгу, и в ваших исправительных заведениях будет тихо, как в больнице Челси.

— Ваша точка зрения, возможно, и была бы правильной применительно к Британскому Гондурасу тысяча восемьсот семидесятого года, то есть времен вашей молодости, сэр Иниго, но у нас сегодня такой метод могут одобрить разве что в домах терпимости. Вероятно, с вами согласятся еще и те, кому из-за отсутствия материнской любви пришлась по душе жизнь в частных закрытых школах, но вряд ли согласится кто-нибудь еще, — заявил сэр Невилл и нажил себе еще одного врага.

С лордом Гором он не потрудился полемизировать вообще, ограничившись лишь напоминанием о том, что одна из его собственных компаний — «Горекс», производящая лампочки, батарейки и тостеры, только что стала так называемым «уважаемым членом» американской корпорации «Морнингсайд», более известной своими крематориями из сборных панелей и пластиковыми корпусами для счетчиков на автомобильных стоянках.

— Я вовсе не прикидываюсь, будто не похож на других, — прорычал лорд Гор. — Я, слава богу, не такой

фарисей, чтобы бить себя в грудь и кричать, что я лучше своих соседей. Я лишь говорю, что вы из тех немногих, с кого мы можем еще брать пример.

— Интересно, согласился бы с вами ваш дед?

Намек был столь прозрачен, что даже лорда Гора привел в недоумение. Ничего не поняв из слов сэра Невилла, он пришел к заключению, что тот оскорбил память его деда, и выскочил из комнаты, бурча себе что-то под нос насчет нежелания сидеть за одним столом со всякими большевиками.

— Почему бы вам не отдохнуть от ваших клубов? — спросил Билл Стокард сэра Невилла, когда тот вернулся на работу.

— По-вашему, они для меня вредны?

— Сейчас — да, и даже очень.

— Сейчас? Вы считаете, что я нездоров?

— Этого я не могу сказать. Но вы последнее время на себя не похожи. И, я заметил, по утрам чувствуете себя лучше. Однако складывается впечатление, что вы с нетерпением ждете обеда, а потом возвращаетесь с обеда расстроенный и уже ничего не можете делать и уходите без пяти шесть. Когда вы уходите, я слежу за вами из окна. У вас даже походка меняется. Вы сутулитесь и семените мелкими шажками.

— Да вы и вправду за мной следите!

Билл вынул из стола пачку промокашек.

— Вот, взгляните, сэр. Раньше вы всегда оставляли свой кабинет в таком же безупречном виде, в каком он был до вашего прихода. На вашем столе не было ни пылинки. Вы никогда не прикасались ни к календарю, ни к промокашке, потому что держали в голове все телефоны и дела. Мне казалось, вы гордились этим. А сейчас...

Он веером разложил на столе промокашки, словно колоду карт.

— Вы каждый день изводите по штуке — вот, пожалуйста!

Все промокашки были исчерканы, покрыты сложными геометрическими фигурами, изображениями отрубленных голов, тонущих кораблей, причем линии были прочерчены с такою силой, что местами прорвали бумагу.

— Н-да, если посмотреть с этой стороны... — задумался сэр Невилл. — И все равно, класть мне каждый день на стол новую промокашку — просто расточительство.

— Я все время надеялся, что это заставит вас опомниться.

— Совесть курильщика скорее пробудится, если он увидит полную пепельницу на другое утро после вечеринки.

— Что ж, могу оставить вам исписанные промокашки...

— О нет, спасибо, — рассмеялся сэр Невилл, и вдруг в нем проглянул славный, мягкий и легко ранимый человек. — Вы очень добры ко мне, Билл.

— Трудно работать с человеком, не имея... — Билл замялся и, посмотрев на сэра Невилла, отважился довести мысль до конца: — Мы тут с Эллен — это моя жена — подумали как-то, что, может быть, вы согласились бы сделать в своей светской жизни перерыв и поужинать с нами.

— С большим удовольствием, Билл, — тихо ответил сэр Невилл.

— Мы живем в маленькой квартирке в одном из этих огромных современных домов, поэтому Эллен сначала хотела вызвать на вечер няню для детей и пригласить вас поужинать с нами в ресторане, но я воспротивился. Я сказал ей, что в нынешнем состоянии вам будет много полезнее побыть у семейного очага, пусть даже и очень скромного.

— На какой день назначаете, доктор? — подмигнул ему сэр Невилл.

— А если завтра? — Настойчивость Билла объяснялась одним: он понимал, что сэр Невилл остро и безотлагательно нуждается в помощи.

— Отлично.

— Вот и прекрасно. Я напишу вам адрес на бумажке.

— Не надо писать, Билл, я запомню, — ответил сэр Невилл. — Право же, запомню.

Сэр Невилл не только запомнил адрес, но даже не забыл вовремя исчезнуть с приема в обществе дегустации вин, сославшись на мигрень.

То ли на него подействовала уютная теснота квартирки, в затемненных комнатах которой спали с приоткрытыми дверьми дети, то ли общество иной, нежели миссис Шекспир, женщины, но ужин в семье Стокардов сразу же начал оказывать на него целебное воздействие. Миссис Стокард оказалась проворной, толковой и мягкой женщиной с открытым взглядом задумчивых зеленых глаз, в которых сверкали черно-желтые искорки, и с по-

родистым, чуть вздернутым носиком, слегка расширявшимся в ноздрях. Ей часто приходилось вставать из-за стола, поскольку она была и поваром, и официанткой, и хозяйкой. В облике миссис Стокард угадывалась склонность к твидовым дорожным костюмам и путешествиям по проселкам за рулем вездехода, голос и поведение были лишены манерности. От нее исходило обаяние милой женщины, женщины, знающей цену любви, умеющей дарить ее без малейшего недоверия и задней мысли о возможных разочарованиях. С такой женщиной легко жить, но ей легко и причинить боль. Она способна пробудить все лучшее в мужчине, но не способна даже заподозрить в нем худшее.

Сэр Невилл не мог не следить за изяществом движений миссис Стокард, когда та поднималась из-за стола, не мог не восхищаться ее фигурой, безупречной, но совсем не похожей на стандартные фигуры королев красоты, и потому еще более очаровательной. Стройна, но не худа, обворожительно пропорциональная шея, возраст лишь начинает сказываться тенями будущих морщинок на лице. Сэр Невилл смотрел на нее с удовольствием, и это было так неожиданно, что даже вызвало у Билла потаенную улыбку, совсем лишенную ревности.

— Ваш муж обращается со мной, как нянька, — сказал сэр Невилл. — И должен заметить, ему это удается куда лучше, чем мисс Мэтьюз, которая нянчила меня в детстве.

— Иногда мне кажется, что я предпочла бы в доме какую-нибудь мисс Мэтьюз вместо Билла. Может, он лучше умеет присматривать за детьми постарше, сэр Невилл.

Сэр Невилл таял от теплоты оказываемого ему гостеприимства. Ему нравилось, когда его поддразнивали подобным образом.

— Я рассказал Эллен об этой истории с Крамнэгелом, — заметил Билл, — и она во многом разделяет вашу точку зрения.

— О, вот как?

— Тягостная история, — сказала миссис Стокард. — Тем более тягостная, что уж очень нелепа. Ведь ее можно воспринимать серьезно только потому, что это действительно произошло. А иначе в жизни не поверишь, будто такое может быть.

— Абсолютно точно. Самое же неприятное заключа-

ется в том, что произойти может все, что угодно, как мы, к своему ужасу, узнаем.

— Верно. А среди старых профсоюзных лидеров попадаются такие, что просто ужас берет. Мне и самой часто хотелось кого-нибудь из них застрелить.

— И мне тоже, миссис Стокард, но беда-то вся в том, что Крамнэгелу не хотелось, а он застрелил. Как объяснишь это присяжным?

— Присяжным еще куда ни шло. Из них хоть двое-трое, да поймут. Кому я не доверяю, так это профессиональным законникам.

— Ну что вам говорил? — рассмеялся Стокард.

— Вот это женщина в моем вкусе! — вскричал сэр Невилл. — Не забывайте, однако, — перешел он на более серьезный тон, — что многие из них весьма умны, широкомыслящи и проницательны. Объективность требует признать это.

— Но не здесь ли и корень проблемы? — спросила миссис Стокард. — Видите ли, я всего лишь женщина, профан, но мне, право же, кажется, что существуют определенные простейшие человеческие реакции, разобраться в которых мешает именно утонченность ума. Закон, по-моему, достаточно хорошо приспособлен как к проявлениям изощренного мышления, так и абсолютной глупости, но явно заходит в тупик, сталкиваясь с чем-то, лежащим между ними. Вот какого вы мнения о Крамнэгеле? С вашей точки зрения, это высокопоставленный кретин?

— Дело даже не в этом, миссис Стокард, а в том, что в разных концах света под словом «разум» понимаются разные вещи и в отличие от денег стандарты разума нельзя перевести из одной валюты в другую. Крамнэгел не укладывается в стандарты нашего понимания не потому, что они выше или ниже американских, а потому, что абсолютно и коренным образом отличаются от них. Я никогда не был в Америке и не имею ни малейшего намерения ехать туда, но у меня тем не менее складывается твердое убеждение, что американцы до сих пор так и не оправились от шока, полученного ими, когда они вырвали у нас свою свободу, — сие достижение весьма легко поддается преувеличению, учитывая то состояние, в каком мы пребывали в те времена, — но, может быть, мы будем понимать их лучше, когда настанет наша очередь вырывать свою свободу у них. Как бы там ни было, мы с ними придерживаемся разных представлений о

свободе. Мы знаем, свобода — подобно никотину, алкоголю и сплетням — приятна и даже полезна в малых дозах, но злоупотребление ею может привести к летальному исходу. В результате — и, надо думать, к сожалению — мы привыкли жить, употребляя даже меньше этого драгоценного снадобья, чем надо бы. У них же его запасы исчерпываются до дна, как только проклевывается жила, вероятно, поэтому они кажутся нам похожими на врача, который вводит больному такое количество противоядия, что больной заболевает. В качестве примера позвольте вам сказать, что в ходе следствия по этому делу я узнал, что у них во многих городах судьи и начальники полиции избираются голосованием, и при том, как обстоят там дела, я не удивлюсь, если узнаю, что и жертвы у них тоже избираются.

Ужин у Стокардов встряхнул и оживил сэра Невилла, но и заставил его по-хорошему взгрустнуть. Прежде чем погасить ночник, он долго смотрел в потолок и плыл на волнах воображения.

На следующий день сэр Невилл явился на службу пунктуально, и его промокашка до конца дня хранила первозданную чистоту. Обедал он в ресторане с Биллом и работал допоздна. Среди людей, которым он звонил в тот день, был и Пьютри: сэр Невилл высказал ему свое неудовольствие: зачем потребовалось наказывать Крамнэгела за то, что он рассказал выжившему из ума старику, как изготовить горючую смесь.

— Тут можно возразить, что Крамнэгел несет ответственность за случившееся, поскольку он прекрасно знал, сколь по-детски впечатлителен и легко поддается убеждению Гарри Мазерс.

— Можно, но не должно, — резко ответил сэр Невилл. — Крамнэгел сам так же по-детски впечатлителен и так же поддается убеждению, а кроме того, можно возразить, что, поскольку Гарри Мазерс старше Крамнэгела, ему следовало бы знать, что к чему.

— Он так стар, что уже просто выжил из ума.

— То же самое можно сказать о судье Плантагенете-Уильямсе, но до сих пор ему это не мешало.

Теперь сэр Невилл ждал лишь удобного случая, чтобы обратиться по поводу Крамнэгела непосредственно к министру внутренних дел. Срок его пребывания в должности истекал, а вместе с ним истекало и терпение.

Крамнэгел в своем новом обиталище попал в атмос-

феру иную, нежели в прежней тюрьме. Надзиратели здесь казались моложе и подтянутее, заключенных было меньше, и они принадлежали к другой породе. Несмотря на то, что поток писем от Эди давно превратился в обмелевший ручеек и из длинных и исступленных они стали короткими и грустными, у Крамнэгела несколько поднялось настроение — отчасти, наверное, благодаря осознанию того, что он не поддается, а, стиснув зубы, борется за существование, но вполне возможно и потому, что он снова почувствовал себя причисленным к сливкам общества, пусть даже это сливки преступного общества. В его новой тюрьме содержался Эдвард Тайхоу, получивший сорок лет тюремного заключения за шпионаж — продажу за границу некоторых из все еще имеющихся в Англии секретов. Правда, его волнистые светлые волосы и скошенный подбородок не соответствовали представлениям Крамнэгела о шпионах. Сидел там и Джереми Сабак, один из братьев-мальтийцев, повинных в смерти не менее сорока видных членов преступного мира. Сабаков считали столь опасными, что почти в каждой тюрьме сидел кто-нибудь из этой семейки, но нигде не содержали больше чем одного. Познакомился Крамнэгел и с Портером Эллисоном, Ноэлом Бурпейджем, Уильямом Гансмитом и несколькими другими ловкачами, которые прикарманили четыре миллиона фунтов стерлингов, захватив перевозивший золотые слитки «боинг». Дело это изрядно нашумело в свое время. Пилот «боинга» Перси Каули-Мидлторп — прославленный герой битвы за Британию — до сих пор находился в бегах и считался особо опасным преступником. Снобизм заключенных, обитавших в отделении максимально строгого режима, питался не только сознанием собственной профессиональной исключительности, но и тем, что они зарабатывали изрядные деньги, печатая в журналах из номера в номер рассказы о своих похождениях и даже публикуя свои мемуары целыми книгами. Всех их раздражал Тайхоу, поскольку никто не мог за ним угнаться. Он спокойно отказался от услуг обработчиков, заявив своим размеренным тихим голосом, что не позволит засорять свой литературный стиль дешевым журнальным жаргоном.

Его книга вышла в свет вскоре после прибытия в тюрьму Крамнэгела, и собратья по заключению жадно листали критические рубрики газет в поисках рецензий. «Санди таймс» и «Обсервер» отозвались о книге более чем лестно. «Телеграф» же реагировал весьма сдержан-

но: считал, что шпиону нельзя разрешать наживаться на приговоре к сорока годам. Книга хорошо расходилась, и Тайхоу передал экземпляр с автографом начальнику тюрьмы Макинтайру-Берду. Прочитав книгу, мистер Берд немедленно созвал совещание персонала с целью усилить меры по обеспечению охраны.

Повесть о зловещей карьере братьев Сабак увидела свет в нескольких номерах журнала «Новости мира», а захват «боинга» освещался журналом «Народ».

К Крамнэгелу поначалу относились без того уважения, к которому он привык в прежней тюрьме, главным образом, потому что английский преступный мир достиг зрелости, позволяющей держаться независимо от служившего ранее примером американского собрата. Более того, наиболее выдающиеся представители считали, что американская преступность загнивает и находится в состоянии упадка — не потому отнюдь, что ФБР преуспело в очищении от нее страны, а потому, что она начала отклоняться от былого четкого курса на наживу в запутанную область политических и расовых проблем, лишенных какого бы то ни было финансового интереса. Мало того, американцы еще позволили хиппи скомпрометировать наркоманию... Однако сам факт пребывания Крамнэгела в тюрьме максимально строгого режима говорил в его пользу и помог обрести определенный вес, поэтому когда к нему обратился выходящий огромным тиражом еженедельник «Затемнение» с предложением печатать из номера в номер его мемуары, Джереми Сабак охотно ввел его в круг тюремных литераторов и даже дал ряд ценных практических советов по поводу того, как следует торговаться с редакцией.

«Все расскажу, как знаю» — называлась первая часть воспоминаний Крамнэгела, опубликованная в «Затемнении». Снова раскопали фотографию Эди и рядом с ней тиснули портрет какого-то Гекльберри Финна, больше похожего на персонажа немого кино начала века, чем на Крамнэгела. «Когда взрослые спрашивали меня, босоногого взъерошенного уличного мальчонку, кем я хочу быть, я гордо задирал веснушчатую мордашку и отвечал: «Буду полисменом, чтоб, значит, убивать гангстеров». Мог ли я тогда знать то, что знаю теперь, разглядывая сквозь решетку моей камеры серое английское небо в крупную клетку...» Из текста сразу становилось ясным, что у Крамнэгела появился двойник-англичанин.

Поощряемый большинством грабителей «боинга» и не

послушавшись Джереми Сабака, Крамнэгел согласился продавать каждую публикацию своих мемуаров за пятьсот фунтов стерлингов и велел переводить деньги на счет в свой банк в США. Но к советам Сабака относительно авторского права на публикацию своих трудов в других странах он отнесся очень внимательно.

— Рассказы об успешных преступлениях хорошо идут в Италии, — говорил тот, — и при умном подходе к делу можно заиметь целый капитал в лирах. На открытом рынке они почти ничего не стоят, но если нужно уйти «на дно», на них можно уютно и много лет прожить в Сицилии, включая расходы на взятки и на покровительство мафии. Хорошо идет товар и в Германии, но там больше любят преступления с политическим или сексуальным уклоном — вот если вставить в текст каких-нибудь амазонок в мехах, высоких сапогах и с хлыстом да еще сделать одну из них бывшей любовницей Геринга, тогда дело в шляпе. В Голландии и Бельгии рынок, конечно, небольшой, но ведь миллионные состояния начинаются с копеечных доходов, а большие деньги со временем приходят сами. Америка? Нет, там слишком сильна конкуренция, да и потом придуманные сюжеты обходятся им дешевле. Меньше выпадает платить по суду за клевету.

В ответ на звонки сэра Невилла начальник тюрьмы сообщал, что в отделении максимально строгого режима установилось необычное спокойствие. Он объяснял его разгаром литературного сезона, но, разумеется, то, что его подопечные превратились в группу школьников, усердно и старательно корпящих над контрольной, никоим образом не означает, что свойственная им склонность к проказам оставила их навсегда. Начальник тюрьмы ожидал бури после затишья, особенно когда литературные упражнения приведут к тому, что банковские счета авторов пополнятся достаточными суммами и им захочется тратить деньги на воле.

И действительно, неделю-две спустя Крамнэгел вдруг ощутил вокруг себя атмосферу необычной напряженности. Без сомнения, человек, не имеющий опыта и подготовки полицейского, не заметил бы ничего из ряда вон выходящего, но в людях, подобных Крамнэгелу, полное отсутствие чувствительности ко многим другим биениям жизни всегда сочетается с обостренным нюхом на назревающие взрывы человеческих эмоций. Здесь проявляется та самая интуиция, которая позволяет им, придя на ме-

сто преступления, со сверхъестественной быстротой разобраться в происшедшем и мгновенно выделить и арестовать всех, на ком лежит отпечаток вины. Подобно тому, как приступ ревматизма предсказывает старику наступление плохой погоды, полицейское чутье подсказывало Крамнэгелу, что под внешне безмятежной гладью существуют мощные подводные течения. Вглядываясь в глаза собратьев по заключению, он пытался уяснить характер, направление и силу этих течений.

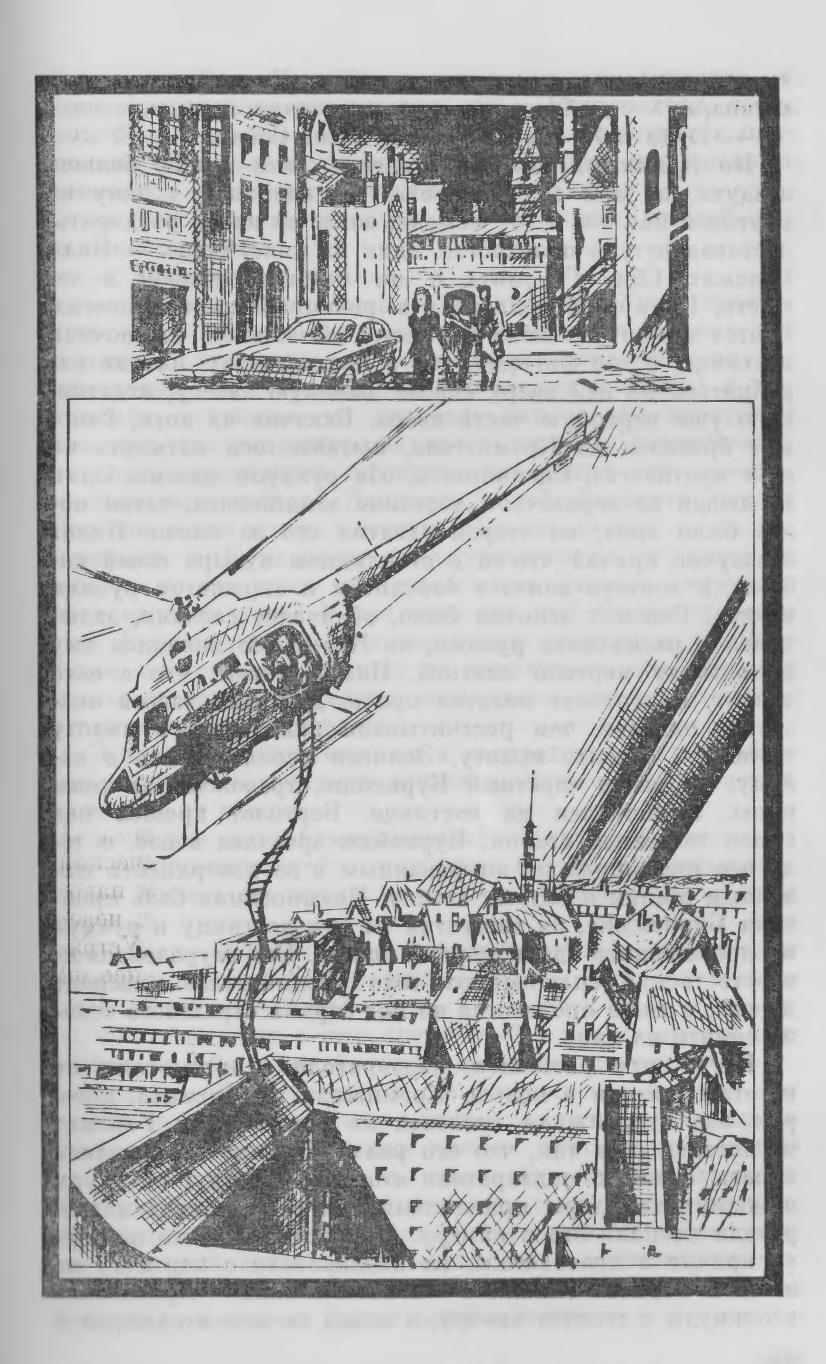
Как-то к концу вечерней прогулки — уже наступило то неопределенное время дня, когда водители начинают включать фары, — Крамнэгел заметил, что налетчики, сидевшие по делу о захвате «боинга», обмениваются такими намеренно лишенными выражения взглядами, что ошибиться в их значении невозможно. Любопытная особенность человека — всегда либо переигрывать, либо недоигрывать, не умея точно соблюсти чувство пропорции даже в шедеврах. А теперь налетчики стали подтягиваться к одной стороне двора, передвигаясь с подчеркнутым безразличием, явно свидетельствовавшим о наличии тайных намерений.

— Сейчас что-то будет, — уголком рта Сабак шепнул Крамнэгелу.

— Он мне рассказывает, — весь напрягшись, тихо буркнул тот в ответ.

Теперь уже все начали понимать, что назревают какие-то события, — все, кроме двух надзирателей. Откуда-то издалека донесся рокот вертолета, словно в воздухе забил крыльями огромный беззащитный доисторический ящер. Надзиратель взглянул вверх и насторожился наконец. Шум исходил непонятно откуда и нарастал с невероятной быстротой. Что-то здесь было явно не так. Устраивать такой шум в городе не положено. Тем не менее он становился все громче и громче, и вот — разинув рты, подобно персонажам фантастического фильма, перепуганным сверхъестественным явлением, — они увидели, как над их головой, словно огромное черное насекомое, появился вертолет и перелетел над тюремной стеной, хитро и ехидно отражая своим единственным выпуклым глазом последние лучи заходящего багрового солнца.

На землю с грохотом обрушились канистры, и из них повалил густой дым. В ответ на робкие выстрелы надзирателей застрекотал пулемет. Один из надзирателей пошатнулся и упал, второй схватился за грудь, задыхаясь в жестоком приступе кашля. Вслед за канистрами из вер-



толета полетели картонные коробки. Крамнэгел рванулся вперед — в облака дыма и слезоточивого газа.

— Куда ты?! — крикнул ему вслед Сабак.

Но Крамнэгел, набрав в легкие как можно больше воздуха, не мог ему ответить. Он вцепился в одну из картонок как раз в тот момент, когда ее начал раздирать, доставая оттуда противогаз, один из налетчиков — Билл Гансмит. Сбив Гансмита с ног мощным ударом в челюсть, Крамнэгел подхватил выроненный им противогаз. В этот момент из люка вертолета вывалилась веревочная лестница, и две фигурки, обе в противогазах, начали карабкаться по ней вверх сквозь дымовую завесу, охватившую уже изрядную часть двора. Вскочив на ноги, Гансмит бросился на Крамнэгела, пытавшегося натянуть на себя противогаз. Сцепившись, оба рухнули наземь. Один из людей на веревочной лестнице замешкался, затем полез было вниз, но второй схватил его за плечо. Пилот беззвучно кричал что-то в стеклянном пузыре своей кабины, а лопасти винта с чавканьем и скрежетом рубили воздух. Гансмит вскочил было, обливаясь слезами, задыхаясь и размахивая руками, но Крамнэгел вцепился ему в лодыжку мертвой хваткой. Пилот решил, что с него хватит, и вертолет полетел прочь. Дымовая завеса оказалась плотнее, чем рассчитывали налетчики, и пилоту пришлось сбавить высоту. Эллисон успел залезть в кабину, но менее черствый Бурпейдж, тревожась за товарища, замешкался на лестнице. Вертолет прошел над самой тюремной стеной; Бурпейдж врезался в нее, и тело его протащило по вмурованным в ее поверхность железным шипам и битому стеклу. Невыносимая боль пронзила Бурпейджа, он выпустил из рук лестницу и рухнул на проложенное вдоль тюрьмы шоссе. Его изуродованное, неестественно сплющенное тело распласталось посреди дороги, и даже противогаз не мог скрыть страшного оскала смерти на лице.

Когда дым рассеялся, надзиратели с автоматами наизготовку взяли в кольцо Крамнэгела и Гансмита, которые все продолжали кататься по земле, хотя Гансмит наглотался газа так, что его рвало. Крамнэгела удивила ярость, с какою надзиратели оторвали их друг от друга, и возмутили удары прикладами под ребра, когда надзиратели погнали его в камеру. Слышно было, что он что-то кричит в противогазе, но надзиратели с перепугу не желали терпеть никакого неповиновения. Крамнэгела втолкнули в тесную камеру, а вслед за ним втолкнули и

Гансмита. Минуту спустя в дверь вошел бледный и взволнованный начальник тюрьмы. Надзиратели, которым было явно не до шуток, сорвали с Крамнэгела противогаз. На лице его вокруг глаз остались два красных отпечатка — там, где в кожу впились стекла.

— Что, бежать пытался? — забрызгал слюной начальник тюрьмы.

— У меня в мыслях...

— Молчать! Нет, это вам не поможет. Уж я позабочусь. Не поможет! Я-то собирался обойтись с вами по-хорошему, замолвить словечко перед комитетом по помилованию, но теперь дудки! Ни за что в жизни! А вы, Гансмит, осуждены на двадцать лет, и вам прекрасно известно, что вас теперь ждет, — никаких послаблений, никаких пересмотров, отсидите от звонка до звонка, сколько вам сейчас? Двадцать пять? Двадцать шесть? Вот вам и вся жизнь впустую. Что же до вас, — он повернулся к Крамнэгелу, нахмурившемуся от недоумения, — то нам здесь не нужны ваши грязные американские штучки, ясно? У вас семь лет, да? По-моему, мало еще. Вы, говорят, были начальником полиции в какой-то богом забытой дыре? Стоит ли удивляться, что наш мир дошел до такого состояния, если таких, как вы, назначают руководить полицией!

Этот град незаслуженных и несправедливых оскорблений заставил Крамнэгела вскипеть. Лицо его задергалось, запылало от ярости.

— И это ваша благодарность? — прорычал он.

— Благодарность? — взвизгнул начальник тюрьмы.

— Какого же хрена я, по-вашему, сцепился с этим парнем?

— Вам, кажется, велели заткнуться, — угрожающе рявкнул старший надзиратель.

— А вы не суйтесь!

— Почему вы с ним сцепились? — заорал начальник, выйдя из себя и не обращая внимания на старшего надзирателя. — Да потому, что вы ударились в панику, как трусы во время кораблекрушения, когда возникает драка за места в шлюпке и люди топчут друг друга, чтобы спасти свои шкуры. Но вы могли бы не беспокоиться. Все равно мы всех вам переловим, всех. И вашего подполковника Каули-Мидлторпа в придачу. А сейчас обоих на неделю в одиночный карцер. Потом поговорим еще.

— Да, скажи ты ему, что я пытался помешать тебе бежать! — приказал Крамнэгел Гансмиту.

— Молчать! — крикнул старший надзиратель. — А ну двигайте, двигайте. Пошли в карцер!

Крамнэгел попятился в угол камеры. Гансмит же застыл на месте, безучастно глядя на него.

— Вот что я скажу вам, ребята, — подобравшись, тихо сказал Крамнэгел. — Барахло вы. Просто барахло, и ни в какой я ваш карцер не пойду.

— Не пойдешь? — так же тихо переспросил старший надзиратель. — И кто мы, по-твоему, как ты говоришь?

После взаимной прикидки сил и возможностей надзиратели кинулись на Крамнэгела и принялись его лупить. А он, исполненный сознания своей правоты, яростно отбивался.

— Сэр! Сэр! — донеслось из коридора.

— В чем дело? — откликнулся начальник тюрьмы.

— Бурнейдж мертв, сэр.

— Мертв?

— Сорвался с лестницы и упал на Балаклавское шоссе.

— Вот бедняга.

— Он еще был жив, когда мы нашли его, но в себя так и не пришел.

Неожиданно схватка вспыхнула вновь. Надзиратели, на минуту отпустившие Крамнэгела, чтобы выяснить, не требуются ли они в каком-то другом отсеке тюрьмы, были застигнуты врасплох стремительным броском Гансмита, который безо всякого предупреждения налетел на Крамнэгела и принялся колотить его, выкрикивая: «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» Гансмита еле оттащили, а из разбитого носа Крамнэгела на бетонный пол камеры хлынула кровь.

Начальник тюрьмы и надзиратели в полной растерянности услышали, как Гансмит, истерично всхлипывая, обвинял Крамнэгела в убийстве своего друга и всякий раз с удвоенной яростью обзывал его сволочью.

— То есть как же это понять... — начал было начальник тюрьмы, но осекся, боясь ответа на собственный вопрос и возможных последствий. Но волновался он напрасно, поскольку Крамнэгел все равно уже был не в состоянии отвечать.

— Мы бы все удрали, — простонал Гансмит, — если бы не эта сволочь...

Надзиратели ловили взгляд начальника тюрьмы, как гончие, ждущие свистка хозяина, но тот, растерянный и встревоженный, прятал от них глаза.

— Что стоите, помогите ему подняться! — приказал он, как будто это приказание было вполне в порядке вещей.

— Отправить его в карцер, сэр?

— Отведите в мой кабинет. В карцер отправьте Гансмита.

Уходя, Гансмит смерил Крамнэгела взглядом, в котором читалось нечто большее, чем отвращение.

Глаза у Крамнэгела слипались, когда он, скорчившись, сел на краешек дивана в кабинете начальника тюрьмы, — он походил на боксера, который сидит в своем углу ринга после полученного нокаута, ничего уже не понимая, но все еще готовый снова ринуться в бой, несмотря на багровую пелену, застилающую глаза.

— Сигарету? — спросил Макинтайр-Берд.

Сигарету! Когда он застрелил Касса Чокбернера, начальник угостил его сигарой, но что взять с Англии — это же страна без шика. Крамнэгел попытался заговорить, но разбитые губы не слушались. Он просто покачал головой.

— Ужасно неприятно... Но вы, надеюсь, понимаете, нам очень трудно было представить себе, чтобы заключенный стал помогать администрации тюрьмы. Когда вы схватились с Гансмитом... да еще в противогазе... Ну, поставьте себя на мое место!

— Попробуйте для разнообразия поставить себя на мое, — с трудом выговорил Крамнэгел. — Хотел бы я посмотреть, как вам это понравится.

— Если бы я не обладал такой способностью, любезный, то, наверно, и не пригласил бы вас к себе в кабинет, не так ли? — ехидно заметил начальник тюрьмы.

— Пригласил бы или нет — не в том вопрос, — внешне спокойно произнес Крамнэгел. — Думаете, такая уж большая честь — сидеть в вашем кабинете? Подумаешь! Вот у меня был кабинет, так перед ним приемная была в два раза больше вашего. И ковер от стены до стены, и холодильник в виде комода под Марию-Антуанетту... — Он умолк и потрогал свои распухшие губы. Было больно говорить, больно думать.

Начальнику отнюдь не доставила удовольствия столь критическая оценка его представлений о комфортабельном кабинете, но ввиду совершенной им опасной ошибки он вынужден был унять свою гордость.

— Мне остается лишь поблагодарить вас, — сказал он с довольно глупым видом, инстинктивно оглядываясь, чтобы лишний раз убедиться в отсутствии свидетелей.

— За что?

— Видите ли...

— За что? — сухо повторил Крамнэгел. — Эти ребята, надо отдать им должное, прекрасно знали свое дело. Все рассчитали до доли секунды — просто отлично все спланировали, прямо как израильтяне на Ближнем Востоке, когда послали свою авиацию ниже уровня действия радаров, — так рассчитали, что их не схватить бы за хвост, особенно при такой дымовой завесе, да еще слезоточивый газ... — Он приложил платок к губе, пососал ее и вздрогнул от боли. — Все так отработано, будто они прикидывали операцию в разных погодных условиях, затем выбрали безветренный день, рассчитали, как долго будет рассеиваться завеса... Нет, отличный план, отличный... Одного только не предусмотрели...

— Чего же именно? — невольно спросил начальник тюрьмы.

— Любой самый отличный план не срабатывает, если вдруг что-то срывается. Так досконально планировать нельзя — когда план чересчур хорош, его должны выполнять роботы, а не люди. Один маленький просчет — и весь план летит к чертям.

— В чем же, по-вашему, они просчитались? Чего не учли?

— Вы что, смеетесь? — спросил Крамнэгел. — Разве они учли, что в дело вмешаюсь я? Вы же знаете, что произошло, да? Не полезь я в драку и не схватись с Биллом Гансмитом, вся шайка унесла бы ноги прежде, чем вы успели сообразить, что происходит. Они растерялись, а этого уже достаточно. Они испортили все дело паникой. Пилот пытался наверстать потерянное время, слишком близко подошел к стене и убил Бурпейджа. Вы за это хотите меня поблагодарить? За это за все?

— Да, за это, — пробормотал, растерявшись, начальник.

— Тогда благодарите меня не за то, что я помог сорвать побег, а за то, что я его сорвал. Да, я! — Он ткнул себя в грудь пальцем. — Я, заключенный номер шесть один шесть дробь один девять пять семь. Крамнэгел, Бартрам Т. Начальник полиции в какой-то богом забытой дыре США. И раз уж мы заговорили об этом, позвольте вам сказать, что ваша охрана ни к черту не го-

дится. Они ничем мне не помогли. В жизни не видел такой дерьмовой охраны.

— Не говорите так, — с обидой сказал начальник тюрьмы, словно Крамнэгел начал богохульствовать, чем не столько разгневал, сколько смутил его.

— Если кто и почуял сразу — назревает что-то, так это мы, заключенные. А ваши охранники все трепались друг с другом. Даже когда уже был слышен шум вертолета, один из ваших парней продолжал рассматривать свои ногти, решая, пора их стричь или нет. В жизни такого не видал.

Зазвонил телефон. Начальник тюрьмы, измученный всем случившимся и уже до того свыкшийся с необходимостью все время оправдываться, что сам перестал понимать, как и на что ему реагировать, снял трубку так испуганно, словно был абсолютно уверен, что кто-то придумал очередной и еще более зловещий способ помучить его.

Послушав немного, он сказал:

— Да, понимаю.

Лицо его оставалось почти непроницаемым.

— В море? — Он снова послушал собеседника. — Благодарю вас.

И повесил трубку. Крамнэгел вопрошающе посмотрел на него. Начальник стоял с бесстрастным видом, не зная, как сообщить американцу полученные новости, да и стоит ли вообще откровенничать с заключенным.

— Что упало в море? — спросил Крамнэгел. — Вертолет упал в море?

— Что? Нет, ничего.

— Вертолет упал в море? А что с Портером?

— Его взяли.

Наступила пауза.

— Что же, вы так и не поблагодарите меня?

— Я уже высказал вам всю признательность — больше ничего добавить не могу, — с неожиданным, поистине детским упрямством сказал начальник тюрьмы и почувствовал острый прилив раздражения: почему обстоятельства ставят его в столь неловкое положение — ведь он даже ясность мысли потерял.

Крамнэгел поднялся с места.

— Куда вы? — спросил начальник.

— Пожалуй, хватит с вас моего общества на сегодня.

— Я еще не отсылаю вас. Наш разговор еще не окончен.

— Да бросьте вы,— сказал Крамнэгел, которого вдруг охватила страшная усталость. — Вам, наверное, не очень-то приятно видеть меня здесь и выслушивать мои нотации по поводу того, как управлять тюрьмой.

Такого проявления сочувствия начальник тюрьмы не ждал. Он вообще не знал, чего теперь ждать.

— Да, неприятно, — признался он.

— Могу себе представить, — усмехнулся Крамнэгел. — Нужны вам мои замечания как рыбе зонтик, да и вообще — каким путем, черт побери, может тюремщик отблагодарить уголовника, разве что чисто неофициально?

— Вовсе необязательно. Мне пришла в голову мысль, которая может быть осуществлена вполне официальным путем. Я полагаю — особенно в свете нашего... гм... временного недопонимания мотивов ваших действий, — что вы заслуживаете самого внимательного к себе отношения. Таким образом я склоняюсь к решению отослать вас отсюда.

— Отослать? — переспросил Крамнэгел. Надеяться на полное освобождение он никак не мог — на это у начальника тюрьмы нет власти, но что же он хочет сказать, идиот чертов?

—Да, я не вижу никаких оснований содержать вас и впредь в тюрьме максимально строгого режима.

— Знаете, что я вам скажу? Все тюрьмы одинаковы, что одна, что другая. Я даже скажу вам больше: здесь хоть преступники классом выше, чем в той бочке с сельдями, куда меня засадили поначалу.

— Это, конечно, очень любезное замечание с вашей стороны. — Начальник откашлялся. — Всегда приятно услышать, что... — Начальник тюрьмы оборвал фразу на полуслове. «Нечего его распускать, а то оглянуться не успеешь, как он усядется на мое место». — В общем-то моя мысль перевести вас была продиктована не одним лишь стремлением воздать должное вашему поступку, но и опасением, что вы больше не будете пользоваться здесь такой популярностью, как прежде.

— А что вы, собственно, против меня имеете? — нахмурился Крамнэгел.

— Нет, нет, дело не в нас, — торопливо заверил его начальник тюрьмы. — Уверяю вас, с нашей стороны вы встретите наилучшее к себе отношение... но это едва ли поможет вашим отношениям с другими заключенными. Боюсь, как бы не вышло наоборот.

Крамнэгел побледнел.

— Верно... И, зная, какая у вас здесь паршивая охрана, мне вряд ли стоит рассчитывать на защиту с ее стороны. Пока тот ублюдок решит, стричь ему ногти или нет, меня уже пришьют.

Начальник тщетно пытался что-то придумать, чтобы защитить репутацию своих подчиненных, но в конце концов решил, что молчание само по себе обладает достаточно бесценным достоинством, которое только и может заменить отсутствие конструктивных мыслей в неудачные дни.

— Господи Иисусе, был бы со мной мой револьвер... — сказал Крамнэгел.

Начальник тюрьмы подскочил. Он не был уверен, что правильно услышал слова собеседника, но Крамнэгел уже направлялся к двери.

— Один последний вопрос, — сказал начальник.

Крамнэгел остановился и повернулся к нему.

— Что вас заставило так поступить?

— Наверное... — И Крамнэгел замолчал, задумавшись, только челюсти его ходили ходуном, как будто коренные зубы увязли в море жвачки и пытались высвободиться из него. — Наверное, то, что полицейский всегда останется полицейским, сэр.

Он открыл дверь и, прежде чем ожидавший в коридоре охранник успел что-либо произнести, сказал:

— Ладно, пошли.

На следующее утро Крамнэгела нашли полумертвым в дальнем углу камеры. Никаких следов драки не было видно. Говорил он шепотом:

— Скажите начальнику, чтоб он меня отослал отсюда, как хотел. Скажите, чтоб поживей, иначе слишком за многое придется ему отвечать... Слишком, черт побери, за многое...

— Одно хорошо, — заметил начальник тюрьмы, ожидая, пока его соединят с министерством внутренних дел. — Если возникнут вопросы, почему у Крамнэгела в кровь разбито лицо, нам лишь останется списать все на уголовников.

— Так точно, сэр, — согласился старший надзиратель. — Нет худа без добра.

12

Газеты были полны фотографий вертолета, лежащего на дне, водолазов и полицейских. Почти все печатные издания изложили на своих страницах ход событий,

иллюстрируя рассказ либо схемами, либо старыми фотографиями тюремного двора с нарисованными на них стрелками. О Крамнэгеле, однако, не упоминалось ни словом. И только позвонив по просьбе сэра Невилла под каким-то благовидным предлогом начальнику тюрьмы, Билл Стокард узнал в ответ на вскользь заданный вопрос, что Крамнэгела переводят обратно в прежнее место заключения.

— Очень рад это слышать, — сказал Стокард, —но не могли бы вы мне сказать почему?

— Ну просто... просто мы решили, что так будет лучше.

— Лучше?

Молчание в телефонной трубке.

— Я понимаю, что это дело больше не находится в нашей компетенции, но сэр Невилл проявил к нему такой интерес, что, право же, из простой любезности, если даже не по какой-либо другой причине...

— Честно говоря, его очень невзлюбили другие заключенные.

— Почему же?

— Ну, знаете... он высокомерен... строит из себя этакого всезнайку... да и потом среди заключенных в крыле максимального режима сильно развиты антиамериканские настроения... Печально, но факт.

— Как по-вашему, чем они вызваны?

— Думаю, разницей в методах. Янки когда-то держали монополию по части преступности, но это уже все в прошлом. Преступники других национальностей, особенно британцы, ушли в этой области далеко вперед, применяют огромное количество усовершенствованных войной новых методов, и к янки теперь относятся как к публике, безнадежно устаревшей, но по-прежнему задирающей нос и хвастающейся своим мастерством.

— Но достаточно ли этих причин, чтобы объяснить неприязнь лично к одному человеку? Извините, мистер Берд, я хотел бы задать еще один вопрос, если позволите. В чем выразилась неприязнь к нему? Имели ли место... ну, скажем, какие-то эксцессы?

— Эксцессы? — проворчал мистер Берд. — Так, всего лишь синяки.

— Синяки? И много?

— Вы что, допрашивать меня решили? — Начальник стал приходить в свое обычное взвинченное состояние.—

Разве управление главного прокурора имеет право меня допрашивать?

— Разумеется, нет, но ведь правилами отнюдь не возбраняется задавать межведомственные вопросы, не так ли? Если возбраняется, то мне подобная инструкция неизвестна.

— Я отвечаю на ваши вопросы в полную меру своих возможностей.

— Именно так, мистер Берд, и я очень вам признателен. Разрешите мне только задать один последний вопрос.

— Давайте спрашивайте.

— Разве ваши надзиратели не в состоянии помешать заключенным наставлять друг другу синяки?

Начальник тюрьмы перешел на крик:

— С тех пор как я принял эту тюрьму, я только и делаю, что прошу увеличить штаты! Это уже старая история! У меня слишком мало людей, а те, которые есть, либо совсем одряхлели, либо безответственные мальчишки. Да вы покажите мне такого парня, который решит сделать службу в королевских тюрьмах делом своей жизни, пока не получит отказа по меньшей мере в десятке других мест!

— Благодарю вас за проявленную любезность, мистер Берд.

Положив трубку, Билл рассказал о случившемся сэру Невиллу. Тот позвонил майору Эттлиси-Гору.

— Нет, его еще не доставляли, но думаю, что скоро привезут. По правде сказать, я принимаю его обратно без особого восторга. Неужели больше некуда было деть?

— Но почему его вообще отправили обратно к вам? — поинтересовался сэр Невилл.

— Насколько я понял Макинтайра-Берда, он в неважном состоянии.

— Но нам сказали, ему просто наставили синяков.

— Синяков? Его везет сюда карета «скорой помощи».

— «Скорой помощи»? — встрепенулся сэр Невилл. Он принял решение. — Скажите, вы не будете возражать, если мой помощник или кто-нибудь еще из моих сотрудников побеседует с Крамнэгелом, как только он прибудет к вам?

— Пожалуйста. Если вы сумеете меня от него избавить, я буду только рад. Насколько я могу судить, он

сеет смуту везде, куда бы ни попал. Сначала застрелил в пивной старика, потом инспирировал взрыв банка, а теперь вот сцепился с другими заключенными, и они избили его до полусмерти.

— Скажите, — неожиданно спросил сэр Невилл, — а вам известно, когда это произошло? Когда они напали на Крамнэгела?

— Вчера. И администрация тюрьмы настаивает на его немедленном переводе.

— Вчера. А позавчера имела место попытка бегства, не так ли?

— Я об этом и не подумал.

— Пойманных беглецов вернули в прежнее место заключения?

— Полагаю, что да. Такова обычная практика.

— Благодарю вас.

Крамнэгела внесли на носилках в комнату, откуда заключенные обычно выходят за стены тюрьмы. В этом странном аквариумном мире молчания и подводных течений никто и не обратил особого внимания на то, что его доставили из тюремного лазарета, где он провел ночь под охраной надзирателей. Принесли его личные вещи, а машина «скорой помощи» въехала задним ходом во двор. Крамнэгел, закрыв глаза, лежал на стоявших на полу носилках.

— Что случилось, дружище?

Крамнэгел с трудом разлепил веки. В глазах его расплывалось смутное изображение склонившегося над ним старика, так сморщившегося, что половина лица его исчезла.

— Не смеши меня, Гарри, — пробормотал он, — смеяться больно, черт его...

— Достали они тебя?

— Достали, приятель.

— Я отомщу им за то, что они с тобой сделали. — И Гарри изобразил очередь из автомата.

— Ну и лопухнулся же ты со своей бомбой, приятель.

— Я все сделал, как ты сказал, но что-то получилось не так, а что — ума не приложу. — Старик расплылся в улыбке. — Ну да ничего. Мне сказали, нанес я убытку миллионов на двадцать. Представляешь? Вот это да! — Старик был счастлив и исполнен сознания собственного достоинства. — А все благодаря тебе, дружище. Теперь

я проведу последние годы в максимально строгом режиме. Я о таком и мечтать никогда не смел — Гарри Мазерс в спецтюрьме! Да еще месяц назад меня просто засмеяли бы, но теперь — и все благодаря тебе — я могу высоко держать голову!

— Вам нельзя быть здесь! Как вы сюда попали? Вас ищут по всей тюрьме!

Черт бы побрал надзирателей. Крамнэгел снова закрыл глаза не столько от боли, сколько от отвращения. Пока они там перекуривали и сравнивали, у кого ногти длиннее, его уже десять раз могли пришить.

Затем Крамнэгела отнесли в санитарную машину и отправили в прежнюю тюрьму.

Днем туда приехал Билл Стокард и навестил Крамнэгела в лазарете. Стокард пришел в ужас от того, что пришлось увидеть и услышать.

— И все это случилось с вами после того, как вы помогли предотвратить побег банды налетчиков?

— Совершенно верно. Но, знаете ли, сэр, мне вряд ли пристало обвинять их. Я должен был бы помнить, что такое тюрьма — тюрьмы ведь везде одинаковы. Может, в Греции и в Гватемале потеснее, а в Калифорнии в лучших камерах теперь, возможно, стоят телевизоры, а в Китае заключенным вместо завтрака вбивают в глотку труды председателя Мао, но в принципе разница между тюрьмами небольшая. Любая тюрьма — это место, где люди надеются на лучшее и ожидают худшего. Это всех касается — и заключенных, и тюремщиков. С моей стороны было безумием ввязываться в это дело, чтоб помочь. Я, пожалуй, просто, значит, забыл, что сам сижу за решеткой. Я, наверное, все время так сильно пытался об этом забыть, что и вправду забыл.

Такой Крамнэгел пришелся Стокарду по душе.

— Что ж, может, и не зря вы пострадали, мистер Крамнэгел. В конце концов, вы привлекли внимание к своему делу.

Крамнэгел скорчился от боли.

— Да не смешите вы меня! — взмолился он. — Не могу смеяться.

— Но что я сказал смешного?

— Какой я вам теперь «мистер»?

— И в беде человек не должен лишаться права на элементарную вежливость.

— Не надо, прошу вас. (Снова попытка рассмеяться.) Меня звать Барт. Бартрам Т. Крамнэгел. — Он умоляюще протянул Стокарду руку. — Только не жмите сильно, она изрядно наворотила.

Билл осторожно пожал протянутую руку, охватившую его ладонь, словно тиски. Крамнэгел сморгнул слезу.

— Знаете, с тех пор, как я попрощался с моим недоноском адвокатом, мне впервые пожали руку. Чертовски здорово.

Стокард, непривычный к подобной непосредственности, почувствовал себя неловко.

— Что значит Т? — спросил он.

— Какое еще Т?

— Ваш инициал.

— Ничего не значит. Инициал — и все.

— Но он же должен означать какое-то имя.

— Это еще с чего? — В голосе Крамнэгела зазвучали нотки иррационального гнева.— По мне — годится и так.

— Вам, конечно, виднее. Но как оно пишется?

— Что как пишется?

— Имя.

— Так и пишется — Т. Вы не знаете, как пишется буква Т?

— Но на документах, когда требуется указать имя полностью...

— Просто пишу Т, и вся недолга, — начал распаляться Крамнэгел. Глаза его сверкали. — Обязательно надо насмехаться над моим именем?

Билл понял, как случается людям угодить под пулю: нужны лишь минимальный повод да золотое сердце, плотно укрытое непробиваемым слоем грозовых туч избыточного адреналина. Он попрощался, и Крамнэгел проводил его взглядом, в котором ясно читалось: «Ты все испортил».

Вернувшись в Лондон, Билл рассказал о своей поездке сэру Невиллу и подробно ответил на все его вопросы. Сэр Невилл не столько расстроился, сколько почувствовал облегчение. Казалось, происшедшее оправдывает его задиристое поведение в своих клубах. Как и во время суда Крамнэгел, хотя и неудачно начав, все же давал своему защитнику право гордиться им. Поэтому сэр Невилл снял телефонную трубку и попросил срочной встречи с министром внутренних дел. Естественно, она произошла лишь два дня спустя, за обедом в отдельном ка-

бинете Клуба юных ветеранов, членом которого состоял министр. В свои сорок с лишним лет достопочтенный Клайв Белпер был сравнительно молод для занимаемого высокого поста, но он жил в эпоху, когда молодость сама по себе уже считалась достоинством в высших кругах. Он был достаточно высок и потому несколько сутулился, голову венчали рыжеватые мальчишеские кудряшки, оставлявшие свободным лишь темя, на котором сквозь редкие волосы просвечивала лысина, поэтому в одних ракурсах он казался совсем лысым, в других — пышноволосым. Он носил очки с довольно толстыми стеклами, так что глаза за ними, когда он с кем-то беседовал, часто казались застывшими, то ли потому, что он так внимательно вслушивался в слова собеседника, то ли потому, что мысли его в это время были где-то очень далеко.

Сэр Невилл поведал ему сагу о Крамнэгеле — историю, увы, еще не завершенную, — излагая ее в свойственной ему убедительной манере, рассказывал все, как было, и в то же время нисколько не пытаясь скрыть своего предвзятого к делу отношения.

— Совершенно ясно одно — не правда ли, сэр Невилл? — что необходимо произвести расследование того, что происходит в наших тюрьмах максимально строгого режима. Если потребуется, вызовите начальника той тюрьмы. Сейчас, кстати сказать, вполне удобный момент для подобных действий, поскольку у членов парламентской оппозиции появилась четкая тенденция задавать неприятные вопросы. Растущее количество сенсационных побегов и растущий уровень преступности автоматически делают меня мишенью для них. Говоря по правде, спекулируют на страхах публики. Будь я в оппозиции, я делал бы то же самое.

— Могу ли я напомнить вам, мистер Белпер, — не без язвительности заметил сэр Невилл, — что вы состоите не в оппозиции, а в правительстве. И, следовательно, в ваши обязанности входит не создавать сумятицы, задавая неприятные вопросы, а, напротив, предотвращать постановку таких вопросов, принимая мудрые решения. Я добивался встречи с вами не для того, чтобы просить расследования работы тюрем максимально строгого режима. И хотя подобное расследование во многом облегчит мою душу, оно вообще вряд ли входит в компетенцию моего ведомства. Я хотел встретиться с вами для того, чтобы обратить ваше внимание на следующее: в

тюрьме находится человек, который не должен там находиться. И я хотел бы посоветоваться с вами относительно имеющихся у нас возможностей прекращения дела или, по меньшей мере, облегчения участи этого человека.

— Вашу критику, сэр Невилл, я воспринимаю в том духе, который вы, без сомнения, и хотели ей придать — в духе нотации доброго дядюшки, — сказал Белпер, показывая в улыбке зубы и хорошее воспитание, — но я, право же, считаю, что вы проявляете некоторую, пожалуй, сентиментальность по отношению к этому американскому полицейскому. В конце концов, он ведь убил человека, англичанина.

— Шотландца.

— В самом деле? Ну, в любом случае он убил британского подданного, находясь на английской земле. И согласно закону — поправьте меня, если я ошибусь,— он должен предстать за совершенное преступление перед судом, и если его жертва умерла, то не может быть иного обвинения, чем обвинение в убийстве.

— Верно.

— Итак, этот человек предстал перед судом, суд признал его виновным в непредумышленном убийстве и приговорил к семи годам. Суд уже продемонстрировал достаточную степень милосердия и присущего нашему веку разума. Суди его присяжные, какие обычно заседали лет пятьдесят назад, и судья прошлого века — висеть бы ему на виселице...

— Я подхожу к делу не с юридической, а с человеческой точки зрения, господин министр. Или, вернее, лишь в том смысле с юридической точки зрения, что я убежден: будь на процессе судьей Максуэлл Лиройд или, например, Ламли Джейкобс, а не Плантагенет-Уильямс, у обвиняемого были бы изрядные шансы получить оправдательный приговор...

— Даже при наличии мертвеца?

— Могла быть допущена мысль о самозащите. Даже мысль об иллюзорной необходимости самозащиты в глазах человека, привыкшего защищаться против применения огнестрельного оружия. Для этого лишь требовались судья с воображением, адвокат, способный эффектно подчеркнуть наиболее немыслимые аспекты дела, не выставляя их в совсем уж невероятном виде, и пара завзятых любителей кино в составе жюри. Мне мало встре-

чалось дел, которые столь сильно зависели бы от элементов удачи в подборе состава суда, как это.

— Но вы, я надеюсь, и не рассчитываете на полное исключение элементов удачи из судебного процесса?

— Против них есть только один прием, и этот прием непогрешим, — медленно произнес сэр Невилл.

— Какой же? — был вынужден спросить министр.

— Сострадание.

Министр улыбнулся, не веря собственным ушам.

— Право же, сэр Невилл, от вас я ожидал более профессионального подхода. В конце концов вы ведь не просто профессионал, вы — блестящий профессионал.

— Что вы подразумеваете под словом «профессионал», сэр?

— Человека, ищущего решений в рамках возможного, но не за их пределом.

На этот раз настала очередь сэра Невилла улыбнуться.

— Нам не следует забывать, что пределы возможного — это царство человека, а то, что лежит за этими пределами, — царство божие. Если под понятием «профессионализм» подразумевается отчуждение от всего божьего, то я с вашим определением не согласен. Сострадание может казаться вам слишком простым словом для словаря искушенного человека, но я и не намерен оправдываться в том, что употребил слово «сострадание». Я просто снова обрел его и устыдился того, что сорок лет легко без него обходился. Сострадание — это все, чего я прошу для Крамнэгела.

Белпер не сводил с лица сэра Невилла пристального взгляда: столь неожиданное и настораживающее проявление душевного тепла трогало, и тем не менее он спрашивал себя, не начинает ли сэр Невилл постепенно расставаться с разумом.

— Как, по-вашему, мог бы испытать подобное сострадание я? — спросил он наконец.

— Пока не знаю. Давайте вместе рассмотрим факты и, может быть, придем в итоге к какому-то решению. О процессе нам все известно. Суд под председательством Плантагенет-Уильямса приговорил Крамнэгела к семи годам. Крамнэгел отправляется в тюрьму, где завязывает дружбу со старым чудаком, с отрочества не расстающимся с тюрьмой. Удовлетворяя любопытство старого дурня, Крамнэгел рассказывает ему несколько историй о жизни Чикаго и Дикого Запада, а заодно объясняет,

как делаются бомбы и горючая смесь. По воле случая обстоятельства складываются так, что срок заключения старика кончается и он выходит на волю; поскольку в том, что он считает своим мозгом, еще свежи формулы изготовления адских машин, он взрывает здание банка. Обвиняют в случившемся — причем совершенно несправедливо — Крамнэгела и переводят его в тюрьму максимально строгого режима. Здесь он помогает тюремной администрации предотвратить групповой побег, а его в награду сначала избивают надзиратели, затем еще более жестоко избивают заключенные. Что же происходит теперь? Вы намерены расследовать деятельность начальника и руководящего состава персонала тюрьмы максимально строгого режима, и они, безусловно, будут строго наказаны, когда вся правда о случившемся выплывет наружу. В итоге Крамнэгел наживет себе непримиримых врагов как среди заключенных, так и среди тюремщиков. За жизнь его — за то, что останется от его жизни, — нельзя будет дать и ломаного гроша. Думал ли обо всем этом судья Плантагенет-Уильямс, бесстрастно приговаривая Крамнэгела к семи годам заключения? Полагаю, что нет.

— Ваши аргументы очень убедительны, уважаемый прокурор, — беспомощно рассмеялся Белпер, — но я просто не осмелюсь пойти на какие-либо официальные шаги, чтобы облегчить участь этого несчастного. Я, в конце концов, типичное политическое животное. При нашей системе правления получается почему-то так, что здравый смысл рождается не в итоге мудрого решения правителя или бдительности оппозиции, а в итоге столкновения двух противоположных точек зрения, выраженных со страстью и с юмором. Я просто не могу ускорить решение комитета по помилованию, не могу и приказать освободить под предлогом примерного поведения вашего Крамнэгела после того, как он отбыл всего несколько недель из семилетнего срока наказания. Мы живем в такое время, когда общественное мнение реагирует на преступность все более и более нервозно, а обе политические партии, как я уже говорил, подливают масла в огонь, пытаясь использовать эту нервозность в своих целях во время выборов.

— И все-таки необходимо что-то сделать, — решительно заявил сэр Невилл.

Белпер задумался, потом нахмурился и заговорил очень серьезно, тщательно подбирая слова:

— Я понимаю, что вас мучает, лучше, чем вы думаете, сэр Невилл, но если вы позволите покритиковать вас человеку, который несколько младше вас по возрасту, хотел бы заметить, вы ослабляете собственную позицию, добровольно отказываясь от профессионального подхода к делу и заменяя его высокоморальными соображениями, которые делаете своим единственным оружием, вместо того чтобы более, чем когда-либо, полагаться на ваш макиавеллиевский талант ориентироваться в запутанных ситуациях. Вы же в конце концов стремитесь спасти человека. Привлекая в качестве союзника меня, вы не имеете ни малейшего шанса на успех. Должен вам сказать, я вообще не верю в успех вашего дела, но у вас все-таки будет больше шансов, если вы начнете действовать в одиночку... Или рука об руку с Макиавелли.

— Что же предлагаете вы, о государь *?

— Идею заведомо бредовую, но она может послужить иллюстрацией того, в каком направлении работает у меня мысль. Вы могли бы, например, перевести вашего Крамнэгела в одну из этих новых экспериментальных тюрем без решеток и замков — в Лайберн или в Трассмор, а там начать подстрекать его к побегу.

Сэр Невилл задумался, затем лицо его просветлело.

— Вы совершенно правы, — сказал он. — Ведь нарушать законы куда веселее, чем соблюдать высокие принципы, да и сами-то эти принципы существуют лишь благодаря беззаконию.

— Послушайте, ведь я, ей-богу, просто так сказал первое, что в голову взбрело... в качестве примера...

— Напротив, напротив, вы подали прекраснейшую идею. Лайберн находится всего в двадцати милях от Ливерпуля, а там порт и суда. Можно, пожалуй, уговорить Скотленд-Ярд не гнаться за Крамнэгелом прямо по пятам и позволить ему, так сказать, выскользнуть из рук, когда его корабль выйдет из трехмильной зоны.

— Я ничего больше не желаю слышать, сэр Невилл.

— Что вы имели в виду, когда сказали, что, взяв вас в союзники, я обрекаю все дело на неудачу? — сердито спросил сэр Невилл.

— Каждый делает все, что может, сэр Невилл, — в этом главное... Никто тут возражать не станет. А ни о чем другом я и не прошу.

* «Государь» — известное произведение Н. Макиавелли.

— Вы совершенно правы, — с самым серьезным видом отвечал сэр Невилл. — Никто ведь не сделает больше, чем способен сделать.

13

Лицо у Крамнэгела постепенно зажило, и он сидел сейчас напротив Энгуса Певерелл-Проктора в очень современного стиля кабинете, в здании, возведенном из строительных материалов местного производства. Певерелл-Проктор был неисправимым идеалистом с застывшей ангельской улыбкой, лишь подчеркивавшей завораживающую мягкость его зеленых глаз, которые, словно застойные лужи, тускло поблескивали под высоким мостиком бровей. Голоском тоненьким, как у эльфа, он вышептывал слова, руки же были крепко стиснуты, точно двое любовников. Он был не просто человек, а человек с призванием и целью в жизни.

— Лайберн, — мурлыкал он, — не похож ни на один исправительный дом в мире... По правде говоря, мне вообще хочется видеть в нем нечто большее, чем исправительный дом, — дом для размышлений, дом переориентации, прачечную души... Надеюсь, вам будет здесь хорошо. Вы прибыли несколько поздно, чтобы помочь в сооружении церкви, но, думаю, вы не откажетесь потрудиться, когда мы начнем рыть котлован для бассейна. У нас часто устраиваются лекции, концерты и театральные представления, и участие в них, разумеется, является обязательным. Но этим и исчерпываются все наши обязанности. — Он сверился с лежавшим на столе листочком. — Завтра Уайтчепельский квартет исполняет три последних квартета Бетховена. Во вторник генерал-майор сэр Гордон Маквикарий читает лекцию на тему: «Цейлон. А что дальше?», в пятницу мы начинаем репетировать пьесу «Как важно быть серьезным». Не думаю, чтобы остались свободные роли, но теперь, когда у нас появились вы, мы можем учесть это в своих планах и поставить потом «Окаменевший лес» *. Мы давно уже хотели осуществить такой спектакль, но не было никого, кто действительно подходил бы на роль гангстера.

Крамнэгел едва верил своим ушам, а несколько минут спустя он и глазам своим не поверил. Большинство заключенных, рассматривавших его — кто надувшись, а

* Пьеса известного американского драматурга Роберта Шервуда.

кто с веселым любопытством, — показались ему либо ненормальными, либо весьма и весьма странными. Во время беседы с Певерелл-Проктором он в основном молчал, настолько неожиданным оказался его тон, как и вся изысканная атмосфера. У Крамнэгела возникло странное чувство, что перевели его по ошибке в дом для престарелых. Хотя среди заключенных попадалось много молодых людей, все они казались беспомощными и ущербными.

Первоначально дела вдруг снова чуть было не приняли дурной оборот, когда Крамнэгелу показали его комнату (в Лайберне помещения для заключенных назывались комнатами, а не камерами), которую он должен был делить с негром-барабанщиком, попавшимся на марихуане. Крамнэгел против его общества не возражал, поскольку негров-наркоманов знал хорошо, но барабанщик оказался расистом до мозга костей. Он прикидывался сторонником «черных пантер» и требовал называть себя не Мидкрофтом Артурсом, а Мустафой Абдулом.

— Уберите отсюда этого легаша! — вопил он. — Мустафа Абдул ни с каким таким белым легашом жить не станет.

— Ты мне мозги не пыли! — завопил Крамнэгел в ответ Абдулу, который на самом деле был родом с Тринидада, где жил относительно счастливо, хотя и бедно, но жаждал найти повод жаловаться на что-то, и который в качестве первого шага к мелкому мученичеству решил выдавать себя за американца. — Ты меня знать не знаешь, даже разглядеть своими треклятыми зенками толком не успел, так что не имеешь никакого права на меня орать!

— А мне и не нужно знать легаша-янки, чтоб иметь о нем представление, — продолжал глумиться над ним Мустафа. — Что я, Чикаго не помню? Литл-Рока? Или Бирмингема в Алабаме?

— Только вякни еще, и Лайберн тоже на всю жизнь запомнишь — останется от тебя одно пятно на полу.

Мустафа начал заводить глаза вверх, как изрядно выпивший человек, его желтоватые белки, уже затянутые катарактой, дергались в такт притопывавшим ногам, высовывавшемуся языку и конвульсиям. Вскоре на губах выступила пена, и он затряс плечами, будто пытаясь сбросить невидимый, но прижимавший к земле

тяжелый груз. Весь дрожа и дергаясь, он бормотал что-то ритмичное на непонятном щелкающем наречии.

— Что это ты тут за чертовщину развел? — несколько нервно спросил Крамнэгел.

— Порчу на тебя навожу, — пропел Мустафа и отбежал в сторону, весь дергаясь.

Смерив соседа взглядом, Крамнэгел понял, что тот сейчас доведет себя до невменяемого состояния, и резко рванул дверь.

— Эй! — крикнул он двум длинноволосым надзирателям, которые жевали что-то в конце коридора. — Этот тип на меня порчу наводит. Мне это не нравится. Уберите его отсюда — или его, или меня. Здесь и без порчи невесело, так что она мне совсем ни к чему.

— О боже мой, опять он за свое, — отвечал тщедушный надзиратель, прерывая на полуслове разговор с коллегой и подходя к Крамнэгелу. — Он это делает каждый раз, как к нему кого подселяют. На самом-то деле его проклятия ровно ничего не значат, а потом, когда с ним познакомишься поближе, ведет он себя вполне дружелюбно.

— Я вовсе не намерен с ним близко знакомиться. У него изо рта идет пена, я с такими людьми связываться не хочу. Пойдите к этому длинному, который со мной беседовал, и скажите ему, чтобы меня перевели в другую камеру, ладно?

Надзиратель постучал ладонью по двери, пытаясь вывести Мустафу из транса.

— Что вы там делаете? Снова плохо себя ведете? Мистеру Энгусу это не понравится. Вот скажу ему, он у вас гитару отберет, ей-богу, отберет!

Но уговоры не действовали. Мустафа стих, перегнулся пополам и застыл.

— Нет, разговаривать с ним без толку, — сказал отчаявшийся надзиратель. — Придется звать доктора О'Тула. Ну, пошли к мистеру Энгусу.

Крамнэгела отвели в другую «комнату», где представили новому сожителю, лысому толстяку, развалившемуся в постели, хотя было лишь пять часов дня. Подле кровати на аккуратной тумбочке, покрытой ситцем, стояла болванка, на которой покоился рыжеватый парик.

— Что вы здесь делаете, лежебока? — спросил надзиратель.

— Меня что-то стало знобить, и я сказал себе: «В постель, старина, это единственное для тебя место».

— Вы обращались к доктору О'Тулу?
— Ну его, вашего доктора, у него дурной глаз.
— Что за чушь вы мелете!
— И руки у него холодные. — Лежавшего на кровати человека передернуло.
— Познакомьтесь с мистером Крамнэгелом, вашим новым соседом. Мистер Крамнэгел — мистер Ливингстон.
К чему Ливингстон загадочно добавил:
— Надо полагать.
— Привет, — сказал Крамнэгел, изучая своего нового соседа.
Надзиратель вышел за дверь. Крамнэгел подошел к окну и посмотрел на распаханное поле, расстилавшееся вдаль до еле видной ограды. Решеток на окне не было.
— Я читал о вас.
Крамнэгел обернулся к Ливингстону.
— О, вот как?
— Странно, что вас прислали сюда. Вы ведь, в конце концов, убили человека, не так ли? А здесь заведение не для буйных, о нет, совсем нет. Что же — мне, значит, бояться вас?
— С какой стати вам меня бояться? Не выходите за рамки, и мы с вами прекрасно поладим. Вы здесь за что?
— Растление малолетних.
— Серьезно? Вы, значит, и есть один из этих психов, которые подкарауливают девочек?
— Меня наблюдает доктор О'Тул. Но как грязно вы меня оскорбили! При чем здесь девочки?.. Меня зовут Корал. Ни на какие другие имена я не отзываюсь. Корал или Королева-мать. Некоторым так больше нравится. Наверное, потому, что я здесь уже давно и помогал советами многим молодым людям, с которыми меня сводила судьба.
— Ну ладно, ладно, будь по-твоему: Корал так Корал. Меня зовут Барт. И если ты не хочешь, чтоб я звал тебя Чарли, не вздумай звать меня Беатрисой.
Говоря по правде, Крамнэгел очень быстро свыкся с присутствием Корала, который, как оказалось, изрядно любил поспать и был совершенно безобидным существом.
Днем Крамнэгел трудился на строительстве церкви, где пригодилось его умение класть кирпичи и где его подвиги на поприще топора и пилы вызывали восторженное одобрение, поскольку многие боялись повредить себе на работе руки. Вскоре он уже стал десятником и даже

начал давать указания надзирателям и архитектору (сидевшему в тюрьме за уклонение от уплаты налогов), что и как можно сделать лучше и как добиться большей жесткости конструкций. Певерелл-Проктор следил за строительством из своего окна, на глаза его навертывались слезы восторга, а перед мысленным взором уже вставал бесконечный шпиль, пронзающий небесную твердь, подобно игле огромного шприца, до отказа наполненного сывороткой веры, и он дивился чуду. Он был одним из тех немногих, кто еще сохранил умение дивиться чуду, а временами даже восхищаться им. Крамнэгел рисовался его воображению гладиатором, ослепленным потоками яркого света в момент своей победы на арене, последовавшим за этим светом и пришедшим не на высоты морального триумфа, но во мрак катакомб, чтобы там его могучие и страшные руки научились служить добру.

В удовольствии, которое доставляло Крамнэгелу участие в строительстве, не было ничего мистического, и то, что сооружал он церковь, не имело для него никакого символического значения. Значение имело то, что он снова руководил, снова стоял во главе, снова мог рычать на подчиненных, быть веселым, покладистым и в то же время весьма опасным начальником и мог порисоваться перед публикой.

Но вот обязательное посещение, например, концертов камерной музыки пришлось ему по душе куда меньше. В музыке Бетховена он не обнаружил четкого ритма, а оркестр из четырех струнных инструментов показался ему явным разбазариванием средств. За те же деньги можно было нанять четыре трубы да три контрабаса с ударником и получить двойную отдачу. За весь концерт под одно только скерцо и можно было прищелкнуть пальцами, но даже эта невинная попытка принять участие в концерте вызвала негодующие взгляды и возмущенное шиканье со стороны тех меломанов, которые знали, как глубоко ценит красоту мистер Энгус. Публика проявила еще большее возмущение, когда Крамнэгел попытался заговорить с соседом во время исполнения одной из медленных частей, и немало очей было возведено к небу, когда он вдруг спросил: «Господи Иисусе, что же это за музыка такая? И поговорить нельзя?»

Певерелл-Проктор снисходительно улыбнулся, глядя на своего огромного медведя, своего огромного гиганта, бредущего горной тропой к прекрасному.

Лекция о Цейлоне, прочитанная отставным генералом, оказалась менее занудной, чем Бетховен, в основном потому, что сопровождалась демонстрацией диапозитивов, глаз хоть на чем-то мог отдохнуть, не утомляясь созерцанием четырех человек, дергавшихся без конца на сцене. Вообще-то Крамнэгел всегда считал Цейлон островным придатком Африки, а не Индии, путая его, надо полагать, с Мадагаскаром, о котором он что-то слышал, но понятия не имел, где этот остров находится; кроме того, Цейлон или нечто похожее ассоциировалось в его памяти с одним приключенческим фильмом, где Хэмфри Богарт играл главную роль. Генерал оказался человеком педантичным и информировал своих слушателей о том, что на санскрите остров назывался Сингала Двайп, что большинство греков и некоторые римляне называли его Тапробана и что арабы звали его Серендиб. Генерал говорил медленно, с большими паузами, как бы давая слушателям записать эти ценнейшие сведения. Показал собственного изготовления диапозитивы с видами Коломбо, но снимал он обычно с такого расстояния и с такой выдержкой, что Коломбо можно было легко выдать за Колумбус (в штате Огайо).

Крамнэгела милосердно не включили в состав исполнителей пьесы «Как важно быть серьезным», но из любезности он отрывался от руководства строительной командой, забегал на репетиции и наблюдал, как Корал готовится к предстоящему триумфу в роли леди Брэкнелл — роли, к исполнению которой был подготовлен самой природой, не обладая, пожалуй, лишь некоторой мужеподобностью и энергией, присущими этому персонажу.

Создавалось впечатление, что великий эксперимент мистера Певерелл-Проктора осуществляется вполне успешно, во всяком случае, если иметь в виду определенную категорию заключенных. Однако Лайберн, безусловно, все еще трудно было представить себе в качестве подходящего места для закоренелых преступников, сохранивших контакты с уголовным миром на воле. Крамнэгел поэтому рассматривался как подопытный кролик (и, как выяснилось позже, совершенно ошибочно), и Певерелл-Проктор видел подтверждение правоты дела всей своей жизни в том, что убийца — следовательно, отпетый и от природы испорченный головорез — оказался наиболее энергичным и старательным рабочим из всех заключенных, да еще проявлявшим наибольшее чувство

ответственности. Начальник тюрьмы обходил свои владения, осиянный благочестивыми мыслями.

В Лондоне же сэр Невилл принял у себя главного инспектора уголовной полиции Пьютри и был приятно удивлен, но и немало шокирован тем, что Пьютри с одобрением отнесся к его преступному плану освобождения страны от человека, которого она не могла судить, но могла лишь наказывать.

— Не предложи эту мысль вы, сэр Невилл, рано или поздно я бы предложил ее сам, — сказал Пьютри.

Будучи новичком-правонарушителем, сэр Невилл не переставал поражаться тому, сколь склонен человек к преступным действиям, и после беседы с Белпером и Пьютри спросил себя, не ошибался ли он всю жизнь в своих оценках рода человеческого, не прошел ли он все ступени своей карьеры с шорами на глазах, побуждавшими считать себя беспорочнее прочих. Высшие принципы морали просто бесчеловечны. В этом и состоит их величайший недостаток, который начинает проявляться, стоит применить эти принципы к людям.

— Да, — устало продолжал Пьютри, — тогда, сгоряча, мы все пришли к твердому убеждению, что Крамнэгел обучил Гарри Мазерса изготовлению бомбы и горючей смеси, чтобы таким путем отомстить британскому правосудию, но сейчас, тщательно все обдумав, мы понимаем, что, по всей вероятности, абсолютно неверно оценили ситуацию. Гарри ведь только ломает комедию, а на самом деле это хитрющий старый негодяй. Крамнэгел же по части оценки людей не особый мастак. Он, наверное, просто предавался романтическим воспоминаниям, рассказывал Гарри чудеса и всякие страсти о подвигах гангстеров у себя на родине — он ведь предельно патриотичен, если речь идет о чем-то американском, в том числе и о преступности, наш Крамнэгел, а старик Гарри все, наверное, мотал себе на ус, надеясь вырваться вперед и оставить своих престарелых коллег-одиночек за флагом. Так что переводить Крамнэгела в тюрьму максимально строгого режима мы не имели никакого права. В результате же этого перевода произошло невероятное и печальное событие: в новой тюрьме его жестоко избили за то, что в нем взыграли инстинкты полицейского, а потом чуть не убили сами заключенные. Любопытно, что здесь явно виден почерк мальтийцев, а не налетчиков, которым он помешал бежать, но в мире преступников случаются таинственные союзы, как и в

любви, а предателей никто не любит. Крамнэгел же просто забыл, какой на нем наряд. А теперь нам следует избавиться от него. Я на сто процентов согласен с вами, сэр Невилл. Теперь согласен, хотя и не соглашался раньше. Мы должны избавиться от него, пока не случилось что-нибудь еще и пока этот здоровенный чурбан не остался на нашей совести до конца наших дней.

— Из Лайберна трудно бежать?

— Насколько я знаю Крамнэгела, жизнь в Лайберне ненадолго придется ему по вкусу. Там ведь содержат одну шушеру, сопляков и извращенцев, да мелких жуликов, уклоняющихся от уплаты налогов, а начальник — редкая зануда.

— И всего лишь двадцать миль до Ливерпуля.

— Вот именно. Мы установим наблюдение за Лайберном. Я съезжу и побеседую с местной полицией. Что бы ни случилось, все контакты должны оставаться устными, ни слова из наших разговоров не должно фиксироваться на бумаге.

— Разумеется. Что бы ни случилось, мы не имеем права подвергать риску министра внутренних дел, впутывать его в эту историю, — лицемерно сказал сэр Невилл, пряча от Пьютри глаза.

— Это резонно, — согласился Пьютри столь же лицемерно.

Тем не менее дни шли, а Крамнэгел по-прежнему оставался в тюрьме — подгонял рабов на строительстве храма, давал советы относительно исполнения роли леди Брэкнелл, речи которой он находил малопонятными, побронзовел от загара и был в отличной физической форме. От Эди по-прежнему ни слова.

Дело в том, что после провала кампании Эди впала в прострацию, много пила и целыми днями не вылезала из домашнего халата. Волнующие и героические дни остались позади, а вокруг шумел и гудел Город, занятый другими делами, ищущий новых и лучших судеб. Последней каплей для Эди оказалось назначение на пост начальника полиции Ала Карбайда. Это событие было отпраздновано пышным обедом в Бизоньем зале отеля «Гейтуэй Шератон», на который Эди забыли, очевидно, пригласить.

Вернувшись в свой кабинет, кабинет Крамнэгела, переделанный теперь по вкусу нового хозяина — под американский колониальный стиль с изображением старин-

ного оружия на белых стенах, — Ал обнаружил в приемной Эди, одетую во все черное, с черной вуалью и всеми положенными атрибутами траура.

— Эди, — сказал он, нервно улыбаясь. Ему почему-то показалось, что она пришла убить его. Обычно женщины именно так и одеваются, когда собираются стрелять в мужчин. Но никаких резких движений не последовало, из черной перчатки не выглянуло вдруг пугающее рыльце револьверчика с перламутровой ручкой.

— Я пришла поздравить тебя, Ал, — сказала сдавленным голосом Эди.

Видно было, что она плакала.

— О, спасибо, дорогая!

— А заодно и напомнить себе, как выглядит дерьмо.

— Послушай, Эди, — холодно улыбнулся Ал, — как ты можешь так разговаривать со мной, Алом Карбайдом, твоим старинным приятелем?

— С тех пор как я вернулась домой, ты и пальцем не шевельнул, даже по телефону ни разу не позвонил. Разве так ведут себя старинные приятели?

— Но, Эди, милая, ты ведь должна понять, в каком сложном положении я очутился, ты же понимаешь, правда? Барт, к несчастью, здорово влип. Ты вернулась домой и организовала такую кампанию, просто диву даешься, хотел бы я заслужить такую верность, но я ведь не мог поддерживать тебя официально! Я посылал деньги — честное слово, посылал, у меня даже квитанция сохранилась, но я же нахожусь на службе у городских властей, как и Барт в свое время. Я не могу участвовать в кампаниях.

— Кампаниях! При чем здесь кампании! Просто позвонить ты не мог? Просто сказать: «Эди, девочка, я на твоей стороне»? Да вообще ничего не говорить, кроме: «Это я, Ал. Помнишь меня?»

— Конечно, милая, конечно, но у меня своих неприятностей было вагон. Не таких, конечно, как у тебя, но все же...

В приемной начальника полиции, намереваясь поздравить Ала с назначением, собиралась всякая мелкая сошка, не приглашенная на банкет. Они заходили в дверь с поздравлениями на устах и тут же осекались при виде миссис Крамнэгел.

— Послушай, Эди, а не поужинать ли нам сегодня? Я заеду за тобой пораньше, в полседьмого, чтобы мы

успели съездить в «Серебряную шпору» или куда-нибудь еще за пределы штата, — мягко предложил Карбайд.

— Разве ты не собираешься отпраздновать свой успех с Эвелин?

— Эвелин и я... стали друг другу чужими. Как я уже сказал, у всех у нас свои проблемы... Не такие, конечно, как у тебя, но за неимением других...

Ровно в шесть тридцать у тротуара возле дома Эди затормозил большой двухместный лилово-зеленый «олдсмобил», и из него вышел Ал в летнем, устричного цвета, костюме с пуговицами из крокодильей кожи. Вместо безутешной вдовы, атаковавшей его днем, Ал увидел перед собой тщательно прибранную хитрую бабенку, которая открыто и с вызовом, распушив хвост и развернув знамена, демонстрировала свое женское естество. Они отправились в «Серебряную шпору» — заведение на восемьдесят процентов бутафорское и на остальные двадцать гастрономическое, с интерьером под «настоящий американский стиль», с официантами, одетыми под Баффало Билла *, и колючими, как подковные гвозди, официантками. Усевшись, они развернули меню размером со страницу «Нью-Йорк таймс», в котором гигантскими буквами были проставлены названия всего лишь нескольких блюд, и с удовольствием заказали коктейли, причем Ал немного порисовался, указывая, насколько они должны быть сухими, как их надо смешивать и как подавать. Эди же с невольным восхищением рассматривала этого требовательного самца в действии.

Сидя за столиком, полускрытым в призывной тьме, лишь чуть-чуть рассеиваемой единственным источником света — еле мерцающей жаровней, — окутанные тихой музыкой, лившейся им в уши, они завели серьезный разговор, и Эди впервые за долгое время ощутила близкое присутствие живого полнокровного мужчины, в высшей степени привлекательного и откровенного.

— Что произошло у вас с Эвелин? — спросила Эди. — О вас же всегда говорили как об идеальной паре!

— Что происходит между мужчиной и женщиной? — Ал сморщил бровь в неубедительной демонстрации глубокомыслия, чересчур быстро сменившейся чересчур бойкой улыбкой. — В один прекрасный день вдруг нет больше

* Баффало Билл — прозвище Уильяма Фредерика Коди (1846—1917), героя американского фронтира — разведчика федеральных войск во время гражданской войны, охотника и актера, ставшего персонажем американского фольклора.

тайны... Остались одни ответы, а вопросов больше нет... выдохлись, пожалуй...

— По твоей вине?

— Да... и нет.

— Но все-таки?

— Да. Я ничего не могу с собой поделать, Эди, я человек чрезвычайно активный. Многие мне завидуют. Стоит мне только поглядеть на женщину — не обязательно даже на хорошенькую, — как мне хочется с ней в постель... Надеюсь, я не шокирую тебя?

— Да что ты! Дело естественное, — солгала Эди, покраснев до корней волос.

— Бог ты мой, да если б Эвелин считала это естественным, мы, может, до сих пор были бы вместе. Но она относилась к этому совсем по-другому, ревновала, как тигрица, а сама все время жаловалась, что я ее извожу, грязно ругаюсь, что от нее мне нужно только одно, а ее духовных качеств я не замечаю, но какого же черта... Я ей и сказал, что за духовным я хожу в церковь.

— Может, ты просто ее напугал? — предположила Эди, поигрывая вилкой и проявляя глубочайшее сочувствие к подруге, на что женщина способна лишь тогда, когда знает уже наверняка, что подруге из несчастья не выбраться.

— Это после семи-то лет супружества?

— Женщины меняются. И намного сильнее, чем мужчины, — вздохнула Эди. — И стареют быстрее.

Ал мгновенно, как птица на лету, переменил курс:

— Почему же ты-то не стареешь?

Эди прикусила губу, чтобы сдержать улыбку или вскрик.

— Я? Мои лучшие дни уже позади. Четверо полицейских! Да знаешь ли ты, что это такое?

— Кому же знать, как не мне? А вот знаешь ли ты, что для всей нашей полиции ты — все равно как счастливый талисман? А для меня... для меня ты намного больше... всегда была больше... Живая женщина из плоти и крови... с сердцем... с телом... с чувствами и желаниями... И все это досталось здоровенному жлобу, даже неспособному по достоинству оценить тебя...

— Не говори плохо об отсутствующих, которые не могут защитить себя, — с трудом выдохнула Эди, сглотнув слюну, чтобы смочить горло.

Ал пошел со своей козырной карты:

— Может, прямо к десерту перейдем?

— К десерту? — эхом отозвалась Эди и окинула его откровенным взглядом: посмотрела на глаза, сначала на один, затем на второй, затем, прищурясь, на оба сразу, затем перевела взгляд на рот.

— Поедем ко мне.

Они потянулись друг к другу, но он вдруг отшатнулся.

— В чем дело? — спросила она, проявляя простодушное преклонение перед рекламными роликами. — У меня изо рта дурно пахнет?

— Не здесь, — отвечал Ал, пытаясь закрыться ладонью.

— В чем дело?

— Ред Лейфсон...

Ал уловил в полутьме блеск металла, и сейчас инвалидная коляска уже подвозила своего улыбающегося пассажира к их столику.

— О, что мы здесь видим? Накануне вступления в должность будущий начальник полиции Алан Кармай Карбайд пересек границу штата, чтобы отужинать с женой своего смещенного предшественника! Как прикажете понимать эту встречу — служебное дело, личное или попросту красивый жест?

— Право, Ред, такие вопросы... Эди очень расстроена — вы же знаете... Ей-богу, это самое меньшее, что я мог сделать...

— Значит, спишем все на красивый жест, а? — сказал Ред, царапая что-то в своем блокноте, и продолжил с усмешкой: — Надеюсь, вы не станете обещать, что вырвали бы мне ноги, если они у меня были, и не станете, подобно своему предшественнику на вашем высоком посту, разукрашивать мою машину штрафными квитанциями?

— Мне незачем это делать, Ред, поскольку я верю в вашу личную порядочность.

— Серьезно? Ну, тогда вы один такой оригинал на весь Город. Нет, правда, зачем вам понадобилось перевозить даму через границу штата? В этом, надеюсь, нет никакого тайного умысла?

— Мне просто нравится здешняя кухня.

— Что же вы заказали?

— Господи, да вы никак допрашиваете меня?

— Всего лишь любопытство гурмана, Ал. Я тоже люблю это заведеньице — оно стоит того. Я люблю ат-

мосферу американизма. Не знаю даже, как объяснить... В ней есть цельность... Она наша, как...

— Как яблочный пирог?

— Точно. И вам здесь нравится больше, чем где-либо в Городе?

— Как и всем людям, Ред, мне нравится разнообразие.

Ред взглянул на Эди и улыбнулся.

— Оно и видно, — сказал он.

— Ты просто грязная, подлая тварь, самый гнусный, мелкий червячишка из всех, которые копошатся в помоях, — прошипела Эди.

— Ага. Наконец хоть что-то, пригодное для цитирования, — лихорадочно зачиркал карандашом Ред.

— Эди! — попытался урезонить ее Ал. — Она просто не в себе. Нервное напряжение...

— При чем тут нервное напряжение! Меня просто тошнит от этого калеки, который прикрывается своими увечьями! Интересно, как это ты остался без ног? Да я знаю как! В детстве упал со стула, когда подсматривал в замочную скважину, что творится в спальне. Как насчет этого, процитируешь?

— Конечно, конечно, — бросил посеревший от злости Ред, поспешно отъезжая. Только вот такая баба и могла его пронять.

Когда он удалился, Ал сказал:

— Лучше бы ты не делала этого, Эди, но я очень рад, что ты так поступила. Пошли, я отвезу тебя домой.

Они ехали, включив магнитофон, изливавший потоки сладкой музыки, и Эди чувствовала себя желанной женщиной. Она то и дело бросала украдкой взгляд на застывшее лицо и уставившиеся на дорогу светло-голубые глаза, на привлекательные складки вокруг чувственного рта и думала о том, как будут завидовать все женщины, осуществись ее дикая мечта, как будут все размышлять о том, что же в ней есть такого, что позволило добиться своего.

Машина подъехала к ее дому. Однако Ал и не подумал выскочить из кабины и открыть ей дверцу. Подождав с минуту, она открыла ее сама, изрядно рассердившись и в то же время понимая, что глупо было предаваться нелепым фантазиям. Но что же еще остается по мере того, как прибавляются годы? Одни лишь фантазии...

— Не зайдешь выпить на прощание?

Может быть, его тронет отчаяние этой последней попытки?

— Конечно, зайду, — ответил Ал. — Только вот машину поставлю.

— Оставь ее прямо здесь.

— Нет, здесь нельзя.

— Почему нельзя? Это ведь мой участок.

— Потому и нельзя, что твой. Я теперь начальник полиции, — пояснил он, и Эди не могла не услышать в его голосе вульгарного самодовольства. — Где-то здесь рыщет Ред Лейфсон... иди в дом.

Эди повиновалась. Как только она закрыла за собой парадную дверь, сразу подумала, что делает большую глупость, приглашая к себе в дом известнейшего в городе бабника. Но подумала скорее для очистки совести. Поставив пластинку с музыкой под настроение, притушила свет и зажгла палочку благовоний. Потом закрыла парадное на засов и пошла в свою комнату.

От неожиданного рева телевизора, заглушившего поставленную ею пластинку, она вздрогнула.

— Налей себе выпить, — крикнула она.

Не отвечая, Ал последовал ее совету и развалился в кресле Крамнэгела, вперившись в телевизор. Шел старый фильм о похождениях Чарли Чана на Гавайях. Но как только Ал начал понимать суть интриги, вошла Эди, облаченная в свое прозрачное одеяние, с мундштучком а-ля Мата Хари в руке.

Ал залился хохотом.

— Над чем ты смеешься? — возмутилась она.

— В жизни не видел такого! Ух ты! — И он испустил боевой клич ковбоя на родео.

По привычке Ал проснулся в половине седьмого утра. Эди, к удивлению, уже не спала и смотрела на него серыми, печальными, прячущими тревогу глазами.

— Привет, — сказал он. — Как я сюда попал?

— Ох, Ал, — пробормотала она разбитым голосом, — я думала о Барте.

— Барт, конечно, отстрелялся, — ответил Ал, стараясь выразиться помягче.

— Это зло.

— Что зло?

— Зло сейчас говорить о Барте «отстрелялся»...

— А и черт с ним, — прорычал Ал. — Ну ладно, тогда я скажу «обделался», как и хотел сказать с самого начала.

— В его случае даже это слово лучше, чем «отстрелялся». Бедный Барт. В тюрьме, на чужбине, за тысячи миль от нас...

— Это намного уменьшает возможность его возвращения домой прямо сейчас...

— Я никогда не жила по-настоящему, пока не встретила тебя...

— Держу пари, ты всем так говоришь.

— Я говорю совершенно искренне, Ал. О боже, какой ужас!

— Ужас?

— Я чувствую, что влюбляюсь в тебя, Ал.

— Постой, постой, — Ал даже сел. — Мы же с тобой едва знакомы.

— Я знала тебя много лет... Не зная тебя настоящего... — продекламировала она нараспев.

— Это еще что значит, черт побери? Послушай, Эди, не надо строить иллюзий. Я этого не стою. Я превращу твою жизнь в сплошную муку.

— Может, мука с тобой лучше, чем счастье с другим?

— Что-что?

— Барт, — сказала она печально. — Жлоб несчастный.

— Вот это и есть демократия, — объявил Ал. — Ты пришла наконец к точке зрения большинства.

— Ты всегда так считал?

— Всегда.

— С самого начала?

— С самого начала.

Наступило молчание.

— Я приготовлю тебе завтрак.

— Не беспокойся, — ответил Ал. — Перехвачу что-нибудь по дороге.

— Но мне хочется приготовить тебе завтрак, — настаивала она.

— Я не могу столько ждать, — сказал он, надевая часы.

— Да что с тобой, Ал? — воскликнула она. — Всего ведь половина седьмого.

— Сначала я должен заехать домой, — терпеливо пояснил он, — и лечь в постель, чтобы миссис Макалистер подумала, что я там спал. Потом мне нужно принять душ, чтобы пол был мокрый. Короче говоря, надо создать впечатление, что я ночевал дома.

— О боже, и так приходится маскироваться полицейскому при каждом прелюбодеянии?

— Не смей произносить это слово! — скомандовал Ал, поспешно крестясь, и крадучись подошел к окну.

Когда он посмотрел через щель жалюзи на улицу, Эди включила свет.

— Выключи немедленно! — завопил он, кулем рухнув на пол.

Эди расхохоталась. Было что-то неотразимо забавное в том, как одетый в одни лишь наручные часы начальник полиции лежал под подоконником и выкрикивал приказания.

— Почему? — спросила она.

— Выключи, черт бы тебя побрал! — прошептал он угрожающе.

Напевая «Сумерки в Турции», Эди начала изображать танец живота, постепенно приближаясь к окну и к своему скрючившемуся на полу владыке.

— Да выключи же ты его, ради бога! — взмолился он. — На улице стоит красный автомобиль, которого там с ночи не было, а в нем кто-то сидит.

Эди нагнулась, посмотрела через щель. Человек, о котором говорил Ал, стоял у машины и смотрел прямо на нее; Эди медленно отошла к тумбочке близ кровати и выключила стоявшую там лампу.

— Вряд ли кто-нибудь сумеет с улицы рассмотреть, что происходит в комнате.

— Знаешь что, — ответил Ал, подползая к ней попластунски, как атакующий пехотинец времен первой мировой войны, — если человек захочет рассмотреть, то рассмотрит все, как надо, это я тебе говорю. Все зависит от того, сколько за это платят.

— А, все равно, это совсем не тот, о ком ты подумал. Он же стоит у машины. А теперь зашагал взадвперед.

Ал уже был сыт по горло ее глупостями.

— Черт возьми, Эди, если я захочу взять под наблюдение какой-нибудь бордель, я же не буду сам торчать на тротуаре, верно? Нет, я поставлю полицейского. И все другие боссы тоже так делают. Ред ведь не станет сидеть всю ночь у тебя под дверью в своей инвалидной коляске, а? Зачем ему это нужно, когда он может послать на задание начинающего репортера?

Зазвенел дверной звонок.

Оба замерли.

— Не открывай, — прошипел Ал.

— А если это телеграмма от мамочки? — прошептала Эди.

— Ага... телеграмма... или Барт вернулся... А может, президент Соединенных Штатов к тебе с визитом, — также шепотом ответил Ал. — В полседьмого утра.

— Но если что-то случилось с мамочкой?..

— То все равно уже поздно беспокоиться. Да и вообще с ней ведь ничего не должно было случиться, зачем же беспокоиться?

— Я себе в жизни не прощу...

— Посмотри, тот тип еще у машины? — взмолился Ал.

Эди прильнула к щели в жалюзи.

— Нет...

— Значит, тот, кто звонит сейчас в дверь, и есть тот, который стоял у машины.

— А может, другой.

— О, конечно, людей на улице сейчас полно, выбирай любого.

Снова зазвенел звонок.

Ал принял решение.

— Другой выход есть? — спросил он, натягивая трусы.

— Через кухню.

— Откликнись на звонок, задержи его разговором, пока я не оденусь и не смоюсь отсюда к чертям.

— Когда мы снова увидимся?

— Нашла время спрашивать! Репортер Реда Лейфсона ломится в дверь, а она тут разводит сантименты! Ладно, ладно, я тебе позвоню.

— Нет, Ал, ты не имеешь права просто так уйти из моей жизни.

— Но я же сказал — позвоню.

— Я тебе не верю.

— Как ты можешь, детка! — притворился оскорбленным Ал.

— Поклянись!

— Клянусь!

— Клянись головой твоей матери!

— Клянусь.

— Головой твоей матери?

— Откуда ты эту клятву выкопала?

Снова и очень настойчиво зазвенел звонок.

— Клянусь, клянусь головой моей матери, — прошептал он, и они на цыпочках вышли в прихожую.

Пока Ал быстро и бесшумно одевался, Эди посмотрела в замочную скважину и, кивнув Алу, спросила хрипло:

— Кто там?

— Э-э-э... Мы ищем начальника полиции Карбайда, миссис Крамнэгел, — ответил голос. — Можно мне войти?

— Кто вы такой? Вы из полицейского управления?

— Не совсем... Мы... мы помогаем полиции.

— Помогаете полиции? Неужели наша полиция стала настолько беспомощной, что ей приходится помогать?

— Видите ли, в городе произошло очень серьезное вооруженное ограбление. Все ищут Карбайда.

— Почему бы вам не заехать к нему домой?

— Миссис Карбайд заявила, что его не было дома всю ночь.

Разинув рот, Эди бросила разъяренный взгляд на уже почти одетого Карбайда, тот лишь раздраженно пожал плечами.

— Что вы сказали? — спросил голос за дверью.

— Я ничего не говорила вообще, — отрезала Эди. — Вы еще не сказали мне, кто вы такой.

— Я — Батч Креновиц, из газеты.

— Из персонала Реда Лейфсона?

После минутной заминки голос ответил:

— Ну да, иногда я и с ним работаю. Нам, значит, сообщили, что вас видели с Карбайдом за ужином в «Серебряной шпоре», вот мы и подумали, что вы, может, знаете, где он сейчас.

— А я вот не знаю, — ответила она резко. — Но хотела бы знать, какое вы имеете право стучать по ночам в дверь к чужим людям.

— Да я и не стал бы стучаться, сударыня, не увидь я у вас света, а так я решил, что вы уже встали.

Застегнув «молнию» на брюках, Ал попытался поцеловать Эди на прощание, но она оттолкнула его. Он было посмотрел на нее волком, но сдержался и пошел на цыпочках в кухню, завязывая на ходу галстук.

— Я что-то не расслышал ваших последних слов, — заявил голос.

— А я ничего и не говорила, — отрезала Эди. —

По-моему, вам пора убраться отсюда и оставить меня в покое. — Тут она вдруг вспомнила, что должна задержать репортера как можно дольше. — То, что я ужинала с мистером Карбайдом, лишь воздает честь прекрасному человеку...

— Это кому же? Миссис Карбайд?

— С вашего позволения, я говорю о мистере Карбайде! — пролаяла Эди. — После всего, что случилось, мистер Карбайд не хотел, чтобы я чувствовала себя одиноко и скверно в тот день, когда его назначили начальником полиции... Поэтому он и пригласил меня поужинать.

— За пределами штата?

— Он пригласил меня поужинать, — Эди уже вошла в форму и выплевывала ядовитые слова с привычной ядовитой интонацией и в привычном темпе. — Я приняла приглашение. Некоторое время спустя он сказал мне: «Эди, это было чудесно, но теперь мне пора возвращаться к Эвелин». Он отвез меня домой, а затем...

— В таком случае вы расстались буквально несколько минут назад, потому что его дома еще не было.

Слова репортера прервал злобный собачий лай.

— О, вот теперь мне пора! — весело воскликнул репортер. — Да, и еще: для американки вы очень хорошо исполняете танец живота, миссис Крамнэгел.

Прислушиваясь к лаю собак, Эди внезапно улыбнулась. Она совсем забыла предупредить Ала о доберман-пинчерах, которых держал на дворе ее сосед. Поспешно бросившись в кухню, она поглядела в открытую дверь и заметила человека в плаще, мелькнувшего во дворике и скрывшегося из виду. Как раз в этот момент солнце вырвалось из туч и величественно засияло, пролив свет и тепло на блестящую от росы траву и подрагивающие листья и ослепив Эди. Она закрыла глаза и радостно пила непривычный воздух раннего утра. Эди надеялась, что собаки, которых хозяин уже усмирил, успели все-таки вцепиться в костлявый зад Ала. Он вполне заслужил такое наказание, этот обманщик со всеми его печальными разговорами об одиночестве, этот раб своих желаний. Эди тихо притворила дверь, отгораживаясь от внешнего мира, но даже не стала запирать ее. Она любит его. Сейчас, оставшись одна, Эди была абсолютно в этом уверена. И даже если он в настоящий момент ее не любит, Реду Лейфсону не составит, наверное, труда, убедить его в обратном. Хорошо было жить, да еще в краю Свободы.

14

Разочарованию сэра Невилла не было предела. Нет, это просто невероятно: идет четвертая неделя, а все сообщения из Лайберна говорят о довольном, успокоившемся человеке, с головой ушедшем в тонкости созидания церкви, обреченной на тошнотворное уродство из-за беспредельной вульгарности проектировавшего ее архитектора и тупого символизма, обуревавшего вдохновителя ее строительства, которому вся жизнь представлялась лишь битвой тьмы и света. Согласно получаемым сообщениям Крамнэгела иногда посылали и в поле — сажать картошку, шпинат и капусту. С сельскохозяйственных работ великан возвращался в свой добровольный плен лишь с наступлением ночи. Он брел устало, но весь так и сияя от сознания, что хорошо потрудился, излучал ангельское благочестие.

— Я больше не способен понимать этого человека, — стонал сэр Невилл. — По его милости самые святые порывы души выглядят как жалкие потуги ханжи-фарисея казаться самому себе порядочным. О, как я сожалею, что своими выстрелами он проложил себе дорогу в мою жизнь, как я желал бы, чтобы этого никогда не случилось! Как бы желал, чтобы у него хватило порядочности дать мне избавление от этого! Но что толку в желаниях?

— Я тут размышлял кое о чем, — заметил Билл.

— И что же вы надумали?

— Если человек способен помочь тюремным властям сорвать побег, при этом безо всякой задней мысли, то есть намерения к ним подлизаться, действуя исключительно под влиянием душевного порыва, то уместно предположить, что именно тюрьма без решеток и пробудит в нем чувство чести. То есть раз ему доверяют, он не может злоупотребить оказанным доверием.

— Ну вот, теперь вы заставляете меня терзаться и страдать.

— Почему же?

— Потому, что я не могу не оценить абсолютную точность ваших умозаключений. — Сэр Невилл беспомощно водил пером по промокашке. — Итак, по-вашему, — снова заговорил он, — подстрекнуть его к побегу может возвращение в обычную тюрьму с решетками?

— Но нет гарантии, что и это поможет, — ответил Билл.

— То есть либо мафия, либо бешеные мальтийцы разорвут его на части?

— Либо он выбьется в начальники тюрьмы.

— Вы всегда были оптимистом, — невольно улыбнулся сэр Невилл.

— Я вообще не думаю, что стоит ставить на возможность его побега. Ставить на это — значит принимать решение, возлагая при этом всю ответственность опять же на него самого.

— Иначе говоря, это значит принять решение чисто по-британски, прийти к компромиссу. Но компромисс ведь вполне может принести практические плоды, потому что никто не ожидает ничего подобного от такого столпа морали, как я.

— Но получите ли вы достаточное удовлетворение, позволив ему бежать, если считаете себя обязанным внести весомый вклад в обретение им свободы?

— При чем здесь удовлетворение? — резко отмахнулся сэр Невилл. — Надеюсь, я еще не превратился в старую развалину, нуждающуюся в ежедневной порции удовлетворенности. Благодарю покорно, но я для этого слишком большой прагматик. Я всего лишь хочу избавиться от него, хочу, чтобы он вышел из-под моей юрисдикции; и не потому, что наши законы плохи или хороши, а потому, что он сделал их беспомощными. Я даже не питаю к нему сочувствия, я просто глубоко обеспокоен. Весь ужас не только его положения, но и нашего я осознал в тот момент, когда в зале суда его разобрал смех. Я внезапно увидел всех нас его глазами и почувствовал, что смешон. А почему? Очень просто — потому, что в тот момент я и был смешон. Как и все остальные.

— Да, но когда его здесь уже не будет, — стоял на своем Билл, — не начнете ли вы думать, что мы должны были изыскать законную возможность освободить его?

— О боже, — вздохнул сэр Невилл, — дожить бы еще до того дня, когда его здесь уже не будет. Нет, Билл. Мы ведь тщательно изучили все, как говорится, пути и возможности и не упустили ни одной мелочи. И никакого законного конституционного способа избавиться от него мы не нашли. Тот странный американец, Элбертс, как раз сказал мне тогда за обедом, проходившим в атмосфере сдержанной истерии, что даже самые блестящие конституции устаревают со временем и с непредсказуемым развитием прогресса. Прибытие в Англию начальника поли-

ции американского города с револьвером за пазухой и есть один из непредсказуемых шагов этого самого прогресса, а если наш гость окажется лишь первой ласточкой и вслед за ним на наши берега слетятся его сотоварищи и начнут навещать пабы, отправляя на тот свет стариков шотландцев, то нет никакого сомнения в том, что по прошествии времени будет создан и соответствующий механизм для решения подобных ситуаций — ведь наша юридическая система бредет от прецедента к прецеденту, как человек, переходящий реку вброд, ступает с камня на камень. Но сейчас пока случай беспрецедентный, и несчастному правосудию с его завязанными глазами не отличить Крамнэгела от заурядного профессионального убийцы. Потому-то я и не испытываю особого подвижнического желания изменить закон. Гораздо легче изменить место пребывания Крамнэгела.

— Легче ли?

Подумав немного, сэр Невилл наморщил нос.

— Должно быть легче, Билл.

Пьютри тоже немало поразила отличная репутация, заработанная Крамнэгелом в Лайберне.

— Ведь Лайберн — это просто рассадник разврата, — пояснял он сэру Невиллу. — Но я не думаю, что начальник полиции мог оказаться сему подверженным. Такие грешки обычно водятся за генштабистами, римскими императорами и тому подобной публикой, но ни о чем в этом роде среди высших полицейских чинов я не слыхал. Нельзя не прийти к иному выводу, не считая того, что американская полиция дошла до состояния глубочайшего упадка. Чтобы человек даже не попытался совершить побег — это уж совсем предосудительно, особенно если с ним обращаются не столько как с преступником, сколько как с военнопленным. Нет, я этого не понимаю. И, будь у меня такие подчиненные, я бы им не доверял. В любом случае мы не можем следить за Лайберном вечно. Местная полиция недовольна нашим вмешательством в их дела, а мои люди скучают.

Как раз вечером того дня, когда Пьютри ослабил бдительность, вечером, когда чудесный солнечный день с хрустальной ясностью переходил в безмятежную ночь, Крамнэгел, придя ужинать, получил письмо. Этим днем он славно потрудился, устанавливая над алтарем уродливейший цветной витраж, изображавший то ли сотворение мира, то ли что-то в этом духе.

Щедро намазав на хлеб маргарин, Крамнэгел развер-

нул письмо. И почти сразу же погрузился в чтение, забыв обо всем на свете. Дочитав до конца, принялся читать письмо сначала, водя по каждой строчке пальцем, чтобы не пропустить ни слова. Затем сложил письмо, сунул в карман и машинально принялся снова за ужин. На лице не отразилось ничего, но участия в застольной беседе он не принимал. Мозг его лихорадочно работал. Он вполне мог понять, что одиночество и шаткость положения оказались для Эди непосильными — если она ему изменяла, то он не желал об этом знать; если ей так лучше, если она счастлива, ну и ладно, он ничего не имеет против, он даже за. Но развестись с ним сейчас, когда он оказался в беде, — это уже низость. Мало того: из всех мужчин во всем проклятом мире ей обязательно понадобилось выбрать именно этого сморчка Карбайда, этого ханжу, читавшего ему нравоучения о борьбе с преступностью. Нет, это уж и впрямь слишком. Последняя соломинка переломила спину верблюда да еще как — вместе с горбом. Ярость, закипевшая в душе Крамнэгела, ослепляла его. В тот вечер должна была состояться премьера «Как важно быть серьезным». Он обещал Коралу помочь с гримом. Выйдя из столовой, Крамнэгел побрел по коридору в уборную. Там в это время не было никого. Оставшись один, Крамнэгел больше не в силах был сдерживаться. Он завыл и забился о стену, пока его не остановило острое чувство боли. Лицо задрожало, и по нему потекли крупные горькие слезы, он вскоре почувствовал во рту их солоноватый вкус. Опершись о переборку между туалетными кабинками, он горько рыдал. Наконец рыдания его стихли, и хотя из легких еще вырывались всхлипывания, он уже обрел способность думать.

Надо выбираться отсюда. Но не сейчас. Не сегодня вечером. Пожалуй, лучше бежать средь бела дня. Надо действовать по обстановке. Использовать фактор внезапности. Завтра работ на строительстве церкви нет, завтра предстоит идти на эти чертовы огороды. «Оттуда и смоюсь. Но сегодня надо приготовиться. Деньги, паспорт, все такое прочее. Что прочее, сам толком не знаю, но что-то быть должно. Прочее бывает всегда, только в большинстве случаев о нем забывают».

Теперь, когда у Крамнэгела появились зачатки плана, его охватило животное чувство благополучия, которого он давно не испытывал. Чувство было такое, будто прорвался нарыв и наступило облегчение. Недоразу-

мения, в которые он все время попадал, уже казались забытыми кошмарами. Ушли в прошлое угрюмость, благочестие — все личины, которые он нацепил на себя для самозащиты, были сброшены, из-под них вновь выглянуло старое свирепое «я». Он даже поблагодарил за это Эди и Карбайда: своими неосмотрительными действиями они заставили его очнуться и спасли от полной капитуляции. Думал он теперь лишь об одном — о сладости мести. Если никто еще не говорил раньше, что месть сладка, думал он, то это надо сказать сейчас.

— Ты сегодня что-то больно веселый, — заметил Корал, уже в гриме леди Брэкнелл. — Уж не потому ли, что видишь, как я нервничаю?

— Не удивительно, что нервничаешь, — ответил Крамнэгел. — Бог ты мой, у тебя же большая роль, да еще с такими вычурными словами. Вот и нервничаешь, конечно.

Перед началом спектакля Крамнэгел проводил Корала за кулисы и подбодрил напоследок. Он наткнулся там на Бэрджесса, работника тюремной администрации, отвечавшего за театральные постановки: под его руководством Крамнэгел должен был готовить роль гангстера в пьесе «Окаменевший лес».

— А, Крамнэгел, — сказал Бэрджесс, — вы-то мне и нужны.

— Слушаю, сэр.

— Я попросил костюмерную прислать вместе с гардеробом для этой пьесы пару костюмов для нашей следующей постановки, чтобы вы могли заблаговременно их прикинуть на себя. Вы ведь человек нестандартно больших размеров, поэтому надо подогнать костюм заранее, чтобы не создавать паники в последний момент.

— Да, хорошая мысль. А где эти костюмы, сэр?

— Где-то здесь, за сценой.

— Вы хотите, чтобы я их примерил прямо сейчас?

— Нет, не сейчас. До начала спектакля осталось всего десять минут.

— Но я быстро.

— Нет, не стоит.

Вот черт! Окинув взглядом ворох одежды, Крамнэгел приметил три еще не распакованные коробки.

На премьеру, казалось, собралась вся тюрьма. Певерелл-Проктор отыскал Крамнэгела.

— Я только что снова был в церкви и просто глаз не

мог оторвать от витража. Воистину славное дело. Как вы себя чувствуете после столь одухотворенного труда?

— Отлично, начальник... сэр... Просто отлично, такой чувствую душевный подъем.

— Да... да... — понимающе сказал начальник.

— Вот только брюхом время от времени маюсь.

Peверелл-Проктор, похоже, несколько удивился такому обороту беседы.

— Вам следует обратиться к доктору.

— С вашего позволения, зайду, сэр, если оно будет продолжаться. Странно, ей-богу, всю жизнь у меня желудок работал как часы — а тут на тебе!

— Да, странно, — согласился начальник тюрьмы, думая совершенно о другом.

— Прямо судорогами схватывает.

— Что ж, надеюсь, пьеса вам понравится, — заканчивая беседу, сказал начальник тюрьмы.

Пьесу Крамнэгел нашел несмешной и донельзя занудной, но даже придись она ему по вкусу, все равно было бы не до смеха. Выждав момент, когда почти все участники спектакля были на сцене, он встал, схватился за живот и пошел к выходу, постаравшись обратить на себя внимание Певерелл-Проктора и продемонстрировать ему свои муки. Выйдя на воздух, он кинулся за кулисы. Со сцены доносились скучные реплики. Он услышал голос Корала: «Саквояж?», почему-то раздался взрыв смеха. Войдя в пустую артистическую, Крамнэгел лихорадочно вскрыл картонку и обнаружил в ней наряд священника. Священника явно низкорослого. Положив сутану на место, он вскрыл следующую коробку. Там лежал жемчужно-серый костюм с широкими лацканами, рубашка и яркий цветастый галстук фасона двадцатых годов. Полный гангстерский наряд. Крамнэгел поспешно скатал костюм в узел, закрыл коробку и побежал во двор.

Запершись в уборной, он разделся до белья и натянул костюм. Костюм оказался великоват. Затем он снова переоделся в тюремную одежду и вернулся в свою комнату. Подняв матрац, расстелил под ним украденный костюм, затем снова вышел во двор. Если б знать, сколько будет длиться эта проклятая пьеса...

— Что вы здесь делаете, Крамнэгел?

— Да вот живот схватило...

— Уборные в противоположной стороне.

— Я хотел прилечь немного. Плохо себя чувствую. Слабость какая-то.

— Вы ведь знаете, что посещение пьесы обязательно для всех, да? Если вам уже лучше, то я бы на вашем месте вернулся в зал.

— Да был я там. Начальник знает, что я вышел, я ему сказал.

— А что пьеса?

— Дерьмо собачье.

— Ну?

— Зато Корал забавляется, как никогда в жизни.

— Ну и хорошо. А то всю неделю прямо не в себе.

Едва только надзиратель скрылся из виду, Крамнэгел метнулся к административному блоку, стараясь держаться в тени. Вокруг никого не видно. К этому времени Крамнэгел уже хорошо изучил расположение тюрьмы и полагал, что знает, где что хранится. С облегчением вздохнув, он вошел из залитого светом коридора в темный кабинет начальника тюрьмы. В соседней комнате, где работали секретарши, должны находиться нечто вроде досье. Он огляделся по сторонам. Со стены на него снисходительно смотрела королева. Она, кажется, одобряла его действия. Он молча прошел в соседнюю комнату. Там даже сейфа не было. Слава богу, в этом заведении все основано на доверии. «Верить в бога — значит доверять ближнему своему» — гласил девиз этой вонючей дыры, но по-латыни, разумеется, а для Крампэгела было все равно, что латынь, что китайская грамота.

Он открыл ящик и нашел свое дело под буквой К. К каждой карточке были прикреплены ключ и номер личного шкафчика. Открыв трясущимися руками шкафчик под номером 317, он увидел знакомый зеленый паспорт. С паспортной фотографии на него глядел более молодой, более энергичный Крамнэгел, человек с честным и решительным лицом, не познавший еще унижений и трагедии. Да, трагедии! Глаза живого Крамнэгела подернулись влагой от жалости к самому себе. Он достал из шкафчика деньги — почти тысячу долларов, которые были тогда при нем. Затем достал ключи и документы. Поколебавшись немного и ощутив острую боль, он все же решил оставить свой револьвер на месте, почти как визитную карточку на память. Затем запер шкафчик, снова прошел по коридору через административный блок и уже собрался было вынырнуть во двор, когда увидел валившую из театра толпу. Спектакль закончился. Теперь придется врать Коралу, изображать восторг. Выйти отсюда, пока во дворе надзиратели и заключенные, он не

смел — как объяснить, зачем он тут? В коридоре послышались голоса. Тяжело дыша, он прижался к стене. Будет ужасно, если ему не повезет именно теперь, когда все идет так удачно. Толпа рассеивалась. Скоро во дворе никого не останется. Наконец он осмелился чуть-чуть приоткрыть дверь, выбрался наружу и замер. Потом осторожно двинулся вперед.

— А, вот он где! — раздался голос надзирателя. — О господи, ну и заставили же вы нас поволноваться!

Крамнэгел инстинктивно схватился за живот.

— Ой, как мне плохо, — простонал он.

— Все в порядке, сэр, — кричал надзиратель. — Он здесь. Говорит, ему плохо.

Певерелл-Проктор грустно улыбнулся.

— Боже мой, Крамнэгел! Как я мог сомневаться в вас... Но я и не думал, что вы способны совершить побег после всех наших общих трудов по возведению храма господня. Разве может святой Христофор *, говорил я себе, бросить младенца в воду на середине пути? Вы оправдали мое доверие. Благодарю вас за это. Но вы пропустили великолепное зрелище! Какое наслаждение нам всегда доставляет Оскар! И как хорошо ему было бы в Лайберне! — Он вздохнул. — Но в его времена Лайберна еще не существовало, и Оскару Уайльду пришлось сидеть в Рединге, не так ли? — В его голосе зазвучали более начальственные нотки. — Сходите завтра к врачу, Крамнэгел, возьмите освобождение от работ. Спокойной вам ночи.

— Вы слышали? — спросил надзиратель.

— Конечно.

— Это приказ.

Некоторые люди всегда — в силу своей профессии — делают все не так. Теперь придется менять планы. Но он уже изъял деньги и паспорт из кабинета начальника и наряд гангстера из костюмерной. Держась на всякий случай за живот, Крамнэгел побрел в свою комнату, где, уже надувшись, его ждал Корал.

— Тебя не было в зале, когда дали занавес.

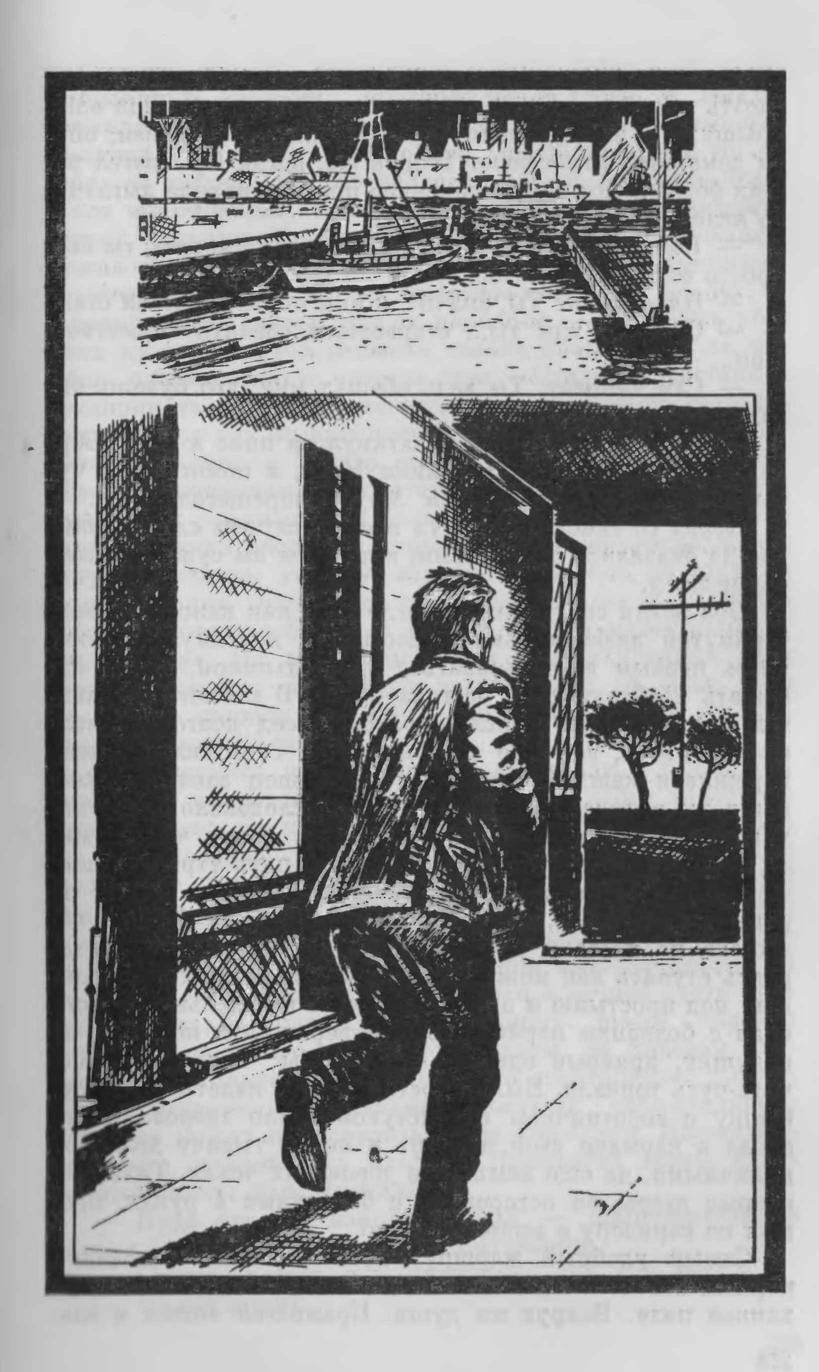
— Но то, что я успел посмотреть, мне очень понравилось, Корал, просто очень.

— Но до конца ты ведь не досидел. Тебя не было видно в зале, когда мы раскланивались.

— У меня живот схватило.

---

* Ссылка на легенду о святом Христофоре, покровителе путников и мореплавателей.



Крамнэгелу уже надоели эти игры. Корал сумел влезть в его жизнь, поскольку судьба свела их под одну крышу, и в их отношениях установилась ворчливая, почти домашняя атмосфера. Теперь же, когда Крамнэгел решил бежать, все это бесконечное перешучивание выглядело нелепо и неестественно.

— Начальник сказал мне, что, по его мнению, ты был просто великолепен, Корал.

— Начальник? Ты, значит, к ним подлизываться стал?

— Слушай, иди ты... стараешься сделать приятное, а он...

— Сам виноват. Ты ведь обещал мне, что будешь аплодировать, а сам ушел.

— Ну ладно, ладно, ты заткнул за пояс и Сару Бернар, и Кэти Хэпберн, и Минни Маус, а помоги тебе чуток природа, так и Микки Мауса перещеголял бы.

Корал со свистом вдохнул и надулся; эти слова Крамнэгела оказались последними, которыми им суждено было обменяться.

Оба легли спать молча, после того как каждый с подчеркнутой любезностью предоставил другому возможность первым воспользоваться умывальником, чтобы избежать необходимости разговаривать. В темноте Крамнэгел настороженно прислушивался, сосед долго ворочался в постели, все еще возбужденный спектаклем, вновь переживая каждый момент его. Наконец заснул. Крамнэгел же занялся расчетами. Бежать следовало около полуночи. До Ливерпуля двадцать миль. Делая четыре мили в час, он достигнет гавани часов в пять утра, ну, скажем, в половине шестого. А тревогу и погоню затеют не раньше шести. Да, придется пошевеливаться быстро. Он выполз из постели и соскользнул на пол. Оделся, стараясь ступать как можно тише. Тюремное облачение сложил под простыню и в качестве злого прощального жеста снял с болванки парик соседа, взъерошил и положил на подушку, прикрыв одеялом так, чтобы волосы только чуть-чуть торчали. Было просто здорово надеть снова рубашку с воротничком и галстуком, было здорово иметь снова в кармане свой паспорт и почти тысячу долларов наличными, да еще немного в дорожных чеках. Тихонько открыв дверь, он осторожно, с ботинками в руках, прошел по коридору и вышел во двор.

Самый удобный маршрут пролегал мимо площадки церкви, а потом через невысокую стену и прямо в распаханное поле. Вокруг ни души. Крамнэгел вошел в зда-

ние церкви, перелез через груду мусора, вышел через недостроенную ризницу, прислонился к стене и, пыхтя, принялся натягивать башмаки. Он постарел и отяжелел. Прикинув на глаз высоту стены, он подпрыгнул, но до верха не достал. Обтерев ладони о брюки, виновато огляделся по сторонам, испытывая неловкость от неудачи первой попытки. Крамнэгел отошел назад и разбежался. Бежал легко, неторопливо, воображая себя знаменитым прыгуном-шестовиком, но приземлился, увы, не по ту сторону перекладины. Что за идиотизм — не суметь убежать из тюрьмы без решеток только потому, что не можешь одолеть такую низкую стену! Отчаяние заставило предпринять еще одну попытку и разбежаться энергичнее. На этот раз он вцепился в стену, не упал, но и подняться не смог, а просто повис, пытаясь отдышаться. Резким движением, рассчитанным на то, чтобы захватить стену врасплох, он зацепился одной рукой и медленно потянул вверх по шероховатой поверхности левую ногу. Последним усилием взвалил свое тело на стену и замер, уронив голову на шероховатый бетон. Появись сейчас у стены собаки, он сдался бы без малейшего сопротивления. Но вскоре инстинкт самосохранения взял верх. Крамнэгел перекинул изнывающее от боли тело на другую сторону и мешком сполз вниз. И вот он уже бредет по взрыхленному полю.

Ориентируясь по дорожным указателям, Крамнэгел определил направление на Ливерпуль и через некоторое время вышел на магистраль. Он, разумеется, предпочел бы проселочные дороги этому огромному открытому шоссе, где одинокий пешеход всегда привлекает к себе внимание. Рассудил, что если идти против движения транспорта, то вряд ли кому из водителей придет в голову подобрать его. Нужно как можно быстрее добраться до гавани — там он легко затеряется в вечной суете морского порта; бредущий же по ночному шоссе человек в голубой рубашке с белым галстуком, на котором охорашивается павлин, и в пропахшем нафталином добротном, с широкими лацканами костюме серо-стального цвета не может не привлечь к себе внимания. Неожиданно рядом остановилась машина. Крамнэгел замер, схваченный светом фар. Полиция.

— Куда это вы направляетесь? — поинтересовался голос с типично ланкаширским выговором.

— Слышь, парни, я в Ливерпуль иду или нет?

— Никак янки?

— Натурально. Хлебнул, понимаешь, и... Тьфу ты, ну и надрался же я! Слышь, а куда это меня занесло, черт возьми? И куда подевалась эта рыженькая?

Из полицейской машины донесся добродушный смех.

— Вы хоть помните, в какой вы стране?

— Ну, это-то я знаю. Не, не подсказывайте, я сам вспомню... Соединенное Королевство? — напрягшись, предположил он.

— Откуда вы? С базы ВВС в Шиддингтоне?

— Моряк я... радист с американского корабля... О господи, забыл, как называется моя треклятая коробка!

— Не «Титаник», случаем? — предположил один из полицейских, вызвав дружный хохот остальных.

— Гм...

— Пока до гавани доедем, вспомните?

— Доедем?

— Влезайте в машину, мы вас подбросим к границе портового района. Дальше не можем — не наш участок.

Они ехали, и рация без умолку трещала, передавая сведения о мелких кражах и подозрительных бродягах. Глядя на минутную стрелку, двигавшуюся по кругу, Крамнэгел все больше и больше нервничал. Он то и дело представлял себе, как эта старая кляча Корал встает среди ночи, чтобы сходить в сортир, обнаруживает пропажу парика и закатывает истерику. С него вполне станется перебудить всю тюрьму из-за своего паршивого парика. Такого, правда, до сих пор не бывало, но Крамнэгел рассердился от мысли, что Корал может это сделать. Нос его вдруг нервно дернулся, почуяв заливший кабину запах камфары. Крамнэгел сунул руки в карманы пиджака, чего не удосужился сделать раньше, и обнаружил, что они набиты маленькими шариками.

— Откуда это так разит нафталином? — спросил водитель.

— Э... э... От меня, наверно, — ответил Крамнэгел.

— Что, любите этот запашок?

Ишь остряк нашелся! В Крамнэгеле уже зашевелился призрак полицейского начальника, готового облаять сопляка-водителя и рявкнуть на него: какого, мол, черта он вылезает со всякими замечаниями, достаточно непонятными, чтобы быть оскорбительными?

— Я провожу большую часть жизни в море, юноша, — отвечал Крамнэгел с достоинством, в котором прозвучала нотация. — А выходной костюм у меня один, вот мне, значит, и приходится за ним следить. А в китайских

морях моль — что твоя летучая мышь, так и жрет все, зараза.

— В китайских морях? — спросил третий полицейский. — А я думал, вы туда больше не ходите.

— Когда я говорю «китайские моря», я, значит, имею в виду воды вокруг Тайваня, ясно? — прорычал Крамнэгел.

Тем временем рация продолжала монотонно бормотать, сообщая о мелких кражах, подозрительных бродягах, попытках ограбления со взломом и даже о попытке изнасилования. Проведя по лбу рукой, Крамнэгел смахнул несколько капель холодного пота и понял, что ему страшно. О боже, ну дай человеку хоть один шанс. Он просто не может допустить, чтобы его схватили прямо в полицейской машине, когда по рации поступит сигнал о побеге. Ничего себе история получится, курам на смех. «Да вы знаете, где его взяли?» — уже слышал он издевательский вопрос. «Крамнэгела? Это Крамнэгела так поймали? Да не может быть... Не может... Что? Даже не ФБР, а англичашки? Анг-ли-чаш-ки?»

— Выпустите меня! — прорычал он.

— Мы же еще не доехали, — удивился водитель.

Взяв себя в руки, Крамнэгел мирно сказал:

— Блевану.

Резко взвизгнули тормоза, громче, чем в любом гангстерском фильме. Выбравшись наружу, Крамнэгел перегнулся пополам и закашлялся, схватившись за горло.

— Подождать вас? — окликнул его водитель.

Отрицательно махнув рукой, Крамнэгел рухнул на колени. Так, хорош. Главное — не переигрывать. Он снова поднялся на ноги и глубоко вздохнул. А то еще переборщишь, чего доброго, да и угодишь в больницу. Он услышал, как отъехала машина. От разыгранного спектакля у него действительно так схватило живот, что он скорчился, а на глазах выступили слезы.

— О боже! — сказал он.

Первые неуверенные робкие лучи рассвета уже пробивались оранжевыми пятнами сквозь нависшее серое небо, когда остроконечные черно-белые гангстерские башмаки Крамнэгела ступили на сырые булыжники мрачной территории ливерпульских доков. Туфли эти были созданы для гладких паркетов бальных зал и будуаров, а не для скользкой неровной мостовой, и Крамнэгел совсем сбил ноги. Он принялся высматривать подходящий корабль. Судить о том, насколько корабль подходя-

щий, он мог лишь на глаз — в надежде, что новичкам всегда везет. Крамнэгел, как и следовало ожидать от человека его склада, принялся высматривать американский флаг, как высматривает шпиль знакомой колокольни почтовый голубь. Но американский флаг он нашел лишь над одним судном — огромным кораблем, по виду военным транспортом, на борту которого красовалась надпись «Генерал Огастес Б. Сэвидж». Вряд ли подходящее судно для беглеца — Крамнэгелу оно представилось скорее гигантским плавучим патрульным автомобилем.

Чем быстрее светало, тем больше Крамнэгел нервничал. Однако его успокаивало то безразличие, с каким люди, находившиеся в доках в эти утренние часы, проходили друг мимо друга. В обычное время Крамнэгел счел бы такое к себе отношение проявлением враждебности. Но сейчас был за то благодарен.

Повернувшись во сне на другой бок, Корал открыл один глаз и тут же снова зажмурился. Какие-то мысли промелькнули в его не проснувшемся еще мозгу, да так быстро, что лоб невольно нахмурился. Глаз раскрылся снова, вслед за ним второй. Привыкая к полутьме, Корал посмотрел на подставку для своего парика. Болванка была такой же гладкой и блестящей, как его собственный череп. Он сел на кровати, охваченный внезапным приступом паники. Исчезли его волосы! Он перевел взгляд на кровать Крамнэгела. На подушке торчал хохолок, но тело странным образом съежилось. Корал тихонько поднялся с постели, словно увидев что-то сверхъестественное, резким движением сорвал с кровати соседа одеяло и завопил.

Несколько минут спустя Певерелл-Проктор уже говорил по телефону с полицией, а затем, получив в Скотленд-Ярде номер, связался с Пьютри, который согласился, что случившееся достойно сожаления.

— Далеко он не уйдет, — услышал Пьютри собственный голос и немедленно набрал номер сэра Невилла. — Надеюсь, не разбудил вас. Дело в том, что Крамнэгел смылся, дал деру.

— Слава богу! — вскричал сэр Невилл.

— Я считал нужным поставить вас в известность, но не думаю, что нам следует проявлять такой энтузиазм.

— Но почему?

— Мало ли кто может нас услышать.

— Кому есть дело до Крамнэгела?

— Полиции, — весьма раздраженно ответил Пьютри.

— Неужели вы хотите сказать, что у нас прибегают к подобным методам?

— Ну, мало ли что бывает иногда, одна линия подключается к другой... — пробормотал Пьютри.

— Что ж, в таком случае спасибо вам за трагические новости, — весело ответил сэр Невилл. — Так лучше?

— Не стоит благодарности. Я немедленно еду на службу, только вот побреюсь.

События развивались со скоростью, превзошедшей худшие предположения Пьютри. Приехав в новое здание Скотленд-Ярда, он обнаружил, что его сотрудники настроены весьма оптимистично, поскольку экипаж полицейской машины сообщил, что подвозил человека, приметы которого совпадали с приметами Крамнэгела, и этот человек совершенно явно направлялся в гавань. Пьютри раскурил трубку, чтобы избежать необходимости высказывать какое-либо мнение, и, спрятав лицо в клубах сизого дыма, принялся ругать про себя Крамнэгела. С таким везением и такой сноровкой его наверняка арестуют, когда он обратится к постовому с просьбой сказать, который час, — причем обратится вовсе не затем, чтобы действительно узнать время, а просто из потребности в общении.

Однако в этот момент Крамнэгел уже находился на борту грузового парохода «Агнес Ставромихалис», имевшего обыкновение шляться вокруг света подобно нищему бродяге, перевозя вместе с грузами из одного порта в другой грязь и ржавчину. У его флага было что-то общее со звездно-полосатым полотнищем, поэтому душа Крамнэгела откликнулась на изображенный символ, хотя на флаге красовалась всего одна звезда вместо привычного гордого созвездия. О порте приписки корабля — Монровии — Крамнэгел никогда и слыхом не слыхал, но решил, что он, должно быть, находится в Техасе, поскольку у штата Техас на флаге одна звезда. Вот ведь, даже свой собственный флот заимели! И он окончательно запутался, узнав, что командует кораблем грек по имени Фемистокл Макарезос.

— Звучит вроде по-шотландски.

— Разве я похож на шотландца? — дружелюбно спросил капитан, буравя Крамнэгела маленькими, как две смородинки, глазками, разделенными тонким, как лезвие бритвы, длинным носом.

— Ну уж цену-то вы заломили точно как шотландец, это я вам верно говорю. Сколько, значит, вы хотите?

— Пятьсот долларов — наличными.

— Да вы отдаете себе отчет, что просите?

— А вы сравните эту цену со стоимостью каюты обычного рейсового лайнера.

— Где я, по-вашему, достану нужные документы?

— На берегу. Мы отплываем только через два часа, — непринужденно ответил капитан.

Колеблясь, Крамнэгел облизал губы. Макарезос улыбнулся.

— Что, некогда сбегать за ними? — спросил он. — Все ясно. Итак, я избавляю вас от ненужной суеты, излагая вам факты, как они есть. Вам нужно лишь довериться мне. Идет?

Крамнэгел снова заерзал, похлопывая себя по карманам.

— Ну ладно, — сказал капитан, как бы предлагая положить конец шуткам и перейти на серьезный тон. — Взвесьте сами преимущества и недостатки ситуации. У вас есть причина убраться из Англии, у меня есть возможность вас вывезти. Удобной кровати, чистой воды, съедобной пищи — этого я вам предложить не могу. Это вам может предложить рейсовый океанский лайнер. Но если у вас нет желания проходить таможенный досмотр, то лучше плыть со мной. И прошу я за это всего-навсего пятьсот долларов да еще, может, малость нетрудной работы.

— Работы? Я, значит, должен вам выложить полтысячи, да еще и работать сверх того?

— Совсем немножко. — Многозначительно пожав плечами и подняв вверх брови, капитан сумел придать своим словам оттенок иронии. — Палубу подраить, посудку помыть, здесь вытереть, там подтереть — вас от этого не убудет. Я бы и сам этим занимался, да только я ведь капитан, такое занятие не способствует укреплению авторитета в глазах команды.

— А как насчет профсоюзов? — упрямо спросил Крамнэгел.

— На этом корабле профсоюза нет.

— Нет? — откликнулся возмущенным и неверящим эхом Крамнэгел.

— Похоже, вы не привыкли плавать на не охваченных профсоюзами кораблях, — холодно заметил Макарезос. — В таком случае, если работа на корабле, где

нет профорганизации, вам не по душе... другими словами, если вы смутьян, ищите себе другой корабль.

Крамнэгел мгновенно обдумал положение. И почему он вечно проявляет благочестие там, где не надо? Какое безумие заставило его ринуться через тюремный двор, подобно атакующей кавалерии, чтобы ввязаться в драку с бегущим из тюрьмы заключенным? Почему, черт возьми, из него все время лезет полицейский? Какое там — полицейский! Патриот, а не просто полицейский, патриот с возвышенным образом мысли, с чистым образом жизни, богобоязненный миссионер, действующий от имени всего человечества... что прикажете делать такому чудесному человеку, если он попал в столь грязный мир?

— В гробу я их видал, эти ваши профсоюзы, — буркнул он, пытаясь развеять впечатление о себе как о смутьяне.

Капитан улыбнулся:

— Я выразился не совсем точно, сказав, что мы не охвачены профсоюзом.

— То есть как?

— Мы принадлежим к профсоюзам Либерии, — продолжал капитан.

— Это еще что за чертовщина?

— Не имею ни малейшего представления. Итак, что же вы решили?

— Вы идете в Галвестон, штат Техас?

— Верно.

— И просите пятьсот.

Не успел капитан ответить, как в каюту ввалился какой-то азиат и пробурчал что-то на непонятном восточном языке. Поскольку европейскому уху в каждом восточном языке слышится сигнал тревоги, Крамнэгел не мог понять, звучала ли тревога в интонациях вошедшего или в его словах. Капитан же все понял и повернулся к Крамнэгелу.

— Полиция уже здесь, — кратко пояснил он. — Все ясно. Тысяча долларов.

— Тысяча...

— Я готов проявить благородство — семьсот пятьдесят. Будьте благоразумны. Мне ведь надо что-то дать и команде. Они знают, что вы здесь.

— Ах ты, грязная...

— В таком случае будьте любезны следовать за мной. — И капитан резко бросил что-то односложное матросу-азиату. Перед мысленным взором Крамнэгела про-

мелькнула стена, на которой он совсем недавно лежал, и это последнее унижение перетянуло чашу весов.

— Согласен, — прошипел он. — Семьсот пятьдесят.

Выставив матроса за порог, капитан запер дверь, вскочил на свое вращающееся кресло и снял с потолка гнилую деревянную панель, местами покрашенную светло-голубой краской, чтобы скрыть наиболее безнадежно прогнившие куски.

— Лезьте туда, — приказал он.

— Туда? — простонал Крамнэгел. — Да мне в жизни не влезть.

— Я вас подпихну. Слышите голоса? Это полиция.

Крамнэгел мужественно влез на шаткое кресло и собрался с силами, чтобы проникнуть в дыру, однако это казалось ему столь же невозможным, как если бы парашютисту предложили вернуться обратно в люк самолета после того, как он оттуда выпрыгнул.

— Неужели у вас нет другого места?

— Не тратьте зря драгоценного времени. Мне приходится думать не только о вас, но и о своей репутации. Ну, живо, раз, два — пошел!

Крамнэгел словно пережил заново все то, что происходило с ним у стены тюрьмы, но на этот раз в присутствии свидетеля. Он повис было в воздухе, потом задергался и лишь спустя некоторое время с облегчением разлегся на деревянных балках.

— Эй, откуда это такой вонью несет?

— Из камбуза.

Сначала Крамнэгела окружала лишь тишина и смесь дурных запахов. Затем он услышал голоса и сквозь многочисленные щели увидел синие фуражки полицейских и среди них один шлем, верхушка которого чуть не царапала потолок. Полицейские осматривали каюту, затем один из них постучал фонариком по потолку.

— А там, наверху, что?

— О, это просто панели, а за ними — металлический каркас. Там всего-то места, чтобы засунуть какие-нибудь тряпки да банку с краской. Сигарету? — быстро предложил капитан.

— На службе не курим.

— Это египетские. Возьмите домой. Очень приятно выкурить такую после обеда.

— Большое спасибо.

Обзаведясь сигаретами, полицейские пошли обыскивать другие помещения. Крамнэгелу казалось, что он

лежит в своем убежище уже несколько часов. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел две точечки света, немигающие и очень близко одна к другой расположенные. Потом они неторопливо приблизились к нему и оказались глазами крысы — крысы, до того насытившейся содержимым кладовой, что ноги с трудом несли массивное колыщущееся туловище.

— А ну, кыш отсюда! — прошипел Крамнэгел, вдруг приревновавший к ней свое крохотное убежище. — Кыш, кыш, катись в свою нору! — Крамнэгел пытался напугать крысу, но без шума и так, чтобы все осталось только между ними. Однако производимые им звуки соответствовали, видимо, словам доверия и ласки на крысином языке, поскольку громадная тварь лишь придвинулась ближе, радостно и озорно посапывая. Крамнэгела передернуло от ужаса, он почувствовал, как волосы у него встают дыбом. Но грохот якорных цепей отвлек крысу от активного продолжения нового знакомства, она отвернулась от Крамнэгела и улеглась, чтобы восстановить силы, похожая на огромную подушечку для иголок. Грохот цепей сопровождался выкриками матросов, плеском воды и стонами пытающихся включиться механизмов. Затем приливная волна выхлопных газов от дизелей облаком окутала и Крамнэгела и крысу, которая поспешно удалилась в темноту, что-то ворча высоким, скрипучим голосом диккенсовского персонажа.

Крамнэгел увидел, что капитан вернулся в каюту, и постучал по незакрепленной панели.

— Мне уже можно спускаться? — осторожно спросил он.

Капитан с усмешкой посмотрел вверх.

— А в чем дело? Разве вам не нравятся ваши покои?

— Мои покои? — Крамнэгел отодвинул панель. — Это мои покои? — спросил он гневно. — За семьсот пятьдесят долларов это мои покои?

— Вполне могли бы быть вашими, если бы вы не пожаловались.

Ну и тип! И шутки у него какие-то дурацкие.

— А вы знаете, что у вас здесь водится крыса?

— И не одна. Вы какую видели? Такую здоровущую?

— Вы что, хотите мне сказать, что они у вас вместо домашних животных?

— Не совсем. Вы слышали когда-нибудь о том, что русские называют сосуществованием? Вот и у нас так — мы сосуществуем с крысами, крысы сосуществуют с на-

ми. Вооруженный нейтралитет. Так какую вы видели — здоровущую?

— Пожалуй, ее можно назвать здоровущей, а уж дородной — точно.

— Это Электра — мать, бабушка, любовница и тетка. Если вы сумели с ней поладить, вас это характеризует с хорошей стороны. А теперь постарайтесь поладить и со мной. Я спас вас от полиции. Как насчет моего вознаграждения?

Крамнэгел встал вполоборота к капитану, чтобы сосчитать свои деньги. С превеликим сожалением он расстался с семьюстами шестьюдесятью долларами.

— Дайте сдачи десять долларов, — сказал он.

— А я вам дал свободу, — улыбнулся в ответ капитан.

— Если, по-вашему, десять долларов такой пустяк, — вскричал Крамнэгел, — то гоните назад двадцатку, тогда я буду должен вам десять долларов.

— Хорошо, я должен вам десять долларов, — пропел капитан. — А теперь сидите здесь и не высовывайте носа. Мне нужно идти на мостик, чтобы вывести эту мышеловку в открытое море, где у моих дурней будет меньше шансов в кого-нибудь врезаться.

— Мышеловку? — переспросил Крамнэгел.

— И огнеопасное сооружение к тому же. Официально зарегистрировано как непригодное для плавания. Толщина корпуса в некоторых местах достигает лишь одной восьмой дюйма. Двигатель барахлит. Могу продолжать до бесконечности. Плавать умеете?

«Ни хрена себе чувство юмора, в жизни такого не встречал».

— Нет, не умею, — не сказал, а почти проорал Крамнэгел, но капитан уже поднимался по трапу на мостик.

В Лондоне Пьютри покинул Скотленд-Ярд, где царила атмосфера оптимизма, и отправился к сэру Невиллу.

— Правда, самая лучшая новость — это отсутствие новостей? — спросил его сэр Невилл.

— Полностью с вами согласен, но на самом деле отсутствие новостей не является отсутствием новостей, коль скоро каждую минуту мы рискуем узнать новости. Если полиция не схватит его при первом досмотре кораблей в порту, то она снова прочешет все корабли пресловутым

частым гребнем, обращая особое внимание на суда, держащие курс к США.

— Вам известно, откуда пошло выражение «прочесать частым гребнем»? — спросил сэр Невилл.

— При всем уважении к вам, сэр Невилл, я не считаю, что сейчас подходящий момент читать мне лекции, — отрезал Пьютри.

— Я сам этого не знаю, — объявил сэр Невилл, — поэтому у вас и спросил. — Главный прокурор сегодня был в самом мальчишеском, самом задиристом настроении.

Подняв телефонную трубку, Пьютри заказал разговор с Ливерпулем.

— Что вы намерены предпринять? — спросил Билл Стокард.

Пьютри чуть улыбнулся Биллу, но не сэру Невиллу.

— Намерен рискнуть, — ответил он.

— Разумно ли это? — спросил сэр Невилл.

Пьютри не ответил. От необходимости отвечать его избавил телефонный звонок.

— Алло, пожалуйста, инспектора уголовной полиции Голэма. Пьютри, из Скотленд-Ярда. — Потом, после минутной паузы: — Алло, Брюс? Как там с Крамнэгелом, не повезло еще? Ну и ничего удивительного. Его взяли в Стафforде... Что? Очень просто: сел рано утром на поезд в Ливерпуле... Да, поезд пришел в Стаффорд минут двенадцать назад... Мы взяли его... Что?.. Ну, вполне естественно, что, находясь столь близко от порта, преступник, особенно преступник, хорошо знакомый с методами работы полиции, подумает, что полиция непременно бросится искать его в порту... Да нет, это абсолютно не моя заслуга, Брюс... Часто аплодисменты срывает тот, кто забил гол, хотя на самом деле заслужил их тот, кто дал ему пас... Такова жизнь... — Он медленно повесил трубку.

— Это риск, — объявил сэр Невилл, как бы классифицируя явление, с которым столкнулся впервые в жизни.

— Как вы будете выкручиваться, если начнется расследование? — поинтересовался Билл.

— Я еще не решил, потому и сказал, что это риск. По части подготовки я успел лишь познакомиться с железнодорожным расписанием. У меня просто физически не было времени продумать подробно все возможные последствия.

— Вы можете все отрицать, — несколько напряженным голосом предложил Билл.

— Это, конечно, был бы самый жесткий и некоторым образом самый безопасный выход из положения. Мне, как говорится, пришлось бы до известной степени злоупотребить авторитетом занимаемой должности: слово Голэма против моего. Либо можно было подождать полчаса и заявить, что произошла ошибка. Так, конечно, намного опаснее, поскольку в таком случае придется изобретать целую цепь воображаемых событий и придерживаться изобретенной версии. Это глупый путь, бессмысленный. Идти по нему — только напрашиваться на неприятности.

— И именно по нему вы, без сомнения, и пойдете, — заметил сэр Невилл.

— Пожалуй, да, — вздохнул Пьютри.

— Вы могли бы довериться Голэму, — предложил Билл. — Так же, как доверились экипажу патрульной машины.

— Впоследствии. Впоследствии — да. Это единственный способ поставить точку. Заговорщикам всегда лестно быть посвященными во что-то, чего не знают другие.

Зазвонил телефон. Сэр Невилл взял трубку. Выражение его лица изменилось.

— Министр внутренних дел, — доверительно сообщил он своим сообщникам, прикрыв трубку рукой. В предвкушении разговора с министром вернулись к нему и энергия, и невинное выражение лица, и игривость. — Доброе утро, сэр, — сказал он в трубку. — Да, для этого времени года — безусловно... — Он помрачнел. — О, вы имеете в виду специальный выпуск вечерних газет, не так ли? Нет, я никак не мог, я всего лишь несколько минут назад услышал об этом сам... О да, я думаю, нет никакого сомнения в том, что он будет пойман... Это верно, да, в самом деле, он никогда не проявлял прыти, которой можно было бы ожидать от человека в его положении... нет... — Сэр Невилл снова замолк, внимательно и сосредоточенно слушая голос в трубке, затем глаза его загорелись боевым огнем. Наконец он заговорил четко и ехидно: — У меня сложилось впечатление, уважаемый министр, что я выполнял ваши указания. Не только скрупулезнейшим образом, но также и в том духе, в каком они были даны... Я никогда бы не поднял этот вопрос, но коль скоро вы снова к нему возвращаетесь, могу лишь сказать, что доведись мне давать

в суде показания под присягой, вынужден был бы признать, что это вы предложили поместить Крамнэгела в тюрьму без решеток и тем самым подтолкнуть его к побегу... Шутка? Ваше слово против моего? Очень странно, что вы заговорили об этом... Я не имею ни малейшего желания впадать в мелодраму, поверьте мне, я обладаю иммунитетом против всяческих мелодрам; в любом случае я скоро ухожу в отставку и, если на то пошло, могу легко поддаться искушению взяться за мемуары... Что же до вашего слова против моего, то я — королевский адвокат, а вы — политический деятель... Нет, я не испытываю абсолютно никакого страха перед возможными последствиями... Что? Я совершенно спокоен, уверяю вас... Забыть об этом разговоре?.. Только в том случае, если я сохраню за собой право вспомнить о нем в случае острой необходимости... В нашей профессии никто, по всей видимости, не может знать, что произойдет дальше... Простите?.. Риск?.. — Он подмигнул Пьютри и Стокарду. — Удачный выбор слова, смею заметить... Риск? А что такое риск, как не образ действий, разумный сам по себе, но не учитывающий предрассудков и глупости других людей... Недальновидность? Возможно... — Голос его зазвучал очень холодно и безжалостно. Было очевидно, что сэр Невилл беспредельно наслаждался этим разговором. Выслушивая сомнения, увертки и увиливания своего собеседника, он с каждой секундой все больше и больше брал над ним верх своим многозначительным и напряженным молчанием. Наконец он соизволил заговорить: — Господин министр, каждый день вам, наверное, приходится принимать тысячи решений по различным вопросам. Если каждое из них вызывает у вас впоследствии подобные угрызения и потребность в самокопании, то покорнейше позвольте посоветовать вам подыскать себе, пока не поздно, какую-нибудь иную работу, более соответствующую вашим блестящим способностям. Возможно, премьер-министр сочтет уместным перевести вас в министерство иностранных дел. Безусловно, развитие отношений с иностранными государствами не требует столь высоких этических критериев, как те, которые вы привносите в деятельность министерства внутренних дел, зато ваша склонность к шантажу может при удаче принести стране великую славу, а в худшем случае может быть сглажена ловким переводчиком... Наглость? Прошу прощения. Каждый феникс нуждается в пламени, чтобы потом восстать из пепла. Я бесконечно

признателен вам, сэр, за то, что вы обеспечили меня сим пламенем. Так или иначе, вы ведь дали мне определенные инструкции, которые я выполнил в полную меру своих способностей. Я передал ваши пожелания новому Скотленд-Ярду и уверен, что миссия, которую вы на нас возложили, в скором времени будет успешно выполнена в лучших традициях... Алло, алло... Он бросил трубку, — свирепо улыбнулся сэр Невилл. И, помолчав, добавил: — Теперь мы настоящие заговорщики.

— Зачем вы зашли так далеко? — спросил Пьютри.

— Не так уж далеко я зашел, — ответил сэр Невилл. — Я всего лишь ускорил свою отставку.

— Напротив. Вы для Белпера гораздо опаснее вне министерства, чем внутри его. Свобода вам заказана, если случится какая-нибудь неприятность, — сказал Билл.

— Какая может случиться неприятность? — спросил сэр Невилл. — Теперь Крамнэгел уже на пути к своим, и дай им всем бог здоровья.

— Мусор благополучно заметен под ковер, — мягко заметил Билл. — Его не видно, но это вовсе не значит, что мусор исчез навсегда. Спросите у миссис Шекспир.

15

Путешествие на борту «Агнес Ставромихалис» не было особенно примечательным с точки зрения морских приключений, поскольку царившая на корабле атмосфера скорее заставляла вспомнить сырые чердаки Достоевского, чем капитанские мостики Джозефа Конрада или паруса Мелвилла. Если бы ржавый корпус судна не раскачивался, отчего Крамнэгела все время тошнило, он и не заметил бы, что находится в море. Еще хуже было то, что любой встречный корабль двигался, казалось, с безмятежной грацией лебедя, в то время как гордость Либерии задыхалась, вздрагивала, изрыгала клубы черного дыма, исчерчивающие небо подобно изломанным ветвям деревьев на картинах японских графиков, и еле ползла. Первый день прошел почти безо всяких событий. К борту корабля подошла моторная лодка и доставила несколько чемоданов, а в обед случился эпилептический припадок у кока Сон И, как раз когда он подавал суп. Крамнэгел мгновенно принял командование на себя: засунул китайцу в рот тряпку для мытья посуды, скрутил его и, прижав к полу, как бешеную собаку, держал до

окончания приступа. И только тут обнаружил, что, пока демонстрировал свои познания, почерпнутые на курсах по оказанию первой помощи, остальные съели его обед.

— Надеюсь, вы очень горды собой! — завопил он. Все, как один, кивнули, давая понять, что так оно и есть.

— Они не говорят по-английски, — объяснил капитан.

— Слушайте, а что доставили на борт те чернявые ребята в лодке? — спросил Крамнэгел.

— Я помогаю всем, а не только беглым каторжникам, — последовал любезный ответ.

— Опиум, да? Или героин?

— Можете вернуть свои деньги за проезд и даже еще заработать, если пронесете часть этого добра.

— Через что пронесу?

— Через американскую таможню.

Крамнэгел глубоко вздохнул. Все восстало в нем, все его моральные принципы возмутились, душа бурлила, как кипящий котел. Он даже почувствовал, как горят щеки от благородного негодования.

— Сколько? — Он услышал, как задрожал его голос на слове, глубоко противном душе.

— Потом поговорим.

На второй день путешествия Али Бен Ибрагим пырнул ножом Сервеса, матроса с Мальдивских островов. Мотивы ссоры остались неясными, поскольку языка друг друга оба не знали, но матросы восточного происхождения были убеждены, что Али Бен Ибрагим в своей жертве заподозрил еврея. Али Бен Ибрагима пришлось заковать в кандалы, Крамнэгел оказался единственным человеком на борту, который был способен с этим справиться.

— Я уже начинаю спрашивать себя, что бы мы делали без вас, — рассмеялся капитан во время второго несъедобного ужина.

— Как вы, черт возьми, можете есть это дерьмо?

— Уж не умеете ли вы стряпать, а?

— Лучше во всяком случае, чем ваш кок.

— Может, возьметесь за камбуз? Тогда этого припадочного китаёзу можно будет вышвырнуть за борт.

— Вы что, серьезно?

— Да. Их ведь почти восемьсот миллионов, его никто и не хватится.

Крамнэгел хмыкнул.

— Не нравятся мне ваши шутки.

— Это еще почему? Вы что, никогда не убивали?

— Убивал, конечно. Слушайте, я убил двоих, а может, и больше, но хвастаться тут нечем. Это, позвольте вам сообщить, дело нехитрое. Куда более нехитрое, чем оставить им жизнь.

— Мне нравится ваш подход к делу, — сказал капитан. — Вы, оказывается, вовсе не такая скотина, как кажетесь.

— Чем вы занимаетесь? — неожиданно спросил Крамнэгел. — Такой человек, как вы, мог бы заработать кучу денег в районе борделей любого городишка средней руки. Зачем наживать себе язву, служа капитаном на вонючей консервной банке?

Капитан задумчиво улыбнулся.

— Здесь я хозяин. А в городе? Компромиссы, компромиссы, проценты, взятки, грязь, грязь. И вечно все надо помнить. Кто сколько получает. Да кому это все нужно? А потом — итальянцы. Сицилийцы. Куда ни плюнь. Все только для своих. Это же просто безнравственно — своя лавочка для дядей, тетей, кузенов, братьев. В море все по-другому. — Он усмехнулся торжествующе и высокомерно. — Пусть только какой-нибудь сицилиец сунет сюда свою грязную рожу. Здесь монополия для греков. Сюда я могу пустить дядей и тетей и пустил бы, если бы им доверял. К сожалению, они тоже греки.

— Мэр нашего города, он тоже грек.

— Да? Молодец парень, молодец. А чем вы занимаетесь? Чем зарабатываете себе на жизнь? Просто удивительно, что вас с такой силищей не взяли в полицию.

Крамнэгел почувствовал, что его так и распирает от сознания своей силы и власти, но тут же обретенное вновь умение быть двуличным взяло верх.

— Да я и мертвый бы к этим свиньям не пошел, — прочувствованно произнес он.

— Вот это мне по душе. — Капитан прищурил глаза, как бы оценивая и взвешивая личность собеседника. — А знаете, мы бы с вами могли войти в весьма долгосрочные отношения.

— Какие же?

— Я перевожу наркотики. А вы будете проносить их через таможню и распространять.

— Доход пополам?

Капитан от души расхохотался.

— Что у вас на уме? — спросил Крамнэгел.

— В конце концов, это ведь мое дело, — ответил капитан. — И я принимаю вас в него.

— Принимаете за сколько?

— Беру вас на десять процентов с выручки.

— Десять процентов выручки за девяносто процентов риска? Идите вы...

Третий день в море прошел без происшествий, если не считать того, что глухонемой матрос с Тринидада по имени Икабод Бейнс пырнул ножом старшего помощника, уроженца Брунея, и капитан предложил Крамнэгелу пятнадцать процентов вместо десяти.

— Не пойдет.

На четвертый день кончились кандалы, да и стена, к которой людей приковывали, прогнила настолько, что рухнула, и всех нарушителей дисциплины пришлось освободить.

— Почему бы вам не набрать англоязычную команду, которой хоть управлять можно? — спросил Крамнэгел, сделав минутный перерыв — он распиливал кандалы, в которые был закован Икабод Бейнс.

— Вы меня что, за дурака держите? Единственный экипаж, который устраивает меня в моем деле, — это люди, не способные общаться между собой. Ясно? Самый лучший матрос — глухонемой, но природа не так уж на них щедра. Я-то знаю, что делаю, поверьте, а моим хозяевам абсолютно безразлично, что и как я делаю, лишь бы я доставлял положенное.

— И что же вам положено доставлять?

— По-разному бывает. В основном смешанные грузы, все, что не берут другие. Перевожу дряхлых коней из Галвестона на корриды в Испанию. Взрывчатку. Всякую всячину.

— Беглых каторжников, крыс и наркотики, — добавил Крамнэгел, отходя.

— Это вы сами сказали, — с довольным видом расхохотался капитан.

К концу второй недели Крамнэгел выглядел так, будто провел в море большую часть своей жизни. Кожа побронзовела, вследствие чего глаза стали казаться более светлыми. Постоянная же работа на свежем воздухе придала его поведению живость — правда, скорее звериную, нежели одухотворенную. Его власть над кораблем была неоспоримой, но в силу характера и склада ума он властвовал над кораблем отнюдь не от собственного имени, а всего лишь представляя своего, достойного всяческого

осуждения, хозяина, который сидел на мостике, накачиваясь смесью из сладкого вермута, узо и рецины и распевая под неуверенный аккомпанемент надтреснутой мандолины меланхолические песни, которые греки позаимствовали у турок, хотя никогда в этом не сознаются.

И вот, в один прекрасный день серпистая дымка, обернутая в кокон видимой невооруженным глазом грязи, возвестила о близости цивилизации, а очень скоро вслед за тем показались и нефтяные качалки — ненасытные костлявые куры, беспрерывно клюющие землю. Глубоко, всей грудью вдохнув грязный воздух, Крамнэгел просто расплылся от чувства радости и благодарности. Всего лишь семьсот миль на автобусе, и он — дома. В то же время ему стало окончательно ясно, в чем его долг.

Новый, внешний Крамнэгел сумел адаптироваться ко стольким невероятным внешним факторам и обстоятельствам, что внутренний, настоящий Крамнэгел даже задумывался временами, не подтачивает ли все это вынужденное лицедейство его истинный характер. Спокойствия ради он мирно жил в одной комнате со старым извращенцем и играл роль закоренелого преступника в обществе капитана — этой современной пародии на Улисса. Желая приветить престарелого английского уголовника и потрафить ему, он пристальным, внимательным взглядом обозрел темные от запекшейся крови горизонты американской преступности и поведал незадачливому грабителю банков обо всем увиденном. Он заставил молодых полицейских в патрульной машине ломать себе голову над тем, что им делать с пьяным матросом. Он бродил по шоссе английского севера в остроносых туфлях чикагского гангстера и вошел в литературную историю автобиографическими очерками, которых сам не только не писал, но и не читал, но за которые получил деньги, — и если это не триумф, то что же еще?

И все же настоящий Крамнэгел ничуть не изменился. Во всяком случае, так он думал, когда открыл бумажник и посмотрел на удостоверение начальника полиции, покоившееся в своем целлофановом домике, — теплое, трепещущее и живое. У него в руках все еще была власть, которой он мог козырнуть, была возможность грозить арестом всем за пределами того круга людей, которые знали, что этот паршивец Карбайд... Но он тут же придушил эту мысль в зародыше и решил, что документ,

который он держит в руках, и есть реальность. Все же остальные — не более чем дурной сон, о котором можно будет забыть, как только станут известны настоящие факты. Факты! В воображении он видел себя сидящим на багажнике открытого белого автомобиля; он широко ухмыляется, а вокруг него, как конфетти, кружат обрывки телетайпных лент. Из окна высовывается заплаканная Эди, а Карбайда с позором изгоняют из города. Крамнэгел принял решение.

Когда «Агнес Ставромихалис», хромая, вползла в гавань Галвестона, Крамнэгел поднялся по трапу на мостик, откуда мутноглазый капитан отдавал команды машинному отделению, и полунельсоном прижал его к полу.

— Какого черта? — хрипло прорычал грек. — Нашел подходящее время!

Ни один из находящихся на мостике двух моряков и не подумал прийти на помощь капитану, поскольку оба уже успели на себе испытать «веселый нрав» Крамнэгела и без кандалов, и в кандалах.

— Верни мне мои семьсот пятьдесят долларов.

— Шутить изволите?

— Я и не думаю шутить, — Крамнэгел усилил захват.

— По-твоему, это честно? Мы же договорились.

— Полагаю, что я более чем отработал свой проезд, капитан. Да и потом, если уж я пронесу тот чемодан через таможню...

— Да отпусти же ты меня, сукин сын! Сейчас ведь на борт прибудет лоцман.

— И мы попросим его выступить арбитром в нашем споре, да?

— Ладно, ладно, согласен! — закричал капитан, заметив, что корабль уже сносит приливом.

— Ну раз мы договорились, то с тебя тысяча долларов, идет?

— Ты, сукин...

— ...сын. — договорил тихо Крамнэгел. — Иди за деньгами. Прямо сейчас. А не то пополам разорву.

— Позволь мне сначала команду отдать.

— Не пойдет, — нажал посильнее Крамнэгел.

— Право руля! — завопил капитан.

Но никто не шелохнулся.

Он повторил команду по-китайски.

— Ну ладно, проиграл так проиграл. Пошли, — сказал он. Курчавые волосы его взмокли и растрепались по лбу.

Крамнэгел последовал за капитаном в каюту.

Грек молча отсчитал ему тысячу долларов.

— В нашем деле для тебя места нет, — сказал он тихо, но злобно. — Нет, потому что ты человек бесчестный. Наш бизнес построен на доверии. А я тебе не доверяю.

— Мягко говоря, я тебе тоже, — сказал Крамнэгел.

— Мы заключили с тобой сделку. А ты меня обманул. Ты обманщик, любезный. Обманщик.

Крамнэгел невольно покраснел. Его больно задело именно то, что капитан выразился так просто и ясно, без каких-либо эпитетов.

— Неправда, — неуверенно ответил он. И добавил: — Ну ладно, если ты так переживаешь, я верну тебе две с половиной сотни.

— Я не приму их.

— Это еще почему? — рявкнул Крамнэгел, ища, как обычно, опору в силе.

— Надо решить раз и навсегда, хочешь ты быть честным или бесчестным, — сказал капитан. В словах его прозвучала убежденность порочного, но умного человека. — А приняв решение и определившись, надо уже играть по правилам. Конечно, можно немного и сжульничать, когда отвернется судья — так в каждой игре заведено: лови удачу, но перебегать из одной команды в другую не позволяется. И никто этого не потерпит.

— Ну ладно, я был не прав. Бери свои две с половиной.

— Нет. И убирайся отсюда.

— А как же насчет чемоданчика?

— Ты думаешь, я теперь доверю тебе добра на полмиллиона? Тогда ты не сумасшедший даже, а просто дурак.

— Ну что ж, ты, значит, высказался, а я, значит, принял решение! — выкрикнул Крамнэгел.

— Прочь с дороги, иначе мы потеряем корабль.

— Нет!

Капитан ударил Крамнэгела в солнечное сплетение, а затем, когда огромный детина, задохнувшись, согнулся пополам, вышиб из него дух апперкотом. Падая на пол, Крамнэгел сломал подвернувшийся стул. Когда Крамнэгел пришел в себя, то увидел, что сидит в каюте и ощупывает пальцем разбитый рот. А капитан вернулся на мостик, принял на борт лоцмана и мастерски пришвартовал «Агнэс Ставромихалис» к пирсу.

Готовясь сойти на берег, Крамнэгел испытывал чувство горькой обиды на капитана, испортившего ему возвращение домой, но эта обида на самом деле лишь прикрывала еще более глубокую рану. Крамнэгел пришел в ужас, обнаружив такую силу в человеке, настолько в себе уверенном, что он даже не испытывал необходимости эту силу демонстрировать. О боже, да если бы их отношения не дошли до такой точки, он, Крамнэгел, так и не узнал бы никогда, как аккуратно и точно умеет бить этот человек. Хорошо обладать умением причинить боль своему более сильному врагу, да еще с таким коварством, но насколько же лучше уметь скрывать это умение, уметь хранить такую тайну, хотя как же, наверное, напрягаются мускулы и сжимаются кулаки даже во время самого невинного спора.

Стремясь найти выход из унизительного положения, в котором он очутился, Крамнэгел испытывал все большее и большее возмущение этим ленивым головорезом, который сумел так ловко использовать его в своих целях.

Крамнэгел вспомнил, как по-рабски трудился, словно дрессированная горилла, которую хозяин заставляет выполнять всякую черную работу, чтобы самому не пачкать рук. Но кто вышибал дух из припадочного кока-китайца во время предыдущих рейсов? Кто держал в повиновении и в узде дикарей-матросов? Не иначе как сам капитан. Так, значит, они боялись не тяжелых кулаков Крамнэгела, а еще более страшной, более утонченной опасности, все время маячившей на мостике? Так он, значит, всего лишь был хозяйским надсмотрщиком, на которого хозяин свалил всю грязную и опасную работу? И все задарма, да еще несправедливо выжав из него семьсот пятьдесят долларов! Кровь его вскипела от благородного негодования, а смущение быстро загладилось с помощью тех приемов, которые обычно используют, дабы перевести испытываемое унижение в благородный гнев. В словах капитана Крамнэгел усмотрел лишь одну мысль, с которой не мог не согласиться полностью: если человек выбрал себе команду, он должен остаться в ней, а не перебегать на другую сторону. На свете, слава богу, существует такая вещь, как верность, и чертов грек скоро, к своему огорчению, в этом убедится. Крамнэгел с облегчением пересчитал тысячу долларов. Может, грек и сохранил свое достоинство, но какой ценой? Ценой двухсот пятидесяти долларов. Но разве у настоящего до-

стоинства может быть цена? Конечно, нет, решил Крамнэгел, убирая тысячу долларов в карман.

Таможенники терялись в догадках, не в силах взять в толк, что это за птица в засаленном костюме фасона сорокалетней давности спускается с корабля по сходням. Так могли позволить себе одеваться лишь азиаты и левантийцы. Моды путешествуют медленно, и в последнем их крике где-нибудь в Карачи, Порт-Морсби или Сидоне могла только сейчас отозваться первая волна чикагского стиля тридцатых годов, но Крамнэгел был странен именно своей честной веснушчатой физиономией, возвышавшейся над всей этой приталенной утонченностью и черно-белыми башмаками, выглядывавшими из-под широченных брюк.

— Вы гражданин США? — спросил таможенник.

— А то нет. Слушайте, приятель, кто у вас здесь за старшего?

— За старшего? А зачем он вам?

— Это его дело и мое.

— Может, вы мне пока что расскажете, что приобрели за границей?

Окинув таможенника взглядом, Крамнэгел полез за бумажником и достал свое удостоверение.

Как и следовало ожидать, таможенник даже присвистнул.

— Откуда взялся хороший человек на этой коробке?

— Хороший, значит? — усмехнулся Крамнэгел. — Это секрет. А как бы мне повидаться с вашим начальником?

— С начальником? Враз устрою.

Начальником таможни оказался медлительный скептик, убежденный в том, что в этой жизни каждый мужчина, каждая женщина и каждый ребенок предъявляют таможне меньше, чем могли бы предъявить. Звали его Руалд Ф. Бенедиктссон.

— Чем могу служить, начальник Крамнэгел? — спросил он. — Помимо досмотра вашего багажа...

— Нету у меня никакого багажа, — ответил Крамнэгел.

— Нет? Это довольно подозрительно, не правда ли?

— Будем считать, что я путешествую налегке, — сказал Крамнэгел тоном достаточно таинственным, чтобы

Бенедиктссон сразу же почувствовал желание извиниться.

— Так чем же я могу служить?

— Видите ли, я выполняю специальное задание... по линии ФБР...

— Можно было не говорить, я и так догадался, — лаконично ответил начальник таможни.

— Ну и отлично. Вот почему я путешествовал на борту...

— Я понял, — перебил Бенедиктссон. — Давайте ближе к делу. Чем могу служить?

— Мне хотелось бы обойтись без лишних расспросов.

— Разве я вас о чем-нибудь спрашиваю?

— Я имею в виду — потом. А сейчас просто пропустите меня через таможню. Мне надо представить отчет.

— Валяйте.

— На борту этого корабля на полмиллиона героина.

— Намек понял. Райан, проведите его через иммиграционную службу, да смотрите, чтобы его там не задерживали.

— Спасибо.

— Службу знаем.

Крамнэгел купил новый костюм и еще кое-что из одежды, а на другой день, сидя в автобусе, с ревом мчавшемся по шоссе в Атланту и затем в Город, прочитал в газете об аресте капитана Макарезоса.

Утром следующего дня автобус въехал в Город. Со все большим и большим волнением смотрел Крамнэгел на расстилавшиеся за окном просторы знакомых пастбищ. Погода была ни плохая, ни хорошая, поскольку истинный цвет неба был надежно укрыт продуктами труда рук человеческих. С уверенностью можно было сказать лишь то, что не идет дождь. Когда автобус выплыл на стоянку, Крамнэгел ощутил великую радость и сознание одержанной победы, ибо добрался до родных мест. И только выйдя из автобуса, он понял, что эта радость была уместной, пока Город еще оставался точкой на карте или названием на дорожном знаке, но сейчас, когда ты уже физически оказался здесь, податься некуда. Ночевать в гостинице, находясь в родном Городе, казалось просто немыслимым, но ничего другого не оставалось. У него больше не было Эди. Не было и телевизора. Не было даже банки пива со льда.

С минутку покипев, он взял себя в руки. Он не хо-

тел, да и не было нужды вызывать своим видом жалость. Он вернулся, чтобы драться, и, заимствуя привычное выражение этой разнесчастной шлюхи Эди: когда он дерется, то дерется, чтобы победить. То, что он платежеспособен, поможет ему гордо и высоко держать голову в этот трудный момент, решил он. Естественно, первым делом надо взять такси и поехать в банк, чтобы выяснить свое финансовое положение. Крамнэгел махнул рукой проезжавшей мимо машине. Таксист жестом показал, что уже закончил работу, и поехал дальше. Да, черт возьми, не те стали порядочки при Але Карбайде, подумал он. Шофер второго такси вообще, казалось, не обратил на него никакого внимания, поэтому Крамнэгел шагнул на мостовую прямо перед машиной. Автомобиль дернулся в сторону, и таксист выкрикнул ругательство, на которое Крамнэгел с готовностью ответил. Услышав ответ, таксист затормозил. Крамнэгел подобрался и поддернул брюки. Таксист выскочил из кабины, рыча от ярости. Они шли друг на друга, словно персонажи в заурядном вестерне. Но вдруг таксист замер как вкопанный и широко раскрыл рот. Крамнэгел тоже остановился.

— Начальник Крамнэгел, — пробормотал таксист.

— Ну? — откликнулся Крамнэгел грозно.

— Что ну? Вам-то уж следовало бы знать, что занятое такси не останавливают.

— Занятое? — Заглянув в машину, Крамнэгел увидел даму с пурпурными волосами, злобно уставившуюся на него сквозь усыпанные фальшивыми бриллиантами очки.

— Прошу прощения, мэм, — промямлил он.

Таксист с растущим отвращением покачал головой, сплюнул на дорогу.

Крамнэгел медленно вернулся на тротуар, окинув неприязненным взглядом собравшуюся там кучку людей.

— В чем дело? — задал он им чисто риторический вопрос, и люди рассеялись, размышляя о том, в чем же действительно дело.

Наконец он остановил такси, за рулем которого сидел молодой негр.

— Куда, мистер?

— «Пайонир энд мерчантс бэнк».

— Это где?

— На полдороге в Понтекорво.

— Понтекорво — а я и не знал, что там есть банк.

— Раз говорю, значит, есть.

Было совершенно ясно, что таксист и понятия о Крамнэгеле не имел.

— Вы здесь в городе впервые? — спросил он.

— Я еду в банк, о котором ты в жизни не слыхал, почему же ты думаешь, что я впервые попал в этот город? — прорычал Крамнэгел.

— Да не знаю я, просто показалось что-то. У меня такое бывает, да еще как сильно! Иной раз я даже секу, когда человек вот-вот откинет копыта. Я ему даже могу сказать — что бы ты ни делал, куда бы ни попер, где бы ни прятался, все одно скоро загнешься.

— Ну, поговорили, и хватит, — сказал Крамнэгел. Его нервозность вызвала у водителя смех — раскатистый, громкий, мелодичный африканский смех, который действовал Крамнэгелу на нервы. — Что тут такого смешного? — спросил он.

— Э, не, вы-то не загнетесь, пока еще нет. — Внезапно таксист посерьезнел и окинул отражение Крамнэгела в зеркале взглядом ясновидца. — Но из-за вас тут понаделается делов, да каких!

— Я же сказал — хватит!

— И, значит, вы здесь в городе не впервой?

— Я был в отъезде.

— Все сходится, — спокойно сказал таксист, остановившись у банка.

Расплачиваясь, Крамнэгел старался избежать его взгляда, но не удалось. Когда их глаза встретились, Крамнэгел почувствовал, что выдает мысли, которых еще толком не осознал сам.

— Попомните мои слова, — сказал на прощание негр.

Войдя в банк, Крамнэгел увидел управляющего, Лейтема Ходника, который, сидя за столом, беседовал с клиентом.

Крамнэгел, улыбаясь, ждал, пока его узнают. Когда секретарша осведомилась, что ему угодно, он попросил передать мистеру Ходнику, что в банк пришел мистер Крамнэгел. Девушка выполнила его просьбу. Ходник удивленно поднял глаза. Затем, отделавшись от клиента, жестом попросил Крамнэгела подойти.

На лице его застыло озабоченное выражение — нечто среднее между соболезнованием и поздравлением.

— Давно, видать, вас не было, — сказал он осторожно.

— Я только что провел месяц на борту корабля, на-

битого китаезами, — небрежно бросил Крамнэгел, — так что вполне могу обойтись без ломанья английского.

— Где же вы были, Барт? То есть я знаю, где вы были. Расскажите обо всем. По крайней мере, расскажите хоть то, что хотите рассказать. — Ну, можно ли проявить больше такта?

— Все это уже быльем поросло, — величественно ответил Крамнэгел.

— Вас выпустили? Выпустили, наконец?

— Нет. Я сам ушел.

— Сам?

— Да вот взбрело в голову уйти. Соскучился по дому. — Крамнэгел улыбнулся, видя, что привел собеседника в замешательство. — Давайте потолкуем кое о чем другом. Как обстоят мои дела?

— Ваши дела? — переспросил хозяин.

— Финансовые дела.

— Финансовые?

— Я что, невнятно говорю или как?

— Но, Барт, когда Эди... и вы... разошлись... она перевела свой вклад отсюда в другое место.

— Что она сделала? — встрепенулся Крамнэгел.

— У вас же был общий счет, как вам известно. Так что после развода она перевела все деньги в «Америкен нэчурал гэз».

Крамнэгел сердито посмотрел на него.

— Вот каково доверять женщинам, — медленно проговорил он.

— Такое может случиться и когда доверяешь мужчине. Насколько я понимаю, у нее теперь общий счет с ее супру... с началь... с Карбайдом.

— Общий счет с Карбайдом? Это правда?

— Так я полагаю.

— Но вы же знаете, это были мои деньги?

— Не мое дело — знать, кому из совладельцев общего счета принадлежат какие деньги, — взмолился Ходник, ожидая неминуемой бури.

— Это были деньги, которые я заработал. Которые я скопил. У нее же за душой не было ни цента, когда мы поженились. Она за всю свою жизнь ни цента не заработала, черт ее раздери!

— А я этого и знать не знал, — отвечал мистер Ходник, как будто слыша нечто чрезвычайно интересное, да еще впервые в жизни.

— А теперь она забрала мои деньги — сбережения

всей моей жизни — и отдала их этому вонючке Карбайду в приданое.

— Карбайд мне и самому никогда особенно не нравился, — заявил Ходник, которого начала бить самая настоящая дрожь.

— Но там ведь были и другие деньги. Деньги, которые я заработал, когда уехал отсюда.

— Да, помню, как я был удивлен. Сказать вам, на какую сумму...

— Сумму я знаю. Я хочу их получить. Я хочу все получить! — внезапно заорал он, привлекая к себе внимание.

— Послушайте, Барт, мы же с вами не первый день знакомы... — начал урезонивать его Ходник.

— А при чем здесь это, черт возьми? — Крамнэгел теперь снова был спокоен, но в спокойствии его угадывалась буря.

— Хотите позвонить Эди по моему телефону? — предложил Ходник.

Крамнэгел хитро улыбнулся.

— Вы сейчас сами ей позвоните по своему телефону, — сказал он.

— Я? Но что же я ей скажу? — спросил оцепеневший от страха Ходник.

— Скажете ей... скажете... — Сверившись с листочком, извлеченным из бумажника, Крамнэгел быстро подсчитал. — Скажете ей, что она должна мне восемьдесят шесть тысяч долларов сорок центов, из которых я разрешаю ей удержать деньги на хозяйство, считая со дня моего ареста по день, когда она подала на развод, но к причитающейся мне сумме требую добавить две с половиной тысячи фунтов стерлингов по курсу два доллара сорок центов за фунт — точно высчитаем потом. Вот что вы ей скажете.

— Да я этого всего и не запомню, — взмолился управляющий Ходник.

— Скажете ей, чтоб гнала немедленно пятьдесят тысяч долларов. а на остальное я ей выставлю счет.

Ходник нервно набрал номер. Веки его дергались, а пальцы беззвучно барабанили по колену.

— Алло, миссис Карбайд? Ее нет дома? — спросил он с надеждой. — О, — сказал он упавшим голосом. — Это вы, Эди, а я вас не узнал. Это говорит Лейт Ходник, Помните такого? Давно не было видно... да. Чему вы обязаны удовольствием?.. Скажите, а начальник Карбайд, ваш

муж то есть, дома? Нет? Нет! Я с вами хочу говорить, а не с ним. Что со мной случилось? Хороший вопрос... Слушайте... — В поисках вдохновения он взглянул на хмурое лицо Крамнэгела, но обнаружил на нем больше угрозы, чем поддержки. — Эди, Барт вернулся. — На другом конце провода возникла ощутимая пауза. — О, он в полном порядке. Загорелый, выглядит на миллион долларов, что подводит меня к главной причине моего звонка. Помните, когда вы переводили деньги отсюда в другой банк, я вам сказал, что может произойти, когда Барт вернется домой? Ну, едва ли есть смысл так подробно вспоминать, кто из нас что говорил. Эди. Он здесь, собственной персоной, и он в своем праве. Вы подадите в суд? Но на кого, Эди? Лояльность по отношению к кому? Нет, я не понимаю вас, моя дорогая.

Крамнэгел вырвал у него трубку

— Эди! — закричал он в телефон. — Это я, Большой Барт. Я вернулся, и ты должна мне деньги. Я хочу получить их обратно, и никаких гвоздей, иначе кому-то сильно не поздоровится, причем не мне, ясно? Ну, я с тобой обойдусь по-хорошему. На первый раз мне хватит пятидесяти тысяч... Пятидесяти тысяч, — подчеркнул он, — да, а не пяти. Ты мне доставишь их сегодня вечером к шести часам. Что, в шесть еще недостаточно темно? Хорошо, в семь. На спортплощадке школы Филлмора у моста Абеляра. Куда мы с тобой ходили на свиданки. И чтобы ты была на месте и с деньгами, а не то... Говорю тебе при свидетеле. У меня все. — Он бросил трубку на рычаг.

— Барт, — робко попросил Ходник, — только не рубите сплеча. Никогда.

— А чего б мне не рубить сплеча, Лейт? — резко спросил Крамнэгел. — Разве закон не на моей стороне?

16

Место, куда ходили когда-то на свидания Барт и Эди, не было, возможно, самым идеальным для романа, но имело свои практические преимущества. Прежде всего нет мест более пустынных, чем школы по ночам, а особенно школьные спортплощадки. Эта площадка была расположена довольно высоко над Платонической рекой — потоком грязной пенящейся воды, извивавшимся под рядом широких и высоких мостов, размеры которых избыточно льстили ядовитому ручью цвета глины, проте-

кавшему столь глубоко под ними. Панораму бедных районов, гетто и массивных домов характерной для города архитектуры выгодно оттеняла огромная свалка, разрывавшая монотонную гладь круто спускавшихся к воде берегов, как разрывают монотонную гладь травы цветы, а в тех редких случаях, когда солнце ухитрялось пробиться сквозь тусклый туман промышленных отходов, пивные банки и серебряные обертки вспыхивали в его лучах подобно фальшивым драгоценностям в поддельной короне. Помимо своей поэтичности, это место обладало еще и тем преимуществом, что дорога здесь превращалась в тупик, упиравшийся в сетчатое ограждение спортплощадки, позволяя не без удобств предаваться любовным утехам прямо в поставленных на стоянку машинах.

В семь часов вечера Крамнэгел стоял у площадки и ждал, как в былые времена, с той только разницей, что он не держал за спиной цветов и отлично знал, что сказать. В десять минут восьмого он начал кипеть и греметь металлической сеткой, ограждавшей спортплощадку: в четверть же восьмого его охватило настроение более философское, и он начал воображать тысячи причин, по которым Эди могла задержаться. Около двадцати минут восьмого его ослепили фары автомобиля, который, казалось, осторожно подкрадывался к нему. Он неожиданно почувствовал себя очень уязвимым: полицейская выучка вечно побуждала опасаться ловушки. Он осторожно пошел вперед. Машина остановилась, он подошел. Повинуясь нажатию кнопки, стекло опустилось, Крамнэгел наклонился и заглянул в окно.

— Привет, — сказала Эди.

— Привет, — сказал Крамнэгел. — Вылезай.

— Может, лучше ты ко мне залезешь?

Он почувствовал раздражение, но не мог не согласиться с тем, что так будет удобнее, и попытался открыть дверцу.

— Сейчас отопру, — сказала Эди после того, как он подергал за ручку.

Теперь он легко открыл дверцу и уселся на сиденье.

— Что, новая машина? — спросил он.

— Это его. Ала...

— «Кадиллак эльдорадо». Похоже, полицейские стали лучше жить. — Он принюхался. — Какими это духами пользуется Ал? И разве ему не нужна его машина?

— Ну ладно, ладно, это моя машина. Мне тут внезапно привалило.

— Привалило? Мои гонорары к тебе привалили, да? — взорвался Крамнэгел.

— И вовсе не твои гонорары. У меня тетя умерла.

— Что-то не помню, чтобы у тебя была тетя.

— Ну, может, и твои гонорары, не знаю. — Теперь настала ее очередь взорваться: — А на кой тебе черт твои гонорары? Ты их в жизни не получал.

— Ну так я написал историю моей жизни! — завопил он. — И мне за нее заплатили! А у тебя потом не хватило ни любви, ни верности, ничего! У тебя их не больше, чем у плюшевой собаки! Ты ведь думала, что я там останусь на всю жизнь, да? Убедила себя, что я никогда оттуда не выйду, да? И поддалась на хитрые речи этого Карбайда, этого подонка паршивого!

— Не говори мне о нем, — прошипела Эди.

Крамнэгел искренне опешил, сохраняя, однако, боевую готовность. Что она еще такое удумала?

— О Барт, я так несчастна, — только и выговорила Эди, а потом разразилась рыданиями.

— Я ведь очень хорошо к тебе относился, Эди. Я простил бы тебе все на свете, ей-богу, и твои измены тоже, но почему именно Ал Карбайд? Господи, почему именно Ал Карбайд?

— Я не знаю, почему именно Ал Карбайд! — истерично завопила она. — Он бьет меня! Он садист! И вечно шляется по ночам! О боже, как, должно быть, доставалось Эвелин! А стоит лишь его спросить, где он был, — бац! Левой в скулу, или правой в глаз, или ремнем для правки бритвы по заду.

Крамнэгел вдруг заметил, что она очень хитро обходит главную цель их встречи. Но он слишком хорошо знал Эди, чтобы позволить ей увильнуть.

— Где деньги? — тихо спросил он.

Эди впилась в него сверкающим взглядом. В ресницах уже гнездились слезы, подобно каплям дождя, застрявшим в листве после весеннего ливня.

— Ты ведь так и не перестал быть моим, ты ведь знаешь это, знаешь, правда?

— И разделяю эту честь с Четом Козловским и добрым десятком других... Где же мои деньги?

— У меня их нет.

Крамнэгел смерил ее ледяным взглядом.

— Ты вправду считаешь, что Ал лупит по-настоящему?

— Ты не посмеешь. Я ведь тебя знаю.

— Я тоже думал, что знал тебя, Эди. Тот я, которого знаешь ты, как раз и думал, что знал тебя. Но теперь ни ты меня, ни я тебя, наверно, не знаем. Мне нужны мои деньги, Эди. А ты мне не нужна, поверь. Карбайду, я думаю, повезло, но мне, пожалуй, повезло чуток больше. Вот так. Выкладывай. А потом я оставлю тебя в покое, пока не подсчитаю все, что ты действительно мне должна.

— У меня нет денег.

Крамнэгел смотрел на нее, переводя взгляд с одного ее глаза на другой в поисках ненасильственного решения проблемы. Драться с женщинами он терпеть не мог, разве только в целях самозащиты, столкновение же с капитаном Макарезосом сделало его нерешительным вдвойне. Эди тоже вперила в него взгляд, а потом обезоруживающе улыбнулась.

— Да, пожалуй, ты права, — нехотя пробормотал он. — Нет у меня настроения тебя бить.

— Вот-вот, я Алу так и сказала, — благодарно ответила Эди. — Если, не прибегая к силе, человек не может получить то, чего хочет, значит, он этого и не стоит.

— Как же мы все-таки договоримся? — спросил Крамнэгел.

— Поцелуй меня.

— Обойдешься.

— Ты ведь хочешь получить свои деньги, разве нет?

— Будем считать, что мне некогда.

— Ну, в память о былых временах?

Наступила пауза. Эди вполголоса, подражая манере самых хриплых исполнителей блюзов, начала напевать: «Забыть ли старую любовь... та-та... та-та... та-та...»

Он поцеловал ее в ухо — в основном для того, чтобы она перестала петь.

— Вот видите, дорогой сэр, что делает с человеком доброта? — ехидно сказала она и достала из сумочки чек.

Крамнэгел взглянул на сумму, и у него отвисла челюсть.

— Это еще что такое, черт возьми? — проревел он. — Две тысячи долларов?

— Правда, Барт, не могу же я отдать тебе все сразу, — взмолилась она. — Этот мерзавец проверяет чековую книжку каждую неделю, ей-богу, и мне вообще лучше не жить на белом свете, если он узнает.

— Но это ведь мои деньги, Эди!

— Я знаю, что они твои, Барт. И ты знаешь, что они твои. Но ты попробуй скажи ему!

— И скажу. Прямо сейчас поеду к нему и скажу.

— Барт, Барт, пожалуйста, прошу тебя. Дай мне время. Если удастся все это выдать за какие-нибудь мои причуды, он меня пару раз отлупит, но я полностью рассчитаюсь с тобой, только дай мне немного времени.

— Ты хочешь сказать, что нам придется встречаться здесь каждый вечер до следующего года и ты будешь выдавать мне по паре долларов в день на прожитье? Мне нужен капитал, Эди! Капитал! Мне, может, захочется его во что-нибудь вложить. Я, может, собственное дело заведу!

— Две тысячи долларов — это тебе не пара долларов, — горячо ответила она и взглянула на часы. — О боже, мне пора. Но я тебе вот что скажу. Приходи сюда завтра в семь, я, может, больше привезу. Пять, а то и десять. Ты уж позволь мне самой решить сколько.

— Нет, Эди, этот твой метод не пройдет, потому как я рассержусь. По-настоящему рассержусь.

— Ты мне всегда очень нравишься сердитый, — небрежно сказала она, включая мотор. — А теперь я поеду, не то он прицепится с вопросами.

— Через день-другой ему самому придется отвечать на них, Эди, — заявил Крамнэгел, открывая дверцу.

— Я люблю тебя, Большой Барт, — сказала Эди и врезалась задним бампером в фонарный столб. Пытаясь развернуть свой огромный белый автомобиль, она чуть не сбила Крамнэгела, а пытаясь объехать его, смела несколько мусорных ящиков, скопившихся по случаю забастовки местных мусорщиков.

«Одно слово — бабы», — подумал Крамнэгел, следя за тем, как машина, набрав скорость, понеслась не по той стороне дороги.

Он провел ночь в гостинице «Уэлли фордж транзиентс» — неприметном здании, состоявшем, казалось, из одних пожарных лестниц, а к семи часам вечера на следующий день снова стоял на месте романтических свиданий. Поскольку забастовка еще не кончилась, мусорные баки, сбитые машиной Эди, так и лежали на прежнем месте. Слегка моросил дождь — легкий туман висел в воздухе, как вуаль, и незаметно пропитывал одежду.

У Крамнэгела было вдоволь времени, чтобы обо всем

подумать. Чек он сдал в свой банк вместе с дорожными чеками, но оставил при себе деньги, вырванные у капитана Макарезоса. С Эди на этот раз он решил быть пожестче. Корень всех его бед — в его собственном благородстве, решил Крамнэгел, из-за чего он и страдает все время. Живешь среди жулья, надо самому быть еще большим жульем, более проницательным, и прежде всего надо быстрее преуспевать.

Вот скоро он окончательно переменится, и пусть тогда общество поостережется. Если разобраться, капитан Макарезос многому его научил. Что да, то да. Мир разделен на две команды — на «плохих» и «хороших», но, как и в футболе, некоторые игроки не подходят своим командам по темпераменту и так же неуместны в них, как, скажем, протестант, играющий за католический университет Тернового венца. В таком случае только и остается, что перебежать на другую половину поля! Крамнэгел считал, что всю жизнь был в команде «хороших», даже когда общество все перепутало и пыталось напялить на него не ту спортивную форму, но раз его верность не оценили по достоинству, то он найдет себе место там, где его оценят.

Появление «кадиллака» нарушило ход его мыслей. Крамнэгел взглянул на часы. Ровно семь. Странно. Эди никогда не отличалась точностью. Крамнэгел не пошел навстречу машине, но впился настороженным взглядом в туман, где появились огни второго автомобиля. Красная мигалка на его крыше не горела, но Крамнэгел сразу узнал полицейский автомобиль. Дело плохо.

Подъехав прямо к Крамнэгелу, «кадиллак» ослепил его светом фар и чуть не вмял в забор из металлической сетки. Крамнэгел шагнул к дверце и увидел за рулем Ала Карбайда. Сидевшая рядом с Карбайдом Эди отвернулась, пряча лицо.

— Что это значит? — спросил Крамнэгел.

— Ты арестован, Барт, — ответил Карбайд.

— Арестован? За что?

— Сам я тебя забирать не буду. За мной едет дежурный автомобиль. А я спешу на ужин.

— Может, все-таки выйдешь из машины? — сказал Крамнэгел.

Прежде чем Ал успел ответить, раздался голос из темноты:

— С возвращеньицем, начальник!

— Это кто еще там?

— Марв Армстронг.

— Привет, Марв!

Ал Карбайд выпрыгнул из машины.

— Я вовсе не приказывал тебе ехать лично, — резко сказал он Армстронгу. — Я лишь приказал, чтобы дежурная машина сопровождала машину миссис Карбайд.

— А я решил поехать сам, начальник, — непринужденно ответил Армстронг. — Вы мне не приказывали не ехать.

— Ну ладно. — Ал Карбайд был явно не в духе. — Взять его.

— Ты не считаешь, что должен мне кое-что объяснить? — спросил Крамнэгел. — И разве так я тебя учил производить арест?

— Это ты обязан кое-что мне объяснить, Барт. Ты — осужденный преступник и, согласно законам штата, должен был зарегистрироваться в полиции по прибытии. А ты этого не сделал.

— Этот закон не распространяется на приговоры, вынесенные иностранным судом, Ал, и тебе прекрасно это известно. Вот уж не думал, что ты настолько глуп.

— Да, не распространяется, но англичане могут потребовать твоей выдачи, и в таком случае мы обязаны знать твое местонахождение, чтобы отправить тебя обратно, если они решат, что ты должен отбыть свой срок до конца там.

Одна только мысль об этом вызвала у Крамнэгела внезапный приступ тошноты.

— И еще, Барт. Я не желаю, чтобы ты болтался по городу и угрожал моей жене.

— Я никогда не угрожал Эди.

— Ты заявил, что изобьешь ее, если она не даст тебе денег.

— Разве я ее избил? Я тебя бил, Эди?

Мгновенно ожившая Эди приподняла край юбки:

— Смотри, что со мной сделал этот подлец...

— Заткнись! — приказал ей Ал на тот случай, если она имела в виду его самого.

— Это мои деньги! — заорал Крамнэгел.

— Суд, который слушал дело о разводе, такого решения не выносил. Если ты хочешь получить хоть цент из денег Эди, опротестуй решение суда.

— Ах ты грязная скотина! Ты что, не знаешь, что это сбережения всей моей жизни?

— Ты мне угрожаешь?

— Ладно, Барт, пошли, — тихо, но убедительно сказал Армстронг. — Ничего хорошего ты не добьешься, если попытаешься решить все прямо на улице. Я здесь нахожусь только в качестве свидетеля, ты ведь это понимаешь, правда? И мне не хотелось бы ни видеть, ни слышать ничего такого, что потом скомпрометировало кого-либо. И так уж хватит, верно? Пошли, парень, со мной, устроим тебе адвоката и прокрутим всю процедуру в управлении, ты же понимаешь.

Крамнэгел, оказавшись в дружелюбном объятии стиснувших его рук Армстронга, сделал довольно вялую попытку броситься на Карбайда; из глубины «кадиллака» леди Макбет наблюдала за происходящим широко раскрытыми глазами.

— Пошли, Барт.

— Как мне известно, ты сумел угрозами, насилием и вымогательством получить у миссис Карбайд чек на две тысячи долларов, — холодно сказал Ал.

Тут уж Крамнэгел ринулся на него всерьез, но Армстронг мужественно удержал его.

— Ну что ж, попробуй только получить по нему деньги, — продолжал Карбайд. — И если ты не оставишь миссис Карбайд в покое, я предъявлю тебе обвинения по всем статьям, начиная с бродяжничества и кончая вымогательством. Ты видел, как он пытался напасть на меня, — сказал Карбайд Армстронгу.

— Хотите, чтобы я его отпустил, да? — довольно неожиданно спросил Армстронг. — Чтобы прямо сразу можно было пришить ему обвинение в нападении на должностное лицо?

Карбайд почувствовал себя так, будто его ударили ножом в спину, а Крамнэгел мгновенно понял, что слова Армстронга предназначались ему. Он сразу же затих и перестал вырываться. Армстронг отпустил его.

— Ладно, Марв, пошли, — сказал Крамнэгел, глядя в землю.

— Желаю вам хорошо поужинать. Спокойной ночи, Эди! — выкрикнул Армстронг.

Когда Армстронг и Крамнэгел скрылись в темноте, Ал чуть не взорвался от приступа холодной ярости. Вены на висках вздулись так, что рельефно выделялись в тусклом свете уличного фонаря.

— Садись в машину, Ал, промокнешь, — позвала его Эди.

Ал отошел от машины на несколько шагов.

— Ты хочешь, чтобы я села за руль, милый?

Ал вернулся в машину, сел на свое место, взглянул на жену и ударил ее по голове. Теперь он уже снова полностью владел собой.

— Что я такого сделала?! — взвизгнула Эди.

— Ничего особенного, но на кой ляд эта сволочь Армстронг приперся сюда сам, когда я приказал просто выслать дежурного... Нарочно приехал, разумеется. Далеко метит, мерзавец.

Эди улыбнулась сатанинской улыбкой.

— Вам, полицейским начальникам, вечно не везет ни с женами, ни с заместителями. Подумать только, сколько неприятностей у Барта из-за тебя... И из-за меня. Ей-богу, он заслуживает того, чтобы дать ему вздохнуть спокойно. Жены и заместители... Так трудно всегда от них отделываться...

Ал, в нарушение всех правил дорожного движения, развернул машину в обратную сторону, отчаянно нажимая на клаксон.

— Куда мы едем? — встревоженно спросила Эди.

— Домой. Я не хочу есть.

— Зато я хочу.

Но они поехали домой.

Тем временем в полицейской машине Армстронг рассказал Крамнэгелу все последние новости. Близились выборы в местные органы власти, и мэр Калогеро вновь выставил свою кандидатуру, хотя против него были выдвинуты обвинения в вымогательстве. И чем больше его имя связывали с подозрительными элементами, тем прочнее становились его политические позиции. Всевозможные бесстрашные журналисты, или, вернее, журналисты, которые писали так, как будто были бесстрашными, атаковали мафию, но никогда не называли имен, и каждое их выступление до такой степени дышало духом истинной демократии в действии, что не могло не рассеять сомнений читателей. Люди стали более тертыми, но оставались такими же легковерными, как всегда. Они больше не раскисали перед разряженным в пух политиканом, пощипывающим струны народных инструментов, или спустившимся на десять минут в неглубокую угольную шахту, или целующим детей, отчаянно пытающихся уклониться от этой чести. Но достаточно было подкупленному аналитику общественного мнения объявить, что в ходе избирательной кампании мэр оставил за флагом своих соперников, чтобы очень многие поверили этому, даже если

отдельные личности и высказывались против. Поскольку подобных опросов проводилось пять или шесть, а выводы их не отличались друг от друга, очень трудно было сказать, кто состоит на содержании мафии, а кто — нет. На одних догадках, разумеется, далеко не уедешь, но Армстронг полагал, что организация, помпезно именуемая Институтом народного мнения, которая постоянно подчеркивала успехи мэра Калогеро, целиком и полностью существует за счет преступного мира. Одним из ее руководителей был Милт Роттердам.

— Ал не пытался перебить мафии хребет? — поинтересовался Крамнэгел.

— Если между нами, то Ал оказывает им всяческую помощь, — ответил Армстронг.

— Кто же тогда выдвинул обвинения в вымогательстве?

— Тут уж никуда нельзя было деться — до того все далеко зашло, что шила в мешке не утаишь. По-моему, эти ребята даже сами поощряют обвинения против себя — уверены, суд их всех обелит и оправдает.

— Ты что, смеешься?

— Нисколько. Все знают: мафия существует. Но никто не понимает, что она спокойно может выйти из зала суда чище чистого.

— Кто же судья?

— Уэйербэк.

— Ясно. До того ясно, что блевать хочется, — сказал Крамнэгел.

— Еще бы. И все же, знаешь, Барт, я никогда толком об этом не задумывался, пока не стал заместителем начальника полиции.

— В том-то и дело, Марв. Никто об этом не думает. — И он с чувством вины вспомнил о том обеде с Алом. Гнев снова охватил его. Лицемер проклятый, как Карбайд тогда распинался, что Город-де надо очистить от скверны! Крестоносец, да и только. А что он сделал, когда ему представилась возможность действовать? Отхватил себе кусок поганого пирога пожирнее, вот и все.

— Что же вы, черт вас возьми, собираетесь теперь делать со мной? — спросил Крамнэгел.

— А, пустая формальность, — вздохнул Армстронг. — Как ты сам понимаешь, не я все это затеял. Ал о твоем возвращении пронюхал дня два назад...

— Дня два назад? — встрепенулся Крамнэгел. — Как же он мог узнать? Я ведь и до Города еще не добрался.

— Не знаю, — пожал плечами Армстронг. — Днем у него было совещание с мэром. Когда вышел оттуда, отвел меня в сторону и сказал, что-де Крамнэгел вернулся. Но больше ничего не говорил.

— И все?

— И все. Но он вроде очень был обеспокоен. У него ведь это всегда по венам видно.

— Да уж, эти чертовы вены.

Немного помявшись, Армстронг добавил, что, возвратясь тогда к себе, в управление, Карбайд сразу же заказал разговор с Вашингтоном.

— Он, значит, решил сообщить англичанам, — сказал Крамнэгел. — Через госдепартамент или через ФБР. Думаешь, ему удалось? — осмелился спросить он.

— Найди себе хорошего адвоката, и, даже если англичане сделают все возможное, чтобы тебя вернуть, дело о выдаче можно тянуть годами.

— Это точно, — согласился Крамнэгел. — Надо признать, лучшая в мире американская система правосудия никогда не закроет ни одного дела так, чтобы его нельзя было потом открыть снова.

— Процесс можно тянуть до бесконечности — точнее, пока есть чем платить.

— Это верно.

— Есть у тебя на примете хороший адвокат? — спросил Марв.

— Нет. — И вдруг Крамнэгел весь расцвел от радости. — Мервин Шпиндельман.

— Он сдерет с тебя сто десять процентов всех твоих доходов за последующие пятьдесят лет.

— Пожалуй, верно. — Крамнэгел заколебался. — Но я помню, как он говорил, что бывают дела, за которые он берется не ради денег, а ради славы.

— Защита бывшего начальника полиции в деле о выдаче иностранному государству и о возвращении денег? — скептически спросил Марв. — Разве на таком деле он себе славу наживет? Нет, чтобы Шпиндельман заинтересовался тобой бесплатно, надо сделать что-то действительно из ряда вон выходящее — пришить кого или еще что!

— Как, опять? Слушай, мне этих убийств на всю жизнь хватит.

— Тогда не обращайся к Шпиндельману.

Как раз в это время автомобиль огибал гигантскую бетонную чашу, которой раньше на этом месте не было.

— Что за... Эге, да никак это...

— Вот именно, стадион «Макдоналд Шнитцлер».

— Построили его наконец?

— Ага, за четыре месяца и шесть дней. Журнал «Форчун» считает, что это национальный рекорд. Строительство велось с применением сборных пластмассовых панелей, подвергнутых обработке электроимпульсами или чем-то в этом роде, черт его знает... В общем, как ни крути, а строительство обошлось на шестнадцать миллионов долларов дороже, чем предполагалось, хотя его и завершили на месяц раньше срока. Над тем, куда уплыли денежки, можешь особенно голову не ломать. Это ведь бездоходная корпорация.

— Стадион уже открыт?

— Будет торжественно открыт вечером в пятницу — большое событие в жизни Города. Команда университета Тернового венца против «Апачей Великих озер». Сам достопочтенный Дарвуд Х. Макалпин, губернатор штата, откроет матч.

— И кто будет присутствовать?

— Все.

— Ух ты, хорошо бы и мне там побывать.

Марв Армстронг окинул Крамнэгела очень серьезным взглядом: они уже находились неподалеку от полицейского управления.

— Почему бы тебе не уехать куда-нибудь ненадолго? В Колорадо-Спрингс или еще куда.

— С какой стати? — удивился Крамнэгел. — Разве мы не в свободной стране?

— В свободной, конечно, — ответил Армстронг, — но я не отвечаю за то, что может сделать Ал. А он может повести себя очень погано, Барт. Я не доверяю этому типу, когда он психует. Знаешь, не нравится мне, что творится в нашем Городе, да и во всей стране, если уж на то пошло...

— И поэтому я должен уехать в Колорадо-Спрингс? — тихо спросил Крамнэгел, когда машина уже остановилась у подъезда полицейского управления. — Я думал, если людям не нравится то, что происходит в их городе или во всей стране, то они обязаны навести порядок. Меня всегда учили, что это и есть демократия, меня всегда учили, что город принадлежит нам... Да, в общем-то, и вся страна тоже. Именно это и делает жизнь прекрасной... И значительной...

— О господи, — вздохнул Марв, — на одних этих красивых чувствах и словах далеко не уедешь, Барт. Вот

ты мог кое-что сделать, когда имел власть. Ну и сделал ты что-нибудь? Сделал?

Вот оно как все оборачивается. Крампэгел зафыркал, чувствуя одновременно и вину и раздражение.

— Конечно, я мог кое-что сделать. Я мог покончить с собой. Устроить себе харрикэри или как там оно называется. Каждый полицейский начальник разрывается между тем, что он думал раньше, до вступления в должность, и тем, что он обнаружил, когда в должность вступил. Ведь это он, начальник, оказался на ринге, а не его заместитель. Заместитель? Заместитель сидит себе спокойно, поглаживая сложенное полотенце, и надеется, что настанет минута бросить его начальнику... Мне вот приходилось мириться с Алом Карбайдом... Каждый раз, стоило мне лишь глянуть в свой угол, я знал, что там сидит человек, который меня ненавидит, который надеется, что меня побьют, надеется, что я сдамся... В общем, мне приходилось с ним мириться, и он добился своего — повезло мерзавцу. А теперь Алу Карбайду приходится мириться с Марвом Армстронгом. Не так-то все это легко, Марв. Не так-то легко.

— Знаю, все это нелегко, Барт. Поэтому и предложил тебе уехать в Колорадо-Спрингс. О господи боже, да не обязательно именно туда...

— Никуда не обязан я ехать, — коротко ответил Барт, открывая дверцу. — Давай кончать с этим дерьмом.

Несмотря на всю браваду, Крампэгелу было мучительно больно входить в это здание не начальником управления, а в ином качестве. В вестибюле больше не встречались люди в странных одеяниях. Там царила атмосфера скуки, официальности и непокоя.

— Патруля из «раввинов» больше нет? — спросил Крампэгел.

Марв покачал головой.

— И что же теперь происходит?

— Пробивают раввинам головы.

— Все как обычно?

— Вот именно.

— Понятно.

Крампэгел показал, что живет в гостинице «Уэлли фордж транзиентс», в номере 1140, и дал подписку о невыезде из города без уведомления полиции. Не уведомив

полицию, он не мог поехать даже в Колорадо-Спрингс. У него взяли отпечатки пальцев. В полицейском управлении и так, разумеется, были отпечатки его пальцев, но не в том досье. Его сфотографировали. Он сохранил потрясающую выдержку и достоинство, на прощание пожал Марву руку, сумев не разрыдаться, но, как только вышел в холодную, неприветливую ночь, слезы отчаяния хлынули градом, ослепляя его. О боже, сделай что-нибудь, заставь меня забыть об этом кошмаре! Оглянувшись по сторонам, он решил, что за ним следят. Это уж слишком! Он пошел вперед, и тот человек тоже пошел вперед. Он остановился, и тот человек остановился тоже. Стало быть, Ал Карбайд решил вести грязную игру? Отлично. Хоть этим теперь можно занять голову.

17

То была самая длинная ночь в жизни Крамнэгела, длиннее даже, чем первая его ночь в тюрьме. Находясь здесь, он чувствовал себя странно уязвимым, потому что возле самого окна проходила пожарная лестница, шпингалет же был наглухо замазан белой краской и, видно, никогда не отпирался вообще. Покрытый густым слоем пыли старый кондиционер, который Крамнэгел, вертя заржавевшие ручки, попытался включить, лишь выдал слабый запах жженой резины. После чего, дернувшись и громыхнув, замер. Включив древний переносной телевизор, установленный на трехногом столике с ножками-трубками, Крамнэгел увидел, что две программы он принимает в тройном изображении, а остальные не принимает вообще. Тем не менее Крамнэгел уселся на стул и вперился в экран, надеясь отвлечься от своих несчастий, но ничего не мог разобрать. Не находя себе места, он встал со стула и подошел к окну. Неоновые огни реклам, игравшие бликами на кружевных занавесках и полуспущенных шторах, будоражили воображение. Чудились какие-то тени на пожарной лестнице, да к тому же чем, в самом деле, прикажете дышать, если кондиционер не работает, а окно заперто. Однако не успел он прикоснуться к окну, как оно открылось само собой. Выглянув на улицу, он увидел двоих мужчин, стоявших на противоположной стороне — совсем как в гангстерских фильмах. Вообще-то было еще не очень поздно, эти двое стояли у торгующего круглые сутки супермаркета, почему бы им там и не стоять? Свободная страна, верно? Во всяком

случае, все без устали так твердят. У них полное право там стоять, а у полицейского полное право спросить, зачем они там стоят, а у них полное право возмутиться, что полицейский об этом спрашивает, а у полицейского полное право предложить им «не возникать», а у них полное право возмутиться, что им велят «не возникать», а у полицейского полное право заявить, что если не перестанут «возникать», то придется пройти, а у них полное право считать, что им угрожают, — самое время, значит, осуществить право граждан на самозащиту, а у полицейского полное право достать свой револьвер быстрее их, если ему покажется, что они полезли за оружием, и уложить их наповал, сначала, разумеется, сделав безуспешную попытку их ранить. В том-то и состоит демократия, и большая честь вернуться в ее лоно, чего бы это ни стоило. По крайней мере, шанс подраться. Да, что верно, то верно. И все же, что делают там эти двое? Они ведь даже не разговаривают. Стоят себе, как манекены, одно ясно — это не полиция.

Сидевшему на подоконнике Крамнэгелу вскоре наскучило следить за ними. Все время что-то мерещилось, но сколько он ни вертел головой, так ничего и не обнаружил. Ясное дело, нервы.

Погрузившись в раздумье, он попытался организовать свои мысли, придать им какой-то конструктивный ход, действительно «продумать все до конца», но ничего не получалось. Слишком глубоко погрузился он в хаос и уже не мог разглядеть своих врагов, таившихся в руинах прежде столь упорядоченного существования. Армстронг ему друг, в этом он был уверен. Он всегда хорошо относился к Армстронгу и продвигал его по службе, так ведь? Хотя напоминать сейчас об этом некому, разве только самому себе. Но что это за игру ведет Эди, помимо, разумеется, извечной женской игры? Неужели Ал действительно поверил, что Крамнэгел жестоко с ней обошелся, или это просто предлог? Действовали они заодно или каждый за себя и друг против друга? И откуда пронюхал о его возвращении мэр? Что он за важная птица! В светской колонке, что ли, о его приезде написали? У них есть корреспондент в Галвестоне?

И, помимо всего прочего, откуда такая враждебность к нему? Господи боже, или это не Америка, где сбережения человека святы, а чувство собственного достоин-

ства — прирожденное право? И что это за суд, который заочно лишает человека накопленных за всю жизнь денег только потому, что его как чужака упекли в тюрьму за тридевять земель? Э, нужно обзавестись хорошим адвокатом. И все же разве не оставалась до сих пор Америка единственной в мире страной, где человек вправе все делать для себя сам, страной с великим духовным наследием пионеров, страной, где человек вбивал в землю заявочный столб и защищал собственной кровью и свою заявку, и женщин, и детей в своем фургоне? И кому нужен адвокат, если простому, говорящему простым человеческим языком человеку смелости не занимать, если он может высоко держать голову, громко, вслух высказывать все как есть — по-мужски. Рокфеллеры не спихивали на адвокатов то, что могли делать сами, потому и нажили свои капиталы. Адвокаты расплодились вместе с городами и с растущими страхами. В каком-то смысле они даже явление антиамериканское, хотя и сумели втереться в самую сердцевину американского образа жизни. Наступил век посредника.

Крамнэгел решил удивить всех. Ведь получил же он от благодарного Города памятный адрес (надо бы напомнить Эди, чтобы вернула). И он был весьма высокопоставленной личностью, лишь попал в трудный переплет. Он пойдет к мэру и изложит свое дело прямиком. «У меня ведь всегда были довольно хорошие отношения с мэром Калогеро, — подумалось Крамнэгелу. — Ну, не то чтобы очень хорошие... Но довольно хорошие».

Он выглянул в окно. Те двое все еще стояли там же. Один из них переминался с ноги на ногу. Да, не какие-нибудь призраки. Что же им, черт, еще там делать, как не следить за ним? Да, сказал себе Крамнэгел, впредь, что ни случись, он больше никогда не будет менять решений. Нерешительность производит впечатление слабости. Хороший всегда хорош, а плохой всегда плох, и вместе они не... * Ясно? Он отошел от окна, чтобы дать своему внутреннему «я» повнимательнее вслушаться в эти рассуждения.

Через некоторое время он снова выглянул в окно и увидел, что те двое исчезли. Символично! И дышать стало как-то легче. Он пристроился в кресле поспать, но телевизор не выключил. На экране не было изображения, лишь бился, как сердечная мышца, маленький световой

* Перефразировка строк Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе они не пойдут».

пульс. Закрыв глаза. Крамнэгел погрузился в тяжелый, без сновидений сон, но то и дело просыпался, потому что в комнате становилось слишком тихо, а тишина вызывала беспокойство. Когда небо посветлело, сон стал ровнее. Человеку, который спит один, забившись в нору, днем спать не так страшно.

Проснулся Крамнэгел раньше, чем ожидал, и решил отправиться прямо к мэру. Позавтракав в закусочной, сел около половины девятого в такси и поехал к зданию муниципалитета. По дороге все озирался по сторонам, выясняя, нет ли слежки, но, в общем-то, он мало сейчас об этом беспокоился, так как наметил план действий на ближайшее будущее. Поднявшись на шестой этаж, он обнаружил за столом секретарши незнакомую девушку.

— Привет, — сказал он, — а где мисс Шопенгауэр?

— Она вышла замуж и уволилась. А меня зовут Миртл Коллирис.

— Гречанка?

— Греческого происхождения. Из Коринфа. Мама из Спарты. А вы тоже со старой родины?

— Нет. Большой человек у себя?

— Вы его так называете? Сейчас спрошу. Как вас представить?

— Начальник... Мистер Крамнэгел то есть.

— Будьте добры, пожалуйста, по буквам.

Крамнэгел нехотя продиктовал ей свою фамилию по буквам. Да, многое здесь изменилось, пока его не было. Секретарша-гречанка оказалась настолько неквалифицированной, что, заставив трижды сказать фамилию по буквам, не могла потом прочесть то, что записала. В конце концов ему пришлось самому прорычать свое имя в аппарат внутренней связи. Мэр сразу же и, казалось, с некоторым облегчением предложил войти. Крамнэгел, приободрившись, постучал в дверь. Войдя, он, однако, был несколько изумлен тем, что его разговор с мэром будет происходить при свидетелях. В кабинете находились Милт Роттердам, Джо Тортони и судья Уэйербэк. Все они дружелюбно улыбались.

— Ну, как поживает наш милый каторжанин? — спросил мэр.

Все остальные захмыкали. Это шутки такие?

— Я вроде вам помешал, парни? — сказал Крамнэгел, переводя взгляд с одного на другого.

— Не переоценивайте собственную значимость, Барт, — ответил мэр. В его манере говорить и держаться

было нечто неописуемо безобразное. — Находитесь вы здесь или за дверью, не имеет ровно никакого значения, знайте же это.

Прежде чем Крамнэгел нашелся с ответом, зазвонил телефон. Мэр поднял трубку.

— Вас просит мистер Шиллигер, — сообщила мисс Коллирис.

— Соединяйте. — В предвкушении разговора мэр дружелюбно улыбнулся. Когда секретарша соединила его с Бутсом Шиллигером, мэр заговорил, пересыпая свою речь такими ругательствами, что, казалось, беседа ведется условным кодом. Крамнэгел нахмурился. Это еще что такое? Сидит здесь, весь ухоженный, наманикюренный, хорошо одетый, и так грязно выражается. Грязно? Даже не просто грязно, а грязнее некуда!

— А, да, конечно, только что явился, — сказал мэр, глядя на Крамнэгела и не удосужившись выругаться — из уважения, надо полагать, к столь выдающемуся гостю. — Да, я ему скажу... господь с вами... Подумаешь, кто он такой? Так, никто, пустое место... Плевка не стоит... — Затем ругань возобновилась и не прекращалась до самого конца этой содержательной беседы.

— Я никогда не слышал, чтобы вы так грязно выражались, мэр, — заметил Крамнэгел, когда тот положил трубку. — Что это на вас накатило?

— Я вас шокировал? — поинтересовался мэр, поправляя галстук с монограммой, вышитой готическими буквами.

— Да нет, меня шокировать не так-то легко, но вроде бы человек, два года подряд получавший звание «Лучший отец штата»...

— Включите-ка музыку, Милт, — перебил мэр. Когда комнату залили размороженные звуки консервированной музыки, мэр включил стоявший на столе крохотный японский телевизор на транзисторах, по миниатюрному экрану забегали зверьки какого-то мультфильма.

— Вы что, собрались здесь телевизор смотреть? — спросил окончательно обескураженный Крамнэгел.

— Наклонитесь поближе, — приказал мэр.

Крамнэгел повиновался.

— Вы спрашиваете, почему я так грязно ругался? Вам, вероятно, известно, мне предъявлено обвинение в вымогательстве. И у меня есть все основания полагать, что мой телефон прослушивается ФБР... А я не желаю, чтобы пленки с записями моих разговоров прокручивали

по телевидению или во время расследования в сенате, ясно? Они в итоге ничего, кроме повизгивания, не услышат. Вот почему я грязно выражаюсь, а вовсе не потому, что грязно думаю. При своих детях я так не выражаюсь никогда.

— Ясно, — сказал Крамнэгел, — здорово придумали.

Тортони и Роттердам тоже наклонились поближе, чтобы лучше слышать разговор, а судья Уэйербэк держался в стороне, как бы подчеркивая, что оказался в этой зловещей комнате лишь в силу какой-то таинственной причины и ничего не властен изменить.

— Значит, считаете, я здорово придумал, — сказал мэр. — На чьей же вы стороне, Барт?

Ну, вот опять. Крамнэгел насупился. Удивительно, все только об одном и спрашивают.

— Почему вы спросили об этом, мэр?

— Ведь это вы предупреждали меня, что Ал Карбайд жаждет разгромить организованную преступность, помните? — Мэр сделал звук погромче и быстро обежал глазами комнату. — Имена всякие называли...

— Да, конечно, припоминаю кое-что, — согласился Крамнэгел.

— Итак, я всего лишь хочу сообщить вам, что лучшего начальника полиции, чем Ал Карбайд, в нашем городе не бывало. Спокойный, толковый, не суется в чужие дела, и я благодарю небо с того дня, когда он вступил в должность.

Тортони и Роттердам кивнули в знак согласия и посмотрели на Уэйербэка, который тоже вынужден был проявить свое отношение к обсуждаемому вопросу. Крамнэгел почувствовал, как поднимается в нем волна холодного гнева, но на этот раз он был уверен, что безупречно владеет собой.

— Очень рад это слышать, — сказал он, — поскольку всему, что умеет, Ал научился у меня.

— Не в том дело, кто, где и чему научился, а в том, кто что собою представляет, — прорычал мэр. — Ал — не осел в отличие... Докончить фразу можете сами, Барт.

— Только за этим вы меня и позвали? — Крамнэгел поднялся со своего места.

— Я вас не звал. С какой стати мне было звать вас? Вы пришли сюда по своей воле. Я проявил по отношению к вам любезность, не больше. Да: я проявил любезность, Барт, но на этом все. Вам нужна работа? Очень

жаль, но для такого кретина, как вы, в нашем городе работы нет.

Тортони и Роттердам согласно кивнули.

— Не убавите ли вы звук в телевизоре? Я бы хотел, чтобы ФБР услышало то, что я вам сейчас скажу, Калогеро, — громко и отчетливо промолвил Крамнэгел.

Тортони и Роттердам порозовели от восторга, и даже Уэйербэк повернулся посмотреть на него.

— То, что вы спелись с Карбайдом, вполне естественно. Он обвиняет вас в вымогательстве и выглядит праведником божьим, а к тому времени, как судья Уэйербэк вас обелит, все будут уверены, что ваша шайка — щедрейшая благотворительная организация после Международного Красного Креста.

— А вы имеете представление о том, сколько мы каждый год даем на благотворительные цели? — проревел Калогеро, а Тортони поспешно усилил звук расконсервированных скрипок.

— Жалкую долю того, что должны бы платить в качестве налогов. Это ведь воровство по-американски — дать, чтобы утаить, сколько ты сумел огрести! — гремел в ответ Крамнэгел. — А сколько вы прикарманили при строительстве стадиона, если это не секрет фирмы?

— Стадион, к вашему сведению, является бездоходной организацией! — заорал Калогеро.

— Естественно. Я потому и понял, что дело нечисто.

— Убирайтесь вон! Хотя нет, подождите! — добавил Калогеро, понизив голос и сделав жест рукой. Тортони убавил звук. — Я настойчиво рекомендую вам покинуть город, — рассудительным тоном произнес Калогеро.

— На каком основании?

— Ну, скажем, на основании здравого смысла.

— То есть?

— Почему бы вам не вернуться в Европу, Барт? Она ведь, кажется, пришлась вам по вкусу.

— Вы шутите или всерьез?

— Только в следующий раз я бы на вашем месте отправился на борту обычного пассажирского лайнера. Это, конечно, дороже грузового парохода, но много удобнее. Да и искушений меньше...

Крамнэгел чуть улыбнулся. Слова мэра произвели на него впечатление. Да, греков продавать нельзя.

— Что ж, теперь ясно.

— Наконец-то.

— Да, мафия работает быстрее, чем светская хроника, скажу я вам.

— Ни те, ни другие не заинтересованы в вас как в личности, Барт. Что до меня, не привык я тратить время на идиотов, которые суются не в свое дело. Да и мелких воришек не люблю. И неблагодарных людей тоже. А когда все эти качества соединяются в одном человеке, то я нахожу, что от него смердит. У меня, видите ли, есть совесть и весьма высокие принципы. Мои дети гордятся мною. А вы можете сказать то же самое о себе?

— Детей у меня нет, но я вам скажу вот что...

— Вы можете идти, Барт.

— Я уйду, не беспокойтесь. Просто хочу, чтобы вы знали: я вас не боюсь, никого из вас не боюсь.

— Вам же хуже, — пожал плечами Калогеро.

— И вы зря назвали меня кретином.

— Это уж мое дело.

— Я люблю наш Город... И помню слова, которые вы говорили на обеде в мою честь, прекрасные слова, и шли от самого сердца, и были правдой. — Крамнэгел почувствовал, как, несмотря на всю решимость, глаза наполняются слезами. — И скажу: я ненавижу вас за то, что вы делаете с нашим Городом... Ненавижу.

Дернув за узел галстук, Калогеро распустил его и заговорил с суровым достоинством:

— А что я делаю с нашим Городом? Да знаете ли вы, мы заняли третье место в стране по количеству пожертвований на душу населения на войну в Юго-Восточной Азии? А по весу собранных книг и журналов — второе. И я, по-вашему, должен прятаться со стыда, потому что вы ненавидите меня за то, что я делаю с нашим Городом?

— При чем здесь эта проклятая война? Разве мы о ней говорим? Мы говорим о Городе!

— Наша страна воюет, — заявил Калогеро. — Значит, воюет и Город.

С улицы донесся шум. Шум, который возникает, когда тысячи людей идут по улицам.

— Вот вам ваша война, — сказал Крамнэгел. — Прямо как по заказу. Я вас оставляю, воюйте на здоровье. Большой привет!

Мэр бросился к окну.

— Выключите музыку. И телевизор. Эти длинноволосые сукины дети из университетов штата и Тернового венца! Вот дерьмо! На сегодня никаких демонстраций не

разрешено. Ну, они у меня допрыгаются! Пусть только что-нибудь выкинут — и я сразу обращусь к Дарвуду за полицией штата.

— Прекрасно! Оставляю вас воевать с детишками. Не хочу портить вам удовольствие, — бросил Крамнэгел у двери.

— Когда моя страна ведет войну с внешним врагом, я не должен спрашивать, кто мой враг и почему он мой враг, я должен лишь помочь сокрушить врага, — заявил Калогеро голосом, дрожавшим от праведного гнева.

Роттердам кивнул, а Тортони инстинктивно вскочил со стула. Только Уэйербэк неловко заерзал в кресле.

— Прекрасная мысль, — зло сказал Крамнэгел. — Большое удобство найти внешнего врага так близко.

Он вышел из кабинета и спустился в вестибюль.

Положение его определилось, и сразу стало легче. Вокруг водоворотом крутились толпы участников марша протеста, и в этом водовороте поблескивали на солнце пластмассовые шлемы людей Ала Карбайда из подразделений по разгону демонстраций — они пытались предугадать, куда хлынет масса студентов, чтобы не дать ей сбить себя с занимаемых позиций. Появилось несколько конных полицейских — лошади нервно вздрагивали, чуя нарастающее напряжение. Одни студенты скандировали лозунги, и в их голосах неукротимо нарастал рев джунглей. Другие добродушно улыбались — казалось, бурлящий поток захватил и увлек их случайно. Какая-то девушка самозабвенно изображала пантомимой уничтожение «зелеными беретами» вьетнамской деревушки. Вскоре она неподвижно застыла в луже красной краски, создавая картину ужаса, убедительную для тех, кто способен легко ужасаться. Постепенно взгляды обращались вверх — и студенты, и полицейские следили, прикрывая ладонями глаза, за атлетического сложения парнем, карабкающимся по флагштоку на крыше ратуши.

К удовольствию Крамнэгела, появление мэра Калогеро у окна кабинета было встречено громким свистом. Мэр повернул голову, глянул вверх и, увидев на флагштоке студента, крикнул, чтобы тот убирался к чертовой матери. Раздался очередной взрыв иронических комментариев и одобрительных восклицаний, за которыми последовали победные возгласы, когда на флагштоке развернулся и заполоскал на ветру флаг Северного Вьетнама.

Поскольку Крамнэгел никаких других флагов, кроме американского, не знал, он принял сей подрывной сим-

вол, взвившийся над городской ратушей, за знамя университета Тернового венца и возрадовался мысли о том, что мэру не очень-то удается взять верх над своим внешним врагом в этой войне.

Не желая быть втянутым в происходящее, он стал отодвигаться от центра событий — можно ведь наблюдать демонстрацию и издалека, с другой стороны площади. Но вдруг, перекрывая шум толпы, до него донесся небесный звук храмовых колокольчиков, и, обернувшись, он увидел группу буддистов, которые медленно и задумчиво брели в его сторону, отмеряя каждый свой шаг так, как будто он подводил их все ближе к вечной истине. В его мозгу сразу всплыли странные, но почему-то запомнившиеся слова Арни Браггера о дарованном этим людям «божественном озарении».

Возглавлял этот мерный, сопровождаемый песнопениями марш человек огромного роста, голова у него была небольшая, обритая наголо, переносица вымазана краской, а в выражении лица соединились доброта, юмор и самоосуждение; это выражение резко контрастировало с его могучим телом, явно предназначенным природой для содержимого менее возвышенного, но более бурного и агрессивного.

— Не купите ли благовония, чем окажете помощь нашему храму? — обратился он к Крамнэгелу.

— Чего-чего?

— Благовонные палочки, — пояснил буддист голосом, звучащим, как тихое журчание воды. — У нас есть жасминовые благовония, сандаловые и олеандровые, но, честно говоря, пахнут они все одинаково.

— У меня и дома-то нет, — ответил Крамнэгел, позволив прорваться в свой голос оттенку горечи. — Какие уж там благовония...

Стайка улыбающихся и звенящих колокольчиками девушек окружила его.

— Помолитесь вместе с нами в нашем храме. Это наш единственный дом, — объяснил гигант, в глазах которого застыло выражение чудовищной доброты.

— Вы что, буддисты будете? — спросил Крамнэгел.

— Мы принадлежим к секте Колодца бесконечных раздумий, — ответила одна из девушек.

—Ну да, помню, я вас частенько выставлял с автостоянок и всяких прочих мест. Я ведь был начальником полиции этого сумасшедшего города.

— Мы никогда не спрашиваем людей, кем они были,

мы спрашиваем только, кем они хотят быть, — нараспев произнес гигант и промурлыкал коротенький гимн, подхваченный остальными. Крамнэгел тут же принял почтительную позу. Он питал глубочайшее уважение к верованиям других. А как же — в свободной стране нельзя иначе.

— Вы-то сами, юноша, смахиваете на морского пехотинца, — заметил он.

— Все это уже в прошлом, — улыбнулся гигант. — А теперь я обрел смысл жизни, и все, что было раньше, ушло, как болезнь.

— Но все же — для справки — вы служили в морской пехоте?

— Справок нет, есть только истина.

Буддисты пропели еще несколько строк гимна и снова зазвонили в колокольчики.

— Я был во Вьетнаме, — пояснил гигант, чтобы утешить Крамнэгела. — Нам говорили, что мы отправились туда с напалмом и ракетами, чтобы учить, но я вернулся оттуда, научившись сам, научившись любви и нужде... Я прозрел духовно. Христианство было хорошо до поры до времени, но оно продалось, изгадилось, стало дешевкой и превратилось в орудие ненависти.

— Продалось?

— Всегда ведь присутствовал священник, чтобы похоронить мертвых и проводить на бойню новую партию живых. Один и тот же священник делал и то и другое, причем одними и теми же словами и с тем же лицемерием перед властями предержащими, козыряя своим авторитетом от имени всевышнего и готовя нас к судному дню — величайшему военно-полевому трибуналу. Не напоминайте мне обо всем этом. — Он ожесточенно взмахнул колокольчиком, и мирная песнь вырвалась из уст молчавших доселе людей, и те принялись воспевать жизнь, подобно любовникам.

К этому тихому мадригалу вдруг присоединился разноголосый, бьющий в уши рев многих голосов, скрипучий, резкий и безжалостный. Через площадь покатилась волна строительных рабочих — хулиганье в спецовках и в металлических касках, размахивающее американскими флагами. Увидев перед собой студентов, они с марша перешли на бег — зловещий медленный бег, напоминавший атаку пехоты в какой-то давно забытой войне. Их лица были лицами людей, не приемлющих ни доводов,

ни возражений. Эти лица дышали самодовольством лабораторных крыс, обученных без раздумий и колебаний вбегать в дверку, на которой намалеваны звезды и полосы. Им чужды были сомнения, а потому чужда и человечность. Последний оплот реакции всегда состоит из унтеров, а не из офицеров. Когда офицеры уже давно признали и поняли неотвратимость перемен, вызванных к жизни солидарностью рода человеческого, унтеры все еще цепляются за старый мир, поклоняются шаманам и раскрашенным идолам, оставаясь жертвами своего воинствующего рабского сознания, выкрикивают лозунги, не задумываясь ни над словами, ни над их содержанием. И вот они здесь, вот они несутся во всю прыть, раскрасневшиеся от радостного сознания, что они — в деле, опьяненные ненавистью к бесконечности человеческой мысли и души, лежащей за пределами их разумения.

Крамнэгел и буддисты оказались как раз перед атакующей толпой. Неподалеку стоял заслон из полицейских, но ничто больше не преграждало нападавшим дорогу к студентам-демонстрантам.

— «Я не боюсь...» — запел гигант, и остальные подхватили песню. Первая волна пронеслась мимо них: внимание нападающих было всецело поглощено студентами и оскорблявшим патриотические чувства флагом, который развевался над ратушей. На секунду показалось, что атака вообще минует буддистов. Однако за первой волной медленно приближался плотный клин воинственно настроенных людей, среди которых мелькали армейские ветераны в форменных фуражках, но в штатских костюмах. Эта последняя волна захватила Крамнэгела и буддистов и понесла их к студентам, а вместе с ними и наряд полиции.

— Почему вы не на фронте, не в Индокитае? — обращаясь к гиганту, с ненавистью, раздувая ноздри, завопил джентльмен в форменной фуражке, на которой было написано «Окинава».

Буддисты запели самый мирный свой гимн.

— Вперед, ребята! — завопил Окинава и ударил буддиста, но тот лишь улыбнулся в ответ.

— А ну прекрати! — выкрикнул Крамнэгел, твердо решивший встать на сторону Христа.

— А ты кто еще такой?

— Слышал, что тебе говорят? Прекрати! Этот парень не хочет воевать, и ты не имеешь права заставлять его.

— Ты в этом уверен? — издевательски спросил Окинава, нанося буддисту очередной удар.

Крамнэгел сгреб Окинаву за ворот, захватив рубашку, галстук и лацканы пиджака в свой огромный веснушчатый кулак.

— Отпусти! — затрясся Окинава.

Один из строительных рабочих с размаху ударил Крамнэгела по голове своей металлической каской. Крамнэгел рухнул на землю. Затем они бросились на гиганта.

Крамнэгел, шатаясь, поднялся на ноги, из разбитой головы текла кровь. Он крикнул полицейским, сдерживавшим нескольких неистовых джентльменов в форменных фуражках:

— А ну, ребята, давай сюда!

Полицейские посмотрели в его сторону, но никто и с места не сдвинулся.

— Да вы что, идиоты, оглохли?

Крамнэгел начал протискиваться к ним сквозь толпу.

— Вам что, так приказали, да? — завопил он прямо в лицо ближайшему полицейскому. — Помните меня, нет? Начальник полиции Крамнэгел! Если вы сейчас же не разгоните эту сволочь, я из вас кишки вместе с дерьмом выпущу!

Полицейским было явно не по себе, но с места они не двигались.

— Что, никогда не слышали слова «долг»? — продолжал орать Крамнэгел. — Или Карбайд уже перестал поминать его? Да мне сегодня просто стыдно, что я — американец... Стыдно!

Один из полицейских беспомощно пожал плечами.

— Что, что ты сказал? — крикнул Крамнэгел, прижимая ухо к пластмассовому шлему.

— Пожалуйста...

— «Пожалуйста»! — с отвращением повторил Крамнэгел и повернулся к гиганту. Гиганта уже не было, была кучка ожесточенных людей в фуражках и шлемах, которые яростно топтали что-то лежавшее на земле. Ослепленный яростью, Крамнэгел ринулся в толпу. На земле лежал гигант, растоптанный, бездыханный. Одна из девушек, пытавшаяся защитить его, лежала рядом. Толпа вела себя как племя дикарей-охотников, упивающихся победой и опьяненных кровью; ноздри раздувались от первобытного запаха убийства, все чувства напряглись в жажде уничтожения. В воздухе пахло радостью побоища, звучал торжествующий смех, жестокий и неумолимый,

смех, заменяющий слезы. Лица были ужасны, на них не отражалось ничего, кроме смеси абсурдных, непристойных и отвратительных инстинктов. Все разумное было поглощено чудовищной отрыжкой подсознания. С упрямством отчаяния Крамнэгел снова сгреб Окинаву. Он ненавидел это лицо, а фуражка просто оскорбляла взор. Он уставился в истеричные, пустые, несчастные глаза своего противника, как бы пытаясь понять, что же превращает человека в жалкого, тоскливо-одинокого моралиста от замочной скважины, оскверняющего своим уродством все и вся вокруг и при этом считающего, что он оказывает обществу услугу. Крамнэгел сорвал с него фуражку и швырнул ее подальше, в бушующие волны человеческого моря.

— Это же моя фуражка! — завопил Окинава так, будто его кастрировали.

— А это, — рассудительно ответил Крамнэгел, — твое рыло! — И с этими словами ударил так жестоко и злобно, что тот исчез в джунглях топочущих ног и вещей, утративших владельцев. Гиганту уже было не помочь, но Крамнэгел дрался как никогда в жизни — даже в тюрьме схватка не доставила ему такой радости. Там он просто спасал свою шкуру, выпутываясь из недоразумения, здесь же он выступал единственным представителем света, чести, благородства. Он знал, что делал, и поэтому ощущение радости и сознание справедливости сопровождали каждый его удар. Но силы тьмы, увы, превосходили его силы. Неожиданно в дело вмешалась полиция. И вовремя: Крамнэгел уже еле стоял на ногах. Пытаясь удержаться, он повис на каком-то рабочем, который не мог отцепиться от него, чтобы сбить наземь.

— Встань и дерись! — хрипло и заунывно кричал рабочий. Крамнэгел расхохотался, прижимая его к себе, как партнершу на танцплощадке. Он смеялся над собственной хитростью и над растерянностью противника. Но огонь схватки уже догорал.

Толпа издала громовой рев, затем площадь, словно мантией, окутало тишиной.

— «О, зришь ли ты... в лучах зари...» * — вырвался из тысячи глоток единодушный рев.

Одним полузакрытым глазом (второй уже не открывался вообще) Крамнэгел успел заметить, что оскорблявший чувства патриотов флаг Северного Вьетнама за-

* Начальные слова «Звездного знамени» — национального гимна США.

менен восстановленным на своем законном месте звездно-полосатым полотнищем, а на крыше, прижав к груди желтые каски, стоит группка строительных рабочих.

Находившиеся в толпе полицейские в чистеньких, не запятнанных побоищем мундирах один за другим снимали свои пластмассовые шлемы и, прижав их к сердцу, пылко включались в исполнение гимна.

Закрыв свой зрячий глаз, Крамнэгел успел пробормотать, прежде чем потерял сознание:

— Ну, теперь уж меня ничем не удивишь...

18

Когда Крамнэгел открыл глаза, вокруг было белым-бело. Запах лекарств убедил его, что до встречи с Создателем еще достаточно далеко. А жаль. Как раз сейчас он и был бы наилучшим образом подготовлен к такой встрече. А ведь это не каждый день бывает. Гордый тем, что сумел подумать о столь важных вещах в такой момент, он попытался шевельнуться. Стало не до смеха. Чувствовал он себя намного хуже, чем даже после избиения в тюрьме. Огляделся по сторонам, пытаясь не шевелить забинтованной головой, и увидел наблюдавшего за ним человека в штатском. С трудом сосредоточив взгляд, узнал Армстронга, державшего в руке какой-то конверт.

— Это ты, Марв, — сказал он не без горечи. Он очень был зол на полицию.

— Здравствуй, Барт.

— Что это у тебя в руке, ордер на арест?

— Билеты.

— Билеты? Не понимаю.

— Билеты на самолет... В Колорадо-Спрингс.

Вот ведь сентиментальный сукин сын. Но золотое сердце. На своем месте человек сидит.

— Почему именно в Колорадо-Спрингс, скажи на милость? Что там такого хорошего?

— Просто я знаю это место, Барт, вот и все. И оно мне нравится. И тебе, я думаю, понравится там немножко пожить.

Крамнэгел попытался состроить гримасу, но стало очень больно, да и нервам, управляющим мышцами лица, было не до гримас.

— Так это что?.. Хорошее местечко для пенсионеров... гольф по расписанию, карты, телевизор...

— Да нет же, нет! — вскричал Марв. — Просто чу-

десное место с замечательным климатом. Я ведь сам туда ездил, а не отца своего посылал.

— И кого я должен благодарить за это? Мэра?

— Билеты от имени всего полицейского управления...

— Включая Ала.

— За исключением Карбайда.

Крамнэгел вздохнул.

— Очень мило со стороны рэбят, Марв, но... Помнишь, что со мной случилось в тот единственный раз, когда я получил подарок от всего управления?

— Ты же не собираешься застрелить кого-нибудь в Колорадо-Спрингс?

— Нет, — загадочно ответил Крамнэгел, — должен сознаться, что я скорее сделаю это, если останусь здесь.

— Вот и я о том же.

— И все-таки...

— Ну, не обязательно в Колорадо-Спрингс, Барт. Куда угодно, где тебе больше нравится, но уезжай хоть ненадолго. Эти билеты можно обменять на любой другой рейс той же стоимости. Пожалуйста, Барт, ненадолго ведь...

Крамнэгел подумал с минуту. Да, что ни говори, а в друзьях у него недостатка нет. И все же в поспешности этого предложения было нечто, вызывавшее беспокойство. Угрожала ли его жизни какая-то опасность, или Армстронга беспокоила его возможная реакция на ход событий? Он слегка нахмурился. У него был прекрасный нюх, иногда этот нюх превращался в проницательность — это, конечно, когда он был в хорошей форме и ничем не удручен, а не такой усталый и взвинченный.

— Что там с этими буддистами, Марв? — внезапно спросил он.

Армстронг нервно заерзал на стуле и невольно отвел глаза в сторону. Крамнэгел, чутко на все реагирующий, посмотрел в ту же сторону и увидел, что соседняя кровать отгорожена ширмами.

— Что с тем огромным парнем? — стоял он на своем. — Ну, который Христос.

— Христос?

— Ну, тот здоровый детина, который все подставлял другую щеку.

— Да, шум, конечно, поднялся по этому поводу изрядный, Барт, — поколебавшись, сказал Армстронг.

— Шум, значит, поднялся?

— Могу тебе и сказать... Он умер.

Наступило долгое молчание.

Крамнэгел не сводил с Армстронга взгляда — безжалостного, страшного и торжественного.

— Ты ведь знаешь, Марв, кто убил его? Убило полицейское управление.

Вот уж с этим Армстронг не мог согласиться.

— Ну, сейчас ты заходишь слишком далеко, Барт.

— Послушай, я ведь там был!

— Знаю. Мы там тебя и нашли.

— Могли бы найти и раньше. И не дать им избить меня. И не дать им убить того огромного парня.

— Может, поэтому ребята так быстро и согласились скинуться тебе на билеты, когда я предложил. Им очень неловко, что так случилось.

— Неловко? Да они даже не узнали меня!

— Узнали, и еще как!

— Но у них был приказ... Я ведь не ошибся, нет?

Лицо Армстронга стало жалким.

— Все мы выполняем приказы, Барт, ты же знаешь. Правда, не забыл еще? А мэр вызвал полицию штата. Они тут ранили пару студентов. Слава богу, не убили никого. Для одной уличной стычки и того парня хватит, но на нас накинулась вся пресса, все крупные телекомпании и газеты. На улице каждый второй прохожий — репортер с микрофоном. Но прежде, чем они успели опубликовать хоть строчку, городские власти уже обвинили их в предвзятости.

— Сдай билеты обратно в кассу, Марв, купи своей жене новую шляпку. Я никуда не поеду.

— Барт, ради бога, только не злись...

— С чего мне злиться? Мне дали семь лет тюрьмы за то, что я застрелил человека при самообороне, а здесь кучка шпаны в идиотских шапках забила насмерть беззащитного парня, и никто ничего им не сделает, потому что они ветераны и знают наизусть все четыре куплета «Звездного знамени». Ни хрена себе справедливость! — заревел Крамнэгел, разбрасывая простыни и пробуждая к жизни тяжелобольных на соседних койках.

— Нам просто необходимо выждать, — взмолился Армстронг, пытаясь привести в порядок простыни. — Выждать, пока займем достаточно влиятельное положение, чтобы суметь что-то сделать.

— Это я уже слышал. Все мы так говорим, пока карабкаемся наверх, но как заберемся и начнем ходить по канату, только о том и думаем, как бы не упасть, потому

что выпасть из милости — штука очень болезненная. Ал Карбайд тоже любил красивые слова, пока не пробился наверх. А теперь он на все сто — человек мэра. Знаешь, кто мне сказал это? Калогеро, собственной персоной. Так что брось ты, Марв, если уж убивают, так пусть хотя бы тех, кого надо. Нечего тратить пули на невинных, когда виновные разгуливают себе как хотят, с полными карманами денег и кредитных карточек...

— Да, кстати, у меня для тебя новость, — перебил Армстронг, пытаясь перевести разговор на другую тему. — Помнишь, ты просил узнать, как Ред Лейфсон потерял ноги? Я выяснил — он попал под трактор на ферме, когда ему было десять лет.

— Какое мне сейчас дело до его ног?

— Ты же меня просил, вот и все.

— Я помню, я, черт побери, все прекрасно помню. Кто отвечал за регулировку уличного движения в тот день, когда я улетал в Европу? Четырнадцатого мая? Не ты ли, Марв?

— Да так сразу и не скажу.

— А я скажу. Я даже это помню. У тебя на развилке шоссе образовалась черт знает какая пробка, а дежурного вертолета и близко не было.

— Да, точно, — подтвердил Армстронг, — как раз в тот день у вертолета полетел сальник, и шесть машин врезались одна в другую. Двое погибло.

— У тебя тоже память ничего, только кому теперь до этого дело, кроме, может, родни тех двух погибших, да и те, наверное, совсем о другом думают. У людей короткая память, Марв, в том-то и беда. Все забывают, притворяются, что ничего не видят. У них на глазах человек истекает кровью, а они про себя решают: пусть это расхлебывают власти — полиция, «Скорая помощь», кто угодно... Зачем самим ввязываться? Это ведь может отнять время — не меньше, чем заседание в суде присяжных. Кому охота? Что ж, — теперь он говорил медленно и пугающе четко, — мы должны сделать так, чтобы люди не забывали.

— И как же ты собираешься это сделать? — непринужденным тоном спросил Армстронг.

Крамнэгел смотрел на него своими жуткими глазами, жуткими оттого, что они по таинственной и неизъяснимой причине казались счастливыми.

— Тот буддист не имел никакого права обременять

нас своей смертью, Марв. Но раз уж он умер, то мы обязаны воздвигнуть ему подобающий памятник.

Армстронг не мог отвести от Крамнэгела взгляда, а тот, чуть покачивая головой, вещал веско и убедительно, словно сама судьба.

— Еще один вопрос, Марв. Откуда вдруг взялись эти строительные рабочие? Что здесь такое большое строят? Этих сукиных детей набежало сотни четыре, а то и пять...

— Чтобы закончить стадион вовремя, организовали двойные смены...

— Чтобы успеть его завтра открыть?

— Ага.

— Вот видишь, — сказал Крамнэгел, — все сходится, как по нотам. Я и сам бы лучше не придумал. Значит, они прибежали с этого паршивого стадиона...

Армстронг не понимал, о чем говорит Крамнэгел, но ради душевного равновесия уточнять не стал. Он сунул билеты в карман и ушел, бросив с деланной легкостью на прощание:

— До скорого, начальник. — Он отчаянно пытался думать о чем-нибудь другом.

Как только Крамнэгел убедился, что Армстронг действительно ушел, то шумно потребовал к себе врача.

— Я хочу отсюда уйти, — заявил он.

— По-моему, вам еще рано уходить из больницы, — ответил врач и начал объяснять, что в своем нынешнем состоянии Крамнэгел только будет обузой для общества — и в самом деле: левая рука забинтована, не пошевелить, а бинты на голове нависают над левым глазом подобно балдахину, отчего Крамнэгел горделиво откидывал голову, хотя подобная поза никак не вязалась с его характером.

— Ну и долго еще мне придется ходить в этих проклятых бинтах? — спросил он.

— Через пару дней посмотрим ваши травмы.

— Вот как?

Крамнэгел начал разбинтовывать левую руку.

— Не смейте этого делать! — приказал врач.

— Хотите, чтобы я поднял хай?

Крамнэгел помнил, как заключенные стучали ложками по мискам, чтобы придать своим требованиям больше убедительности.

— Нет, я не хочу, чтобы вы поднимали хай, — весьма чопорно ответил врач. Он впервые столкнулся с по-

добным пациентом и, чтобы не взорваться, тоже повел себя как ребенок. — Надеюсь, вы попадете под грузовик, — сказал он, выходя из палаты. — Под четырехосный.

Крамнэгел оказался намного слабее, чем предполагал; яркий солнечный свет и ошеломил, и ослепил его. Он оперся о перила, чтобы не упасть. Тяжело дыша, глянул вверх и встретился со взглядом врача, злорадно следившего за ним из окна. Этого было достаточно. Вся жизнь Крамнэгела, казалось, была сплошной цепью подвохов и побуждений, которые, разумеется, он воспринимал как вызов и которые толкали его от одного безрассудства к другому. Те, для кого существование — вечный бой, слишком глубоко ощущают упоение действием и потому не в состоянии обдумать последствия своих поступков. И им мнится зачастую, что человек, забивающий себе голову мыслями о последствиях, не способен жить полной жизнью. Тому, кто пьет лишь для того, чтобы напиться, безразличен тонкий вкус вина.

Пока доктор маячил в окне, Крамнэгел считал своим долгом идти четким и уверенным шагом. Согласно его своеобразным представлениям о чести упасть он мог только не на глазах у тех, с кем имел дело. Попытался остановить такси. Водитель сбавил ход, но затем снова нажал на газ, хотя был свободен и до конца смены было еще далеко. Есть в забинтованных людях нечто такое, что отпугивает таксистов.

Крамнэгел добрел до перекрестка, опираясь время от времени на барьеры у магазинных витрин, чтобы сохранить равновесие. Наконец какой-то сердобольный притормозил у тротуара.

— Вам помочь? — спросил этот водитель, лицом он походил на фермера, да и машина типично фермерская — потрепанная, видавшая виды.

— Вам со мной не по пути, — ответил Крамнэгел.

— Откуда вам знать? Залезайте. Мне туда, куда вам. Нельзя же идти в таком состоянии. Что, небось прямо из больницы?

— Точно.

Крамнэгел втиснулся на переднее сиденье. Чувство облегчения боролось в его душе с чувством горечи. Не дай бог, этот человек вновь заставит его обрести веру в лю-

дей — ведь он только-только утвердился в мыслях о мести.

— Куда поедем?

Крамнэгел назвал адрес. Это был адрес Арни Браггера.

— Что с вами приключилось? — не сразу спросил хозяин машины.

— Вы не поймете.

Фермер озадаченно улыбнулся.

— Как так?

— Ну, ввязался я...

— А...

Теперь дистанцию выдерживал фермер.

— Что ж, с каждым может случиться, — сказал он наконец.

— Вы правы как никогда, — откликнулся Крамнэгел.

Они подъехали к нужному дому.

— Больше не ввязывайтесь, — любезно сказал фермер.

— Это еще почему? — с воинственными нотками в голосе спросил Крамнэгел.

— Ну, если уж вы без этого не можете, то хоть отделайте своего противника сильнее, чем он вас.

— Постараюсь, — улыбнулся Крамнэгел. — Спасибо вам большое.

Он долго звонил в дверь Арни. Наконец дверь открыла прислуга-негритянка.

— Резиденция доктора Браггера.

— Он дома?

— Вы его пациент?

— Пока еще нет.

— Он в больнице, вернется поздно.

— Поздно? Как поздно?

— Часа через два.

— Я подожду.

— Но не в доме. Не велено.

— Я подожду здесь.

Негритянка хлопнула дверью и завозилась с дверной цепочкой.

Проснулся Крамнэгел оттого, что услышал, как Арни Браггер пытается потихоньку открыть собственную дверь.

— Привет, Арни.

— Кто здесь? — испуганно обернулся Арни Браггер.

— Барт Крамнэгел.

— Господи, да что с вами, Барт?

— Помяли меня.

— Помяли? Вы попали в аварию?

— Нет, сам.

— Сам?

— Я сам нарвался, чтоб меня помяли. Мне нужно с вами поговорить, Арни.

— Только не сейчас, Барт.

— Сейчас, Арни. Мне нужно потолковать с вами сейчас.

— Я должен ехать на ужин.

— Отмените его.

— Не могу, Барт, право же, не могу.

— Предупредите, что задерживаетесь.

— Поверьте мне, Барт...

Крамнэгел сгреб Арни за лацканы здоровой рукой. Вид, наверное, был устрашающий, потому что Арни сразу съежился; зародыш улыбки застыл на его помертвелых губах.

— Вы помните, что мне как-то раз сказали, Арни? — спросил Крамнэгел. — Надо же, я-то ведь все помню слово в слово. «...Я помогу вам только в том случае, если из общества выпадете вы», — тихо произнес Крамнэгел, как бы читая слова самой священной из литаний, а затем, улыбаясь жестокой улыбкой хозяина положения, снова вперил в Арни взгляд. — Именно так вы тогда сказали. Именно этими словами.

— Я не помню, Барт, право же, не помню.

Рука, державшая Арни за лацканы, сжалась в кулак.

— Ну-ка, скажи мне еще раз, что не помнишь. Скажи только хоть раз, ты, бесчестный сукин сын...

— Я помню, что вы приходили ко мне... Вот что, Барт... Нет смысла беседовать здесь. Пойдемте в гостиную, там удобнее...

— Вы это честно? Без дураков? Потому как предупреждаю вас, Арни: если вы решились воспользоваться тем, что я еле хожу, то я убью вас!

— Что сделаете? — рассмеялся Арни, он не мог даже вообразить себе, чтоб такие вещи говорились всерьез.

— Я убью вас, — очень просто повторил Крамнэгел.— Вы что, не расслышали? Я ведь ездил в Англию на практику и теперь... Ну, знаете, как и всякое другое занятие, теперь это превратилось в привычку.

Арни глубоко заглянул в его блуждающие глаза.

— Заходите, — сказал он, открывая дверь осторожным жестом человека, преисполненного решимости дока-

зать сумасшедшему, что его не заманивают в ловушку.

Они прошли через холл в гостиную. Арни затворил за собой входную дверь, но запирать ее на засов на всякий случай не стал.

— Ладно, Барт, выкладывайте, что у вас, но только, пожалуйста, побыстрее. Сегодня научная Ассоциация психиатров дает свой ежегодный ужин, это очень важное событие, и я должен выступить с речью, которую будут транслировать по каналу, передающему образовательные телепрограммы по всей стране...

— Можете взять меня с собой в качестве подопытного кролика. Ей-богу, я ведь из них самый большой.

— Прошу вас, Барт.

— Ну ладно, — неожиданно покладисто сказал Крамнэгел. — Я вам не помешаю ехать на ваш ужин. В конце концов, мне нужно совсем немного времени, чтобы испортить вам вечер.

— Что у вас на уме, Барт? — Арни сел на край кресла, сложив руки на груди и пытаясь держаться непринужденно.

— Что у меня на уме? — мрачно переспросил Крамнэгел, и Арни не сумел скрыть беспокойства, вызванного таким тоном. — Это, знаете ли, хороший вопрос. На уме. Я ведь раньше никогда не задумывался над тем, что эти слова значат, просто произносил их, и все, но если задуматься, то смысл в них большой.

— Да... да, безусловно, — сказал Арни, тоже как будто одобряя эти слова.

Крамнэгел ласково посмотрел на него:

— «Я помогу вам, если из общества выпадете вы». Теперь вспомнили?

— Конечно. Да, теперь я вспоминаю, — коротко ответил Арни.

— Я так и думал.

— Но, знаете, Барт, я ведь всегда помог бы человеку в беде, даже если бы и не вспомнил, просто такой уж у меня характер.

— Ага, это я знаю. Ваш сын позаботился о том, чтобы именно таким вы и были, — повернул Крамнэгел нож в ране, Арни вздрогнул и посмотрел на часы. — Ну вот, — медленно продолжал Крамнэгел, — так получилось, что я выпал из общества. И не по собственному, как вы понимаете, желанию. Меня просто, так сказать, вытолкнули, спихнули с края обрыва. И теперь мне нужна ваша помощь, Арни.

— Почему же вы не пришли ко мне в клинику...

— Потому что мне некогда, Арни, вот почему, — несколько повысил голос Крамнэгел. — Вы ведь знаете: я убил человека.

— Да, я читал об этом, — вздохнул Арни.

— Что ж, это был глупый поступок, верно?

— Да, раз вы сами так говорите, раз все так повернулось...

Крамнэгел наклонился вперед, чтобы больше походить на заговорщика.

— Да, это было глупо. Но вы знаете — почему?

— Разумеется.

— Скажите мне — почему.

— Но... но это всегда глупо — убивать людей. — Арни не нравились подобные разговоры.

— Э, нет, — отвечал Крамнэгел тоном профессора, разочарованного ответом своего любимого ученика. — Убивать людей само по себе не глупо, глупо убивать людей без причины. У этих, значит, строительных рабочих и у этих паршивцев-ветеранов была причина убивать того буддиста — ненависть, обыкновенная ненависть. А у меня такой причины не было. И приговор мне дали заслуженный, потому как был я просто обормот и кретин. Убил человека, которого даже и знать не знал. А сейчас я выяснил кое-что еще. За убийство того буддиста никого даже и не собираются арестовывать. Это раз. А убивала его целая толпа. Это два. Вот толковое убийство, Арни. Но у меня таких преимуществ нет. Я — один, сам по себе. Поэтому не приходится рассчитывать на помощь. У меня ведь нет ничего, кроме ненависти. Ненависти, которой я научился прямо здесь, в моем родном Городе.

Побледневший Арни больше уже не смотрел на часы.

— Барт, — сказал он, — еще не родился такой человек, которому рано или поздно не требуется помощь. Психиатрия медленно проникает в потемки человеческого разума...

— Весь этот треп я от вас уже слышал раньше, — грубо перебил его Крамнэгел, — вы мне даже говорили тогда, что я, видно, болен, потому как не хочу лететь тринадцатого числа. Так вот что я вам скажу: потемки человеческого разума меня не касаются и не интересуют, меня интересуют активные действия, таким уж я всегда был, таким и помру — но только не в газовой камере, а в открытом бою с оружием в руках. Только... — Он помолчал. — Только я пока не собираюсь помирать, мне

еще кое-кого нужно самому сперва убить. А потом и пожить немножко.

— Убить? — безучастно спросил Арни.

— Убить. Завтра вечером. На открытии стадиона. Там ведь все будут, верно? И Эди, и Ал.

— Вы хотите убить Эди?

— С чего вы взяли, что я хочу убить Эди? Эту жалкую глупую сучонку? Я не намерен убивать людей, чтобы избавлять их от их собственных несчастий. Если они такие жалкие и несчастные, то, наверное, того и заслуживают, и кто я такой, чтобы класть их несчастьям конец? Что же до Карбайда, то мелкие счеты я так не свожу. С меня хватит того, что он схлопочет по первое число за плохую организацию охраны. Нет, сэр, если уж Крамнэгел берется убивать, то впредь он будет убивать людей на самом верху.

— На самом верху?

— Вот именно. Я не желаю тратить пули на всякую сволочь вроде Реда Лейфсона. Когда-нибудь он захлебнется собственным ядом и утонет в нем. Я не стану охотиться даже на такое жулье, как мэр Калогеро, — рано или поздно его прикончит либо Шиллигер, либо Роттердам, либо Тортони, либо какой-нибудь из подпольных синдикатов. Матч начинается ровно в восемь, так? Губернатор штата Дарвуд Макалпин пожмет руки игрокам обеих команд и откроет памятную доску. Так вот, позвольте вам сообщить, что на свое место он уже не вернется. И матча ему не видать, потому как он умрет.

— О боже! — в ужасе вскричал Арни. — Но что он сделал вам плохого? Ал Карбайд — еще могу понять...

— Этот сукин сын вручил мне билеты для кругосветного путешествия, так ведь? — устрашающе напряженным голосом перебил его Крамнэгел.

Ход мыслей Крамнэгела внезапно открылся Арни, как вдруг открывается исследователю мир, никому доселе не известный. Он лежал перед ним, ярко освещенный и четко видимый, и хотя в нем было слишком много деталей, чтобы усвоить их все сразу, в общих очертаниях не могло быть никаких сомнений, а остальное легко угадывалось.

— Вы вините во всем его...

— А где он? Сидит в своем кабинете или скорее всего потягивает коктейли у своего домашнего бассейна, пока в Городе убивают не тех, кого нужно, и не на тех, на кого нужно, сваливают вину. Я пристрелю этого мерзавца,

Арни, а затем объявлю о временном помрачении ума. Вот здесь-то вы мне и понадобитесь.

Арни почувствовал, как к горлу подкатила тошнота.

— Я не советую вам действовать подобным образом, Барт, право, не советую.

— А я к вам не за советом пришел. Вы всегда охотно выручали людей, которые насиловали малолетних детей, вы выручали убийц-педерастов и всяких прочих психов. Теперь моя очередь. Я ведь выпал из общества, вы не забыли, Арни? И вы поможете мне избежать приговора за убийство — это все, чего я прошу у вас и у Шпиндельмана.

— Шпиндельман? Да он никогда в жизни...

— Вы что, смеетесь? По-вашему, он откажется защищать начальника полиции, обвиняемого в убийстве губернатора штата? Да это ведь и есть одно из тех дел, за которые он берется не ради денег. Тут уж дело верное — вопрос его славы. Лучше не придумать — человек служил Городу верой и правдой почти что тридцать лет; служил настолько хорошо, что Город устроил ему чествование, на котором вручили памятный адрес и билеты в кругосветное путешествие, да еще первым классом, а не каким-нибудь туристским или чартером. Так вот, с тем же самым человеком несправедливо обошлись за границей, он возвращается обратно и видит, что его любимый Город превратился в помойку, в вертеп, где процветают коррупция, насилие, взяточничество — дальше можете продолжать сами. Так как же он поступает? Да очень просто — честно, по-настоящему, по-американски, — причем, заметьте, только потому, что он против насилия, взяточничества и воровства; поскольку все от него отмахиваются, он убивает этого чертова губернатора, чтобы привлечь внимание ко всем здешним безобразиям.

— Послушайте меня, Барт...

— Переведите все это на первосортный английский язык, и ваше дело в шляпе.

— Вы хотите подменить собой закон?

— А разве Иисус Христос спрашивал разрешения в муниципалитете, чтобы изгнать торгующих из храма? Нет, сэр, не спрашивал. Ему просто повезло, что тогда еще не было винтовок.

— Барт, — настойчиво сказал Арни. — Вам нужно на время уехать отсюда.

— В Колорадо-Спрингс? Слышал уже. Не пойдет.

— Я могу положить вас в больницу.

— Это пожалуйста, но только послезавтра. С удовольствием у вас полечусь.

Арни решил попробовать иной подход:

— Я ведь понимаю, что вы все это говорите не всерьез, Барт. Не понимаю только, за что вы мстите мне. Довольно жестоко с вашей стороны — у меня не такое уж здоровое сердце. — Он прикрыл его руками. — У меня был приступ, пока вы отсутствовали, врачи говорят, мне не так-то много осталось жить.

Неожиданно для Арни Крамнэгел вскочил и затряс его, как тряпичную куклу.

—Ты добьешься моего оправдания, Арни. Ты и Шпиндельман. Вы оба добьетесь этого. А своему сердцу ты велишь подождать, пока не кончится мой процесс. Ты дал мне обещание, и ты его выполнишь, ясно? Скажешь, что я был не в своем уме, когда убивал губернатора, а потом я, значит, поправлюсь, благодаря твоему лечению и твоим лекарствам. Это будет чудесное исцеление, одно из самых больших чудес в истории медицины. И оно прославит тебя. Тебя и Шпиндельмана. Ты только подумай об этом. Если вам нужен продажный судья, найдите его... Вы же всех их знаете. Не мне вас учить. Сделайте так, я потом заплачу вам за это.

— Вы мне заплатите? Как?

— Я напишу книгу. Книгу о своей жизни. Можете рассматривать весь этот эпизод как начало рекламной кампании для моей книги. Мне-то самому и строчки написать не придется — я выяснил еще в Англии. Лишь продам свое имя, а все остальное за меня сделают. Я даже не читал своих чертовых мемуаров; все, что мне пришлось делать, — это просто жить своей жизнью. А потом по книге поставят фильм — и вот он я, во всех журналах, пожимаю руку актеру, исполняющему роль Большого Барта.

Арни хотел высмеять Крамнэгела, но ядовитое красноречие отказало ему. Ведь примеров подобного рода множество. Кэрил Чессмен *, скажем, продержался так долго, что читающая публика успела привыкнуть к нему и стала протестовать против беспричинной казни выдающегося литературного таланта. Так называемый сладкий

* Убийца-маньяк, приговоренный в 50-х годах к смертной казни. При помощи юридического крючкотворства его адвокатам удалось оттянуть на 15 лет приведение смертного приговора в исполнение. За эти годы он заработал изрядную сумму своими «мемуарами».

аромат удачи уже щекотал ноздри Крамнэгела. А ведь если бы не эта двуличная Далила — Эди, он уже тратил бы свои гонорары.

Арни сделал последнюю попытку заговорить с позиции человеческого достоинства и прочих добродетелей, которую человек обычно занимает, когда остается наедине с собой.

— Барт, — сказал он, — я тоже вижу, какие безобразия творятся вокруг...

— Но вы привыкли мириться с ними...

— Я вовсе не это хотел сказать, Барт. Я дал вам высказаться. А теперь, по справедливости, дайте высказаться мне.

— Пожалуйста. Я только должен напомнить вам, что вы торопитесь на ужин, Арни. Вроде бы важное дело.

— Можно ли думать об ужине, когда человек в беде? — солгал Арни.

— Вы начинаете понимать мою точку зрения...

— Это всегда была и будет моя точка зрения. Это больше, чем точка зрения, Барт, это принцип врачебной этики.

— Отлично звучит, Арни. Только не тратьте таких высоких слов на меня. Приберегите их для присяжных.

— Никаких присяжных не будет, Барт. По той причине, что не будет преступления. Все, что вы мне сейчас изложили, объясняется просто: вы несчастны, озлоблены и разочарованы. Я понимаю почему — и, поверьте мне, все это излечимо. Но зачем же вымещать наболевшее на стране, которая дала вам возможность стать тем, кем вы стали, и пачкать ее имя оскорбительными комментариями, которые вызовет ваш поступок? В нашей великой стране каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок имеют возможность выбора между честным поведением и преступлением, между прямой дорогой и кривой, между правильным образом действий и ошибочным. Это и есть цена и беда той свободы, которой мы наслаждаемся, и на каждом перекрестке мы должны останавливаться и вновь обдумывать свой выбор. Сейчас на таком перекрестке оказались вы. Ради бога, Барт, и ради всех нас не сделайте неверного выбора.

Крамнэгел окинул его взглядом, в котором жалость сочеталась с симпатией.

— Чушь собачья, — сказал он.

— Вы даже не считаете нужным удостоить меня возражением? Но разве вы не обязаны мне ответить?

— Чушь собачья, — повторил Крамнэгел. — Вот вам весь мой ответ. Вы пытаетесь поделить общество на плохих людей и хороших... Все вы так пытаетесь сделать, я знаю. Хотите, я вам кое-что скажу? Хорошие люди — они и есть плохие. Подумайте-ка над этим. Поразмыслите. Здесь — корень ошибки. Нет у нас выбора. И демократии никакой тоже нет. Да, конечно, законом вертят люди — не те люди, какие нужно, — но это вовсе не значит, что мы свободны. Размахивайте американским флагом, и вам все сойдет с рук, даже убийство — я же сам видел. А вот оденьтесь буддистом, и черта лысого у вас будет шанс уцелеть. Чтобы разоблачить весь этот цирк, нужно второе пришествие Христа — пусть он только сюда сунется и попросит себе праведного суда... Да он, наверное, не раз уже возвращался, у него, наверно, уже в привычку вошло являться сюда, как у бродяги на пляже входит в привычку время от времени пробовать воду. Так вот что я вам скажу, Арни, — за эти две тысячи лет она ничуть не потеплела. Теперь отправляйтесь на свой ужин, а то опоздаете. Не забывайте, вы ведь человек хороший, а хорошие люди всегда точны. Я не хочу, чтобы были неприятности.

Теперь Арни пытался удержать его:

— Не валяйте дурака, Барт!

— Я не валяю дурака, Арни, я просто увидел все, как оно есть на самом деле. Я возьму на себя грязную работу, а вы добьетесь моего оправдания, вы и Шпиндельман.

— А если не добьемся?

Крамнэгел пожал плечами:

— С тех пор как я вернулся, все только и пытаются заткнуть мне глотку. И мэр, и полиция, ну просто все. А вот если кого убьешь, то одно уж получишь точно — трибуну в суде, а там человеку только и остается что говорить. Я-то могу сказать многое, потому как мне много есть чего сказать. Я могу сказать, что вы подстрекали меня убить губернатора, пообещав, что добьетесь моего оправдания, как вы добивались оправдания всем таким в прошлом, помните?

— Но это же неправда, Барт...

— Этому не обязательно быть правдой, чтобы запятнать вас. Неужели вы еще не поняли, как у нас делается, Арни? Проходит время — и люди уже не помнят, правда это или неправда, помнят только, что об этом шли разговоры. И мне даже не придется особенно изощряться. Я могу просто швыряться грязью, и кое-что обязательно

к вам прилипнет. Я могу, например, сказать, что в бытность свою начальником полиции застукал вас на порочной связи, но закрыл дело под нажимом вашего высокопоставленного партнера.

Арни покраснел от гнева.

— Я не такой, и вам прекрасно это известно, Барт.

— Как я уже объяснил, вовсе не обязательно говорить правду, или до вас не дошло? — заорал Крамнэгел.

— Вы же не можете так поступить!

— Плохо вы меня знаете. Хорошие — они и есть на самом деле плохие, ясно? Я-то все понял. Изложил вам факты по делу. А теперь приступайте к работе над ним.

— Я позвоню в полицию и сообщу, что вы намерены убить губернатора! — завопил в ответ Арни в последнем отчаянном усилии перехватить инициативу.

— Им насчет покушений звонят каждые десять минут в любое время дня и ночи. Конечно, если вы намерены публично вступить в ряды психов, то это ваше дело, Арни. Как вы сами сказали, у каждого есть право выбора между прямой и кривой дорожками. Валяйте, осуществляйте свои конституционные права в качестве психа.

Крамнэгел сунул большой палец себе в ухо, с трудом пошевелил пальцами, высунул язык, зловеще скосил глаза и был таков.

На этот раз Арни запер дверь, захлопнувшуюся за Крамнэгелом, на все запоры и в отчаянии зашагал из угла в угол, пытаясь собраться с мыслями. В этой части дома он остался один и хотел побыть в одиночестве. Общаться с кем бы то ни было он сейчас просто не мог. Закрыл дверь комнаты и щедро налил себе виски. Усевшись за рабочий стол, нашел номер телефона Мервина Шпиндельмана в гостинице в Цинциннати, где тот защищал жиголо, убившего шестидесятилетнюю наследницу фабриканта туалетной бумаги. Арни набрал номер. Служащие гостиницы не сразу нашли Шпиндельмана, и Арни от волнения начал говорить сам с собой. Наконец великий адвокат взял трубку, голос его звучал раздраженно, как будто сие вторжение обыденных забот оторвало Шпиндельмана от возвышенных размышлений.

Арни возбужденно рассказал обо всем, что случилось, но говорил бессвязно, несколько раз начиная все сначала. Шпиндельман же отнесся ко всей этой истории с олимпийским спокойствием, чем привел его в бешенство.

— Я удивлен, Арни, что вы решили обратиться ко

мне с такой ерундой, — сказал он. — Нет, нет, я вас вовсе не порицаю... Скорее наоборот, воздаю должное вашему золотому сердцу... И, поскольку золотые сердца, как правило, простодушны, мне остается лишь сделать вывод, что вся эта история заставила вас утратить ясность мысли. Прежде всего, насколько мне известно, в вашей профессии принято считать, что те, кто громче всех обещает покончить с собой, реже всех это делают... Действуют обычно те, кто меньше говорит... Что? Ну, разумеется, из каждого правила есть исключения, в противном случае наше существование было бы еще скучнее, чем оно есть... Возьмусь ли я за это дело?.. Да ведь никакого дела нет, Арни... Но случись так, что подобное дело действительно возникнет, защищать подсудимого будет легче легкого... И мне, разумеется, было бы жаль, доставься оно кому-нибудь из наших блестящих собратьев в Вашингтоне или Калифорнии... Крамнэгел так и сказал?.. Это производит впечатление, Арни... Он, видимо, многому научился в заключении... Так всегда и бывает... Некоторые из величайших творений человеческого разума были задуманы в монастырях, а некоторые из величайших идей родились в тюрьмах... Беда в том, что люди просто никак не могут оставить друг друга в покое... Но стоит им это сделать, и наступает прозрение.

— К чему вы все это говорите, черт возьми? — прорычал Арни.

— Что, беседа с Крамнэгелом действительно так повлияла на вас? — добродушно рассмеялся Шпиндельман.

— Сильнейшим образом! Я не преувеличиваю ни на йоту. Он в отчаянном состоянии. О господи, Мервин, у меня же имеется некоторый опыт по этой части. Как вы думаете, следует мне предупредить губернатора?

— Есть люди, Арни, которые умеют останавливать понесших коней, остальные же делать этого не умеют. Когда берется тот, кто не умеет, дело всегда кончается бедой. Губернатор вам не поверит, но кто-нибудь обязательно услышит ваше предупреждение, и, случись самое худшее, вас вызовут на ковер, за то, что вы не были достаточно убедительны.

— За то, что я не кричал громче, чем кричал. Значит, я должен оставить все это на своей совести!

—Нет, Арни, отнюдь нет. Вы слишком умны, чтобы нести такой груз в одиночку, потому вы и поделили его со мной.

— Вас это обременяет?

— Ни в малейшей степени. Я не считаю, что жизнь губернатора ценнее любой другой. Это редкий осел. И для моей совести его смерть — все равно, что для слона комариный укус.

Наступило молчание.

— Ладно, Мервин, вы выиграли спор. Но что мне делать, если случится худшее?

— Когда этот матч, будь он неладен?

— Завтра в восемь вечера.

— Вы, разумеется, пойдете?

— Меня туда и на аркане не затащишь. Как психиатр, я не перевариваю людских скоплений. Их вид заставляет меня утрачивать веру в индивидуума, без которой... вы понимаете.

— Ну и прекрасно. Крампэгел сказал, когда он собирается совершить свой злодейский поступок?

— Он сказал, что губернатор должен обменяться рукопожатиями с игроками обеих команд, а затем открыть памятную доску, которая, как я полагаю, находится на краю поля. А затем, сказал он, губернатор уже не вернется на свое место, потому что будет мертв.

— Ясно. На рукопожатия, надо считать, уйдет минут десять. Губернатор, наверное, захочет задать игрокам несколько вопросов, услышать их ответы — этим исчерпываются его представления о поддержании отношений с общественностью, — так что дадим ему на все двенадцать минут, согласны?

— Согласен, будем считать восемь двенадцать.

— Затем его речь — ну, это минут пять, не больше. Одно в нем хорошо — не может долго говорить. Итак, получаем восемь семнадцать. В это время он уже будет подниматься обратно на свое место. Следовательно, трагедия может произойти где-то в восемь восемнадцать. Начнется суматоха. У вас на завтрашний вечер не назначен с кем-нибудь ужин, Арни?

— Нет.

— Я бы на вашем месте проехался часов в девять мимо полицейского управления.

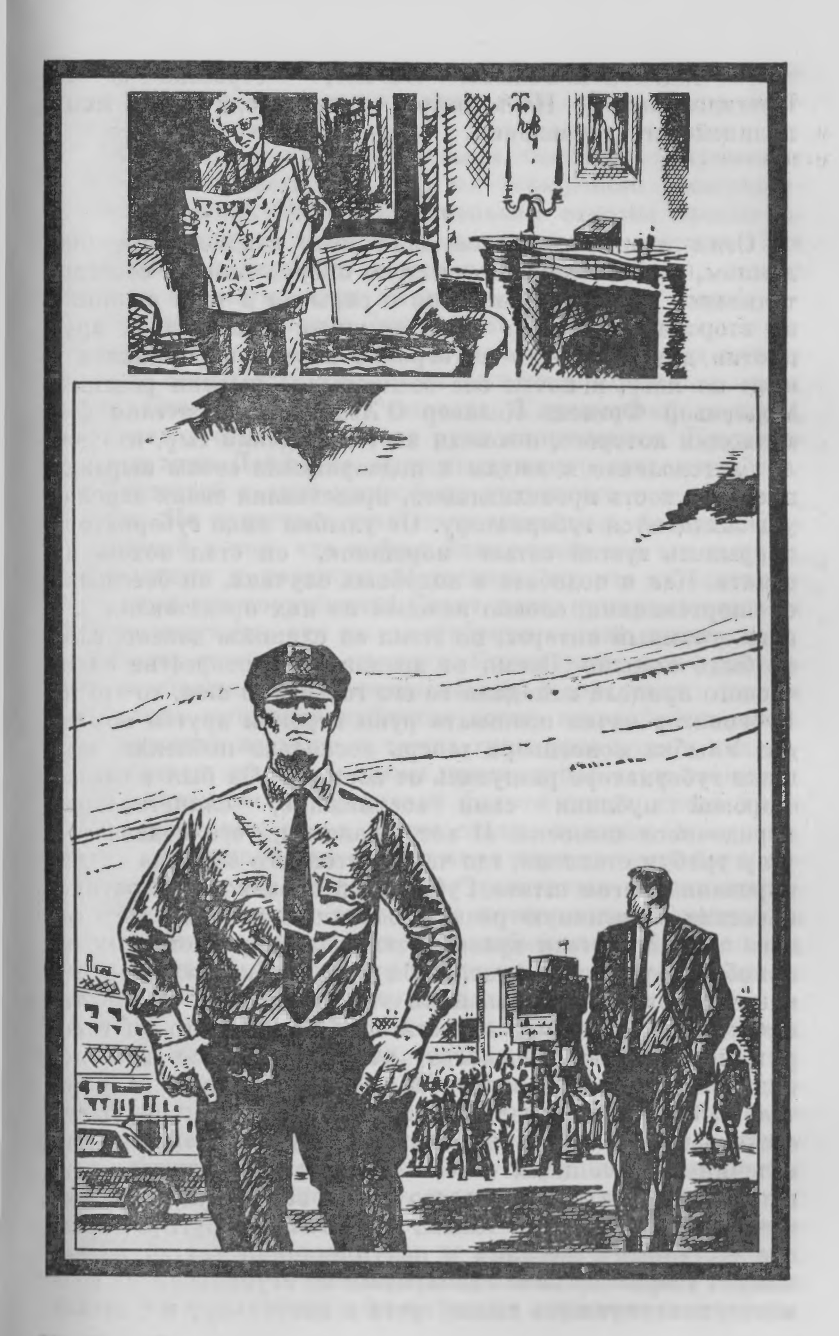
— Под каким предлогом?

— Да просто так, по дороге.

— А где будете вы?

— Я заеду по пути из аэропорта. Я прилетаю без четверти десять.

— Следовательно, вы ожидаете, что это произойдет?



— Надеюсь и молюсь, что нет, — серьезно сказал Шпиндельман. — Но в любом случае я еду домой мимо полицейского управления.

19

Огни прожекторов освещали поле стадиона подобно лампам, освещающим гигантскую операционную, сосредоточиваясь на центре действия и скрывая в тени сидящих по сторонам зрителей. Обе команды выстроились друг против друга, кое-кто из игроков нервно переминался с ноги на ногу, и почти все беспрерывно жевали резинку. Монсеньор Фрэнсис Ксавьер О'Хэнрэхэнти, круглая физиономия которого, похожая на голландский сыр, излучала благоволение к людям и подчеркивала своим выражением важность происходящего, представлял своих игроков улыбающемуся губернатору. От улыбки лицо губернатора покрылось густой сетью морщинок, он стал похож на азиата. Как и подобает в подобных случаях, он беседовал со спортсменами, словно каждый из них представлял для него огромный интерес, но стоял он слишком далеко, слов не было слышно. Время от времени в перекрестие оптического прицела попадала то его голова, то шея, то грудь. Губернатор начал пожимать руки игрокам другой команды. Улыбка монсеньора теперь несколько поблекла, зато щеки губернатора раздулись от восторга. Он был в глазах широкой публики само восхищение, олицетворение порядочного человека. И вот, наконец, его подводят к углу трибун стадиона, где часть бетонного выступа задрапирована флагом штата. Губернатор произносит короткую и весьма энергичную речь, отмеченную печатью того самого запинающегося красноречия, благодаря которому он приобрел стольких друзей, ибо оно характеризовало его как человека, в коем ясность ума сочеталась со множеством очаровательных недостатков. Понять, что он говорит, не мог никто, поскольку микрофоны были не в порядке и из громкоговорителей вырывался лишь оглушительный свист. Вот перерезана лента, и полотнище флага соскользнуло, открыв памятную доску с барельефами мужчины и женщины — благотворителей, пожертвовавших деньги на строительство стадиона. Девушки, дирижирующие восторгами толпы, запрыгали вокруг, размахивая вычурными жезлами и полупристойно двигая коленками. Губернатор начал взбираться по ступенькам на свое место, повернувшись вполоборота к монсеньору и с явным

интересом обсуждая с ним что-то. В перекрестии прицела вырисовывалась его голова, затем шея, затем спина. Волна дыма скрыла его.

На огромном лице монсеньора появилось выражение ужаса, и оно застыло в гримасе беззвучного душераздирающего вопля. Вниз по ступенькам катится кресло-коляска, в поручни впился окаменевший от страха Ред Лейфсон. Ал Карбайд пытается подать сигнал, но из свистка не вырывается ни звука. «Это Барт! Барт!» — вцепилась ему в плечо Эди. Ал Карбайд стряхивает с себя ее руки жестом злодея из немого кино, и она падает наземь; сквозь штукатурку на ее лице пробивается маска гнева. Стоп-кадр. Крути сначала. Улучшенный вариант. Губернатор снова пожимает руки спортсменам. Крупным планом лицо Лейфсона, нашептывающего очередную порцию гадостей в свой микрофон; культи его ног закутаны пледом. Не перестает улыбаться монсеньор, беспредельно уверенный в том, что небеса благословят все его деяния, устремления и надежды. О господи, ну что за жвачные животные эти спортсмены! Стоит лишь прикрыть глаза, и можно подумать, что ты на фабрике — так шумно перемалывают жвачку их челюсти. Снова заговорил губернатор, изображая заинтересованность и энергично двигая челюстью: загорелая дубленая кожа, которой бесчисленные мужские лосьоны, а также туалетные воды с запахами деревьев, листвы и травы придают росистую свежесть. Снова церемония у затянутой флагом стены, снова хорошо подобранные слова, те же самые, наверно, слова звучат из динамиков так громко что в пору лопнуть барабанным перепонкам. Снова падает полотнище флага, открывая барельеф, снова девушки с коленками... Перекрестие прицела движется в такт сердцебиению. Не дышать... Так, хорошо... Губернатор и монсеньор поднимаются по ступенькам, их улыбки сменяются постными минами — не иначе как рассуждают о современной молодежи. Перекрестие прицела замирает над их головами, и вот их головы вплывают в сектор обстрела. Губернатор заполняет собой весь прицел. Шея. Затылок. Снова палец нажимает на спусковой крючок, и снова губернатора окутывает облако дыма. На лице монсеньора вновь появляется агонизирующее выражение, только на этот раз по нему течет кровь. Кровь отменяется. Монсеньор глубоко признателен. Кровь на ком бы то ни было, кроме Христа, сын мой, является богохульством. Ладно, ладно, я ведь не спорю, святой отец. Ал со своим онемевшим свистком.

Эди, одетая под Клару Бау *. Ред Лейфсон — неожиданно за рулем гоночного автомобиля — слишком быстро срезает угол. Шины визжат, он прикрывает лицо рукой, машина вдребезги. Из-под обломков легко выбираются две ноги и уходят. Отставить. Снова все сначала. Губернатор улыбается обеим командам. Челюсти все жуют и жуют. Вопросы. Спортсмены уже начинают уставать — кому охота отвечать на них? Они ведь не интеллектуалы. Бегать им привычнее, чем говорить, и губернатор понимает это. Он улыбается все той же полной мужественности улыбкой. Теперь очередь флага. Несколько хорошо подобранных слов, несколько тысяч, несколько миллионов, да начинайте же, наконец, матч. Положение спасает звонок. Безжалостный трезвон. Что такое — воздушная тревога? «Они» напали? Русские, китайцы, «нехорошие» пришельцы с другой планеты, жаждущие покорить нас и плюющие на демократию? Губернатор смотрит в небо, прикрыв глаза ладонью. Внезапно его окружают генералы, жующие, подобно спортсменам, резинку. Что — время для нескольких хорошо подобранных бомб? О господи, да если этот трезвон не кончится, губернатор просто не сумеет подняться на трибуну навстречу своей смерти. Неужто никак нельзя это прекратить? Можно. Крамнэгел проснулся и выключил будильник.

Если не считать этого все время возвращающегося сна, Крамнэгел в общем спал спокойно. Хотя сновидение его по большей части было фантасмагорией, основывалось оно на том, что он обдумывал перед тем, как заснуть, и потому все выглядело до странности четким. Крамнэгел затвердил свой план назубок, и сон представлял собой ряд вариаций на тему, застывшую в подсознании подобно цементу. Крамнэгел был совершенно спокоен, потому что целиком и полностью отдавал себе отчет в своих действиях. Часы показывали восемь. Он встал, побрился, почистил зубы и принял душ, стараясь не замочить бинты на голове. Затем оделся и пошел в закусочную на углу, где позавтракал оладьями с апельсиновым соком и кофе с пирожным. Кофе он выпил три чашки. Раны его все еще болели, но он уже свыкся с ними и приноровился двигаться так, чтобы ощущать как можно меньше боли.

Позавтракав, взял такси и поехал в банк, где снял со счета все деньги, оставив лишь десять долларов. Это за-

---

* Клара Бау — американская актриса времен немого кино.

интриговало Ходника, но Крамнэгел уклонился от объяснений, а в ответ на вопрос о своих ранах сказал, что попал под такси. Покинув банк, он отправился в автомагазинчик и приобрел неприметный дешевый автомобиль. Уж если человек решил взяться за дело, то дело надо делать со всей дотошностью и не забывать о психологии.

Подъехав на своей машине к ближайшему универмагу, он купил комбинезон из грубой ткани и желтую металлическую каску, переоделся в них в туалете бара, куда заехал из магазина выпить пива. Затем купил несколько легких сигар, а в канцелярском магазине Лимана приобрел последний имевшийся в продаже американский флажок. Да, да, сэр, на них сейчас чрезвычайно большой спрос, во всем городе не достать. Вот именно, сэр, в патриотические времена мы с вами живем. Реакция явно перешла в наступление.

Проехав в другую часть города, Крамнэгел поставил свою машину на стоянке, откуда пешком дошел до спортивного магазина братьев Канибург, в окне которого был выставлен катамаран, и приобрел там набор клюшек для гольфа. У продавца, обслуживавшего его, сложилось впечатление, что покупатель приобретает клюшки безо всякого выбора, что, впрочем, было вполне естественно, ибо Крамнэгел никогда в жизни в гольф не играл. Закинув сумку с клюшками за спину, он направился в сомнительную лавчонку, специализирующуюся на торговле нацистскими знаками различия для юных ублюдков, играющих в человеков и сверхчеловеков, а также наборами украшенных свастикой кофейных ложечек, якобы принадлежавших когда-то Еве Браун, и прочими сувенирами подобного рода. Хозяин лавчонки, седой человек с нездоровым цветом лица и скверными зубами, стоял за прилавком, наряженный в некоторые из лучших своих товаров. Он также предлагал вниманию покупателей большой выбор армейских револьверов, винтовок и даже противотанковую пушку, к которой, как он уверял, имелся комплект снарядов. По пятам за ним неотлучно следовала полицейская собака, обученная всяким хитрым трюкам вроде, например, того, чтобы кусать заключенных, когда надзиратель выкрикнет их номера.

— Мне нужна винтовка с оптическим прицелом, — сказал Крамнэгел.

— Почему бы вам не заказать ее по почте? — поинтересовался хозяин.

— Да мне она нужна только затем, чтобы попугать

мерзавцев, — пробурчал Крамнэгел. — А после Кеннеди и всех этих других убийств я фирмам, торгующим по почте, больше не доверяю. Кто их знает, насколько они надежны.

— Верно, чертовски верно. А если хотите знать, то просто пугать мало. Убивать их надо. Убивать. Осточертел мне весь этот сантиментальный треп, что они, мол, всего-навсего дети. Национальные гвардейцы тоже дети. Хорошие, славные дети, не то что всякие там грязные красные жиды, которым подавай все преимущества американских граждан, а гражданской ответственности чтоб никакой. Убивать их надо, да так, чтоб прямо на глазах у родителей. Тогда б мы живо очистили страну, это я вам говорю. Верно, Вотан?

Обнажив два ряда желтых клыков, пес победно вскинул голову в ожидании дальнейших инструкций.

— Отличный у вас пес.

— Еще бы. Принадлежал когда-то генералу Гансу фон Кремпелю — не знаю, слыхали ли вы о нем, — его еще называли Красным Ангелом Минска.

— Как же, слышал, — сказал Крамнэгел, который на самом деле никогда такого имени не встречал и счел его странноватым для генерала.

— Но он, конечно, не продается.

— Я так и понял.

— Я вам покажу, что у меня есть, — сказал хозяин, которому поведение Крамнэгела пришлось по душе, и вынес три-четыре снайперские винтовки.

Крамнэгел выбрал одну из них — бельгийскую, украшенную филигранью, — потому что ее приятно было взять в руки и она хорошо вмещалась в сумку с клюшками. А также и потому, что была она в магазине единственной, к которой хозяин сумел найти патроны.

Ну и развелось же всяких психов, думал про себя Крамнэгел, возвращаясь к машине. Да если б его вонючий пес действительно принадлежал тому нацисту, ему сейчас было бы лет двадцать семь — двадцать восемь, и все же сумасшедший лавочник всерьез верит собственным словам: ему и в голову не пришло хоть немного поупражняться в арифметике.

Теперь Крамнэгелу оставалось сделать лишь две покупки. Он купил сандвичей со сливочным сыром и с джемом, салат с курицей. Ему ведь предстояло долгое бдение, а взять еды будет негде. Затем он зашел в книжный мага-

зин и долго копался в замусоленных книжках в бумажных переплетах. Словоохотливый хозяин, на его счастье, куда-то ушел, а никто из продавцов не узнал забинтованного и одетого в рабочий комбинезон Крамнэгела, хотя, когда он шел по улице, некоторые из наиболее шумных членов так называемого «молчаливого большинства» приветствовали его воинственными криками.

После долгих раздумий Крамнэгел остановил свой выбор на двух книгах: «Мысли и поучения Будды» и «Горячие губки».

Вернувшись на стоянку, он сел в машину и поехал к стадиону. Было еще очень рано, поэтому контролеры в воротах не стояли. Он раскурил сигару. Зайдя в ворота, наткнулся на двух строительных рабочих.

— Что это с тобой приключилось, приятель?

— А-а, избили меня, — невозмутимо отвечал Крамнэгел.

— Вроде эти молокососы особенно и не сопротивлялись, но некоторые оказались большие мастаки драться.

— Да, пожалуй, мне просто не повезло. На каратиста нарвался.

Эти слова Крамнэгела вызвали взрыв смеха.

— Ты из донովановских, что ли? — спросил один из рабочих.

— Угу, — ответил Крамнэгел.

— Профсекция девятнадцать ноль восемь?

— Она самая.

— Так твои на другой стороне собираются, у восточной трибуны.

— Ну да?

— Эй, дружище, это же стадион, а не площадка для гольфа! — крикнул второй рабочий.

— А я завтра поиграть хочу! — крикнул Крамнэгел в ответ. — Но мою машину уже столько раз взламывали, что я больше ничего в ней не оставляю, а то опять сопрут.

— Да, беда с дешевыми машинами.

— Зато с дорогими надо думать о запчастях и перепродаже, — сказал первый рабочий.

— Это уж точно. Не одно, так другое.

— Мы выступаем на университет через пять минут, приятель, — сказал рабочий Крамнэгелу.

— Спасибо за сообщение, а то я сам не знал. Я вот только схожу облегчусь.

— Не траться здесь, приятель, прибереги для студентов! — крикнули ему, но Крамнэгел уже скрылся в одном из широких бетонных проходов. Найдя туалет, он вошел в кабину и запер за собой дверь. Выбранная им кабина оказалась в туалете центральной. Встав на унитаз, легко дотянулся до вентиляции, раздвинув пластинки, прикрывавшие ее наподобие жалюзи, убедился, что отсюда, если смотреть под определенным углом, хорошо видна губернаторская ложа на противоположной стороне стадиона, а ствол винтовки вполне пролезает в щель. Оптический прицел уже не проходил туда, но у Крамнэгела в запасе было несколько часов, чтобы приспособиться. Он мог даже вообще вынуть весь вентилятор из гнезда и обеспечить себе отличный сектор обстрела. Прежде чем приступить к работе, он съел сандвич и прочел две-три страницы мыслей Будды, которые столь не соответствовали его нынешнему настроению, что он мгновенно переключился на «Горячие губки», поведавшие ему о многих развлечениях, которых он никогда не знал с Эди. Обе книги, вместе взятые, настроили его на печальный лад. Но, пожалуй, сейчас настало время не столько для раздумий, сколько для бездумного исполнения своего плана, и он решительно принялся извлекать вентилятор из стены. Часам к четырем все было готово. Открывавшаяся Крамнэгелу картина поразительно напоминала его сон. Зарядив винтовку, он принялся ждать, подобно тому как охотник на крупную дичь поджидает редкостную добычу — замерший, настороженный и беспредельно уверенный в себе.

Через четыре часа стемнело, и на поле выстроились игроки обеих команд — они, точно скаковые лошади, переминались в вечернем воздухе с ноги на ногу, ждали начала матча и все до одного жевали резинку. Губернатор и монсеньор Фрэнсис Ксавьер О'Хэнрэхэнти обходили строй игроков. Монсеньор почти не улыбался — видимо, от сознания торжественности события. Не улыбался и губернатор — видимо, из-за предчувствия. Церемония открытия памятной доски прошла сдержанно и скромно, а речь губернатора вряд ли можно было назвать речью вообще — так, несколько бессвязных фраз, восхваляюших тех непостижимо богатых людей, которые могли подарить родному городу стадион. Затем губернатор начал подниматься в свою ложу, и перекрестие прицела легло на его спину,.как крест крестоносца.

На другое утро в Лондоне сэр Невилл спустился к завтраку в относительно неплохом настроении. Спал он хорошо, но раза два просыпался по непонятной ему самому причине.

— Старость, миссис Шекспир, — доверительно пожаловался он. — Прежде чем человек засыпает вечным сном, он начинает хуже спать.

— Я тоже так полагаю, — отвечала миссис Шекспир, скрываясь в кухне.

Сэр Невилл взял газету и принялся читать первую страницу. Когда миссис Шекспир вернулась из кухни с гренками, он сидел, неподвижно глядя перед собой, и только губы шевелились, пытаясь что-то сказать. Он был бледен как смерть.

Не теряя времени на расспросы, миссис Шекспир бросилась в кухню, где рядом с телефоном всегда висел список телефонных номеров первой надобности. В этот момент позвонили в дверь. Секунду поколебавшись, миссис Шекспир бросилась открывать. В квартиру вошел Билл Стокард.

— Как он? — тревожно спросил Билл.

— Ах, сэр...

Было достаточно взглянуть на ее лицо. Билл заспешил в столовую.

— Что же случилось? — услышал он за своей спиной вопрос миссис Шекспир, но у него не было ни времени, ни желания удовлетворять ее любопытство.

Сэр Невилл посмотрел на Билла и, казалось, узнал его. Явно ему мучительно хотелось что-то сказать. Билл склонился к сэру Невиллу, чтобы тому не пришлось слишком напрягаться.

Сэр Невилл что-то пробормотал.

— Простите, сэр?..

Новая попытка: казалось, сэр Невилл нарочно с детским упрямством говорит так, чтобы слов нельзя было разобрать.

— Извините меня, но я ничего не могу понять, — с безжалостной откровенностью сказал Билл.

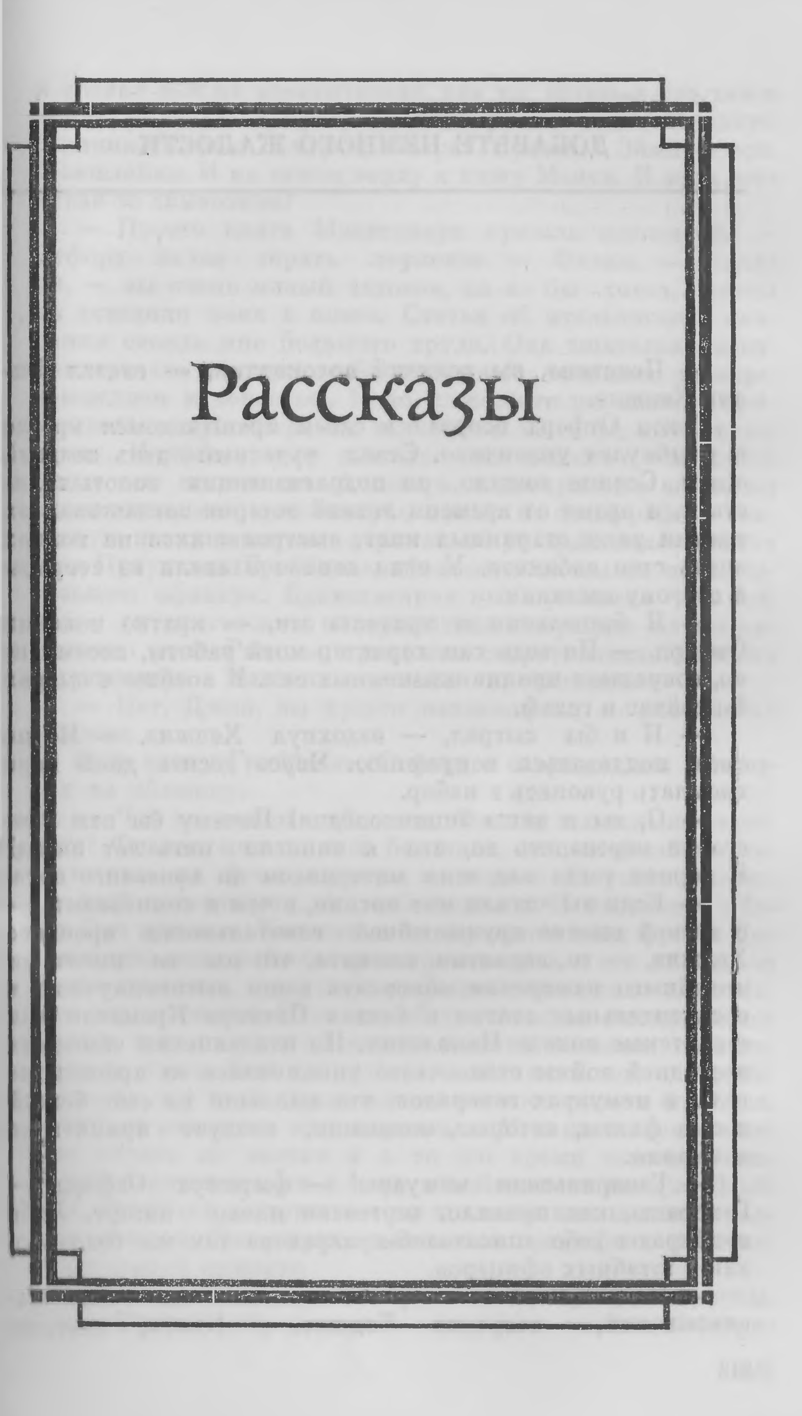
На этот раз сэр Невилл сделал над собой новое усилие. Сделал с трудом и болью, и когда попытался что-то выговорить, из левого глаза его потекла струйка, капли заблестели на щеке.

— Давайте вызовем врача, сэр Невилл, хорошо? Мы вас сразу поставим на ноги, — быстро сказал Билл,

сам чувствуя вопиющую неискренность своих слов. — Вы нашли номер, миссис Шекспир?

Пока миссис Шекспир искала нужный номер, Билл подумал о том, что вызов врача — это всего лишь уловка, проявление трусости, попытка переложить ответственность на чужие плечи. В прежние времена существовали заразные болезни, в нашем же от всех болезней привитом мире заразно смятение человеческой души, и символом этого смятения стало то, что стерлась грань между героями и злодеями. Может, ее никогда и не существовало, этой грани, но сейчас, впервые за всю долгую историю человечества, находится все больше и больше людей, достаточно утонченных, чтобы постичь и принять эту истину, и, более того, способных ощущать душевную сумятицу, не испытывая потребности в прописных рецептах морали и не признавая ничьего суда, ни божьего, ни человечьего. И, быть может, вынужденно пустившись в плавание без компаса, слабые начинают прибегать к насилию лишь потому, что их охватывает паника. Паника, порожденная тем, что на их глазах мир знакомых моральных ценностей растворяется за кормой так же неумолимо, как садится солнце. Мысль о том, что таит эта еще не исследованная страна человеческой души, заставила Билла вздрогнуть, и он ухватился за теплые звуки привычных условностей, подобно тому как ребенок хватается за материнскую юбку.

— Алло, доктор Суэйтс?.. Я звоню вам из квартиры сэра Невилла Нима... Боюсь, ему не очень хорошо...



Рассказы

ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЖАЛОСТИ

— Поистине, вы великий волокитчик, — сказал Филип Хеджиз.

Джон Отфорд поерзал в своем вращающемся кресле и улыбнулся уклончиво. Стоял чудесный день поздней осени. Солнце лежало на подрагивающих золотых листьях, и время от времени легкий ветерок поглаживал их тенями ряды старинных книг, выстроившихся на полках вдоль стен кабинета. У окна лениво плавали из стороны в сторону пылинки.

— Я бездельник и признаю это, — кратко пояснил Отфорд. — Но ведь сам характер моей работы, несомненно, сокращает прилив жизненных сил. И вообще я сыграл бы сейчас в гольф.

— И я бы сыграл, — вздохнул Хеджиз. — Но не смею поддаваться искушению. Через десять дней надо посылать рукопись в набор.

— О, вы и ваша энциклопедия! Почему бы вам просто не переиздать то, что я написал пять лет назад? Я корпел тогда над этим материалом до кровавого пота.

— Если вы читали мое письмо, в чем я сомневаюсь, — с ноткой вполне дружелюбной язвительности произнес Хеджиз, — то, вероятно, помните, что мы не имели ни малейшего намерения обновлять ваши высоконаучные и восхитительные статьи о битвах Оливера Кромвеля или египетском походе Наполеона. Но итальянская кампания последней войны столь часто упоминалась за прошедшие годы в мемуарах генералов, что выплыли на свет божий новые факты, которые, возможно, следует принять во внимание.

— Генеральские мемуары! — фыркнул Отфорд. — Генералы, как правило, чертовски плохо пишут. Либо подбирают себе «писателей-призраков» так же бездарно, как и штабных офицеров.

— Не уверен, есть ли у вас основания для таких высказываний, — возразил Хеджиз. — Книги, которые

я послал вам на рассмотрение, вот уж который год так и лежат на столе в прекрасном уборе из пыли. Мемуары Паттона, Марка Кларка, Омара Брэдли, Эйзенхауэра, Манштейна. И на самом верху я вижу Монти. В этом есть какая-то символика?

— Просто книга Монтгомери пришла последней. — Отфорд начал терять терпение. — Филип, — сказал он, — вы очень милый человек, но я бы хотел, чтобы вы оставили меня в покое. Статья об итальянской кампании стоила мне большого труда. Она тщательно документирована и, льщу себя надеждой, написана со здравомыслием и ясностью. И не клевещите на меня; я действительно просматривал эти книги по мере их поступления. И честно могу сказать: ни единого известного факта они не меняют. А теперь, в довершение всего, вы приволокли мне свеженькую, прямо из типографии, эпическую поэму в пятьсот страниц об унылых похождениях сэра Краудсона Гриббелла, абсолютно ничем не примечательного офицера. Единственная его претензия на славу — он подготовил и осуществил операцию по форсированию реки Рицио, преодолев сопротивление намного уступающих в численности войск противника.

— Нет, Джон, вы просто невозможны, — рассмеялся Хеджиз.

Взяв книгу Гриббелла, Отфорд с отвращением посмотрел на обложку.

— Что за нелепая обложка, Филип, вы только взгляните! Физиономия до того безликая, что ее и забыть невозможно, на фоне горящих танков и бегущих солдат. По всей вероятности, его собственных. И название: «Таков был приказ». Блистательно двусмысленная фраза. Нет сомнения: если события разворачивались в его пользу, он может отметить, что успех операции определило выполнение его приказов. Если же обстоятельства складывались против него, он всегда может пожать плечами, сказать: «Что ж, таков был приказ» — и обвинить тех, кто руководил им и с чьей глупостью он не имел власти бороться. Отличное название, если вдуматься. И типично армейское. Оно ничего не значит и в то же время означает все. И красноречиво, и ни к чему не обязывает автора. В общем, Гриббелл заслуживает за это название высшего балла с плюсом. Оно звучит как вопль триумфа в звуконепроницаемой комнате.

— Для военного историка вы на редкость циничны.

— Милый мой, да разве можно быть военным истори-

ком, не став циничным? Будь у меня больше времени и меньше природной лени, я написал бы труд увесистый, как десять энциклопедий, посвященный исключительно ошибкам полководцев. Все они допускали вопиющие и непростительные просчеты.

— Вы справились бы лучше?

— Разумеется, нет, — мило улыбнулся Отфорд. — Поэтому я и не военнослужащий, а военный историк.

Хеджиз решил попробовать снова. Он перешел на серьезный тон:

— Ну так как, Джон?

— Почему вы не попросите кого-нибудь еще?

— Потому что если уж вы беретесь за дело, то оказываетесь не только проницательным ученым, но и захватывающим воображение писателем.

— Перестаньте мне льстить.

— И не вздумайте даже говорить мне, что у вас нет на это времени. Каждый раз, приходя сюда, я застаю одну и ту же картину: вы сидите в кабинете, уставившись в окно, с таким видом, будто вините весь род человеческий за то, что не находитесь сейчас на юге Франции.

Джон усмехнулся. Он узнал свой портрет.

— Быть хранителем коллекции оружия и доспехов в огромном музее — веселого мало, — заметил он. — Всего-то дел — содержать реликвии в чистоте и порядке. Всю работу за меня уже выполнили греки, египтяне, римляне и прочие. Мне не осталось ничего творческого. Предыдущие поколения попечителей музея собрали коллекцию, а теперь, при нынешних финансовых строгостях, у меня нет средств на приобретение чего-нибудь нового. Самое трудное в моей работе — не заснуть.

— Значит, вы признаете, что время на другую работу у вас есть.

— Признаю, — сказал Отфорд. — Время у меня есть. Но нет желания.

В эту минуту, постучавшись, вошел Поул. Это был старик, обязанный присматривать, чтобы какие-нибудь воинственные дети не утащили из музея ятаганы и алебарды. Он носил темно-синий форменный костюм с золотыми коронами на воротнике.

— Эта женщина опять здесь, сэр, — сообщил он.

Отфорд покраснел:

— Отошлите ее.

— Никак не уходит. И Элвис, и сержант Оуки пыта-

лись — уговаривали ее уйти, но она чрезвычайно настойчива, мягко говоря.

— Скажите ей, я уехал.

— Она видела вашу машину, сэр.

— Откуда ей известно, что это моя машина?

— Не знаю, сэр, но она сказала, машина — ваша, и мне некуда было деваться. Ей известен номер. «КХР — семьсот пятьдесят девять».

Хеджиз рассмеялся.

— Женщина? — спросил он. — О, пожалуй, заставить вас переделать статью я могу с помощью шантажа. Джин о ней известно?

— Это вовсе не шуточное дело, — буркнул Отфорд. — Она мне уже целых два дня житья не дает. Каждые четверть часа то звонит по телефону, то пытается прорваться ко мне лично.

— Но кто она?

— Провалиться мне, если знаю. Какая-то миссис Оллен, или Олбен, или как там еще.

— Олбен, — сказал Поул. — Некая миссис Элерик Олбен.

— Я уйду через служебный ход, Поул, — сказал Отфорд. — А вы, пожалуй, попросите сержанта Оуки подогнать машину к Тридингтон Мьюз.

— Но как же мне быть сейчас, сэр? — спросил Поул. — Бедная дама выглядит очень огорченной. Она сидит в этрусском зале. Мне пришлось принести ей стакан воды.

— Проявите инициативу, Поул, — туманно ответил Отфорд.

Хеджиз был явно озадачен.

— Но почему вы так боитесь ее, Джон?

— Она говорила по телефону абсолютно истерично и бессвязно.

Хеджиз улыбнулся:

— Я-то думал, нечто подобное случается только с кинозвездами или певцами. Что она хочет, если не секрет?

— Это великий секрет. Она оставила его при себе. Я не понял ни единого слова, кроме того, что дело как-то связано с ее мужем.

— Мужем?

— Странно, — неожиданно сказал Поул, во все глаза разглядывая автобиографию сэра Краудсона Гриббелла, которую Отфорд положил обратно на стол. — Каж-

дый раз, когда она приходит сюда, то сжимает в руках эту книгу.

— Вы уверены? — спросил Отфорд.

— Абсолютно.

— Что-то не очень подходящее чтиво для истеричной женщины, — заметил Хеджиз. — Какого она возраста?

— Я бы сказал, ей за пятьдесят, сэр.

— Может, одна из любовниц, брошенных Гриббеллом в Старом Дели? — буркнул невольно заинтригованный Отфорд.

— Как, вы сказали, ее имя? — переспросил Хеджиз.

— Олбен. Миссис Элерик Олбен, — ответил Поул.

В наступившей тишине Хеджиз открыл книгу и просмотрел указатель имен. Внезапно он изумленно поднял брови.

— Что там такое?

— Олбен, бригадный генерал, Элерик. Впоследствии полковник. Страница триста сорок семь. Бригадный генерал, впоследствии полковник. Занятно.

Хеджиз нашел триста сорок седьмую страницу и прокашлялся.

— «Двадцать девятого ноября, — прочитал он, — после того как моя дивизия уже больше месяца удерживала позиции по реке Рицциo, произошло одно из тех редких событий, что бросают тень на карьеру солдата и вынуждают его принимать решения, при всей своей неприглядности необходимые для успешного исхода кампании...»

— Что за напыщенный осел, — перебил Отфорд. — Я прямо слышу, как он диктует это.

— «Вечером двадцать восьмого числа я вернулся легким самолетом в расположение своих войск после продолжительного совещания с генералом Марком Кларком, который интересовался, считаю ли я возможным перейти в наступление на противника всеми имеющимися у меня силами совместно с польской дивизией на моем правом фланге. Атака предполагалась на очень узком участке фронта с целью форсировать реку и захватить перекресток дорог в Сан-Мельчоре-ди-Стетто, тем самым рассекая коммуникации противника в жизненно важном пункте. Польский генерал изъявил готовность участвовать в атаке, но я возразил против нее, полагая, что наши части были в состоянии лишь удерживать занимаемые позиции, пока мы не подтянем тылы, чтобы обеспечить успех операции. Разведка установила наличие на северном берегу

подразделений двух дивизий противника — триста восемьдесят первой и отборной гренадерской Великого курфюрста; естественно, я был категорически против бессмысленных потерь личного состава, неизбежных при таком поспешном и неподготовленном наступлении против значительных сил противника. Американский генерал, правда сохраняя вежливость, выказал чрезвычайную настойчивость, пытаясь заручиться моей поддержкой, и мне отнюдь не помогло ретивое и не лишенное хвастовства отношение к его плану польского генерала, проявившего абсолютно неуместное бахвальство. Обещав генералу Кларку дать ответ в течение суток, я вернулся в мою штаб-квартиру в деревне Валендаццо. Мой отъезд происходил в несколько напряженной, хотя и сдержанной атмосфере. Прибыв в Валендаццо, я немедленно пригласил на обед командиров бригад. Также присутствовали мой адъютант Фредди Арчер-Браун и мой начальник разведки Том Хоули. Бригадный генерал Фулис всецело одобрил мой план. Возражения поступили лишь от бригадного генерала Олбена, офицера, имевшего блестящую репутацию храбреца, но известного еще и определенной несдержанностью и буйством характера. За обедом бригадный генерал Олбен проявил крайнюю враждебность и заявил, что я не отдаю себе отчета в своих действиях. В глубоком возмущении он покинул штаб-квартиру и следующим утром, действуя исключительно по собственному усмотрению, начал наступление на своем участке без поддержки артиллерии. Хотя двум ротам удалось форсировать реку и захватить незначительный плацдарм на вражеском берегу, потери оказались столь велики, что я был вынужден приказать отойти на исходные позиции. Рассмотрев дело бригадного генерала Олбена, военно-полевой суд понизил его в звании до полковника и уволил в отставку. Столь мягкое наказание стало возможным лишь благодаря его репутации человека высокого личного мужества».

Наступило молчание. Отфорд нахмурился.

— Не хотите ли принять ее теперь, Шерлок? — спросил Хеджиз.

— По всей вероятности, Гриббелл пишет правду, — ответил Отфорд.

— Вот уж не похоже на вас!

— Поул, пригласите даму сюда.

Покинув кабинет, Поул тут же вернулся.

— Она ушла, — сказал он.

В телефонной книге не нашлось и следа Элерика Олбена, поэтому вечером Отфорд отправился не домой, а в клуб на Сент-Джеймс-стрит. Он пробовал притвориться перед самим собой, будто едет туда просто выпить немного, но на самом деле в нем проснулся дух искателя приключений. Это был один из тех клубов, куда он вступил довольно давно, но где бывал очень редко: слишком уж он напоминал Отфорду закрытую частную школу. Члены клуба, большей частью военные — вышедшие на пенсию по старости лет, с примесью тех, кто состарился преждевременно, — так и не сумели освободиться от привычки к иерархии, свойственной их по-школярски построенной жизни. С враждебным видом они сидели в глубоких креслах, пытаясь свое истинное место при нынешнем порядке вещей определить по оттенкам подобострастия или высокомерия на лицах коллег.

Войдя в клуб, Отфорд оставил шляпу в гардеробе и прошелся по просторным апартаментам, будто искал кого-то. Вокруг, словно в церкви, слышалось журчанье приглушенных разговоров. Ковер поглощал звук шагов. Отфорд увильнул от бара — там сидело не менее трех печально прославленных зануд, высматривавших жертву. Отфорд заметил Леопарда Бейтли, одиноко сидевшего в читальне и разглядывавшего журнал, посвященный скачкам. Леопард — генерал-майор действительной службы — был неплохой малый. Он обладал лихорадочным воображением военного и достаточным банковским счетом, чтобы позволить себе высказывать из ряда вон выходящие мысли и сделать из службы хобби. Своим весьма грозным прозвищем Бейтли был обязан не столько выдающимся проявлением отваги, сколько кожному заболеванию, которым страдал с юных лет.

— Добрый вечер, сэр.

Леопард поднял взгляд и улыбнулся.

— Не часто мы имеем удовольствие видеть вас здесь, Отфорд.

— Можно посидеть с вами?

— Сделайте милость. Я всего лишь убиваю время, но вижу, мне плохо это удается.

Потягивая виски с содовой, Отфорд спросил Леопарда, знавал ли тот когда-нибудь бригадного генерала Олбена.

— Элерик Олбен? — нахмурился Леопард. — Да. Неприятная вышла история. Хотя он сам все время напрашивался. Иначе и кончиться не могло.

— Он был плохой солдат?

— О нет, напротив, чересчур хороший. А это всегда слишком хорошо, чтобы хорошо кончиться, если вы меня понимаете. То, что случилось с ним, неоднократно грозило и мне. И потом, я не знаю, действительно ли он чрезмерно пил, мы не настолько хорошо были знакомы, но он вечно казался пьяным. Когда ни встретишь его — речь сбивчивая, глаза мутные, буянил, как черт. Думаю, у него была аллергия на глупость, но если у вас аллергия на глупость, да еще в армии, вы запьете и обязательно сорветесь в самый неподходящий момент, а в конце концов обнаружите, что стали озлобившимся брюзгливым штатским.

— Думаете, это случится и с вами?

— О господи, конечно же, нет. У меня глупость не вызывает аллергии, она забавляет меня. Я-то, пожалуй, дослужусь до фельдмаршала.

После небольшой паузы Отфорд спросил Леопарда:

— Вы случайно не читали книгу Гриббелла?

— Книгу Гриббелла, говорите? Вот уж не думал, что этот тип умеет писать.

— Кто-то, наверно, написал за него.

— Нет, у меня есть более интересные занятия, чем пускаться в изыскания ради открытия абсолютно посредственного ума.

Экземпляр «Таймс», развернутый напротив Отфорда и Леопарда, опустился, и собеседников смерил взгляд, примечательный отсутствием всякого выражения.

— Мы как раз обсуждали вашу книгу, сэр, — запинаясь, произнес Отфорд.

— Мою книгу? Да она вышла два дня назад.

— Но я почти всю ее уже прочел, — сказал Отфорд.

— Захватывающая книга, не так ли! — Гриббелл не спрашивал, Гриббелл утверждал.

— Я не читал ее, — заявил не без раздражения Леопард.

— Что вы?..

— Я ее не читал.

— Думаю, она вам понравится, Бейтли, очень уж хорошо читается.

Закусив губу, Отфорд ринулся в атаку:

— Описание переправы через реку Риццио представляет итальянскую кампанию в совершенно новом свете.

На лице Гриббелла появилось почти добродушное, даже благодарное выражение. Он отложил газету.

— Вы военный, сэр? — спросил он.

— Я историк.

— Военный историк?

— Да. Мое имя — Джон Отфорд.

Гриббелл пропустил слова Отфорда мимо ушей. Казалось, он слышал лишь то, что хотел услышать, и пока Джон представлялся, генерал уже обдумывал следующую фразу.

— Знаете, — начал он, — некоторые из вас, историков, чертовски несправедливо обошлись кое с кем из нас, бедолаг, которые и вынесли на своих плечах настоящие сражения.

— Но разве не правда, что некоторые из вас, военных, чертовски несправедливо обошлись друг с другом? Прочитав все, что написали Айк, Кровь и Кишки*, и Монти, и Омар Брэдли, я удивился, как мы вообще выиграли войну.

Гриббелл пропустил мимо ушей и это.

— Никто ведь так и не понял, — продолжал он, — что, не форсируй я тогда под рождество Риццио, сидеть бы нам в Италии по сей день. — Он улыбнулся тусклой улыбкой и, казалось, готовился принимать поздравления.

— Но что было бы, перейди вы в наступление, когда хотел Марк Кларк?

Гриббелл расценил этот вопрос как проявление наглости.

— Любезный юный сэр, — сказал он на удивление злобно, — согласись я с этим планом, я бессмысленно потерял бы две тысячи человек.

— А если бы вы поддержали атаку бригады Олбена?

Гриббелл вскочил, словно ему дали пощечину.

— Я пришел сюда не для того, чтобы подвергаться оскорблениям, — произнес он чопорно. — Могу я узнать, вы — член нашего клуба или находитесь здесь как гость?

— Я — член клуба, — спокойно ответил Джон.

— Весьма сожалею слышать это.

И Гриббелл величаво удалился.

— Выдали ему на все сто, — пробормотал Леопард.

Но тут Гриббелл неожиданно вернулся к ним.

— Есть определенные вещи, которых не вставишь в книгу во избежание иска за клевету, — сказал он более

* Айк — прозвище американского генерала Эйзенхауэра; Кровь и Кишки — прозвище американского генерала Паттона.

разумным тоном. — И я не мог упомянуть об одном обстоятельстве, связанном с атакой Олбена. Он был пьян. И возглавлял атаку, одетый в пижаму.

Отфорд вел машину, находясь под сильнейшим впечатлением от беседы. Ему лишь ценою больших усилий удавалось следить за сигналами светофоров. Почему упоминание имени Олбена вызвало столь несоразмерный гнев у генерала Гриббелла? Нужно ли было генералу так впечатляюще, пусть и банально, обставлять свой уход лишь затем, чтобы тут же испортить эффект, вернувшись с довольно-таки рациональным объяснением поведения Олбена? Какой странный смысл придал генерал всему эпизоду неумеренным проявлением гнева и непрошеным объяснением его!

Поставив машину на стоянку, Отфорд хотел было выключить фары, но ему показалось, что рядом с изгородью, метрах в трех от него, стоит какая-то женщина. После минутного колебания Отфорд все-таки выключил фары, вышел из машины и запер дверцу. Он подождал немного. Ему послышался скрип каблуков по гравию, и снова все смолкло.

— Миссис Олбен! — позвал он.

Молчание.

Джон снова открыл дверцу, сел в машину, повернул ключ зажигания и медленно поехал вперед в кромешной тьме. Он включил фары, и лучи света поймали жалко выглядевшую, бледную женщину. В руках она сжимала книгу Гриббелла. Отфорд притормозил, открыл дверь и сказал возможно непринужденней:

— Не хотите ли чего-нибудь выпить, миссис Олбен?

— Почему вы все время избегаете меня? — выпалила та.

— Я не понял, кто вы.

— Вы смеетесь надо мной!

— С какой стати мне над вами смеяться? — слегка растерялся Отфорд. На миг оба умолкли, не зная, что сказать. — Прошу вас, заходите в дом, мы сможем там поговорить спокойно.

Джин Отфорд пришла в ярость: муж не только не позвонил предупредить, что опоздает к ужину, но, явившись наконец, привел с собой какую-то растрепанную особу, очень смахивающую на бродяжку.

Ужинали в молчании. Барьер злости разделил жену и мужа, а замечания миссис Олбен — что еда, мол, ве-

ликолепна, но она вовсе не имела намерения оставаться на ужин, это Отфорд настоял, а теперь она пропустила последний поезд с пересадкой на Саннингдейл и не знает, как быть, — лишь подогрели возникшую глухую распрю.

После кофе Джип стремглав выскочила из комнаты, не проронив ни слова, и Отфорд обратился к миссис Олбен.

— Скажите, — спросил он, — почему вы так настойчиво звонили мне и преследовали меня последние два дня?

— Боюсь, ваша жена не очень мною довольна, — робко заметила миссис Олбен.

— Нет, это мною она не очень довольна, пусть даже вы и дали к этому повод. Я хотел бы, чтоб вы ответили на мой вопрос.

— Вы знакомы с моим мужем? — спросила она, явно пересиливая себя. Миссис Олбен была женщиной весьма нервической и не очень привлекательной.

— Нет.

— И думаю, не читали еще эту книгу?

— Почему, я прочел ее.

— Вот как.

Она замолчала. Отфорд знал наперед, что ему предстоит услышать, но миссис Олбен нужно было обдумать, как изложить свое дело, а это требовало времени. Она была жалкой: налитые кровью глаза и растрепанные седые волосы делали ее похожей на старую каргу.

— Тогда вы читали и о бригадном генерале Олбене.

— Да.

— И поверили этому?

— У меня нет оснований не верить.

Миссис Олбен заплакала; но, как ни странно, слезы казались до того естественной деталью ее облика, что не вызывали почти никакого сочувствия.

— Это несправедливо! — вскричала она. — Чудовищно несправедливо!

— Вы разве были там? — спросил Отфорд, несколько удивленный собственным бессердечием. Поразительно, но эта женщина вызывала у него не жалость, а раздражение.

— Конечно, меня там не было, но я знаю Рика! Я знаю своего мужа!

Столь бурный протест пробудил у Отфорда смутное

чувство вины, но он лишь потупил взгляд и ждал. В конце концов, почему он должен помогать выбираться из долгих, невыносимых пауз женщине, съевшей у него ужин и ставшей причиной его ссоры с женой?

— Я знаю своего мужа и знаю Крауди Гриббелла.

— Вот как? — пытливо взглянул на нее Отфорд. — Где вы встречались с ним?

— В Индии, в Месопотамии. Я знаю и его, и Флору. С Флорой мы учились в школе. Мы — дальние родственницы.

— Флора? Миссис Гриббелл?

— Леди Гриббелл, — поправила миссис Олбен. В Англии положено воздавать должное даже врагам. — Одна из самых жадных, эгоистичных, самоуверенных женщин, каких только видел белый свет.

Да, даже врагам следует воздавать должное.

Миссис Олбен провела рукой по лицу, как бы пытаясь начать заново.

— Крауди был на два года старше Рика, но Рик очень быстро обошел его по службе. Муж получил орден «За безупречную службу» и офицерские погоны в семнадцатом, когда ему было всего восемнадцать лет. В двадцать четыре года он уже служил в чине капитана в Индии, а Крауди был всего-навсего заштатным лейтенантом первого батальона своего полка, стоявшего на севере Англии. В начале тридцатых годов они вместе служили в районе Мадраса. Из всех майоров британской армии младше Рика возрастом был только один человек. А Крауди занимал капитанскую должность, командуя пехотной ротой. К началу войны мужу исполнился сорок один год. Он был подполковником, командиром бронетанкового полка. Крауди тогда было сорок три. Все еще капитан и поговаривал об отставке. Рик попал в плен под Дюнкерком, но сумел бежать. Это был один из самых дерзких побегов из плена за всю войну; но Рик никогда не писал о нем и не желает даже говорить об этом. Зимой сорокового года он вернулся в Англию, полный идей, как нанести немцам наиболее чувствительный и сильный удар. В сорок первом он возглавил рейд восьми добровольцев на Нормандские острова, где захватил ценнейшие трофеи. За этот рейд его одновременно и отметили, и наказали.

— Почему? — спросил Отфорд.

— Он никого не поставил заранее в известность о своей операции. Позже в том же году Рик получил тан-

ковую бригаду в Эфиопии и, уйдя далеко вперед от основных сил, взял в плен шестерых итальянских генералов со всеми их войсками. В сорок втором году поговаривали, не дать ли ему дивизию, но, увы, этого не случилось. Вечно он выходил из себя и ссорился не с теми, с кем надо, даже с Верзилой Вильсоном, военным министром. Его перевели на канцелярскую должность в министерство обороны, и он оставался там, пока не получил двести сорок первую бригаду. Но к тому времени Крауди Гриббелл уже пролез наверх свойственным ему неприметным образом, и беднята Рик оказался под началом человека, с которым менее всего вообще хотел бы иметь дело.

— Они ненавидели друг друга?

— Не думаю, что Рик действительно ненавидел Крауди. В прошлом у них бывали весьма ожесточенные стычки, но Рик — человек немстительный. Он скорее ненавидел не самого Крауди, а все, что тот собой олицетворял: тупость, боязнь риска, раболепие. «И за каким чертом такому человеку идти в армию?» — вечно спрашивал Рик.

— Ответ один — чтобы стать генералом, — сказал Отфорд. Эта гарнизонная дама изрядно раздражала его. — Но объясните, пожалуйста, почему желание оправдать вашего мужа привело вас ко мне?

— Я нашла ваше имя в оглавлении энциклопедии в публичной библиотеке. Вы писали об итальянской кампании. Видите ли, Рик никогда не напишет книги. Да и напиши он ее, никто его книгу не издаст. Но вы — авторитет, которого читают все. Ваши труды — часть официальной истории.

В этот самый момент в комнату ворвалась Джин. Она была в ночной рубашке и халате.

— Идешь ты спать? — спросила она.

Отфорд почувствовал минутное искушение взорваться, но вместо этого ответил весьма непринужденно:

— Сию минуту, дорогая. Вот только отвезу миссис Олбен в Саннингдейл.

Джин сама мысль о поездке в Саннингдейл среди ночи показалась настолько нелепой, что чуть было даже ее не развлекла. И она просто хлопнула дверью.

Поездка оказалась куда более долгой, чем полагал Отфорд, и всю дорогу миссис Олбен монотонно бубнила, изливая горькие чувства полковой леди Макбет. Она без

конца возвращалась к несправедливости, постигшей ее мужа, но не смогла привести ни единого довода в пользу того, что Гриббелл в своих действиях был не прав.

Когда наконец машина подъехала к низкому, невзрачному домику, в котором, по ее словам, и жила миссис Олбен, входная дверь была открыта и на фоне освещенной прихожей вырисовывалась тощая, долговязая фигура.

— О господи, — пробормотала искренне встревоженная миссис Олбен.

— Где тебя черти носят? — заорал полковник.

— Мистер Отфорд был настолько любезен, что отвез меня домой, — нервно отвечала жена.

— Отфорд? Вы и есть тот напыщенный индюк, который написал в энциклопедии всю эту высокопарную дребедень об итальянской кампании?

— Откуда ты знаешь? — спросила в изумлении его жена.

— Да, — сказал Отфорд.

— И я полагаю, — продолжал полковник, — моя жена извела вас слезливыми россказнями обо мне.

Отфорд посмотрел на миссис Олбен и впервые, пожалуй, посочувствовал ей, до того она казалась одинокой, брошенной и отчаявшейся.

— Нет, полковник Олбен, это я ее извел.

— Я вам не верю.

Отфорд вышел из машины. Так, казалось ему, можно будет держаться с бо́льшим достоинством. Полковник, заметил он, был в пижаме. Ветерок доносил запах виски.

— Не верите, и черт с вами, — отрезал Отфорд, сам удивившись собственной храбрости. — Но дело в том, что я интересуюсь переправой через реку Риццио и, как историк, намерен получить необходимую информацию из любого возможного источника.

— Интересно, зачем это вы вылезли из машины? — парировал полковник. — Если думаете, что я приглашу вас в дом побеседовать, вы очень ошибаетесь. А если тешите себя надеждой, будто я выскажу вам признательность за то, что доставили мою жену в целости и сохранности, ошибаетесь еще больше. Мне нет никакого дела, где она была, чем занимается и увижу ли я ее когда-либо снова. То же самое, сэр, относится и к вам.

Внезапно он развернулся, и мощный взмах кулака едва миновал его жену; непонятно — намеренно ли про-

махнулся полковник или не рассчитал удар. Всхлипнув, миссис Олбен исчезла в дверях. В соседних домах открылись два-три окна, и сонные голоса воззвали к нарушителям тишины.

— А теперь, — сказал полковник, — катись отсюда. Убирайся прочь, да поживее.

— Я начинаю верить тому, что рассказал мне сэр Краудсон Гриббелл! — крикнул Отфорд вслед удаляющейся фигуре. — Вас выставили из армии за пьянство.

Повернувшись, полковник медленно подошел к Отфорду и тихо сказал:

— Совершенно верно. Я тогда был пьян как сапожник. И не только пьян, но и по такому случаю одет в пижаму — белую, в тонкую голубую полоску. Я повел бригаду в атаку, нарушив приказ, за что и был вполне заслуженно отдан под трибунал. Генерал сэр Краудсон Гриббелл знал, что делал, а я — нет. Моя опрометчивость обошлась нам в четыреста двадцать четыре убитых и около восьмисот раненых. Вы удовлетворены?

Медленно и не очень твердо он пошел обратно к двери.

— Надеюсь, сэр, вы не станете вымещать недовольство моей глупостью на вашей жене, — только и мог сказать огорошенный Отфорд.

— Это, — ответствовал полковник, — мое дело, так же как и бой на реке Риццио, — и захлопнул за собой дверь.

Отфорд вернулся домой в четыре утра, усталый, злой и растерянный. Он на цыпочках прошел в спальню и разделся как можно тише. Привыкнув к темноте, он вдруг обнаружил, что жена наблюдает за ним своими большими, явно обиженными глазами. Отфорд был слишком расстроен, чтобы даже попробовать объясниться в столь поздний час, и поэтому, сделав вид, будто ничего не заметил, тихо лежал в темноте, притворяясь спящим.

Наутро за завтраком оба были холодны друг с другом, Отфорду не хватило смелости покончить с этим недоразумением. В напряженном молчании ему почему-то лучше думалось. Он уехал на работу, не попрощавшись с женой.

На работе ему, как обычно, нечего было делать. Он сидел за столом, зевая и озираясь по сторонам. И вдруг принял решение. Позвонив своему приятелю в министерство обороны, он привел в действие архивный меха-

низм — на предмет поиска документов соединения, где служил Олбен. Несколько часов спустя, после телефонных разговоров на приличную сумму, которые можно было объяснить или оплатить позже, Отфорд установил, что во время форсирования реки Риццио адъютантом Олбена был некий лейтенант Гилки, ныне владеющий фермой в Кении, а денщиком Олбена был рядовой Джек Леннок, который состоит членом Корпуса демобилизованных. С помощью этой организации удалось быстро разыскать Джека Леннока: он работал в кинотеатре на Лестер-сквер.

Забыв об обеде, Отфорд взял такси и отправился на Лестер-сквер. Взойдя по ступенькам к высокому багроволицему швейцару в ослепительном опереточном мундире, он осведомился о Ленноке. Швейцар поведал ему, что Леннок трудится в конторе наверху, но приходит не ранее трех часов.

Отфорд сидел в кафе-молочной, ел отвратительную котлету и не мог понять, почему испытывает такое нетерпение.

Все известные ему факты ясно свидетельствовали: никакой тайны здесь нет. Гриббелл и Олбен соглашались во всем. И Олбен — обвиняемый куда энергичнее доказывал свою вину, чем Гриббелл — обвинитель. И тем не менее чутье подсказывало Отфорду, что он на пороге открытия и поиск должен продолжаться.

В три часа Отфорд поднялся в помещение кинокомпании, расположенное над кинотеатром. Леннока он нашел за столом в приемной на восьмом этаже. Тот был в форменном темном костюме с медалями на груди. Когда Отфорд подошел к нему, Леннок поднял взгляд и улыбнулся. У него было приятное, открытое лицо.

— Кого бы вы хотели видеть, сэр? — спросил он.

— Полагаю, что вас.

— Меня?

— Вы — мистер Леннок?

— Да.

Отфорд представился и без обиняков спросил об Олбене.

Выражение лица Леннока изменилось. Казалось, в глазах его снова вспыхнула былая боль.

— Я всем этим сыт по горло, — сказал Леннок. — Да и старик, я думаю, тоже. Я предпочел бы обо всем забыть.

Отфорд протянул ему фунтовую бумажку, тот не взял ее.

— Вы хорошо к нему относились?

— Кто, я? Я в жизни никого лучше не видел. Но его, конечно, надо было знать. У него были свои взлеты и падения, как и у каждого человека.

— Однако он любил заглядывать в бутылку?

Леннок подозрительно и не без гнева взглянул на Отфорда:

— Он не прочь пропустить рюмочку в подходящий момент, сэр, как, наверно, и вы.

— Вы принимали участие в форсировании реки?

— Да, принимал, — сказал Леннок.

— И были одним из тех, кто переправился на другой берег?

— Мы все переправились на другой берег.

— Все? Вся бригада?

— Вся бригада.

Отфорд нахмурился.

— И далеко удалось вам продвинуться?

— Это надо спросить у кого-нибудь другого. Я был ранен в ногу, как только оказался на том берегу, и отправлен в госпиталь. А выписавшись, попал на Дальний Восток с нашим восьмым батальоном и никого из ребят больше не видел.

— Вы поддерживаете контакты с кем-нибудь из однополчан, кого бы я мог расспросить?

— В Лондоне почти никого из них нет, сэр. Разве что старшина третьей роты Ламберт. Он заведует турецкой баней при мотоспортивном клубе, в конце Джермин-стрит. С ним я иногда встречаюсь.

В этот момент в приемную вошел кто-то из служащих кинокомпании и позвал Леннока.

— Извините, сэр, я сейчас же вернусь, — сказал Леннок и ушел.

Отфорд не стал дожидаться его возвращения. Он вышел на улицу, подозвал такси и направился в мотоспортивный клуб. Войти в него не члену клуба оказалось целой проблемой, но принадлежность Отфорда по меньшей мере к одному из других престижных клубов помогла убедить секретаря. После совершенно излишних объяснений Отфорда проводили в турецкую баню и представили старшине Ламберту, маленькому жилистому человечку. В его облике проскальзывала резкость, от которой даже при самой чистой совести становится не по себе. Ламберт был одет в белое с головы до пят, движе-

ния его были упруги, как у инструктора по физической подготовке.

Не теряя времени, Отфорд начал расспрашивать его.

— Не уверен, обязан ли я отвечать на ваши вопросы, поскольку не знаю наверняка, вправе ли вы задавать их.

— Но должны же вы иметь свое мнение, — сказал Отфорд, которому претила напыщенность упивающихся своей приниженностью.

— Я могу иметь свое мнение, но это не значит, что я имею разрешение высказывать таковое когда угодно, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Нет, не понимаю. — Джон почувствовал раздражение.

— Что ж, позвольте сказать так. Я не знаю, рассекречено все случившееся с нами при форсировании реки Риццио или нет.

— Кто-нибудь говорил вам, что эти сведения засекречены?

— Никто не говорил мне, что они рассекречены, — лукаво ответил бывший старшина в полной уверенности, что выиграл очко в споре. Вот дурак!

— Вы знали бригадного генерала Олбена?

— Полковника Олбена, сэр.

— Если вам угодно быть невеликодушным.

— Я всего лишь точен, сэр.

— Как по-вашему, он был хорошим офицером?

— Мои отзывы не в счет, сэр. Имеют значение, во-первых, послужной список и заключение военно-полевого суда — во-вторых.

— Вы согласны с приговором суда?

— Не мое это дело — соглашаться или не соглашаться с приговором суда; я должен ему следовать.

— О, господи, но ведь все происходило на ваших глазах!

— Вот именно, — ответил бывший старшина.

Вызывающий тон покоробил Отфорда, и все же он решил предпринять новую попытку.

— Вы форсировали реку двадцать девятого ноября. Это общеизвестно.

— Должно быть, так, раз вы это знаете.

— Как я понял, через реку переправился целый батальон, прежде чем был получен приказ отходить.

— Этого я не могу вам сказать.

— Кому вы, по-вашему, поможете, если скажете? —

вскричал Отфорд. — Немцам? Но они теперь на нашей стороне и жаждут всячески помочь нам.

— Почему вам тогда не обратиться к ним?

— Ей-богу, это идея!

Старшина утратил выдержку. Мысль о том, что он мог подать Отфорду идею, ужаснула его.

— Что вы намерены предпринять? — спросил он, прикрыв глаза, как в мелодраме.

— Я намерен воспользоваться вашим советом и узнать правду у немцев.

— Но я вовсе этого не советовал!

— Нет, советовали! — отвечал Отфорд. — Вы сказали: «Почему вам тогда не обратиться к ним?»

— Я не совсем это имел в виду, сэр. Но если хотите получить необходимые сведения, буду весьма признателен, если вы свяжетесь с майором Энгуином. Он принял батальон после гибели нашего старика, полковника Рэдфорда. — Теперь старшина так разволновался, что у него перехватывало дыхание.

— Вот это уже лучше, — сказал Отфорд. — Майор Энгуин, говорите? Где я могу его найти? Вы знаете?

— Так точно, сэр. Мы до сих пор обмениваемся открытками на рождество. У него теперь автотранспортная фирма в Линкольне. «Братья Энгуин».

— Большое спасибо.

Отфорд протянул фунтовую бумажку, которую бывший старшина взял с легким поклоном.

Отфорд вернулся в музей около половины пятого и обнаружил, что никто ему не звонил и никто его не спрашивал. Взгляд его упал на книгу «Таков был приказ».

«Хотя двум ротам удалось форсировать реку и захватить незначительный плацдарм на вражеском берегу, потери оказались столь велики, что я был вынужден приказать им отойти на исходные позиции», — снова прочитал он.

А по словам Леннока, через реку переправилась вся бригада. Возможно, Леннок напутал? Он ведь всего рядовой. А может, напутал сам Гриббелл?

Отфорд без труда нашел номер фирмы «Братья Энгуин» в Линкольне и вскоре уже говорил с майором Энгуином по междугородному телефону. Судя по голосу,

Энгуин воображал себя прирожденным руководителем людей и грузовиков.

— Олбен? — переспросил он. — Я этого типа терпеть не мог. Донельзя дурно воспитан, чертовски тщеславен да к тому же еще и с причудами. Носил фуражку задом наперед и принимал парады в пижаме. Вам, безусловно, знаком подобный тип людей. Вечно выламываются как могут. Но, должен вам сказать, солдаты шли за ним в огонь и в воду. Он их завораживал. И умел веселить. Они считали его чокнутым и при нем не скучали ни минуты, это уж точно. Но в офицерском собрании он был сущим бедствием.

— Пил?

— Да, но держался великолепно, сколько бы ни выпил. Никогда не встречал человека, который умел бы так пить, не теряя контроля над собой. Просто невероятно. И всегда сохранял ясность ума.

— Вы когда-нибудь сталкивались с сэром Краудсоном Гриббеллом?

— Да, еще одна совершенно отвратительная личность. Но, разумеется, полная противоположность дикарю Олбену. В жизни своей никогда не рисковал. Ни разу не продвинулся ни на шаг, если не был уверен в успехе и пока соседи на флангах не выполнят всю грязную работу. С Олбеном, по крайней мере, не соскучишься, но, заговорив с Зевуном Гриббеллом, вы сию же минуту начнете храпеть.

Занятный тип этот Энгуин.

— Генерал Гриббелл написал книгу.

— Зевун? Не завидую издательству, вложившему в нее деньги. И что же он пишет?

— Пишет, что, когда Олбен начал свою атаку, через реку переправились только две роты, и...

— Полная и заведомая ложь. Мой батальон был в резерве, и мы переправились вслед за двумя остальными батальонами бригады.

— Гриббелл называет незначительным захваченный Олбеном плацдарм.

— И вы поверили? Целью операции ставился захват деревни Сан... как ее там...

— Сан-Мельчоре-ди-Стетто.

— Вот именно. Значит, мы заняли ее, не прошло полчаса с начала атаки. Потери были совсем незначительны. Олбен приказал окапываться и послал сообщение в штаб, просил поддержать бригаду силами диви-

зии. В ответ он получил лишь приказ отступить. Сначала Олбен отказался отступать, но в конце концов вынужден был подчиниться. Когда солдаты поняли, что отступают без всякой причины, чуть было не вспыхнул бунт. Наш отход придал фрицам духу, и они открыли убийственный огонь. Девяносто пять процентов всех потерь мы понесли при отступлении.

— О господи!

— Да, вот как оно было. Так что не всему, что пишут, можно верить. Окажетесь в Линкольне, в любое время буду рад...

Отфорд снова лихорадочно зазвонил в министерство обороны и благодаря своим связям выяснил, что немецкими войсками, противостоявшими дивизии Гриббелла, командовал некий генерал Шванц, который, к счастью, оставался в армии до сих пор и был прикомандирован к штаб-квартире войск НАТО в Париже. Несмотря на поздний час, Отфорд заказал Париж и выяснил, что генерал уже покинул штаб, но его можно найти в отеле «Рафаэль». Тревожно поглядывая на часы, Отфорд заказал разговор с отелем «Рафаэль» и узнал, что генерал Шванц, по всей видимости, уехал в посольство ФРГ на прием в честь какого-то высокого гостя из Америки. Не колеблясь Отфорд позвонил в посольство и, припомнив все известные ему немецкие слова, попросил генерала Шванца. Человек, ответивший на звонок, отправился искать генерала, и Отфорд услышал в трубке приглушенный гул голосов, обычный для приемов. Неплохо бы, подумал он, и ему сейчас выпить. Наконец в трубке раздался довольно высокий мягкий голос:

— Hallo, hier Schwantz *.

— Вы говорите по-английски?

— Кто у аппарата?

Отфорд объяснил, что он военный историк, и извинился за беспокойство, причиненное генералу в неурочный час. Поскольку немцы питают большое уважение к историкам вообще, а к военным — в особенности, генерал был более чем любезен.

— Я хочу задать вам вопрос о форсировании реки Рицпио.

— Рицпио? Да-да. Возможно, я пошлю вам мою книгу «Sonnenuntergang in Italien» **. Здесь трудно говорить, потому что много шуму.

* Алло, Шванц слушает *(нем.)*.

** «Закат солнца в Италии» *(нем.)*.

— Вы написали книгу?

— Да. Две недели как вышла в Мюнхене, на немецком, конечно. Я пошлю ее вам.

— Огромное спасибо. С удовольствием прочту ее. Не могу ли я задать вам сейчас еще один вопрос?

— Пожалуйста.

— Застала ли вас врасплох атака англичан двадцать девятого ноября?

— Абсолютно. Не было никакой артиллерийской подготовки. Мы привыкли, что атаки англичан всегда построены по одной схеме. Артиллерия, а потом, через час или около того, пехота. Тогда было что-то совсем другое. Атаку возглавил офицер в белом. Его костюм походил на пижаму. Он курил трубку и держал в руке британский флаг. Многие солдаты тоже курили, дудели в трубы и горны, били в барабаны. Такую форму атаки мы применяли в первую мировую войну, так называемая «психическая атака». Боевой дух моих солдат был настолько низок, что они покидали свои позиции, почти не открывая огня. Они, видите ли, прибыли из России, и генеральный штаб считал, что после России Италия — это нечто вроде курорта, но там, конечно, тоже было тяжело, хотя и полегче. Некоторые солдаты так перепугались, что приняли эту фигуру в белом за призрак или — как это по-вашему? — за труп. И эта странная какофония. Все было очень умно придумано, ничего умнее я на войне никогда не видел, потому что психологический момент был очень правильно выбран. В первую мировую войну мы потеряли много солдат, бросая их в такие атаки против свежих частей противника, у которых был высокий боевой дух. Я не мог спасти наш штаб в Сан-Мельчоре-ди-Стетто, и наша линия обороны была прорвана. Одним из последних моих действий была тогда отправка срочной просьбы о помощи командиру корпуса генералу фон Хаммерлинку, но я знал, что ему придется отдать приказ об общем отступлении: у нас тогда совсем не было резервов. Я имел под моим командованием мелкие подразделения триста восемьдесят первой дивизии — всего, наверно, человек двести; около пятисот гренадеров из дивизии Великого курфюрста, немного солдат старших возрастов из разных запасных частей и около трехсот фанатиков из дивизии СС «Зейс-Инкварт». Я перемешал их, насколько возможно. Хотел создать впечатление, если британцы возьмут пленных, что у меня большие силы. Я уже отдал приказ об отступлении на своем участ-

ке, чтобы предотвратить полный упадок боевого духа — многие из моих солдат были бессменно на передовой по восемь-девять месяцев, — как вдруг, по причине, которая так никогда и не выяснилась, британцы начали отходить сами. Когда ко мне поступило это сообщение, я сначала не поверил, но приказал атаковать всеми силами. Если солдаты устали и пали духом, надо заставить их действовать активно. Даже безнадежная атака лучше, чем ничего. Через два часа мы вернулись на наши прежние позиции, нанеся противнику тяжелые потери. Я получил «Рыцарский крест» с бриллиантами, но отмечаю в мемуарах, что не заслужил его. Ни разу за всю свою службу в армии я не сталкивался с такой необычной и даже таинственной ошибкой, как допущенная в тех обстоятельствах британцами. Ответил ли я на ваш вопрос?

Да уж, немцы — народ дотошный. Для человека, просившего извинения за то, что ему будет трудно говорить прямо с шумного коктейля, генерал Шванц справился с задачей просто великолепно.

— Большое спасибо, герр генерал, — сказал Отфорд. — Вы дали мне более чем исчерпывающую информацию, я позволю себе послать вам мою книгу и надеюсь, вы с ней ознакомитесь.

— Простите?

Генерал почти безупречно изъяснялся по-английски на военные темы, но в обычном разговоре был не так находчив.

— Большое вам спасибо, — повторил Отфорд.

— Спасибо вам, и желаю успехов в вашей чрезвычайно интересной работе.

Отфорд повесил трубку и мрачно улыбнулся.

Он позвонил Филипу Хеджизу и сообщил, что, возможно, придется внести кое-какие изменения в новое издание энциклопедии. Хеджиз был в восторге. Затем Отфорд зашел в цветочный магазин, купил большой букет алых роз и поехал домой.

Его жену успело уже утомить тягостное молчание семейного раздора, вызванного лишь некоторым недомыслием, а вовсе не злым умыслом. Подаренный букет заставил ее расплакаться, настолько поступок этот был не в привычках ее мужа. Вечером в постели Отфорд рассказал ей все.

— Я просто не мог посвятить тебя в это раньше, — объяснил он. — мне и самому все было неясно.

— Я понимаю, — прошептала она, хотя на самом деле ничего не поняла.

Покосившись на нее краем глаза, он усмехнулся.

— Тем не менее мне понадобится завтра твоя помощь. Утром мы съездим повидаться с полковником Олбеном.

— Тебе нужна моя помощь? — Она была польщена.

— И еще как. Если я поеду один, у него может появиться искушение поколотить меня. Но я надеюсь, в присутствии дамы он не отважится на это.

Следующим утром Отфорды выехали в Саннингдейл. К домику полковника они добрались около половины двенадцатого. Днем дом выглядел еще более убого, чем ночью. Он был собран из гофрированного железа, унылый вид его кое-как скрашивали плети винограда и других ползучих растений. И лишь крошечный садик выделялся своей ухоженностью. Отфорд позвонил в дверь. Минуту спустя ее открыла миссис Олбен.

Казалось, при виде Отфорда она пришла в ужас.

— Кто там еще? — послышался хриплый голос из дома.

Миссис Олбен не посмела ответить и в смущении замешкалась.

Появился полковник, сжимая в зубах погасшую трубку мундштуком вперед. Он был одет в шорты и толстый серый свитер.

— Какого черта вам надо? — бросил он резко. — Я ведь, кажется, указал вам в прошлый раз на дверь.

— Вы вовсе не указывали мне на дверь, — храбро ответил Отфорд. — Вы даже не предложили мне войти. Разрешите представить вам мою жену Джин.

Олбен отрывисто кивнул, переводя неуверенный взгляд карих глаз с Отфорда на его жену.

— Может, лучше пригласим их зайти? — осмелилась робко спросить миссис Олбен.

— Нет. Чего вы хотите?

— Мне известна правда о форсировании реки Риццио, и я намерен предать ее гласности.

— Да ведь правда об этом событии известна всем и каждому.

— Рядовой Леннок так не считает.

— Леннок? Где вы его откопали?

— Неважно.

— Он не может компетентно судить о том, что произошло.

— Ну а старшина Ламберт и майор Энгуин?

— Ламберт — наш худший тип кадрового солдата: приспособленец, подхалим. Что же до Энгуина, это просто упрямый осел, любитель среди профессионалов. Я буду отрицать все, что они ни скажут.

— А как насчет генерала Шванца?

— Генерала Шванца?

Полковник Олбен улыбнулся еле-еле; такая улыбка — знак признания, что оппонент выиграл очко в споре.

— Входите, — сказал он. — Мадж, не потрудишься ли ты занять миссис Отфорд. Я хочу поговорить с мистером Отфордом наедине. В кабинете.

Джин взглянула на мужа, тот ободряюще кивнул.

— Я наварила варенья, — сказала миссис Олбен, — с удовольствием вам покажу.

Джин направилась за ней явно без всякого энтузиазма.

Отфорд последовал за полковником.

— Прежде, чем начать разговор, — сказал ему Олбен, — что вам бросилось в глаза в этой комнате?

— Ну конечно, фантастическая, потрясающая коллекция растений. Можно сказать, целый полк растений.

— Я согласен на любое собирательное существительное, кроме этого, — в голосе полковника снова зазвучал металл.

— Некоторые из них с Востока, не так ли?

— Да, — сказал полковник, — этот малыш — из Тибета, а этот отвратный уродец — из Кашмира. У меня тут растения со всего мира. И капризные же они, надо сказать. Приходится держать под стеклом, при разных температурах, а в жилом доме это нелегко. Однако при известной смекалке чего только не достигнешь. — Он улыбнулся. —Что вы и доказали.

— И давно вы этим занимаетесь? — спросил Отфорд.

— С тех пор как оставил военную службу. Больше вы ничего здесь не замечаете? Ну скажем, отсутствия чего-то?

Отфорд молча огляделся по сторонам, пытаясь отыскать ключ к загадке.

— Дело не в одной какой-то детали, — продолжал Олбен. — Вам случалось бывать в домах у военных?

Отфорда вдруг осенило.

— У вас здесь нет ни одной фотографии встреч одно-

полчан, — сказал он, — ни единой воинской реликвии, даже портрета фельдмаршала в рамке *.

— Совершенно верно, — ответил Олбен. — Теперь мне с вами проще разговаривать. Хотите виски? Больше у меня ничего нет.

— Не рановато?

— Для виски никогда не рано.

Олбен налил два бокала и протянул один из них Отфорду.

— Можно мне немного...

— Вода его только портит, — ответил Олбен. — Поехали.

Он присел на складной табурет, предоставив Отфорду сломанное кресло.

— Я хочу уточнить кое-что, — начал Отфорд. — Почему вы были так резки со мной, пока я не упомянул фамилию Шванца? И почему так гостеприимны сейчас?

Полковник рассмеялся и почесал щеку проникотиненным пальцем. Затем начал медленно набивать табаком трубку, обдумывая ответ.

— Ничего на свете я не ценю так, как ум. И восхищаюсь людьми, умеющими вовремя прислушаться к своей интуиции. Это ведь тоже свидетельство ума. Вы, пожалуй, именно так и поступили. И доказали мне, что вы не какой-нибудь олух, падкий на сенсации, а человек, учуявший, где тут собака зарыта, и сам, своим умом дошедший до сути. В прошлый раз я сделал все, чтобы обескуражить вас. Я сбил вас со следа, но вы тут же взяли его снова. Я восхищен, теперь вы достойны моего гостеприимства.

Да, по темпераменту судя, Олбен был прирожденным лидером. И столь безмятежен в своем тщеславии, что на него невозможно было обидеться.

— Вы надеетесь услышать мой рассказ, — не спеша раскурив трубку, продолжил он. — Но вы его не услышите. Все, что я могу для вас сделать, — дать вам возможность приятно провести время.

— И у вас нет никакого желания узнать, что сказал Шванц? — спросил Отфорд.

— Нет. Он, несомненно, сказал правду. По мне, лучше бы он ее не говорил.

---

* Речь идет о портрете фельдмаршала Монтгомери, непременном сувенире английских офицеров — ветеранов второй мировой войны.

— И вы согласны оставить неоспоренной версию событий, изложенную Гриббеллом?

— О да. — Ответ Олбена прозвучал чуть ли не пренебрежительно. Подняв взгляд, он увидел недоуменное лицо Отфорда и громко рассмеялся. — Мои начальники испортили меня. Я ведь на самом деле был этаким переростком-бойскаутом, а в те времена именно это и ценилось в армии. Балканская кампания в конце первой мировой войны была для меня сущим развлечением со всеми этими капризными французскими офицерами, сербами, преисполненными собственного достоинства, болгарами с их уязвленными национальными чувствами и греческими коммерсантами, с очаровательной наглостью делавшими бешеные деньги. Потом, в Индии, я отличился блестящим умением играть в поло, и как следствие — быстрое продвижение по службе. Конечно, вокруг постоянно гибли люди, но я был молод и смотрел на это как на невезение в игре.

Он замолчал на минуту, разглядывая дымок от трубки.

— Проблемы начались, когда я прибыл во Францию в тридцать девятом. Мне казалось, что я очутился среди величайшего сборища кретинов, столько их сразу я еще никогда не видел. Их глупость была до того сокрушительна, что всякий раз забавляла. Солдаты только и знали, что драили себе пуговицы и с разбега кололи штыками мешки с неистовым воплем, пугавшим их самих. Впечатление было такое, будто все обучение сводится к одному — сделать людей как можно более приметными для неприятеля. Я возмущался и жаловался, но без толку. Фрицы перешли в наступление, и мы сделали все, что было в наших силах, чтобы облегчить их задачу. И можем тешить себя мыслью, что проиграли кампанию куда более убедительно, чем немцы ее выиграли.

Эфиопия после всего этого мне понравилась — это было возвращение к войне того типа, который я любил. Не очень большие потери, пропасть превосходнейших пейзажей и здоровая жизнь на свежем воздухе. Потом Лондон, тепличное существование, завал канцелярской работы: знай перекладывай туманно составленные бумаги из ящичка «входящие» в другой — «исходящие». Я начал уже изнемогать от всего этого, когда меня послали в помощь Крауди Гриббеллу. Он пришел в ужас, увидев меня снова после стольких лет, но у него не хватило характера настоять на моем отчислении. Ему

всегда не хватало характера, нашему Крауди. Впрочем, я чересчур щедр. Характера у него вовсе нет. И мы просидели на южном берегу паршивой речонки целых два месяца в бездействии, ожидая, когда же противник начнет отступать.

Я прекрасно понимал: фрицы блефуют. Слишком уж большую активность проявляли они на своем берегу, чтобы принять ее за чистую монету. Но Крауди на это клюнул. Он смертельно боялся наступления немцев. Тут его вызвали в штаб на ковер. Он вернулся, бледный от гнева. Его всегда было очень легко обидеть, старину Крауди, чаще всего потому, что он не совсем понимал услышанное и боялся попасть впросак. Он пригласил кое-кого из нас пообедать с ним. Я помню этот обед — просто дьявольский кошмар. Кошмар в любом смысле. Крауди был преисполнен решимости не высовываться и не атаковать немцев и требовал от нас поддержки. «Черта с два я раскрою свои карты раньше бошей», — сказал он. Я взорвался, заявил, что стыжусь служить под его началом, и прибавил кучу еще менее благопристойных вещей. В разговорах с ним я всегда перегибал палку, и потому только, что иначе до него бы ничего не дошло. Вернувшись к себе в штаб бригады, я решил испробовать на фрицах один из их же собственных старых трюков. Как только рассвело, первая рота двинулась вперед на очень узком участке фронта. Солдаты шли, вымазав дочерна лица, кто в нижнем белье, кто привязав к винтовкам простыни; курили, колотили в жестянки. Я возглавлял атаку в пижаме, курил трубку и читал на ходу «Иллюстрейтед Лондон ньюс». Мы шумели, как только могли. У одного парня нашлась волынка, набрали еще четыре горна и всяких там губных гармоник. А уж кричали — чертям небось тошно стало. Мы прошли сквозь позиции немцев, как нож сквозь масло, и через полчаса вступили в Сан-Мельчоре-ди-Стетто.

— А каковы были ваши потери?

— Один убитый, четверо раненых. И тут я совершил роковую ошибку. Вместо того чтобы просить поддержки у командира соседней со мной польской дивизии, я послал донесение Крауди. Он ответил, что я арестован, и приказал нам немедленно отходить, заявив: я, мол, погубил запланированную им общую операцию по взятию Сан-Мельчоре. Я ответил, что, поскольку Сан-Мельчоре уже в наших руках, надобность в таком плане отпала. Это только усугубило дело. Он обвинил меня во лжи.

И последним приказом, выполненным мною в армии, стал преступный приказ об отступлении. Мы потеряли четыреста двадцать четыре человека. Вот так-то.

Олбен помрачнел от охватившей его боли, потом улыбнулся снова.

— Вот я и сделал именно то, чего, как сам говорил, делать не хотел. Все рассказал вам. А знаете, почему я решился на это?

— Нет.

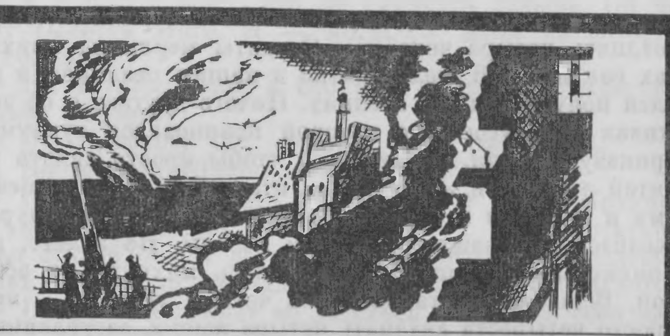
— Потому что я хорошо разбираюсь в людях. Мой рассказ — цена, которую я намерен заплатить за то, чтобы побудить вас держать все это в тайне.

— Как, вы сами не хотите, чтобы я восстановил истину? — Отфорд сорвался на крик.

— Истина? Что такое истина? — Олбен налил себе еще виски. — На любом заседании всяческих ведомств, на каждой сессии парламента все прямо лезут вон из кожи, чтоб установить истину и зафиксировать ее в протоколах, в которые никто и не глянет.

— Пока не будет подан иск.

— Для возбуждения иска требуется истец. В данном случае его не будет. — Олбен смерил Отфорда пронзительным взглядом и придвинул табурет ближе к креслу. — Любопытно, поймете ли вы меня, — произнес он очень тихо, чуть ли не благоговейно. — Я всегда хотел детей, а у нас их никогда не было; и ничто не внушает такого почтения к жизни, как стремление дать жизнь и вместе с тем невозможность сделать это. Я понимаю, в этом мире приходится совершать определенного рода поступки и то или иное дарование ко многому обязывает нас. Я был хорошим солдатом. Не знаю, приходилось ли вам наблюдать за игрой в теннис. Мяч иногда замирает на секунду над сеткой, словно не может решить, на какую же сторону упасть. Есть солдаты, похожие на этот мяч, и я был одним из них. Они либо становятся великими военачальниками, либо их увольняют, потому что они ведут себя как великие военачальники, не имея достаточно высокого ранга, чтобы это сошло им с рук. Именно так было со мной. У меня был талант к воинской службе, и — имей я чуть больше терпения — талант мой провозгласили бы военным гением. Но в глубине души я не уверен, что так уж пекся о славе, когда перестал служить на передовой; потом начал чересчур уж печься о солдатах, когда лишился права быть среди них. Меня совсем доконало то отступление из деревни — про-



клятое, идиотское, преступное. Мы потеряли четыреста двадцать четыре человека. Солдаты мерли на моих глазах как мухи. Я шел обратно к нашим позициям и надеялся получить пулю в спину. Ничего другого я не заслуживал за трусость, с которой повиновался тупоумному приказу Крауди, вместо того чтобы просто сидеть в занятой деревне и ждать, пока кто-нибудь с крупицей разума в голове и соответствующими галунами на фуражке осознает всю важность нашей победы. Но знаете, в тот момент мне больше всего хотелось махнуть на все рукой. Ведь четыреста двадцать четыре убитых — это не просто четыреста двадцать четыре жизни, загубленных ни за что ни про что, четыреста двадцать четыре так и не успевших состояться человека, четыреста двадцать четыре имени на листке бумаги. Нет, это четыреста двадцать четыре образования, четыреста двадцать четыре интеллекта, четыреста двадцать четыре мира эмоций, четыреста двадцать четыре характера, образа мысли. И — горе восьмисот сорока восьми родителей. А погибли они по одной единственной причине — из-за антипатии ко мне Крауди Гриббелла.

— Разве это не доказывает мою правоту? — взволнованно спросил Отфорд. — Гриббелл поступил просто чудовищно, а вас вынудили взять на себя вину за преступление, совершенное человеком, присвоившим себе всю славу последующей победы.

— Значит, вы так это поняли? — тихо спросил Олбен. — Я не согласен с вами, честно говоря, потому что меня это все не волнует. Но я не могу позволить вам вновь растревожить скорбь, дремлющую в сердцах родителей этих ребят, объяснив им, что дети их запросто могли остаться в живых. Пусть уж лучше я останусь виноватым. И знаете почему? У меня достаточно широкие плечи, чтобы нести это бремя. А у Крауди — нет. Для меня эта глава закрыта. Для него — нет. Он потратит всю оставшуюся жизнь, пытаясь оправдать свои действия — из боязни, как бы не выплыла наружу правда. А со мной, Отфорд, мои растения, и мне все остальное безразлично. Как чудесно следить за их ростом — листья день ото дня становятся чуть больше, ростки выбиваются из-под земли, тянутся к свету, дышат. Да, это компромисс, но он приносит мне удовлетворение — удовлетворение прекрасное и трепетное. Я устал от смерти, от грязи и слез и от решений, ведущих ко всему этому. Я счастлив. А Крауди — нет. Он сидит в своем унылом

клубе и только и ждет, что же случится дальше. Он не может вынести этого. Я — могу. У меня на совести груз поменьше.

— Вы хотите, чтобы я обо всем забыл, — медленно произнес Отфорд.

— Да. Я прошу вас, обещайте мне все забыть.

— Но генерал Шванц написал книгу.

— Кто ее прочтет? Да и кто прочтет книгу Крауди, если уж на то пошло? И кто прочитает ваши статьи? Только друзья, враги да горстка студентов. В масштабе истории мы не так уж важны, и вы, и я. Так забудете?

— Н-да... — Отфорду не хотелось связывать себя обещанием, хотя безмятежное спокойствие Олбена глубоко взволновало его.

— Я расскажу вам еще кое-что о Крауди, — сказал полковник. — Год назад умерла его жена, а его единственный сын погиб во Франции в последнюю неделю войны. Крауди никогда толком не знал любви и потому не чувствует сейчас ничего, кроме пустоты, ощущения какого-то обмана. Он достаточно глуп, чтобы ожесточиться. Что ж, нельзя долго сердиться на такого несчастного старого пустышку. — Олбен налил себе третий бокал. — Я читал ваши работы, — продолжал он. — Вы хорошо пишете. У вас хлесткий, злой стиль. Вы намного моложе меня. Но в один прекрасный день вы вдруг поймете, что в каждом человеке есть нечто большее, чем замечаешь с первого взгляда. И вы добавите к написанному вами немного жалости. Вот тогда вы начнете расти, как эти цветы. У вас есть дети?

— Нет, — хмуро ответил Отфорд.

— Вам... ничто не мешает завести их, скажем, сейчас?

— Нет. Просто, пожалуй, было не до того.

— Господи! — взорвался Олбен. — Вы даже не знаете, чего лишили себя!

— А вы знаете?

— Кому же и знать, как не бездетному родителю, — решительно ответил Олбен и улыбнулся. — И еще я знаю теперь, мы с вами понимаем друг друга, и для общего блага вы забудете обо всем, кроме моего неповиновения приказу. Солдаты — это дети, которые никогда не становятся взрослыми, Отфорд. Я сейчас становлюсь взрослым. Дайте же мне такую возможность. И, кстати сказать, станьте-ка взрослым сами, пока не поздно, пока вам не отвели еще персонального кресла в этих клубных

яслях на Сент-Джеймс-стрит для впадающих в детство, куда престарелые младенцы приходят умирать.

Провожая Отфорда к двери, Олбен добавил:

— Я, разумеется, не ударил в ту ночь жену. Никогда не делаю этого. Просто ломал перед вами комедию. Она замечательная женщина, моя Мадж, но до сих пор переживает, как, кажется, сейчас и вы. А я вот не переживаю, и Мадж не может мне этого простить.

— По правде сказать, я тоже не могу, — неловко улыбнулся в ответ Отфорд.

В машине на обратном пути Отфорд почти не разговаривал. И поскольку Джин отвратительно провела время, пытаясь завязать светскую беседу с миссис Олбен, в наступившем молчании снова начала собираться гроза.

— Куда ты направляешься? — вдруг спросила Джин.

— У меня дело в городе, — отрывисто ответил Отфорд.

— Тогда завези меня сначала домой.

— Это ненадолго.

Они не разговаривали больше, пока не доехали до Сент-Джеймс-стрит, но, видя, как агрессивно Отфорд ведет машину, Джин поняла, что он расстроен.

— Если подойдет полицейский, объясни ему, что я сейчас вернусь, — сказал он, поставив машину у тротуара.

Отфорд взбежал по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и быстро вошел в гудящие от шепота пещеры своего клуба. Генерал сэр Краудсон Гриббелл сидел на своем обычном месте, уставившись в пустоту. Отфорд пристально глянул на него, охваченный холодной яростью. Голове своей генерал, как всегда, придал странное положение, чуть задрав ее кверху и словно ожидая, не осмелится ли невидимая муха опуститься на его чело. Иных эмоций его облик почти не отражал, если не считать смутного упрямства и уныния — неизменного следствия светского воспитания. Время от времени генерал моргал, и седые его ресницы схватывал солнечный луч. Рядом с ним никто не садился. Он был в одиночестве.

Вошел старый официант с бутылкой шампанского и поставил ее на низкий столик перед генералом.

— У вас праздник, сэр? — спросил официант, откупоривая бутылку и наливая вино в бокал.

— Да, — безучастно отвечал генерал, — день рождения сына.

Отфорд почувствовал вдруг ком в горле и бежал из клуба.

Подходя к машине, он посмотрел на сидевшую в ней жену. Она была прехорошенькая, но годы, пожалуй, чуть-чуть брали свое. А может, выражение лица стало грустнее, чем раньше, плотней сжались губы и поубавилось веселья в глазах.

Он сел за руль и улыбнулся ей.

— Дорогая, — сказал он, — я хочу получше узнать тебя.

Джин рассмеялась, правда, не очень-то счастливо.

— Не пойму, о чем это ты?

Отфорд взглянул на жену, словно видя ее впервые, и поцеловал так, будто они вовсе не были женаты.

Потом в тот же день Джон написал Хеджизу, что не будет вносить никаких изменений в статью. А еще через несколько дней, когда пришла книга генерала Шванца, он позабыл даже распечатать бандероль.

СУТКИ СОСТОЯТ ИЗ 86 400 СЕКУНД

Эдвин Эплкот ходил в зоопарк смотреть не львов, а кроликов. Мир животных всегда вызывал у него восторг, потому что в них отражались все людские обличья и характеры. В отделе Би-би-си, в котором работал Эплкот, заведующий — рыжебородый шотландец, медлительный, но свирепого нрава, вечно одетый в костюмы мохнатого твида, — был львом. В мисс Батлер, выпускающей его программы, было нечто от лошади, даже, пожалуй, от южноафриканской антилопы гну с ее большим мозолистым носом и маленькими глазками, мутными, как с похмелья. Хотя не будем так жестоки к мисс Батлер. Пусть она и не бог весть какая красавица, зато у нее прекрасная душа.

А мисс Моуберри, ведущая раздел музыки и пластики для детей до четырех лет, была курицей-наседкой. Исполняя на цыпочках гимнастические упражнения, она воображала себя фантастически эффектной и воздушной, но сама до ужаса напоминала клушу, испуганно вылетающую из-под колес чуть не наехавшего на нее автомобиля. Мисс Олсоп, лирическое сопрано, была жирафой. Шея у нее такая длинная, что можно свободно проследить весь путь взятых ею нот от диафрагмы на волю. А он, Эдвин Эплкот, высокий тенор, был кроликом.

Мать его по наклонностям характера была старой девой, а отец — убежденный холостяк. Их поздний брак был союзом двух закоренелых одиночек. Эдвин всегда краснел при мысли о процессе, в результате которого появился на свет, уж слишком благопристойными всегда казались ему родители, чтобы настолько поддаться страсти. Правда, это случилось всего лишь раз. Эдвин оставался единственным ребенком.

Эдвин был очень близок с матерью, но и с отцом близок тоже, поскольку родители до изумления походили друг на друга, и Эдвину не оставалось ничего, кроме как походить на них обоих. Семья жила в согласии, никто ни-

кому ни разу не сказал грубого слова. В восемь утра — завтрак, ровно в час — обед, в четыре тридцать — чай, в семь сорок пять — ужин. Старший Эплкот всю жизнь проработал помощником продавца в мануфактурной лавке и не помышляя о продвижении. Хоть человек он был набожный, воображение его занимал не бог и даже не король, а Перри, владелец лавки, где он работал. Только и слышалось на каждом шагу: «Мистер Перри то, мистер Перри сё»; и миссис Эплкот обладала достаточным тактом, чтобы спросить: «Что говорил сегодня мистер Перри?», когда замечала, что муж становился рассеян.

Его родители даже в смерти были пристойны и обошлись без всякого драматизма, оба скончались во сне, и лица их не омрачили ни боль, ни сомнения, ни даже житейский опыт.

Эдвин получил среднее образование и никогда не поднимался выше средних отметок. Он ненавидел спортивные игры, но очень стеснялся признаться в этом и кидался в них с таким трогательным отчаянием, что тренер числил его среди старательных. После шести месяцев пребывания в армии его освободили от воинской службы по малокровию, и перед самым концом войны, когда конкуренции почти не существовало, он успел найти себе работу, которая и пришлась ему по душе, и давала кусок хлеба.

Вот уже шестнадцать лет работал он в детской радиопрограмме, распевал песенки для малышей вместе с мисс Олсоп и озвучивал роль Зигфрида — Кролика в цилиндре, всеобщего любимца детворы.

Работа оставляла ему довольно много свободного времени, и больше всего он любил проводить свой досуг в зоопарке, наблюдая за невинными забавами маленьких и беззащитных созданий природы. Он знал, как пройти к их вольерам, минуя крупных и опасных млекопитающих. Если ж ему приходилось все же идти мимо львов и тигров, то изобретал различные способы спасения на тот случай, если кто-нибудь из них вырвется вдруг из клетки, пока он находится рядом. Эдвин разглядывал каждое ограждение, прикидывал его высоту и чуть ускорял шаг, заметив, что оказался довольно-таки далеко от ближайшего выхода.

При переходе улицы ему случалось оставаться в одиночестве на тротуаре, когда прохожие гуртом валили на красный свет, уповая, что численность — залог безопасности. Эдвин не мог на ходу вскочить в автобус или

спрыгнуть с подножки, а эскалаторы в метро просто не переносил. Нога, казалось ему все время, вот-вот угодит в машину, эту сцену он часто видел во сне.

Электричка и привлекала, и пугала его, и он не решался пользоваться ею в часы «пик», боясь, как бы в толчее его не спихнули на рельсы. Еще одним средством передвижения, внушавшим Эдвину смертельный страх, был лифт. Если кабина резко шла вниз, Эдвин начинал раздумывать, удастся ли ему достаточно высоко подпрыгнуть в момент удара пола об основание шахты, и строил изощренные планы на этот случай.

Однажды Эдвин попробовал ездить на велосипеде и убедился: удерживать равновесие вовсе не трудно; но шум любого двигателя за спиной тотчас заставлял его вихлять из стороны в сторону и в конце концов повергал наземь. Человек по натуре очень вялый, он, в общем-то, не нуждался в помощи психиатра, поскольку ни один мудрец не сделал бы его решительней, да и лишало его присутствия духа лишь соприкосновение с другими людьми, с толпой, машинами и открытым пространством. Дома же, наедине с самим собой, за коричневыми бархатными шторами, среди разрозненной викторианской мебели и всякой всячины, доставшихся ему в наследство и связанных с отрадными воспоминаниями бедной, но безоблачной юности, он обретал полнейшее душевное равновесие и уверенность в себе.

Заваривая себе чай, что он делал довольно часто, Эдвин сервировал стол так изысканно, будто ждал гостей. Он прихлебывал чай из чашки, расписанной блеклыми розами, и высказывал любезные замечания о ней тихим высоким голосом в течение минут десяти, необходимых, чтобы расправиться с намазанной маслом лепешкой и вытереть после руки салфеткою с монограммой — энергично, будто пытаясь оттереть кровавые пятна. После каждой трапезы он мыл посуду, надев розовато-лиловый фартук, принадлежавший когда-то его матери. В квартире царила неизменная чистота, хоть и попахивало ветхостью, сыростью и едким духом денатурата — Эдвин чистил им оловянные кружки и медные детали конской сбруи, развешанные — как в загородном доме — вокруг камина.

Это мирное двухкомнатное пристанище находилось на втором этаже невысокого дома в лондонском районе Бэйсоуотер, к северу от Гайд-парка. Округа эта, некогда роскошная, а ныне приходившая в упадок, получила coup de

grâce * во время войны, когда под бомбами рухнули здания, кои так или иначе рухнули бы сами.

Единственным жильцом в этом доме, кроме Эдвина, была некая миссис Сидни, с которой он часто раскланивался в подъезде, поскольку она вечно то уходила, то приходила. Миссис Сидни была вежливой дамой с озабоченным выражением лица, вульгарным голосом, резкие духи ее пахли неприятно.

Как-то летним днем Эдвин закончил работу над своей радиопрограммой чуть раньше обычного и, ненадолго зайдя домой выпить чаю, незамедлительно отправился на автобусе в зоопарк. Там по тщательно продуманному маршруту он проследовал на свидание со своими друзьями-кроликами. Он простоял у их вольер целых два часа, размышляя о том, что нет в жизни большего утешения, чем повстречать существо, разделяющее твои тревоги. Если уж кролики с их невинными глазами и довольным чавканьем — нормальное творение природы, то и он, конечно же, обычный человек — просто робкий, а вовсе не урод.

Когда он отошел от вольер, уже начинало темнеть. Зоопарк закрывался, и Эдвин заторопился к выходу тем же путем, которым пришел, но на полдороге к турникету наткнулся на барьер. Оказалось, здесь начали ремонтировать какой-то подземный кабель. Ничего не оставалось, как вернуться обратно и пройти прямой дорогой мимо клеток со львами. Эдвин побежал. Не столько из опасения, что его запрут на ночь в зоопарке, сколько потому, что львы, раздраженные чем-то, грозно рычали.

Сумерки играли с Эдвином всевозможные злые шутки. Ему чудилось на бегу, будто впереди маячат какие-то призраки и, прячась в тени, молча окружают его. Шатаясь, прошел он сквозь турникет и минут пять простоял на улице, прислонясь к фонарному столбу и еле переводя дух. Низкий бледный лоб Эдвина покрылся испариной. Вечер начинался не лучшим образом.

Автобус остановился близ дома, и Эдвин собрался сойти, как вдруг машина, накренясь, тронулась снова. Эдвин воззвал к кондуктору, но тот мало чем мог ему помочь. Хорошо хоть еще проследил, чтобы на следующей остановке автобус не отошел, пока Эдвин не выйдет. Спускаясь с подножки, Эдвин по привычке извинился пе-

* Букв. «милосердный удар» *(франц.)*: так в старинном рыцарском кодексе назывался удар, которым добивали раненого противника.

ред кондуктором, хотя просить прощения ему было решительно не за что.

Эдвин рассеянно шагал назад в сторону дома, перед его мысленным взором кишели мечущиеся львы и затаившиеся пумы. О боже, если все это мерещится ему наяву, что же будет, когда он заснет? Придется принять снотворное и завести будильник. Подойдя к подъезду, он огляделся и увидел полицию. И не какого-то одинокого «бобби», а четырех, патрульный автомобиль, машину «скорой помощи» и еще пару агентов в штатском.

Эдвин замер на месте. Да, это похуже львов. Он не видел их глаз, глаза прятались в тени под полями шляп и козырьками шлемов, но ошибиться было невозможно: они явно смотрели на него. Что же он натворил? Плату за радио перевел вовремя, вот если только ее не затеряли на почте. Квартирная плата и муниципальный налог тоже уплачены. Подоходный налог удерживается из заработной платы. Во время войны его репутация была безупречна, и никаких махинаций с пищевыми рационами. Он, правда, получал немного сахара сверх нормы, но от больного диабетом друга — и только. Он всегда был сластеной. Разве это преступление? А если и преступление — неужто такое, чтоб посылать за ним целый отряд полицейских и детективов?

Чем дольше стоял он, тем большую ощущал за собою вину. Вдруг он почувствовал, что напряжение становится невыносимым. Он повернулся и пошел прочь. Позади раздались шаги: один человек, нет — двое... трое... Страшно — как гул мотора за спиной, когда едешь на велосипеде. Шаги вроде бы приближались. Эдвин пошел быстрее. Минуя фонарный столб, он заметил, как нелепо вытянулась его тень, и прежде, чем успел выйти из освещенного круга, у самых ног его мелькнули, как стрелы, тени трех шлемов и растворились во тьме. У следующего столба три шлема настигли его вплотную. Он побежал к дороге. Но у самого края ее остановился как положено — взглянуть, не приближается ли транспорт. Посмотрел направо, потом налево и снова направо — этому он научился во время кампаний против пешеходов-нарушителей. Тут-то его и схватили.

— Эдвин Эплкот? — спросил дородный полисмен.

— Нет.

— Вы не Эдвин Эплкот?

— Нет, я он, — упавшим голосом ответил Эдвин.

— Почему же вы сказали, что это не вы?

— Не знаю, сэр. Я растерялся.
— Почему вы убегали?
— По той же причине, думаю. Что я такого сделал?
— Не знаю. Мы хотим задать вам несколько вопросов.
— О чем?
— Произошло убийство.
— Убийство?

Эдвин рухнул без чувств прямо на руки стоявшего позади полицейского, и его понесли обратно к дому.

— Взяли вы его? — окликнул их инспектор Макглашан, увидев приближение странного кортежа.

Это был человек строгих правил и требовательный, с послужным списком, украшенным славными боевыми делами в африканской пустыне, где фельдмаршал Монтгомери помог ему выиграть кампанию.

— Сопротивлялся, паршивец? — спросил инспектор, сощурив глаза.

— Нет, упал в обморок, — ответил констебль Мэтли. — Свалился без чувств, как услыхал про убийство.

Они положили Эдвина отдохнуть в кювет.

— Так, значит, он и есть Эплкот? — прорычал Макглашан. — Довольно жалкий экземпляр.

— Тянет фунтов на девяносто, не больше, — рассмеялся Мэтли. — Везет же людям!

Констебль Нортон был очень молод. Заметив сосредоточенное выражение лица Макглашана, он спросил:

— Вы думаете, это его рук дело?

Макглашан смерил юношу испепеляющим взглядом.

— Я знаю, Нортон, в детективных романах преступники всегда возвращаются на место преступления, но обычно довольно много времени спустя. Вы сами, совершив убийство, вернулись бы на место преступления всего лишь через час?

— Нет, сэр.
— Почему, нет?
— Ну... Потому что...
— Потому что побоялись бы напороться на полицию, не так ли?
— Да.
— Вот и отлично, тогда перестаньте болтать все, что в голову взбредет.

— Есть, сэр! — Но Нортон не сдавался. Его юное энергичное лицо снова озарилось: — Конечно, он может оказаться психом!

Макглашан бросил на Эдвина хмурый взгляд.

— Судя по всему, весьма вероятно, — буркнул он.

— Где я? — спросил Эдвин, открыв глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как из дома выносят носилки с трупом.

— Постойте-ка, — велел Макглашан людям с носилками и, повернувшись к Эдвину, спросил: — Вы знали миссис Сидни?

— Да... То есть не то чтобы очень.

— Но узнаете ее, если увидите снова?

— О да. Она ведь жила здесь более трех лет.

Макглашан помог Эдвину подняться на ноги и подвел его к носилкам. Быстрым, бесстрастным жестом отдернув одеяло, он открыл лицо миссис Сидни, безобразно изуродованное и забрызганное кровью.

Вскрикнув, Эдвин снова рухнул в обморок. Макглашан подхватил его и сказал с отвращением:

— Точно, она. Эй, Нортон, Мэтью, снимите его с меня.

Из дома не торопясь вышел медицинский эксперт, доктор Голли.

— Смерть наступила менее часа назад, — сказал он. — Очевидно, умерла она не сразу.

— Конечно, не сразу. Она сама вызвала полицию, — ответил Макглашан.

— Насколько я могу судить сейчас, смерть вызвана суммарным эффектом побоев, нанесенных кулаками и дубинкой. Она была пьяна. Грязная история.

Эдвин побелел. Голова раскалывалась, его мутило.

— Давайте поднимемся в вашу квартиру, — предложил Макглашан.

— Хорошо.

Эдвин шел впереди, показывая дорогу, но замер на месте, увидев на деревянном полу вестибюля какие-то темные пятна.

— Что это? — спросил он.

— Кровь.

Эдвина стошнило. Потом он заявил, что не может оставаться в доме ни минутой больше.

Его доставили в участок и угостили чашкой чая. Он выпил ее и успокоился настолько, что смог отметить: их чай не идет ни в какое сравнение с его чаем.

— Итак, — начал Макглашан, — где вы были час назад, то есть между семью пятнадцатью и семью тридцатью?

— В зоопарке.

— Зоопарк закрывается в шесть.

— Летом позже.

Макглашан кивнул. Этой ловушки Эдвин избежал.

— Что вы делали в зоопарке?

— Я часто хожу туда.

— Это не ответ.

— Мне нравится в зоопарке. Я хожу смотреть животных.

— Каких животных?

— Львов, тигров, любых, — солгал Эдвин и покраснел. Он почувствовал, что предает своих маленьких друзей. — Кроликов, — добавил он, запнувшись.

— Кроликов, — повторил Макглашан с большей экспрессией, чем само это слово заслуживало. И тотчас закурил, выказывая непринужденность и всяческое спокойствие. — Сигарету?

— Я никогда не курю и не пью. Можно, я съем ириску? Они меня всегда успокаивают.

Макглашан задумался: в чем дело — действительно Эдвин слегка тронулся или разыгрывает кретина?

— Вы сказали, что часто ходите в зоопарк. У вас, должно быть, очень необычная работа, если она оставляет столько свободного времени.

— Я работаю в Би-би-си.

— Кем же, спортивным комментатором?

— О господи, конечно, нет. Я участвую в детской передаче «Выходи поиграть», ее передают ежедневно в три пятнадцать.

— Мои дочери всегда слушают ее.

— Что вы говорите! — вскричал Эдвин восторженно. — Сколько им лет?

— Одной пять, другой — два.

— Двухлетняя, пожалуй, немножко мала, чтобы понимать.

— Она взрослее своих лет.

— Кто ее любимые герои?

— Мул Вамбли.

— А, да, это мисс Олсоп.

— Простите?

— Мисс Олсоп озвучивает Вамбли. А я — кролика Зигфрида.

— Кролика, — повторил за ним Макглашан, сопоставляя услышанные сведения; результат его не удовлет-

ворил. — Дайте, пожалуйста, ваш автограф для Дженнифер.

— Правда? Вам нужен мой автограф? — заколебался Эдвин. — Но ведь это, автограф — все равно, что подпись под документом.

— Неважно, — выдавил улыбку Макглашан. — Я вовсе не пытаюсь выудить у вас признание в преступлении, которого вы не совершали. Если хотите, подпишитесь просто «Кролик Зигфрид».

Эдвин так и поступил, размышляя о том, что даже в самом холодном сердце можно найти немного тепла, если хорошенько поискать.

— А теперь, — сказал Макглашан, пряча автограф в карман, — вернемся к делу. Вы часто видели миссис Сидни?

— О, бедная дама! Да, конечно же, часто. Она вроде всегда то уходила, то приходила.

Макглашан хмуро усмехнулся.

— Учитывая ее профессию, меня это не удивляет. А вас?

— Но что у нее была за профессия, сэр? Я часто задумывался над этим, но не хотелось казаться навязчивым. Я всегда полагал, что у нее должно быть личное состояние.

Макглашан недоверчиво уставился на него.

— Давно вы здесь живете? — спросил он.

— Три года.

— А миссис Сидни?

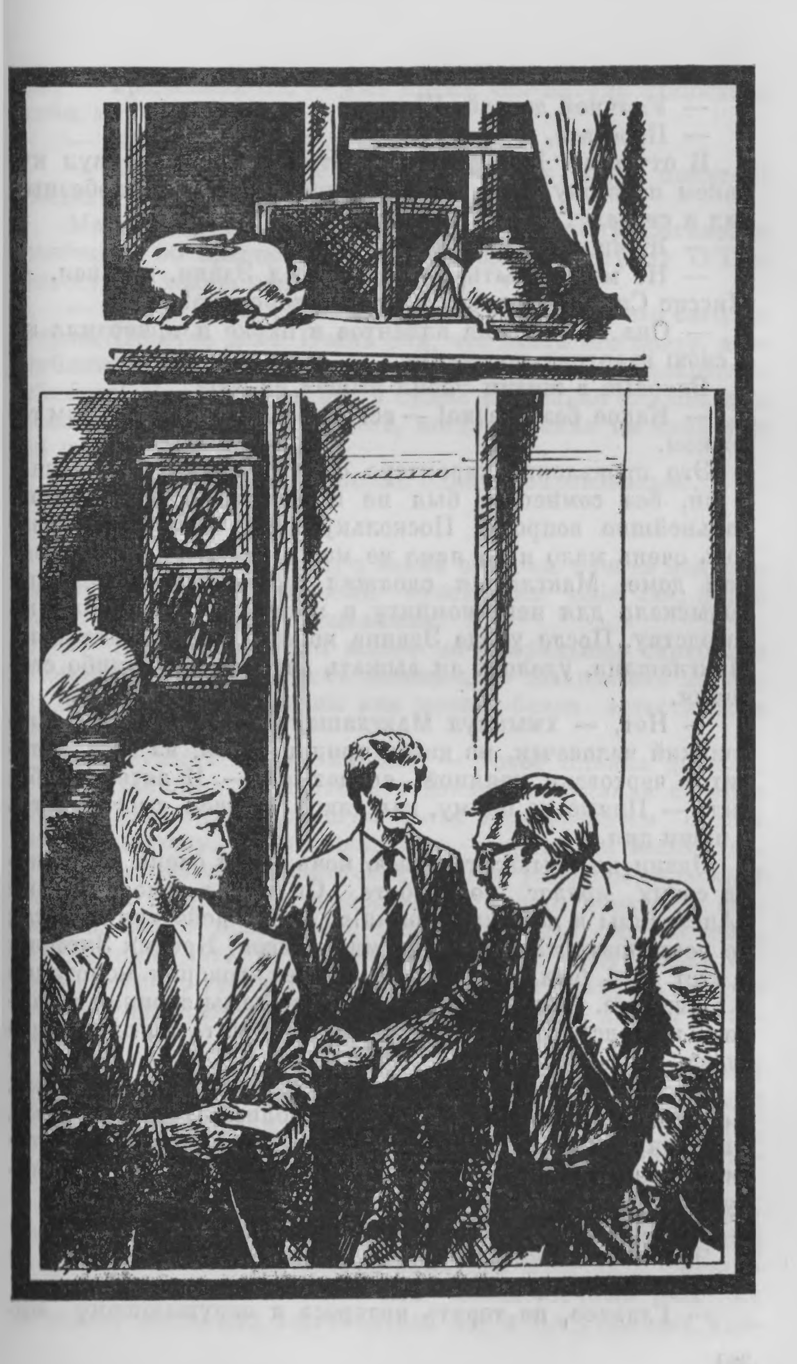
— Она уже жила тут, когда я въехал.

— И вы ничего не заметили?

— Я заметил, что у нее как будто весьма обширный круг знакомств. Она вечно принимала гостей. Сказать по правде, я был слегка озадачен тем, что она никогда не приглашала меня. В конце концов, я был ее соседом, — улыбнулся он грустно. — У нее день и ночь играло радио, но я, в общем-то, не обращал на это внимания. Я стеснялся ее беспокоить. Каждый раз, когда я спускался вниз пригласить ее к себе на чашку чая, я слышал из-за двери, что она не одна.

Наступило молчание.

— Не сидите на самом краешке стула, — сказал Макглашан. — Обопритесь лучше о спинку. Не хотелось бы, чтобы вы снова падали в обморок. — Он прочистил горло. — Миссис Сидни была самой обыкновенной проституткой.



— Как? — вежливо переспросил Эдвин.

— Уличной девкой. Шлюхой.

— Простите, я не понимаю.

В отчаянии Макглашан закатил глаза и грохнул кулаком по столу. Взяв себя в руки, он принял любезный вид и сказал:

— Женщиной легкого поведения.

— Не может быть, — прошептал Эдвин, краснея. — Миссис Сидни? Нет, это просто невероятно!

— Она выискивала клиентов в парке и приводила их в свою квартиру под вами.

Впервые в жизни Эдвин вышел из себя.

— Какое безобразие! — вскричал он своим слабым голоском.

Это проявление характера отняло у него много сил, и он, без сомнения, был не в состоянии отвечать на дальнейшие вопросы. Поскольку денег при нем оказалось очень мало и он явно не мог оставаться в собственном доме, Макглашан одолжил ему фунт, и полиция подыскала для него комнату в маленькой гостинице по соседству. После ухода Эдвина констебль Мэтли спросил Макглашана, удалось ли выжать из него какие-либо сведения.

— Нет, — хмыкнул Макглашан. — Он славный маленький человечек, но когда придет время, из него получится чертовски дрянной свидетель. — И затем добавил: — Прямо не пойму, как такой человек смог выжить в наши дни.

Эдвин не смыкал глаз всю ночь, днем очень обеспокоил своих коллег по работе. Он забыл слова песни «Апельсины и лимоны» прямо во время действия и никак не реагировал на подсказки мисс Олсоп. Кролик Зигфрид в этот день был на редкость мрачен, говорил монотонно и бессвязно. Со всех концов Англии мамы звонили в студию, жалуясь, что их дети не могли понять ни одного его слова.

Эдвин получил по чеку деньги и купил рубашку. Но не мог заставить себя даже приблизиться к зоопарку. Он вернулся в гостиницу и сидел в своем номере, уставясь в пространство. В половине седьмого к нему заглянул мимоходом Макглашан.

— Подбодритесь, — сказал инспектор.

Эдвин почти не реагировал на его слова.

Макглашан присел на кровать.

— Главное, не терять интереса к окружающему ми-

ру, — продолжал он. — Все время чем-нибудь занимайте себя, иначе свалитесь.

— К чему не терять интереса?

— К нашей работе. Вы — участник дела, понятно? Видели вечернюю газету?

Макглашан положил ее на колени Эдвину. Заголовки сообщали об аресте человека, убившего Гертруду О'Тул, известную также как миссис Сидни.

— Да, — сказал Макглашан, — мы взяли его сегодня утром. Простое дело. Очень рад, что взяли его сразу, а то публика уже начала дергаться. Столько нераскрытых убийств! Мы нашли у нее в сумке несколько его писем и взяли его прямо на рассвете, когда он спал на скамейке на набережной Виктории.

— Кто же он? — спросил Эдвин непроизвольно.

— Сутенер.

— Кто-кто?

Сам черт не разберет, с какой стороны начать искушение этого типа. Макглашан чувствовал себя так, будто имеет дело с дочкой священника.

— Человек, который живет на аморальные заработки женщины или нескольких женщин. — Макглашан пытался придать своим словам как можно более естественное звучание.

— Неужели это возможно? — голос Эдвина дрожал.

— Женщина зарабатывает деньги, вступая в связи с мужчинами, затем большую часть заработанного отдает своему дружку. Такие женщины — существа весьма необычного эмоционального склада. Они ущербны, и, может быть, эта неразумная щедрость — просто попытка создать иллюзию нормальной жизни, которой они лишены. Не берусь судить. Я ведь не психолог. Я вижу только изнанку жизни, узнаю ее проявления, а что там, по другую сторону, определить не в силах. И ничего не могу изменить.

— Но что он за человек?.. Этот мужчина, который принимал такие деньги?.. — Лицо Эдвина похоже было на маску страдания — страдания, вызванного ужасом.

Макглашан старался как мог умерить тон своего голоса, звучавшего вроде бы даже устало:

— Всегда найдутся мужчины, почитающие за великий дар умение получать нечто из ничего — доходы без затрат. Точно так же всегда найдутся мужчины, считающие женщин ниже себя. У них безошибочный нюх на женщин, согласных подчиниться им и получающих удо-

вольствие, когда ими помыкают и издеваются над ними.

Макглашан был умным, даже интересным человеком. Несомненная отвага сочеталась в нем с пытливым, весьма парадоксальным умом, чего никак нельзя было предположить, глядя на его энергичное, подвижное лицо. В этой жизни, признавал он, есть место людям всяким и разным, просто ему не хотелось высказывать столь банальную истину при каждом удобном случае.

Сейчас Макглашан сидел напротив Эдвина, будучи в щекотливейшем положении кадрового сержанта, обнаружившего, что какой-то никудышный новобранец абсолютно не приспособлен к жизни и своим присутствием в части приносит ей больше вреда, чем пользы. Он доверительно наклонился поближе к Эдвину:

— Я вижу, все эти факты глубоко потрясли вас, Эплкот, но подобные явления существуют, и было бы наивно притворяться, будто это не так. Поймите, я рассказываю вам обо всем этом отнюдь не для того, чтобы подразнить вас или вывести из себя. Мне ясно теперь: вы, наверное, жили обособленной, замкнутой жизнью, иначе вас не потрясло бы все это. Вы сами бы поняли, что из себя представляла миссис Сидни. И даже, пожалуй, сменили бы квартиру. Но, видите ли, вас должны вызвать для показаний...

— Меня? — вскричал Эдвин.

— Да.

— Я умру на месте!

— Нет, не умрете. Просто я не хочу, чтобы вы, когда это случится, выглядели дураком. Не хочу, чтобы вы, стоя в зале суда, ссылались на то, что не знали, чем занималась миссис Сидни. Никто вам не поверит.

— Но ведь вы-то мне верите? — спросил Эдвин, отводя взгляд.

— Я вам верю. Но мне, чтоб уверовать, понадобились почти сутки, а у вас не будет столько времени, когда вы предстанете на свидетельском месте. Все эти законники — народ несговорчивый. Пожалуй, даже чересчур несговорчивый. И ни один из них, как я убедился, полицию не жалует. А если, что вполне возможно, обвинителем выступит сэр Клевердон Боуэр или сэр Джайлз Пэрриш — это люди весьма раздражительные и полные сарказма. Уж они постараются сбить вас с толку, запугать. Они жаждут признания куда больше, чем самой истины.

— Не могу поверить этому; нет, не в Англии.

— Где угодно, Эплкот. Они как боксеры. И им надо заботиться о своей репутации, как, впрочем, вам или мне. А проигранное дело репутацию их подрывает.

Эдвин сделался хмур и неразговорчив, поэтому Макглашан встал и направился к двери.

— Думаю, я еще буду гордиться вами, — сказал он.

— Я должен вам фунт, — вспомнил Эдвин.

— Об этом пока не беспокойтесь. — Впервые Макглашан почувствовал себя неловко и вышел.

Вернувшись в участок, он доверительно сказал констеблю Мэтли:

— На убийцу мне плевать, он получит свое. Но Эплкот меня беспокоит. Попадись он в зубы Боуэру или Пэрришу, они его живьем сожрут. Вызывать его свидетелем просто глупо, но держу пари, они так и сделают.

Несколько дней спустя выпускающая программы Эдвина мисс Батлер отвела его в сторону и спросила, не заболел ли он. Он явно не мог должным образом сосредоточиться, ужасно выглядел, под глазами появились мешки. Все сотрудники отдела были очень обеспокоены его состоянием. Эдвин выпалил ей все и залился слезами. Коллеги были с ним очень добры и участливы. Ему предоставили недельный оплаченный отпуск, чтобы он мог прийти в себя.

Но вынужденный отпуск не пошел ему на пользу, четыре дня подряд он просидел в гостинице наедине со своими грустными мыслями, не ел ничего и совершенно не спал. На пятый день его вызвали в суд свидетелем обвинения. Он ожидал этого с тех пор, как его опросил клерк грозного сэра Клевердона Боуэра, назначенного обвинителем по делу Арнолда Эхоу, предполагаемого убийцы. Встреча их прошла как во сне, и Эдвин ничего не помнил. Его охватило беспредельное чувство пустоты. Он ничего перед собой не видел. Черные, красно-бурые пятна расплывались перед глазами; странные, похожие на эмбрионов неведомых тварей, тени с разных сторон вторгались в поле его зрения. В ушах звучала доносившаяся откуда-то издалека песня.

Теперь он сидел, ожидая, когда его вызовут предстать пред лицом суда, и ничего вообще не чувствовал. Наконец, он услыхал свое имя, прозвучавшее так, будто его выкликал нараспев легион застольных ораторов, и вошел в зал суда. Горло его перехватила судорога, нервы напряглись до предела. Стоило шевельнуть ногой, и от

виска к виску перекатывалась тяжесть, как груз в трюме корабля, застигнутого штормом.

Судья, лорд Стоубери, обладал типичной для его профессии внешностью. Голова грифа свисала ниже уровня сгорбленных плеч, белый парик, казалось, был напудрен рукой смерти. Трудно было понять, открыты его глаза или закрыты, поскольку тени, отбрасываемые бровями, ложились на веки странным подобием тусклых темных зрачков. На стене, за спиной лорда Стоубери, огромный лев и единорог подпирали щит королевства *, вид у обоих был разгневанный и непреклонный. Клевердон Боуэр стоял, сунув большие пальцы рук в жилетные карманы, как воплощение самоуверенной гордыни. Сросшиеся черные брови пологом нависали над его серо-стальными глазами. Герберт Эммонс, защитник, восседал благодушный, румяный — точь-в-точь голова свежего голландского сыра на хлебосольном столе. Лицо его покуда ничего не выражало, но губы зловеще скривились, отдыхая до времени.

Обвиняемый Эхоу с безразличным видом стоял у скамьи подсудимых, настолько неприметный, что, казалось, никак не мог быть истинным виновником столь изысканного собрания.

Итак, именно здесь осуществлялось британское правосудие, здесь людям объявляли, что они считаются невиновными, пока вина их не будет доказана, но дух, царивший здесь, убеждал их, что они очень и очень виновны, даже если докажут свою невиновность. Эдвин принес присягу, и сэр Клевердон выдвинулся на боевые позиции, подобно всесокрушающей артиллерийской установке. Это был человек, который все, за что бы ни брался в своей жизни, делал старательно и умело. В тридцатых годах он пробегал милю чуть больше чем за четыре минуты, представлял свою страну в международных соревнованиях по бобслею, побеждал на парусных гонках и автомобильных ралли, а однажды выиграл десять геймов в теннисном матче, у самого Тилдена **. Он и сейчас казался спортсменом, вступившим в игру, которую намерен выиграть.

— Вы — Эдвин Эплкот?

---

* Лев и единорог — геральдические животные на британском королевском гербе; они поддерживают щит, символизируя, соответственно, Англию и Шотландию.

** Тилден Бил, прозванный «Мистер Теннис», — американский теннисист 30-х годов, считался сильнейшим в мире.

— Да, — еле слышно ответил Эдвин.

— Я правильно произношу ваше имя? Последний слог — «кот» или «коут»?

— Как вы предпочитаете.

— Вы, право, очень любезны. Насколько я понимаю, вы живете как раз над квартирой миссис Сидни, женщины, которую убили?

— Да.

— И давно вы там живете?

— Три года.

— Говорите громче, — перебил его судья. — Я не слышу ваших ответов, а я должен их слышать. Это — главное требование к свидетельским показаниям. Что бы вы ни сказали, все должно звучать внятно и громко!

Эдвин изысканно поклонился.

— Продолжайте, — сказал судья.

Поначалу вопросы шли довольно обыденные, ибо сэр Клевердон не сомневался в победе.

— Вы, разумеется, знали, что она была обыкновенной проституткой, — сказал он внезапно несколько минут спустя.

— Нет, — ответил Эдвин, закрыв глаза. Боже, какой ужас! Все эти вопросы на людях!

Сэр Клевердон метнул на него быстрый как молния взор.

— Вы не знали, что эта женщина была проституткой? Да бросьте, думаете, я вам поверю!

И он тотчас взглянул на своего клерка. Тот сидел ошеломленный. На предварительном опросе Эдвин сказал все, чему научил его Макглашан, но сейчас по какой-то причине говорил чистую правду.

— Но разве не является фактом, — продолжал сэр Клевердон, — что у покойной была привычка часто принимать гостей?

— Да.

— И она так отладила свое гостеприимство, что принимала всех только по одному, разве нет?

— Я не знаю.

— Ладно, но ведь вы не видели, чтобы к ней заходили женщины?

— Нет, не припомню, сэр.

— А мужчин, входивших в ее квартиру, видели?

— Да, один или два раза.

— Видели ли вы когда-нибудь, как обвиняемый заходил в квартиру миссис Сидни?

Эдвин взглянул на Арнолда Эхоу.

— Не могу сказать без очков, сэр.

— Они у вас с собой?

— Да.

— Так наденьте их поскорее! — прогремел сэр Клевердон, лицо его побагровело от раздражения. — Итак?

— Может, и видел. Точно сказать не могу.

— Не можете? — повторил сэр Клевердон скептически.

— Нет. Я, думаю, видел этого джентльмена раньше, но никак не вспомню где.

— Джентльмена?

В зале заплескался смех. Даже обвиняемый кисло улыбнулся. Судья застучал своим молотком.

Сэр Клевердон никогда не сталкивался с чем-либо подобным. Все, что Эдвин говорил сейчас, в корне отличалось от его предварительных показаний, а сэр Клевердон опирался на них, чтобы показать мерзкую, непристойную репутацию покойной и соответственно обрисовать всю ее компанию.

— Вы хорошо себя чувствуете? — спросил сэр Клевердон.

— Последнее время я чувствую себя неважно.

— Не стоит ли нам в таком случае освободить вас от свидетельских показаний, пока вам не станет лучше?

Тотчас вскочил Эммонс, щеки его раскраснелись от прилива крови и амбиции:

— Если мой высокочтимый и ученый друг закончил свой допрос, я хотел бы задать свидетелю несколько вопросов.

— Свидетель нездоров, милорд, — возразил сэр Клевердон.

— Но он, кажется, вполне в состоянии держаться на ногах, — ледяным тоном ответил судья, — он сохраняет вертикальное положение и дышит. Мысль о том, что он болен, исходит от вас. — И судья посмотрел на Эдвина поверх очков. — Как сами считаете, вы больны?

Эдвину очень хотелось поддаться искушению, но он был чересчур правдив.

— Нет, милорд.

— Очень хорошо. Вы закончили допрос свидетеля, сэр Клевердон?

— Пока что да, — резко ответил тот.

— Продолжайте, мистер Эммонс.

Этого-то сэр Клевердон и опасался больше всего. От-

кинувшись назад, он яростно зашептал что-то своему клерку, тот пожал плечами и стиснул до хруста пальцы.

Губы Эммонса сложились в улыбку, изображавшую дружелюбие.

— Где вы работаете, мистер Эплкот?

— Я работаю в Би-би-си.

— То есть в Британской радиовещательной корпорации, — обернувшись к присяжным, пояснил Эммонс таким тоном, будто речь шла об одном из незыблемых и священных национальных институтов. — И каковы же ваши служебные функции в этом достойнейшем учреждении?

— Я участвую в детской передаче «Выходи поиграть».

— Как артист?

— Как певец.

— И давно вы работаете в этом качестве?

— Около шестнадцати лет.

— Шестнадцать лет! — вскричал Эммонс, словно речь шла о целом столетии. Ухватив пальцами лацканы пиджака и наклонив голову, он изготовился к атаке. — Иными словами, Британская радиовещательная корпорация считала возможным в течение шестнадцати лет использовать вас в программе, предназначенной развлекать и воспитывать юное поколение, то есть, друзья мои, мужчин и женщин завтрашнего дня, именно в том возрасте, который особенно важен для формирования их личностей и когда, увы, легче всего посеять в их душах семена зла и разврата. Отсюда следует, что Британская радиовещательная корпорация считает вас человеком достойным. Вы, мистер Эплкот, согласны с суждением корпорации? Вы сами считаете себя человеком достойным?

— Да, хотелось бы думать, что это так.

— Здесь, знаете ли, не место скромничать. Как по-вашему, вы человек нравственный?

— Надеюсь, что так.

— Будьте любезны ограничивать свои ответы словами «да» и «нет», — отрезал Эммонс, упустив на мгновение свою улыбку. Он ненавидел эту английскую черту — неспособность хорошо говорить о самом себе на людях, даже когда это просто необходимо.

— Мне бы хотелось быть нравственным человеком.

— Но ведь вы не считаете себя безнравственным?

— О нет, — в ужасе ответил Эдвин.

— Вот и отлично. Итак, поселились ли бы вы, чело-

век достойный и нравственный, в доме, заведомо зная, что в квартире под вами живет известная женщина ночи?

— Женщина ночи?

— Проститутка! — рявкнул Эммонс.

— О нет.

— Как долго вы проживали в этом помещении?

— Три года, сэр.

— И когда вы въехали, миссис Сидни уже жила там?

— Да.

— Таким образом, можно предположить, что она не давала никаких оснований считать ее женщиной, которая живет, торгуя своим телом, ибо в противном случае вы не остались бы там?

— Нет, иначе, думаю, не остался бы.

— И за три года у вас ни разу не возникло подозрения, что она может принадлежать к древнейшей в мире профессии?

— Древнейшей в мире профессии? Я не совсем понял.

— Что она была... была проституткой! — Эммонс сбился на крик. Он негодовал на глупость, разрушившую всю элегантность его речи. Потом он бросил взгляд на сэра Клевердона, тот хмуро улыбался.

— Нет, я не знал.

— Но теперь знаете, что это так?

— Мне было сказано...

— Сказано? Кем?

— Полицией.

Зал оживился. Эммонс взглянул на присяжных.

— Официально заявляю, — сказал он, — пятно на репутации женщины — ее здесь нет, и она, увы, не может защитить себя, — это пятно грубо сфабриковано полицией, жаждущей скорейшего вынесения приговора. Тогда как достойный и нравственный человек, который жил в наивозможнейшей близости от покойной, не заметил никаких признаков аморального поведения соседки на протяжении трех лет, то есть тридцати шести месяцев, более чем тысячи дней!

Сэр Клевердон заявил протест: Эммонсу предоставили трибуну для допроса свидетеля, а не для выступления с речью перед присяжными.

Судья принял протест, и Эммонс тотчас извинился — без малейшего раскаяния.

— Присмотритесь как следует к обвиняемому, — продолжал он. — Я полагаю, вы никогда не видели его прежде.

— Я не мог бы в этом поклясться.

— Как по-вашему, у обвиняемого оригинальное лицо?

— Не знаю даже, что ответить на это.

— Не знаете? Так я вам скажу. Вы должны ответить «да» или «нет».

— Я не люблю высказывать свои суждения о лицах других людей. В конце концов, им ничего не поделать со своим лицом — так уж они родились.

Судья ответил на безмолвный призыв Эммонса стуком молотка.

— Дальнейшие изыскания в этом направлении представляются мне не особенно плодотворными, мистер Эммонс, — заметил судья.

— Я всего лишь хочу установить тот факт, что мистер Эплкот видит обвиняемого впервые, милорд.

— Свидетель уже отметил, что не мог бы в этом поклясться. Поскольку он дает показания под присягой, мы должны принять его слова на веру. Он вполне мог видеть обвиняемого, но не помнить об этом.

— А мог и не видеть, — опрометчиво вставил Эдвин.

— Извините? — Теперь уже и судья начинал терять терпение. Губы его сжались, будто на них наложили швы.

— Понимаете, милорд, — объяснил Эдвин, — я мог видеть лицо мистера Эхоу в автобусе или на улице. Оно мне, безусловно, кажется очень знакомым, но, может быть, именно потому, что я где-то видел кого-то чрезвычайно на него похожего.

— Мы здесь не для того, чтобы проверять вашу память на лица, — ядовито заметил судья. — Возможно, с разрешения мистера Эммонса, мне будет дозволено вас спросить: видели ли вы когда-нибудь, как обвиняемый входил в квартиру покойной?

— Может, и видел, насколько могу судить.

— А может, и нет. Очень хорошо, продолжайте, — пробормотал судья, тяжко вздохнув. — Будем считать, что нет.

— Видите ли...

— Хватит! — сказал судья. — Мы попусту тратим время.

— Вы когда-либо разговаривали с миссис Сидни? — возобновил допрос Эммонс.

— Да, сэр. Но дальше «доброго утра» и «здравствуйте» наш разговор не заходил.

— Могли бы вы описать ее как приятную особу?

— Да, очень приятную. И разговаривала учтиво. Возможно, ее речь и была несколько вульгарна, но не мне судить об этом.

— Как может человек разговаривать одновременно и вульгарно и учтиво? — резко бросил судья.

— Это действительно трудно, я допускаю, сэр. Но не хотелось бы дурно отзываться о людях. Это не в моих правилах.

— Возьмите себе лучше за правило отвечать на все наши вопросы, а не изощряться здесь в любезностях. Итак, она, по-вашему, говорила учтиво или вульгарно?

Судья ненавидел серый цвет с такою же силой, как любил черный и белый.

— Я бы сказал, учтиво.

— Очень хорошо. Далее.

— Но с оттенком вульгарности.

Судья всплеснул руками.

— Видите ли, она, я думаю, ничего не могла с этим поделать, — поспешно добавил Эдвин.

— Не было ли в ее облике каких-либо черт, которые ассоциировались бы у вас с ее предполагаемой профессией? — спросил Эммонс. — Ни перебора по части косметики или духов, ни высоких каблуков, черных чулок, чего-нибудь еще в этом роде?

— Она пользовалась очень крепкими духами, их запах чувствовался даже у меня наверху.

— Вы хотите сказать, что запах ее духов проникал сквозь перекрытия и ковры?

— О да, и вызывал у меня головную боль. Я ей раз или два жаловался на это, самым вежливым образом.

— Вы высказывали свои жалобы устно?

— Нет. Каждый раз, сойдя вниз, я слышал через дверь, что она не одна. А когда у нее не было гостей, она уходила из дому.

— Вы хотите сказать, что подслушивали под дверью?

— О нет, просто голоса всегда были слышны еще на лестнице.

— И вы подслушивали эти разговоры на лестнице?

— Нет, я их слышал, но никогда не прислушивался к ним. Это было бы неприлично. Да и не всегда слышались разговоры. Иногда — просто звуки радио или передвигаемой мебели.

— Понятно. — Эммонс прочистил горло. — Как же

вы высказывали свои жалобы, если не делали этого устно?

— Я писал записки, которые подсовывал ей под дверь.

— Вы когда-либо получали на них ответ?
— Никогда. Если не считать... — Эдвин запнулся.
— Продолжайте.
— Однажды дверь распахнулась, как раз когда я подсовывал под нее записку.

— Кто же открыл?
— Джентльмен.
— Джентльмен? Как он был одет?
— На нем была нижняя рубашка.
— И что еще?
— И все.

— Вы хотите заявить суду, — теперь запинался Эммонс, — что дверь квартиры миссис Сидни открыл человек, одетый в одну лишь нижнюю рубашку?

— Возможно, на нем были еще и носки, я не помню.
— У меня больше нет вопросов.

Поднялся сэр Клевердон, выгнув брови триумфальными арками.

— С вашего разрешения, милорд, мне хотелось бы задать свидетелю еще несколько вопросов.

— Надеюсь, не очень много. Приступайте.
— Вы запомнили лицо того человека, или джентльмена, если вам так больше нравится? Узнали бы вы его при встрече?

— Он, пожалуй, был среднего роста, темноволосый, с чистой кожей.

— Есть ли сходство между ним и обвиняемым?
— Да, сейчас, когда вы это сказали, я нахожу большое сходство между ними, хотя и не мог бы поклясться, что это — он.

Слова Эдвина вызвали возбуждение в зале, и Эхоу посмотрел на него с откровенной ненавистью.

— Что же вам сказал тот человек?
— Я не понял его слов, но звучали они так... — И Эдвин произнес два слова, которые никогда не употребляются в обществе.

В зале послышался изумленный вздох, какая-то девушка хихикнула, почтенный господин выкрикнул что-то неразборчивое, а судья призвал всех к порядку.

— Отсюда ясно, к какой утонченной публике при-

надлежали друзья вашей учтивой соседки, — заметил сэр Клевердон.

— Но что означают эти слова? — спросил с болью в сердце Эдвин.

— Ничего не означают, — ответил сэр Клевердон, — но при всей их популярности в рядах вооруженных сил я не советовал бы вам украшать ими свою речь в цивильном обществе. — И добавил, чтобы помочь Эдвину оправиться от шока: — Это один из способов сказать: «Будьте любезны удалиться».

Смех в зале.

Когда, наконец, тишина была восстановлена, сэр Клевердон задал следующий вопрос:

— Когда это произошло?

— Около одиннадцати часов утра.

— Но когда именно?

— Ах да... — Эдвин еще не совсем пришел в себя. — Утром того дня, когда произошло убийство.

Зал оцепенел. Эхоу, водитель грузовика, давал показания перед Эдвином и охотно признал, что поддерживал с миссис Сидни мимолетное знакомство, но заявил, что в день убийства с девяти часов находился у сестры в Айлингтоне. Сестра подтвердила алиби.

— Вы уверены? — спросил Эдвина сэр Клевердон. — Седьмого июля?

— Я не помню даты, но это было именно в тот день. Я как раз шел на работу.

— Когда вы уходите на работу?

— Около одиннадцати.

— Разве вы не знаете точно, когда уходите?

— Около одиннадцати.

— Вы хотите заявить суду, что не знаете точно, в котором часу уходите на работу?

Эдвин начал запинаться. Это была последняя капля.

— Разве люди обязаны знать точное время, когда они уходят на работу?

— Да, — отрезал сэр Клевердон.

Неужто он один такой в целом мире — урод, не похожий на всех? И кролики никогда не смогут разделить с ним это ужасное испытание. Сколько еще сможет он выстоять в этом кошмарном зале, который, кажется, битком набит людьми, досконально знающими, что и в котором часу делали они сами и даже что и когда должны делать другие.

— Около одиннадцати, — услышал он собственный голос.

— К которому часу вы должны приходить в Би-би-си?

— К одиннадцати.

— Вы хотите сказать, что уходите из дому около одиннадцати, чтобы к тому же часу быть на службе, пройдя чуть не полгорода?

— В тот день я опоздал.

— Когда вы пришли на работу?

— Где-то после одиннадцати.

— Насколько же позже одиннадцати?

— Где-то в одиннадцать десять... одиннадцать пятнадцать.

— Сколько времени отнимает у вас дорога от дома до Би-би-си?

— Около двадцати минут.

— Значит, будет логично предположить, что вы покинули дом между десятью пятьюдесятью и десятью пятьюдесятью пятью?

— Я так полагаю.

— Почему же вы не сказали мне это с самого начала?

— Почему? — выпалил Эдвин. — Потому что я поклялся говорить правду и ничего, кроме правды, и с моей стороны присяга эта была ошибкой.

— Что-что? — переспросил судья.

— Я не знаю правды! — вскричал Эдвин, широко раскрыв глаза. — Понимаю, я должен точно знать все, но я не знаю! Не знаю, в котором часу я покинул дом, да если б и знал минута в минуту, все равно не узнал бы с точностью до секунды, а если я не могу рассказать вам все до мельчайших подробностей, значит, не сумею сказать правду.

— Говорите громче! — приказал судья.

Странно, Эдвину казалось, будто он кричит во весь голос. А оказывается, он все это бормотал себе под нос. Закрыв глаза, он резко замотал головой из стороны в сторону, но, открыв глаза снова, лучше видеть не стал.

Сэр Клевердон впился в него взглядом — сущий орел. Судья — гриф, а Эммонс — крот.

— Во всяком случае, вы покинули дом утром после половины одиннадцатого?

— Должно быть, так.

— Вы возвращались домой до семи вечера?

— Думаю, что да.
— Думаете, что да?
— Пожалуйста, — взмолился Эдвин, — нельзя ли помедленнее?
— Говорите громче, — напомнил судья.
Нечеловеческим усилием воли Эдвин взял себя в руки.
— Передача выходит в эфир в три пятнадцать, — сказал он. — Ровно в три пятнадцать. И кончается в три сорок пять.
— Что вы делали после окончания передачи?
— Вернулся домой выпить чаю.
— Прямо домой?
— Да.
— Итак, мы можем допустить, что вы вернулись домой между четырьмя и четырьмя пятнадцатью?
— Полагаю, что так.
— В каком смысле «полагаете»? Это ведь очевидно, не правда ли?
— Если вы так считаете.
— Да, я так считаю. Долго вы оставались дома?
— Достаточно долго, чтобы заварить чай и съесть лепешку. Я намазал ее маргарином и малиновым вареньем. Затем я помыл посуду, вытер ее, убрал в буфет и пошел в зоопарк.
— Все это, должно быть, заняло еще четверть часа?
— Я не знаю.
— Вы, наверно, на редкость неторопливый едок?
— Я не знаю.
— Просто невероятно, что находятся люди, ухитряющиеся пройти по жизни, не имея ни малейшего представления, что, когда и как именно они делают. Попрошу вас сосредоточиться, если можете. Вернувшись домой выпить чаю, не обнаружили ли вы какие-либо признаки продолжавшегося присутствия этого человека в квартире миссис Сидни?
— Я слышал голоса.
— Голоса?
— Кричал мужчина. Играло радио, передавали танцевальную музыку. Потом, судя по звуку, разбилось стекло.
— Вы опознали тот же голос, который бросил вам в лицо грязное ругательство?
— Не могу сказать. Может, тот, а может — и нет.

— Вы разобрали какие-либо слова, произнесенные этим голосом?

— Да. Нет, я не смею произнести их вслух, боюсь, они окажутся неприличными.

— Я приказываю вам рассказать нам, что вы услышали, — вмешался судья, наклонясь вперед, — и в полный голос.

— Я услыхал нечто вроде: «Только пикни, — а может, пискни? — и я из тебя отбивную сделаю!» Да, нечто в этом роде.

— Говорил мужчина?

— Да, а это что-то совсем ужасное? Я и запомнил все, потому что ничего не понял.

— Вы слышали ее голос?

— Нет, только ее смех. Я все время слышал ее смех, вплоть до самого ухода.

— А что вы подумали, услыхав звон бьющегося стекла?

— Наверно, решил я, кто-то уронил стакан.

— Ничего более бурного вы не заподозрили? Вам не показалось, будто стакан скорее швырнули, а не уронили?

— Какой в этом смысл?

— Если стакан швырнуть с достаточной силой, можно поранить человека, в которого целишься.

— Никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь поступал так.

— Говорите громче, — сказал судья.

— А когда вы отправились в зоопарк, — голос сэра Клевердона звучал очень настойчиво, — вы не заметили никакого транспортного средства, стоявшего у дома?

— Я не помню.

— Шестиколесный грузовик?

— Я не знаю.

— Вы вообще не заметили никакой машины?

— О, я припоминаю, какие-то мальчишки играли на улице в крикет. Мяч закатился под машину, и один мальчик полез доставать его из-под колес. Я сказал ему, что это опасно и надо быть поосторожнее, потом заглянул в кабину удостовериться, что там нет водителя.

— Сколько лет было этому мальчику?

— Лет десять-двенадцать, а может — четырнадцать. Я не очень хорошо различаю возраст детей.

— Если он играл в крикет, ему, вероятно, было больше шести.

— О, думаю, так, ведь он курил.

— Курил? Вы сказали, там была машина. Сумеет ли мальчик в том возрасте, когда уже курят, залезть без труда под современный легковой автомобиль?

— Нет, пожалуй, эта машина была побольше легкового автомобиля.

— Вам пришлось нагнуться, чтоб заглянуть в кабину?

— Напротив, мне пришлось встать на цыпочки.

— На цыпочки? Если только это не был лимузин, выпущенный до тысяча десятьсот десятого года, полагаю, вы видели грузовик — серый грузовик марки «лейланд» и, возможно, с белой надписью на дверце: «Братья Хискок, Хэмел Хэмпстед»?

Эммонс выразил протест против формы, в которой был задан вопрос. Сэр Клевердон снял вопрос, но нельзя отрицать, что уже успел задать его.

— Я припоминаю кое-что, — по собственной инициативе заявил Эдвин, потирая лоб.

Эхоу заметно напрягся.

— Говорите громче, — распорядился судья.

— Помню... там была картинка... похоже, переводная... юная дама в весьма нескромном купальном костюме... с цветным мячом в руках... Картинка была наклеена на стекло, через которое водитель видит дорогу... лобовое стекло, так, кажется? Я еще, помню, удивился, как полиция допускает нечто подобное, ведь картинка эта закрывает водителю обзор и наводит на непристойные мысли.

Хотя как улика все это выглядело не очень убедительно, Эхоу решил, наверное, что угодил в ловушку, и, будучи человеком грубым и несдержанным, вскочил и разразился в адрес Эдвина отвратительной бранью, которую тот, к счастью, не понял.

Сэр Клевердон выразительным жестом бросил на стол свои бумаги.

— У меня больше нет вопросов, — пробормотал Эммонс.

Судья вперил взгляд в Эдвина и произнес голосом, скрипевшим, как палая осенняя листва под подошвами башмаков:

— Если вам когда-нибудь еще случится давать показания в суде, настоятельно рекомендую проявить большую наблюдательность, а также излагать свои мысли более связно и членораздельно. Сегодня вы обрисовали

покойную сначала в розовых тонах, как совершенно безобидную особу, но затем, в процессе перекрестного допроса, дали столь противоположную характеристику, что трудно не заподозрить вас в заведомом намерении исказить истину с самого начала. Я не думаю, что это так, поскольку очевидно: вы человек, не привыкший давать показания в суде, и искренне верите, будто каждый имеет право на истолкование сомнений в его пользу. Но одно дело толкование сомнений и совсем другое — абсолютная слепота к фактам. Она приводит к показаниям, чреватым судебной ошибкой, если они не будут подвергнуты анализу самыми строгими методами, принятыми в системе нашего судопроизводства. Я призываю вас подумать как следует над моими словами, ибо ваши сегодняшние показания были самыми путаными и самыми нелогичными из всех, какие мне довелось выслушать за время работы в суде. Прошу следующего свидетеля!

Эдвин, конечно же, не был главным свидетелем. Сестра Эхоу, не выдержав повторного допроса, призналась, что алиби подсудимого было вымышленным. Грузовик опоздал к месту назначения более чем на двадцать четыре часа, а полиция обнаружила письма и отпечатки пальцев, которые в конечном счете и отправили Эхоу в тюрьму до конца дней.

Но Эхоу оказался не единственным человеком, чью дальнейшую жизнь изменил этот судебный процесс. Эдвин не мог уже возвратиться домой. Он остался в гостинице. Мучимый опасениями, он то и дело проверял, заперта ли его дверь. Купил маленькую записную книжечку и скрупулезно отмечал в ней с точностью до минуты время выхода из дома и прихода на работу. Сидя в автобусе, он пристально обшаривал глазами дорогу, высматривая что-либо подозрительное или просто достойное внимания. Он стал чрезмерно наблюдателен, в его поведении появилась непонятная резкость.

На работе он приветствовал свою старую добрую знакомую мисс Олсоп совершенно необычным образом:

— Доброе утро, мисс Олсоп, вы, как я замечаю, сегодня в зеленом. Это зеленый твид, не так ли? И камея с женским профилем, времен короля Георга. Туфли? Коричневые. Чулки из крученой пряжи. Благодарю вас. Пока что у меня все. — И Эдвин заносил все эти подробности в записную книжку. Той же странной процедуре Эдвин подвергал и мисс Батлер, а иногда он неожиданно переставал петь посреди передачи, и не пото-

му, что забывал слова, а потому, что замечал вдруг — положение минутной стрелки часов на стене студии не совпадает со стрелкой его часов. И только в роли кролика Зигфрида он оставался таким, каким был прежде — мягким, чудаковатым и чуточку трагичным.

Мисс Батлер героически пыталась понять, что с ним происходит.

— Вы больше не ходите в зоопарк, как раньше? — сердечно спросила она.

В глазах Эдвина появилось лукавое выражение.

— Нет, — ответил он, — не хожу. Ведь животные не умеют говорить, и, если там со мной что-нибудь случится, они не смогут давать показания.

— Но что там может случиться с вами?

— Убийство, — не моргнув глазом ответил Эдвин.

— Убийство? Кому понадобится убивать вас?

— В Лондоне миллионы людей, — уклончиво ответил Эдвин. — Но это не сойдет им с рук, теперь уж никак не сойдет, я запираю дверь и пишу на листе бумаги, кто я и чем занимаюсь, адресую письмо: «Тому, для кого это представит интерес» — и прячу под матрас. В этом письме я перечисляю все свои передвижения за день, всех собеседников и излагаю содержание всех разговоров с ними. Нынче вечером я упомяну в нем и вас, мисс Батлер, и наш разговор, — Эдвин посмотрел на часы, — который состоялся в шестнадцать часов восемь минут.

— Но зачем вам это, мистер Эплкот? — спросила мисс Батлер, начиная испытывать острое беспокойство.

— Чтобы быть готовым дать свидетельские показания, мисс Батлер. Не знаю, доводилось ли вам давать показания в суде, но они должны звучать ясно и внятно. Уж не знаю, заметили ли вы, я приучаю себя говорить более громким голосом.

— Это заметили звукооператоры. Вы создаете им немало затруднений.

Эдвин рассмеялся.

— А знаете, почему я прячу письма под матрас? Полиция обязательно их обнаружит, но ни у одного убийцы не хватит сообразительности туда заглянуть. — Он как-то неуверенно нахмурился. — А вдруг хватит? Пожалуй, надо подыскать другое место.

С Эдвином Эплкотом отдел детских передач расстался с неподдельным сожалением. Но слишком уж он рассеянно исполнял детские песенки, и поведение его вы-

зывало все большее и большее беспокойство. Не сознавая жестокого смысла своего подарка, коллеги преподнесли ему на прощание настольные часы с красивой выгравированной надписью. Ни одни часы не способны долго показывать абсолютно точное время, и поэтому Эдвину предстояло провести немало мучительных минут, сверяя настольные часы с наручными и пытаясь определить, какие из них идут верно.

Инспектор Макглашан с большой картонной коробкой под мышкой ожидал в приемной доктора Фейндинста. Наконец доктор вошел, и они пожали друг другу руки.

— Ну как он? — спросил Макглашан.

— Он очень милый и славный человечек, — с легким австрийским акцентом ответил доктор Фейндинст. — Совершенно безобиден и не доставляет никаких хлопот, не то что некоторые другие наши пациенты — буйные параноики и прочие. Хотите навестить его?

— А можно?

— Разумеется, идите за мной.

— Можно оставить здесь коробку?

— Конечно.

Когда они шли по коридору, доктор Фейндинст сказал:

— Главная наша проблема — обеспечить ему полный покой. Он до того обостренно наблюдателен, что изнуряет себя, пытаясь заметить и описать все происходящее вокруг.

Макглашан вошел в комнату Эдвина. Шторы на окне были задернуты.

— Помните меня? Я — Макглашан.

— Конечно, помню.

Эдвин был сама сердечность.

— Прошу вас, инспектор, присаживайтесь. Ну что ж, больше меня врасплох не застанете, нет. Задернули шторы на окнах, создают мне покой, но я все равно подглядываю из-за них на улицу, когда никого нет. Я как раз подглядывал, когда вы шли по коридору. Вы едва не застигли меня, но не успели.

— Что вы поделываете? — спросил инспектор. И получил совершенно неожиданный ответ.

— Я? Сейчас расскажу вам. Встал в шесть тридцать семь, с шести тридцати семи до шести пятидесяти одной

умывался, в шесть пятьдесят две почистил зубы, позавтракал вареным яйцом. Яйцо новозеландское, судя по надписи на скорлупе. Выпил чаю с одним куском сахара, съел две булочки с маслом. Завтрак продолжался ровно с семи девяти до семи двадцати одной. Читал газету «Ньюс кроникл», дополнительный выпуск, с семи тринадцати, когда я ее развернул, до семи двадцати девяти, когда я ее положил. После этого находился здесь, в своей комнате, если не считать короткой прогулки. Я вышел в десять девятнадцать и вернулся в десять сорок шесть. И было десять пятьдесят семь, когда вы вошли в комнату. Кстати, инспектор, который час на ваших?

— Ровно одиннадцать.

— Ваши часы спешат почти на целую минуту.

— О, благодарю вас, — Макглашан сделал вид, будто подводит часы.

— Послушайте, — прошептал Эдвин, — если там через дорогу будет совершено преступление, — и он показал пальцем на окно, — могу сообщить: в девять сорок одну голубой «остин»-универсал подъехал к дому восемнадцать и стоит там до сих пор. Номер «БХК — семьсот пятнадцать».

— Большое спасибо, — грустно ответил Макглашан, притворяясь, будто записывает номер. — Если мы его поймаем, то только благодаря вам.

Наступила неловкая пауза, во время которой Макглашан пытался гипнозом вернуть Эдвина в нормальное состояние.

— По кроликам не скучаете? — спросил он наконец.

— Нет, — ответил Эдвин, — они счастливы там у себя в зоопарке. И нет у них наших проблем.

— Может, и есть, просто мы совершенно не понимаем их языка.

— Да, возможно, и есть, — уклончиво вздохнул Эдвин.

— А по Би-би-си не скучаете?

— Нет, ведь я теперь занят по-настоящему важной работой — собираю материал для свидетельских показаний.

— А по вас скучают.

— Кто?

— Дети.

— Мне не до детей сейчас. Это — взрослый мир. И здесь нельзя быть чересчур мягким, нельзя быть сле-

пым к фактам. — Эдвин с истовым благоговением цитировал судью.

Когда Макглашан вернулся в кабинет доктора Фейндинста, тот спросил:

— Как вы его нашли?

— Будь прокляты все юристы! — злобно ответил Макглашан. — Чем они только занимаются? Чтобы выстроить свои доказательства, они подберут всегда из ряда вон выходящий случай, изобилующий из ряда вон выходящими обстоятельствами, и представляют его как обыденное и естественное событие. Почему этот маленький человечек должен знать обо всех ужасах, которые вносят в жизнь люди, воспринимающие эти ужасы как нечто само собой разумеющееся? Почему мы лишаем его права оставаться наивным простаком? Законники покарали убийцу и довели свидетеля до умопомешательства. И это называется правосудием! Где же теперь те, кто сделал это? Расселись по своим клубам, обдумывая, как бы еще вставить нам, работягам, палки в колеса. А этот бедный недотепа торчит здесь, изобретая прорву свидетельских показаний, которых с него никто никогда не спросит. Меня от этого просто тошнит!

— Вас послушать, — ухмыльнулся доктор, — так вы уже созрели, чтобы занять одну из наших палат для буйных.

— Я вам кое-что скажу, доктор, — заговорщицки наклонился к нему Макглашан. — В этом человечке есть некая изюминка. Нет-нет, никакая это не блажь. Да и мысль, собственно, не моя. Я узнал об этом от моей пятилетней дочки. Зашел я вчера в спальню пожелать ей спокойной ночи, а она смотрит на меня и спрашивает: «Папа, почему у кролика Зигфрида стал другой голос?» Ей-богу, доктор, я чуть было ей все не рассказал. И когда-нибудь расскажу.

— Что ж, как знать, может, год или два спустя он сможет туда вернуться.

Макглашан покачал головой.

— Вы не хуже меня знаете, что это неправда, доктор. Слишком сильную травму нанесли ему в судилище. Ему не оправиться. Если порядок вещей изменился бы, жизнь, может, и стала б ему по плечу, — вот все, что я хочу сказать.

— Мы живем в жестоком мире, инспектор, — вздохнул врач. — Наши с вами профессии тому свидетельство.

— Жестоком? — переспросил Макглашан. — Нет, он грязен! Грязен! И часто те, кто выглядят самыми чистыми, и есть самые грязные. Те, кто облечены ответственностью.

Осторожно подняв принесенную коробку, Макглашан направился к выходу. Прежде чем открыть дверь, он обернулся и сказал:

— Нам жаловаться не приходится. Мы за себя постоять сумеем. — И с непонятной робостью посмотрел на свою коробку. — Я принес подарок, но, пожалуй, после нашего разговора лучше не отдавать ему. Подарю своей дочке.

— Что это? — спросил доктор Фейндинст.

Макглашан воткнул обратно в коробку высунувшийся оттуда краешек салатного листа и сказал тихо:

— Кролик.

Уважаемый Я

Всем тем, кто случайно или умышленно не упомянут в этой книге

Уважаемый я!

Я всегда полагал — и ты останови меня, если давно уже наскучил тебе этой мыслью, — что проявления ненормальности, терзающие людей, по большей части оказываются не чем иным, как порождениями фантазии, свойственной человеческой природе, но до неузнаваемости раздутыми. Иными словами, раздвоение личности, шизофрения, есть раздувание естественного положения дел до такой степени, когда личность человека в целом начинает восприниматься сквозь призму раздирающих ее органических внутренних противоречий. И в то же время в характере каждого нормального человека должна быть заложена хотя бы склонность к известной гибкости, в противном случае он окажется обделен даром сомнения, а что может служить более веским доказательством безумия, чем неспособность испытывать сомнения?

Нет, нет, чтобы не потерять рассудок, человек должен постоянно испытывать хоть какое-то внутреннее несогласие с самим собой. И именно по этой причине и горячо надеясь, что ты действительно существуешь, я и адресую эту попытку автобиографии тебе, уважаемый Я.

Мы родились обычнейшим образом в одном из лондонских родильных домов, но здесь пора отказаться от дальнейшего использования множественного числа местоимения, чтобы стремление говорить от имени нас обоих не воспринималось как мания моего величия. Величием-то я отличался всегда — в чисто физическом смысле слова, но маньяком, надеюсь, не был. Весил я почти двенадцать фунтов, рождался нехотя и не спеша. Мне никогда не нравилось выходить на аплодисменты публики, если их энтузиазм не оправдывал более, чем в должной мере, подобную инициативу с моей стороны, и, видимо, приобрел эту привычку очень рано, практически с первого моего публичного появления — на свет.

Из фактических обстоятельств своего рождения я за-

помнил немного, и посему мой рассказ о нем должен опираться на сведения из иных источников. Доподлинно мне известно следующее — хотя я родился в Лондоне (в районе, пророчески именуемом Свисс-коттедж *), зачат я был в Петрограде, в высоком, продуваемом сквозняками, со стенами, выщербленными осколками и пулями, доме, куда я совершил благодарное паломничество уже в весьма зрелом возрасте. Само собой очевидно, что мне довелось изрядно попутешествовать за более чем девять месяцев, отделяющих мое зачатие под сенью революции и политических лозунгов от моего появления на свет в холодные объятия индустриального смога и респектабельности, но, опять же, мои воспоминания о великих социальных потрясениях, сквозь которые я прошел, маскируясь под перебор багажа, нельзя охарактеризовать иначе, как туманные и, значит, не очень достоверные.

Моя мать, сохранившая, как ни странно, гораздо более ясные воспоминания об этих событиях, чем я, написала, несмотря на преклонный возраст, книгу о своем замужестве, которую назвала «Клоп».

Главы, относящиеся к периоду, предшествующему моему рождению, я счел очаровательными и захватывающими, последующие же главы читал с острым чувством неловкости. Таковы, пожалуй, свойства человеческой натуры. Клоп, как я узнал впоследствии, было прозвище моего отца, может, и не очень лестное, но отец предпочитал его нареченному от рождения имени Иона. О вкусах не спорят, как неустанно повторяют те, кто считают себя благословенными сим даром.

Ко времени моего рождения Клоп работал лондонским корреспондентом германского агентства печати, именуемого в ту пору Бюро Вольфа. Это место досталось отцу благодаря не только недюжинным природным способностям, но и тому, что фамилия Устинов звучала и звучит не по-немецки. Еще не так давно многим людям помогала перенести бремя военных забот лишь приятная мысль о казни кайзера через повешение, и было очевидным, что за четыре года лишений, усталости и трагедии немцы истощили запас британской флегматичности. Немцы проявили достаточно проницательности, чтобы догадаться об этом, и посему отец с его русской фамилией,

---

* Швейцарский коттедж *(англ.)*. П. Устинов живет в настоящее время в Швейцарии.

русской женой и учтивыми манерами были посланы готовить почву для последующего улучшения отношений.

Задача, надо полагать, не из легких, однако должен отметить, что если ко мне в родильном доме и проявлялась предубежденность, то исключительно в мою пользу. Когда, наконец, меня выманили на этот свет, я, по всей очевидности, сразу повел себя так, будто меня и не надо было уговаривать, и все время задирал голову, чтобы осмотреться по сторонам, даже когда меня держали за ноги и я висел головою вниз, подобно летучей мыши. Предупреждая всеобщее недоверие, скажу сразу, что меня всегда выручала необыкновенно могучая шея, в чем, к своему вящему огорчению, убедился много лет спустя один итальянец, учитель пения, пытавшийся меня задушить. Я-то оправился сразу, а у него появилась неизлечимая депрессия, что вполне понятно, поскольку росточком он вышел метр с кепкой, и с его стороны было неумно поддаться искушению.

Мои потуги в родильном доме вызвали бурю восторга у сиделки, сказавшей матери: «Надо же, какие мы сильные, а, золотце мое? Просто богатырь!»

Приятно было это знать. Мама отнеслась ко мне более субъективно. Несмотря на мои подвиги, я показался ей беззащитным и беспомощным, как, разумеется, любой ребенок любой матери, и вместе с тем поразительно мудрым и похожим на некоторые округлые скульптурные изображения Будды. Но однажды, забыв на минуту о требованиях литературного стиля, мама объяснила, что я просто-напросто походил на шарик, и все присутствующие облегченно вздохнули, когда я задвигал шеей, потому что лишь тогда смогли убедиться, что правильно меня держат.

Как я понял, я был не очень разговорчив, что, учитывая обстоятельства, и не кажется удивительным. Я редко плакал и почти все время улыбался, из чего могу заключить, что почти все время страдал расстройством желудка, достаточно сильным, чтобы вызывать кривую гримасу, ошибочно воспринимаемую мамами за безмятежную улыбку, но не таким уж болезненным, чтобы часто доводить меня до слез.

Пожалуй, хватит обо мне и о доступных мне тогда ограниченных способах самовыражения. Может, стоит сейчас, в самом начале, остановиться и попробовать разобраться в цепи случайностей, которые и привели меня к свиданию с гинекологом в Свисс-Коттедже в 11.00

16 апреля 1921 года. Меня, разумеется, сопровождала мама, поскольку я еще был слишком юн, чтобы идти один.

Я с удовольствием и не без душевной дрожи вспоминаю мысль, высказанную в мемуарах великого юриста Кларенса Дэрроу. Прослеживая в обратном порядке цепь событий от своего рождения до времен незапамятных, он всегда воспринимал ее как абсолютно невероятную, посему ощущал собственное присутствие в этом мире как случайный выигрыш в почти невыигрышной лотерее. Более того, замечал он, не без жалости к самому себе, если хотя бы одному из тысяч людей суждено было припоздать к своему свиданию с судьбой, то ему, Кларенсу Дэрроу, не суждено было бы родиться. У меня не меньше оснований предаваться подобным размышлениям, чем у него, хотя меня и не хватило, чтобы прийти к столь устрашающему умозаключению самостоятельно.

Судите сами. Один прапрадед родился в 1730 году благочестивым саратовским помещиком в низовьях Волги. Другой прапрадед родился в 1775 году в Венеции, где, победив на конкурсе, стал органистом в соборе св. Марка. Третий был школьным учителем в ста километрах юго-восточнее Парижа; четвертый — несомненно, суровый протестант — жил в Рейнфилдене, близ Базеля; в то время как пятый боролся за выживание в нескончаемой борьбе за власть в Аддис-Абебе. Необязательно знакомиться с жизненными путями остальных одиннадцати моих предков этого колена, чтобы понять, насколько маловероятным было объединение усилий этих господ с целью произвести на свет меня. Да и к тому времени, когда ситуация свелась до уровня дедов, шансы на мое появление вряд ли возросли. Верно, деда по отцовской линии выслали на Запад, но предки матери как раз в это время эмигрировали на Восток — несогласованность действий разительная до неприличия. Отец моего отца принял германское подданство и, прожив некоторое время в Италии — оригинальный выбор места для обращенного протестанта, — обосновался — как бы вы думали, где? — в Яффе, женившись там вторым браком на дочери швейцарского миссионера и эфиопской аристократки. Один за другим последовали семь выкидышей, и к тому времени, как у них родился первенец — мой отец — его отцу исполнилось пятьдесят семь. Не испытывая в отличие от меня ни малейших колебаний, Клоп проявил чрезвычайную решимость появиться на этот свет и ринулся

в него, не дождавшись истечения у матери семи месяцев беременности, веся чуть более двух фунтов. Выжил он лишь благодаря небывалому упорству и терпению деда, по капельке поившего его молоком из баллона авторучки фирмы «Вассерман». Коммерческая реклама здесь неуместна, но я не могу не использовать подобную возможность публично поблагодарить фирму, которой, как полагаю, обязан столь многим.

Что же до моей матери, то она была младшей в большой петербургской семье архитектора Луи Бенуа *. В то время, как мой отец носился на арабском скакуне наперегонки с поездами в Палестине, пугая пассажиров, мать каталась на коньках по невскому льду. Чтобы свести их вместе, понадобились безрассудный поступок студента-серба в Сараеве, воинственность австро-венгерских милитаристов, бескрайняя амбициозность притязаний кайзера, жажда мести французов, поспешная мобилизация русской армии, военные действия на земле, в небесах и на море; газовые атаки, революция, унижения побежденных и завоевания победителей. Я не могу и надеяться когда-либо возместить свой необъятный личный долг за эту войну миллионам людей, сочетание эгоизма, самопожертвования, глупости, мудрости, отваги, трусости, чести и бесчестия которых позволило моим родителям встретиться в обстоятельствах крайне невероятных и по причинам самым немыслимым. Мне остается лишь испытывать смирение.

Моим прапрадедом, родившимся в 1730 году, был Михаил Адрианович Устинов. Жил он в Саратове и умер в 1838 году в возрасте 108 лет, оставив наследникам 240 тысяч гектаров земли в различных уездах и 6 тысяч крепостных, эту землю обрабатывающих, а также шестнадцать новеньких церквей для молитв и размышлений.

По портрету этого незаурядного человека можно заключить, что ему была свойственна полнота. Полнотою он безусловно страдал, но, надо полагать, дожил до столь преклонного возраста только потому, что в те времена не нашлось врача достаточно грамотного, чтобы предупредить его об опасностях ожирения. Михаил Адрианович был дважды женат. Его первая супруга, Варвара Герасимовна Осоргина, скончалась, когда ему было семь-

---

* Бенуа Леонтий Николаевич (1856—1928) — русский архитектор, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор западного корпуса Русского музея.

десят восемь, после чего он женился на Марфе Андреевне Вешняковой, с которой и прожил свои последние тридцать лет. Среди иных приобретений плодотворной жизни Михаила Адриановича были и пятеро сыновей, расселившихся по различным поместьям, кроме третьего сына, Михаила Михайловича, ставшего русским послом в Константинополе и оказавшего впоследствии неоценимую помощь моему деду. Младший из пяти сыновей, Григорий Михайлович, был, по всей видимости, весьма плачевным представителем рода человеческого и прожил лишь пятьдесят пять лет, проведя их в редком распутстве.

Обладатель двух роскошных домов в Петербурге и наследного родового имения Алмазово, Григорий Михайлович женился на женщине изумительной красоты Марье Ивановне Пашиной, которая принесла ему как часть приданого подмосковную деревню Троицкое. По всем сведениям, он вел себя позорнейшим образом, поселив жену в одном из городских домов, пока сам развлекался в другом доме с несовершеннолетними девочками-крепостными, выходя из спальни лишь подкрепиться. Неудивительно, что трое его сыновей выросли с чувством глубокого отвращения к своему отцу, а моего деда все это заставило задуматься и о порядках в России, и о развращенности православной церкви.

Служа молодым офицером в кавалергардском полку, дед упал на маневрах с коня, повредил спину и более чем на год оказался прикован к постели, что заставило его много читать и еще больше думать. За Волгой на другом берегу лежало селение немецких протестантов. Некоторое время спустя дед познакомился с пастором, жаждавшим увеличить счет обращенных им душ, а также с его хорошенькой дочкой. Как нередко случается в жизни, проблемы духовные и сердечные вскоре безнадежно переплелись, и деду одновременно открыли объятья и лютеранская церковь, и фрейлейн Метцлер.

В те времена офицерам императорской армии полагалось ежегодно присягать на верность царю-батюшке и истинной вере, что означало, разумеется, русскую православную веру. Допустим, офицеру разрешалось исповедовать протестантизм, если он был из прибалтов; католицизм, если он был поляком; или мусульманство, если он был родом из мусульман; но подобная экстравагантность возбранялась, если офицера угораздило родиться русским. Явившись в тот год в Дворянское собрание Саратова, дед принес ежегодную присягу царю-батюшке, но

отказался присягнуть православному богу и в результате разразившегося скандала был приговорен к ссылке в Сибирь. Узнав о постигшем семью несчастье, его дядя, вышеупомянутый посол, ринулся из Константинополя в Петербург, где занимал царя игрой в карты, перемежаемой попойками, пока не добился смягчения приговора и замены ссылки в Сибирь сорока годами ссылки за границу.

В те времена естественным пристанищем изгнанных из отечества русских служило княжество Вюртембергское. Бисмарк еще не провозгласил создание Германского Союза — этому событию предстояло произойти лишь десять лет спустя в Версальском дворце — и Штутгарт оставался приятной столицей небольшого цивилизованного королевства. Дворянские титулы деда были восстановлены, что казалось немаловажным в ту эпоху, и он стал бароном Плато фон Устиновым. Однако деда вряд ли можно считать благодарным, поскольку в ответ на столь любезный прием он решил поселиться в Италии и построил виллу в Нерви, неподалеку от Генуи.

Судя по всему, с дедом было нелегко ужиться окружающим его людям, особенно хорошенькой фрейлейн Метцлер, ставшей к тому времени его женой. Согласно семейным преданиям, или, что еще менее достоверно, словам самого деда, он обнаружил в брачную ночь, что женится не на девственнице, и вследствие этого отказался от дальнейших брачных отношений с ней. Трудно представить себе более чудовищный предлог для уклонения от выполнения супружеских обязанностей, однако сто лет назад он казался вполне естественным для сурового новообращенного протестанта. Твердое решение, принятое касательно дальнейших сношений с женой, не было единственным дедовым чудачеством. Он всегда воспринимал деньги как нечто вульгарное и с трудом выносимое, как истинное наказание, как источник заразы. В результате подобного к ним отвращения дед никогда не помещал денег в банк, но возил все состояние с собой в мешках, сундуках и чемоданах, ссыпал деньги в умывальник, чтобы промыть карболкой перед походом в магазин, и в порядке дополнительной предосторожности прикасался к презренному металлу лишь в перчатках. Изгнание Христом менял из храма породило, видимо, в мозгу деда убеждения, на которых основывался весьма удобный взгляд на деньги как на источник физической и моральной заразы, никоим образом не принижающий в то же время их несомненной необходимости для выживания.

Какими бы еще дед ни отличался причудами, вряд ли они послужили причиной, в скором времени заставившей его жену искать иные источники утешения; но дед, похоже, не обращал на это внимания, поскольку считал развод делом еще более немыслимым, чем прелюбодеяние. Его супруга подобных предрассудков не разделяла и в конце концов сбежала с морским капитаном, что для всех послужило наилучшим выходом из положения.

Разрыв побудил Платона Григорьевича глубоко задуматься о собственной жизни, и в конце концов он переехал из Италии в Святую Землю, построив большой дом в Яффе, на месте, где позже был построен отель «Парк», а на время создания этой книги жил английский викарий со своей небольшой семьей. Здесь мой отец, три его брата и сестра и родились от матери, происхождение которой упорно окутывалось тайной и остается таинственным по сей день.

Как я уже упоминал, ее отцом был швейцарский пастор из Рейнфилдена недалеко от Базеля, служивший (что подтверждено старинной фотографией) миссионером в Эфиопии. Как свойственно швейцарцам, он знал толк в инженерном деле и наряду со своими религиозными обязанностями отлил пушку для сумасшедшего негуса Федора Второго *, который и приказал приковать творца к его детищу, дабы он не смог сбежать и отлить пушку кому-нибудь еще. В глазах многих людей подобный подход подтверждает безумие негуса, мне же кажется хотя и примитивным, но безусловно практичным. В итоге моя бабушка, крещенная Магдаленой, родилась в палатке во время битвы при Магдале, где эфиопская армия сражалась против английских войск под командованием лорда Непира, пока ожидающий прибавления семейства отец трясся от страха подле своего металлического детища на другом конце поля боя.

Семья бабушки, мать которой некоторое время жила в Гоа, была каким-то образом связана с Португалией, а бабушкина младшая сестра вплоть до преклонного возраста состояла фрейлиной при дворе Хайле Селассие. Потом, когда старость и больное сердце потребовали менее разреженной атмосферы, ее поселили во дворце губернатора Асмары. Отсюда можно судить, что, каким бы ни

---

* Негус Федор Второй — взошел на престол в 1855 году. Боролся с британскими колонизаторами. В 1868 году, проиграв битву при Магдале, покончил с собой.

было происхождение этой семьи, она занимала почетное положение при дворе Льва из колена Иудова *.

Я хорошо помню бабушку, простодушную, сентиментальную и всегда готовую прослезиться. Истории распятия Христа было достаточно, чтобы взволновать ее, как волнует не грандиозная абстрактная трагедия, но личное несчастье. Когда повествование доходило до двух разбойников, слезы начинали лить градом. У бабушки входило в обычай усаживать меня на колени и рассказывать что-нибудь на ночь, прижимая к могучей груди. Я до сих пор помню, как моя полосатая фланелевая пижамная курточка отсыревала от ее слез и холодила кожу. Я пробовал просить бабушку рассказывать мне на ночь что-нибудь более привычное, но даже если ее сказки начинались с волков, поросят, фей и пряничных домиков, то неизменно кончались Голгофой, заставляя меня всю ночь метаться во сне из-за страстей господних.

Несомненно, подобному же обращению подвергался папа, но куда с большей энергией и страстью, поскольку его мама была тогда моложе и слезы лила куда более энергично и более холодящие. Неудивительно, что папа вырос самым нерелигиозным человеком, которого мне довелось встретить в жизни. Он не был ни богохульником, ни агностиком, он просто-напросто полностью игнорировал существование религии, не испытывая ни малейшей потребности ни принимать, ни отрицать ее, ни даже бояться, как суеверия и предрассудка. Для него она просто не существовала, и все.

Времена быстро менялись. Толком не сознавая этого, дед стал теперь немцем, а уже неумолимо приближался 1914 год.

Начало войны застало отца и его брата Петра в Дюссельдорфе, где их, само собой разумеется, призвали в немецкую армию. Позже братья перевелись в авиацию. Петр, в честь которого меня и назвали, погиб 13 июля 1917 года близ Ипра. Он перевозил через линию фронта письма военнопленных, и на крыльях его самолета были нарисованы полагающиеся белые полосы. Ослепленные солнцем английские зенитчики не заметили белых полос и сбили самолет над ничьей землей, извинившись потом за допущенную ошибку.

Тем временем в Иерусалиме Платон Григорьевич, которому исполнилось восемьдесят лет и срок ссылки кото-

---

* Один из титулов императора Эфиопии.

рого почти уже пятнадцать лет как истек, внезапно вспомнил, что при всем своем лютеранстве он остается офицером запаса кавалергардского полка. Явившись к русскому генеральному консулу в Иерусалиме, он предложил свой меч к услугам отечества. Деду мягко объяснили, что неотложной необходимости в его услугах нет, но подобная постановка вопроса была для него неприемлема. Распродав недвижимость (в том числе продав дом в Иерусалиме Хайле Селассие), дед с семьей отправился длинным кружным морским путем в Россию. Он задержался в Лондоне определить двоих младших сыновей в школу в Денмарк-хилл, где они страдали подобно мученикам от язвительного языка садиста-директора, издевавшегося над приставкой «фон» перед их фамилией и не упускавшего случая напомнить классу о их немецком происхождении, виня их в каждом мелком успехе Гинденбурга и Людендорфа и непристойно глумясь над ними при каждом контрударе Фоша и Хейга. Затем, миновав Осло, дед с женой и дочерью исчез в России.

Война закончилась революцией не только в России, что известно всем, но и в Германии, о чем многие забыли. В гамбургском трамвае с отца сорвали погоны. Он понял, что пора возвращаться к гражданской жизни, и устроился представителем германского агентства печати в Амстердаме. Но прежде чем приступить к работе, он отправился в Советскую Россию, чтобы разыскать родителей и сестру. Поиски он начал со знакомства с мамой, что послужило шагом в верном направлении. Как, во всяком случае, кажется мне.

Последующие две недели их жизни были полны событий. В конце второй недели они сочетались браком, но мысли их отнюдь не были заняты одной лишь свадьбой. Папа сумел выяснить, что его решительный старик отец отправился на фронт, чтобы вступить в свой бывший полк. Революция застала его в Пскове, где он умер от голода. Его жена, наполовину эфиопка, и дочь Табита томились в местной тюрьме, по всей вероятности, потому, что ни с кем не могли объясниться. Говори они порусски, их, безусловно, сразу либо освободили бы либо расстреляли.

Папа был вынужден опуститься до взяточничества — о, разумеется, не в масштабах, принятых среди капитанов современной промышленности, не в нашем раздутом восприятии этого слова. Он всего лишь предложил одному комиссару немного голландского бекона и полплитки

доброго нейтрального молочного шоколада. Комиссаром, к которому папа обратился с этими дарами, оказался не кто иной, как Иван Майский *, впоследствии один из самых культурных советских послов в Лондоне. С изысканным благородством отклонив папины подношения, он выдал ему паек из завернутых в недельной давности номер «Известий» селедки и чечевицы, а также необходимые проездные документы до Пскова.

Мать и сестра были освобождены и отправлены в Каир через Крым и Стамбул, и к концу недели мои будущие родители обвенчались в церкви.

С помощью того же Майского папа получил нужные документы и отбыл с мамой в Амстердам на шведском пароходе.

3

Как я уже говорил, родился я около одиннадцати часов утра 16 апреля 1921 года в родильном доме на Эделаид-роуд в лондонском районе Свисс-коттедж. Поскольку мои родители покинули Петроград за девять месяцев до этого, мне и пришлось, будучи эмбрионом, проделать немалое путешествие с остановкой в Голландии, где я и готовился появиться на свет. Судьбу мою, судя по всему, изменило случайное решение, принятое неким господином фон Мальценном из министерства иностранных дел Германии.

Моя мать прибыла в порт Харвич где-то в феврале и немедленно была задержана британскими властями за то, что с недолжной точностью заполнила въездную анкету. На вопрос: «место рождения и жительства» она ответила: «Санкт-Петербург». На вопрос: «где получили образование» она ответила: «Петроград». Иммиграционные власти сочли, что моя мать несерьезно отнеслась к заполнению анкеты, и я с известной гордостью должен добавить, что только лишь мое присутствие избавило ее от дальнейших неприятностей. Тенденция отвечать на анкетные вопросы чересчур буквально, видимо, присуща нашей семье, что, вероятно, вызвано изрядным количеством границ, которые всем ее членам приходилось пересекать с тех пор, как были изобретены подобные препоны.

---

* Майский Иван Михайлович (1884—1975) — советский дипломат, историк. Академик АН СССР. В 1932—1943-м — посол в Великобритании.

Я попал в такое же затруднительное положение, впервые заполняя документы на въезд в США, когда указал свой цвет кожи как «розовый». На это мне было строго указано, что я — белый, коий факт я упорно отрицал, апеллируя в порядке доказательства к висящему в посольстве зеркалу. Дискуссия заняла немало времени, тем более что я никак не осознавал скрытого подтекста, придаваемого слову «розовый» в те дни. Выдача мне визы в конце концов свидетельствует в пользу беспристрастия американских чиновников, даже если у них и несколько смещено восприятие цвета.

Освободившись, наконец, от не менее въедливых британских чиновников, мать отправилась поездом в Лондон сквозь густой дым, изрыгаемый заводскими трубами, перерастающий в клубящийся желтый туман, удушливый, непроницаемый, вызывающий клаустрофобию. По ее воспоминаниям, ей в жизни не доводилось ни видеть, ни обонять столь всеобъемлющую грязь. К концу путешествия мать совсем перестала понимать, куда едет и где находится. Охватившее ее ощущение какого-то кафкианского ужаса тем более усиливалось, что все минуемые поездом станции имели, казалось, одинаковое название: «Боврил». Придется объяснить непосвященным, что «Боврил» — марка превосходного бульонного концентрата. Будучи продуктом частнопредпринимательской инициативы в чрезвычайно конкурентоспособном капиталистическом обществе, концентрат широко и броско рекламировался в отличие от названий железнодорожных станций, которые, хотя тоже являясь частной собственностью, тяготели скрывать свои названия под слоями грязи и пыли, поскольку прямых конкурентов не имели.

Наконец, поезд прибыл в самый большой Боврил из всех, и старая няня доставила маму в пансион, принадлежащий пуританской чете почтенных лет, в котором не разрешалось ничего, кроме абсолютной тишины. Перешептываясь украдкой с мисс Роу, воспитывавшей ее в былые времена в Санкт-Петербурге, мать убеждалась, что совершила огромнейшую в своей жизни ошибку, приехав в такую кошмарную страну с нерожденным ребенком. Но такова уж сила приобретенных вкусов у восприимчивых людей, что именно в этой стране ей и суждено было скончаться пятьдесят четыре года спустя, причем последние десять лет своей жизни она наотрез отказывалась покинуть Англию хотя бы для короткого отдыха и жила, укутываясь пледами от всепроникающей сырости,

легко находя извинение любому неудобству, всецело погрузившись в деревенскую жизнь и согреваясь электрическими каминами и великодушными сердцами своих соседей.

К первоначальным тяготам жизни в новом островном доме ей пришлось привыкать в одиночестве, потому что отец прибыл в Англию до нее и с головой ушел в работу. И даже в родильный дом, когда настало время, ей пришлось отправляться одной — отец, надсаживая горло, передавал в этот момент по неисправной телефонной линии в Берлин речь Ллойд-Джорджа.

Говорят, ребенком я почти не плакал, предпочитая выражать все обуревавшие меня эмоции терпеливым бурчанием. Так же, как я уже сообщал, был я почти безупречно сферической формы, чем доставлял изрядное беспокойство родителям, боявшимся, что меня оставили вверх ногами, и вынужденным то и дело заглядывать ко мне, проверяя, все ли со мной в порядке. Я не по годам рано начал читать, в немыслимо раннем девятимесячном возрасте овладев целым словом. На второе меня хватило лишь несколько лет спустя. Надо отметить, что в выборе слова я проявил определенный дипломатический дар, доставлявший мне на протяжении всей жизни больше хлопот, чем он того стоит. Этим словом, которое я, к неудовольствию пассажиров, выкрикнул на верхней площадке двухэтажного автобуса, тыча пальчиком в огромный рекламный щит близ вокзала Виктории, было «Оксо». Следует объяснить, что «Оксо» был и, насколько мне известно, остается — законным и упорным соперником «Боврила» в мире бульонных концентратов. Так что с моей стороны явилось актом тактичной мести за былые мамины железнодорожные злоключения привлечь внимание целого автобуса к достоинствам конкурирующего истребителя коров.

Трудно разобраться, что действительно помнишь сам, а что восстановил в памяти по фотографиям и рассказам любящих родственников. Так, например, имело место событие, о котором у меня не сохранилось абсолютно никаких воспоминаний, но которое предстает перед мысленным взором так ясно, как будто я был его активным, а не пассивным участником. Это событие — мое крещение.

Моя сентиментальная бабушка, более чем склонная воспринимать строки Библии как заголовки сегодняшних газет, написала из Каира, настаивая, чтобы меня, как по-

велось издревле, крестили в водах реки Иордан. Отец, всей душой радующийся новой мирной работе, с понятной несдержанностью отреагировал на тягу к столь заезженной символике и заявил, что никак не может брать отпуск за свой счет под столь «благовидным» предлогом. Да и путешествие все равно было ему не по карману. Письма летели из конца в конец, пока не был достигнут компромисс. Стороны решили встретиться на полдороге меж Иорданом и Каиром. Поскольку бабушка имела туманные представления о географии мира, лежавшего за пределами Эфиопии, которую она знала как свою ладонь, ее без труда убедили, что промежуточной точкой между двумя столицами является Штутгарт, вернее — Швабиш Гмюнд, городок в нескольких километрах поблизости. Я совершил путешествие туда в бельевой корзине, любезно одолженной лондонской прачечной «Белое перо», и хочу использовать возможность запоздало поблагодарить это славное заведение за уют и вентиляцию его бельевых корзин.

Бабушка прибыла в Швабиш Гмюнд из южных краев, прижимая к груди глиняную грелку, до краев наполненную грязноватой водой, набранной в результате специальной экспедиции — зайдя на отмель и поддерживая одной рукой юбки, бабушка другой рукой зачерпнула в грелку воды.

Все шло хорошо, вплоть до непосредственного обряда крещения, пока в самый ответственный момент трясущийся от старости священник не уронил грелку, аккуратно расколовшуюся надвое о мозаичный пол. Бурно потекли желтоватые струйки воды, в которых еще бились примитивные и еле заметные речные микроорганизмы, впитываясь в щели и трещины, усеивающие изображенные на полу неоготические библейские сцены. Священник, даже глазом не моргнув, мгновенно окропил меня стерильной святой водой взамен не очень-то гигиеничной старозаветной, и нарек «Петрусом Александром», чтобы хотя бы этим выдержать нарушенный было классический стиль.

Остается лишь радоваться, что я родился не в столь далекие времена, когда подобное происшествие могло трактоваться как знамение гнева какого-нибудь божества, потому что тогда меня вполне могли бы тут же принести в жертву, трусливо пытаясь умиротворить его. Сейчас же бабушкин взор застилался слезами, стоило ему упасть на меня. Вернувшись в Лондон, в окружение

менее атавистическое, я жил припеваючи, несмотря на столь раннее столкновение с фата-морганой.

Первой моей няней, которую я запомнил, была негритянка, но она не имела ничего общего с полногрудыми, мягкоголосыми, пышущими добротой чернокожими мамушками довоенных лет — эта дама была родом из Камеруна, бывшего германского владения в Африке, и обладала дергающимся взглядом и резким голосом прусского фельдфебеля. Звали ее ни много ни мало фрейлейн Берта, будто какое-то вычурное создание воспаленного воображения Стриндберга. Большую часть времени под ее присмотром я обычно проводил в углу с мокрой пеленкой на голове, слушая ее вопли на казарменном немецком. Однажды отец застал нас, когда фрейлейн Берта закатила мне безжалостную порку, и тут же ее уволил, что изрядно ожесточило ее против белых господ. Не знаю, что стало с ней потом. Камерун в то время принадлежал французам. Ненавистный враг распоряжался там, как в Эльзас-Лотарингии. Она не вписывалась в изменившийся мир и, подобно большинству людей такого сорта, представляла собой потенциальный вербовочный материал для нацистской партии. Дослужившись своим раболепством до крошечной и бессмысленной власти, она обрела куда более европейский темперамент, чем любой рьяный юнкер, и только лишь цвет кожи стоял у нее на пути. Я часто думаю о ней, и всегда с жалостью.

Преемницей фрейлейн Берты послужила ирландка лет двадцати с лишним, одевавшаяся, как дама лет пятидесяти, в угрюмые платья серой фланели. Шпилька, которой она прикалывала к волосам черную шляпу, пронзала, казалось, ее голову насквозь. Волосы она убирала в косы и носила пенсне без оправы, подпрыгивающее на переносице, стоило ей заговорить. Казалось, она была соткана из мягких манер, лицемерных шепотков и колыбельных песенок. У нее находились пословица или пример на все случаи жизни, но, несмотря на подчеркнуто сухую благочестивость, вероятно почерпнутую где-то в монастыре, я не реже стоял в углу, чем при фрейлейн Берте, однако чаще делал это с непросохшим бельем на голове. Если фрейлейн Берта нисколько не трудилась скрывать свои методы воспитания, ибо пережила когда-то их сама с высоко поднятой головой и еще более высоко поднятым голосом, то мисс О'Р. только и знала, что нашептывала угрозы об участи, которая постигнет меня, случись мне только заикнуться родителям на ее счет.

Среди предметов возможных жалоб была ее привычка вывозить меня в коляске в парк, якобы подышать свежим воздухом, что поощрялось мамой. Но, хоть мы и уходили надолго, мы никогда не уезжали далеко. Моя ежедневная прогулка ограничивалась довольно убогим районом в двух улицах от нас, где мою коляску ставили у забора, предоставляя меня самому себе, в то время как мисс О'Р. ныряла в подвал, где ей навстречу таинственно раскрывалась дверь.

Для того, надо полагать, чтобы я не шумел, из подвала поднимался человек в одной рубашке и ставил на ступеньку клетку с большим зеленым попугаем, показывая, что ему следует говорить со мной. Но, разумеется, с попугаем особенно не поговоришь, особенно когда у тебя самого словарный запас не больший, чем у попугая. Он изображал меня, а я изображал его, но поскольку наши отношения вряд ли могли развиваться далее при отсутствии большого жизненного опыта и поскольку неизменно удивленное выражение его глаз не доставляло мне особого интеллектуального удовлетворения, постоянная навязчивость попугая постепенно становилась утомительной, и я просто переставал обращать на него внимание. Сей ритуал повторялся изо дня в день, и в конце концов попугай так осточертел мне, что я больше видеть его не мог, да и мой вид ему явно не приходился по сердцу, потому что он угрюмо молчал, словно монах-траппист.

Затем, наконец, выходила раскрасневшаяся мисс О'Р. (наши прогулки всегда придавали ей больше румянца, чем мне), оживленно сверкая глазами из-под пенсне. Прошептав мне на ухо обычный набор угроз, что меня ждет, посмей я только заикнуться родителям, как мы гуляем, она катила коляску обратно домой.

Все ей сходило с рук, пока я не начал изображать дома попугая. Родители было пришли в восторг, но потом смекнули, что я вряд ли мог встретиться с попугаем в Центральном парке. «Где, — спросили они, — ты видел попугая?» Покраснев от смущения, как вареный рак, я ответил, что поклялся этого не говорить. Вот так и знакомятся дети с этикой мира взрослых, готовятся к Уотергейту и всему остальному. Мама прекратила на этом разговор, заметив, однако, папе, что после каждой прогулки в парке у меня вся одежда оказывается вымазана сажей. Над бедной зардевшейся мисс О'Р. уже нависали щупальца справедливого возмездия.

На следующий день мы привычно свернули за угол, мисс О'Р. процокала каблучками вниз по лестнице, человек в рубашке показался на минутку, подав клетку с попугаем, как подает чашку утреннего чая официант в гостинице. То, что начиналось, как интригующее приключение, превратилось в повседневную рутину. Я пытался разогнать скуку, начав орать на попугая. Он, как всегда, казался изумленным, как будто не в состоянии понять, что означают эти непривычные звуки. На этом наше общение прервалось появлением мамы, подобно сыщику кравшейся за коляской. На этом оборвалась и карьера мисс О'Р., проливающей из опущенных долу глаз потоки слез и, против обыкновения, казавшейся моложе своих лет. Уложив вещи, она ушла, поцеловав меня на прощанье, скривив губы. Несомненно, именно благодаря ей во мне зародилось убеждение, что на этом свете нет ничего скучнее истории чужой любви, да еще в изложении попугая.

Веренице временных нянь положило конец прибытие Фриды из Гамбурга, особы воистину эксцентричной. Она и мои родители стоили друг друга. В России мама училась в художественной школе и теперь решила стать настоящей художницей. Она много рисовала и в своих работах маслом обрела индивидуальный, но весьма бледный и невыразительный стилизованный почерк.

В период бурного расцвета своего юного дарования она представила одну-две работы в Новый английский художественный клуб. Шутки ради папа написал букет цветов и тоже подал его на конкурс. Папину работу приняли, мамины — нет. Затем появилась Фрида — в качестве кухарки, а также в качестве противовеса. Эта невзрачная женщина разделила трагедию своего поколения — ее жених то ли погиб, то ли без вести пропал на войне, а слова «без вести» неизбежно заставляли питать надежду даже в безнадежной ситуации. Фрида едва овладела азами грамоты, однако обладала индивидуальностью и безошибочной интуицией, образованию не привелось вытравить в ней природный ум, заменив его обезличивающими навыками выживания в социальной среде.

Прежде всего она оказалась хорошей кухаркой, затем превратилась в отличного повара и в конечном счете выросла в признанного кулинара. Не удовлетворившись этим, она ухаживала за мной в перерывах между изготовлением блюд и — будто и ухода за мной было мало — начала писать в манере, являвшей собой нечто среднее

между Таможенником Руссо* и Бабушкой Мозес**, а также отдыха ради обнаженной позировала моей маме. Фрида прочно включилась в бурную жизнь нашей семьи, да так, что некоторые из пережитых нами бурь можно смело отнести на ее счет.

Пора, пожалуй, бегло обрисовать моих родителей, хотя бы потому, что в дальнейшем повествовании ничего нельзя будет понять, не разобравшись, по меньшей мере, в предубеждениях, испытываемых мною по отношению к ним. Я отнюдь не претендую на то, чтобы рассказать о них правду, по той простой причине, что менее, чем кто-либо другой, способен на это. Я, в конце концов, жил бок о бок с ними, в самой что ни на есть гнетущей близости. Да и в любом случае, я уверен, в мое отсутствие, наедине друг с другом они становились абсолютно другими людьми.

Отец мой — Клоп — был невысокого роста, всего пять футов два дюйма, и хрупкого телосложения. На юношеских фотографиях он выглядит щеголем, с коротко стриженными напомаженными волосами и нередко с моноклем. Мне всегда казалось, что в нем было что-то от плохого актера. Это всегда заметно по тому, как человек смотрится в зеркало и какие принимает позы перед объективом фотоаппарата.

Снимаясь, отец никогда не улыбался, если только из него не выжимали улыбку укоры фотографа, да и та сопровождалась иронической усмешкой, как бы ставшей неизменной приправой проявляемого отцом добродушия. Позу он принимал обычно то весьма повелительную, то обескураживающе скептическую, гипнотизируя рассматривающих фотокарточки людей взглядом то ли всевидящим, то ли неукротимым. Казалось, короче говоря, что он мнит себя кем-то другим, а вовсе не тем, кем был на самом деле.

Существует расхожее мнение, будто черты характера передаются через поколение. Если это утверждение действительно справедливо, то, вероятно, в силу склонности детей восставать в период формирования личности против своих родителей, а не только в силу сугубо генетиче-

* Руссо Анри, прозвище Таможенник (1844—1910) — французский живописец-самоучка, представитель примитивизма.

** Бабушка Мозес, настоящее имя Анна Мэри Робертсон (1860—1961). Американская художница-примитивистка, начала писать в 79 лет. Самоучка. Ее картины вошли в собрания ряда американских музеев.

ских факторов. Отец Клопа стал тем, кем стал, взбунтовавшись против своего отца, чья постель скорее походила на борцовский ковер, нежели на мирное ложе, и чьи заросшие щетиной щеки то и дело мелькали в столовой, куда он выходил полакомиться соленым огурчиком, в то время как в другом доме неподалеку его рыдающую жену утешали трое их сыновей. Подобное скандальное поведение отца вполне способно пробудить в сыне склонность к самоанализу.

Что бы ни представлял из себя отец Клопа, очевидно, что возрастом он больше годился мальчику в деды, поскольку ему шел семидесятый год, когда Клопу исполнилось тринадцать. Клоп никогда не отрицал, что рос избалованным. Но говорить об этом не любил, предпочитая вспоминать придирчивую строгость отца — видимо, чтобы произвести на меня бо́льшее впечатление относительной мягкостью собственных манер. Когда я уныло приносил домой дневник, полный двусмысленных замечаний, в которых специализируются английские учителя с тех пор, как прочитали Диккенса, Клоп неустанно напоминал мне о своих блестящих успехах в учебе: после окончания им школы в Яффе его имя было выложено золотом на мраморной плите, дабы все знали, каким ученым вундеркиндом проявил себя Иона фон Устинов.

Его слова не производили на меня ожидаемого впечатления. Отчасти потому, что мысль о моем имени на мраморной плите всегда больше пугала меня, нежели разжигала самолюбие, а отчасти и потому, что, как стало известно из иных источников, Клопу помогал делать уроки не кто иной, как его отец, всей душой жаждущий отпрыску блистательного успеха. Один-единственный раз, когда Клоп помог сделать домашнее задание мне, я получил худшую оценку, чем обычно, а это о чем-то говорит. Если кто-нибудь думает, что по прошествии стольких лет я все еще виню папу за то, что он подвел меня с домашним заданием, спешу тут же заявить, что так оно и есть.

Все это вовсе не означает, что Клоп скупо делился своими выдающимися умственными способностями, но способности эти лежали исключительно за пределами науки и были, как настоятельно бы заметил сам Клоп, весьма поверхностны. Наиболее ярко выраженной и заметной его чертой была глубочайшая убежденность, что жизнь есть не что иное, как некое поверхностное ощущение, этакий слой тончайшего льда, на котором веселый конькобежец чертит причудливые арабески. Клоп жил текущим

днем и был, как я уже говорил, абсолютно нерелигиозен, в чем, вероятно, выражалась реакция на суровый кальвинизм его отца и безвкусные экуменические крайности Святой Земли.

Для человека подобного темперамента оказалось естественным обрести истинную радость в изменчивом и подвижном как ртуть мире журнализма, открывшем ему все возможности применить свои таланты, а также и тратить на гостеприимство несколько больше, чем позволяло жалованье. Я убежден, что я один из немногих известных ему людей, кто запомнит его скорее чрезвычайно парадоксальной личностью, нежели восхитительным хозяином, и говорю это без малейшего намека на критику. Более того — с убеждением, что сам Клоп предпочел бы остаться в памяти восхитительным хозяином, а не какой бы то ни было личностью вообще. Все это неотъемлемо от гедонистских взглядов, которые он нес людям.

У него были большие выразительные глаза безупречного цвета белого винограда, взгляд которых частенько следовал за проходящими мимо женщинами, оценивая, казалось, их формы с бесстыдной бесстрастностью тренера, оценивающего стати экстерьера скаковых лошадей. В тех редких случаях, когда в детские годы я оставался с ним один, он вел меня в кафе угощать лимонадом или мороженым — для практики то ли в общении с публикой, то ли в детской психологии. Наши прогулки пугали меня даже больше, чем присущая отцу вспыльчивость, потому что служили ему поводом разглядывать окружающих и делиться со мной, как со взрослым сообщником, своими суждениями о физических достоинствах и недостатках присутствующих дам. Нередко, когда внимание отца привлекала очередная потенциальная жертва, в его глазах маняще вспыхивал, как говорили когда-то, «масленый взгляд». Намеченная жертва либо краснела от смущения и всем своим видом выражала негодование, либо, преодолевая смятение, ждала следующего шага, не в силах избежать влажных глаз Клопа. Стоит ли удивляться, что я превращался в своего рода пуританина и предавался мороженому столь же сосредоточенно и целеустремленно, сколь Клоп гипнотизерству. Я отказывался глядеть, отказывался отвечать и бурлил возмущением.

Дома, занимая гостей, отец проявлял мастерское владение искусством рискованных острот и двусмысленностей, очертя голову носясь от умной шутки к пошлятине, подобно тому, как носится по «ничейной земле» смель-

чак-разведчик. О, разумеется, сегодня эти его сказки тысячи и одной ночи показались бы вполне невинными, а сам он, как и любой уважающий себя повеса, был бы удручен разгулом порнографии, но в те времена изысканных нюансов и пастельных тонов беспредельно удрученным чувствовал себя я, когда мама его шутки, непристойностью которых восторгалась благодарная аудитория, встречала взрывами смеха, проявляя истинно спортивный дух.

Она отнюдь не страдала ограниченностью. Напротив, ее было куда труднее шокировать, чем отца, но манеры ее при любых обстоятельствах оставались безупречными, а отец выглядел инфантильным в глазах даже такого ребенка, каким был тогда я.

Я всегда подозревал, что отец вовсе не был таким уж дамским угодником, каким хотел бы быть. Прежде всего он не обладал скрытностью, необходимой для ведения двойной жизни. У отца все было на виду, своими увлечениями и похождениями он делился с матерью, а в иных случаях — и со мной. Ему был необходим слушатель — друг ли, ребенок ли. Подобно Казанове, он порхал от цветка к цветку, более склонный коснуться, чем ущипнуть, поймать мимолетный взгляд, чем глазеть в упор — вечно спешащий человек с завидным вкусом к непредсказуемому, необъяснимому, внезапному. В то же время он ни для кого не составлял реальной опасности. Он обладал врожденным отвращением к грубости и жестокости и духовной отвагой, временами удивительной для человека, столь приверженного хорошей жизни. До конца своих дней он был окружен юными девушками, подобно гуру, следовательно, и в преклонные годы от него исходило беспрестанное веселье, ощущение изящества души и, мягко говоря, бесшабашной безответственности. Пожалуй, он был временами трудно переносим лишь в качестве отца и, по тем же причинам, мужа.

Мама была крупной женщиной — по сравнению с папой, разумеется. Тонкие черты ее лица, согретые душевным теплом и безыскусностью, привлекали всех, в том числе и папиных подружек. Подчинив себя правилам выпавшей ей жизни, мать ни разу не выдала унижения и горечи, которых не могла не испытывать. Во многом более сильная и стойкая личность, чем отец, она обрела за прожитые бурные годы иллюзорное чувство непробиваемой независимости. Просьбы запечатлеть на холсте очередную временную пассию отца она принимала с таким

безупречным тактом, что вскоре становилась подругой и наперсницей юной особы, в то время как отец уже пожирал пламенным взглядом новую муху, запутавшуюся в его светской паутине.

Мама никогда не жаловалась на судьбу и всегда вела себя так, будто ее жизнь со столь странным человеком была абсолютно в порядке вещей, и это с детских лет постоянно удивляло и мучило меня. Ей приходилось постоянно ездить в гости, принимать гостей дома, а при этом еще и заниматься живописью, проводя немногие урванные от богемного времяпрепровождения часы в своей единственной комнате. Но даже там в ее жизнь вторгался Клоп, усвоивший весьма догматичные взгляды на искусство. Клоп неизменно торчал за ее мольбертом и разъяснял, категорично и непреклонно, недостатки ее очередных работ. Мать слушала, нередко возражала, но в основном уступала его настояниям. Это не значит, что мать не умела постоять за себя, но, учитывая переменчивый характер отца и свойственное ему временами язвительное злоязычие, она посвящала большую часть своих сил поддержанию хрупкого мира в нашем доме. Семейные скандалы были у нас явлением более чем частым и усугублялись по мере того, как я становился старше и обретал собственные взгляды наряду с привычкой безрассудно высказывать их.

Однажды, уходя в школу, я краем глаза успел взглянуть на новую мамину работу. Эта превосходная фантазия на тему одного из произведений Эль Греко показалась мне изумительно красивой. Вернувшись домой, я увидел, что мама уже уничтожила ее и пишет на том же холсте натюрморт с блюдом яблок. Взрыву ярости, охватившему меня, не было границ. Столь бурное изъявление чувств до того поразило родителей, что единственный раз за всю мою жизнь они кричали на меня оба. Хлопнув дверью, я заперся у себя в комнате и несколько часов просидел там, отказываясь выходить и отвечать. Сидя взаперти, я ощутил прилив необычной, никогда не испытываемой прежде силы. Это был не по годам рано овладевший мною гнев взрослого человека. В глазах не было ни слезинки. Впервые в жизни, как мне казалось, я выступил со своей собственной самостоятельной позиции, а не просто приносил извинения, или пытался воспротивиться тому, что мне навязывали. С тех пор я стал расчетливо холоден, умышленно непроницаем для саркастических реплик отца и даже для маминых призывов к благоразу-

мию. Атмосфера в доме не менялась, оставаясь натянутой и накаленной.

Вспоминая прошлое сейчас, я не в состоянии сказать, оценил бы я ныне мамину работу «под Эль Греко» столь же высоко, как тогда. Хотя, сказать по чести, насколько я ее помню, она такой оценки заслуживала. Что же до этюда с яблоками, то он напоминал стиль Ренуара, обожаемого в те времена отцом, но Ренуар сам писал яблоки достаточно хорошо, чтобы нуждаться в имитаторах. Да и вообще он и так написал их чересчур много сам. Тот кошмарный день стал в моем календаре памятной датой: я обрел себя как личность.

С самого детства отец заставлял меня устраивать гостям домашнее кабаре, что и послужило моим первым опытом в мире индустрии развлечений. Способности пародиста проявились у меня очень рано и неосознанно оригинально. Я ведь все-таки начал с того, что передразнивал попугая, а это уже необычно, потому что попугай должен передразнивать человека. Перехватив инициативу, человек не оставляет попке иной альтернативы, чем быть самим собой. Это еще раз доказывает, что лучший способ защиты есть нападение. В двухлетнем возрасте я, как говорят, вполне прилично спародировал Ллойд-Джорджа, а затем добавил к своей коллекции Гитлера, Муссолини и Аристида Бриана по мере появления этих господ на политической арене. Укрывшись за шторой, я также изобразил подробный радиорепортаж о поездке вокруг Европы — вполне достойное достижение, особенно если учесть, что радиоприемник появился в нашем доме лишь в 1936 году.

Четырнадцатью годами ранее, во время грандиозной выставки в Уэмбли, Лондон посетил Хайле Селассие с целью закупить партию пулеметов для эфиопской армии. Воспользовавшись своими связями в Эфиопии, отец пригласил Льва из колена Иудова на обед. Фрида приготовила обильную трапезу на четверых. В назначенное время Хайле Селассие прибыл в нашу скромную квартирку, сопровождаемый не только императрицей, но двумя князьями, начальником генерального штаба, шестью адъютантами и несколькими принцессами. Поскольку в нашей семье никто не испытывал достаточной веры в чудеса, о сложившейся ситуации было поставлено в известность германское посольство, где изготовили обед на двадцать персон, доставленный нам целой кавалькадой «мерседесов». Но даже шеф-повару немецкого посла оказалось

не под силу приготовить такой обед сразу, поэтому отчаявшиеся родители разбудили меня, требуя продемонстрировать весь мой репертуар и, если удастся, добиться вызова на «бис». Сам я этого вечера не помню, но много лет спустя, когда я очутился в павильоне Эфиопии на всемирной выставке в Осаке, внук Хайле Селассие, Александр Деста, тогдашний глава эфиопского флота, пригласил меня подойти поговорить с императором. Сидя подле престарелого монарха, я напомнил ему о давних событиях. Но не успел я закончить свой краткий рассказ, как увидел, что мои воспоминания заставили его погрузиться в беспокойный сон, из чего я и заключил, что мое выступление в 1924 году вряд ли имело успех.

В известной степени мне всегда хотелось, чтобы меня попросили выступать. Видимо, во мне не по годам рано проснулось профессиональное чувство. Это ощущение я запомнил по сей день, потому что оно вот уже сколько лет не оставляет меня. Точней всего его можно описать как некое очищение души, отбрасывание всего несущественного... Да взгляните на лицо прыгуна в высоту, идущего на побитие рекорда, и вы увидите наиболее достоверное физическое воплощение этого чувства. Но в то же время я и боялся выступать, потому что за смехом и восторгами папиных гостей умел различить холодок опасения: что, мол, выйдет из этого маленького монстра, пойди он по этой стезе дальше. И лишь одно обстоятельство искупало все: я навеки породнился со смехом, звуки которого всегда казались мне самой изысканной музыкой во всей Вселенной.

В любом случае мои первые заигрывания с сатирой были куда как приятнее, нежели иная из папиных затей — водить всех своих гостей смотреть, как я принимаю ванну. Эти экскурсии имели обыкновение врываться ко мне без стука, причем папа, всегда считавший себя знатоком искусств, тут же начинал сравнивать меня с тем или иным незаконченным этюдом Донателло, или юным Бахусом в изображении художника этрусской школы, нередко принося с собой толстенный фолиант, чтобы аргументировать свою точку зрения.

Мама понимала, что я эти вторжения ненавидел, но не могла толком понять почему, считая, что от меня можно потребовать столь незначительной жертвы, лишь бы не сердить папу. И я неизбежно потянулся к Фриде, всегда проявлявшей крутой нрав при посягательстве на наши с ней права и никогда не щадившей папиных тонких

чувств. Фрида прожила у нас более десяти лет и не реже двух раз в месяц грозилась уйти. Каждое такое уведомление делалось тоном, не вызывающим ни малейших сомнений в ее решимости, но Фрида никогда даже и не начинала укладывать чемоданы. Фрида забавляла Клопа, а охватывавшие ее вспышки гнева забавляли его, пожалуй, больше всего. Самому же Клопу было свойственно выражать разбушевавшиеся страсти зловещим блеском глаз, изрядно сдобренным иронией.

И только когда Фрида действительно ушла от нас, на сей раз, конечно, без сцен и с грустью в сердце — ее уход был вызван экономическими причинами: папа потерял работу, — я осознал, наконец, всю ценность семейного равновесия, созданного ею в нашем доме. Стоило нам остаться втроем, и папа начал все более и более язвительно придираться ко мне. В его юморе все чаще звучало раздражение, и он становился самим собой, лишь принимая гостей. Как мне объясняют, он ревновал ко мне маму, да мама и сама разделяла этот взгляд, который я не могу ни отрицать, ни подтвердить, поскольку от природы лишен способности распознавать или ощущать ревность. Я вовсе не хочу сказать, что абсолютно лишен чувства ревности сам, это было бы уже слишком красиво, чтобы быть правдой, но я всегда считал ревность низменным и в корне глупейшим пороком. По мне лучше умереть, чем дать поймать себя на проявлении ревности. Отелло, стиснувший в кулаке платок и закативший глаза, всегда казался мне малость с приветом. И расставаться с высокомерным незнанием ревности я начал, лишь заведя второго ребенка, обретя тем самым возможность наблюдать человеческие взаимоотношения в самой безыскусной их форме — в детской.

Может, и правда, что единственному ребенку свойственно быть избалованным. Не столько подарками и не столько количеством времени, уделяемым его проблемам, но, поверьте мне, случаются минуты, когда ребенку от души хочется иметь брата или сестру, чтобы было кому разделить с ним тяжесть его забот. Что действительно свойственно единственному ребенку, так это склонность к эгоцентризму, поскольку подобный эгоцентризм является внешним проявлением самостоятельности. Ребенок проводит много времени либо один, либо в обществе взрослых. Он быстро, но поверхностно познает человеческую натуру, однако я был поражен тем, как много свойств человеческой натуры раскрыли мне мои собствен-

ные дети — свойств, в общем-то, очевидных, но никогда не привлекавших моего внимания ранее.

Повседневную монотонность перебивали время от времени различные события; отрывочные воспоминания о них до сих пор сохранились в памяти. Мои родители танцуют под «Валенсию» и «Чай вдвоем», а мне разрешено заводить патефон. Единственный раз я видел их танцующими, и самое странное, что в доме, против обыкновения, не было гостей. Затем Клоп купил одну из самых ранних пластинок квартета Ленера с записью исполнения одной из последних вещей Бетховена. Я заметил, что, наслаждаясь Бетховеном, многие имеют склонность закрывать глаза, и решил последовать общему примеру. Позже, в школе, мне казалось странным, что на уроках так называемого музыкального развития закрывать глаза считалось нормой. Более того, подобным нехитрым приемом мгновенно приобреталась репутация утонченной музыкальной натуры. Но стоило только прикрыть глаза на латинском или математике, как тут же все думали, что ты уснул.

Еще вспоминаются каникулы, а с ними — первые осознанные впечатления о иных странах и иных культурах.

Мама ездила писать на юг Франции. У нее выработался более глубокий и богатый стиль, чем прежде, — строгий чистой воды импрессионизм. Все ее работы несли отпечаток яркого темперамента, теплого и спокойного. В них запечатлелось куда больше сердца и чувства, чем мысли. Маме достаточно было писать то, что она видит, и ее ощущения всегда раскрывались в работе.

Мама неслась по живописному ландшафту, обутая в эспадрильи, увенчав голову старой соломенной шляпой, выбирая самые лучшие точки и композиции, а мы с Фридой трусили за ней с мольбертами, холстами и красками, подобно туземцам-носильщикам из фильма об Африке. Странный способ проводить каникулы — ведь иных занятий не находилось, так что ничего не оставалось, как писать самому, хотя мне никогда не доставляло удовлетворения писать лишь то, что я вижу. Я не способен зажечься одной лишь задачей добросовестного воспроизведения, и ни одна художественная работа, в которую мне не вложить ничего от себя, не способна увлечь меня надолго. Помню изумление, охватившее и маму, и Фриду, когда однажды, на закате жаркого дня в холмах близ Турретт-сюр-Лу, я показал им мою картину, изображающую

послерождественскую распродажу в лондонском универмаге «Хэрродз».

Это событие вошло в наш семейный фольклор и вспоминалось по каждому поводу и без повода. Надеюсь, я каждый раз смеялся над ним так же непринужденно, как и все остальные. На самом же деле сидеть, созерцая пейзаж, с величайшим мастерством созданный природой, и пытаясь воспроизвести его на клочке бумаги, казалось мне не самым привлекательным времяпрепровождением для школьных каникул. Оно больше походило на школьное наказание, чем на отдых, и бесполезно было разъяснять мне, как Сезанн стремился разложить свет, а Сёра свел всю вселенную к точкам. Они-то были людьми, сознательно избравшими себе профессию, одухотворившими свои кисти магией воображения и мысли в необходимом для творчества уединении, скромно и убежденно делавшие то, что я делал по принуждению и лишь потому, что не с кем было играть. Желая избежать впечатления, будто в мои воспоминания о пережитой скуке вкрались нотки нытья, хочу сразу оговорить, что рассказываю это не для того, чтобы поплакаться на судьбу, но просто чтобы объяснить выбор подобной формы протеста. Казалось, рисунка рождественской распродажи было достаточно, чтобы убедить кого угодно в абсолютном отсутствии у меня стремлений стать пейзажистом, но нет — сей факт многократно толковался как выражение необузданных младых страстей, которые, несомненно, придут со временем в норму, а я, будучи уже тогда общественным животным, смеялся наряду со всеми, облекая миф в обличье достоверности.

Все эти печали оправдывались бы, послужи хоть чем-то приносимые мною жертвы маминой работе, но по возвращении домой неизбежно наступал ужасный день, когда ее полотна предъявлялись на рассмотрение папе, решавшему, какие из них следует выставить, а какие — нет. Это было страшнее, чем попасться с контрабандой на таможенном досмотре. К тому времени папа уже не был единственным судьей. Приходили и эксперты из художественных галерей. Весьма вероятно, их совместные оценки были справедливы, но мне казалось тогда, как кажется и сейчас, что окончание школы доставляет великую радость не в последнюю очередь освобождением от ярма экзаменов, и нет никакого оправдания тем, кто снова доводит взрослого человека до плачевного состояния экзаменуемого.

Я надолго охладел к изобразительному искусству, и моя инстинктивная тяга к нему ожила лишь многие годы спустя.

— А теперь, уважаемый Я, ты, наверное, скажешь, что я чересчур суров к отцу.

— Отнюдь нет. Я понимаю, что ты всеми силами пытаешься передать впечатления ребенка, переживающего проблемы становления подле человека одновременно и категоричного, и причудливо-непостоянного, и что ты ни в коем случае не судишь его, как один взрослый другого.

— Да я и не могу судить отца подобным образом. Ведь я знал его очень долго и очень хорошо. Мне кажется сейчас, он и понятия не имел, как обращаться с детьми, воспринимал их всего лишь как неполноценных взрослых.

— Ну нет, это совсем не так. Он бывал безупречно мил и проявлял безграничное терпение с чужими детьми.

— Верно, но только к концу жизни. Впрочем, думается мне, это типично для большинства людей. Природе свойственно заставлять ощущать себя сообщниками самых старых и самых молодых. Дети тянутся к дедушкам и бабушкам, нередко вызывая ревность родителей (здесь-то я ее признаю!), начинающих жаловаться, что их ребенка балуют. Но не объясняется ли это явление чисто биологически? Старикам присуще умение необычайно четко вспоминать годы раннего детства, как бы находя метафизическую связь меж тайнами рождения и смерти, в то время как в расцвете лет человек находится на максимальном расстоянии от этих дальних границ, пересечь которые суждено нам всем. В расцвете лет человек наиболее активен, с наибольшей эффективностью использует умственные силы, и с наименьшей — интуитивные. Все рефлективное, поэтическое, неопределенное отбрасывается ради экономии драгоценного времени. В этот период люди воспринимают газетные новости как личные события, бурлят и негодуют, наживают и теряют состояния, из своего настоящего, кажущегося столь неизменным, создают то, что считают своим будущим, а глупости оставляют самым юным и самым старым.

— Да, разумеется, я согласен с этим, хотя и мог бы упрекнуть тебя в высокопарности. Помнишь, какую проницательность проявил недавно твой сын? Ты поделился с ним сомнениями, не рановато ли тебе садиться за мемуары, и сын ответил, что с годами ты начнешь вспоминать все подряд и подвергнешься опасности превратить-

ся в зануду из-за старческой неспособности отделить зерна от плевел. Самое время писать мемуары, когда подробные воспоминания еще не вторглись в мозг, опустевший от бездеятельности, вызванной уходом на покой.

— Слова сына я вспоминаю с огромным удовольствием, хотя о его существовании еще и не обмолвился. Придется, пожалуй, следить, чтобы не забегать вперед. Я ведь и в школу еще не пошел.

— Тебе повезло, что рядом есть я — буду напоминать, где ты остановился. Ну хорошо, забудем на время сына и продолжим об отце. Нет, я не думаю, что ты его судишь чрезмерно сурово. Напротив, ты недостаточно суров.

— А, брось. Неужели ты не понимаешь, как трудно быть отцом? В известном возрасте ребенок воспринимает отца как непререкаемый авторитет, но с годами иллюзия отцовской непогрешимости рушится, неизбежно порождая бессмысленное и горькое ожесточение. Дети забывают, что если им в диковинку детство, то их родителям так же в диковинку отцовство. Да и кто вообще непогрешим в нашем мире?

— Вот ты и заговорил опять о сыне, несмотря на благие намерения.

— Я говорю о себе и о моем отце, а это все равно что говорить о моем сыне. Ты прав — от этого никуда не денешься. Все мы совершаем ошибки, но если обладаем разумом, то, по меньшей мере, не повторяем ошибок, которые совершались по отношению к нам. Только отсутствие разума заставляет нас повторять их. Но разумны мы или нет, а все равно без ошибок не обойдемся, и ошибки умных людей зачастую оказываются наихудшими именно потому, что тщательно продуманы.

— А что ты скажешь о маме?

— Выдающаяся женщина. Сестра, тетя, иногда дочь, и всегда мать. И все это без малейшего привкуса приторного слащавого собственничества, традиционно неотделимого от определенных аспектов материнства. Ни единым намеком мама ни разу не дала мне понять, что муки, пережитые ею при родах, оставляют меня в вечном неоплатном долгу, но, не поступившись ни на йоту отпущенной ей природою независимостью, собственным примером убедила меня, что в жизни нет более редкого дара. Мамина независимость во многом зиждилась на благостном нежелании лезть в чужие дела. Она всегда сохраняла безупречную верность просто потому, что жить

иначе представлялось ей абсолютно немыслимым. Отец был единственным мужчиной в ее жизни. Она поклялась отцу в верности, и, что бы самым явным образом ни провоцировало ее на это, ей даже в голову не могло прийти изменить данному слову. Временами ее исключительная порядочность даже вызывала раздражение просто потому, что было бы только справедливо хоть как-то ответить на постыдные оскорбления, которым постоянно подвергалось ее достоинство. И при всем этом в ее поведении не проскальзывало и тени ханжества или лицемерного святошества. Лишь гасли ее глаза, глох слух, и, ни о чем больше не думая, она с головой уходила в спокойно-сосредоточенный мир, где ее занимали только игра света на яблоке или тень под мышкой натурщицы. Не может быть, чтобы мать не испытывала мучительных страданий — это выше человеческих сил — но она, вероятно, считала, как неизбежно считают люди подобного склада, что создана для страданий, поскольку обладает достаточной духовной силой переносить их молча, стоически пожимая плечами.

— Я спросил о матери, а в ответ ты непроизвольно так сурово отозвался об отце, как я и ждал от тебя с самого начала.

— Как ни странно, мама отозвалась о нем куда суровее, чем это мог бы сделать я. Многие годы после его смерти она упорно трудилась над книгой, названной ею «Клоп» и задуманной как панегирик и воспоминание о выдающемся, по ее мнению, человеке, единственном мужчине, которого она знала. Книга вышла за год до маминой смерти и была тепло принята многими читателями как дань памяти незаурядной личности, однако нашлись и критики, разглядевшие в шутливом повествовании темные стороны и пришедшие к заключению, что отец был снобом, ханжой и бесстыдным эгоистом.

— Возможно ли извлечь столь различные выводы из одной и той же книги?

— Во-первых, многие незаурядные личности были снобами, ханжами и бесстыдными эгоистами. Во-вторых, книга производила приятное впечатление абсолютным отсутствием упреков, но в то же время обладала еще одним качеством, служащим ключом тому, кто стремился заглянуть в нее глубже. Она излагала правду просто и без прикрас, потому что мама просто не умела иначе.

— И поэтому книга, искренне задуманная как милая эпитафия мужу, оказалась куда более грустной в глазах

читателя, готового рассматривать ее как нечто иное, чем всего лишь развлекательное чтиво, как рассказ об истинных событиях, вспоминаемых без гнева и боли. Мама вырезала рецензии из газет и хранила их в книге, в том числе и рецензию, озаглавленную: «Отец Устинова был ханжой и снобом». Мама не говорила о ней, но не пыталась и спрятать ее. Осмелюсь предположить, что это, пожалуй, послужило единственным проявлением мстительности, на которое она была способна и которое не задевало ее гордости.

— Как трогательно. Я понимаю, что мой следующий вопрос здесь неуместен, но я вынужден задать его объективности ради. В последние годы они стали очень близки, не правда ли?

— Видишь ли, уважаемый Я, во время войны папа вдруг заявил абсолютно ни с того ни с сего, что отказывается жить больше семидесяти лет. Категоричность его слов привела всех в изумление, тем паче что они не имели никакой связи с ходом предыдущей беседы.

— Что же, по-твоему, вызвало их?

— Наверное, он ощущал угасание — не просто угасание физических сил, но и способности поддерживать свою репутацию соблазнителя, а существования лишь созерцательного принять не мог, поскольку подобная жизнь не сулила ничего, кроме старческой дряхлости.

— По твоим словам, он был абсолютно нерелигиозен.

— Вплоть до того, что ничего не боялся, кроме загробной жизни, всецело предпочитая ей забвение, к которому и готовился с величественным достоинством древнего римлянина. Ведь он заставил себя умереть за четыре часа до семидесятилетия исключительно усилием собственной воли.

— Невероятно. Вот уж действительно, не просто умер, но отдал душу.

— Ничего не прося взамен. Последние годы жизни он дулся, как дитя, которому отказали в даре вечной юности. Подобное настроение, исключавшее волю к жизни, раздражало маму, безуспешно пытавшуюся вновь вдохнуть в него жизненные силы. Но отец знал, чего хотел. И завещал себя кремировать. Хотел полностью исчезнуть. Мысль о кремации не пришлась по душе маме, но волю отца мы выполнили. А затем, после его кончины, в то же самое состояние пагубного бездействия, так раздражавшего ее в отце, постепенно начала впадать и мама, словно повинуясь какому-то потустороннему голосу.

И угасла точно так же, как угас отец, пробудившись на время к жизни лишь при выходе ее книги. Мама завещала кремировать себя, хотя мысль о кремации всегда приводила ее в ужас. Я похоронил урны с их прахом рядом, на деревенском кладбище в Глостершире.

— Они вернулись друг к другу.

— Они никогда по-настоящему и не расставались. Был, правда, трудный период сразу после войны, когда они жили врозь. Отец поселился в холостяцкой квартирке в Лондоне, где восхищал сытной и вкусной стряпней своих гостей, или, вернее, гостью. Позже родители снова стали жить вместе, сначала в Лондоне, а потом в деревне.

— Но между ними действительно произошел разрыв?

— Не знаю. Думаю, это был не столько разрыв, сколько отсутствие, просто физическое отсутствие. После маминой смерти я нашел целые пачки их писем друг другу, перевязанные резинками и пожелтевшие от времени. На первый взгляд письма казались красноречивыми, содержательными, доверительными и сердечными. Но читать некоторые из них было все равно словно подслушивать под дверью, вторгаться во что-то глубоко личное, доступное лишь им двоим. Этим они и есть не что иное, как самые настоящие любовные письма, чистые и непосредственные, и я по сей день не испытываю ни малейшего побуждения раскрывать их тайны. Я просто храню письма в аккуратных пачках, как их сложила мама.

— Это письма того времени, когда родители жили порознь?

— Многие из них.

— Тебе не приходило в голову, что именно ты и стал непредвиденным фактором в их отношениях?

— К тому времени, как они расстались, я уже давно покинул дом. Надеюсь, твое предположение несостоятельно.

— Я виню не тебя, а всего лишь сам факт твоего появления на свет.

— Моего появления на свет?

— Могли бы сохранить любовь Тристан и Изольда, родись у них ребенок? Или Ромео и Джульетта? Вся поэзия их любви растворилась бы в первозности, вызванной кормлением малыша.

— Не думаю, что моих родителей связывала такая любовь. Сотканные ими взаимные узы были куда менее

претенциозны, но куда прочнее. Вагнера они бы никак не вдохновили. Скорее — Оффенбаха или Моцарта. И не подошли бы Шекспиру, как литературные герои. Хорошие их дни прекрасно бы описал Фейдо *, а остальные — Чехов, пособи ему немного Толстой и Майкл Арлен **, но лучше всего подошли себе. Мне.

— Что ж, как бы мы с тобой ни провинились фактом нашего существования, уважаемый Я, пора оставить родителей в покое. А нам с тобою пора в школу.

4

Приготовительная школа Гиббса для мальчиков находилась в Лондоне на Слоан-стрит. Еще точнее — в доме номер сто тридцать четыре. Сам Гиббс оказался весьма дородным пожилым джентльменом, беспредельно сердечным и столь же беспредельно рассеянным. Видимо, он испытывал некоторые затруднения с бритьем, поскольку на подбородке под безупречными офицерскими седыми усиками нередко красовались присохшие клочки окровавленной ваты. Еще он очень любил напевать, как будто повсюду носил с собою блаженное уединение собственной ванной. Напеваемые им мелодии трудно было опознать, они сливались в своеобразное, сугубо индивидуальное парландо, звучанием своим напоминавшее произведения Шёнберга ***, но не по умыслу, а чисто случайно, поскольку особым музыкальным даром Гиббс не обладал. В подобной же манере он изъяснялся, излагая сведения как приятные, так и неприятные, будто ощущая себя глашатаем в собственном маленьком мирке.

— Ах, У-у-усти-Бу-у-у-сти, — мурлыкал он, завидев меня. — Не может завязать шнурочки... Сюда, сюда... Мистер Гиббс ему поможет... Поможет, а?.. Ну, садись, толстяк, — и все это тонюсеньким тенорком проповедника-евангелиста. Для сообщений неприятного характера использовался регистр значительно более низкий, и плохие новости упорно сообщались заблаговременно: — Томпсон-младший заслуживает написать для наказания сто строчек... Зайди ко мне после уроков.

---

* Фейдо Жорж (1862—1921) — французский драматург, автор комических пьес.

** Арлен Майкл (1895—1956) — английский романист.

*** Шёнберг Арнольд — австрийский композитор, основоположник атональной музыки, автор двенадцатитоновой системы-додекафонии.

В школе Гиббса я обучился искусству выживать, акцентируя собственную комичность и неуклюжесть, и прятать свои тайные порывы из боязни чересчур открыто бросить вызов тем, кого щедрее одарила природа. Во время футбольных матчей, например, меня охотно ставили вратарем. Отчасти потому, что отнюдь не был самым быстрым из нападающих, а отчасти и потому, что был таким толстым и, следовательно, закрывал собою ворота лучше, чем любой мой стройный одноклассник. Считалось, у меня гораздо больше шансов не пропустить мяч просто потому, что он скорее попадет в меня, чем в ворота.

Летом я впервые попробовал играть в крикет и впервые ощутил себя инородцем. Крикетный мяч, излишне твердый, на мой взгляд, кажется мне смертоносным снарядом, сохранившимся от какой-то давно забытой битвы. (Я всегда подозревал, что крикет изобрели головорезы, начавшие однажды на досуге бездумно перебрасываться неразорвавшейся бомбой. И их игру увидел офицер, обладающий извращенно изощренным умом, посвятивший всю дальнейшую жизнь разработке ее немыслимых правил.) Британский гений озабочен не столько достижением победы в игре, сколько процессом ее изобретения. Англичанам принадлежит авторство поразительного количества международно признанных игр. И стоит иностранцам превзойти англичан в одной из их же собственных игр, как англичане хладнокровно изобретают другую, в которой какое-то время могут удерживать первенство, поскольку никто, кроме них, не знает ее правил. Тот, кто изобрел крикет, заслуживает особой похвалы, ибо эта игра столь необычна и опасна, что не привилась ни в одной другой стране, кроме некоторых сравнительно недавно обретших независимость бывших колоний, где внедрялось образование по английскому образцу. Реакция американцев на безобразия, чинимые «красномундирниками *, вызвала отвращение и к крикетным воротам, усеивающим их поля. Поэтому американцы предпочли крикету бейсбол, игру куда более подходящую для страны необъятных просторов, практически не обладающую архитектурными памятниками, которым грозила бы опасность повреждения. Румынам же и французам, охотно молотящим друг друга в бурных эксцессах регби, было бы

* Прозвище солдат британской армии периода войны североамериканских колоний за независимость.

просто невыносимо часами томиться на крикетном поле, перемежая скуку нечастыми ударами битой по мячу, сопровождаемыми мерзким звуком да столь же нечастыми хореографическими па.

На этом фоне и обучают британских школьников искусству проигрывать красиво, часто даже за счет возможной победы. Истинный исход схватки определяется уже после игры в раздевалке, когда сверхъестественное благородство проигравшего обесценивает вкус успеха и даже заставляет выигравшего смутно ощущать, что он чем-то погрешил против благопристойности.

Неудивительно, что когда речь заходит о вещах, ничего общего с игрой не имеющих, пожилым полковникам свойственно рычать: «Играйте же, сэр!», или: «Черт возьми, это не крикет, сэр!» Неудивителен и совет, однажды предложенный таким мастером сомнительных игр на крупные ставки, как Сесил Родс, смущенному юному офицеру, которому предстояло управлять одним из владений Британской империи: «Помните, что вы родились англичанином и одним уже этим вытянули в жизненной лотерее первый приз».

Так вот, билеты этой лотереи и раздавали детям в школе Гиббса, и хотя формально я все еще оставался фон Устиновым, вопрос происхождения истолковали в мою пользу, и я сумел стянуть свой билет, пока почти никто не заметил.

Временами, пожалуй, Гиббс не мог избежать сомнений, не слишком ли он щедр с этими билетами. Как, например, во время ответственного крикетного матча с другой школой, когда ученик-аргентинец и я были пойманы за сбором цветов на поле, куда нас поставили полевыми игроками. Мы подарили противнику не менее семи очков просто потому, что ни один из нас не сумел найти мяч. С букетами поникших маргариток в руках мы подверглись жестокому разносу.

Позже, однако, я искупил свою вину. Было общепризнано, что крикет — не мое призвание, и, видимо, именно поэтому на следующем ответственном матче мне выпало считать очки. Счетчиком со стороны соперников выделили тщедушного анемичного и впечатлительного мальчика, на вид совсем затравленного. Я был с ним мил и обходителен, а он был чуть не до слез тронут возможностью хоть раз поговорить с кем-то, не опасаясь угроз и издевательств. Увлекшись беседой, он просто махнул

рукой на карту, даже и не думая ее заполнять. В итоге столь приятно проведенного дня моя школа выиграла матч с незначительным перевесом, хотя вроде бы очков наша команда набрала меньше. Противникам было трудно поверить в то, что победили мы. Им пришлось тщательно изучить карту собственного счетчика, в последний момент благодарно списанную с моей, и убедиться, что, играя со школой Гиббса, полагаться на поверхностные впечатления нельзя никак, особенно если запись счета веду я.

Мистер Гиббс необычайно тепло обнял меня после этой совершенно неожиданной победы. Мне показалось, в глубине души он понял: благодаря ему я наконец усвоил правила игры.

В школе Гиббса преподавала среди прочих некая мадемуазель Шосса, низенькая пятидесятилетняя старая дева с искривленным позвоночником. Сказать по правде, на нее было страшно смотреть. Из-за деформированной спины она передвигалась боком по-крабьи и при этом никогда не снимала широкополой фетровой шляпы, чем напоминала один из образов Иеронима Босха — этакая шляпа с ногами. Ощущение угрозы, исходившее от бедняги, усугублялось хронически не закрывающимся ртом, все время как бы пережевывающим подробности какого-то возмутительного происшествия, а также желтизной лица, на котором под гневно бегающими, горящими мрачным вызовом карими глазами торчал утиный нос, окруженный созвездием бородавок.

Там, где обычно бывают колени, у мадемуазель Шосса болтались ножницы, свисая на шнурке с пояса.

Видит бог, мадемуазель Шосса была единственным подрывным элементом, допущенным в класс, украшенный большой литографией, озаглавленной «Клятва бойскаута». На картине явно обескураженного скаута вел за руку Христос, указывая второй рукой на карту мира, где территория империи освещалась странным неземным сиянием. Мадемуазель Шосса нередко бросала на это произведение искусства полные ненависти взгляды и возмущенно трясла головой при мысли о том, как протестанты задаром экспроприировали Христа. Во время исполнения национального гимна мадемуазель Шосса оставалась сидеть, дергаясь еще больше обычного и обдавая аудиторию взором, подобным холодному душу. Действия

мадемуазель Шосса никогда не оспаривались, и она не считала нужным их оправдывать. И вот она пригласила меня на чай — насколько известно, это был первый ее дружественный поступок по отношению к окружающим.

Чаепитие состоялось в кондитерской мсье Дебри в Найтсбридже. Меня вовсю угощали вкуснейшими шоколадными пирожными и многими другими лакомствами. В обществе мсье Дебри с мадемуазель Шосса произошла разительная перемена. Она стала игривой и даже несколько грубоватой и отпускала по-галльски соленые шуточки. Я с трудом узнавал угрюмую преподавательницу французского, опоясанную ножницами вместо меча.

Затем прояснилась и причина чаепития, задуманного не столько как угощение, сколько как искушение. Двигаясь украдкой и тщательней обыкновенного следя за транспортом, мадемуазель Шосса перевела меня на другую сторону улицы во французский монастырь, оказавшийся ее обителью. Здесь, под сенью иного Христа, поникшего на кресте со скорбной улыбкой, предназначенной лишь французам, но столь же предвзятого, сколь его коллега, выражавший неестественный интерес к бойскауту и Британской империи, шла самая бессовестная агитация за преимущества католицизма.

— Протестантство — это не религия, — презрительно выплюнула мадемуазель Шосса, вызвав смущенные улыбки группы монахинь с золотыми зубами и нездоровой кожей. Я улыбнулся им в ответ. — Лишь в католицизме можно обрести истинную веру. — И так далее, и тому подобное. Только энтузиаст-любитель может себе позволить такую категоричность и такую агрессивность. Монахини предложили мне еще чаю и унылых простых булок, на вид таких же отдраенных щеткой, как и они сами, и это после эстетического наслаждения, доставленного богатым выбором пирожных в кондитерской мсье Дебри! Я отказался вежливо, как мог.

— Ребенок уже ел, — отрезала мадемуазель Шосса, намекая, что мимолетное видение сатаны должно было сделать более привлекательными холодные объятия матери-церкви. Я скрыл свои мысли под маской глубоких духовных исканий примерно тем же способом, каким демонстрировал любовь к музыке, закрывая глаза во время исполнения Бетховена. Никогда больше в жизни я не сталкивался с таким натиском бесстыжей религиозной

пропаганды, как в тот солнечный лондонский полдень, когда мадемуазель Шосса решила проложить себе дорогу в рай, используя меня вместо тарана. Нечто подобное я видел лишь еще один раз много лет спустя, когда епископ русской православной церкви сказал мне с удовлетворением тренера спортивной команды: «Да, сейчас мы завоевываем позиции по всем направлениям, в основном за счет католиков».

Такие случаи заставляют меня задуматься, а не правы ли в чем-то замшелые британские полковники, и действительно не игра ли это все на самом деле, в которой должна победить сильнейшая церковь. Я постарался ничем не обнадеживать мадемуазель Шосса, но с того дня она пристально всматривалась в мое лицо, ища знака перемен. Каждая моя улыбка трактовалась как проявление благодати, просачивающейся в душу сквозь бреши, пробитые в моей обороне, но зато каждая небрежность рассматривалась как очередное мелкое поражение дела правды от рук неверных. С мадемуазель Шосса более не были возможны нормальные отношения, поскольку мы никогда не оставались теперь одни: всегда присутствовал Иисус, или Мартин Лютер, или оба сразу, что окончательно все запутывало.

На заре моих школьных лет существовал обычай, согласно которому мамы приезжали в школу помогать своим чадам писать экзаменационные работы по истории. Историю в те времена изучали исключительно английскую, будто в столь нежном возрасте детей еще было опасно знакомить с фактом существования иностранцев и их прошлого, за исключением тех случаев, когда те возникали перед британцами в качестве врагов, чтобы тут же получить трепку. В качестве основного учебного пособия использовалась толстенная книга, набранная таким крупным шрифтом, будто предназначалась для полуслепых детей. Глупейшего пособия для знакомства с реальностью невозможно представить. Рассказ об Альфреде и пирожках *, имеющий, вероятно, целью обосновать традиционное британское безразличие к кулинарным ис-

* Альфред Великий (849—899) — король Западных Саксов в Англии. Единственный король в истории Англии, заслуживший титул «Великий». Спас свое королевство Уэссекс от вторжения датчан и заложил основы объединения всей Англии. Согласно легенде, спасаясь однажды от датчан, переодетый король нашел убежище в доме крестьянки. Хозяйка велела ему присмотреть за пирогами на печи. Задумавшийся король не заметил, как они сгорели, за что ему сильно попало от крестьянки.

кусствам, служит блестящим примером ее научно-исторической глубины. Запомнилась мне и цветная иллюстрация в прерафаэлитском духе, изображавшая неотрывно глядящую вдаль Боадицею *, окруженную явно озабоченными воинами с длинными волосами цвета соломы. Бедной маме, освоившей к тому времени разговорный повседневный английский, но не видевшей досель никаких причин окунаться в сумерки Артуровой эпохи, пришлось писать под мою диктовку, а я пытался растолковать ей путешествия Утера Пендрагона **, и приключения Хенгиста и Хорсы ***, и короля Канута ****, согласно легенде велевшего морю отступить, но достаточно трезвомыслящего, чтобы не удивиться, промочив ноги. Не успел я изложить и половины своих познаний о древней Британии, как стало ясно, что мама вообще не понимает, о чем я говорю, и начинает испытывать глубочайшие сомнения в уровне образования, предоставляемого английскими школами. Поскольку меня вряд ли могли наказать за мамины орфографические ошибки, я получил за экзаменационную работу сравнительно неплохую оценку, но в школу ко мне мама больше не приезжала, если не считать ее визита в памятный день спортивных состязаний накануне больших летних каникул.

В тот день приехала не только она. Приехал, чего никогда не случалось, папа, надевший монокль. В программу соревнований входил так называемый Забег отцов — отцам школьников предлагалось тряхнуть стариной, вспомнить детство и показать нам образец спортивного духа в беге на сто ярдов. Я попросил папу выйти на дистанцию и поддержать мою честь. Папа отклонил просьбу со свойственным ему велеречивым юмором. Ведь он обязательно, утверждал папа, станет лидером забега, поскольку в школьные годы бегал невероятно быстро. А возглавив забег, он обязательно потеряет монокль, без которого ему не разглядеть даже беговой дорожки. И, естественно, монокль растопчут остальные папы, претендующие на второе место. Поскольку же монокль —

---

* Боадицея (ум. в 62 г. н. э.) — возглавила безуспешное восстание против римского владычества в Англии.

** Утер Пендрагон — отец легендарного короля Артура.

*** Хенгист — вождь ютов, руководивший тевтонским вторжением в Южную Англию в 440 г. н. э. Хорса — брат Хенгиста.

**** Канут (Кнут) (994(?)—1035 н. э.) — датский король, завоевавший Англию. Затем король Англии, Дании, Норвегии.

вещь, нужная и дорогая, лучше не рисковать и в состязании не участвовать.

Мама не могла не заметить охватившего меня очевидного разочарования, поскольку мы оба прекрасно знали, что без монокля папа видит даже несколько лучше. Кстати сказать, он обзавелся моноклями на оба глаза и надевал их в зависимости от настроения. И тогда мама пошла на великую жертву — записалась участвовать в Забеге матерей, о чем я сожалею по сей день. Папу ее решение привело в ярость, но временами мама умела проявлять невероятное упрямство, особенно в вопросах, не связанных с ее живописью. На первых двух ярдах у меня еще теплилась надежда, но затем мама резко начала сдавать, сбиваясь с бега от охвативших ее взрывов смеха, вызванного абсурдностью ситуации. Наверное, мама поставила рекорд самого медленного забега на сто ярдов, одиноко плетясь в хвосте несущейся по полю материнской орды. Точное время ее пробега, слава богу, не регистрировалось, но она быстрее бы прошла дистанцию пешком. Помню, мама все еще бежала, когда начались состязания следующей группы спринтеров и, несмотря на огромную фору, мама не выиграла и этого тура, в котором участвовали лишь дети до шести лет.

Но унижения того дня не кончились и на этом, поскольку заключительным мероприятием радостного спортивного праздника эпохи снобизма и привилегий служило состязание шоферов. Мне нечем было отыграться за понесенные поражения, поскольку машины у нас не было, и даже я понимал, что держать шофера ради единственного соревнования в году, не имея возможности загрузить его работой все оставшееся время, будет слишком жирно. Огорчение было написано у меня на лице, и мой ближайший школьный друг, сын известного банкира, прочел его с безошибочным инстинктом верного товарища. Отведя меня в сторону, он шепнул, что у его отца два шофера и что он обязательно уговорит отца одолжить мне того из их конюшни, кто бегает медленнее. Моей гордости и так хватало ран. Я отклонил это щедрое предложение. Пережить еще одно поражение было бы тяжело, да еще из-за взятой напрокат чужой прислуги.

В школе Гиббса я впервые пытался попробовать себя на сцене, но преподавательница драмы не взяла меня за бездарность. Пришлось дебютировать в маске, играя роль свиньи в инсценировке какого-то детского стишка. Судя по отметкам в школьном табеле, с ролью я справился.

С тех пор я успел получить и много плохих отметок, но вряд ли кто может утверждать, что начал карьеру с самых низов, опираясь на доказательство более красноречивое, нежели документ, удостоверяющий, что предъявитель сего достойно справился с ролью свиньи.

После того как с меня наконец сорвали маску, мне достался стереотипный образ брата Тука. Первым же моим апофеозом, а может, и прощальным представлением явилась роль одной из трех сирен, искушавших Одиссея с берега острова в Эгейском море. Я был той сиреной с блондинистыми локонами, что стояла на сцене слева и гнусаво пела. Одиссей благоразумно проплыл мимо.

В целом в школе Гиббса мне жилось хорошо. Днем, по крайней мере, я был далек от проблем и сумятиц нашего дома, и хотя по-прежнему выходил в назначенное время в пижаме развлекать пародиями приглашенных к ужину гостей, вторжения в ванную случались теперь редко и с долгими перерывами. Общение с ровесниками помогло преодолеть замкнутость, хотя определенная робость сохранилась в характере и поныне. Как мне кажется, ко мне вполне хорошо относились и школьники, и учителя, и даже если такие предметы, как арифметика, алгебра и, до известной степени, латынь давались мне не без затруднений, то я всегда учился на «отлично» по географии и почти всегда на «отлично» по французскому, истории и английскому. Гиббс, несмотря на убежденность в необходимости телесного наказания и святости бойскаутского движения, был милым старым джентльменом. Он часто приглашал старшеклассников пожить лагерем на задворках его дома в Горинге-на-Темзе и отвозил нас туда в своем вместительном «остине». Машину Гиббс водил медленно, и ездить с ним из-за его рассеянности было опасно. Поскольку я часто садился рядом с ним, то он часто и переключал скорость моим коленом, а потом никак не мог сообразить, почему мотор заглох или, наоборот, понес. В таких случаях Гиббс останавливал машину у обочины и проверял карбюратор, сваливая на него свою вину, да и мою тоже — ведь, наверное, я виноват, если мое колено похоже на рычаг коробки передач.

Все в нашей школе дышало спокойствием и солнечным светом. Система ценностей сохраняла извечную нерушимость, а если даже и казалась в чем-то смехотворной, то опиралась на долговечность и практический опыт. Вера в моральные устои короля и отечества никем

но ставилась под сомнение, а Христос и бойскаут выглядели на своем месте так же естественно, как и заштрихованные красным участки карты. Сомнения проскальзывали лишь во взгляде (даже не в голосе) мадемуазель Шосса, но и ей нечего было предложить нам взамен, кроме того же самого, только в иной упаковке: карты, заштрихованной зеленым, президента, опоясанного трехцветным шарфом, Марианны во фригийском колпаке, Христа с капелькой крови на лбу от впившегося под кожу терния да наполеоновских орлов.

Из-за приставки «фон» перед моей фамилией меня часто дразнили поражением Германии в войне, именовавшейся тогда Великой, но когда однокашники чувствовали, что перегнули палку, они начинали утешать меня рассказами о чистоте немецких окопов, особенно по сравнению с безобразно загаженными французскими. Складывалось впечатление, что это был единственный урок, почерпнутый их родителями в страшной бойне. Однажды, когда немец выиграл гонки на своем белом «мерседесе» с форсированным двигателем, меня начали поздравлять так, будто за рулем сидел я сам; когда же победу одержала команда британских «бентли», мне выражали самые настоящие соболезнования. «Что, фон Устинов, не вышло?» — говорили знакомые. «Ничего, Усти, в другой раз больше повезет», — говорили друзья.

Я считался признанным знатоком автомобилей, потому что умел различать их по одному лишь звуку двигателя. Да что там — в младенческие годы я сам был автомобилем, к вящему отчаянию родителей. Искусство психиатрии только зарождалось, стоило дорого и сконцентрировалось в Вене. Специалистов, способных изгнать из малыша двигатель внутреннего сгорания, еще не существовало. По сей день я помню точно, каким именно был автомобилем — «амилкаром». Почему я выбрал именно этот маленький маломощный похожий на сердитое насекомое автомобильчик, я не знаю, но подозреваю, что у маленького толстячка, которого постоянно дразнили природной тучностью, была заветная мечта превратиться в тощий и незаметный «болид».

Был в моей жизни период, когда я заводился с утра и переставал быть автомобилем только к ночи, въехав задним ходом в кровать и выключив зажигание. Просто чудесный оказался выход из положения. Я избегал необходимости отвечать на вопросы и поддерживать отношения с доброй половиной знакомых, и стоящие, и нестоя-

щие. В безопасном и статичном мире можно было позволить себе подобную роскошь.

Заботы одолевали только во время каникул, когда жизнь оборачивалась иной, несчастливой гранью, далекой от рукопожатия англосаксонского Христа; воды со льдом, сдобренной лаймовым соком; запаха свежескошенной травы на крикетном поле и ободряюще дребезжащего бельканто мистера Гиббса.

Когда мне было семь, мы с мамой отправились на летние каникулы в Эстонию. Красок с собой мы не брали. Собрались мы туда потому, что в Эстонию на месяц приехал мамин отец, президент Ленинградской Академии художеств профессор Леонтий Бенуа. Мы поселились вместе с ним на даче в лесной глуши и пожили месяц по-русски. Высокая деревянная веранда с облупившейся краской и растрескавшимися ступенями, скрипящими и стонущими на каждом шагу, перенеслась сюда, казалось, прямо из какой-то чеховской пьесы. Лес шептал, вздыхал, а иногда разражался ревом и изобиловал гадюками и грибами, как съедобными, так и ядовитыми. Заблудиться в таком лесу — все равно что потеряться в волшебной сказке, в неприступной стране непонятных звуков и затаившейся опасности, в манящей, дразнящей шумной тюрьме, перемещающейся с каждым твоим шагом и на каждом шагу сбивающей с толку. Удачно пробравшись сквозь лес, можно было выйти к морю, на серый первозданный берег из глины и валунов, о который бились пенные волны. Глина на пляже хорошо лепилась. Все по большей части купались и лепили нагишом, а одевались, лишь когда предстояло пробираться сквозь лес обратно домой.

На даче все заглушали запахи грибов и сохнущих в амбаре яблок; эту едко-сладкую гамму запахов я способен мгновенно вспомнить даже сейчас.

Дед произвел на меня неизгладимое впечатление ощущением строгой уравновешенности, исходившей от него, несмотря на болезнь и преклонные годы. Я заметил, что он вялым движением руки отгоняет мух, тучами слетавшихся к мискам молока, поставленным квашиться на простоквашу. Дед объяснил, что мухи — разносчики заразы и человек должен остерегаться этих невинных на вид, но вредных насекомых. Я взял у него мухобойку и со всей энергией юных лет пошел молотить направо и налево. Вскоре дед знаком остановил меня.

— Почему? — разочарованно спросил я.

— Потому что охота на мух уже начала доставлять тебе удовольствие, а превращать убийство в удовольствие недопустимо.

— А как же зараза? — с надеждой спросил я.

— Лучше нам болеть, чем получать наслаждение от гибели живых существ, — ответил дед тихо. На этом вопрос был закрыт.

Как-то у мамы разболелся зуб, нарывала десна, насколько я помню. А мотор моего «амилкара» работал в тот день как никогда. При каждом удобном случае я переключал скорость, у каждого изгиба дороги прибавлял оборотов и гудел воображаемым клаксоном, предупреждая встречный транспорт о моем приближении. Внезапно мамино терпение лопнуло.

— Да замолчи ты хоть на минуту, бога ради! — закричала она из-под своей глубокой желтой шляпы.

Дед, медленно бредущий рядом с нами, увещевающе поднял руку.

— Никогда не кричи на него, — тихо сказал он дочери. — Я понимаю, моя дорогая, этот шум раздражает и без зубной боли. Но воспринимай его не как шум автомобиля, а как звук пробуждающегося воображения, и тогда он перестанет тебя раздражать, вот увидишь.

Я понимаю сейчас, почему дед считался великим педагогом, но и тогда, в моем детстве, его личность и непоказная мудрость вызывали безграничное уважение и любовь.

Вернувшись в Лондон, я потребовал новый галстук вместо темно-красного школьного, который мне приходилось надевать на каждый случай. Я мечтал о цветастом галстуке в полосочку или в горошек, как у папы. В конце концов мама капитулировала и дала мне немного денег. Мы с Фридой отправились в универмаг «Хэрродз», откуда я по непонятной причине вернулся в черном галстуке. И застал маму в слезах — за десять минут до нашего прихода она получила телеграмму с известием о том, что дед тихо скончался в Ленинграде.

Последующие каникулы нам пришлось проводить в Германии, чтобы папа мог отчитаться перед своими директорами герром Дитцем, жившим в Кёльне, и герром Хеллером, жившим в Берлине. Об этих людях почти ничего не сохранилось в памяти, кроме лающего звука, свойственного немецкому, когда на нем изъясняется нетерпимый и закоснелый голос чиновничества, да ноющих женщин, считающих, будто вносят нотки человеческих

чувств в обязательный гвалт мужских разговоров. Еще я запомнил посещение туалета в доме герра Хеллера, известного своей скаредностью. Его репутация скряги подтвердилась, когда вместо туалетной бумаги я обнаружил нарезанные вчетверо листочки, продырявленные в уголке и подвешенные за веревочку на гвозде, вогнанном прямо в стену ванной. Эти листочки были покрыты фиолетовой машинописью и на многих стоял гриф «Секретно», а на некоторых — «Совершенно секретно». Куда более простой способ уничтожения документации, чем все современные выдумки ЦРУ и ФБР! А еще говорят, что у нас технический прогресс!

На следующий день в Берлине состоялся парад в честь одной бесстрашной летчицы того времени. Если не ошибаюсь, звали ее Элли Бейнхорн, и она перелетела откуда-то куда-то еще, не разбившись по дороге, чем и послужила развитию немецкой технической мысли. Я смотрел парад из окна герра Хеллера и видел самого Гинденбурга, желтого, неподвижно сидящего в машине. Казалось, его надули, как надувной матрац.

После смерти деда бабушка переехала из Ленинграда в Берлин, где другая ее дочь, моя тетя Оля, работала рентгенологом в больнице. Мы с мамой навестили их в 1933 году, когда мне было двенадцать. Германию уже охватили бурные события. По улицам проезжали грузовики, битком набитые отвратительными типами, горланившими: «Проснись, Германия!» В том, как все они держались заодно, ощущалось что-то необычайно грязное. Если столько взрослых мужчин не могли найти себе лучшего занятия, то нам это не сулило ничего хорошего. Самые оголтелые из этих кретинов уже разносили витрины еврейских магазинов, а общественность устала от сложности жизни при слабеющей с каждым днем демократии. Все здесь было противно и гадко.

«Растяпа», — кричали мне разгневанные зрители, когда, наверное, в тысячный раз я упустил мяч во время одного из последних крикетных матчей в школе Гиббса. Я только улыбнулся. Ведь в глубине души все и так знали, что я непременно упущу мяч, и никто и не ждал, что я сумею играть по-настоящему. Сами же понимаете — иностранец. Но слишком долго не могли они понять, что вдали от причуд, фантазий и абсурдного обаяния спортивных площадок мистера Гиббса другие иностранцы начинали изобретать другие игры с другими правилами. А затем и безо всяких правил вообще.

5

Родители предложили мне на выбор две школы: Сент-Полз и Вестминстер. Обе были им не по карману. В первой носили соломенные шляпы, как Гарольд Ллойд, во второй — цилиндры, как Фред Астер *. Раз уж мне суждено глупо выглядеть, то почему бы не выглядеть беспредельно глупо, подумал я и выбрал Вестминстер. Формально я еще не вышел ростом, чтобы удостоиться фрака, но поскольку считалось, что я продолжаю расти, меня избавили от унизительной, положенной мелюзге и оставляющей мерзнуть открытый зад формы — чего-то вроде черного болеро с пышным воротником, венчающим его, как шапка пены кружку «гиннеса». Вместо этого мне оказали величайшую из мелких милостей — позволили носить костюм гробовщика из похоронного бюро, обязательным атрибутом которого служил закрытый зонт, чтобы, как разъяснял школьный проспект, нас не принимали за банковских посыльных. Самым же большим издевательством был цилиндр на голове четырнадцатилетнего мальчишки, впивавшийся в кожу, как терновый венец, особенно когда регулярно ходишь в школу через район трущоб. Дорога превращается чуть ли не в крестный путь.

Но что было делать! В течение полутора лет проявляя типичные симптомы комплекса приязненных и неприязненных чувств, родители пытались одновременно и отослать меня, и удержать дома. Поэтому я и угодил в школу, куда за два пенса мог добраться от дома автобусом, вместо одного из учебных заведений, где легкие дышат озоном и на свежем воздухе обветривается лицо. Из всех возможных компромиссных решений это оказалось для меня самым нелепым и тягостным. Вдали от дома я мог бы привыкнуть к новой обстановке намного быстрее, упиваться относительной свободой и, как принято выражаться, возмужать. Но все это было просто невозможно в тени Большого Бена и с автобусной остановкой прямо под окнами школьного дортуара, к которой каждые пять минут подходил мой автобус.

Вестминстер — аристократическая школа, довольно успешно идущая в ногу с временем. Ученики могут жить в интернате, но могут жить и дома, ежедневно посещая занятия. Притаилась она среди старинных церковных

---

* Гарольд Ллойд (1893—1917), Фред Астер (1899) — известные американские актеры. Один из фильмов Астера назывался «Цилиндр».

строений, в «кремле» Вестминстерского аббатства, так сказать. Здание школы изобилует сводами, чтобы было обо что стукаться головой; неравномерно стертыми временем ступеньками, чтобы было где свернуть шею; портретами усопших духовных лиц, чтобы было кому заставить потерять веру. Поскольку Черч-хаус * располагался бок о бок с нами, то тихая лужайка, известная под названием Деканский дворик, неизменно была полна настоятелями и епископами, прогуливающимися парами и обсуждающими то новые назначения, то какие-нибудь административные дела с таким видом, будто обсуждали важнейшие тайны. Воздух сотрясали звуки нескончаемых репетиций церковного хора. В жизни не приходилось слышать более визгливых «петухов» и фальшивых нот, чем те, что испускали из-за зловеще освещенных витражей еще не начавшие ломаться голоса несчастных херувимов.

Когда учеников выстраивали в аббатстве на ежедневную утреннюю молитву, мы казались стаей ворон, случайно приземлившейся в поле. В школе прочно царил дух мрачного уныния, и на наши лица преждевременно лег отблеск нервозности, принимаемый за признак породы.

Подобное впечатление усиливалось и тем обстоятельством, что в школе учились дети многих членов парламента, и пока родители, бия себя в грудь, произносили сурово-напыщенные пустопорожние речи, в двух шагах от палаты общин их отпрыски старательно подражали им в школьных дискуссиях, размахивая вместо повестки дня конспектами выступлений и модулируя визгливые голоса согласно требованиям британского ораторского искусства.

— Индия, — объявлял чей-нибудь заунывный голос и тут же смолкал, пока его хозяин, преждевременно согбенный книгоедством, тщательно выискивал в аудитории признаки невнимания к нему. — Индия, — повторял он, чтобы основательнее убедить нас в аргументе, не требующем убеждения. — Индии не может быть предоставлено самоуправление в это... гм... В настоящее время.

— Правильно! Правильно! — отвечала аудитория стоном, перебиваемым редкими выкриками отдельных просвещенных юнцов, тонкоголосо блеющих: «Позор!» Цели подобного образования я усвоил очень быстро, когда както раз учитель отозвал меня в сторону и велел готовиться

* Черч-хаус — Дом церкви (главное здание Национальной ассамблеи англиканской церкви в Лондоне).

к дискуссии на тему о смертной казни как средстве борьбы с ростом преступности. Мне поручалось поддержать необходимость ее сохранения. Я заявил преподавателю, отвечающему за проведение дискуссий, что категорически возражаю по соображениям морали против всех видов смертной казни.

— Это как вам угодно, — медовым голосом ответил преподаватель. — Но на дискуссии вы все равно выступите за сохранение смертной казни.

— Но я не понимаю...

— Поймете, — тихонько промурлыкал он и ушел.

Тогда-то я и осознал, что в нашей школе готовят юристов, дипломатов и бизнесменов, а сентиментальным чудакам, стремящимся изменить мир, здесь места нет.

Я подготовил блестящую, как мне казалось, речь против смертной казни, но такие кровожадные были времена, что предложение сохранить ее прошло большинством голосов. Однако моя речь, несмотря на ее содержание, упрочила мою репутацию искусного спорщика. Я поймал взгляд преподавателя. На его губах играла легкая улыбка. Кивком он поздравил меня с победой моей команды. Да, меня всесторонне готовили к жизни.

Вновь поступающие в школу ученики приглашались на чай к директору. Директором был преклонного возраста священнослужитель с навечно застывшей гримасой глубокой сосредоточенности на лице. Не сомневаюсь, что достопочтенный доктор Костли-Уайт был хорошим человеком, но при этом он еще был и огромным человеком, всегда шагавшим так быстро, что полы его черной мантии развевались за ним по ветру, а кисточка плоской академической шапочки болталась перед лицом, как клешня. Сказать по правде, он просто приводил новичков в ужас. Когда во время нашего ритуального чаепития он громко спросил: «Кто из вас, мальчики, хочет эклер с шоколадным кремом?», ему никто не ответил просто со страху. «Ну и хорошо!» — вскричал доктор Костли-Уайт и съел эклер сам.

Столь радушный прием, оказанный в новой школе, обнадежил меня, несмотря на то, что привелось быть на побегушках у старшеклассников. Как и положено, я подавал школьным старостам копченую рыбу в нашей средневековой столовой, когда в зал влетел доктор Костли-Уайт, шелестя полами мантии и лихо нахлобучив шапочку набок. На лице, как всегда, застыла усмешка во весь рот.

Кто-то приколол фотографию на стенку, рычал он. Фотографию женщины в купальном костюме, с мячом в руках. Пусть тот, кто совершил сей мерзкий поступок, немедленно признается, требовал директор. Ответом, разумеется, служило молчание.

— Ну хорошо же! — объявил доктор Костли-Уайт, улыбнувшись еще шире. — Когда виновный будет найден — а найден он будет безусловно, — я его высеку! — И добавил голоском нежным, как дуновение летнего бриза после бури: — Мне необходима физическая нагрузка.

Он повернулся к двери, и от быстрого шага мантия снова взвилась за его спиной. Мне показалось, что директор взмоет ввысь, как только удалится от нас на достаточное расстояние.

При всей оторванности вестминстерской школы от реальной жизни чувство защищенности от нее, так мило характеризовавшее школу Гиббса, ушло навсегда. Новым германским послом в Лондоне стал фон Риббентроп. Как и подобало истинному нацисту, Риббентроп надеялся определить сына в Итон — для того, наверное, чтобы сфотографировать спортивные площадки и точно выяснить, что именно имел в виду герцог Веллингтон, сказав, что битва при Ватерлоо была выиграна здесь. Но администрация Итона, ревниво оберегая свои тайны, отвергла юного Рудольфа. Разгневанный посол потребовал принять сына в Вестминстер, вероятно, потому, что уже потратился на цилиндр, который носят и в Итоне, и в Вестминстере.

Как бы там ни было, британское правительство по обыкновению дрогнуло и пошло по пути умиротворения. На руководство школы был оказан нажим, и вот гигантский белый «мерседес» с торчащими выхлопными трубами стал, пыхтя, вползать по утрам в Деканский дворик подобно слону. Из него выгружался сын Риббентропа, одетый так же, как мы, но со значком гитлерюгенда, украшенным орлом, свастикой и всем прочим, безвкусно, вызывающе и нагло красующимся на лацкане. С минуту он шептался о чем-то с посольским шофером, затем оба щелкали каблуками, вытягивались в струнку, вскидывали правые руки, будто офицеры на свадьбе, пропускающие под вздернутыми клинками счастливую чету, и вопили: «Хайль Гитлер!», после чего Рудольф бежал на ут-

реннюю молитву, а шофер осторожно выезжал назад на шоссе.

Рудольф Риббентроп был робким очкастым переростком, рыжим и веснушчатым. Держался он замкнуто, но не настолько, чтобы мы не могли заметить гадкую ухмылку на его лице, когда он проходил мимо нас в единственный день недели, отведенный для занятий по программе подготовки офицеров запаса. Мальчиков из родовитых британских семей готовили, но если спросить, к чему, то придется ответить: к Дюнкерку и целой серии военных катастроф, выдержанных в наилучших традициях.

Я стоял, замерев по стойке «смирно», одетый в форму 1914 года. Мои обмотки либо разматывались, позволяя испытывать некоторое облегчение, либо я затягивал их так туго, что переставал ощущать онемевшие ноги. Фуражка по всем правилам гвардейского шика натягивалась на глаза. Считалось, что подобная манера носить головной убор способствует обретению истинно воинской выправки, но я тайно подозревал иную причину — закрыв солдатам глаза, их легче заставить разделять слепоту командиров. В руке я сжимал трещотку, вроде тех, что можно увидеть на стадионах у футбольных болельщиков. На то были две причины: во-первых, винтовок на всех не хватало, во-вторых, я единолично изображал пулеметную роту.

Раз в неделю мне приходилось лежать в сырых зарослях папоротника Ричмондского парка, крутя трещотку и тысячами убивая врагов направо и налево. Иногда, в силу моих габаритов, с трудом поддающихся маскировке, убивали и меня самого. Так мы готовились к следующей войне за прекращение всех войн, обучаясь самым современным методам ведения боя и собираясь «врезать гуннам за шестерых» каждый.

После этого военного цирка я чуть ли не с облегчением снова надевал свой нелепый повседневный костюм. По крайней мере, я хотя бы мог смело смотреть в лицо фон Риббентропу. Совсем неподалеку от школы, в немецком посольстве, его отец портил жизнь моему отцу. Клоп, ставший к этому времени пресс-атташе посольства, все чаще и чаще получал выговоры за то, что не искажал газетную информацию на месте, обременяя тем самым неприятной работой своих берлинских редакторов. Клоп был сыт по горло. С помощью сэра Роберта Ванситтарта он тайно подал прошение о предоставлении ему британского подданства, опубликовав необходимое для этого публичное заяв-

ление в газете на гэльском языке, прочесть которую у нацистской контрразведки не хватало знаний. В один прекрасный день Клоп просто вышел из посольства и не вернулся.

Как раз в это время юный фон Риббентроп принял участие в школьном художественном конкурсе, подав безобразнейший триптих, изображавший лагерь древних германцев на фоне занимающейся зари. Рогатые шлемы воинов оттенялись красно-розово-лиловыми красками небесной тверди, а нагрудники соломенноволосых женщин горели отблесками злобного оптимизма. Вся эта гигантская мазня именовалась «Вооруженная сила». Искусством, разумеется, там и не пахло.

Благодаря фон Риббентропу я впервые в жизни заработал деньги, в чем проявилась известная справедливость. Я написал рецензию о его художестве как о весьма оригинальной попытке юного нациста подражать своему фюреру, и послал ее в редакцию «Ивнинг стандард». Рецензию опубликовали, несколько испортив, по-моему, редактурой, а мне прислали письмо с вопросом, сочту ли я семь шиллингов и шесть пенсов достаточным вознаграждением. Ответить на письмо я забыл, и мне прислали фунт, вознаградив тем самым и мое ехидство, и мою лень.

Публикация не замедлила произвести в школе фурор. Германское посольство пришло в откровенную ярость. Меня пригласил к себе в кабинет наш воспитатель Боноут, бывший оперный певец. Администрация школы, как обычно, не имела ни малейшего представления о самых недавних событиях и считала, что мой отец все еще состоит в штате министерства иностранных дел Германии. Боноут доверительно попросил меня информировать отца о случившемся с целью установить личность виновного. Редакция «Ивнинг стандард», по всей видимости, отказалась пролить какой-либо свет на источник публикации.

Я не придал делу достаточного значения, чтобы нарушать им папин покой, и просто зашел к Боноуту две недели спустя. Все попытки установить личность злоумышленника оказались безрезультатными, сообщил ему я. Единственное, что я могу подтвердить с достоверностью, — посольство действительно пришло в ярость.

— Не могу отделаться от мысли, что человек, виновный в этой истории, далеко пойдет, — хмыкнул в ответ Боноут. — Он чертовски умен.

— Похоже, — неохотно согласился я. — Однако же

поощрять подобные действия непозволительно, не правда ли?

— Верно, — ответил воспитатель и добавил, хитро прищурив глаз: — Однако некоторых и поощрять не требуется.

Вскоре фон Риббентроп возвратился в Германию, где стал министром иностранных дел, и Рудольф отбыл вместе с ним заканчивать подготовку к завоеванию мирового господства.

Для моего же отца наступило трудное время. Мне пришлось покинуть общежитие школы и стать приходящим учеником, поскольку так выходило дешевле, но я все равно не мог отделаться от неприятной мысли, что счета за мое обучение оставались неоплаченными. Администрация, однако, проявляла исключительный такт, ни разу ничем не показав мне, что наша нищета изменила мое положение, и ничем не дав понять родителям, что в переживаемых ими трудностях есть нечто из ряда вон выходящее.

Папе предлагали различные места, но он нигде не мог удержаться. Когда он устроился обозревателем отдела живописи «Ньюз кроникл», я вспомнил напыщенную чушь, которую он нес перед маминым мольбертом, и его закоснело-эпикурейские критерии, и понял, что эта работа ненадолго. Не успев прослужить и недели, папа зло осмеял в присущей ему язвительной и колкой манере скульптуру Генри Мура и был немало удивлен разразившимся скандалом. На этом его карьера обозревателя закончилась. Затем он устроился счетоводом в театр «Водевиль». Помня, как неумело помогал мне папа с домашними заданиями, я не питал надежд и на сей раз. И оказался прав. Папа продержался там неделю.

Мне было его ужасно жаль. Я видел, как унижает его бездеятельность, вызывавшая вспышки гнева, перемежаемые периодами угрюмой замкнутости. Папа возмущался моими отметками, не упускал случая напомнить о собственных блестящих академических успехах, и обвинял меня в лени, что, безусловно, было справедливо. Я имел глупость выбрать в школе современную программу точных наук вместо классической гуманитарной только потому, что ее выбрали несколько моих друзей, и теперь математика, физика и химия угнетали меня, как никогда раньше.

Физика просто лежала за пределами моего понимания. Я не мог понять предлагаемых мне разъяснений,

почему воображаемые колеса, спускаясь по гипотетическим склонам, набирают скорость и создают трение, да меня это никоим образом и не волновало. Что же до химии, то от едких запахов химической лаборатории меня мутило, не говоря уж о том, что я всегда опасался мочить пальцы в любой жидкости, непохожей запахом на воду.

Точные науки вел некто по имени Ф. Оу. М. Ирп, чем и заслужил у нас прозвище Фоум *. Фоум так глубоко погряз в научных абстракциях, что частенько указывал перстом в пространство между двумя учениками и приказывал «вот этому» подойти к нему после уроков. Поскольку ему ни разу не удалось ткнуть пальцем точно в когонибудь из нас, то никто к нему после уроков и не приходил, а к тому времени он уже и сам обо всем забывал. Однажды Фоум смешал в пробирке какие-то жидкости. Раздался оглушительный взрыв, в лаборатории из окон вылетели стекла. Когда дым рассеялся, Фоума не осталось и следа. Исчез, как в волшебной сказке. По классу пронесся ощутимый вздох изумления, нечто среднее между сдавленным смешком и всхлипом ужаса, и затем из-за учительского стола медленно поднялся Фоум. Растрепанный, закопченный, израненный осколками стекла.

— В чем я ошибся, объясни вот ты, — бесстрастно сказал он, ткнув в пространство меж мной и моим соседом.

Весь класс облегченно разразился взрывом хохота.

Фоум даже не улыбнулся.

— Мальчик, вызвавший смех, подойдет ко мне после уроков.

Не подошли, конечно, ни я, ни мой сосед.

Поскольку преподавателей не хватало уже тогда, Фоуму наряду с химией приходилось преподавать богословие, с которым он был знаком более чем поверхностно. Но Фоум легко справился с трудностями, которые могли бы поставить в тупик людей менее изобретательных, — он начал анализировать евангельские чудеса с научной точки зрения. Всех подробностей память не сохранила, но одну вещь я помню хорошо. Фоум объяснял превращение воды в вино добавлением в воду перманганата поташа, чем легко можно было объегорить толпу легковерных простаков.

Из спортивных занятий я выбрал теннис, единственный вид спорта, вызывающий у меня симпатию, но полу-

---

* Foam — пена *(англ.)*.

чил отказ в связи с нехваткой кортов и был зачислен в команду гребцов. Гребля казалась мне занятием нудным. К тому же в лодке сильно продувает, да и как-то глупо тратить столько усилий, чтобы передвигаться куда-то спиной вперед. Более того, юноше моей комплекции становилось не по себе в лодке, явно сделанной из сигарных оберток и вот-вот готовой черпнуть бортом воду.

В конечном счете я нечаянно отомстил моим мучителям во время «дружеских» соревнований с восьмеркой другой школы. Бывший выпускник, подаривший Вестминстеру лодку, на которой я греб, ехал на велосипеде вдоль берега, неразборчиво выкрикивая нам инструкции в мегафон. Ему перевалило за шестьдесят, и он надел школьный наряд, чтобы вдохновить нас всем весом своего путаного жизненного опыта. Соперники тем временем постепенно исчезали из виду. Сначала, скосив глаз, я еще видел их головы — сначала девятерых, затем восьмерых, затем семерых. Затем я не видел ничего, кроме колыхавшейся от ударов весел воды.

Здесь и пришел конец моим несчастьям.

Хрупкое сиденье подо мной сорвалось с полозьев и сдвинулось вбок. Я тут же «чиркнул» веслом — и, пытаясь не дать воде вырвать весло из рук, навалился на него и пропорол колесом сиденья корпус лодки. Мы начали тонуть. Нет более нелепого зрелища, чем вид восьми человек и сидящего лицом к ним девятого небольшого, с жокея ростом человечка, грациозно гуськом уходящих в воду. Ветеран на берегу, которому лодка влетела в копеечку, громко застонал, но поскольку этот горестный звук оказался искажен мегафоном, то и ветеран с его горем выглядел не менее гротескно, чем все остальные. Течение прибило нас, беспомощных, прямо к борту стоявшего на якоре посреди Темзы голландского корабля, матросы которого, и не думая нам помочь, перевешивались через поручни и тут же заключали пари, кто более метко наплюет нам на головы. После этого каким-то чудотворным образом для меня сразу нашлось место на теннисном корте. Так я получил еще один урок.

Иногда я ухитрялся обыгрывать членов теннисной школьной команды в неофициальных играх, но сам в состав команды был допущен всего лишь раз, да и то запасным. Я пришел к заключению, что мой характер чем-то приходится не по душе преподавателям физкультуры, а то неуловимое, что обычно помогает мне избегать серьезных неприятностей, мешает и воспринимать меня всерьез

как спортсмена. Хотя я полностью унаследовал мамин спринтерский талант, хотя мне не хватало дыхания пробежать милю, хотя я не мог прыгнуть ни в длину, ни в высоту, я проявлял, посмею сказать, и даже сейчас проявляю удивительную подвижность на теннисном корте. Иными словами, я вполне способен двигаться быстро, если вижу в этом смысл.

Стремясь поднять настроение, которое у меня тогда было совсем неважным, я записался участвовать в турнире, проводимом ностальгической организацией, именуемой «Англо-русский спортивный клуб», где семидесятилетние царские офицеры в безупречно белых костюмах все время подавали друг другу «свечи», то и дело прерывая игру. Раздевалкой заведовал пожилой унтер, лысый, как колено, с пристальным взглядом голубых глаз и седой бородкой клинышком. Говорил унтер короткими отрывистыми фразами и после каждой щелкал каблуками. Он подавал в буфете кашу, блины и селедку, а также приносил горячие полотенца после холодноватого душа. Хорошо жилось на броненосце «Потемкин» до восстания, во всяком случае — хорошо жилось офицерам. Этот скромный турнир я выиграл и получил в награду набор разноцветных пепельниц, которые до сих пор храню бережно, будто это работы Фаберже.

Настроение же у меня было скверное не только из-за скверных дел дома и в школе, но и из-за маячившего впереди неприступного барьера экзаменов, именуемых ныне выпускными, а ранее — экзаменами на аттестат, доставляющих столько мучений молодежи во все времена и во всех странах. Слухи бродили тогда точно так же, как и сейчас. Без аттестата даже в дворники не возьмут. А в случае войны — только в рядовые и навсегда. А в Японии большинство самоубийств вызвано провалами на экзаменах. И так далее, и тому подобное...

Не оставалось почти никакой надежды, что я осилю экзамены на аттестат, особенно по точным наукам. Несмотря на недурную успеваемость по отдельным предметам, я безысходно плавал в математике, физике и химии, что не оставляло мне абсолютно никаких надежд. Дома я не получал почти никакой поддержки, хотя объективности ради должен сказать, что вряд ли поддержка родителей помогла бы мне.

По мере того как папа привыкал к новому положению дел, его характер становился чуть более уравновешенным. Стремление бороться с бедами проявлялось у него

самыми различными путями. Раз в несколько месяцев он объявлял, что начал писать роман. В доме запрещалось шуметь. Папа обосновывался в гостиной, а мы ходили на цыпочках по оставшемуся нам небольшому пространству. К концу дня папа выплывал из гостиной с единственным листочком бумаги, исписанным и исчерканным вдоль и поперек, как рукопись Бетховена. Затем он читал нам первую страницу будущего романа. От души повеселив нас — папа неизменно выдерживал стиль насмешливо эпиграммный, — он в течение последующих месяца-полутора читал свой набросок посетителям и гостям, пока текст ему не приедался. Затем все в доме стихало вплоть до начала работы над новым романом, а затем история повторялась. То, что папа написал шесть или семь кратчайших романов в мире, представляет интерес не столько для анналов литературоведения, сколько для «Книги рекордов Гиннеса».

Когда литературное вдохновение угасло, папа занялся торговлей произведениями искусства и поначалу проявил в этой области больше рвения, чем умения. Но вскоре он проявил свойство куда более важное, нежели просто знание дела, — безошибочный инстинкт. Хоть папа нередко и ошибался по мелочам, но по особым случаям он брал атлас Британских островов и булавку и сидел, застыв, подобно медиуму, ожидающему сигнала. Услышав его, папа втыкал булавку в атлас, надевал шляпу, брал тросточку и молча покидал дом.

В результате этих таинственных интуитивных поисков он однажды вернулся (подумать только!) из Тьюксбери с сангиной Рубенса, изображающей «Фарнезского быка» *, которую он впоследствии продал амстердамскому музею за тысячу фунтов — сумму, весьма скромную даже по тем временам, но оказавшуюся большим достижением для него. Затем папа погружался в бездействие, находя силы разве что для одного-двух романов, а когда кончались деньги, снова брался за атлас и булавку. Другие его вылазки в английскую глушь принесли нам несколько небольших эскизов маслом Хогарта к батлеровскому «Гудибрасу **, давно считавшихся бесследно утерянными, не

---

* «Фарнезский бык» — древнегреческая скульптурная группа, принадлежащая Национальному музею в Неаполе.

** Батлер, Сэмюэл (1612—1680) — английский писатель. Его незаконченная поэма «Гудибрас» (1663—1678) сатирически описывала ханжеские нравы буржуа-пуритан периода Английской революции.

говоря уже о работах Бонингтона *, нескольких рисунках Константина Гайса **, картине Домье и коллекции бронзы эпохи Ренессанса.

Мама, казалось, меньше поддавалась повседневным житейским неурядицам, чем мы с отцом, поскольку именно она и удерживала семью более или менее на плаву. У мамы установилась репутация сложившейся художницы, ее картины висели даже в таких известных музеях, как галерея Тейт и институт Карнеги. Помимо живописи, мама была известна и как театральный, особенно балетный, художник. Мама проводила все больше и больше времени в театре, делая эскизы для «Компани Кенз», авангардной французской труппы, руководимой Мишелем Сен-Дени, только недавно перебравшимся в Англию, чтобы создать здесь театральную школу. Мама, в конце концов, принадлежала, как я уже отмечал, к семье Бенуа, клану, члены которого пришли бы в шок от одной только мысли, что кто-либо из их отпрысков захочет делать карьеру на фондовой бирже, и посоветовали бы ему заняться скульптурой как более надежной профессией. Итак, мама взглянула фактам в глаза и поняла, куда лучше отдавая себе отчет в реальном положении дел, чем мы с папой, что экзаменов на аттестат мне не сдать. Поняла она и то, какой страшный скандал разразится в семье, когда станет известно о моем провале. Так зачем же меня морально увечить, решила мама, если я все равно не собираюсь становиться ни химиком, ни врачом, ни даже бухгалтером? И разве не развлекал я своими пародиями малые аудитории? А какая разница между малой аудиторией и большой, кроме количества людей?

Приличия ради папа начал возражать, но его внимание все больше и больше занимала грядущая неизбежность войны. Многие выдающиеся немцы приходили к нам обсуждать недавние речи Гитлера и горько жаловаться на слепоту западных демократий. Зловещая атмосфера давала себя знать даже в стенах школы, по мере того как законное правительство Испании терпело поражения в гражданской войне, а фашистские диктаторы Германии и Италии распоясывались все больше, поощряемые нашим снисходительным безразличием.

Незадолго до моего ухода из Вестминстера наш класс

---

* Бонингтон, Ричард (1801—1828) — английский живописец, один из первых мастеров пленэрной живописи.

** Гайс, Константин (1802—1892) — французский художник, соратник Байрона в войне за независимость Греции.

провел шуточные выборы. Подобные упражнения поощрялись директором для воспитания духа гражданственности. Мы все произносили речи и вели избирательную кампанию. Естественно, что в такой школе, как Вестминстер, победить должны консерваторы, но успех, достигнутый либералами и социалистами, особенно после того, как мы объединились в своего рода Народный фронт, именуемый Объединенным фронтом прогрессивных сил («Офпрос»), вызвал у администрации даже смятение. Директор встретился с нашей делегацией, желая убедиться в отсутствии у нас подрывных или антидемократических настроений, и, обнаружив, что нас просто выводит из себя самодовольность консервативного большинства, благословил одной из самых экстравагантных своих улыбок.

Я вспоминаю об этом абсолютно безо всякого намерения придать нашим поступкам какую-то значимость, но, окидывая взглядом прошлое, интересно отметить все же накал страстей, уже в 1937 году бурливших в одном из самых аристократичных учебных заведений. Интересно вспомнить и то, что молодежь делилась почти поровну на безоговорочных сторонников политики умиротворения, проводимой Чемберленом, и сторонников отпора агрессии, пока не поздно. Были такие, пусть молодые, неопытные и дурашливые во многих других отношениях, кто сумел предугадать грядущее. Во многих последующих дебатах я не принял участия, потому что проходил конкурсный просмотр в театральную школу Сен-Дени в Айлингтоне. Характерно, что условий конкурса я не понял. Одним из заданий было выбрать и выучить наизусть страницу любой известной драмы. Я не сообразил, что учить надо одну роль, а остальные будут читать студенты-старшекурсники, поэтому я выбрал наугад страницу из «Жанны Д'Арк» Бернарда Шоу и выучил ее целиком со всеми ролями. Похоже, мой подход к делу позабавил Сен-Дени и Джорджа Девина, который также принимал экзамены, и я был зачислен, хотя они и считали, что в шестнадцать лет рановато поступать к ним в школу.

Мама упросила Сен-Дени и Девина принять меня, упирая на то, что, по ее мнению, мои глаза очень похожи на глаза Сен-Дени.

Великий человек бесстыдно вперился мне в лицо изучающим взглядом сквозь изрыгаемые из его трубки клубы дыма и согласился.

— У него хорошие глаза, — сказал он с французским акцентом и затем добавил трагическим голосом: — Но,

поймите, Надин, будет развод, будут неприятности, будет скандал, но так должно быть!

Сен-Дени возвел глаза к небу, как бы ожидая подтверждения своих таинственных слов, а я был впущен в мир взрослых, даже если мне и было еще немножко рановато.

* * *

— Что-то ты давно не подавал голоса.

— Размышлял о твоем рассказе. Главным образом о шутках, которые с нами играет память. Не память даже, а время.

— Ты заметил какие-нибудь неточности?

— Без неточностей в личных воспоминаниях не обойтись, ведь почти все в жизни — не более чем вопрос точки зрения. Нет, меня беспокоит совсем другое. Возьмем вестминстерскую школу, например, и приготовительную школу Гиббса. Любили их мы с тобой или ненавидели? Или нам просто было все равно?

— Иногда любили, хотя школу Гиббса, пожалуй, чаще, чем Вестминстер. Иногда ненавидели, хотя Вестминстер, пожалуй, чаще, чем школу Гиббса. Но в целом все же они просто составляли наш неизбежный образ жизни со всей его скукой и однообразием. Большой симпатии он у нас не вызывал.

— Что же тогда? Безразличие?

— Не совсем. Трудно оставаться безразличным, живя под сенью наказания, как и под сенью награды.

— Ты помнишь ужасного мальчишку, коловшего свои жертвы иглой ржавого медицинского шприца?

— Еще бы. Он жил на Маркхэм-сквер.

— Совершенно верно. А звали его...

— Тсс! Он уже, наверное, член Верховного суда, абсолютно респектабельный джентльмен. А тот шприц, безусловно, оказался его первым, единственным и, вероятно, необходимым соприкосновением с преступным миром.

— Трудно сказать. Помнишь Уэйкфорда, робкого паренька, что не мог выговорить «р»? Награжден Крестом Виктории за героизм в бою.

— Точно. А тот веселый гном, Веджвуд Бенн? А Майкл Фландерс, стройный и ловкий, пока его не скрутил полиомиелит? Но изменился один лишь Дональд Свонн.

— Вот видишь. Мы знаем, как относимся к этим нашим однокашникам сейчас.

— А как мы относились к ним тогда?

— Почти так же, как и сейчас. Помнишь, у тебя в школе был закадычный дружок, который много лет спустя ворвался в твою гримерную в Бостоне и оказался пьян как сапожник?

— Помню, конечно, поскольку одним Бостоном дело не ограничилось. Он врывался в твои гримерные и в Торонто, и в Лондоне, жалуясь, что его только что уволили из авиакомпании.

— Кем он был?

— Кажется, летчиком.

— Вот видишь, а я как раз и размышлял о друзьях, пока ты предавался воспоминаниям. В отличие от общепринятого мнения я не считаю, что друзья — это обязательно те, кто больше других тебе по нраву. Это просто-напросто те, с кем ты раньше других познакомился. Большинство моих друзей обладают недостатками, особенно заметными при постоянном близком общении, и тем не менее для них ты всегда дома. Даже тому пьяному ты три раза открыл двери гримерной, потому что тобою двигали чувства старинной дружбы и вины. Но все же мир полон людей, с которыми ты просто поддерживаешь отношения и с которыми мог бы близко сдружиться, лишь познакомься ты с ними на много лет раньше. В целом, думаю, мы выбираем себе друзей не больше, чем выбираем родителей. В конце концов, будь ты способен выбирать себе друзей с таким же упорством и осторожностью, с какими выбираешь жену, ты давным-давно отпугнул бы и потерял большинство из них. Нет, в дружбу просто втягиваешься, а развода в ней нет. С большинством друзей остаешься связан на всю жизнь. И дружба легко разгорается вновь, даже после долгой разлуки, и часто с людьми абсолютно неприятными, ненадежными и даже злобными.

— Означает ли это, что ты не признаешь дружбы?

— Совсем напротив, просто не представляю себе, как без нее жить. Иногда, совершив совершенно заурядный поступок — которому он хотел бы приписать незаурядность, или даже благородство, друг скажет: «А для чего ж еще существуют друзья?» Я объясню ему, для чего. Для того чтобы напоминать каждому из нас о несовершенстве окружающего нас мира, о капризах человеческой натуры, о гадостях, на которые способен человек, о ни-

зости, узкомыслии, лицемерии общества. Дружба также учит нас прощать, но никогда не забывать ни о чем. Мы все пропадем без дружбы.

— А животные, наши бессловесные друзья? Зачем нужны они?

— Напоминать нам, что если человек, увы, животное, то животные, слава богу, не люди.

— Как ты, с твоей неуемностью, можешь даже говорить о безразличии к чему-то?

— Невозможно иметь суждения обо всем на свете. И невозможно интересоваться всем. Просто не хватит энергии. Говоря о жизни, психологи часто упускают из виду такой фактор, как жизнестойкость. Почему ты четко видишь лишь тот предмет, на который смотришь? Потому что было бы не по силам постоянно фокусировать взгляд на всем, что попадает в твое поле зрения. Почему ты бываешь мечтателен? Потому, что тебе надо восстанавливать силы, а постоянная сосредоточенность невозможна. Веки — и те мигают. И так же устроены наши чувства. Наступает, наверное, время любить и время ненавидеть, но большая часть времени проходит и без того, и без другого. Пассивное безразличие приносит отдых, активное — оскорбляет. Безразличие можно взращивать. «Il faut cultiver son desert», как сказал бы Вольтер *. Я готов поклясться, что куда больше трагедий порождено человеческим безразличием, чем человеческим участием, и в то же время безразличие служит стражем душевного равновесия, бальзамом на раны, пристанищем в бурю.

— Итак, ты безразличен?

— Сейчас я могу со страстью отнестись к тому, к чему был безразличен тогда.

— Почему?

— Потому, пожалуй, что, потрать я свой пыл на тех людей и на те давние события в тех местах, во мне не осталось бы ничего, кроме безразличия, сейчас. Все дело в запасе жизненных сил.

— Жизненных сил?

6

Возможность ходить в школу одетым как хочется была в новинку и вдохновляла меня. Но поскольку мой гар-

* Надо возделывать свою пустыню *(франц.)*. — Перефраз известного изречения Вольтера: «Надо возделывать свой сад». Вольтер Ф. Кандид, перевод Ф. Сологуба.

дероб состоял из одного-единственного костюма, приобретенного в заведении, с идиотским оптимизмом именуемом «Портновские услуги за пятьдесят шиллингов», то сей яркий символ независимости превратился в своеобразный мундир. И полностью дыхание свободы я ощутил лишь тогда, когда наскреб денег на пару серых фланелевых брюк и броский блейзер. Человек, не привыкший к выбору, я часто опаздывал на занятия, потому что никак не мог выбрать, какой из двух моих туалетов надеть.

Проблемой, разумеется, оставались и деньги. Несколько ранее папа, охваченный внезапным приливом родительской щедрости, торжественно объявил, что мне уже пора иметь карманные деньги. Затем он достал шиллинг и объяснил, что таково будет мое еженедельное пособие. Естественно, меня столь же восхитил папин жест, сколь и разочаровала отпущенная сумма. Однако мне, постоянному читателю папиных романов, вообще не следовало ни восхищаться, ни разочаровываться, поскольку никаких карманных денег я больше никогда не получал. Если же я напоминал о них Клопу, тот либо заявлял, что еще не прошло и недели со дня последней выплаты («Какой выплаты?» — «Не будь нахалом!»), либо безапелляционно выговаривал мне за мотовство, хотя называть меня мотом было почти все равно, что назвать толстяком Махатму Ганди.

Клоп отнюдь не страдал скаредностью, он просто не рассматривал деньги как существенную ступень на пути к цивилизованному существованию. И, отказываясь признавать угрозу нищеты собственному благополучию, тем более не считал нужным признавать ее угрозу благополучию тех, кто обладал меньшим даром ухода от действительности, чем он. Поэтому мне иногда хотелось заставить его понять, что он беден и что быть бедным куда менее обременительно, чем оставаться этим чудом из чудес — безденежным богачом.

Все же трудно было винить отца за то, что он смотрел фактам в глаза и ничего не видел. Даже если я и переживал временами, то всегда утешался тем, что нужда никоим образом не сломила отца. Унижения, действительные или воображаемые оскорбления, пренебрежение и обиды сказывались на нем, но, оставшись без гроша, папа лишь похлопывал по карманам, как бы пытаясь поймать вечно разбегающиеся деньги, которых там отродясь и не водилось, и возмущался людьми, не приученны-

ми к порядку. Затем с пустым бумажником отправлялся по магазинам и приглашал гостей к ужину.

Как поймет каждый, обладающий элементарной финансовой сметкой, прожить абсолютно без гроша я не мог, тем более что театральная школа находилась на другом конце Лондона. Выручала меня, разумеется, мама, уделяя мне все возможное из своих тайных источников — то от продажи картины, то урывая от расходов на хозяйство, то экономя на чем могла. Одному богу ведомо, как она ухитрялась не терять голову и с невероятным спокойствием стоять за мольбертом, попыхивая сигаретой, не обращая внимания даже на папины советы. Революция, наверное, научила ее жить настоящим, ни на секунду не поддаваясь искушению жить прошлым, как большинство других эмигрантов.

Мои финансовые запросы были более чем скромны, поскольку я с глубоким уважением относился к тяготам жизни, но, разумеется, помимо вновь обретенной свободы одежды, я впервые в жизни познакомился с миром девушек.

Раньше я бывал на танцах, где решительно и упорно подпирал стены, считая бессмысленным заключать в объятия партнершу по вальсу или танго, когда думать способен лишь о том, как не сбиться со сложного ритма. Иными словами, я не был прирожденным танцором ни по складу, ни по сложению. Танцы казались мне больше математикой, чем хореографией, а допущенная ошибка грозила наказанием куда более ощутимым и болезненным, чем в школе: треск рвущейся тонкой ткани или вопль боли. Много лет спустя я даже нашел в себе достаточно мужества отклонить милостивое приглашение (а может, повеление?) танцевать с королевой, предупредив ее о возможных физических последствиях подобного шага. Хорошо, что за много веков развития британская демократия достигла нынешних высот: в ответ на высказанное мною сожаление Елизавета Вторая удостоила меня благосклонной улыбкой, в то время как при Елизавете Первой подобный отказ стоил бы мне головы. Хотя, сказать по правде, пуститься в веселый пляс с Елизаветой Первой было бы не так опасно, поскольку при ширине тогдашних юбок отдавить монаршьи ноги мог лишь целеустремленный злоумышленник, но никак не растяпа-партнер.

Случалось мне на каникулах и купаться нагишом в горных озерах вместе с девочками и женщинами под при-

смотром крестной, большой любительницы природы. Она водила нас в туристские походы, неизменно заканчивающиеся омовениями в горных водах в знак слияния с матерью-землей, но и в этих случаях леденящая температура воды действовала на меня, как ритм в танцах, вытесняя все иные возможные помыслы.

В театральной же школе я впервые оказался в постоянном обществе целой армии девушек, одетых в день начала учебы в черные купальные костюмы. Всех, кроме одной — канадки по имени Бетти (называть ее фамилию воздержусь), чей черный костюм не прибыл вовремя. Одетая в розовые панталоны и лифчик, Бетти таилась за нашими спинами, подобно рубенсовской нимфе, случайно угодившей на шабаш ведьм.

С большим опозданием началась настоящая жизнь. Радуясь, что рядом нет папы, я сколько угодно мог разглядывать грациозные создания, не опасаясь непрошеных советов и замечаний. Карманные деньги были нужны как никогда.

Непреодолимой тяги к сцене я не испытывал. Она послужила выходом, позволившим уйти от гнетущей крысиной гонки Вестминстера, но я толком не мог понять, как актеры ухитряются заучивать свои длиннейшие роли, и, сознаюсь, не понимаю этого и по сей день, как и не понимаю способности музыканта вызубрить ноты. Тем не менее еще в Вестминстере я начал писать пьесы. Сначала, помню, написал комедию-фарс-трагедию-мелодраму о чикагских гангстерах в английской провинции. Пятнадцать страниц, выстроенных, как настоящая пьеса. На каждую страницу приходилось четыре-пять смертей, следовательно, действующих лиц было много и не жаль. Я писал эту вещь на уроке математики. Учитель заметил и наказал меня, оставив после уроков. Я оказался единственным наказанным в тот день; воспитатель, надзиравший за наказанными учениками, счел ниже своего достоинства возиться с одним только мальчишкой и предоставил меня самому себе. В итоге я получил уникальную возможность творить в идеальных условиях. Но последней все же посмеялась школа: пьеса вышла никудышная.

После нее я писал и другие: пьеса «Джексон», сделанная несколько под Пристли, посвящалась проблемам среднего человека, но поскольку жизни среднего человека я не знал, вышло нечто довольно загадочное. Затем последовала драма под Пиранделло, озаглавленная «Нелег-

кие мысли о лжи», в которой образы, созданные бездарным драматургом, оживают, заставляют его взглянуть на себя со стороны и доводят до самоубийства. Написал я и драму в стихах об императоре Мексики Максимилиане *, названную, разумеется, «La Paloma» **. Наиболее же показательной, если не самой удачной из всей написанной мною дребедени, можно считать мою единственную попытку создания автобиографии под видом художественного произведения — пьесу «Трио» об отце, матери и сыне. В ней было куда больше склочности, а также умственной и физической раздерганности, чем в «Оглянись во гневе», но, разумеется, куда меньше сценической дисциплины.

Если работа над этой пьесой — так и оставшейся незавершенной — не принесла мне иных плодов, то убедила меня, что в жизни я хочу лишь одного— вырваться из дому. О побеге у меня не появлялось и мысли. Характер не тот, да и поздновато для подобных жестов. Родители зачаровывали меня, и мне хотелось продолжать поддерживать с ними отношения с независимых и достойных позиций. Я также считал — не знаю, правильно или нет, — что мое отсутствие поможет им вновь открыть для себя друг друга такими, какими они друг друга знали на протяжении коротких девяти месяцев, прежде чем жизнь осложнилась моим появлением на свет. Со мною так долго обращались, как с не выросшим из коротких штанишек взрослым, что мне просто не терпелось обрести профессию и отвечать за самого себя. Я делал медленные, однако заметные успехи в осязаемых аспектах избранного мною искусства, но оценки получал куда более обидные и суровые, чем когда-либо в школе Гиббса или в Вестминстере: «Ему еще работать и работать». «До сих пор ужасно скованны движения». «Ни пройти, ни пробежать, ни прыгнуть толком не может». «На гимнастике вечно рассеян». «Голос незвучный и монотонный» — доброжелательным, но суровым предсказаниям моей безнадежности не было конца, и папа, к тому времени сменивший монокль на очки, чтобы не выглядеть пруссаком, читал эти замечания с нарастающим беспокойством.

---

* Максимилиан Габсбург (1832—1867) — австрийский эрцгерцог, брат императора Франца-Иосифа I. В 1864 году в ходе англо-франко-испанской интервенции в Мексику был провозглашен мексиканским императором. После эвакуации французских войск из Мексики казнен.

** La Paloma — голубка *(исп.)*.

— В твои годы, — говорил он, — я был гибок, как ива, я лучше всех ходил, бегал и прыгал, никогда не позволял себе рассеянности, чем бы ни занимался, а уж голос у меня был сильный и звучный. Ничего из тебя не выйдет. Ничего.

У папы прибавилось уверенности в себе — он нашел, наконец, работу, настолько секретную, что ее характер не оставлял сомнений. У нас дома один за другим появлялись необычные гости: британские полковники, до того молчаливые, что одно лишь их присутствие казалось секретным паролем; иностранные господа, окидывающие друг друга многозначительными взглядами и тут же притворяющиеся, будто смотрели в другую сторону. В доме сгущалась атмосфера недомолвок и тайн, и меня предостерегли от каких бы то ни было вопросов, что само по себе достаточно ясно отвечало на добрую часть их.

Когда папа оставил службу в министерстве иностранных дел Германии, некоторые высокопоставленные англичане, в том числе и глава агентства Рейтер сэр Фредерик Джоунз, отказались поддержать его просьбу о предоставлении британского подданства, опасаясь «оскорбить подобным шагом германское правительство». Однако сэр Роберт Ванситтарт оскорбить чувства нацистов не постеснялся. В результате Клоп вышел в последний раз из немецкого посольства с британским паспортом в кармане. На Бендлерштрассе * незамедлительно среагировали, приказав ему немедленно возвратиться в Берлин «для доклада». Полчаса спустя за этой телеграммой последовала еще одна — из Генерального штаба вооруженных сил Германии, возбранявшая папе, как бывшему офицеру и кавалеру Железного креста, возвращаться в Германию. Этот факт — интересное свидетельство царившей тогда атмосферы.

Однажды, уже в 1938 году, вернувшись из театральной школы, я заметил, что Клопа охватило обычно несвойственное ему возбуждение. На столе стояли бокалы, раскрытая коробка сигар, в ведерке со льдом лежала бутылка шампанского.

— Ты сегодня задержался, — резко сказал папа.

Я начал придумывать оправдание.

— Мне не до этого, — прорычал папа. — Пойдешь в кино.

---

* Улица в Берлине, где находилось министерство иностранных дел Германии.

— Что прикажешь смотреть? — спросил я. Когда я был помладше, мы иногда ходили всей семьей на признанный приемлемым фильм.

— Какое мне дело, что ты будешь смотреть?

— Но мне нужны деньги.

— Опять!

— Последний раз ты дал мне денег в 1934 году.

Разгневанный папа пошарил в брючном кармане и неохотно достал шесть пенсов.

— Этого на билет не хватит.

— Необязательно покупать билет на хорошие места.

— Этого не хватит и на плохое, — пробормотал я.

— С каких это пор? — заорал папа так, будто я сообщил ему, что идет война.

— Да уж года два, как билеты подорожали, — ответил я.

— Сколько теперь стоит билет?

— Девять пенсов.

— Девять пенсов! — завопил папа.

На выручку с тремя пенсами пришла мама, и я отправился выполнять полученное мною таинственное задание.

Я явно опоздал. Мы жили на четвертом этаже дома викторианской постройки, без лифта. Спустившись до второго этажа, я был вынужден прижаться к стене, чтобы пропустить процессию пожилых господ, с трудом поднимающихся по ступенькам, сопя и отдуваясь, подобно бредущему на водопой стаду немолодых слонов. Меня они просто не заметили, целиком сосредоточившись на совершаемых усилиях и то и дело поглядывая вверх проверить, долго ли еще подниматься. Наконец, последний из них прошел мимо, и путь был свободен.

Я уже не помню, что смотрел в местном кинотеатре, но домой вернулся затемно. Взлетев на четвертый этаж, я прошел сквозь клубы сизого сигарного дыма. Тонкая полоска света под дверью гостиной и приглушенные голоса за ней навели на мысль, что вторгаться туда было бы неосмотрительно. Я почистил зубы и лег спать. Когда я проснулся утром, родители еще не встали. Я вскипятил чаю и отправился в школу, тут же забыв о событиях предыдущего дня.

Вспомнил я о них по какой-то причине лишь несколько лет спустя, уже во время войны, и решил расспросить Клопа. Клоп был в разговорчивом настроении. Как следует из его рассказа, ему позвонил из телефона-автомата немецкий военный атташе генерал-майор Гейр

Швеппенбург и пожаловался, что за время пребывания на посту посла Риббентроп настолько восстановил против посольства английское общественное мнение, что контакты с влиятельными людьми стали невозможными.

— Уважаемый фон Устинов, — сказал генерал, — вы единственный, кто еще способен нам помочь, и, как бы вы к нам ни относились, вы не должны отказать нам в этой просьбе. Нам просто необходимо убедить англичан занять твердую позицию в Мюнхене. Если они уступят Гитлеру сейчас, потом его уже ничто не остановит. А сейчас тем более самое время, потому что мы еще совсем не готовы к войне. Даже сравнительно простая операция по аннексии Австрии продемонстрировала огромные недочеты в материальном обеспечении войск и организации работы штабов для проведения крупномасштабных кампаний.

— Чего же вы хотите от меня? — спросил Клоп.

— Если вы сумеете устроить встречу представителей британского и германского генштабов, — ответил генерал, — наши люди возьмут отпуска в разные дни и каждый кружным путем по отдельности прибудет в Лондон.

Для интересующихся историей сообщаю, что эта встреча состоялась на четвертом этаже дома 134 в Редклиф-гарденз, в Лондоне, пока я находился в кино. А результаты?

— Англичане отказались сотрудничать, опасаясь, что все это гигантская провокация немцев, — объяснил Клоп.

После войны в Западной Германии вышла книга генерала Гейра фон Швеппенбурга, в которой он подтвердил эти факты.

Некоторое время спустя, также после начала войны, я опознал одного из молчаливых английских офицеров, бывавших в нашем доме, в майоре Стивенсе, хитрюге из хитрюг. Дня два спустя после нашей с ним встречи он тайно появился на голландско-немецкой границе, чтобы встретить высокопоставленного перебежчика из Германии. На этот раз британский генеральный штаб не заподозрил немцев в изощренной провокации, но именно на провокацию и клюнул. Майор Стивенс не встретил несуществующего немецкого перебежчика, но был схвачен и вывезен в Германию сам, где провел четыре долгих и, несомненно, героических года, так же храня молчание, как и раньше.

После случившейся неувязки меня больше не от-

правляли в кино. Просто попросили никому не рассказывать, кто бывает у нас дома. Занятно было смотреть, однако, как Клоп, когда-то изображавший щеголеватого немецкого офицера, искоренял прежние привычки и все больше и больше принимал обличье британца. Он даже начал запинаться на некоторых словах и увлекаться всем набором ораторских приемов, символизирующих политических деятелей консервативной партии. Даже о британском флоте Клоп говорил как о чем-то личном, дорогом и близком, а когда после войны его убеждали писать мемуары, наотрез отказался, не желая упоминать свои наиболее интересные дела из боязни, как он сам выразился, «подвести своих» — и это после того, что каждый мало-мальски важный генерал давно уже все раззвонил на весь белый свет. В своей признательности Британии Клоп стал лоялен до трогательного абсурда, считая, что любой обрывок информации о давно минувших событиях все еще способен сыграть на руку врагу, давно покрывшему себя позором, разбитому и развеянному на боливийских и парагвайских ветрах.

Пока дома происходили столь необычные события — я никогда и знать не мог, кто и что ждет меня на лестнице, — в драматической школе, слава богу, дела шли менее драматично. Я понемногу начал приобретать авторитет у Джона Баррела и особенно у Джорджа Девина, обучавшего нас искусству импровизации. На уроках гимнастики и постановки голоса я по-прежнему отставал от других, но когда применял обретенную на занятиях технику при работе с драматургическим, особенно комическим текстом, значительный прогресс был налицо. В общем, я увлекся, наконец, делом, которым занимался, и впервые в жизни работа превратилась для меня в удовольствие. Даже если театр еще не стал для меня призванием, он уже становился профессией.

Мою решимость укрепило письмо Александра Бенуа, моего двоюродного деда*, ставившего когда-то Мольера и Гольдони на сцене Московского Художественного театра, постоянно ссорясь со Станиславским из-за изматывающе долгих репетиций, на которых от актеров требовалось проницательно раскрывать нехитрые тайны

---

* Бенуа Александр Николаевич (1870—1960) — русский художник, историк искусства, художественный критик. Художественный руководитель дягилевских «Русских сезонов» в Париже (1908—1911). В 1913—1915 годах — режиссер МХТ. С 1926 года жил во Франции.

этих пьес, хотя таковое было возможно лишь с помощью зрительного зала. Станиславский же настаивал на применении к любой драматургии принципов, разработанных им для драматургии Чехова.

Однажды пришедшего в ярость Бенуа утешил Артем *, уважаемый актер, создавший роль Фирса в постановке «Вишневого сада».

— Да не волнуйтесь вы, — посоветовал старик. — Берите пример с меня. Притворяйтесь. Станиславский уверен, что обратил меня в свой метод. А я просто делаю все то же самое, что делал в старых театрах.

И вот сейчас Бенуа прислал мне памятное на всю жизнь письмо, приветствуя мое вступление в профессиональный мир. «На протяжении двух столетий, — писал он, — наша семья ходила вокруг да около сцены. Мы создавали для нее декорации и костюмы, писали для нее музыку, дирижировали на ней, аплодировали и спали в зале. И вот, наконец, одному из нас хватило смелости выйти на сцену играть!»

Даже если Александр Бенуа и был не совсем прав, забыв о собственных прадеде и прабабке, блиставших на балетной сцене, его письмо преисполнило меня уверенностью, столь необходимой в преодолении стоящих передо мною трудностей.

Пример, показанный им, этим не ограничивается. Над моим рабочим столом висят три эскиза к «Петрушке», сделанных для восстановления его былого шедевра, когда Александру Бенуа уже исполнилось восемьдесят семь лет. Но рука художника осталась по-прежнему уверенной и твердой.

Очень во многом осознать себя как личность помогла мне первая любовь. Наконец, мучительно поздно, вместо того чтобы вынужденно подтверждать или опровергать папины оценки проходящих мимо дам, я смотрел и увивался за ними сам, руководствуясь чистым инстинктом, и явно отнюдь не безуспешно. Эту девушку я заметил в первый же день. Она отнюдь не блистала красотой, не принадлежала к какому-либо характерному типу. Но я почувствовал в ней тайну, и одного этого было достаточно, чтобы привести мои мысли и чувства в смятение. Я поймал себя на том, что обдумываю, как бы сесть поближе к ней, попасться ей на глаза или очутиться пря-

* Артем — Артемьев Александр Родионович (1842—1914) — русский актер. С 1888 года играл в Обществе искусства и литературы, с 1898 года в МХТ.

мо за ней. В конце концов мы прибились друг к другу.

Ее звали Изольда, она была дочерью драматурга Реджиналда Денэма, остроумного и вечно юного человека. Он развелся с матерью Изольды, очаровательно рассеянной женщиной восхитительных форм, вступившей в союз с офицером-шотландцем и приютившейся под его кровом в Хайгейте. Атмосфера в их доме была весьма натянутой, поскольку со времен первой мировой войны офицер сохранил стальную каску и заряженный револьвер, который подвесил на двери спальни, пообещав использовать на себе, если только любовница его бросит.

Выражение, появлявшееся в минуты волнения в его налитых кровью глазах, склоняло верить в искренность его угрозы.

Вносило свою лепту и присутствие двух здоровенных парней — его сыновей от предыдущего брака. У одного из них прорезалась нездоровая страсть к электрогитарам: томные мелодии Гавайских островов ласкали слух вперемежку со взрывами; то и дело грохочущими в накаленной атмосфере. Помимо Изольды, в доме жили еще одна девочка помладше, плод другого замужества мамы, неуклюжий и очень забавный ребенок лет двенадцати-тринадцати по имени Анджела Лэнсбери и двое мальчиков-близнецов, ныне ставших известными продюсерами в Америке.

И выразительным символом неприкаянности, царящей в этой неслаженной семье, по дому носился щенок ищейки, обретший привлекательную привычку класть лапы на плечи, мочась вам на ноги.

— Маленький еще, — рычал при этом явно довольный офицер-шотландец.

Становилось ясно, что у бедняжки Изольды было еще больше основания рваться из дома, чем у меня, и с открытием наших общих тайн и нищеты между нами возникла прочная и утешающая связующая нить.

Работать лишь для себя самого никогда не приносило мне особого удовлетворения. Видно, есть во мне что-то глубоко патриархальное, атавистическая потребность отвечать за клан, или семью, противоречащая временами моей потребности и привычке быть одному. Какую отсюда ни выводи мораль, одно несомненно — привязанность к конкретному человеку намного улучшила результаты моей работы. Теперь я трудился ради конкретной цели, создавая нечто конкретное, тайно красуясь перед моей избранницей, моей болельщицей на турнирах умов.

Наши отношения знали и взлеты и падения, но, несмотря на неурядицы, я держался за них так, будто от этого зависела моя жизнь Жили мы по-прежнему в своих домах и были целомудренны, как пуритане. Летние каникулы ознаменовались моим первым публичным выступлением на сцене маленького театра в Суррее, именуемого «Барн». Подражая, надо полагать, Мишелю Сен-Дени и Джорджу Девину, которые оба курили трубки, как будто трубки символизировали принадлежность к сонму верховных жрецов театрального культа, купил себе трубку и я. Впервые в жизни взял такси и отправился на вокзал Виктории, откуда мне предстояло добираться поездом до места моего первого выступления. В кабине я закурил трубку и сказал себе, что теперь я — актер и еду на работу. Откинувшись на спинку сиденья, я гордо предавался размышлениям, но тут у меня закружилась голова и я с трудом подавил приступ накатившей внезапно рвоты. Расплачиваясь с водителем, я почувствовал, как лоб покрывается холодным потом. Трубка явно не подошла мне как символ возмужания.

* * *

Незадолго до окончания второго года обучения в театральной школе меня вызвал Мишель Сен-Дени. Разговор получился неловкий. Сен-Дени настоятельно считал, что в мои восемнадцать мне еще рано самостоятельно окунаться в грубый, нечистоплотный, ростовщический мир.

— Не знаю, право, что вы сможете играть, — холодно сказал он. — Шекспировских шутов разве что, да и то... Они не каждый день требуются... И есть другие, опытные актеры. Послушайте моего совета и останьтесь у нас еще на год.

Но слишком велика была снедающая меня жажда свободы, и я ответил, всеми силами пытаясь сохранить спокойствие, что готов рискнуть.

Сен-Дени смотрел на меня широко раскрытыми глазами.

— Что ж, дело ваше, — произнес он, с трудом скрывая огорчение. И добавил довольно зло: — Если вы и преуспеете, то все равно скатитесь к дешевым трюкам.

Я не ответил. Я встал и не без волнения попрощался.

Покинув кабинет месье Сен-Дени, я был готов начать самостоятельную жизнь. Я написал письма нескольким

импресарио и не получил ни одного ответа. Казалось, передо мной закрыты все двери. Замарав свою репутацию потенциального апостола, я убеждался теперь, что мест нет даже для Иуды. Но тут на горе свистнул рак, и мне дали возможность исправиться. Сен-Дени намеревался ставить «Вишневый сад», собирая состав знаменитостей, с Эдит Эванс* в роли Раневской. Ранее он создал памятную постановку «Трех сестер». Именно такие пьесы, не требующие особой наглядности и выразительности визуальных сценических средств, удавались ему лучше всего. Мне предложили быть дублером Джорджа Девина в роли Лопахина. Неплохой поворот судьбы для шекспировского шута, вышедшего в тираж, не успев начать карьеру. Я согласился и строил планы покинуть родительский дом, как только получу аванс.

Но не успели мы приступить к репетициям, как началась, увы, иная драма, замышленная Адольфом Гитлером, и по его вине мне пришлось медленно осваивать другую, совершенно не свою роль, и играть ее четыре года за куда худшее жалованье. К счастью, мне был дозволен глоток свободы, прежде чем я снова вернулся в школу — школу армии — в должности рядового, которую так бесчеловечно и с такой неосознанной издевкой именуют по-английски «приватной».

7

По меркам нынешнего ядерного века кажется и смешным, и жалким, как мы в 1939 году готовились выжить. Мы с мамой заклеили окна крест-накрест, на манер британского флага, полосками липкой бумаги, чтобы стекла не повылетали из рам, приготовили одеяла, чтобы заложить дверь гостиной в случае газовой атаки, и изучили очаровательно-допотопные инструкции на любой вариант возможных действий немцев. Согласно этому руководству жертву газовой атаки следовало эвакуировать за пределы пораженной зоны и отпаивать сладким горячим чаем, завернув в одеяла. Четкая продуманная программа мероприятий по предотвращению катастрофы.

Войну объявили в одиннадцать утра небывало погожего воскресенья, а полчаса спустя завыли сирены, возвещая первый воздушный налет на Лондон. Вместо то-

* Эванс, Эдит (1888—1976) — одна из наиболее популярных актрис своего времени, заслужившая признание прежде всего исполнением сатирических и комедийных ролей.

го, чтобы бежать в бомбоубежище, мы широко распахнули дверь и вылезли на крошечный покрытый сажей балкончик посмотреть воздушный бой. Народ высыпал на все балконы по нашей улице. Только и было толку от указаний и инструкций по гражданской обороне.

Несколько минут спустя выяснилось, что за вражескую армаду приняли огромную стаю бакланов без каких-либо опознавательных знаков на крыльях. Достойное начало «Странной войны»! *

Я все еще оставался дома и не видел на ближайшее будущее никаких перспектив. Мне стало тесно в комнате, в которой я прожил не то семь, не то восемь лет, и я упорно и безуспешно пытался не сталкиваться с таинственными людьми, по-прежнему толпящимися у нас на лестнице. Папа пребывал куда в лучшем расположении духа, чем раньше, поскольку в нем всегда была сильна авантюрная жилка, и теперь, когда нарыв был вскрыт и война объявлена, он по-настоящему ожил. Папа страстно ненавидел Гитлера и всю эту надутую мерзкую шваль. Однажды, вернувшись домой из Вестминстера, я застал папу в слезах, что случалось с ним крайне редко и заставляло меня испытывать неловкость. В тот день Муссолини напал на Эфиопию, и Клоп оплакивал своих эфиопских предков. Преисполненный решимости стать англичанином с головы до пят, он никогда не упоминал их при мне и зашел в своем трогательном маскараде достаточно далеко, чтобы предполагать неудовольствие с моей стороны, узнай я о «капле дегтя» в моих жилах. Даже мама не раскрыла этой страшной тайны в своей книге. Тоже, наверное, считала, что «подведет этим своих».

Теперь, когда Чемберлен был посрамлен и война окончательно и бесповоротно началась, Клоп проявлял достаточное присутствие духа даже в семейном кругу, чтобы предложить мне не ждать сложа руки призыва в армию, а поступить на службу в военную разведку, к чему и принял конкретные шаги, устроив мне встречу с одним из ее сотрудников. Встрече предстояло состояться у станции метро на Слоан-сквер. Я ушам своим не верил,

---

* «Странная война» — исторический термин, характеризовавший положение на Западном фронте первые девять месяцев (сентябрь 1939 — май 1940) второй мировой войны. Англо-французские и сосредоточенные против них немецкие войска бездействовали. Правительства Франции и Англии продолжали рассчитывать на примирение с Гитлером на антисоветской основе, а германская армия готовилась к наступлению против стран Западной Европы.

до того рабски копировала реальная действительность шпионские книжки: я должен был подойти к человеку, читающему «Ньюз кроникл», и спросить у него, как пройти на Итон-сквер. В ответ он спросит меня, какой дом мне нужен. Я скажу: «номер девять», после чего мы с ним пойдем вместе.

Прибыв в назначенное время к станции Слоан-сквер, я увидел человека, державшего номер «Ньюз кроникл» так, что было сразу ясно: он не читает, а просто кого-то ждет. Над развернутыми страницами торчала лишь макушка шляпы.

— Не скажете ли, как пройти на Итон-сквер? — спросил я.

Опустив газету, он осмотрел меня так, как осматривают только человека, вербуемого в секретную службу.

— Какой вам нужен дом? — осведомился он.

— Номер девять.

— Отлично, — резко сказал он, сунув газету в карман плаща. — Я укажу вам направление. Будьте любезны следовать за мной...

Мы шли вместе, но он не смотрел на меня, и я, естественно, не решался смотреть на него.

— Ваш родитель подробно и не без гордости информировал меня о вас, — сказал он. — Образование, наклонности, все такое... Поэтому мне лишь остается спросить, что заставляет вас считать себя пригодным для нашей работы?

— Не знаю, право, — ответил я. — Хорошая память. Знание языков.

— Спрекен зу дойчь? — осведомился он.

— Ja, — ответил я и даже краешком глаза сумел заметить, что произвел на него немалое впечатление.

— Парле ву ли франзэ?

— Qui, monsieur.

— Молодец...

Вскоре он взглянул на часы и вспомнил, что у него срочная встреча. Он ушел, и я подчеркнуто не последовал за ним. Почему, сам не знаю, просто решил, что людям такого сорта всегда не по нраву, если за ними идут по пятам.

Результат встречи оказался плачевным для моих джеймс-бондовских амбиций. Как мне сказали, я не подошел, поскольку не обладал неприметной внешностью, позволяющей легко затеряться в толпе. Но по тщательному размышлению именно те качества, в силу которых

из меня не получался шпион, занятнейшим образом обнадеживали меня как безработного актера. Клоп же, однако, был весьма огорчен очередной моей неудачей и в известной мере воспринял ее как нежелание перенимать семейную традицию.

Среди тех, кому приходилось на протяжении многих лет терпеть мои домашние концерты, была некая мисс Бэбс Ортвейлер, ныне миссис Хилтон, добрая знакомая родителей, устроившая мне просмотр у Леонарда Сакса, южноафриканского актера, руководившего «Плейерз» — викторианского стиля кабаре.

Я прочитал монолог, основанный на действительном событии. Однажды Вестминстер посетил одряхлевший епископ откуда-то из колоний, прочитавший в аббатстве проповедь об успешном продвижении христова воинства в самое сердце дикой Африки. Мораль его поучения излагалась нам на суахили — старик то ли забыл, то ли просто не счел нужным переводить свои мудрые речи на английский для вящей пользы британских мальчиков. Весьма жестоко приспособив проповедь восьмидесятилетнего старца для моих нечестивых целей, я успешно прошел просмотр и стал появляться на подмостках «Плейерз» в обществе Алека Клюнса, Бернарда Майлза и других знаменитостей.

Клоп, вместо того чтобы прийти в восхищение, лишь издал безнадежный глубокий вздох и пробормотал: «Даже не драматический театр... Водевиль!»

Но и сей сокрушительный вердикт был не в силах омрачить радость при мысли о том, что я буду теперь самостоятельно зарабатывать, пусть и всего пять фунтов в неделю, да и то нерегулярно — меня ведь взяли подыгрывать, а не на постоянную работу. Меня попросили сочинить еще один монолог. Так на свет появилась мадам Лизелотта Бетховен-Финк, пожилая исполнительница австрийских и немецких народных песен, выступавшая с отрывками неизвестных произведений Шуберта (неизвестных в том числе и самому Шуберту). Лизелотта Бетховен-Финк была этакой толстенькой расплывшейся миссис Малапроп *: пытаясь пояснить запутанную историческую историю семейных отношений Шуберта, она, лу-

* Миссис Малапроп — персонаж комедии Шеридана «Соперники» (1775), постоянно путающая близкие по звучанию, но не имеющие ничего общего слова. Этому персонажу английский язык обязан словом «малапропизм», означающим подобное свойство.

каво прикрыв замазанные тушью веки, язвительно сообщала, что «в этой семье известны случаи кровосмешения».

Мадам Лизелотта Бетховен-Финк пользовалась немалым успехом, удостаиваясь похвал, нечасто перепадающих начинающим авторам и исполнителям от рецензентов. К ней отнеслись в высшей степени благосклонно два таких ведущих театральных критика, как Джеймс Эгет и Айвор Браун, но даже их перещеголял Герберт Фарджон, доброжелательный эстрадный обозреватель, писавший тогда для журнала «Татлер», весьма смело охарактеризовав мою Лизелотту как образ, который вполне мог создать Эдмунд Кин, в веселую минуту развлекая друзей.

Я тем более упивался успехом, что сумел добиться хотя бы столь скромных достижений, избежав неизбежного Шекспира. Мне не пришлось быть одним из его непостижимых шутов, и даже статистом с копьем в «Макбете» Лоренса Оливье, чего удостоились некоторые избранные мои ровесники. Еще больше удовольствия я получал, когда видел отца и друзей, на цыпочках крадущихся в задние ряды, как только начиналось мое выступление, и покидавших зал прежде, чем я успевал снять грим и вернуться туда.

Рецензии Эгета, Брауна и Фарджона оказались первыми безоговорочно положительными оценками моих трудов с тех пор, как в шестилетнем возрасте я пошел в школу, и Клоп явно смирился с водевилем, коль скоро последний заслуживал критических отзывов, достойных драмы.

Лондонцы уже стали привыкать к войне, и начавшиеся бомбежки лишь укрепляли их решимость вместо того, чтобы сломить их дух. Норман Маршалл, успешно руководивший маленьким театром «Гейт», задумал эстрадное ревю. Пройдя собеседование, я впервые в жизни получил приглашение выйти на подмостки Уэст-Энда. Мое жалованье заметно возросло, и, окрыленный успехом, я отправился на поиски квартиры. Выбор был вполне типичен для меня — крошечная квартирка-студия на крыше дома на Дувр-стрит, средоточия традиционного британского лицемерия: днем торговый район для порядочного общества, ночью — для непорядочного. Обычно такая квартирка стоила бы целое состояние, невзирая на то, что по соседству жила известная проститутка, а может, именно поэтому. Сейчас же за нее просили совсем не-

много, и я тут же вцепился в нее, как будто мне предложили выгоднейшую сделку. И в голову не пришло, что застекленная крыша не только окажется плохой защитой от немецких бомбардировщиков, но и потребует изощренного и тщательного затемнения.

Поначалу мое выступление в эстрадном ревю не принесло успеха, на который я рассчитывал. Я написал новый текст, стремясь развить прежний материал, и потерял «свою» аудиторию. Это послужило мне уроком, который приходилось впоследствии неоднократно учить заново. Текста я уже не помню, как не помню толком и созданный в нем образ. Помню только, что тут же заменил его образом профессора-русиста, ревнующего Чехова к славе, и этот персонаж получился достаточно противоречивым, чтобы вызвать интерес. Он был жалок и мерзок и заставил меня задуматься в целом о парадоксах драмы. Надо учесть, что британский театр того времени изобиловал заслуженными пожилыми актерами и актрисами, жаждавшими любви аудитории, даже играя отрицательных персонажей. Сцены полнились почти что сочувственными трактовками образов негодяев, а их создатели донимали зал намеками, что если, мол, и вынуждены убить на сцене жену или мужа, то лишь из-за исключительно тяжелых времен, заставляющих повиноваться идиотским капризам авторов, но в настоящей-то жизни мы вовсе не такие.

Я подозревал тогда и твердо убежден сейчас, что интереснее всего играть роли, содержащие широкую гамму зачастую несовместимых черт, порождающих у героев непредсказуемую реакцию, обретающую последовательность лишь к финалу. Сцена, в конце концов, вряд ли может служить зеркалом всем драматургическим образам, поскольку они должны проявиться во всей своей сложности всего за два с половиной часа и, следовательно, упрощены, чтобы вместиться в жесткие рамки театральной условности. Чехов решил проблему, вводя пласты недосказанного, Пиранделло выстраивал свои парадоксы с бесстрастной четкостью. Шекспир предоставлял актерам пространство куда большее, чем требовалось. Невыразительный образ, профессионально говоря, это образ недостаточно загадочный, сценическая жизнь которого лишена человеческой достоверности.

Мой профессор-русист был настолько догматичен, что потребности в тайне просто не понимал и не испытывал вообще. Его неприятие основывалось на таких нелепо

для него звучащих фразах, как слова Нины Заречной: «Я — чайка!»

— Но это же... По-моему, этого просто не может быть, — заявлял профессор.

Ревю шло, и мы с Изольдой оформили брак. Нам обоим было по девятнадцать лет. Ни папа, ни мама словом не обмолвились о желательности или нежелательности подобного брака. Оба, наверное, были потрясены моим стремительным бегством из дома и никак не могли прийти в себя. С помощью одной достойной дамы, леди Нортон, заменявшей мне крестную мать, мы сумели отправить маму Изольды в Америку сопровождать группу детей, в которую входила и ее дочь. Этим своевременным шагом она избежала гнева, если не пули, офицера-шотландца, страсть которого без труда вытеснил патриотизм.

Изольда имела смутное представление о реалиях взрослого бытия, я же — никакого вообще. Сумей я тогда осознать, сколь был невежествен, то, несомненно, проявил бы большую осмотрительность с женитьбой. Я вовсе не собираюсь на столь позднем этапе предъявлять претензии или обвинять кого-либо в курьезности ситуации. Дело в том, что, преждевременно увидев игры соблазняющих друг друга взрослых, я проглядел целую главу жизни. Фиглярство мужчин, оценивающих женскую стать, меня раздражало, а ответная реакция женщин вызывала чуть ли не отвращение. Мне трудно писать об этом даже сегодня, после трех браков и рождения четырех детей, поскольку подобная исповедь требует истинного напряжения честности и немалого усилия памяти, чтобы вновь почувствовать себя в стенах бесплодной тюрьмы, так давно покинутой.

Я стал холоден, как пуританин. И хотя никогда не утрачивал способности любить и испытывать привязанность, мысли о плотском выражении любви для меня не существовало. Вернее, я воображал, что в нужный момент проснется какой-то глухой инстинкт, никогда не проявлявшийся ранее с достаточной силой, и выведет меня из равновесия, заставит проявить инициативу, настойчивость, умение. Я даже мог, подобно столь многим другим, непринужденно рассказывать сальные анекдоты, но реальный мой опыт исчерпывался тем, что так же непринужденно и уверенно рассказывали мне другие.

Сохранилась фотография, запечатлевшая меня в годовалом возрасте. Я стою с русской матрешкой в руках, с очевидным удовольствием размахивая в воздухе по-

ловинками этой познавательной игрушки. Очевидно, в самом раннем возрасте у меня сложилось представление, будто внутри беременной женщины находится другая беременная женщина, а в ней еще одна, и так далее, вплоть до самой маленькой, с горошинку величиной. Вряд ли мне когда приходило в голову, что этим маленьким существом может оказаться ребенок. Хочется, конечно, верить, что приходило. Но в глубине души отдаю себе отчет, что скорее всего думал, будто эмбрион — это очень маленькая женщина, одетая, разумеется, в пейзанский костюм.

Справедливость подобного допущения подтверждается еще одним обстоятельством. Когда мама в моем возмутительно позднем отрочестве объяснила мне факты жизни (папа постеснялся говорить со мной о мужчинах, хотя всегда охотно распространялся о женщинах), я испытал острое и долго не проходящее неверие. Прежде всего меня охватил острый приступ клаустрофобии. Я не мог понять, как пережил девять месяцев заточения в животе без глотка свежего воздуха. Привыкнув, наконец, к сей мысли, я быстро смирился и с мыслью, что процесс этот, безусловно, странен, но и не более странен, чем некоторые другие явления, к которым привлекалось мое внимание.

Мне кажется, я всегда на полшага отставал от других, не имея братьев и сестер и воспитываясь в атмосфере редчайшей утонченности, избавленным от необходимости преодолевать обычные житейские препятствия, без чего невозможно обрести ни духовного, ни телесного равновесия. Как будто мою умственную пищу составляли одни деликатесы да искусственное питание высшего качества. Если я и был к чему хорошо подготовлен, то лишь к жизни практически бесполезно утонченной, замкнутой в чрезвычайно узких горизонтах, но отнюдь не к морям более бурным и ветрам более сильным. Правда, я с самого начала отдавал себе отчет в характере собственных недостатков, но, только став отцом и получив возможность ценить и изучать собственных детей, я осознал подлинные масштабы пройденного мною пути.

Как бы ни жаловались и ни возмущались многие так называемым «веком вседозволенности», я верю, что свободная информация, пусть даже иногда перехлестывающая через край, куда лучше болота невежества. Лучше поколение, осознавшее и принявшее свою физическую природу, чем поколение, прикрывающее свое невежество

правилами общественных приличий и канонами лицемерного воспитания и благочестия.

Может показаться странным, что я так эмоционально говорю о уже выигранной битве. Но лишь хочу напомнить тем, кому это кажется невероятным: дела не всегда обстояли так, как сегодня. Хотя мужчины и женщины всегда ухитрялись их обходить, до самого недавнего времени все еще существовали предрассудки как в семье, так и в обществе, накладывавшие табу на стороны бытия, без которых немыслимо человеческое счастье.

Необходимость экономить — вот первое, что я осознал. И мы переселились из нашей квартиры на крыше в подвальное помещение на Редклифф-роуд — падение с изысканных высот в сумрак повседневных будней. Все наше хозяйство состояло из недавно приобретенного щенка-спаниеля, у которого в пещерной темноте нашего жилища скоро развились эпилептические припадки. Газ включался через счетчик, пожиравший шиллинги, а в периоды острой нужды — пенсы. Пахло сыростью и кошками, что забивало все остальные запахи. Единственным светлым пятном этого убогого жилья служил садик, невзрачный викторианский газончик, полоска изреженной травы, на фоне которой любой зеленый цвет казался на два тона гуще натурального, огороженная изломанной решеткой с густым слоем неснимаемой пыли. На газончике стояли растрескавшийся неотлакированный стол с дыркой посредине, в которую в лучшие дни вставлялся зонт, и два белых, самоубийственно расплетающихся плетеных стула с ножками разной длины. Не самое идеальное место для медового месяца. Но и время для медового месяца выпало не самое идеальное.

Начались массированные дневные налеты. Сотни самолетов заполняли небо. Апофеоз наступил великолепным летним днем, когда итальянцы на своих деревянных самолетах прибыли на помощь немцам уничтожать британскую авиацию. Мы сидели в саду и пили чай, чувствуя себя привилегированными особами и следя за разворачивающейся над головами драмой с отстраненно-королевским любопытством. Разгоралось пламя, небо перечеркивали полосы черного дыма, на солнце вспыхивал металл, стоял треск, будто одновременно включили тысячу бормашин, и даже бились по разносящему их в стороны ветру куполы парашютов, но все же мы не могли,

как ни пытались, увязать эти заурядные батальные сцены со множеством человеческих трагедий, происходящих у нас на глазах. Благодаря кино звуки выстрелов всегда кажутся мне ненастоящими, даже когда стреляют в меня.

Ревю сошло со сцены, у папы начались опасные поездки за границу. Мама переехала в деревню, в Котсуолдс, где ей и было суждено провести оставшиеся годы, всего лишь раз ненадолго вернувшись в Лондон. А меня стали приглашать сниматься в кино. Дебютом послужил полудокументальный фильм «Майн кампф» — мои преступления», в котором я играл Ван дер Люббе, психически неуравновешенного голландца, обвиненного в поджоге рейхстага. Следующим моим шагом в кино явилась смехотворная короткая лента, озаглавленная «Здравствуй, слава!», в которой я произносил собственный монолог, а затем карабкался по расцвеченной звездами веревочной лестнице и махал рукой Джин Кент *, куда более грациозно взбирающейся по другой лестнице. Мы, видите ли, должны были символизировать юность на подъеме. Третьей вещью оказался серьезный фильм, именуемый «Один самолет не вернулся на базу». Меня пригласили играть пастора-голландца — из-за моей небританской внешности, надо полагать. Моя неголландская внешность значения, судя по всему, не имела, особенно по условиям военного времени. Немногословный текст этой роли состоял в основном из латыни, содержал почти столько же голландских фраз и некоторые вкрапления английского.

Затем мне предложили написать диалоги для фильма по мотивам одной из самых доступных книг Джона Бойнтона Пристли «Дайте людям петь», в котором я и сыграл пожилого чехословацкого профессора. Наконец, выступил в роли блестящего ученика нацистской шпионской школы в комедии «Гусиным шагом».

В январе 1942 года я получил повестку на призывной пункт. Еще раньше я просился добровольцем в подводный флот, поскольку однажды прочел захватившую меня книгу Лоуэлла Томаса, но получил отказ. Мне объяснили, что я нужен на своем месте, потому что в Лондоне не оставалось больше почти никаких развлечений. Почему меня потянуло на подводные лодки, я сейчас и сам не пойму. В конце концов острый приступ

---

* Кент, Джин (1921 г. р.) — английская актриса кино и ТВ.

клаустрофобии, пережитый в детстве при знакомстве с методикой деторождения, не должен был бы способствовать выбору стального чрева для прохождения военной службы. Я очень рад, что мне отказали.

Офицер на призывном пункте поинтересовался, в каком роде войск я хотел бы служить. Я ответил офицеру, что меня интересуют танковые войска. (Снова потянуло в душное чрево!) Его глаза оживленно зажглись.

— Почему вы стремитесь быть танкистом? — спросил офицер пытливо.

— Потому что хочу идти в бой сидя, — объяснил я.

Энтузиазм в глазах офицера сразу померк, и вскоре я получил приказ прибыть в пехотный полк. 16 июня 1942 года я прибыл в Кентербери, где мне разрешили еще пару дней прожить в своей одежде, за неимением мундира подходящего размера. Этот день стал поворотным моментом в истории войны — если не для союзных армий, то уж, во всяком случае, для меня лично.

8

— Не вставишь ли ты словечко, пока не зарычали пушки и не зазвучала уныло труба?

— Хотел бы, так вставил.

— Правда?

— Пожалуй, не совсем. Поскольку мы с тобой поступаем на военную службу, лучше держать язык за зубами. Слова всегда неправильно истолковываются в армии, особенно недвусмысленные слова. Говорить — значит высовываться и попадать в неприятности.

— Ну почему же. Все равно почти никто ничего не понимает. У меня осталось впечатление, что весь словарный запас большинства унтеров состоял из десятка выражений, варьируемых в бесчисленном множестве внеграмматических конструкций.

— А офицеров?

— У них запас еще меньше. Зато офицер умеет хмыкать, как никто.

— Ты, конечно, говоришь о кадровых военных.

— Конечно, о кадровых. Призывники пришли, вооруженные словами и даже словосочетаниями, но их негде было приложить, негде было упражняться в них, поэтому пришлось постепенно от этого добра отказаться. Перейдя на выдаваемый в армии рацион, новобранцы точно так же перешли и на выдаваемые в армии слова. Но

торжественно отвергали выдаваемый им армией паек мыслей, когда оставались одни в ночной тиши.

— Ты помнишь сержанта С.?

— Ты не называешь его имени, потому что запамятовал?

— Потому что презираю. Ему было всего двадцать восемь, но он уже потерял все зубы, и не в бою, конечно, а просто по дремучему невежеству и бескультурью. Он все время шамкал деснами, как старик, и питал слабость к мягкому рассыпчатому кексу, его единственный он мог осилить. С. постоянно следил за прибывающими посылками и высчитывал их получателей. Более сложные умственные усилия были ему не по плечу. Затем он обходил казарму, спрашивая зловещим хлипким голоском: «Кекс есть?»

Робкие поддавались поначалу нажиму и угощали этого юного монстра своими кексами. Но потом поняли, что угодничество лишь ставит их в зависимость, никоим образом не вызывая благожелательности. И впредь, что бы нам ни присылали, мы всегда предлагали сержанту угоститься только что полученным отменным грильяжем.

Гримаса возмущения перекашивала его изрытое прыщами лицо; хрипя отборные свои выражения, С. исчезал. Однообразием языка он выделялся даже на фоне своих коллег. Но ты помнишь, что случилось потом? Помнишь, как он командовал построением на плацу, и с тех пор печально и бесславно исчез из нашей жизни? Еще в 1936 году военно-медицинская служба заказала сержанту С. вставные челюсти, но в силу обычных административных сложностей они попали в предназначенный им рот лишь весной 1942 года. Внезапно меж деснами сержанта выросли две сверкающих белизной зубчатых крепостных стены, а потные красные щеки до того неестественно растянулись, что его бесцветные глаза убийцы лежали теперь прямо на них, как у ищейки. Сержант хрипел и рычал, выплевывая команды невнятно, как всегда, но со зловещей уверенностью. И вдруг в самом мерзком его вопле зазвучало рыдание от невыносимой боли. Осмелившись поднять глаза, мы увидели, что сержант зашатался, а изо рта у него хлынула кровь. Не привыкнув еще к своим новым роскошным зубам, он прокусил ими язык и чуть не потерял сознание от ужаса и боли. На помощь бросился капрал, и сержант покинул плац, чтобы никогда больше не вернуться к нам.

— Как я могу забыть его? Больше всего на свете он

любил армию и меньше всего на свете стремился на фронт. Оглядываясь назад, можно сказать, что он не только лаял, но и кусался. А помнишь нашего ротного старшину Р.?

— Ты не называешь его имени по той же причине?

— По какой же еще? Кроме разве что милосердия. Раньше старшина занимался боксом и получил сотрясение мозга. Он не мог смотреть человеку в глаза и все пританцовывал на отдавленных пальцах, приседая и уворачиваясь, пряча голову от воображаемых ударов. Помимо прочего, его нервозность постоянно проявлялась в выкрике «стой как положено», даже когда он обращался к солдатам, терпеливо лежащим у пулеметов. Однажды этот маньяк получил недельный отпуск, и мы с нетерпением считали часы до его отъезда. Но вот отпуск уже начался, а старшина все не уезжал. Не уехал и на следующий день. Весь свой отпуск использовал для того, чтобы на досуге шпионить за нами и назначать наряды вне очереди. В конце недели я набрался смелости и спросил старшину, почему он не поехал домой.

Старшина моргнул, сделал боксерский финт и оперся на стойку бара, где стояла его недопитая кружка пива, десятая кряду.

— Я ротный старшина, пнял, нет? — спросил он и, не услышав ответа на риторический, как я думал, вопрос, угрожающе зашипел: — Пнял, нет?

— Так точно, старшина, — согласился я.

— Кромя мово старика, у меня никого. Пнял, нет?

— Так точно.

— А у старика — никого, кроме меня. Пнял, нет?

— Так точно.

— Так точно кто?

— Так точно, сэр.

— Правильно, мать твою, «сэр». Мой старик, он кто? Он — батальонный старшина, и я ни в жисть домой не поеду, пока не стану со старой сволочью на равных. Пнял, нет?

— Так точно, сэр.

— У меня свои права. Пнял, нет?

— Так точно, сэр. У вас права.

— Правильно. Катись теперь к одной матери, пка я не психнул.

— Слушаюсь, сэр.

Лицо старшины зажглось зверской ухмылкой.

— Поставь мне еще одну пиву, а потом катись.

Столь законченного портрета первозданной тупости не вообразить и Диккенсу. Однажды из казармы, где мы теснились, как сельди в бочке, нас перевели в новое, более удобное помещение. Вскоре после этого я наткнулся на старшину.

— Стой как положено, — буркнул он и спросил: — Как новая казарма, Унов? (Последнее слово означало мою фамилию.)

— Спасибо, сэр, много лучше прежней, — ответил я. — Нет такой скученности.

— Сам знаю, что нет скучности, — рявкнул старшина, будто я сморозил несусветную глупость, и, подумав, добавил: — И места в ней больше, а?

Как-то раз на занятиях он продемонстрировал нам пластиковую гранату, последнее слово британской научной мысли, оружие не очень эффективное, но эффектно шумное.

— Смотрите все сюда, — сказал старшина загадочно, подняв гранату над головой. — Эта граната сильно подрывает вражескую мораль!

По классу прокатился смешок. Старшина задергался, как никогда раньше, тыча трясущимся пальцем в окно, из которого открывался вид на эспланаду приморского городка, где была расквартирована наша часть.

— Я вам посмеюсь! Завтра побегаете у меня по эскападе с полной выкладкой! Мне плевать, у меня времени полно. Пняли, нет?

— Так точно, сэр! — ответили мы хором.

Много лет спустя этот отвратительный тип угодил в сумасшедший дом. Смятение духа довело его до привычки запираться с каждым новобранцем наедине и избивать его, но однажды он напоролся на более умелого боксера. От пережитого шока старшина окончательно сошел с ума.

— Расскажи историю, услышанную нами в самом начале службы, а потом я оставлю тебя. Я так давно не вспоминал обо всем этом, что сейчас испытываю трепет при одной только мысли, что такому суждено было выпасть на нашу долю.

— Как хорошо я тебя понимаю. Итак, первый рассказ, услышанный нами в армии? Да, он доказал нам, что под внешней оболочкой невразумительных воплей и муштры, которая и составляет показную сторону боеготовности армии, может скрываться тонкая и ироничная

душа. Случилось это в графстве Кент, в Сент-Маргерит-бэй, курортном поселке неподалеку от Дувра, тамошний каменистый пляж под знаменитыми белыми скалами служит в мирное время целью бесчисленных пловцов, пересекающих Ла-Манш, — отсюда до Франции кратчайшее расстояние, неполных двадцать миль.

В военное время курорт выглядел мрачно. Заброшенные пляжные строения использовались для обучения солдат тактике уличного боя. Сложные сооружения из колючей проволоки придавали пляжу еще более заброшенный и негостеприимный вид. Сам поселок располагался на скалах, как и бесчисленные дома отдыха, ныне по большей части реквизированные армией. Над всем поселком доминировал отель «Грэнвилл», белое здание с забранными жалюзи верандами, дышащее былыми месяцами летних отпусков и сладкой безмятежной праздности.

Вот здесь, глядя в бушующее пламя костра, я и стоял в группе таких же унылых новобранцев, не успев еще сменить штатское платье на мундир, а нас пристально рассматривал старый сверхсрочник, прослуживший рядовым солдатом без малого сорок лет. Он прожил свою жизнь, ни на что не претендуя, четко и ясно сознавая свое место в обществе. Разразившаяся война помешала ему выйти в отставку, и сейчас он изучал нас и нашу штатскую тоску взглядом одновременно и придирчивым, и ласковым.

— Вроде бы надо перенестись на сорок лет назад, чтобы почувствовать себя в вашей шкуре, а ведь помню все, как вчера, — заметил он и вдруг добавил неожиданно весело: — Когда я сказал прости-прощай вольной жизни, меня тоже один «дед» привечал, как я вас счас. Я вам расскажу, чего он мне тогда рассказал, чтоб, значит, меня ободрить. Однажды, значит, двух рядовых послали в наряд чистить сортиры. Дело, значит, было осенью. Вот гребут они в кучу грязную туалетную бумагу, чтоб сжечь, а ветерок-то осенний как наддаст, ну и подцепил клочок грязной бумаги, как лист, они его и схватить не успели. Гля, а его уж ветром прямо в окно полковнику занесло. Тогда один солдат говорит другому: «Ты давай греби дальше, а про меня если кто спросит, скажешь, брюхо, мол, прихватило. Дело житейское. А я пока что попробую выудить тот клок бумаги обратно. Старик наш глух как пень, дальше носа не видит, он меня не заметит». Солдат вернулся обратно минуты через две. Напарник спрашивает: «Ну как?» Солдат только го-

ловой покачал: «Опоздал. Полковник его уже подписал».

Объяснить невозможно, до чего успокаивающе подействовала на нас эта армейская байка. Внезапно обрела человеческие черты система, созданная, казалось, лишь для того, чтобы уничтожить личность во имя торжества иллюзорной эффективности.

Сквозь истошные вопли кретинов, носящихся среди нас подобно овчаркам, пинками, тычками и угрозами гоняющих по плацу нашу блеющую толпу, вдруг прозвучал утешающий голос старинного солдатского фольклора. И самое поучительное заключалось в том, что человек, рассказавший нам эту историю, при всей его простоте и невзрачности звания, обладал куда большим чувством поэзии и языка, чем любой из наших унтеров, воспринимающих голос самого тупоумного офицера как глас господень.

Не исключено, конечно, что я чересчур болезненно реагировал на ожесточающие стороны армейского бытия, поскольку уже тогда считал, что вправе рассчитывать на лучшую долю, чем судьба бессловесного робота, и я не без причины ничего пока не сказал о событии, ставшем в моей жизни водоразделом. Произошло оно 22 июня 1941 года, в тот день, когда Гитлер совершил роковое для себя нападение на Советский Союз. Я тогда еще не служил в армии.

Выступая в театре «Уиндэм», я урывками писал пьесу, то в гримерной, то дома во время ночных бомбежек. Писал я ее карандашом в двух школьных тетрадях. Когда счел пьесу завершенной, довольно робко попросил прочитать ее моего неизменного благодетеля Герберта Фарджона. Миновал месяц, но от Фарджона — ни слова. Я начал подозревать, что пьеса либо не понравилась ему, либо он просто ее потерял. Хотя я отдал ему рукопись — печатать сам я не научился до сих пор, а машинистка мне тогда была не по карману, — утрата не вызвала у меня особого горя. Если мне случалось встретиться с Фарджоном и намекнуть, что я с нетерпением жду его оценки, он с тонкой улыбкой уклонялся от ответа.

Затем наступил день величайшего просчета Гитлера. Новости настигли меня в Глостершире, где я гостил у родителей. Воскресным утром по сонным лугам очертя голову пронеслась на древнем велосипеде местная почтмейстерша мисс Питт, вопя во весь голос, будто продавала газеты на оживленном перекрестке: «Вторжение в Россию!»

Впившись в газеты, мы увлеклись обсуждением разнообразных скрытых пружин и факторов, неизбежных при столь значительных событиях. Я даже возился со старым приемником, поймав в треске эфира сбивчивые голоса, звучавшие, как нам казалось, и взволнованно, и по-русски. Только после обеда я углубился во внутренние страницы газет в поисках сведений о более спокойных событиях в мире и увидел заголовок колонки Джеймса Эгета в «Санди таймс»: «Новый драматург». Заголовок вызвал у меня укол зависти — виднейший театральный критик того времени счел возможным удостоить какого-то счастливчика рыцарского звания! Что ж, дай ему бог дальнейших успехов.

Затем прочел статью. Новым драматургом оказался не кто иной, как я сам. Я перечитал ее несколько раз, прежде чем осмелился поделиться своей тайной с родителями. Вот разгадка лукавой улыбки Фарджона и несвойственной ему холодной уклончивости. Перепечатав пьесу за свой счет, он отдал ее Эгету. Статья была великолепна и заканчивалась следующими словами:

«Эту пьесу поставят, когда наступление мира позволит английскому театру вернуться от потребности развлечений военного времени к искусству драмы. И подобная перспектива не должна смущать зрителя. Эта трагикомедия смешно читается и еще смешней будет смотреться на сцене. Да, у нас появился новый драматург, и его пьесу будут смотреть».

Я робко показал статью папе, будто незначительную заметку, лишь на секунду способную привлечь внимание. Должен отметить, он воспринял известие весьма достойно.

Нелегко привыкать к тяготам военной жизни после таких похвал, но в то же время это невероятное событие помогало мне излучать безмятежность даже под градом отборнейших ругательств, которыми меня осыпал старшина. Помню гнуснейшую процедуру, именуемую проверкой вещмешка. Все содержимое вещмешка предписывалось выложить строго в указанном геометрическом порядке. Носкам придать форму квадрата и поместить их по бокам скатанной шинели, водруженной поверх одеяла. Людям с квадратными ногами нетрудно, разумеется, придать своим носкам квадратную форму, но стоит поносить носки людям с округлыми конечностями, как эти носки преданно принимают форму ноги хозяина. Я тщетно пытался сложить их в квадраты, требуемые от меня прави-

лами воинского этикета. Стоило лишь мне выпустить их из рук, как шерсть медленно принимала очертания пышных округлостей, и мои носки тут же становились похожими на сдобные булочки на подносе с завтраком. Старшина вошел в казарму в довольно жизнерадостном расположении духа, но стоило его взгляду упасть на носки, как мне почудилось, что из его раздутых ноздрей повалил дым. До появления проверяющего офицера старшина успел лишь пригрозить мне тягчайшими наказаниями в самой пакостной манере, на которую был способен.

Вошел офицер.

— Смирна! — проорал старшина, вперившись в мои носки взглядом, полным сатанинских предвкушений. Не обращая ни малейшего внимания на укладку вещмешка, офицер подошел ко мне и спросил, действительно ли я Устинов.

— Так точно, — ответил я.

— Я читал о вас в колонке Джеймса Эгета, — сказал офицер приветливо, а затем минут десять очень тепло говорил о театре. Оказалось, раньше он был помощником режиссера на Шекспировских фестивалях в Риджент-парке и с трудом переносил военную службу. Офицер признался, что находится на грани нервного срыва. Я ответил, что очень хорошо его понимаю. Мне здесь еще хуже, чем ему, признал офицер, и осознание этого может его несколько утешить. Мы оба расхохотались, и он ушел.

Растерянный старшина подлетел ко мне.

— Что он сказал?!

Я окинул старшину спокойным и снисходительным взглядом триумфатора.

— Сказал, что читал обо мне в колонке Джеймса Эгета... сэр!

— Это еще что за хрень? — и старшина последовал за офицером, что-то бормоча под нос о наплыве шпаков, из-за которых приходит в упадок современная армия.

По мере того, как одна из самых холодных в истории зим сменялась жарчайшим летом почти без малейшего проблеска весны между ними, жизнь стала казаться более терпимой даже в этих условиях. Благодаря одной из бесчисленных административных неурядиц, типичных для военной машины, в наших рядах очутился польский еврей, не умевший ни читать, ни писать и изъяснявшийся только по-польски и на идише. Ростом он был метр с кепкой. Даже до появления компьютера, усилившего ца-

рящий в нашем обществе хаос, в организационной структуре армии не предусматривалось практически никакой возможности исправить подобную ошибку, коль скоро она совершена. Властям предержащим приходилось поэтому искать какой-то выход самим. В итоге наш капеллан, валлиец, несколько смахивающий на Бетховена, но питавший склонность к пению заунывных гимнов в унисон, попросил тех, кто владеет языком идиш, выйти вперед. Вышел солдат, оказавшийся цыганом, с серьгой в ухе. Он думал, цыганский вполне сойдет. Но ничего не получилось. В конце концов мне предложили попробовать поговорить с беднягой по-немецки. Впервые в его глазах загорелся огонек понимания. Немецкий, разумеется, был не самым любимым его языком, но поскольку идиш — это искаженный средневековый немецкий, украшенный звукоподражательными и экзотическими элементами, между нами установился определенный контакт.

По инициативе капеллана мне, вернее, не мне, а моему новому другу, милосердно предоставляли увольнительные, которые можно было проводить в полковой кантине. Я получил указание помогать ему читать любовные послания от жены, которая тоже не умела ни читать, ни писать. Эти письма, написанные соседом, глубоко трогали своей простодушной чувственностью, а работа над ответами на них под диктовку автора значительно расширила мой кругозор.

На плацу, однако, поддерживать душевный контакт оказалось значительно сложнее. В те времена подразделения британской армии маршировали шеренгами по трое, а не по четыре, и куда бы ни поворачивал взвод, центральная шеренга всегда оставалась за спинами остальных. Нас, естественно, в нее и определили, причем мне было приказано переводить вполголоса команды на немецкий, дабы мы могли мгновенно следовать за каждым движением взвода. Поскольку мой напарник толком не различал «право» и «лево», нетрудно заключить, что и немецкие слова «links» и «rechts» ничего для него не значили. Но если его выручал маленький рост, то я все время оставался на виду. Когда мне окончательно надоело получать из-за него взыскания, я перестал шептать немецкие команды и просто велел ему делать все как я, в чем он и преуспевал с неизменно возрастающим мастерством и порой ухитрялся опережать наши движения, предвосхищая мысли инструктора по строевой подготовке. Мы еще и повернуться не успевали, а он уже выпол-

нял маневр и даже проявлял недовольство нашей нерасторопностью.

К этому времени начальство сочло меня потенциальным кандидатом в офицеры, в силу чего я был временно назначен командовать постом, господствующим над западной частью скал Сент-Маргерит-бэй. Позиция являла собой земляную имитацию дота, считаясь частью поспешно импровизированной системы оборонительных сооружений, связанных тропою, вьющейся змейкой по краю пропасти. По этой тропинке не рискнула бы пройти ни одна горная коза, оставляя подобный безумный риск парням из британской армии, увешанным устаревшим оружием. Внутри землянки было сыро и страшно, трое солдат могли уместиться там, сидя на корточках и глядя сквозь бойницы в ничего не сулящую мглу. Очень подходящее место для изучения повадок морских птиц, но мало приспособленное для отражения десанта немецкой дивизии. В центре на крошечных козлах стоял деревянный лоток с фосфорными гранатами, теми самыми, что подрывали противнику мораль. В углу лежала маленькая ярко-желтая авиационная бомба, а рядом с ней была установлена деревянная аппарель, заваленная отпечатанными на красной бумаге техническими инструкциями. В случае захвата немцами плацдарма на пляже нам предписывалось вручную спихнуть бомбу с края скалы прямо им на головы.

Власти предержащие выделили мне двух солдат, с которыми я и должен был удерживать вверенную позицию — фермера из Беркшира, с багровым, как свекла, лицом, и веселыми под стать лицу глазами, а также моего неразлучного друга из Польши, поскольку больше некуда было его приткнуть. Всех нас вооружили винтовками. Моя оказалась самой современной — образца 1912 года.

Пляж, который нам неоднократно приходилось патрулировать по ночам, выглядел зловеще и даже трагично. Под дощатым настилом шуршали грызуны, под карнизами заминированных домов водились летучие мыши, а волны, шумя, бились о гальку, выбрасывая на нее нескончаемый морской хлам: обгоревший пилотский шлем, размокшие листовки, агитирующие французов на новые подвиги, но не достигшие цели и прибитые обратно к нашим берегам, искореженные куски металла и обуглившиеся деревяшки — обломки потопленных судов — и даже потрепанный чемодан, полный размокших эротических фотографий и рисунков, накопленных за всю жизнь сокровищ

какого-то одинокого сластолюбца, который выбросила к моим ногам однажды утром пена прибоя, заставив меня позвать караульных.

Ходили слухи, что перед нашим прибытием сюда немецкие диверсанты выкрали весь караул поста, от которого и следа не осталось, кроме перевернутых кружек какао и косвенных следов схватки. Так это было или не так, но нам выдали по четыре гранаты, приказав носить на поясах, и недавно поступившие из США автоматы, из чего следовало, что командование относится к нашему участку достаточно серьезно.

Вот в такой обстановке однажды ночью и раздался вой сирен, сигнал тревоги, оповещающий о начале вторжения. Спать мы все равно толком не спали. Наша авиация бомбила французский берег, и оттуда доносился хриплый лай зениток. Нацепив всю свою амуницию, я побежал на ощупь по крутой тропе, гранаты плясали на поясе и выбивали друг о друга дробь. Эти проклятые штуки не вызывали у меня ни малейшего доверия. Все, что я видел перед собой, напоминало детский рисунок, изображающий войну. В районе Кале разгорался пожар, небо, казалось, пульсировало розовым. В чернильно-черном проливе я увидел вспышки трассирующих пуль — там, видимо, шел бой между торпедными катерами. Наверное, наступали события, к которым нас и готовили. Откинув брезентовый полог, я вбежал в наш укрепленный пункт. Фермер уже был там, его глупое хмыканье отдавалось эхом от стен. Маленький поляк тоже оказался на месте. Он перебирал стеклянные фосфорные гранаты, потряхивая их в горячих маленьких ладошках, будто пузырьки с микстурой от кашля.

— Чертенок, принесся сюда раньше меня, — хихикнул фермер, — а я-то одеваюсь быстрее некуда.

Меня не столько волновала необычайная способность поляка предугадывать события, сколько неосторожное обращение с этими гнусными гранатами, которые, случалось, взрывались от неловкого движения руки. Я завопил:

— Das müssen sie nicht anrühren! Diese Handgranaten sind mit phosphor gefüllt! Die können in ihren händen explodieren! *

Внезапно охватившая меня вспышка ярости мгновенно заставила понять, почему вторжение началось именно на нашем участке. Гитлер, все мучившийся сомнениями,

* Осторожнее обращайтесь с ними! Эти гранаты начинены фосфором! Могут взорваться прямо у вас в руках! *(нем.)*.

испытывать ему удачу или нет, получил сведения от шпионов, что наиболее приближенный к французскому побережью британский пост охраняется двумя рядовыми, способными объясняться между собой лишь по-немецки. У него тут же зачастил пульс. Грохнув кулаком по карте Британских островов, он завопил на свою свиту:

— Meine Herren! Wir fahren gegen England! *

Моя разгулявшаяся фантазия тут же угомонилась, как только поляк положил гранату обратно в ящик и пожаловался, что не мог заснуть.

— Почему? — изумленно спросил я.

— Zu viel Lärm. Слишком шумно.

Как часто случается в армии, не успеешь еще переварить одну абсурдную ситуацию, а она уже сменяется другой. Сквозь брезентовый полог в землянку вломился старшина и придержал его, впуская командира роты. В тусклом луче фонаря я разглядел, что офицер одет в пижаму, поверх которой набросил шинель с нацепленными на нее револьвером, планшетом и другими воинскими аксессуарами. Несмотря на брюшко, командир наш был энергичным мужчиной с коротко стриженными седовато-стальными волосами и хаотично торчащими во все стороны усиками на верхней губе. Сейчас он яростно моргал. Несмотря на холод, он обильно потел, и пот ручьями заливал ему глаза.

Лицо его казалось взволнованным, но говорил он спокойно и тихо, даже не без призвука меланхолии.

— Солдаты, — сказал он, — теперь я могу открыть вам, что мы — батальон смертников. На отдалении от побережья сосредоточены минометные и артиллерийские батареи, пристрелянные по нашему участку. Недолет — обычное явление при ведении артиллерийского огня. Желаю удачи. Желаю удачи. Желаю удачи.

Пожав всем нам троим руки, он пригнулся и вышел из землянки, чтобы разнести столь радостную весть остальным бойцам, все еще пребывающим в блаженном неведении. Прохрипев что-то, старшина ринулся за ним.

— Никогда не видел, чтоб старик так заводился, — безмятежно улыбнулся фермер. — Ну и употел...

Поляка же визит командира обнадежил меньше. При подобных обстоятельствах рукопожатия казались ему подозрительными.

— Was sagt er? ** — спросил он.

---

* Господа! Мы идем на Англию! *(нем.)*.

** Что он сказал? *(нем.)*.

Я как будто издалека услышал собственный голос, выговаривающий безупречную немецкую фразу:

— Der Herr Major hat soeben festgestellt, das wir ein Selbstmord Bataillion sind *.

Я даже не успел объяснить ему положение дел более подробно и рассказать, что на нас направлены стволы «Minenwerfer» **, потому что наш маленький друг решил обратиться со своими вопросами к более высокой инстанции. Преклонив колени и повернувшись лицом к сырой стене, он затянул древнюю и рваную, как самое время, молитву — песнопение.

Естественно, услышав подобные звуки в разгар боевой тревоги, все унтера, словно квохчущие наседки, заметались туда-сюда по связующей нас с расположением батальона тропе. Испытующий вой бомб и снарядов, сотрясающие землю разрывы, неразборчивый лай команд — это все дело естественное, но плач крохотного Иеремии с разводами грязи на лбу, которым он лупил в стену, требуя к себе внимания, безусловно, срывает грандиозную демонстрацию бесплодной мужественности в самый ответственный момент.

Я не мог заставить его замолчать, да и не видел в этом особого смысла. Он ведь всего-навсего выражал то, что чувствовал я сам — отчаяние, вызванное происходящим идиотским кошмаром. Двое сержантов, напрягая все силы, не могли сдвинуть его с места ни на дюйм. И лишь когда тишина воцарилась над морем, он позволил им увести себя. Мы так и не сделали ни одного выстрела: то ли проводилась учебная тревога, то ли немцы устроили вылазку, чтобы прощупать нашу оборону. Желтая авиабомба и фосфорные гранаты на лотке так и лежали аккуратно по своим местам. Мы вернулись к тюфякам, сбросили амуницию и расположились досыпать куцый остаток ночи.

Это оказалось невозможным. Издалека, не иначе как с гауптвахты, полились, наполняя летнюю ночь, тонкие и чистые, будто ноты флейты, звуки древней иудейской песни, будоражащие не меньше, чем звуки боя. Замерла она только на рассвете. Вскоре поляка демобилизовали, отпустили обратно портняжничать. С помощью бога и горстки пророков он взял дело в собственные руки и убе-

---

* Господин майор разъяснил, что мы — батальон смертников *(нем.)*.

** Минометов *(нем.)*.

дил британскую армию, что не подходит ей, а следовательно, не подходит ему и она. И все это, не зная ни слова по-английски, одними лишь песнопениями!

Несколько месяцев спустя, находясь в отпуске, я шел пешком по Пикадилли. И с кем же столкнулся на пешеходном островке посреди мостовой: с героем Сент-Маргерит-бэй! Под руку с ним, улыбаясь во весь рот, шла пухленькая женщина дюйма на два ниже его.

— Wie geht's? * — спросил я.

— Это есть мой жена, — ответил он по-английски. Я кивнул. — Дела много хорошей. Шею военный форма, — добавил он серьезно, как человек, твердо знающий, что ему, наконец, нашли область, где он в полной мере способен внести свой вклад в ведение войны.

Вскоре после этого происшествия нас сменили в Сент-Маргерите подразделения другого полка. Мы встретили наших сменщиков на марше, они насвистывали те же глупые песни мужского одиночества, шагая по направлению к только что оставленной нами маленькой милой деревушке. Солдаты казались здоровыми и веселыми ребятами, и я подумал: «Не дай им бог действительно стать батальоном смертников».

Следующей боевой задачей нам поставили отбить город Мейдстон у подразделения местной обороны**, этого штатского воинства инвалидов и ветеранов, которым надлежало изматывать немцев в случае высадки и удерживать ключевые позиции до подхода лучше оснащенных частей регулярной армии.

Мы на этих маневрах изображали немцев. Как только учения начались, я тут же оторвался от своей части и самостоятельно проник в центр города, просто-напросто стучась в двери домов. На стук неизменно отвечали люди в пижамах и ночных рубашках, поскольку еще не было шести утра. Я объяснял каждому важность идущих маневров, не упоминая при этом, на чьей я стороне. Охваченные приливом патриотизма, добрые обыватели Мейдстона тут же прощали мне раннюю побудку и пропускали меня через дом в сад, где я перелезал через забор в соседний сад и стучался в соседний дом с черного хода.

---

* Как дела? *(нем.)*.

** Ополчение периода второй мировой войны, вначале добровольное.

Затем меня выпускали через парадную дверь на улицу. Оглядевшись, я перебегал дорогу и стучался в новую дверь, после чего процесс повторялся снова. Два часа спустя я уже был в центре.

Внезапно я обнаружил, что оказался прямо у штаба войск местной обороны. Из дома как раз выходил холерического облика генерал. Я вскинул винтовку, прицелился в него и выстрелил. Поскольку винтовка не была заряжена, вместо выстрела раздался лишь щелчок, которого не услышали ни генерал, ни посредник — очень дородный лейтенант. Поэтому я закричал: «Ба-бах!» И очень вежливо уведомил генерала о том, что он мертв.

Но генералу явно было не до смерти, и он вспылил:

— Прекратите нести чушь! И вообще — кто вы такой?

Посредник оказался жутким заикой. Раскрасневшись от смущения и натуги, он все пытался объяснить генералу, что тот действительно м..., но никак не мог выговорить это слово. Казалось, эта задержка с оглашением приговора и обозлила генерала больше всего.

— Нет, так дело не пойдет, — фыркнул он. — Подумаешь, он на меня наставил винтовку и сказал: «Ба-бах!» А может, он мазила, стрелять толком не умеет? Может, меня даже не ранило, а?

— Прикажете выстрелить боевым патроном? — поинтересовался я.

Генерал окончательно одурел.

— А вас кто спрашивает? — завопил он. — Мало вы уже натворили?

— М... м... ертв! — наконец выговорил посредник.

— Не подчинюсь! Не подчинюсь, ясно? Подумаешь, лейтенантишка!

Теперь рассердился лейтенант.

— Я — пос... пос... тьфу... пос...

— А мне плевать! — орал генерал. — Я отправляюсь инспектировать передовые позиции, и пусть только кто посмеет меня остановить!

— Sie sind tod! * — завопил я.

Генерал круто повернулся ко мне, в нем, наконец, пробудились подозрения.

— Что вы сказали?

— Sie sind tod, Herr General!

— Это вы что, по-иностранному, что ли, говорите? —

---

* Вы мертвы! *(нем.)*

спросил генерал с таким видом, будто напал на след, распутывая крупное дело.

— Ich bin Deutscher *.

— Ах, немец? — глаза генерала сузились.

— Посс... посс... редник на ма... ма... ма... — заявил лейтенант.

В этот момент из штаба высыпала целая толпа ополченцев.

— Я взял в плен немца! — закричал генерал. — Под замок его! — И, отпихнув посредника, генерал нырнул в машину, приказав водителю немедленно покинуть место своего позора.

Посредник кипел бессильной яростью.

— Я прос... прос... просто... — шипел он.

— И я тоже, сэр, — успел сказать я, прежде чем меня увели.

Майор-ополченец тщательно изучил все бумаги, изъятые из моих карманов, и приступил к перекрестному допросу.

Я отказался говорить на каком-бы то ни было языке, кроме немецкого.

— Слушайте, вы, — рассердился майор, — я доложу о вас командованию вашей части, если вы немедленно не прекратите валять дурака и не начнете отвечать.

— Das ist mir egal **, — прохрипел я.

— Это ваше последнее слово? — злобно спросил майор.

— Хайль Гитлер! — завопил я.

— Ах так!

Меня посадили под замок. В оружейный склад. Вооружившись автоматом, я выломал дверь, перевернул штабной стол и облил чернилами карты и планы местного верховного командования, прежде чем меня скрутила когорта пожилых джентльменов, коим я не желал причинить никакого вреда, почему и позволил без труда затолкнуть себя в брошеную буфетную. Старики всерьез рассердились, и я стал ощущать, как расплывается граница между реальностью и вымыслом.

Кое-кто из них уже поглядывал на меня так, как будто я действительно был фашистом.

После полудня прибыл полковник, командир моего батальона. Он почти всегда говорил шепотом, а его шея тор-

---

* Я — немец *(нем.)*.

** Плевать я хотел *(нем.)*.

чала из мундира под таким странным углом, что, заглянув сбоку, можно было прочесть имя портного на пришитом к воротничку ярлыке. Полковник походил на погрузившуюся в собственные мысли доисторическую черепаху, и я всегда подозревал, что, случись нам очутиться в настоящем бою под водительством этого джентльмена, он просто втянет голову под мундир и не высунет ее обратно, пока не пронесется гроза.

— Что здесь произошло? — спросил он еле слышно.

Как это не раз случалось в моей жизни, пришлось излагать собственную версию событий.

— Понимаю, — пробормотал он. — Но стоило ли вызывать такое смятение, говоря по-немецки?

— Случись немцам высадиться в районе Мейдстона, они именно этим и вызовут смятение, сэр, — заметил я.

— Понимаю, понимаю, — сказал полковник. — Хотя и думаю, что это маловероятно. А как по-вашему?

Я был несколько удивлен, что полковника интересовало мое мнение, но решил все же высказать предположение, что мы просто тратим время попусту, коль скоро высадка немцев в районе Мейдстона маловероятна.

— Вот именно, вот именно, — рассеянно согласился полковник и улыбнулся. — Молодец.

Он на секунду задержался на пороге.

— Вы ведь из моей части, так?

— Я же в форме, сэр, — напомнил я.

— Да, да, конечно. Я вдруг подумал, может, вы — ополченец. Но с чего бы вам тогда говорить по-немецки?

Бормоча себе под нос аргументы, подтверждающие справедливость собственных оценок, полковник покинул комнату и добился моего освобождения, предложив всем ополченцам изучить немецкий, чтобы обрести способность общаться с упрямыми пленниками или с немцами, прояви те бестактность и высадись все-таки в районе Мейдстона.

С британской армией к тому времени что-то произошло. По-прежнему не желая расставаться с более чем отвлеченным отношением офицеров к службе, которому и приписывалось множество исторических успехов вооруженных сил, командование, однако, было обеспокоено бесконечными отступлениями под натиском немцев и японцев, владевших, казалось, новыми тактическими приемами ведения боя. Результаты напряженной работы мысли, охватившей армейские верхи, не замедлили проявиться в самых разнообразных, но всегда крайне неприятных фор-

мах. Армия преисполнилась решимости вывести породу нового, более упорного и решительного бойца, которому надлежало восстать Фениксом цвета хаки из пепла брошенных складов и разрушенных цитаделей. Нас заставляли бегать босиком по галечным пляжам. На языке сержантов, бегущих рядом и обутых в сапоги, приказывающих не обращать внимания на боль от острой гальки, осколков стекла и колючих высохших водорослей, это называлось «закалкой ног». Потом наступал черед полигонов, обычно оборудованных из площадок для гольфа, где имитировались условия и отчасти идиотизм боя. В кустах в засаде лежали офицеры с банками коровьей крови, которой они пытались обрызгать нас, чтобы мы привыкли к ее виду. Эти засады было нетрудно обойти, поскольку маскироваться офицеры толком не умели, а в психологическую обоснованность поставленной им задачи не особенно верили. Пулеметы вели огонь у нас над головами, чтобы приучить полагаться на огневое прикрытие, что не помешало пулеметчикам срезать очередью солдата, бежавшего рядом со мной. По халатности пулеметы установили на песке, и, ведя огонь, они, естественно, ушли в грунт, в результате стреляя прямо сквозь нас, вместо того чтобы стрелять у нас над головами. Вероятно, офицеры с их банками крови не хотели высовываться и по этой причине.

Очередным новым секретным оружием служило боевое учение, на котором пехотное подразделение разбивалось на взводы, ведя наступление на позиции противника, причем каждому солдату ставилась конкретная боевая задача. Тактике отступления нас больше не обучали, поэтому не имею представления, что предполагалось предпринимать в случае подобного поворота событий. Как бы то ни было, связующим звеном ведущего бой подразделения служил посыльный, доставляющий важнейшие донесения по открытой местности. Моему батальону выпало подготовить показательное отделение, которому предстояло привить эту новую науку побеждать всем войскам Юго-Восточного военного округа.

Доверенную нам высокую честь сформировать показательное отделение командир батальона возложил на мою роту, вслед за чем командир роты отобрал наш взвод. Стоит ли добавлять, что в составе сформированного в конечном счете отделения оказался и я, причем не просто в качестве рядовой пешки, но в качестве посыльного! Из всего личного состава Юго-Восточного военного

округа выбрать связным меня, с моим-то наследственным «талантом» бегуна! Однако командиры пребывали в плену безумного заблуждения, что мне, актеру, не привыкать учить наизусть длинные и сложные тексты. Одного они не учли: к тому времени, как я, наконец, добирался до места назначения, я настолько выбивался из сил, что не мог изложить донесение, а к тому времени, как приходил в себя, напрочь его забывал.

Мы тряслись в грузовиках по всей территории Суррея, Суссекса, Мидлсекса и Кента, демонстрируя сей новый метод победы над немцами. Я бесцельно пробежал сотни миль, доставляя донесения, которые не способен был передать. В течение долгих последующих лет, пока не построили скоростных шоссе, я ни разу не сбивался с дороги ни в одном из этих графств, узнавая каждый куст, под которым пытался отдышаться, глядя на пляшущую в глазах траву, чтобы не глядеть на капрала, тучей нависшего надо мной, неспособным выдавить ничего, кроме хрипа.

— Передавай донесение, твою растак!

В каждом пригорке я узнавал препятствие, заставлявшее удваивать усилия, чтобы обогнуть его и вовремя достичь цели. Каждый ров вспоминался разверзнутой пастью, готовой ухватить меня челюстями за ногу. У Данте был свой ад. У меня — свой.

Но мне предстояло получить еще один урок.

Когда, наконец, пришло ходатайство о переводе меня в Шотландию в распоряжение Кэрола Рида * для создания сценария фильма о тактике десантных операций, меня вызвали к полковнику. Полковник, кажется, припомнил, что где-то меня видел раньше. То ли в Сингапуре, то ли в Куала-Лумпуре, то ли в Мейдстоне...

— Вы действительно хотите покинуть нас?

— Так точно, сэр, хочу.

— Очень странно.

Полковник разрешил мне отбыть из части на следующий же день прямо после обеда, но перед отъездом мне предстояло принять участие в утренних учебных стрельбах. Радость прощания с зазеркальным мирком полка так опьянила меня, что я стрелял, как шериф в

---

* Рид, Кэрол (1906—1976) — известный английский кинорежиссер, фильмы которого отличались реализмом. Поставил ряд фильмов о жизни английских трудящихся. Автор таких известных работ, как «Звезды смотрят вниз» (1939), «Наш человек в Гаване» (1959), знаменитый мюзикл «Оливер!» (1968).

«вестерне», — быстро, яростно и бездумно. Когда принесли мою мишень, оказалось, что я посадил все десять пуль одну на другую, просто выгрыз ими «яблочко». Полковник вывесил мишень на всеобщее обозрение, приказ о моем откомандировании в Шотландию был отменен, и вместо этого я получил назначение в школу снайперов. Теперь Великобритания могла опираться не только на мастерство боевого учения, но и на искусство собственного Уатта Эрпа*.

Однако в школе скоро поняли, что я обладаю одним существенным недостатком: каким бы я ни был метким стрелком, но лишь с помощью десяти человек мог взобраться на позицию, позволяющую внести смятение в ряды противника. Несколько дней спустя меня все же отпустили в Шотландию.

Вот в чем заключался урок, полученный мною в армии: если хочешь что-то делать плохо, приходится стараться не меньше, чем когда хочешь сделать что-то хорошо.

9

Формально я по-прежнему числился в своем старом полку, но был прикомандирован к Управлению психиатрической службы британской армии. Только психу и было под силу заметить какие-либо непосредственные перемены в моем положении. Я добрался поездом до Глазго, где меня поместили на ночлег в вещевом складе, огромном бараке, почти до потолка набитом матрацами. Мне еще нашлось места втиснуться между верхним матрацем и потолком. Всю ночь мне снились танки и подводные лодки. Этого хватило, чтобы по-настоящему заработать себе клаустрофобию на всю оставшуюся жизнь. Утром следующего дня я отправился в Трун.

В этом милом, хотя и грустноватом полупустынном курортном городке, по соседству с которым гнездилась колония исключительно крикливых чаек, я и познакомился с Кэролом Ридом и Эриком Эмблером **. Кэрол носил капитанский мундир, но воспринимал войну как одну из блестящих фантазий Ивлина Во. Он был заразительно и очаровательно не по-военному мечтателен и

* Эрп, Уатт (1848—1929) — американский шериф, известный меткой стрельбой.

** Эмблер, Эрик (1909 г. р.) — известный английский писатель и сценарист, автор серии популярных приключенческих романов.

склонен к веселому озорству. Эрик же был майором артиллерии и порывисто говорил о траекториях и баллистике на манер этакого юного Наполеончика, производя впечатление человека вздорного и тщеславного. На самом деле впечатление это было глубоко ложным — как только обстоятельства отрывали его от любимых игрушек, он сразу же оказывался добрым и чутким товарищем. Многие люди очень меняются, стоит им надеть мундир, и должен признать, что я был болезненно чувствителен к подобным переменам, ибо имел честь наблюдать всю эту головокружительную иерархию с самой нижней ее ступеньки. Поскольку в подразделении я оказался единственным военнослужащим, не имеющим офицерского чина, я стал жертвой престарелого гримера с мелкой киностудии, носившего ныне погоны лейтенанта и украсившего мундир медалями войны 1914 года. В мирное время он был тишайшим человеком и для той эпохи отменным мастером своего дела. Сейчас же каждую пятницу он требовал себе служебный автомобиль и отвозил меня в заброшенный пансионат, для входа в который специально одалживал ключи. Там я ожидал в холле, пока он располагался со своими причиндалами. Приготовившись, он звал меня, как зовут друг друга дети, играющие в прятки. Я стучал в дверь.

— Войдите! — командовал он. Я открывал дверь в комнату, где он величаво сидел за обеденным столом, на котором стояла большая жестянка. Печатая шаг, я подходил к столу, отдавая ему честь, совал в карман грошовое жалованье, снова отдавал честь, поворачивался через плечо и строевым шагом выходил за дверь. Затем снова ждал, пока он собирал декорации и, должно быть, собирался с мыслями. Наконец, он появлялся, весь светясь от удовольствия, и мы возвращались на работу в том же реквизированном «джипе», причем по дороге он пичкал меня рассказами о великих днях получки в былые времена, в Галлиполи и на пути в Мандалей.

Одной из первых творческих идей Кэрола послужило предложение взять интервью у полковника, прославившегося неукротимой отвагой в самых опасных десантах и штурмах голых скал и горных позиций.

— Я бы хотел задать весьма деликатный вопрос, если позволите, — весь излучая такт, спросил Кэрол. — Какие потери в среднем несет десант при выполнении боевой задачи?

— Чего там, — ответил полковник, — чертовски свое-

временный вопрос. Рано или поздно его неизбежно приходится ставить. — Полковник на секунду задумался, его белесые ресницы дергались над зрачками, как сороконожки. — Но учтите, что основную часть потерь мы несем не от огня немцев, а от нашего собственного огневого прикрытия. — Мои коллеги переглянулись, но для меня слова полковника отнюдь не прозвучали откровением после учений на полигонах. — Восемьдесят процентов, — сказал, наконец, полковник почти спокойно и добавил: — Но чтобы не пугать людей, давайте скажем: семьдесят.

Прежде чем мы смогли похвастать какими-либо достижениями, была проведена знаменитая операция под Дьеппом *, заставившая коренным образом пересмотреть тактику десантных операций. Стало ясным, что какой бы мы ни выпустили фильм, он в любом случае устареет прежде, чем попадет на экран. Нам приказали разъезжаться по своим частям, но перед отъездом я успел на конкурс местных талантов, организованный в Труне местным же театром. Моим основным соперником оказался одиннадцатилетний парнишка в шотландской юбке, невероятно фальшиво исполнивший «Анни Лори». Парень явно подавал большие надежды по части атональной и додекафонической музыки. Единственный просчет он допустил, выбрав всем известную мелодию. Я же обошел его на импровизации сонаты Баха, имитируя все инструменты оркестра, и с благодарностью принял десять шиллингов, составляющих первый приз, говоря при этом с густым шотландским акцентом, чтобы никто не заподозрил, что я отнюдь не местный талант. Я по сей день испытываю определенные угрызения совести из-за того, что ограбил на десять шиллингов немузыкальное дитя, но оправданием мне служит то, что не впервые в жизни у меня в кармане не было и гроша.

В Лондоне мы провели совет с военными психиатрами, как избежать возвращения в свои части. Особенно затруд-

---

* 19 августа 1942 года англо-американские союзники высадили несколько десантных подразделений под городом Дьепп (Франция). Десант носил характер демонстрации, ставя целью не столько напугать немцев, сколько убедить СССР и общественное мнение своих стран в невозможности открытия в то время второго фронта. Героически сражавшиеся десантные части (по большей части укомплектованные канадцами) были практически принесены в жертву и почти полностью истреблены. Командование же считало, что рейд дал ценнейший опыт проведения десантных операций.

нительная проблема возникла у Кэрола Рида, у которого своей части не было вообще. Его произвели в капитаны исключительно для выполнения конкретного задания по производству фильма, поэтому сейчас могли заткнуть в любую дыру, хоть к черту на кулички. Надо сказать, что офицер из него вышел еще более никудышный, чем из меня рядовой. Мундир он носил с завидной элегантностью, но обладал печальной привычкой, оставшейся, видимо, с тех времен, когда он снимал фильмы на исторические темы, вежливо приподнимать фуражку в ответ на отдаваемую честь. Я просто смертельно боялся возвращаться в свою часть. Воображение рисовало картину встречи с полковником. «А, это вы! А откуда вы взялись? Из Дар-эс-Салама, из карцера... Из Мейдстона?» Отчаяние придало мне красноречия. Я предложил снять фильм для новобранцев, чтобы, проявляя юмор и понимание, облегчить им переход от гражданской жизни к армейской.

Поскольку ни психиатрам, ни Кэролу Риду не довелось побыть в шкуре рядового солдата, они внимали мне с почтительным уважением, что было для меня абсолютно в новинку.

Артиллерист Эрик согласился, что подобный фильм может оказаться полезным, поскольку в современном мире больше непозволительно воспринимать выполнение патриотического долга как наказание.

6 октября 1942 года в лондонском театре «Артс» состоялась премьера «Дома раскаяния», той самой пьесы, которую высоко оценил Джеймс Эгет, в великолепной постановке Алека Клюнса. Никогда прежде я не видел таких рецензий на мои работы и не надеюсь, что когда-либо увижу опять. Заголовок статьи в «Дейли мейл» смело гласил: «Лучшая пьеса военных лет». Журналисты следовали за мной по пятам, когда я возвращался в Гайд-парк, фотографировали меня улыбающегося, обнимавшего Изольду. Я состоялся как драматург, и это окончательно убедило военных психиатров, что фильм для новобранцев стоит снимать.

Административно я был теперь зачислен в Управление кинематографической службы британской армии, расквартированное в парке Уэмбли подразделение киношников, изображающих солдат. Квазивоенная атмосфера не способствовала творчеству, а то, что в мирное время мы все были артистами и профессионалами, связанными определенными общими интересами и демократическими привычками, делало нас весьма никудышными солдатами.

Ночевать мне разрешалось дома, но предрассветными часами я должен был пересекать из конца в конец весь Лондон, чтобы с ножом, ложкой и вилкой в руках явиться в столовую к завтраку. Затем, помыв посуду, я получал право пересечь из конца в конец весь Лондон еще раз, чтобы приступить к работе во флигеле министерства обороны. Одну ночь в неделю я нес караульную службу в парке Уэмбли на случай, если немцы попытаются выкрасть снятые нами фильмы.

Короткометражная лента, наименованная «Новая жизнь», оказалась чрезвычайно удачной. Было решено развернуть ее в полнометражный фильм. В это время Управление кинематографии направило меня на комиссию, отбиравшую кандидатов в офицерскую школу. Я сообщил об этом военным психиатрам, которым еще продолжал подчиняться в этот переходный период. Сначала они были весьма обескуражены этим известием, но, услышав, что проходить комиссию меня направляют в Уотфорд, тут же заговорщицки зашептались и попросили меня «отойти в дальний угол». Наконец, меня пригласили подойти обратно.

— Вы ведь знакомы с нашими методами? — спросил меня один из них.

— Пожалуй, да, сэр.

— Да оставьте вы эти формальности, здесь-то они ни к чему. — Смешок его прозвучал намеком на то, что здесь собрались люди чрезвычайно утонченные. — И вообще, — продолжал он, или с трудом подбирая простейшие слова, или тщательно их обдумывая, — и вообще, вы достаточно знакомы с образом нашего научного мышления.

— Знаком, — согласился я.

Психиатры снова зашушукались, держа совет, а я начал вспоминать все чудеса их науки, в которые был посвящен. Они, например, обосновали и доказали опасность демонстрации солдатам накануне сражения документальных фильмов о военно-морском флоте, где орудия корабельной артиллерии наводятся с экрана прямо на зрителя.

Мои мысли о непонятном для нас мире, в котором живут эти блестящие умы, прервал голос старшего из них.

— Я буду с вами откровенен, — сказал он. — Мы испытываем глубокие сомнения в компетентности одного из членов отборочной комиссии. Естественно, как кандидат в офицерскую школу, вы будете проходить собеседование

с ним. Не затруднит ли вас доверительно и, разумеется, вполне неофициально подготовить отчет о вопросах, задаваемых им, манере их составления, и так далее и тому подобное?

Я ответил, что охотно изложу факты, а выводы из них предоставлю делать ему.

— Чем вы мотивируете подобный подход? — внезапно спросил психиатр.

— Тем, что величайшая психиатрическая литература создана задолго до Фрейда, — ответил я. — Наблюдательность и интуиция Шекспира и Достоевского позволили им совершить больше открытий, чем любому другому, когда-либо пускавшемуся в плавание по этим морям. Поэтому я смиренно последую примеру этих титанов, буду внимательно, как ястреб, следить за намеченной жертвой, а потом сообщу результаты своих наблюдений вам. Вы же, овладевшие тонкостями искусства ориентации в подсознании, сделаете выводы.

Когда я уходил, они ожесточенно спорили о Шекспире, Достоевском, Фрейде и коллеге в Уотфорде.

Когда мы прибыли в готический замок, окруженный огромным парком, нам всем присвоили номера, сказав, что на ближайшие два-три дня наши имена отменяются. Отвели в учебный класс, где мы ждали то ли начала занятий, то ли приветственного слова начальника школы. Пока суть да дело, нас занимал сержант, кудрявый парень с нафабренными усиками. В речи его звучали забавные потуги на светскость, как будто расслабленные интонации и недосказанность, свойственные разговорам в офицерской столовой, привились на его менее отесанной натуре. Не будь он сержантом, из него вышел бы отменный дворецкий.

— Доброе утро, сэры! — сказал он и тут же напустился на нас: — Что, удивились, да? Никак не ожидали, да? А так оно и есть. Некоторым из вас суждено называться «сэр», так что привыкайте, мать вашу!

Все это звучало так угрожающе, будто производство в офицеры ничем не отличалось от вынесения смертного приговора. Поскольку начальник школы задерживался, сержант охотно развивал тему, закончив свою речь воплем:

— Во время пребывания в школе с вами будут обращаться, как с офицерами и джентльменами, даже если вы и не то, и не другое, ясно вам? Вас будут проверять на умение командовать, блюсти честь мундира, вести себя за

столом и так далее. Я всю эту дребедень в гробу видал, но я кто? Всего лишь навсего простой сержант. На вашем месте я б воспринимал все это как игру. Ну, я не знаю, как вы, а я в каждой игре хочу выиграть!

Его тираду прервало появление начальника школы.

— Прежде всего не советовал бы вам рассматривать пребывание в школе как игру... — начал он, и сержант, стоя за его спиной, зловеще улыбнулся и подмигнул нам.

За обедом я очутился рядом с офицером, выражавшим мне восторги постановкой моей пьесы в театре «Артс». Отвечать на комплименты мне не хотелось: а вдруг это ловушка, вдруг меня выманивают из убежища анонимности, чтобы приписать тщеславие, абсолютно несовместимое с кодексом поведения офицера и джентльмена, если только ему не случилось носить фамилию Монтгомери. Я честно признался офицеру в сложности своего положения и в том, что номеру 6411623 трудно принимать комплименты за пьесу, написанную Устиновым.

— Плевать, — ответил офицер. — Действуй я по инструкции, у меня в этой кретинской школе давно бы шарики за ролики заехали. Мне приказано сидеть здесь и смотреть, как вы едите горох. Я еще полгода назад махнул на все рукой и перестал наблюдать, кто как ведет себя за столом. Пропускаю всех — из принципа.

Я от души обрадовался, что выдержал экзамены на правила поведения за столом, но последующие более серьезные испытания явились для меня значительными препятствиями. После обеда нам предстояло с интервалом в пять минут нырять в лаз подземного хода, зияющий посреди двора, и ползать там в кромешной тьме, когда минуты кажутся вечностью, пока не найдем выход. Это, несомненно, служило проверкой нервов, и проверкой малоприятной. Спустившись вниз пять минут спустя после предыдущего курсанта, я медленно пополз вперед на четвереньках. Мозг осаждали непрошеные мысли: а если задохнусь? А если обвалится свод? А если случится обморок? Наконец впереди вроде бы забрезжил свет. На минуту остановившись, я усилием воли заставил себя успокоиться и подумать. Было бы типично по-армейски перегородить отдаленный лаз решетками, чтобы курсанту пришлось ползти назад, слепо тычась в стенки в поисках выхода. Армия пойдет на что угодно, лишь бы затруднить солдату жизнь. Может, мне лучше тщательно обследовать стенки тоннеля сейчас, чем безрезультатно ползти вперед? Так, левая рука ни во что не упирается. Я свер-

нул налево, хотя меня и охватило новое подозрение: а вдруг это ответвление, где тоже царит кромешная мгла, специально предусмотрено как ловушка для ненаблюдательных людей, неспособных заметить свет впереди? Однако по зрелом размышлении я заключил, что армия скорее подложит свинью человеку бездумно бдительному, чем задумчиво близорукому, и пополз дальше. Внезапно впереди снова забрезжил свет. Тоже типичные армейские штучки — попытаться сломить человека, снова подставляя ему одну и ту же ловушку. На этот раз стены не нащупала моя правая рука. И снова я свернул во тьму.

Я окончательно перестал испытывать какие-либо сомнения, уткнувшись головой в перемазанные землей брюки еще одного кандидата в офицеры и нащупав руками его кованые башмаки. Он, разумеется, потерял много времени, попавшись в ловушку, устремившись, подобно мотыльку, на забрезживший свет, и потом с трудом нашел из нее дорогу.

— В одну заполз или в две? — поинтересовался я.

— В две, — прохрипел он.

— А там что?

— Решетки толщиной в руку.

Наверх мы выбрались вместе. Увидев моего напарника, офицер улыбнулся, но улыбка тут же померкла, когда вслед за ним вылез я.

— Кто подсказал? — требовательно спросил он.

— Никто, сэр, — ответил я.

— Врете! — угрожающе прорычал офицер. — Кто-то вам подсказал дорогу. Не могли же вы наверстать пятиминутный разрыв сами. Но я все выясню.

Стало ясным, что моя сообразительность обернется против меня и что у моего напарника куда больше шансов получить офицерские погоны, поскольку он выказал армии требуемое уважение, угодив в поставленную для него ловушку. Ловушки, в конце концов, для того и расставляются, чтобы в них попадаться, и, обходя их, человек проявляет нежелание с пониманием отнестись к духу службы, что может трактоваться как леность, а то и злостное симулянтство.

Злополучные происшествия, подобные приведенному выше, продолжали преследовать меня на каждом шагу и достигли апогея, когда нас повели к психиатру.

На экран проецировались рисунки, оставляющие

смутное ощущение душевного разлада, а нам предписывалось в трехминутный срок описать увиденное.

На одном из рисунков оборванный человек спускался на веревке с зубчатой крепостной стены. Картина напоминала один из «Ужасов войны» Гойи. Поэтому я хитро составил текст, рассчитывая произвести благоприятное впечатление на эрудированного экзаменатора.

«Представляется возможным заключить, — писал я, — что перед нами испанский повстанец времен Пиренейских войн *, солдат гарнизона Сарагосы, выбирающийся из осажденной крепости с важными сообщениями от генерала Палафокса сэру Артуру Уэлсли, ведущему свои войска в наступление».

Я возомнил, что исключительная тонкость моей фантазии будет оценена по достоинству. Уэлсли еще не стал Веллингтоном, но англичане уже наступали, а это не могло не произвести приятного впечатления. Но все мои труды пошли прахом. В который раз мне оказалось не по плечу проникнуть в тайны английского мышления.

Я вошел в кабинет, где меня ждал психиатр, огромный человек с гривой спутанных грязно-седых волос, притворявшийся, будто погрузился в изучение моего почерка. Затем он так сильно перелистнул первую страницу, что она легла на его руку. Я узнал свой шедевр. Вступительная изящно-литературная фраза: «Представляется возможным заключить» — была подчеркнута сразу тремя красными линиями и откомментирована одним лишь словом: «Нерешителен».

Я почувствовал, как в лицо мне бросилась кровь. По всей видимости, психиатр вынес суждение обо мне, даже не потрудившись оторвать взгляд от текста. Что ж, любезность за любезность. Он дал плохое заключение обо мне; вернувшись в Лондон, я дал еще худшее о нем. Я не стал офицером, но узнал, что его отстранили от должности. Так завершился самый бесплодный из всех бесплодных дней, проведенных мною под боевыми знаменами.

— Можно вмешаться?

— Тебе не надо и спрашивать.

---

* Войны против наполеоновской Франции на Пиренейском полуострове (1808—1813). Палафокс, Хосе — испанский военачальник, руководивший героической обороной Сарагосы от французов во время двух осад (1808—1809). Уэлсли, Артур — будущий герцог Веллингтон, командующий союзными войсками антифранцузской коалиции во время Пиренейских войн.

— Все эти глупости напомнили мне, как однажды твой сын пришел из школы, захлебываясь слезами ярости, вызванной несправедливым отношением к нему кого-то из учителей.

— Это было много позже. А тогда сын еще и не родился.

— Верно. Но ведь именно утешая сына, ты и понял впервые, с чем труднее всего смириться в нашей жизни — с осознанием того, что в ней нет ни арбитра, ни возможности апелляции. Нам суждено уживаться с несправедливостью весь наш век, и зачастую о нас можно судить по умению принимать сей факт. Присутствие духа, с которым мы воспринимаем его, можно считать даже показателем нашей зрелости.

— Я, разумеется, согласен с тобой, но удивлен, что ты заговорил об этом сейчас. В армии нет места справедливости. Я никогда не рассчитывал на нее, а потому и не был удручен ее отсутствием. Что же до офицерского звания, то мне, откровенно говоря, было абсолютно плевать, получу я его или нет.

— Интересно, насколько это правда. Ведь ты всегда увлекался историей вооруженных сил и военного дела. Сдается мне, что, добейся ты тогда ответственности, которой так жаждал, ты стал бы предан службе душой и телом и чрезвычайно чувствительно реагировал бы на критику, которую позволяешь себе сегодня.

— Видишь ли, если бы меня взяли в разведчики тогда, у станции метро Слоун-сквер, я не пощадил бы сил, чтобы стать отличным сотрудником, по крайней мере, пока не кончилась бы война. Дело совсем не в этом. Да, мне интересны военная история и организация военного дела, точно так же, как мне интересны теннис, футбол или процесс отправления правосудия, но мысль о ничем не оправданной гибели людей приводит меня в ужас. Позволь, я объясню.

Мысль о сговоре с фашизмом была ненавистна мне, особенно потому, что я имел достаточно ясное представление о зловещем характере нацистской авантюры и знал, что ответить на нее мы можем только одним — полным ее уничтожением.

— Чем вызван вдруг такой взрыв страстей? Только тем, что я воззвал к справедливости?

— Ты помнишь точную формулировку решения отборочной комиссии школы подготовки офицеров военного

времени? «Ни при каких обстоятельствах этот человек не должен допускаться к руководству другими».

— Теперь эти слова вызывают у тебя улыбку?

— Так же, как и тогда. Они ничего тебе не напоминают?

— «Проявляет незаурядную оригинальность, которая должна быть обуздана любой ценой».

— Слово в слово. Наша любимая школьная характеристика. А помнишь, как тебе велели назвать величайшего композитора на свете?

— Ну-ка, напомни...

— Я назвал Баха. Мне объяснили, что ответ неверен — величайшим композитором на свете считается Бетховен. Я буркнул себе под нос, что, по-моему, Моцарт куда лучше. Услышав это, учитель заставил меня написать сто раз: «Бетховен — величайший композитор в истории».

— А вопрос контрольной работы по общему развитию? «Назовите русского композитора»?

— Вот именно. Надо было назвать Чайковского, не так ли?

— Совершенно верно.

— Кого же назвал ты?

— Римского-Корсакова. И перед всей школой получил нагоняй, чтобы впредь не выставлялся.

— Да, я понимаю, что ты имеешь в виду, говоря об умении уживаться с несправедливостью.

— Видишь ли, несправедливость хороша тем, что оказывается обоюдоострой, без чего действительно пришлось бы смиряться чересчур со многим. Будем объективны — ведь в благосклонности к нам Герберт Фарджон и Джеймс Эгет были по меньшей мере так же несправедливы, как некоторые другие критики в неприязненном отношении к нам.

— Я воспринимал службу в армии как учебу в кошмарной школе для умственно отсталых взрослых, в которой выдавались дипломы за прохождение курса бредовых дисциплин. Признаюсь тебе честно — я ненавидел ее, как отраву, но ни за что в жизни не согласился бы обойтись без нее.

— Почему?

— Я уже говорил, что для людей определенного склада плохое образование оказывается наилучшим. Армия же как образовательно-воспитательное учреждение про-

сто никуда не годится, поэтому я буду признателен ей до гробовой доски за все, чему она научила меня.

— Не боишься ли ты, что подобная позиция приведет к недостойному пренебрежению памятью погибших, среди которых было и немало твоих добрых друзей?

— О, что ты! Ведь я уже говорил, в какой ужас приводит меня смерть.

— Да, конечно, смерть отдельных людей. А смерть всех не поддающихся счету жертв войны?

— Их гибель оплакивает каждый, в ком есть хотя бы проблеск человечности. Но они не только бесчисленны, они неисчислимы. Их гибель не укладывается в сознании. А оплакиваем ли мы тысячи погибших в дорожных происшествиях? Жизнь недорого стоила в средние века. С тех пор она стала стоить еще меньше. Только в конкретной битве за спасение конкретной жизни и испытывается наша культура, а вместе с нею — и наша человечность.

— Да уж не стал ли ты пессимистом всего лишь за несколько десятков лет драгоценной жизни?

— Драгоценной лишь для нас с тобой. Но не дороже любой другой на открытом рынке. Стал ли я пессимистом? Вот уж нет! Я оптимист, воинственный и неисправимый оптимист. В конце концов, чтобы не быть идиотом, оптимист должен понимать, каким печальным может быть наш мир. Лишь пессимист узнает это каждый день заново.

— Так движемся ли мы вперед?

— Мы отвоевали две войны, чтобы положить конец войнам. В 1976 году государства всего мира выделили на помощь голодающим детям Земли ровно столько, сколько щедрой рукой тратят каждые два часа на производство оружия. Так может ли хоть один здравомыслящий человек позволить себе быть пессимистом? Оставим подобную роскошь для лучших времен.

10

На моем здоровье начал сказываться шок, вызванный резкими скачками в служебном положении: то со мной советовались высокопоставленные офицеры и ученые-психиатры, то меня разносил какой-нибудь дубоватый капрал, не сумевший разглядеть в моих ботинках достоверного воспроизведения своей рожи. Я стал подвержен приступам судорог, по всей вероятности вызванных причинами чисто психосоматического характера. Но тогда

это словцо не было еще в ходу. Меня направили на обследование в военный госпиталь.

Поскольку врачи сочли, что мое недомогание возникло на нервной почве, я в конечном счете очутился в кабинете офицера по учету и распределению кадров, этакого доморощенного психиатра, поставленного следить за тем, чтобы, выражаясь тогдашним языком, круглые дырки не затыкали квадратными затычками. Принимались все меры, чтобы подобрать мне занятие, соответствующее моим наклонностям. В теории. На практике же, как часто бывает, все вышло несколько иначе. Офицер оказался шотландцем, в облике которого несколько необычным образом сочетались угольно-черные усы и белоснежные стриженные ежиком седины. Он походил на плохой негатив Гручо Маркса * в расцвете славы, но куда меньше располагал к себе, выглядел куда менее забавным и, наконец, куда менее человечным.

Офицер сообщил, что изучил мое дело, и поинтересовался, сколько я зарабатывал на гражданке.

Я ответил, что уровень моих доходов постоянно изменялся, поскольку я зарабатывал на жизнь творческим трудом, но нигде не получал постоянного жалованья.

Офицер терпеливо повторил вопрос, будто говоря с тугодумом-туземцем где-то в колониях.

— Чего же тут не понять, — мурлыкал он певучим шотландским голоском. — Я просто поинтересовался, сколько вы получали в неделю до войны.

Я объяснил, что понял его вопрос, и приложу все усилия, чтобы ответить столь же просто.

— Поскольку я актер и писатель, у меня нет постоянной службы. Очень часто в течение недели я вообще ничего не зарабатываю, — здесь я попробовал засмеяться, но офицер смешка не поддержал. — Когда же я получаю гонорары, их размер неизменно колеблется, постоянно меняется или, так сказать, не носит постоянного характера.

Офицер прикрыл глаза, будто мобилизуя скрытые запасы сил, и глубоко вздохнул.

— Не понимаю, почему вы пытаетесь так все запутать, — сдавленно пробормотал он. — Я всего лишь спрашиваю вас, на какую сумму вы получали платежный чек в конце каждой недели.

— Но именно на этот вопрос я и не могу дать вам

* Один из братьев Маркс, известной группы комических артистов американского кино.

точного ответа, — стиснув зубы, сказал я. — Вам, наверное, доводилось слышать, что в жизни актера случаются неудачные годы. Так вот, неудачный год складывается из преобладания неудачных недель над удачными. Точно так же удачный год складывается из преобладания удачных недель над неудачными. Отсюда, безусловно, со всей определенностью следует, что вывести коэффициент соотношения удачных и неудачных недель я не могу, поскольку работал в данной области очень недолго.

Вздохнув, офицер возвел взгляд к потолку, как будто на потолке происходило нечто ужасно занятое. Я же вслед за ним на потолок глядеть не стал, поскольку точно знал, что там ничего не происходит вообще.

— Хорошо, я сформулирую вопрос иначе, — сказал, наконец, офицер. — Не будь войны, сколько бы вы получили сейчас, за эту неделю?

Тут-то меня и осенило.

— Если желаете, сэр, я могу сказать вам, сколько я получил за эту неделю.

Офицер зажмурился и сломал пополам карандаш.

— Я знаю, сколько вы получили на этой неделе, — простонал он голосом, в котором уже звучали слезы, — вы — рядовой вооруженных сил его величества. Я твердо знаю, сколько вы получили на этой неделе!

— Нет, не знаете, сэр, — стоял на своем я. — В Эдинбурге только что прошла премьера моей четвертой пьесы, и я чеком получил гонорар. — Я сверился с чеком. — На этой неделе я получил восемьдесят фунтов семнадцать пенсов, не считая моего солдатского жалованья.

Грохнув кулаком по столу, офицер вскочил.

— Лжете! — завопил он.

Я изложил факты по делу, надеясь, что упоминание Эдинбурга остудит его гнев, но он, видимо, оказался из Глазго, поскольку мои объяснения лишь распалили офицера.

— Так, — заявил он, мрачно смотря на меня через стол, где лежала одна из тех простеньких головоломок, с которыми легко управляются шестилетние дети и которые, заставляя взрослых мучиться в поисках решения, предположительно заставляют их обнажать свои сильные и слабые стороны. — Так. Вот мое заключение. Совершенно очевидно, что вы психологически непригодны к работе по созданию киносценариев, и поэтому я направляю вас клерком — кладовщиком в королевский военный вещевой склад в Донингтон-парк, где ваши обязанности бу-

дут заключаться в сортировке белья согласно размерам...

Дальнейшего я не слышал, да и не слушал, поскольку, что случается со мной крайне редко, не смог сдержать приступа гнева. Все наболевшее, все отчаяние, порожденное идиотизмом и неустойчивостью этого рабского существования, вылились взрывом беспредельной всепоглощающей ярости. Схватив со стола игру-головоломку, я швырнул ее изо всех сил на пол. Перепугавшись, шотландец метнулся к двери и заорал, зовя на помощь. Двое военных полицейских скрутили меня и поволокли к госпитальному психиатру. Им оказалась женщина-полковник, ее наплечные нашивки, как ни странно, гласили «Бермудские острова».

В ответ на вопрос, чем вызвана моя реакция на решение, принятое офицером по учету и распределению кадров, я заявил, что этот офицер вряд ли компетентен объявлять меня психологически непригодным для создания сценариев, когда фильм, созданный с моим участием, вышел на экраны, заслужив высокую оценку критики. Далее я начал предаваться сентиментальным воспоминаниям о счастливых временах, проведенных в штате Управления психиатрической службы, о временах, которым не суждено больше вернуться, ибо мой удел — сортировать по размерам белье, чтобы как можно быстрее поставить на колени японцев.

Мой сарказм имел успех. Доктор весело расхохоталась, как будто идиотизм моего положения позволил ей хоть на немного отвлечься от монотонности службы. Она приказала принести мне чаю и сказала, чтобы я ни о чем не беспокоился. Где-нибудь через неделю меня переведут в армейское управление, занимающееся организацией развлечений и зрелищ для войск. Обратно в палату я возвращался уже без эскорта военной полиции. По пути я миновал блок, где содержались душевнобольные.

Седая женщина в больничной рубашке выговаривала человеку в визитке:

— Почему ты всегда приходишь навещать меня в рабочей одежде, Гарольд? — ворчала она.

Как всегда, мои несчастья оказывались не самыми страшными.

11

Передо мной стояла перспектива отправки на Дальний Восток с концертной бригадой. Я должен был играть епископа, бегающего по сцене в нижнем белье, пер-

сонажа известного в то время фарса, авторские права на который принадлежали одному из офицеров нашего управления. Не самый плохой способ заработать на карманные расходы, и я упоминаю об этом лишь потому, что офицер безапелляционно обвинил меня в отсутствии патриотизма, когда ходатайство о переводе в ведомство Верховного командования союзных экспедиционных сил в Европе избавило меня от этой участи.

Другой офицер еще более высокого ранга вызвал меня в кабинет и велел запереть дверь. Он путано говорил о том, что сейчас, когда война подходит к концу, ни у кого ни в чем нет уверенности, и хвалил мою пьесу, которая, по его словам, очень ему понравилась. Потом попытался продать мне свои наручные часы.

Верховное командование союзных экспедиционных сил планировало создание фильма о военных действиях в Европе. Кэрол Рид и я представляли британскую сторону, режиссер Гэрсон Кэнин, поэт Гарри Браун и сценарист Гай Троспер представляли США. Клод Дофин — Францию. Музыку к фильму предстояло написать Марку Блицтейну, тогда служащему американской армии.

Фильм был задуман с размахом. Гарри Брауну предстояло сочинить лирические переходы белым стихом, увязывающие эпизоды фильма воедино. Эпизоды же эти должны были монтироваться из поступающих к нам материалов, отснятых отважными фронтовыми кинооператорами. Мне не раз приходилось отправляться в расположение военной цензуры на Дэвис-стрит близ гостиницы «Кларидж» и просматривать свежие ленты, что бывало занятием довольно скучным: то цензор-голландец решит вырезать некоторые кадры, поскольку показанные в них физические ориентиры могут выдать месторасположение союзных войск, то цензор-бельгиец сочтет, что в другом кадре легко опознается известная церковь или колокольня. А посему нельзя выпускать на экран фильм о боевых операциях на данной территории, пока линия фронта не уйдет далеко вперед. В подобных случаях работа останавливалась, и делались соответствующие купюры. Моя же задача заключалась в отборе наиболее драматически напряженных и впечатляющих эпизодов.

Одним жарким днем на экране безо всякого предупреждения появился Герман Геринг. О том, что Геринг взят в плен, не поступало никаких сообщений, мы даже намеков на это не слышали. К нашему изумлению, Геринг показался на экране, окруженный американскими

офицерами, позирующими вместе с ним перед фотоаппаратами, улыбающимися, дружески похлопывающими его по спине, выпрашивающими автографы для дальней родни, которая отныне сподобится ощутить причастность к ходу истории, и жаждущими посвятить его в таинство жевания резинки. Геринг выглядел бледнее и тоньше, чем я предполагал, и очень обеспокоенным. Будучи осведомленным о целях, преследуемых в войне союзниками, он имел все основания нервничать.

Однако его нервозность таяла на глазах — до того неугомонно его облизывали и прыгали перед ним на задних лапках эти большие щенки. К концу ленты, когда в зале зажегся свет, Геринг уже держался не менее игриво и непринужденно, чем взявшие его в плен американцы, а нам, свидетелям этого зрелища, оставалось лишь остолбенело обмениваться изумленными взглядами. Как я узнал впоследствии, к вечеру того же дня эти кадры просмотрел Эйзенхауэр и, придя в небывалый гнев, приказал отослать каждого опознанного офицера обратно в США для прохождения службы, требующей менее обременительного напряжения умственных сил. Когда мы увидели Геринга на экране в следующий раз, американский сержант безо всяких церемоний сдирал у него с мундира ремень. На лице Геринга отражалась печаль, вызванная резким обращением, столь непохожим на приятные первоначальные минуты пребывания в плену.

Второй документ, который сохранится в моей памяти навсегда, был куда суровее и страшнее: английские войска входили в Бельзен. Из ворот лагеря выбежал сержант. Даже на черно-белом экране было видно, что сержант не в силах овладеть собственным лицом, отражавшим невероятно сложную гамму чувств, одновременно и серьезным, и яростным, и замкнутым, и ледяным. Его солдаты разбрелись по обочине дороги, курили и болтали. Сержант выкрикнул команду. Солдаты не очень торопились выполнять ее. Сержант закричал снова. Само собой разумеется, ленту мы смотрели неозвученную. Перед нами представала пантомима тем более выразительная, что заставляла зрителя восполнять отсутствие звука силой собственного воображения.

Солдаты казались явно обескуражены приказом сержанта построиться и продолжать движение медленным шагом. Не понимая причины подобной торжественности, они с трудом понимали и приказ. Сержант повторил его еще раз.

Длинная цепь солдат медленно втягивалась в ворота, туда, к запаху тлена, лицом к лицу с наглядным свидетельством подлого геноцида, с горами костей, чуть прикрытых слоем плоти, с невидящими глазами выживших, с устилавшими землю останками несчастных. Солдаты покидали строй, падали на колени, на четвереньки, не в силах сдержать рвоту. Брань и угрозы сержанта не имели больше никакого значения. Пережитый шок валил людей, словно удар в живот, и дисциплина была бессильна. Один солдат, охваченный вспышкой безумной ярости, выбежал из строя без какой-либо видимой причины. Он бежал, выпятив обезумевшие глаза, а камера неотступно фиксировала каждый его шаг.

На ступеньке сидел отставший от своих немец, преклонного возраста человек, одетый в долгополую шинель и укутанный шарфом. Опустив наушники кепи, он обмяк, как загнанный пес, уставившись невидящим взглядом в пространство. Подбежав к немцу, англичанин бросил винтовку, сгреб его за воротник и начал безжалостно осыпать пинками и ударами. Тут же подскочил сержант и оттащил солдата в сторону, немец сполз на ступеньку, застыв точно в той же позе, в которой и сидел. По лицу его мимолетно и пугающе скользнуло нечто вроде благодарности.

На наше счастье, контрапунктом этим кадрам, непреодолимо угнетающим разум, послужила лента, достойная лучших комедий немого кино. Кинооператоры сняли сцену официальной капитуляции фельдмаршала Мильха, которую принимал моложавый английский генерал. Безупречно соблюдая протокол, фельдмаршал отсалютовал жезлом, приложив его к козырьку фуражки, и официально вручил его генералу. Генерал взял жезл, взвесил его на ладони, а затем изо всех сил ударил им фельдмаршала по голове, сбив его с ног. Столь неожиданный и удивительный поступок вызвал у цензоров взрыв смеха, быстро стихший, однако, как только они осознали возможные последствия. Меня же, человека, больше связанного законами комедийного жанра, чем положениями Женевской конвенции, не перестает изумлять проявленный генералом незаурядный комический дар.

Филиппо дель Гвудичи, всегда благоволивший ко мне, решил, что мне настала пора самостоятельно поставить фильм по собственному сценарию. Поскольку мне уже

исполнилось двадцать четыре года, я не мог с этим не согласиться. К Гвудичи, известному и друзьям и врагам под прозвищем Дель, обратились ВВС, жаждавшие выпустить ведомственный фильм об изобретении радара, обещая всяческую поддержку и сотрудничество. Дель, в свою очередь, решил положиться на меня и попросил представителя министерства, кипучей энергии джентльмена по имени сэр Роберт Ренвик, добиться моего перевода в ВВС на период службы, оставшийся мне до демобилизации.

Я был обрадован и польщен, и, как неоднократно случалось, нисколько не обеспокоен масштабом и сложностью предстоящей мне задачи, что было с моей стороны очень глупо. Сэр Роберт Ренвик любил все делать по телефону и со свойственной ему неугомонностью начал обеспечивать мне содействие, необходимое для поездки в Малверн, полузакрытый государственный научно-исследовательский центр.

Позвонив мне, сэр Роберт Ренвик сказал примерно следующее:

— Значит, так, Устинов, все на мази. Вас примут как особо важное лицо, вам будут открыты все двери. Можете задавать любые вопросы, а если вам не окажут максимального содействия, немедленно сообщите мне. Нам нужен первосортный фильм — содержательный, рекламный, не лишенный юмора и пафоса, построенный на весомых фактах и пронизанный приключенческим духом, потому что тема его — самая что ни на есть приключенческая, никакой вымысел с ней не сравнится. Я высылаю за вами автомобиль из гаража министерства, который завтра прибудет к вашему дому ровно в девять ноль-ноль и ни минутой позже. Грязно-серый «хамбер» с номерами ВВС, и... вот что, Устинов, поскольку вам предстоит официальный визит, я советовал бы надеть форму.

— Но послушайте, сэр... — взмолился я.

— Зовите меня просто Боб, — отрезал он и положил трубку.

Грязно-серый лимузин вкатил в бывший конюшенный двор, где мы тогда обитали, минутой позже девяти. Я стоял во дворе с полной выкладкой и с винтовкой.

За рулем лимузина сидел сержант ВВС. Свистнув мне, чтобы я подошел, он критическим взором окинул мою выправку.

— Где номер тридцать четыре, знаешь? — спросил он.

— Так точно. Это мой дом, — ответил я. — Поскольку вы припозднились, я решил не терять времени и встретить вас на улице.

Рядовые тоже умеют быть жестокими, дай только шанс.

Мы ехали в гробовой тишине. Двое патрульных из военной полиции чуть не попадали с мотоциклов, увидев нас. Развернувшись, они последовали за лимузином, поравнялись с ним и осторожно заглянули в окна. Я милостиво кивнул им и сделал величественно-скупой жест рукой. Патрульные сочли за благо отстать от машины. Пока я не потерял их из виду, они стояли, советуясь, у обочины.

Как и было рекомендовано, в Малверне я обратился в офицерскую гостиницу, где меня встретил пожилой майор ВВС, весь светившийся добродушием.

— Здорово, здорово, солдатик, — пропел он. — Чем можем тебе помочь?

— Для меня заказан номер, сэр.

— Боюсь, сынок, ничего не выйдет, — с искренним сожалением сказал он. — Это гостиница для офицеров, сечешь? Но молодец, что попробовал.

— Я прибыл по служебному делу...

— Вот что, паренек, — в добродушном голосе майора зазвучали нотки построже, — здесь неподалеку есть лагерь, в сторону границы Уэльса. Выйди голосни на шоссе, солдата какая-нибудь добрая душа всегда подвезет. И занимайся своими служебными делами там, в лагере. Ну, катись.

— Я по делу от Боба Ренвика.

Побелев, майор отступил на шаг.

— Сэр Роберт? Сэр Роберт Ренвик? Как ты смеешь называть его «Боб»?

— Он сам просил.

— Все равно не смей...

— И более того, — сказал я, — мне не нужно голосовать на шоссе. Вздумай я прокатиться к границе Уэльса, у меня есть служебный лимузин.

Майора чуть не хватил удар. Сохраняя верность извечной привычке ковать железо, пока горячо, я выглянул за дверь и позвал:

— Сержант! Водитель! Будьте любезны на минуту зайти!

Водитель, лицо которого выражало полнейшее сочув-

ствие майору, изложил известную ему информацию. Затем они вместе проверили заявки на бронь. Сначала они не могли найти моей фамилии, но вдруг оторвались от бумаг с такими озабоченными взглядами, будто господь покарал их чем-то еще. Боб Ренвик обеспечил мой визит столь тщательно, что мне был заказан номер, предназначенный для генерал-лейтенантов и выше.

Женщины-капралы гладили мой мундир, чай подавали так часто, что просто становилось неловко, и даже вычистили мою винтовку. Прежде всего мне предстояло ознакомиться с институтом в обществе генерал-полковника авиации сэра Чарлза Портала, и генерал-майора авиации, начальника службы связи ВВС сэра Виктора Тейта. Меня представили генералам лишь к самому концу этого кошмарного балагана, а чисто британская сдержанность не позволяла им осведомиться, что это за рядовой плетется за ними.

Когда генералы останавливались задавать вопросы, останавливался и я. Не мог же я, в конце концов, обгонять генералов. Поэтому мне то и дело приходилось в развалочку стоять перед каким-нибудь полковником, изучая, как надраены его пуговицы и начищены ботинки. За неимением возможности задавать офицерам вопросы, которые в иных обстоятельствах задавали бы мне они, я просто молчал, стараясь при этом держать себя так, чтобы молчание не выглядело оскорбительным. Когда, отвечая на вопросы генералов, специалисты разъясняли технические подробности, я понимающе кивал головой, а когда генералы нервно поглядывали на меня, я старательно изображал человека, усваивающего полученную информацию и быстро что-то решающего.

Наконец, во время очередного чаепития к нам присоединился Боб Ренвик, тут же воспринявший сложившуюся ситуацию как грандиозную шутку.

— Что же вы мне не сказали, что вы всего-навсего рядовой? — расхохотался он и, как это свойственно ему, не дал мне времени ответить.

* * *

— Можно вставить слово?

— Не нужно и спрашивать.

— Ты так любишь развлекаться, прохаживаясь на счет армии, и, видно, твои шутки находят отклик, раз

тебя часто просят рассказать что-нибудь из твоей армейской жизни, когда ты выступаешь по телевидению.

— К чему ты клонишь?

— Не заводись. Я всего лишь хочу напомнить то, что тебе прекрасно известно: без армии — или, вернее, без армий вообще — невозможно было бы победить Гитлера, и...

— Разумеется, я знаю это не хуже любого другого. Надеюсь, ты не пытаешься применить недостойный прием, рассчитывая, что истинная вера полковых традиций заставит меня раскаяться, как малодушного еретика?

— Это было бы бесполезно. Ты забываешь, что я тоже ненавидел службу, сводившую потенциал моей личности к нулю.

— Тогда какого же черта...

— Я хочу, чтобы ты создал правильное представление об истинной причине твоего протеста против бессмысленной траты человеческих возможностей и сил.

— Чтобы победить Гитлера, мир был вынужден прибегнуть к методам, которые история сделала священными в глазах одних людей и смехотворными в глазах других. Пойми, я говорю сейчас отнюдь не только о войне со всеми ее безумными кошмарами, но и о мире. Ведущие державы обладают возможностью уничтожить нашу планету несколько раз подряд, и тем не менее все еще находятся люди, пытающиеся нажить политический капитал, заявляя, что их страна опасно отстает от другой в развитии своего арсенала уничтожения. Печально не то, что подобные аргументы выдвигаются будто серьезные. Мир никогда не испытывал недостатка в идиотах, даже в самые трудные времена. Печально другое — то, что к этим аргументам прислушиваются и руководствуются ими в практических шагах.

Содержание этого гигантского и бесполезного арсенала обходится так дорого, что тысячи и тысячи людей ежегодно умирают, потому что у мира не остается достаточных физических и моральных ресурсов для оказания самой элементарной помощи нуждающимся. Я хочу сказать, что, если бы наши великие державы довольствовались возможностью уничтожить планету всего два или три раза как достаточно веским фактором сдерживания, проблемы голода и болезней были бы легко решены, но нет, никак мы, видно, не можем обрести безопасности в логике, можем лишь искать ее в абсурде.

И тысячи людей продолжают умирать — не потому,

что стреляют пушки, но просто потому, что пушки существуют. И сегодня вооружения без единого выстрела сбирают себе дань человеческими жизнями.

— Да, сегодня, сегодня. Ты высказываешь эти взгляды сегодня, сейчас, когда сотрудничаешь с ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, но когда ты впервые задумался над этими страшными парадоксами?

— О, на это ответить легко. Когда стоял, застыв по стойке «смирно», сосредоточенно уставившись в пустоту, ожидая очередного первобытного рыка неандертальца с тремя лычками на плече. А может, в каком-то смысле еще раньше — когда лежал в сырых папоротниках Ричмонд-парка с трещоткой в руках, изображая пулеметную роту. Никогда я не чувствовал так остро, что впустую трачу свое время, да и время моей страны, чем во время службы в армии. Как я уже сказал, я ненавидел каждую секунду своей службы, но не отказался бы от этого опыта ни за что на свете.

18

— Отец, поклявшийся умереть прежде, чем ему исполнится семьдесят, скончался в восемь вечера 1 декабря 1962 года, не дожив до семидесятилетия четыре часа. Последние три дня он почти не приходил в сознание. Лишь иногда, очнувшись, отпивал глоток шампанского, да один раз, в миг редкого просветления, удивленно заглянул тебе в глаза и сказал по-французски: «Tiens, je te reconnais de mes rêves».

— Да. «Я помню тебя из моих снов». Высказывание, достойное почетного места в списке знаменитых последних слов, а услышал его я один. Так ушел человек, которого я никогда по-настоящему не знал и которого мне, как и каждому сыну, необходимо было бы знать лучше. Здесь нет ничьей вины. Потребность в таком знании и робость в его постижении заложены глубоко в человеческой природе. Под внешним слоем сознания бурлит вулкан ревности, желаний, стремления покровительствовать и служить авторитетом, как ни пытайся обуздать сей вулкан традициями и воспитанием. Пожалуй, лучшим изъяснением нашей истинной природы служит поведение собак: сначала они рьяно защищают своих щенков, а потом вдруг ревностно грызутся с ними из-за кости или из-за суки, как бы забывая долг по отношению к семье, да и саму семью. Нам же забыть не позволяют общественные

и этические законы. Нашему поведению в этом плане нет аналога в мире животных, из которого мы неимоверными усилиями заставили себя подняться. Поэтому природные инстинкты и не служат исходной платформой наших поступков. Мы воспринимаем родителей как родителей, потому что знаем, кто они. А не знали бы, то и не воспринимали в этом качестве. Сие означает, что инстинктами управляет разум, а подобный нелегкий компромисс и порождает неизбежно ужасную сумятицу. Добавьте к этому месиву специи лицемерия, сыновьего благочестия, родительского примера, самолюбия и всего остального, и вы получите кухню, достойную кулинарного искусства великих романистов и драматургов.

— Сблизила ли смерть отца вас с матерью?

— Нет. Как ни странно, смерть отца сблизила мать с ним. Мать, упрекавшая отца, что тот поддается апатии и смерти, мать, пытавшаяся пробудить в нем интерес к жизни, сделавшая все, что могла, лишь бы заставить его воспрянуть духом, впала затем в такую же прострацию, как и отец, проводя дни за игрой в «крестословицу» с переехавшей к ней сестрой Ольгой.

— Тем временем подрастали твои дети. Они, разумеется, знали ее?

— Да, конечно. Моя мать и мои дети были очень друг к другу привязаны. Но мама была одержима идеей, будто чувству любви в семье природа предназначила развиваться не взаимно, но тяготеть к будущему. Иными словами, считала для меня естественным больше думать о детях, чем о ней. Как и она сама больше думала обо мне, чем о своих родителях. Исходя из этого убеждения, мать вела себя в высшей степени ненавязчиво и, сохраняя врожденную душевную теплоту, оставалась совершенно незаметной.

— Чем ты в то время был занят?

— Трудно сказать. Снимался в фильме «Топкапи». Съемки шли в Греции, Турции и отчасти во Франции.

— Ты получил за «Топкапи» «Оскара».

— О да, наступал возраст признания. На письменном столе расположились два бесцветных джентльмена и две бесцветные дамы в придачу — премии «Эмми», которые я получил за роли доктора Джонсона и Сократа. Этой четверки вполне хватило бы на теннисный матч смешанных пар. Затем я получил третью премию «Эмми» за роль пожилого еврея — хозяина лавки деликатесов на

Лонг-айленд. Теперь у моих теннисистов появился и судья.

— Но, несмотря на все это, ты грустил и впадал в уныние?

— Видишь ли, я играл арабского владыку в фильме, где в главной роли снималась Ширли Маклейн. Мне очень хотелось работать с ней, и всегда будет очень хотеться. Сценарий же оказался дешевым разнузданным фарсом. Знакомясь со многими новыми сценариями и фильмами, я начал ощущать, что наступает какой-то переходный период, комедия, как я себе ее представлял, сдает позиции. Комедия стала чрезмерно жеманной, манерной, неестественной, как будто любой смех, кроме вымученного, не вызывал больше доверия. Появилась нагота, сначала робко жавшаяся по углам, затем откровенно и напористо заполонившая весь экран. Людей стали убеждать, будто после стольких миллионов лет жизни на нашей планете наступил, наконец, прогресс — им впервые предоставили возможность созерцать волосы на лобке. Так же, как музыку путали с шумом, а живопись — с декоративным орнаментом, организованное действие начали подменять анархическим действом, а порядок — хаосом. Новизна стала эфемерной, как бабочка-поденка. Стили нуждались в воскрешении, не успев устареть. Мы испытывали такой отчаянный голод касаемо утраченного, что в семидесятых начали возрождать не только двадцатые, тридцатые, сороковые и пятидесятые, но даже шестидесятые. В конечном счете придется в семидесятых возрождать семидесятые, и так до тех пор, пока в декабре не возродится январь!

— Да ты просто стареешь!

— Теперь моя очередь упрекнуть тебя. Нет нужды говорить об этом со вздохом. В 1968 году меня избрали ректором университета Данди *. Помнишь?

— Разве такое забудешь! Тебе пришлось выпить полбутылки виски из серебряного кубка, пока тебя возили по городу в коляске, запряженной вместо лошадей членами университетской футбольной команды.

— Всего лишь веселые проказы расшалившихся студентов. Получилось очень забавно. Может, более забавно для них, чем для меня, но не в том дело. Последующие шесть лет оказались серьезным испытанием. Впереди жда-

* В британских университетах номинальная должность, на которую избирается известное лицо в знак признания общественных заслуг.

ли хладнокровные махинации студентов факультета общественных наук — юнцов, презрительно разглядывающих себя сквозь смотровые щели длинных нечесаных волос, закрывающих лица. Юнцов, уже хорошо усвоивших все грязные приемы политического интриганства. Никогда не доставляли неприятностей те, кому предстояло овладеть сложнейшими дисциплинами и у кого потому не оставалось времени на университетские дрязги, — будущие медики и инженеры. Общественные же науки вобрали всех тех, кто еще не решил, что делать со своей жизнью, и тех, кого преждевременные всплески отчаянья завели в тупик бесплодной враждебности. Они созывали собрания «своих», не уведомляя больше никого, и тайно приняли резолюцию, призывавшую меня подать в отставку. «За Вашу отставку — сорок, против — шесть» — гласила полученная мною телеграмма. Ситуация требовала твердости.

— Я забыл, почему они хотели твоей отставки?

— Я не поддержал их забастовку, когда они отказались вносить плату за общежитие: требовали увеличения правительственных субсидий на образование. Я тоже хотел добиться увеличения субсидий, но отвергал глупые и разнузданные методы борьбы, позволявшие университету высказывать свое мнение лишь в последнюю очередь, пожелай он это сделать. Ни одна тактическая удача ничего не стоит, если приводит к стратегическому поражению. Это сказал не Клаузевиц, это сказал я.

Я потребовал нового тайного голосования о вотуме доверия, разослав бюллетени всем студентам университета. На этот раз за мою отставку проголосовали сорок пять человек, но против нее вместо шестерых проголосовали почти две тысячи. Раздались вопли и блеяние, обвиняющие меня в недемократичности. Не обращая на них внимания, я опубликовал в одной из крупных газет статью и вызвал юнцов на диспут, транслировавшийся по телевидению. В частной беседе они возмущались тем, что я пустился во все тяжкие, лишь бы победить их. Я ответил, что они прежде всего требовали гласности, и я пошел им навстречу, как и подобает хорошему ректору.

— Но какое все это имеет отношение к тому, что ты стареешь?

— Самое непосредственное. Людям моего возраста и моей профессии свойственно притворяться, будто они моложе, чем есть. В Голливуде я не узнаю и половины своих знакомых. Лысым аккуратно вживили новые воло-

сы, лохматые прикрывают уши стриженными «под горшок» огненными лохмами. И все ходят в линялых джинсах, а на шее носят цепочки с золотыми кулонами. Стариков больше нет. Журналы «Плейбой» и «Пентхауз» общими их стараниями создали идеал вечного подростка — загорелого, отпаренного в сауне, лишенного седины, по образу и подобию Дориана Грея.

— О, господи!

— Вот именно. А ведь молодежи нужны старики. Нужны люди, не стыдящиеся возраста, не нужны жалкие имитации юнцов. Я уже говорил, что родители — это кости, на которых дети точат зубы. То же относится и к ректорам, и к учителям. Что толку в мягких костях, из которых жадному языку легко вылизать мозг? Что толку в костях, если они не тверды и — почему бы и нет — несокрушимы? Я стал наконец таким, каким и был нужен молодежи.

— Чем объяснить такую страстность у тебя, человека, принимающего как само собой разумеющееся и свои фильмы, и пьесы, и неудачи, и даже успех?

— О, мне еще предстояли съемки «Горячих миллионов» с великолепной Мегги Смит, самой тонкой из всех актрис, с которыми доводилось работать; три фильма на диснеевской студии, и «Вива Макс», в котором я играл мексиканского генерала. Из пьес мне еще предстояли «На полпути к вершине», легкая комедия, которая год шла в Лондоне, и «Неизвестный солдат и его жена» — самый честолюбивый мой театральный замысел, блестяще поставленный Джоном Декстером в «Линкольн Сентр» в Нью-Йорке и сыгранный мною в Чичестере, а затем в Лондоне. В лондонской постановке мне выпала радость играть вместе с моей старшей дочерью Тамарой, ставшей прелестной девушкой, которую я начал узнавать заново после давнишнего фальстарта в наших отношениях.

Не следует забывать и «Крамнэгел», являющийся, безусловно, одной из лучших моих работ.

— И больше ты о своих работах ничего не скажешь?

— Они могут и должны говорить за себя сами, если вообще способны что-нибудь сказать. Я понимаю, например, что «Неизвестный солдат и его жена» — трудная пьеса, но отсюда не следует, что она нуждается в толковании, да еще самого автора. Все, что я сделал в жизни, должно выжить или умереть в силу только собственных достоинств либо отсутствия таковых. Я не могу больше ничего добавить, могу разве что пролить немного света

на характер человека, скрытого от посторонних глаз, которого пытаюсь вновь узнать с твоей помощью. Вот почему копаться в детстве и ранней юности намного легче, чем в зрелых и преклонных годах. Я не испытываю желания заново отстаивать себя в те периоды жизни, когда и так был способен за себя постоять. Я стремился проанализировать себя такого, каким был, когда мог лишь подчиняться либо лавировать, либо притворяться, что ложь — это правда.

— Этим и объясняется твой пыл на посту ректора скромного шотландского университета. Тебе приятнее вспоминать о ректорстве, чем о твоих пьесах?

— Беспредельно приятнее. Я пережил возрождение, продолжавшееся шесть лет. Меня дважды избирали на трехлетний срок. Все, возможно, воспринимали это как шутку, но не знали, что для меня ректорство было важным жизненным делом, заставившим задуматься над новыми проблемами, реальными и значимыми по сравнению с обыденным миром фильмов и пьес.

— Я всегда думал, что должность ректора шотландского университета — просто синекура.

— Все так думали. Однако вот что произошло: все ректоры одновременно решили покончить с подобным положением дел, начали встречаться, обмениваться мнениями, да так активно, что наши встречи вызывали не меньшее беспокойство, чем вызывают у армейских командиров тайные сборища ревнителей полковых традиций. Наши проректоры настоятельно допытывались, чего именно мы добиваемся, и со временем допытались.

Мое ректорство сделали радостным встречи со множеством интересных людей, с которыми я вряд ли мог познакомиться в иных обстоятельствах.

И из всех воспоминаний о том периоде моей жизни, доставляющих мне такую глубокую радость, самое обезоруживающее связано с письмом удрученного родителя, молящего о снисхождении к своему заблудшему чаду. Письмо было адресовано «Лорду-Ректуму * университета Данди», каковым я себя с тех пор и вижу в минуты сомнений и душевных тревог.

20

— Твоя мать умерла в 1975 году?

— В феврале. Отца кремировали. У матери мысль о

* Rectum — прямая кишка *(латин.)*.

кремации всегда вызывала ужас. Но в посмертном письме она просила кремировать и ее. Их останки покоятся на деревенском кладбище в Истличе, в Глостершире.

— В забытье твой отец шептал по-французски. Мать — по-русски.

— Тайны подсознания. Мать отнюдь не питала особой любви ко всему русскому. Родившись в России в семье иностранного происхождения, она всю жизнь тянулась к западным обычаям и формам самовыражения, но в предсмертные часы говорила почти только по-русски. Она узнавала музыку Моцарта, льющуюся из маленького транзистора, и выражение лица менялось в такт тончайшим переливам звуков, она пила воду, тогда как Клоп перед смертью отпивал глоток шампанского. Не было и намека на печаль. Мать воспринимала смерть всего лишь частью процесса, древнего, почти как и сама жизнь; и мы оба испытывали ощущение ничем не омраченной духовной близости.

— Она была счастлива?

— Насколько может быть счастлив умирающий.

— У нее отняли столько времени и сил заботы о тебе, но со свойственным ей тактом она никогда не проявляла испытываемого беспокойства. Как и всегда, ты узнал о том не от нее.

— Да. Найденный мною дневник ясно свидетельствовал о моральной травме, пережитой ею в результате событий, на которые я лишь намекнул в предыдущих главах, а ее беспокойство о моем благополучии было, как и всегда, тактично сдержанно и лишено эгоизма. К счастью, я успел убедить ее перед смертью в моем душевном спокойствии.

— Каким образом?

— Это — направленный вопрос. Не уверен, что я уже готов отвечать на него.

— Придется поторопиться. Не так уж много осталось страниц.

— Обещаю. Ведь без коды, мостка к неизведанному будущему, книга останется незавершенной. А покамест не хочешь ли ты расспросить о чем-нибудь менее конкретном?

— Мать следила за твоей жизнью из добровольно избранного отдаления?

— Она была полной противоположностью типу навязчивой и требовательной родительницы. И если даже обра-

щалась со мной, будто я был младше, чем на самом деле, то все равно хотела сына мужчину, а не вечного ребенка. Она следила за моей работой то с одобрением, то с беспокойством, то с раздражением. Она умела критиковать ее безжалостно, но неизменно вежливо и мягко. Мать слишком хорошо сама знала муки творчества, чтобы поверхностно бранить или безудержно хвалить. Если у нее и был недостаток, то это привычка слишком громко смеяться над моими шутками и еще громче — над своими.

— Она знала о другой твоей работе — в университете и ЮНИСЕФ?

— О да. И рассматривала и то и другое с известным насмешливым интересом, будто эти дела могли отвлечь меня от более достойных. Но поняв, какое благотворное воздействие оказывают они на мою душу, мать захотела знать о них все.

— Когда ты начал понемногу уделять время заботам ЮНИСЕФ?

— В конце шестидесятых я получил телеграмму с просьбой вести концерт для ЮНИСЕФ в парижском театре «Одеон». Тогда я ничего не знал о ЮНИСЕФ — Детском фонде ООН, меня всего лишь соблазнил исключительно качественный состав участников: таких артистов не свело бы в единую программу ни одно коммерческое мероприятие. Я согласился и на репетициях концерта познакомился с Леоном Давичко, журналистом из белградской «Политики», направленным работать в ЮНИСЕФ.

Этот прямой и чарующий человек и заразил меня счастливым вирусом энтузиазма и веры в жизненную важность задач ЮНИСЕФ. При всей моей нелюбви к гала-концертам, которые я считаю малоприемлемым способом добывания денег, я немало их провел для сбора средств в пользу ЮНИСЕФ и в Италии, и во Франции, и в Швейцарии, и в ФРГ, и в Японии. Их трансляции по телевидению принесли немалый доход, пусть он и был каплей в море нужд детей.

На меня с самого начала произвело впечатление бескорыстие, с которым трудились столь часто подвергаемые поношению сотрудники международной организации, страстно болеющие за свое дело, получающие моральную компенсацию от сознания его конструктивной роли. Очень легко нападать на ООН как на рассадник недемократических и антидемократических идей, но люди, выступаю-

щие с подобной критикой, предпочитают игнорировать тот факт, что ООН создавалась как демократический форум, и нельзя грубо отбросить мнение большинства только потому, что в настоящий момент оно не пришлось по праву определенным влиятельным кругам. Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности служат витриной, в которой выставляются и противопоставляются взгляды и мнения, созерцая которую мы можем то восторгаться, то приходить в уныние в зависимости от собственных убеждений. Внутри, за витриной, все, однако, иначе. О верованиях и национальной принадлежности по большей части забывают. Решая встающие проблемы, христиане и коммунисты, мусульмане и социалисты, буддисты и консерваторы делают все, что могут в пределах доступных им средств. И это заставляет даже самого закоренелого циника верить в человечество.

— Ты уверен, что не идеализируешь происходящее?

— Может, и идеализирую, но так же идеализируют происходящее и многие другие его участники. Корпоративный дух этих международных организаций непрестанно изумляет меня, так же как и превосходные качества их руководителей.

— Например?

— Гарри Лабюис, невероятный американец, профессиональный дипломат, всегда имеющий собственное мнение и обладающий глубоким знанием людей, на которое постоянно и тактично опирается, когда требуются твердость и откровенность. Как бывает с незаурядными людьми, возраст лишь укрепляет его незаурядность и расширяет кругозор. На время написания этой книги Гарри Лабюис руководит ЮНИСЕФ. Он женат на дочери Пьера и Мари Кюри.

Должность генерального директора ЮНЕСКО, чья задача, пожалуй, еще более сложна и противоречива, занимает М. М'Боу, просветитель и педагог из Сенегала, проявляющий великолепное и необходимое на его посту безразличие к трудностям. Он всегда сохраняет хладнокровие, не обращает ни малейшего внимания на попытки давления и последовательно руководствуется неоспоримой логикой твердого, но отнюдь не безгласного нейтралитета.

— Почему ты считаешь его задачу более противоречивой?

— Даже самых жестокосердных легче заставить прослезиться над судьбой детей, чем просить сочувствия к

студентам, или обращаться к обывателю за пожертвованиями на спасение древних памятников.

— Понимаю.

— ЮНИСЕФ был единственным учреждением ООН, в силу неполитического характера получившим доступ в Нигерию после войны в Биафре. ЮНИСЕФ был также единственным ведомством, имевшим представительство в Ханое на протяжении всей вьетнамской войны. Под конец войны вьетнамцы самых разных убеждений обращались к ЮНИСЕФ с настоятельными призывами помочь спасти жизни и обеспечить благосостояние детей, захваченных военными бурями. Об этом нельзя было говорить в то время из-за резолюции конгресса США, запрещающей США оказывать поддержку организации, имеющей контакты с их противником. Можно ли поверить в такое?

— Но скажи честно, не совпал ли этот внезапный интерес к судьбам детей с какими-то драматическими событиями в твоей личной судьбе?

— Нет. Я рад, что этот интерес вырос из неудовлетворенности жизнью занятой лишь увеселением и развлечением публики. Ему довелось предварить кульминации моих личных проблем, хотя и не предотвратить их, — ведь они неумолимо нарастали на протяжении почти двадцати лет. Однако можно и предположить, что так остро осознать детские нужды меня заставили наблюдения за собственными подрастающими детьми. Как я уже говорил, истинную природу многих основных человеческих отношений я сумел понять, лишь наблюдая за собственной семьей. Я осознал потребность делиться лаской, но не видел непосредственной возможности делать это. Слишком далеко я зашел в привычке к уединению, и преодолеть окружившие меня преграды было нелегко. Но необходимо. Я это понимал.

— Насколько я могу судить, ты никогда не доверял тем, кто в силу какой-либо личной трагедии вдруг становился в ряды крестового похода против того, отчего пострадали либо они сами, либо их близкие.

— Вряд ли здесь уместно говорить о недоверии. Трагедию невозможно предвидеть, можно лишь иногда предчувствовать. Мы никогда ни над чем глубоко не задумываемся, пока паруса полнятся попутным ветром, и начинаем думать, как только ветер меняется, но кто же нас в этом упрекнет? Тем не менее, я считаю, судьбу надо благодарить, пока все идет хорошо. Лучше раньше, чем позже, даже если лучше поздно, чем никогда. Мы ведь по

большей части существа ненаблюдательные. Не замечаем даже того, что у нас под самым носом, пока нас носом туда не ткнут.

— Рад, что ты это сказал.

— Почему?

— Потому что рано или поздно тебе придется снова рассказывать о себе, а не предаваться философствованию.

— Сказывается моя русская натура.

— Понимаю, но нельзя же вечно откладывать, как визит к зубному, рассказ о том, чем кончился твой второй брак. Книга почти подошла к концу. Будь мужествен.

— Ты прекрасно знаешь, мой второй брак — тема совсем иной книги, написать которую не суждено. По крайней мере — не суждено мне. Если кто-либо из моих детей захочет так же непринужденно и объективно рассказать обо мне, как их бабушка рассказала о деде, и, хотелось бы надеяться, рассказал о своих родителях их отец, то это — законное право нового поколения. Возможно, к тому времени их осенят психологические озарения, недоступные мне, способные помочь объяснить необъяснимое с куда большей уверенностью, чем удалось мне, и вскрыть с беспристрастной точностью корни испытанного мною отчаяния.

— И это все, что ты намерен сказать?

— Да.

— У тебя нет ни малейшей потребности сводить счеты?

— Нет.

— Что ж, тогда поставим точку.

— Еще нет. Не желая навязывать собственное представление об истине живым и даже мертвым, я все же без зазрения совести готов рассказать о разводе, поскольку эта тема переходит из сферы личных драматических переживаний в область легкого развлечения. А также и показывает, насколько приблизилось наше общество к справедливости за последние двадцать лет.

Как ты помнишь, мой первый развод состоялся в Лондоне, под грозной эгидой вздыбленных Льва и Единорога, в атмосфере непогрешимости. Иными словами, в тех же декорациях, в которых полтора века назад людей приговаривали к смертной казни за кражу бумажника. Бедняжка Изольда, которой так не терпелось вновь выйти замуж, сидела в унылом гостиничном номере, играя в карты со специально нанятым для этой цели джентльменом, терпеливо ожидая, пока в назначенный час туда вломит-

ся детектив, чтобы накрыть их с поличным. После сей компрометации предстояло ждать еще шесть недель до выноса условно-окончательного решения суда о разводе и последующего слушания дела, дабы Королевский проктор * мог удостовериться в отсутствии сговора. О, божественное лицемерие! С какой изысканностью в те времена полоскалось на людях грязное белье!

Теперь полощутся только деньги, что и доказал мой второй развод. Рискуя снова впасть в философствование, я все-таки должен немного порассуждать в общем плане, чтобы показать в правильном контексте цепь событий.

В Швейцарии, стране, во многих отношениях весьма достойной, ядовитые выбросы перегретой экономики растекаются по зеленым долинам, окутывая их невидимой глазу дымкой, секретным оружием рока в борьбе с совестливостью благочестивых кальвинистов. Швейцария никогда не была страной, созданной (как считал Бернард Шоу) по образу и подобию гигантского отеля, и заслуживает славы отнюдь не только за часы с кукушками (как считал Орсон Уэллес). Во времена не столь отдаленные Швейцария поставляла всей Европе самых надежных наемников. Стали бы нанимать швейцарскую стражу папы римские, не считай они ее достаточно надежной охраной от итальянских князей! Однако в известный момент швейцарцы осознали, что с неизменным постоянством режут друг друга, хотя и за хорошее жалованье, и решили применить свое умение наживать деньги более конструктивно. Нейтралитет принес Швейцарии неисчислимые суммы денег из источников анонимных и необъяснимых, законных и преступных, чистых и грязных. Швейцарцы уверяют, не без некоторой, пожалуй, нервозности, что деньги обезличиваются, как только попадают в банковские сейфы. Возникает ощущение, что вирус обезличивания поражает и самих банкиров; и в то время как покоящиеся в их банках богатства сохраняют лицо, банкиры его теряют, до того сильна их решимость казаться лишь хранителями неизвестно откуда взявшихся сокровищ.

Я мог бы предвидеть грозящие мне несчастья, когда группа швейцарских юристов предложила так называемый «Divorce a l' Amiable» **, являющийся не чем иным, как частным соглашением между сторонами, избавляющим

---

* Чиновник Высокого суда, ведающий делами о разводах.

** «Развод по доброму согласию» *(франц.)*.

суд от необходимости возлагать вину на одну из них. Судье остается лишь зафиксировать наличие подобного соглашения и спустя некоторое время объявить о вступлении решения о разводе в силу.

Казалось бы, идеальный способ позволить расстаться цивилизованным людям, пережившим разлад.

За обретенную свободу мне предстояло выплатить полмиллиона долларов. Дали на это трехлетний срок, казавшийся нереальным, если учесть, что доллар стоил тогда 4,2 швейцарского франка.

Адвокаты напомнили, что мне принадлежит участок земли, за который я мог бы выручить чуть ли не всю искомую сумму, продай я его какому-нибудь бывшему главе государства, пребывающему в изгнании, или арабскому принцу, впрок думающему о ненадежном будущем. В таком случае развод показался бы почти неощутимым. Было решено, что дети остаются на моем попечении, и речь шла не просто об обретении личной свободы, но о сохранении возможности выполнять необходимый и радостный для меня долг. Я подписал документы.

И тут же в Швейцарии был принят закон, временно запрещающий продажу земли иностранцам. Учитывая размеры страны и объем иностранных капиталовложений, я вполне способен понять суть этого закона, но вряд ли мог ожидать, что стану одной из его первых жертв. Внезапно ко бремени ничуть не уменьшившегося долга прибавилось бремя владения обширным участком, который еще и хотели забрать то ли под «зеленую зону», то ли под автостоянки.

Чтобы доставить мне еще больше неприятностей, доллар упал в цене с 4,2 до 2,4 франка. Сумма долга начала приближаться к миллиону. Теперь тебе понятно, почему я снимался в рекламном ролике калифорнийских вин?

Мы, милый мой, живем в мире, который истово верит, что цена найдется на каждого, кроме дурака. Главы государств садятся на скамью подсудимых за взятки, полученные, чтобы пропихнуть один самолет вместо другого. Некий благородный общественный деятель даже выразил возмущение, будучи приглашен на обед, что в качестве вознаграждения получил миллион, а не шесть, на которые рассчитывал. Обед за миллион он воспринял как неудачу. Для меня такой обед был бы решением всех проблем, но я, слава богу, не в том положении, чтобы зарабатывать на жизнь торговлей оружием.

Я остался верен вину. Затем меня искушал внуши-

тельным гонораром Союз производителей швейцарских сыров: я должен был предстать на фоне Матхорна в костюме альпиниста, плотоядно уплетая за обе щеки «Эмменталь», тридцать секунд красоваться в подобном виде на экранах всей Западной Европы. Я отклонил предложение, поскольку чувствовал, что и так уже обязан своему разводу немыслимыми унижениями и большего не перенесу, хотя я и не прочь полакомиться наедине кусочком «Эмменталя».

Снимаясь в рекламе вин, я никак не мог знать, что заказчик состоял тогда в тяжбе с профсоюзом сельскохозяйственных рабочих, бойкотирующих сбор винограда и салата-латука.

Следствием сего явились пикеты у входа в театр в Ньюхэвене (штат Коннектикут), где состоялась премьера моей пьесы. Пикетчики обвиняли меня в штрейкбрехерстве, поддержке бандитского латука и пиратского винограда. И все это из-за чистосердечной любезности швейцарского суда! Ты понимаешь теперь, почему я причисляю свой второй развод к жанру легких развлечений? В тот период я делал очень много неприятных мне вещей, лишь бы только свести концы с концами и обеспечить детям отрочество столь же безмятежное, сколь было мучительно бурным детство.

— Не слишком ли дорогую цену приходилось платить?

— Слишком дорогой цены не бывает. Да и вообще, если дети вырастают хорошими людьми, разве не составит это предмет гордости и для их матери тоже? Я подписал бы тот документ, даже обойдись он мне в два раза дороже, как оно, между прочим, и вышло, поскольку последние шесть лет я выплачивал проценты со всей суммы плюс небольшую надбавку, компенсирующую рост стоимости жизни.

— Трудно поверить, будто ты нес груз столь тяжкой ответственности так безропотно. Я-то знаю, как все было на самом деле, но неужто ты всерьез надеешься убедить читателя, что тебе это все — как с гуся вода?

— С гуся может стечь достаточно воды, чтобы утопить его. Да, конечно, мы с тобой оба знаем, по своему душевному строю я склонен искать прибежища в смехе, как другие склонны искать того же в слезах, убийстве или самоубийстве. У меня нет ничего, кроме врожденной стойкости, нежелания сдаваться — качество, на самом деле не более достойное восхищения, чем

тупое упрямство. Чем ближе я подходил к крушению своих браков, тем больше меня охватывала безумная вера идеалиста в беспредельные чудеса любви, просто выражаемой и глубоко испытываемой. Чем хуже шли дела, тем яснее я видел, как они должны были бы идти. И, разумеется, ничто в нашей жизни не заставит осознать ответственность более четко, чем дети, а мои дети уже подарили мне радость столь безмерную, что мне никогда не воздать за нее, как бы я ни пытался.

Тамара уже замужем. Я хорошо помню первую встречу с ее мужем, талантливым молодым режиссером Кристофером Паром. Пиши я эту сцену для пьесы, я, несомненно, не избежал бы привычного штампа, изобразив волнение жениха и сочувственное понимание образцового будущего тестя. Стоит ли объяснять, что в действительности все было наоборот. Юный мастер Пар являл образец спокойствия, изучая меня сквозь стекла массивных роговых очков, я же являл комок нервов, поскольку был преисполнен решимости не подвести любимую дочь в важную для нее минуту. Я отпустил несколько шуток, молодой человек и не подумал реагировать. Я стал серьезен, он натянуто улыбнулся. Поглядывая то и дело на Тамми, я, казалось, уловил тень беспокойства под покровом неизменно свойственной ей приветливости. К концу встречи я окончательно пал духом в полной уверенности, что не выдержал испытания и не получил места, необходимого не только мне, но и тем, чье существование от меня зависит.

Несколько недель спустя верная служба газетных вырезок переслала заметку из какой-то газеты с севера Англии. Это было интервью Криса, в котором репортер спросил его, не испытывает ли он некоторой нервозности, становясь зятем более или менее известной личности. Цитировался ответ: «С какой стати? Он — превосходный человек».

Этот неожиданный и архаичный комплимент позволил мне с облегчением вздохнуть, как будто я все же прошел после перебаллотировки.

Павла, Андреа и Игорь пока еще не подвергали меня подобным испытаниям на зрелость, кои, несомненно, мне предстоят. Я изучал претендентов, попадающих в поле зрения: кого — с удовлетворением, кого — с безразличием, а кого и с откровенной тревогой. Павла отличается классической и в то же время чрезвычайно индивидуаль-

ной красотой, пусть даже это говорю я сам. В ней есть что-то от «femme fatale», одаренной, как ни удивительно, острым чувством комического, абсурдного.

Я уже работал и с Тамарой, и с Павлой и убедился, что обе, хотя и очень по-разному, безусловно, наделены инстинктивными способностями к нашей особой профессии, и это чрезвычайно меня радует. Андреа обладает здоровым чувством юмора и проницательным умом, постоянно ошеломляющим меня способностью к почти хирургически точному анализу. Игорь более мечтателен, он чувствует себя в своей тарелке наедине с создаваемыми им абстракциями, ему свойственно немалое личное обаяние, которое он научился проявлять с необходимым в подобных случаях тактом.

Все это, разумеется, оценки поверхностные, а потому и ненадежные. Игорь, изучающий сегодня скульптуру, биологию и математику, может завтра ошеломить меня, внезапно сосредоточившись на чем-то одном, а Андреа может так же внезапно открыть для себя всю выразительность нюанса, намека. Юность наиболее обворожительна и благотворна в период выбора, хотя родители и вздыхают с облегчением, когда выбор, наконец, сделан.

Разумеется, я говорю в основном об их достоинствах не только потому, что я — обыкновенный гордый родитель, но и потому, что их достоинства кажутся мне более чем чудом, в то время как в их недостатках я узнаю собственных извечных врагов, которых старался скрыть в себе воспитанием, образованием, жизненным опытом... И все безрезультатно.

— Это все хорошо, конечно, но должен ли я поверить, что после особенно трудного и долгого периода ты вновь обрел жизненные силы, неукротимо и чуть не собственнически посвящая себя судьбам своих детей?

— Да, конечно же, нет! То было бы чем-то болезненным и даже неприятным. Никогда и ни к кому не относился я собственнически. Собственничество, по-моему, самый опасный и самый недооцениваемый человеческий порок.

— Как ни странно, я с тобой согласен. Коль скоро человеческому животному суждено привыкать к ужасам одиночества, то было бы неестественным лишать его того немногого, что одиночество способно ему дать.

— Свободы выбора, например?

— Всех возможных свобод.

— Да их не так-то много и существует. Возьми Аме-

рику. Вот, казалось, мог осуществиться величайший и благороднейший из известных человеку экспериментов в области коллективной свободы, однако же, когда подобные порывы поощряются и традицией, и законом, индивидуума охватывает страх, он посвящает жизнь имитации коллективно выработанного идеала посредственности и мечтает, похоже, лишь об одном — раствориться в человеческой массе, такой же стандартной и такой же свободной, как он сам.

— А процесс роста? Ведь ничто так не придает свободе ее настоящего вкуса, как ограничения. Они и заставляют ощущать свободу как недостижимое совершенство, до которого осталось всего ничего, рукой подать. Секрет в том, что, стань мы когда-нибудь действительно свободны, мы не будем знать, что нам делать, и в панике вновь отстроим свои тюрьмы. Нам нужна тюрьма нашего ума, нужны рамки ее стен. Не зная масштаба, не измерить расстояния. Единственная настоящая свобода заключается в порядке, в признании границ.

— Разве ты не писал, что, коль уж нам суждено прожить жизнь в тюрьме нашего ума, то наш единственный долг — хорошо ее обставить?

— Да. Писал.

— И по-твоему, хорошо ее обставил?

— Ты вывел меня на заключительную исповедь дьявольски тонко — так тореадор выводит быка под удар пикадора!

— Надеюсь, у нас будут менее печальные результаты.

— Что ж, я наделал немало ошибок, часто из-за того, что чересчур старался поступить так, как считал правильным. И виноват во многих ошибочных суждениях. Но позже, когда груз накопившихся за жизнь глупостей уже казался невыносимым, я совершенно случайно встретил давнюю партнершу по теннису, годы назад заставившую меня однажды забыть об игре. Многое произошло с нами за прошедшее время, и ни она, ни я не обрели особого счастья. Наша дружба с Элен Дюло д'Алеман постепенно крепла, и настал день, сделавший нас неразлучными. Взаимная привязанность со временем лишь росла, и эта затянувшаяся весна ошеломила нас обоих. Не представляю, как мог бы я жить без Элен.

— Можешь ты сказать, что обрел в ней самую большую в своей жизни любовь?

— Сравнивать отвратительно. В юности я был способен испытывать любовные муки. Мог разразиться слеза-

ми по причинам, кажущимся задним числом сущей чепухой, но не бывшими чепухой тогда. Потому я и пытаюсь избегать снисходительного отношения к юным. Может, с течением времени я и набрался опыта, но известной ценой. Наполовину забыл, что такое быть молодым. Однако очень хорошо помню, что быть им — дело достаточно трудное и заслуживает величайшего уважения. Я любил своих жен, насколько был способен любить, но сейчас стал старше и люблю Элен, третью мою жену, любовью зрелой, как выдержанное вино.

— Не приведешь ли ты пример этой зрелой любви?

— Если ты просыпаешься ночью, и глаза привыкают к темноте и начинают различать черты милого лица, напряженно-задумчивого, как у спящего ребенка, и ты вдруг ловишь себя на непривычно теплой улыбке, можешь быть уверен: ты смотришь на любимую женщину. Мне доставляет невероятное удовольствие наблюдать за Элен, когда она этого не видит, когда она на людях, когда она одна и задумчива, когда погружается в книгу, когда смотрится в зеркало, просто когда спит. А еще она обладает тем чувством юмора, которое позволяет не преувеличивать действительные несчастья, а в счастье не утрачивать чувства такта.

— Женщина-совершенство?

— Женщина-совершенство не была бы личностью. Элен являет собою гармонию милых несовершенств, а это лучшее, что я могу сказать о человеке. Остается лишь надеяться, что мои несовершенства кажутся ей хотя бы наполовину такими же милыми. Так легко отдавать, когда есть охотно берущий. Так легко брать, когда есть способный отдать столь много. Элен превратила меня в некоторое подобие человека, которым в глубине души я хотел когда-то стать. Она пришла мне на помощь в переломный момент изматывающего, ужасающего и прекрасного путешествия в поисках самого себя, путешествия, именуемого жизнью. И я бесконечно ей за это благодарен.

— Похоже, мы приближаемся к концу.

— Концу? Мы столько испытали вместе, Уважаемый Я, но вдруг почувствовалось, мы совсем не знаем друг друга.

— Мы открываем друг друга, обращаясь в прошлое, окидывая взглядом прошедшие годы, а попутно нам открывается, что мы толком друг друга и не знаем. Впрочем, это, пожалуй, и хорошо.

— Пожалуй. Но в данную минуту, снедая жадным и настойчивым любопытством, меня интересует лишь одно: наше будущее.

— Я появлюсь в нем, как только тебе понадоблюсь. Хоть через минуту, если необходимо.

— Благодарю тебя, о «смятенный дух» *.

— Не за что, о «плотный сгусток мяса» *.

---

* Уильям Шекспир. Гамлет *(в пер. Лозинского).*

СОДЕРЖАНИЕ

Устинов П.

У 80 Крамнэгел: Роман. Рассказы. Эссе / Пер. с англ. Ю. Зарахович; Предисл. Д. Урнова; Худож. С. Соколов. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 526[2] с., ил.

В пер.: 3 р. 40 к. 100 000 экз.

В книгу известного прогрессивного английского писателя вошли роман «Крамнэгел», высмеивающий буржуазное правосудие, критикующий буржуазное общество, а также главы из автобиографического романа «Уважаемый Я» и два рассказа.

У $\frac{4703000000-058}{078(02)-87}$ 245—87

ББК 84. 4Вл

ИБ № 5181

Питер Устинов

КРАМНЭГЕЛ

Редактор **Св. Котенко**
Художественный редактор **А. Степанова**
Технический редактор **Е. Михалева**
Корректор **В. Назарова**

Сдано в набор 02.09.86. Подписано в печать 21.01.87. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 28,14. Учетно-изд. л. 30,4. Тираж 100 000 экз. Цена 3 р. 40 к. Заказ 1715.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.